Александр

СОЛЖЕНИЦЫН

ПУБЛИЦИСТИКА

ПУБЛИЦИСТИКА

В трех томах

ТОМ 1

Статьи и речи

ЯРОСЛАВЛЬ
ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1995

ББК Р7
С60

Солженицын А. И.
С60 Публицистика: В 3 т. Т. 1. — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1995. — Т. 1: Статьи и речи. — 1995. — 720 с.
ISBN 5-7415-0459-0

Предлагаемое трехтомное собрание публицистических произведений Александра Солженицына впервые печатается в России и существенно расширено и дополнено по сравнению с западными изданиями. Многие статьи и выступления, включенные в это собрание, либо вообще не печатались в России, либо рассеяны по труднодоступным периодическим изданиям. Собранные вместе, они позволят проследить гражданскую, историческую и государственную мысль А. И. Солженицына за почти треть столетия.

Первый том включает наиболее значительные письменные и устные выступления писателя как в СССР (1969—1974), до его насильственной высылки, так и в изгнании, вплоть до 1994 года — то есть до возвращения автора в Россию. Читатель найдет в этом томе знаменитую Нобелевскую лекцию, статьи из сборника «Из-под глыб», Гарвардскую речь, Темплтоновскую лекцию, статьи «Как нам обустроить Россию?», «„Русский вопрос" к концу XX века», Речь в Международной Академии Философии и др.

С $\frac{4702010204}{М139—(03)—95}$ 95 ББК Р7

Издание выпущено в свет при содействии
Комитета РФ по печати

ISBN 5-7415-0459-0

В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

1969-1974

НОБЕЛЕВСКАЯ ЛЕКЦИЯ

1

Как тот дикарь, в недоумении подобравший странный выброс ли океана? захоронок песков? или с неба упавший непонятный предмет? — замысловатый в изгибах, отблескивающий то смутно, то ярким ударом луча, — вертит его так и сяк, вертит, ищет, как приспособить к делу, ищет ему доступной низшей службы, никак не догадываясь о высшей.

Так и мы, держа в руках Искусство, самоуверенно почитаем себя хозяевами его, смело его направляем, обновляем, реформируем, манифестируем, продаём за деньги, угождаем сильным, обращаем то для развлечения — до эстрадных песенок и ночного бара, то — затычкою или палкою, как схватишь, — для политических мимобежных нужд, для ограниченных социальных. А искусство — не оскверняется нашими попытками, не теряет на том своего происхождения, всякий раз и во всяком употреблении уделяя нам часть своего тайного внутреннего света.

Но охватим ли весь тот свет? Кто осмелится сказать, что *определил* Искусство? перечислил все стороны его? А может быть уже и понимал, и называл нам в прошлые века, но мы не долго могли на том застояться: мы послушали, и пренебрегли, и откинули тут же, как всегда спеша сменить хоть и самое лучшее — а только бы на новое! И когда снова нам скажут старое, мы уже и не вспомним, что это у нас было.

Один художник мнит себя творцом независимого духовного мира, и взваливает на свои плечи акт творения этого мира, населения его, объемлющей ответственности за него, — но подламывается, ибо на-

грузки такой не способен выдержать смертный гений; как и вообще человек, объявивший себя центром бытия, не сумел создать уравновешенной духовной системы. И если овладевает им неудача — валят её на извечную дисгармоничность мира, на сложность современной разорванной души или непонятливость публики.

Другой — знает над собой силу высшую и радостно работает маленьким подмастерьем под небом Бога, хотя ещё строже его ответственность за всё написанное, нарисованное, за воспринимающие души. Зато: не им этот мир создан, не им управляется, нет сомненья в его основах, художнику дано лишь острее других ощутить гармонию мира, красоту и безобразие человеческого вклада в него — и остро передать это людям. И в неудачах и даже на дне существования — в нищете, в тюрьме, в болезнях — ощущение устойчивой гармонии не может покинуть его.

Однако вся иррациональность искусства, его ослепительные извивы, непредсказуемые находки, его сотрясающее воздействие на людей — слишком волшебны, чтоб исчерпать их мировоззрением художника, замыслом его или работой его недостойных пальцев.

Археологи не обнаруживают таких ранних стадий человеческого существования, когда бы не было у нас искусства. Ещё в предутренних сумерках человечества мы получили его из Рук, которых не успели разглядеть. И не успели спросить: *зачем* нам этот дар? как обращаться с ним?

И ошибались, и ошибутся все предсказатели, что искусство разложится, изживёт свои формы, умрёт. Умрём — мы, а оно — останется. И ещё поймём ли мы до нашей гибели все стороны и все назначенья его?

Не всё — называется. Иное влечёт дальше слов. Искусство растепляет даже захоложенную, затемненную душу к высокому духовному опыту. Посредством искусства иногда посылаются нам, смутно, ко-

ротко, — такие откровения, каких не выработать рассудочному мышлению.

Как то маленькое зеркальце сказок: в него глянешь и увидишь — не себя, — увидишь на миг. Недоступное, куда не доскакать, не долететь. И только душа занывает...

2

Достоевский загадочно обронил однажды: «Мир спасёт красота.» Что это? Мне долго казалось — просто фраза. Как бы это возможно? Когда́ в кровожадной истории, кого и от чего спасала красота? Облагораживала, возвышала — да, но кого спасла?

Однако есть такая особенность в сути красоты, особенность в положении искусства: убедительность истинно художественного произведения совершенно неопровержима и подчиняет себе даже противящееся сердце. Политическую речь, напористую публицистику, программу социальной жизни, философскую систему можно по видимости построить гладко, стройно и на ошибке, и на лжи; и что скрыто, и что искажено — увидится не сразу. А выйдет на спор противонаправленная речь, публицистика, программа, иноструктурная философия, — и всё опять так же стройно и гладко, и опять сошлось. Оттого доверие к ним есть — и доверия нет.

Попусту твердится, что́ к сердцу не ложится.

Произведение же художественное свою проверку несёт само в себе: концепции придуманные, натянутые, не выдерживают испытания на образах: разваливаются и те и другие, оказываются хилы, бледны, никого не убеждают. Произведения же, зачерпнувшие истины и представившие нам её сгущённо-живой, захватывают нас, приобщают к себе властно, — и никто, никогда, даже через века, не явится их опровергать.

Так может быть это старое триединство Истины,

Добра и Красоты — не просто парадная обветшалая формула, как казалось нам в пору нашей самонадеянной материалистической юности? Если вершины этих трёх дерев сходятся, как утверждали исследователи, но слишком явные, слишком прямые поросли Истины и Добра задавлены, срублены, не пропускаются, — то может быть причудливые, непредсказуемые, неожидаемые поросли Красоты пробьются и взовьются *в то же самое место,* и так выполнят работу за всех трёх?

И тогда не обмолвкою, но пророчеством написано у Достоевского: «Мир спасёт красота»? Ведь *ему* дано было многое видеть, озаряло его удивительно.

И тогда искусство, литература могут на деле помочь сегодняшнему миру?

То немногое, что удалось мне с годами в этой задаче разглядеть, я и попытаюсь изложить сегодня здесь.

3

На эту кафедру, с которой прочитывается Нобелевская лекция, кафедру, предоставляемую далеко не всякому писателю и только раз в жизни, я поднялся не по трём-четырём примощённым ступенькам, но по сотням или даже тысячам их — неуступным, обрывистым, обмёрзлым, из тьмы и холода, где было мне суждено уцелеть, а другие — может быть с бо́льшим даром, сильнее меня, — погибли. Из них лишь некоторых встречал я сам на Архипелаге ГУЛАГе, рассыпанном на дробное множество островов, да под жерновом слежки и недоверия не со всяким разговорился, об иных только слышал, о третьих только догадывался. Те, кто канул в ту пропасть уже с литературным именем, хотя бы известны, — но сколько не узнанных, ни разу публично не названных! и почти-почти никому не удалось вернуться. Целая национальная литература осталась там, погребённая не только без гроба, но

даже без нижнего белья, голая, с биркой на пальце ноги. Ни на миг не прерывалась русская литература! — а со стороны казалась пустынею. Где мог бы расти дружный лес, осталось после всех лесоповалов два-три случайно обойденных дерева.

И мне сегодня, сопровождённому тенями павших, и со склонённой головой пропуская вперёд себя на это место других, достойных ранее, мне сегодня — как угадать и выразить, что хотели бы сказать о н и?

Эта обязанность давно тяготела на нас, и мы её понимали. Словами Владимира Соловьёва:

Но и в цепях должны свершить мы сами
Тот круг, что боги очертили нам.

В томительных лагерных перебродах, в колонне заключённых, во мгле вечерних морозов с просвечивающими цепочками фонарей — не раз подступало нам в горло, чтó хотелось бы выкрикнуть на целый мир, если бы мир мог услышать кого-нибудь из нас. Тогда казалось это очень ясно: что скажет наш удачливый посланец — и как сразу отзывно откликнется мир. Отчётливо был наполнен наш кругозор и телесными предметами и душевными движеньями, и в недвоящемся мире им не виделось перевеса. Те мысли пришли не из книг и не заимствованы для складности: в тюремных камерах и у лесных костров они сложились в разговорах с людьми, теперь умершими, т о ю жизнью проверены, о т т у д а выросли.

Когда ж послабилось внешнее давление — расширился мой и наш кругозор, и постепенно, хотя бы в щёлочку, увиделся и узнался тот «весь мир». И поразительно для нас оказался «весь мир» совсем не таким, как мы ожидали, как мы надеялись: «не тем» живущий, «не туда» идущий, на болотную топь восклицающий: «Что за очаровательная лужайка!», на бетонные шейные колодки: «Какое утончённое ожерелье!», а где катятся у одних неотирные слёзы, там другие приплясывают беспечному мьюзикалу.

Как же это случилось? Отчего же зинула эта

пропасть? Бесчувственны были мы? Бесчувственен ли мир? Или это — от разницы языков? Отчего не всякую внятную речь люди способны расслышать друг от друга? Слова отзвучивают и утекают как вода — без вкуса, без цвета, без запаха. Без следа.

По мере того как я это понимал, менялся и менялся с годами состав, смысл и тон моей возможной речи. Моей сегодняшней речи.

И уже мало она похожа на ту, первоначально задуманную в морозные лагерные вечера.

4

Человек извечно устроен так, что его мировоззрение, когда оно не внушено гипнозом, его мотивировки и шкала оценок, его действия и намерения определяются его личным и групповым жизненным опытом. Как говорит русская пословица: не верь брату родному, верь своему глазу кривому. И это — самая здоровая основа для понимания окружающего и поведения в нём. И долгие века, пока наш мир был глухо загадочно раскинут, пока не пронизался он едиными линиями связи, не обратился в единый судорожно бьющийся ком, — люди безошибочно руководились своим жизненным опытом в своей ограниченной местности, в своей общине, в своём обществе, наконец и на своей национальной территории. Тогда была возможность отдельным человеческим глазам видеть и принимать некую общую шкалу оценок: что признаётся средним, что невероятным; что жестоким, что за гранью злодейства; что честностью, что обманом. И хотя очень поразному жили разбросанные народы и шкалы их общественных оценок могли разительно не совпадать, как не совпадали их системы мер, эти расхождения удивляли только редких путешественников да попадали диковинками в журналы, не неся никакой опасности человечеству, ещё не единому.

Но вот за последние десятилетия человечество

незаметно, внезапно стало единым — обнадёжно единым и опасно единым, так что сотрясенья и воспаленья одной его части почти мгновенно передаются другим, иногда не имеющим к тому никакого иммунитета. Человечество стало единым, — но не так, как прежде бывали устойчиво едиными община или даже нация: не через постепенный жизненный опыт, не через собственный *глаз,* добродушно названный кривым, даже не через родной понятный язык, — а, поверх всех барьеров, через международное радио и печать. На нас валит накат событий, полмира в одну минуту узнаёт об их выплеске, но мерок — измерять те события и оценивать по законам неизвестных нам частей мира — не доносят и не могут донести по эфиру и в газетных листах: эти мерки слишком долго и особенно устаивались и усваивались в особой жизни отдельных стран и обществ, они не переносимы на лету. В разных краях к событиям прикладывают собственную, выстраданную шкалу оценок — и неуступчиво, самоуверенно судят только по своей шкале, а не по какой чужой.

И таких разных шкал в мире если не множество, то во всяком случае несколько: шкала для ближних событий и шкала для дальних; шкала старых обществ и шкала молодых; шкала благополучных и неблагополучных. Деления шкал кричаще не совпадают, пестрят, режут нам глаза, и чтоб не было нам больно, мы отмахиваемся ото всех чужих шкал как от безумия, от заблуждения, — и весь мир уверенно судим по своей домашней шкале. Оттого кажется нам крупней, больней и невыносимей не то, что на самом деле крупней, больней и невыносимей, а то, что ближе к нам. Всё же дальнее, не грозящее прямо сегодня докатиться до порога нашего дома, признаётся нами, со всеми его стонами, задушенными криками, погубленными жизнями, хотя б и миллионами жертв, — в общем вполне терпимым и сносных размеров.

В одной стороне под гоненьями, не уступающими

древнеримским, не так давно отдали жизнь за веру в Бога сотни тысяч беззвучных христиан. В другом полушарии некий безумец (и наверно он не одинок) мчится через океан, чтоб ударом стали в первосвященника *освободить* нас от религии! По своей шкале он так рассчитал за всех за нас!

То, что по одной шкале представляется издали завидной благоденственной свободой, то по другой шкале вблизи ощущается досадным принуждением, зовущим к переворачиванию автобусов. То, что в одном краю мечталось бы как неправдоподобное благополучие, то в другом краю возмущает как дикая эксплуатация, требующая немедленной забастовки. Разные шкалы для стихийных бедствий: наводнение в двести тысяч жертв кажется мельче нашего городского случая. Разные шкалы для оскорбления личности: где унижает даже ироническая улыбка и отстраняющее движение, где и жестокие побои простительны как неудачная шутка. Разные шкалы для наказаний, для злодеяний. По одной шкале месячный арест, или ссылка в деревню, или «карцер», где кормят белыми булочками да молоком, — потрясают воображение, заливают газетные полосы гневом. А по другой шкале привычны и прощены — и тюремные сроки по двадцать пять лет, и карцеры, где на стенах лёд, но раздевают до белья, и сумасшедшие дома для здоровых, и пограничные расстрелы бесчисленных неразумных, всё почему-то куда-то бегущих людей. А особенно спокойно сердце за тот экзотический край, о котором и вовсе ничего не известно, откуда и события до нас не доходят никакие, а только поздние плоские догадки малочисленных корреспондентов.

И за это двоенье, за это остолбенелое непониманье чужого дальнего горя нельзя упрекать человеческое зрение: уж так устроен человек. Но для целого человечества, стиснутого в единый ком, такое взаимное непонимание грозит близкой и бурной гибелью. При шести, четырёх, даже при двух шкалах не может быть единого мира, единого человечества:

нас разорвёт эта разница ритма, разница колебаний. Мы не уживём на одной Земле, как не жилец человек с двумя сердцами.

5

Но кто же и как совместит эти шкалы? Кто создаст человечеству единую систему отсчёта — для злодеяний и благодеяний, для нетерпимого и терпимого, как они разграничиваются сегодня? Кто прояснит человечеству, что́ действительно тяжко и невыносимо, а что́ только по близости натирает нам кожу, — и направит гнев к тому, что страшней, а не к тому, что ближе? Кто сумел бы перенести такое понимание через рубеж собственного человеческого опыта? Кто сумел бы косному упрямому человеческому существу внушить чужие дальние горе и радость, понимание масштабов и заблуждений, никогда не пережитых им самим? Бессильны тут и пропаганда, и принуждение, и научные доказательства. Но, к счастью, средство такое в мире есть! Это — искусство. Это — литература.

Доступно им такое чудо: преодолеть ущербную особенность человека учиться только на собственном опыте, так что втуне ему проходит опыт других. От человека к человеку, восполняя его куцее земное время, искусство переносит целиком груз чужого долгого жизненного опыта со всеми его тяготами, красками, соками, во плоти воссоздаёт опыт, пережитый другими, — и даёт усвоить как собственный.

И даже больше, гораздо больше того: и страны, и целые континенты повторяют ошибки друг друга с опозданием, бывает и на века, когда, кажется, так всё наглядно видно! а нет: то, что одними народами уже пережито, обдумано и отвергнуто, вдруг обнаруживается другими как самое новейшее слово. И здесь тоже: единственный заменитель не пережитого нами опыта — искусство, литература. Дана им чудесная способность: через различия языков, обы-

чаев, общественного уклада переносить жизненный опыт от целой нации к целой нации — никогда не пережитый этою второю трудный многодесятилетний национальный опыт, в счастливом случае оберегая целую нацию от избыточного, или ошибочного, или даже губительного пути, тем сокращая извилины человеческой истории.

Об этом великом благословенном свойстве искусства я настойчиво напоминаю сегодня с нобелевской трибуны.

И ещё в одном бесценном направлении переносит литература неопровержимый сгущённый опыт: от поколения к поколению. Так она становится живою памятью нации. Так она теплит в себе и хранит её утраченную историю — в виде, не поддающемся искажению и оболганию. Тем самым литература вместе с языком сберегает национальную душу.

(За последнее время модно говорить о нивелировке наций, об исчезновении народов в котле современной цивилизации. Я не согласен с тем, но обсуждение того — вопрос отдельный, здесь же уместно сказать: исчезновение наций обеднило бы нас не меньше, чем если бы все люди уподобились, в один характер, в одно лицо. Нации — это богатство человечества, это обобщённые личности его; самая малая из них несёт свои особые краски, таит в себе особую грань Божьего замысла.)

Но горе той нации, у которой литература прерывается вмешательством силы: это — не просто нарушение «свободы печати», это — замкнутие национального сердца, иссечение национальной памяти. Нация не помнит сама себя, нация лишается духовного единства, — и при общем как будто языке соотечественники вдруг перестают понимать друг друга. Отживают и умирают немые поколения, не рассказавшие о себе ни сами себе, ни потомкам. Если такие мастера, как Ахматова или Замятин, на всю жизнь замурованы заживо, осуждены до гроба тво-

рить молча, не слыша отзвука своему написанному, — это не только их личная беда, но горе всей нации, но опасность для всей нации.

А в иных случаях — и для всего человечества: когда от такого молчания перестаёт пониматься и вся целиком История.

6

В разное время в разных странах горячо, и сердито, и изящно спорили о том, должны ли искусство и художник жить сами для себя или вечно помнить свой долг перед обществом и служить ему, хотя и непредвзято. Для меня здесь нет спора, но я не стану снова поднимать вереницы доводов. Одним из самых блестящих выступлений на эту тему была Нобелевская же лекция Альбера Камю — и к выводам её я с радостью присоединяюсь. Да русская литература десятилетиями имела этот крен — не заглядываться слишком сама на себя, не порхать слишком беспечно, и я не стыжусь эту традицию продолжать по мере сил. В русской литературе издавна вроднились нам представления, что писатель может многое в своём народе — и должен.

Не будем попирать пра́ва художника выражать исключительно собственные переживания и самонаблюдения, пренебрегая всем, что делается в остальном мире. Не будем требовать от художника, — но укорить, но попросить, но позвать и поманить дозволено будет нам. Ведь только отчасти он развивает своё дарование сам, в большей доле оно вдунуто в него от рожденья готовым — и вместе с талантом положена ответственность на его свободную волю. Допустим, художник никому ничего *не должен*, но больно видеть, как *может* он, уходя в своесозданные миры или в пространства субъективных капризов, отдавать реальный мир в руки людей корыстных, а то и ничтожных, а то и безумных.

Оказался наш XX век жесточе предыдущих, и

первой его половиной не кончилось всё страшное в нём. Те же старые пещерные чувства — жадность, зависть, необузданность, взаимное недоброжелательство, на ходу принимая приличные псевдонимы вроде классовой, расовой, массовой, профсоюзной борьбы, рвут и разрывают наш мир. Пещерное неприятие компромиссов введено в теоретический принцип и считается добродетелью ортодоксальности. Оно требует миллионных жертв в нескончаемых гражданских войнах, оно нагуживает в душу нам, что нет общечеловеческих устойчивых понятий добра и справедливости, что все они текучи, меняются, а значит всегда дóлжно поступать так, как выгодно твоей партии. Любая профессиональная группа, как только находит удобный момент *вырвать кусок*, хотя б и не заработанный, хотя б и избыточный, — тут же вырывает его, а там хоть всё общество развались. Амплитуда швыряний западного общества, как видится со стороны, приближается к тому пределу, за которым система становится метастабильной и должна развалиться. Всё меньше стесняясь рамками многовековой законности, нагло и победно шагает по всему миру насилие, не заботясь, что его бесплодность уже много раз проявлена и доказана в истории. Торжествует даже не просто грубая сила, но её трубное оправдание: заливает мир наглая уверенность, что сила может всё, а правота — ничего. *Бесы* Достоевского — казалось, провинциальная кошмарная фантазия прошлого века — на наших глазах расползаются по всему миру, в такие страны, где и вообразить их не могли, — и вот угонами самолётов, захватами заложников, взрывами и пожарами последних лет сигналят о своей решимости сотрясти и уничтожить цивилизацию! И это вполне может удаться им. Молодёжь — в том возрасте, когда ещё нет другого опыта, кроме сексуального, когда за плечами ещё нет годов собственных страданий и собственного понимания, — восторженно повторяет наши русские опороченные зады XIX века, а кажется ей, что открывает новое что-то. Новоявленная хунвей-

биновская деградация до ничтожества принимается ею за радостный образец. Верхоглядное непонимание извечной человеческой сути, наивная уверенность непоживших сердец: вот э т и х лютых, жадных притеснителей, правителей прогоним, а следующие (мы!), отложив гранаты и автоматы, будут справедливые и сочувственные. Как бы не так!.. А кто пожил и понимает, кто мог бы этой молодёжи возразить, — многие не смеют возражать, даже заискивают, только бы не показаться «консерваторами», — снова явление русское, XIX века, Достоевский называл его «рабством у передовых идеек».

Дух Мюнхена — нисколько не ушёл в прошлое, он не был коротким эпизодом. Я осмелюсь даже сказать, что дух Мюнхена преобладает в XX веке. Оробелый цивилизованный мир перед натиском внезапно воротившегося оскаленного варварства не нашёл ничего другого противопоставить ему, как уступки и улыбки. Дух Мюнхена есть болезнь воли благополучных людей, он есть повседневное состояние тех, кто отдался жажде благоденствия во что бы то ни стало, материальному благосостоянию как главной цели земного бытия. Такие люди — а множество их в сегодняшнем мире — избирают пассивность и отступления, лишь дальше потянулась бы привычная жизнь, лишь не сегодня бы перешагнуть в суровость, а завтра, глядишь, обойдётся... (Но никогда не обойдётся! — расплата за трусость будет только злей. Мужество и одоление приходят к нам, лишь когда мы решаемся на жертвы.)

А ещё нам грозит гибелью, что физически сжатому стеснённому миру не дают слиться духовно, не дают молекулам знания и сочувствия перескакивать из одной половины в другую. Это лютая опасность: пресечение информации между частями планеты. Современная наука знает, что пресечение информации есть путь энтропии, всеобщего разрушения. Пресечение информации делает призрачными международные подписи и договоры: внутри *оглушённой* зоны любой договор ничего не стоит перетолковать,

а ещё проще — забыть, он как бы и не существовал никогда (это Оруэлл прекрасно понял). Внутри оглушённой зоны живут как бы не жители Земли, а марсианский экспедиционный корпус, они толком ничего не знают об остальной Земле и готовны пойти топтать её в святой уверенности, что «освобождают».

Четверть века назад в великих надеждах человечества родилась Организация Объединённых Наций. Увы, в безнравственном мире выросла безнравственной и она. Это не организация Объединённых Наций, но организация Объединённых Правительств, где уравнены и свободно избранные, и насильственно навязанные, и оружием захватившие власть. Корыстным пристрастием большинства ООН ревниво заботится о свободе одних народов и в небрежении оставляет свободу других. Угодливым голосованием она отвергла рассмотрение частных жалоб — стонов, криков и умолений единичных маленьких *просто людей*, слишком мелких букашек для такой великой организации. Свой лучший за 25 лет документ — Декларацию Прав человека — ООН не посилилась сделать обязательным для правительств, условием их членства, — и так предала маленьких людей воле не избранных ими правительств.

Казалось бы: облик современного мира весь в руках учёных, все технические шаги человечества решаются ими. Казалось бы: именно от всемирного содружества учёных, а не от политиков, должно зависеть, куда миру идти. Тем более что пример единиц показывает, как много могли бы они сдвинуть все вместе. Но нет, учёные не явили яркой попытки стать важной самостоятельно действующей силой человечества. Целыми конгрессами отшатываются они от чужих страданий: уютней остаться в границах науки. Всё тот же дух Мюнхена развесил над ними свои расслабляющие крыла.

Каковы ж в этом жестоком, динамичном, взрывном мире, на черте его десяти гибелей, — место и роль писателя? Уж мы и вовсе не шлём ракет, не катим даже последней подсобной тележки, мы и вов-

се в презреньи у тех, кто уважает одну материальную мощь. Не естественно ли нам тоже отступить, разувериться в неколебимости добра, в недробимости правды и лишь поведывать миру свои горькие сторонние наблюдения, как безнадёжно исковеркано человечество, как измельчали люди и как трудно средь них одиноким тонким красивым душам?

Но и этого бегства — нет у нас. Однажды взявшись за *слово*, уже потом никогда не уклониться: писатель — не посторонний судья своим соотечественникам и современникам, он — совиновник во всём зле, совершённом у него на родине или его народом. И если танки его отечества залили кровью асфальт чужой столицы, — то бурые пятна навек зашлёпали лицо писателя. И если в роковую ночь удушили спящего доверчивого Друга, — то на ладонях писателя синяки от той верёвки. И если юные его сограждане развязно декларируют превосходство разврата над скромным трудом, отдаются наркотикам или хватают заложников, — то перемешивается это зловоние с дыханием писателя.

Найдём ли мы дерзость заявить, что не ответчики мы за язвы сегодняшнего мира?

7

Однако ободряет меня живое ощущение мировой литературы как единого большого сердца, колотящегося о заботах и бедах нашего мира, хотя по-своему представленных и видимых во всяком его углу.

Помимо исконных национальных литератур, существовало и в прежние века понятие мировой литературы — как огибающей по вершинам национальных и как совокупности литературных взаимовлияний. Но случалась задержка во времени: читатели и писатели узнавали писателей иноязычных с опозданием, иногда вековым, так что и взаимные влияния опаздывали и огибающая национальных литератур-

ных вершин проступала уже в глазах потомков, не современников.

А сегодня между писателями одной страны и писателями и читателями другой есть взаимодействие если не мгновенное, то близкое к тому, я сам на себе испытываю это. Не напечатанные, увы, на родине, мои книги, несмотря на поспешные и часто дурные переводы, быстро нашли себе отзывчивого мирового читателя. Критическим разбором их занялись такие выдающиеся писатели Запада, как Генрих Бёлль. Все эти последние годы, когда моя работа и свобода не рухнули, держались против законов тяжести как будто в воздухе, как будто ни на чём — на невидимом, немом натяге сочувственной общественной плёнки, — я с благодарною теплотой, совсем неожиданно для себя узнал поддержку и мирового братства писателей. В день моего 50-летия я изумлён был, получив поздравления от известных европейских писателей. Никакое давление на меня не стало проходить незамеченным. В опасные для меня недели исключения из писательского союза — стена защиты, выдвинутая видными писателями мира, предохранила меня от худших гонений, а норвежские писатели и художники на случай грозившего мне изгнания с родины гостеприимно готовили мне кров. Наконец, и само выдвижение меня на Нобелевскую премию возбуждено не в той стране, где я живу и пишу, но — Франсуа Мориаком и его коллегами. И, ещё позже того, целые национальные писательские объединения выразили поддержку мне.

Так я понял и ощутил на себе: мировая литература — уже не отвлечённая огибающая, уже не обобщение, созданное литературоведами, но некое общее тело и общий дух, живое сердечное единство, в котором отражается растущее духовное единство человечества. Ещё багровеют государственные границы, накалённые проволокою под током и автоматными очередями, ещё иные министерства внутренних дел полагают, что и литература — «внутреннее дело» подведомственных им стран, ещё выставляют-

ся газетные заголовки: «не их право вмешиваться в наши внутренние дела!», — а между тем *внутренних дел* вообще не осталось на нашей тесной Земле! И спасение человечества только в том, чтобы всем было дело до всего: людям Востока было бы сплошь небезразлично, что думают на Западе; людям Запада — сплошь небезразлично, что совершается на Востоке. И художественная литература — из тончайших, отзывчивейших инструментов человеческого существа — одна из первых уже переняла, усвоила, подхватила это чувство растущего единства человечества. И вот я уверенно обращаюсь к мировой литературе сегодняшнего дня — к сотням друзей, которых ни разу не встретил въявь и может быть никогда не увижу.

Друзья! А попробуем пособить мы, если мы чего-нибудь стоим! В своих странах, раздираемых разноголосицей партий, движений, каст и групп, кто же искони был силою не разъединяющей, но объединяющей? Таково по самой сути положение писателей: выразителей национального языка — главной скрепы нации — и самой земли, занимаемой народом, а в счастливом случае и национальной души.

Я думаю, что мировой литературе под силу в эти тревожные часы человечества помочь ему верно узнать самого себя вопреки тому, что внушается пристрастными людьми и партиями; перенести сгущённый опыт одних краёв в другие, так чтобы перестало у нас двоиться и рябить в глазах, совместились бы деления шкал, и одни народы узнали бы верно и сжато истинную историю других с тою силой узнавания и болевого ощущения, как будто пережили её сами, — и тем обережены бы были от запоздалых жестоких ошибок. А сами мы при этом быть может сумеем развить в себе и *мировое зрение*: центром глаза, как и каждый человек, видя близкое, краями глаза начнём вбирать и то, что делается в остальном мире. И соотнесём, и соблюдём мировые пропорции.

И кому же, как не писателям, высказать порица-

ние не только своим неудачным правителям (в иных государствах это самый лёгкий хлеб, этим занят всякий, кому не лень), но — и своему обществу, в его ли трусливом унижении или в самодовольной слабости, но — и легковесным броскам молодёжи, и юным пиратам с замахнутыми ножами?

Скажут нам: что ж может литература против безжалостного натиска открытого насилия? А: не забудем, что насилие не живёт одно и не способно жить одно: оно непременно сплетено с ложью. Между ними самая родственная, самая природная глубокая связь: насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а лжи нечем удержаться, кроме как насилием. Всякий, кто однажды провозгласил насилие своим методом, неумолимо должен избрать ложь своим принципом. Рождаясь, насилие действует открыто и даже гордится собой. Но едва оно укрепится, утвердится, — оно ощущает разрежение воздуха вокруг себя и не может существовать дальше иначе, как затуманиваясь в ложь, прикрываясь её сладкоречием. Оно уже не всегда, не обязательно прямо душит глотку, чаще оно требует от подданных только присяги лжи, только соучастия во лжи.

И простой шаг простого мужественного человека: не участвовать во лжи, не поддерживать ложных действий! Пусть э т о приходит в мир и даже царит в мире, — но не через меня. Писателям же и художникам доступно большее: *победить ложь*! Уж в борьбе-то с ложью искусство всегда побеждало, всегда побеждает! — зримо, неопровержимо для всех! Против многого в мире может выстоять ложь, — но только не против искусства.

А едва развеяна будет ложь, — отвратительно откроется нагота насилия — и насилие дряхлое падёт.

Вот почему я думаю, друзья, что мы способны помочь миру в его раскалённый час. Не отнекиваться безоружностью, не отдаваться беспечной жизни, — но выйти на бой!

В русском языке излюблены пословицы о *правде*.

Они настойчиво выражают немалый тяжёлый народный опыт, и иногда поразительно:

ОДНО СЛОВО ПРАВДЫ ВЕСЬ МИР ПЕРЕТЯНЕТ.

Вот на таком мнимо-фантастическом нарушении закона сохранения масс и энергий основана и моя собственная деятельность, и мой призыв к писателям всего мира.

1972

НА ВОЗВРАТЕ ДЫХАНИЯ И СОЗНАНИЯ

(По поводу трактата А. Д. Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе»)

Эта статья была написана 4 года назад, но не отдана в Самиздат, лишь самому А. Д. Сахарову. Тогда она была в Самиздате нужней и прямо относилась к известному трактату. С тех пор Сахаров далеко ушёл в своих воззрениях, в практических предложениях, и сегодня к нему статья уже мало относится, она уже не полемика с ним.

Так теперь поздно! — возразят. То ли еще у нас н е п о з д н о! Мы и полстолетия ничего не успевали ни называть, ни обмысливать, нам и через 50 лет ничто не поздно. Потому что напечатана у нас — пустота! Во всяком таком опоздании — характерная норма послеоктябрьской русской жизни.

Не поздно потому, что в нашей стране на тех мыслях, которые Сахаров прошёл, миновал, ещё коснеет массивный слой образованного общества. Не поздно и потому, что, видимо, ещё немалые круги на Западе разделяют те надежды, иллюзии и заблуждения.

1

Кажется, мучителен переход от свободной речи к вынужденному молчанию. Какая мука живому, привыкшему думать обществу с какого-то декретного дня утерять право выражать себя печатно и публично, а год от году замкнуть уста и в дружеском разговоре и даже под семейной кровлей.

Но и обратный переход, ожидающий скоро нашу страну, — возврат дыхания и сознания, переход от молчания к свободной речи, — тоже окажется и труден и долог, и снова мучителен — тем крайним, про́пастным непониманием, которое вдруг зинет между соотечественниками, даже ровесниками, даже земляками, даже членами одного тесного круга.

За десятилетия, что мы молчали, разбрелись наши мысли на семьдесят семь сторон, никогда не перекликнувшись, не опознавшись, не поправив друг друга. А штампы принудительного мышления, да не мышления, а диктованного рассуждения, ежедённо втолакиваемые через магнитные гло́тки радио, размноженные в тысячах газет-близнецов, еженедельно конспектируемые для кружков политучёбы, — изуродовали всех нас, почти не оставили неповреждённых умов.

И теперь, когда умы даже сильные и смелые пытаются распрямиться, выбиться из кучи дряхлого хлама, они несут на себе все эти злые тавровые выжжины, кособокость колодок, в которые загнаны были незрелыми, — а по нашей умственной разъединённости ни на ком не могут себя проверить.

Мы же, остальные, до того иссохли в десятилетиях лжи, до того изжаждались по дождевым капелькам правды, что как только упадут они нам на лицо — мы трепещем от радости: «наконец-то!», мы прощаем и вихри пыли, овеявшие их, и тот лучевой распад, который в них ещё таится. Так радуемся мы каждому словечку правды, до последних лет раздавленному, что этим первым нашим выразителям прощаем и всю приблизительность, и всякую неточность, и долю заблуждения даже бо́льшую, чем доля истины, — только за то, что «хоть что-то сказано!», «хоть что-то наконец!».

Всё это испытали мы, читая статью академика Сахарова и слушая отечественные и международные отклики на неё. С биением сердца мы узнали, что наконец-то разорвана непробудная, уютная, удобная дрёма советских учёных: делать своё научное дело,

за это — жить в избытке, а за это — не мыслить выше пробирки. С освобождающей радостью мы узнали, что не только западные атомники мучимы совестью, — но вот и в наших просыпается она!

Уже это одно делает бесстрашное выступление Андрея Дмитриевича Сахарова крупным событием новейшей русской истории.

Работа эта находит путь к нашему сердцу прежде всего своею честностью в оценках. Многие события и явления называются так, как мы тайно думаем, но по трусости боимся высказать. Режим Сталина назван среди «демагогических, лицемерных, чудовищно-жестоких полицейских режимов»; сказано, что в отличие от гитлеризма сталинизм носит «гораздо более изощрённый наряд лицемерия и демагогии» с опорой на «социалистическую идеологию, которая явилась удобной ширмой». Упомянуты и «грабительские заготовки» продуктов и «почти крепостное закабаление крестьянства», правда — в прошлом, но есть и о сегодняшнем: «большое имущественное неравенство между городом и деревней», «40 % населения нашей страны оказывается в очень трудном экономическим положении» (по контексту, по намёку речь идёт о *бедности*, но в отношении *своей* страны язык не выговаривает); напротив, 5 % «начальства» так же привилегированы, «как аналогичная группировка в США». И даже больше! — хотели бы мы возразить, но разъяснения автора опережают нас: привилегии управляющей группировки в нашей стране — т а й н ы, «дело не чисто», тут «имеет место подкуп верных слуг существующей системы», в прошлом — «зарплата в конвертах», сейчас — «закрытое распределение дефицитных продуктов, товаров и разных услуг, привилегии в курортном обслуживании». Сахаров высказывается против недавних политических процессов, против цензуры, против новых антиконституционных законов. Он указывает, что «партия с такими методами убеждения и воспитания вряд ли может

претендовать на роль духовного вождя человечества». Он протестует против подчинения интеллигенции партийным чиновникам под прикрытием «интересов рабочего класса». Разоблачение сталинизма он требует «довести до полной правды, а не до... кастовой целесообразности», он справедливо требует «всенародного расследования архивов НКВД» и полной амнистии сегодняшним политзаключённым. И даже в наиболее неприкасаемой *внешней* политике возлагает на СССР «косвенную ответственность» за арабо-израильский конфликт.

Впрочем, если не этот уровень смелости, то этот уровень анализа доступен и другим нашим соотечественникам, только молчунам. Сахаров же, с уверенностью крупного учёного, подымает нас на более высокую обзорную точку зрения. Короткими ударами лекторской палочки он разваливает тех истуканов, те экономические мифы 20—30-х годов, которые и мёртвыми завораживают уже полвека всю нашу учащуюся молодёжь — да так и до старости.

Сахаров разрушает марксистский миф, что капитализм «приводит в тупик производительные силы» или «всегда приводит к абсолютному обнищанию рабочего класса»*. Экономическое соревнование систем, со школьных плакатов запомненное нами как социалистический конь, прыгающий через капиталистическую черепаху, он впервые в нашей стране представляет в истинных соотношениях. Сахаров напоминает о «бремени технического и организационного риска разработочных издержек, которое ложится на страну, лидирующую в технике», и с большим

---

* Впрочем, это выговаривает он чрезмерно смягчённо («не всегда»). В современных экономических работах доказано, что *после* мануфактурного периода капитализм — вопреки Марксу — *не* эксплуатирует рабочих, что главные ценности создаются *не* трудом рабочих, а умственным трудом — организацией и механизацией. Рабочие же, особенно вследствие удачных забастовок, получают всё большую и большую долю продукта, *не выработанную* ими.

знанием дела перечисляет важные технические заимствования, обогатившие СССР за счёт Запада; напоминает, что сталь да чугун — это отрасли традиционные и «догонка» в них ничего не доказывает, а в отраслях поистине ведущих — мы устойчиво позади. Разрушает Сахаров и миф о пауках-миллионерах: они — «не слишком серьёзное экономическое бремя» по их малочисленности, напротив, «революция, которая приостанавливает экономическое развитие более чем на 5 лет, не может считаться экономически выгодной для трудящихся» (да уж просто скажем: убийственна). Что касается СССР, то свален миф о магическом соцсоревновании («не играет серьёзной экономической роли») и напомнено: все эти десятилетия «наш народ работал с предельным напряжением, что привело к определённому истощению ресурсов нации».

Правда, такая ломка молитвенных истуканов не даётся легко, Сахаров там и здесь без надобности смягчает: лишь «определённое» истощение; и — «в обеспечении высокого уровня жизни... капитализм и социализм сыграли вничью» (уж где там!..). Но сам переступ через запретную черту — посметь судить о том, о чём никто не смел, кроме Основоположников, — выводит нашего автора далеко вперёд. Если при капиталистическом строе обнаруживается не сплошное загнивание, а «продолжается развитие производительных сил», то «социалистический мир не должен разрушать породившую его почву» — «это было бы самоубийством человечества», ядерной войной. (Наша пропаганда не любит признавать ядерную войну самоубийством человечества, но — непременным торжеством социализма.) Сахаров советует верней того: отказаться от «эмпирико-конъюнктурной внешней политики», от «метода максимальных неприятностей противостоящим силам без учёта общего блага и общих интересов»; СССР и Соединённым Штатам перестать быть противниками, перейти к совместной бескорыстной широчайшей помощи отсталым странам, а из высших целей

внешней политики пусть будет международный контроль за соблюдением «Декларации прав человека».

Не упускает автор перечислить и главнейшие опасности для нашей цивилизации, черты гибели среды обитания человечества, и широко ставит задачу спасения её.

Таков уровень благородной статьи Сахарова.

2

Но предлагаемый отзыв пишется не для того, чтобы присоединиться к хору похвал: кажется, их и так перевес. Вселяет тревогу, что многие опорные, недояснённые, а иногда и неверные положения статьи Сахарова могут перелиться теперь в развитие свободной русской мысли и исказить, задержать её ход.

Призна́емся: мы сейчас концентрированно, с повышенной плотностью вместили тут лучшее, что видим в статье Сахарова. На самом же деле это всё сказано у него не на едином стержне, не с энергией, но с разрежениями, смягчениями, а главное — в чересполосице с утверждениями противоположными и часто взятыми уровнем ниже.

Заметную погрешность статьи мы видим в том, что она щедра вниманием ко внутренним проблемам *других* стран — Греции, Индонезии, Вьетнама, Соединённых Штатов, Китая, тогда как внутренняя ситуация в СССР освещается (точней — обделяется светом) как можно более благожелательно. Но это — топкая точка зрения. Рассуждать о международных проблемах, а тем пуще о проблемах других стран мы имеем моральное право лишь после того, как осознаем *свои* внутренние проблемы, покаемся в пороках своих. Чтоб иметь право рассуждать о «трагических событиях в Греции», надо прежде посмотреть, не трагичней ли события у нас. Чтобы доглядываться издали, как «от американского народа пы-

таются скрыть... цинизм и жестокость...», надо прежде хорошо оглянуться: а б л и ж е — нет ничего похожего? да когда не «пытаются», а когда отлично удаётся? И если уж «трагизм нищеты... 22 миллионов негров», то не нищей ли 50 миллионов колхозников? И не упустить, что «трагикомические формы культа личности» в Китае лишь с малым изменением (и не всегда к худшему) повторяют наши смердящие 30-е годы.

Это беда — наша въевшаяся, общая. С самого начала, как в Советском Союзе звонко произнесли и жирно написали «самокритика», — всегда то была *его*критика. Десятилетиями нам внушали наше социалистическое превосходство, а судить-рядить разрешали только о чужом. И когда теперь задумываемся мы говорить о своём, — бессознательная жажда смягчения отклоняет наши перья от суровой линии. Трудно возвращается к нам свободная мысль, трудно привыкнуть к ней сразу сполна и со всего горька́. Называть вслух пороки нашего строя и нашей страны робко кажется грехом против патриотизма.

Эта избирательная смирённость со «своим» при строгости к чужому проявляется в сахаровской работе не раз, начиная с первой же её страницы: в кардинальной оговорке автора, что хотя цель его работы — способствовать разумному сосуществованию «мировых идеологий», здесь «не идёт речь об идеологическом мире с теми фанатичными, сектантскими и экстремистскими идеологиями, которые отрицают всякую возможность сближения с ними, дискуссии и компромиссы, например с идеологиями фашистской, расистской, милитаристской или маоистской». И — всё. И в перечислении — точка.

Ненадёжный, обвалистый вход в такую важную работу! — не придушимся ли мы под этим сводом? Хотя и сказано «например», хотя, значит, список непримиримых идеологий ещё не полон, — но по какой странной скромности пропущена здесь именно та идеология, которая ещё на заре XX века объяви-

ла все компромиссы «гнилыми» и «предательскими», все дискуссии с инакомыслящими — пустой и опасной болтовнёй, единственным решением социальных задач — оружие, а деление мира — в двух цветах: «кто не с нами — тот против нас»? С тех пор эта идеология имела огромный успех, она окрасила собою весь XX век, ознобила три четверти Земли, — отчего же Сахаров не упоминает *её*? Считает ли он, что с нею можно столковаться мягким убеждением? О, если бы! Но ещё никто не наблюдал подобного случая, эта идеология нисколько не изменилась в своей неуклонности и непримиримости. Подразумевает ли он её в тёмном приглубке, в непросвеченном «например»?

Абзацем ниже Сахаров называет среди «крайних выражений догматизма и демагогии», в ряду тех же расизма и фашизма — уже и сталинизм. Но это — худая подмена.

В Советском Союзе после 1956 года никакой особой смелости, новизны, открытия нет — назвать «сталинизм» как нечто дурное. Официально так у нас не принимается, но в общественности разошлось широко и часто произносится устно. Написать «сталинизм» в таком перечне в годах сороковых или тридцатых было бы и отвагой и мудростью — когда «сталинизм» воплощался могучей действующей системой, достаточно показавшей себя и у нас в стране и уже в Восточной Европе. Но в 1968 году ссылаться на «сталинизм» есть подстановка, маскировка, уход от проблемы.

Справедливо усумниться: а е с т ь ли такой отдельный «сталинизм»? *Существовал ли он когда?* Сам Сталин никогда не утверждал ни своего отдельного учения (по низкому умственному уровню он и не мог бы построить такого), ни своей отдельной политической системы. Все сегодняшние поклонники, избранники и плакальщики Сталина в нашей стране, а также последователи его в Китае гранитно стоят на том, что Сталин был верный ленинец и никогда ни в чём существенном от Ленина не отсту-

пил. И автор этих строк, в своё время попавший в тюрьму именно за ненависть к Сталину и за упрёки, что тот отступил от Ленина, сегодня должен признаться, что таких существенных отступлений не может найти, указать, доказать.

Земля, в революцию данная крестьянам, а вскоре (Земельный устав 1922 года) отобранная в государственную собственность? Заводы, обещанные рабочим, но в тех же неделях подчинённые централизованному управлению? Профсоюзы на службе не у масс, а у государства? Военная сила для подавления национальных окраин (Закавказье, Средняя Азия, Прибалтика)? Концентрационные лагеря (1918-21)? Бессудная расправа (ЧК)? Жестокий разгром и ограбление церкви (1922)? Соловецкие зверства (с 1922)? Всё это — никак не Сталин по годам, по степени власти. (Сахаров предлагает восстановить «ленинские принципы общественного контроля над местами заключения», — не пишет, какого именно года принципы? в каких лагерях проявленные? Ведь после ранних Соловков Ленина уже не было в живых.) К Сталину отнесём кровавое насаждение коллективизации, — но расправы с тамбовским (1920-21) и сибирским (1921) крестьянскими восстаниями не были мягче, они лишь не захватывали всей страны. Сочли бы за ним усиленную искусственную индустриализацию с подавлением лёгкой промышленности, — так и это не Сталиным придумано.

Разве только в одном Сталин явно отступил от Ленина (но и повторяя общий закон всех революций): в расправе над *собственной партией*, начиная с 1924 года и возвышаясь к 1937. Так не в этом ли решающем отличии и видят наши нынешние передовые историки тот признак, по которому «сталинизм» попадает в исключительный список античеловеческих идеологий, попадает без своей материнской?

«Сталинизм» — это очень удобное понятие для тех наших «очищенных» марксистских кругов, которые силятся отличаться от официальной линии, на

самом деле отличаясь от неё ничтожно. (Типичным представителем этой линии можно назвать Роя Медведева.) Для той же цели ещё важней и нужней понятие «сталинизма» западным компартиям — чтобы сбросить на него всё кровавое бремя прошлого и тем облегчить свои сегодняшние позиции. (Сюда относятся коммунистические теоретики, как Г. Лукач, И. Дойчер.) И — даже обширным леволиберальным кругам Запада, которые при жизни Сталина аплодировали цветным картинкам нашей жизни, а после XX съезда оказались в жестоком просаке.

Но пристальное изучение нашей новейшей истории показывает, что *никакого сталинизма* (ни — учения, ни — направления жизни, ни — государственной системы) не было, как справедливо утверждают официальные круги нашей страны, да и руководители Китая. Сталин был хотя и очень бездарный, но очень последовательный и верный продолжатель *духа* ленинского учения.

А нам на возврате дыхания после обморока, в проблесках сознания после полной темноты, — нам так трудно вернуть себе сразу отчётливое зрение, нам так трудно брести поперёк нагороженных стен, между наставленных истуканов.

Касанием лекторской палочки Сахаров разворaживает и в прах рассыпает одни, а другие минует с почтением, оставляет ложно стоять.

Теперь если все эти «непримиримые идеологии» оставить в оговорке, в исключении (и даже расширить их список), — то с к а к и м и же идеологиями Сахаров предлагает сосуществование? С либеральной да с христианской? Так от них и так ничто миру не грозит, они и так в дискуссии всегда. А вот с этим зловещим списком что делать? В нём несколько многовато идеологий прошлого и — настоящего.

И какова же тогда цена ожидаемой и призываемой «конвергенции»?..

А где гарантии, что непримиримые идеологии не будут возникать и в будущем?

В этой же работе так трезво оценив губительное

экономическое разорение от революций, Сахаров предусматривает «для революционной и национально-освободительной борьбы», «когда не остаётся других средств, кроме вооружённой борьбы», — «возможность решительных действий». «Существуют ситуации, когда революции являются единственным выходом из тупика». Это опять-таки — не собственное противоречие автора, но поддался он общему перекосу эпохи: все революции в общем одобрять, все «контрреволюции» безоговорочно осуждать. (Хотя в смене насилий, вызывающих одно другое, кто провёл временну́ю грань, кто указал тот инкубаторный срок, до истечения которого насильственный переворот ещё называется контрреволюцией, а после — уже новой революцией?)

Неполнота освобождения от чужих навязанных модных догм всегда накажет нас неравномерной ясностью зрения, опрометчивыми формулировками. Вот и вьетнамскую войну характеризует Сахаров, как принято у *мировой прогрессивной общественности*, — как войну «сил реакции» против «народного волеизъявления». А когда приходят по тропе Хо Ши Мина регулярные дивизии — это тоже «народное волеизъявление»? А когда «регулярные» партизаны поджигают деревни за их нейтралитет и автоматами понуждают мирное население к действиям — это отнесём к «народному волеизъявлению» или к «силам реакции»? Нам ли, русским, с опытом своей гражданской войны так поверхностно судить о вьетнамской?.. Нет, не пожелаем ни «революции», ни «контрреволюции» даже врагам!

Массовое насилие только дозволь в самом малом объёме, — а там сразу прикатит помощь «передовых» и «реакционных» сил, а там накалится на весь континент, гляди и до атомного рубежа. И что ж остаётся от «мирного сосуществования», вынесенного в заголовок?

3

Среди неприкасаемых статуй бережно обходит наш автор и *социализм* — настолько несомненный для всех, что не подлежит и дискуссионному выносу в заголовок. В превознесении социализма Сахаров даже и чрезмерен. Как о всеизвестном, не требующем доказательств, пишет он о «высоких нравственных идеалах социализма», о «морально-этическом характере социалистического пути» и даже называет это своим «основным выводом» (а верней, очевидно, — основным нравственным пожеланием).

Но: нигде в социалистических учениях не содержится внутреннее требование нравственности как сути социализма, — нравственность лишь обещается как самовыпадающая манна после обобществления имуществ. Соответственно: нигде на Земле нам ещё в натуре не был показан нравственный социализм (и даже такое словосочетание, предположительно обсуждённое мною в одной из книг, было сурово осуждено ответственными ораторами). Да что говорить о «нравственном социализме», когда неизвестно: вообще ли социализм всё то, что нам называют и показывают как социализм. Он — в природе-то есть ли?

Уверяет Сахаров, что социализм «как никакой другой строй... возвеличил нравственное значение труда», что «только социализм поднял труд до вершины нравственного подвига». Но на сельских пространствах нашей страны, где всегда только и жили трудом, весь интерес жизни содержали в труде, — труд именно при «социализме» стал заклятым бременем, от которого бегут. И добавим — по всем нашим пространствам и дорогам самый тяжёлый чёрный труд, исполняемый женщинами с тех пор, как мужчины пересели на механизмы или перешли на руководство. И — насильственные трудовые мобилизации горожан ежесезонно. И даже — для миллионов служащих за канцелярскими столами труд обрыдлый, ненавистный. Не перечисляя далее: почти

не видел я в нашей стране людей, для кого желанным днём недели был бы понедельник, а не суббота. А сравнивая качество сегодняшней каменной кладки с кладкою прежних веков, особенно старых церквей, невольно склонишься искать «нравственный подвиг» где-то *раньше.*

Да всё это знает, конечно, и Сахаров, и сказываются тут не ошибки его личного мнения, но повальный гипноз целого поколения, которое не может очнуться сразу ото всего, стряхнуть с себя нагромождение сразу *всех* политучёб. Оттого читаем: «социалистическая оплата — по количеству и качеству труда», хотя такая оплата под названием сдельной существует, сколько мир стоит. Напротив, всё, что Сахаров видит в реальном социализме дурного, «лицемерие и показной рост... с утерей качественных характеристик», он почему-то не относит к социализму, а к некоему «сталинскому лжесоциализму». «Некоторые нелепости нашего развития не были естественным следствием социалистического пути, а явились своего рода трагической случайностью». А доказательства? — в газетах?

Под тем же гипнозом нашего поколения Сахаров пренебрежительно оценивает национализм — как некую периферийную помеху, мешающую светлому движению человечества, но впрочем обречённую на скорое исчезновение.

Ан крепок оказался этот орешек для жерновов интернационализма. Вперерез марксизму явил нам XX век неистощимую силу и жизненность национальных чувств и склоняет нас глубже задуматься над загадкой: почему человечество так отчётливо квантуется нациями не в меньшей степени, чем личностями? И в этом граненьи на нации — не одно ль из лучших богатств человечества? И — надо ли это стирать? И — можно ли это стереть?

Пренебрегая живучестью национального духа, Сахаров упускает и возможность существования в нашей стране живых национальных сил. Это прорывается даже комично в том месте, где он перечисля-

ет «прогрессивные силы нашей страны» — и кого же видит? — «левых коммунистов-ленинцев» да «левых западников». И только?.. Были бы мы действительно духовно нищи и обречены, если бы лишь этими силами исчерпывалась сегодняшняя Россия.

В заголовок статьи вынесен *прогресс* — технический, экономический, социальный, прогресс в традиционном общем понимании, и его тоже оставляет Сахаров в числе нетронутых неповерженных истуканов, хотя собственные его, рядом, экологические соображения подводят к тому, что «прогресс» завёл человечество в опасности по меньшей мере тяжёлые. В социальной области автор считает «величайшим достижением» «систему образования под государственным контролем» и выражает «озабоченность, что ещё не стал реальностью научный метод руководства... искусством». (Дрожь пробирает.) Говоря о чисто научном прогрессе, Сахаров довольно одобрительно рисует нам перспективы: «создание искусственного сверхмозга», «контролировать и направлять все жизненные процессы на... организменном... и социальном уровнях... до психических процессов и наследственности включительно».

Такие перспективы по нашему понятию близки к концентрированному земному аду, и тут многое могло бы вызвать недоумение и резкий протест, если бы при повторном чтении всего трактата не обнаруживалось, что он не должен быть читаем формально, буквально и с придирками к деталям. Что главная суть трактата не в том, что по поверхности выражено и иногда даже акцентировано, — не политическая терминология и не интеллектуальные построения, а движущее его нравственное беспокойство автора и душевная широта его предложений, далеко не всегда точно и удачно выраженных.

Так и с техническими перспективами прогресса. Сахаров предупреждает — политиков, учёных и всех нас — что понадобятся «величайшая научная предусмотрительность и осторожность, величайшее внимание к общечеловеческим ценностям», и ясно,

что такой призыв не есть практическая программа, что просить политиков о величайшем внимании к общечеловеческим ценностям или учёных о предусмотрительности в своих открытиях — это тесовые загородочки хлипкие, уж сколькие в той шахте на дне. За всю историю науки от чего нас спасла та научная предусмотрительность? Если и спасла когда, так мы того случая обычно не знаем: одинокий учёный сжёг свой чертёж, сжёг и не показал.

Сам Сахаров своего чертежа — вовремя не сжёг. И тем-то теперь, может быть, угрызаем и с той-то болью выходит теперь на площадь передо всем человечеством сразу — с воззывом: хотя бы *начать кончать* зло, хотя бы перед новыми худшими бедами остановиться! Он и сам знает, что осторожности — мало, что «величайшего внимания» — мало, но в его руках — нет его страшного изобретения, его ладони безоружно и дружески открыты нам, и он не столько учит нас, сколько увещает человекодушно.

Так и надежды Сахарова на конвергенцию не есть обоснованная научная теория, но нравственная жажда — покрыть атомный грех человечества, избежать атомной катастрофы. (В решении нравственных задач человечества перспектива конвергенции довольно безотрадна: два страдающих пороками общества, постепенно сближаясь и превращаясь одно в другое, чтó могут дать? — общество, безнравственное вперекрест.)

И призывы «не расширять зон влияния», «не создавать трудностей другой стране», пусть «все страны стремятся ко взаимопомощи», а великие державы добровольно отдают отсталым странам 20 % своего национального дохода — это ведь тоже не практическая политика и не претендует быть таковой, это тоже — нравственный призыв. И внутри страны «запрещение всех привилегий» — тоже лишь сердечный возглас, а не практическая задача «левым коммунистам» да «левым западникам», — ибо где ж им накопить такую заставляющую силу? Да и разве можно привилегии устранить «запре-

том», декретом? У нас их уже свинцом и огнём «запрещали», но из-под руки они тут же попёрли опять, лишь хозяев сменили. Привилегии устранимы только всеобщею перестройкой сознания, чтоб они для самих владетелей не манящими стали, а морально отвратительными. Устранение привилегий — задача нравственная, а не политическая, и Сахаров так это и чувствует, так к этому и относится, но для нашего поколения утерян письменный язык нравственных сочинений, и наш автор вынужденно использует подручный невыразительный политический язык. Например, о сталинизме: «кровь и грязь запачкали наше знамя», — ну, ясно же, что не о «знамени» печётся наш автор, а выражает тем: душу нашу загадили, развратили нас всех!

Вся эта неприменимость расхожего языка и расхожих наших понятий к глубокому нравственному переживанию автора сказывается во многих местах трактата, сказывается и в заголовке, куда тоже не вместилось главное чувство А. Д. Сахарова, и оттого заголовок так длинен и перечислителен.

В этот заголовок ещё вынесена *интеллектуальная свобода.* Именно в ней видит Сахаров «ключ к прогрессивной перестройке государственной системы в интересах человечества».

Действительно, в нашей стране интеллектуальная свобода преобразила бы многое сейчас, помогла бы очиститься от многого. *Сейчас*, из той впадины тёмной, куда мы завалены. Но глядя далеко-далеко вперёд: а Запад? Уж Запад-то захлебнулся от всех видов свобод, в том числе и от интеллектуальной. И что же, спасло это его? Вот мы видим его сегодня: на оползнях, в немощи воли, в темноте о будущем, с раздёрганной и сниженною душой. Сама по себе безграничная внешняя свобода далеко не спасает нас. Интеллектуальная свобода — очень желанный дар, но как и всякая свобода — дар не самоценный, а — проходной, лишь разумное условие, лишь средство, чтобы мы с его помощью могли бы достичь какой-то другой цели, высшей.

Соответственно требованию свободы Сахаров предлагает допустить в «социалистических» странах многопартийную систему. Препятствия этому, разумеется, — со стороны власти, не со стороны общества. Но и с нашей стороны — попробуем возвыситься взглядом даже и над западными представлениями: в многопартийной парламентской системе не разглядим ли мы тоже некоего истукана, только уже всемирного? Partia — это *часть.* Всякая партия, сколько знает их история, всегда защищает интересы этой части против — кого же? против остальной части этого народа. И в борьбе с другими партиями она пренебрегает справедливостью для выгоды: вождь оппозиции (кроме разве Англии) не похвалит правительство за хорошее — это подорвёт интересы оппозиции; а премьер-министр не признается честно публично в ошибках — это подорвёт позиции правящей партии. А если в выборной борьбе можно тайно применить нечестный приём, — то отчего ж его не применить? А своих членов, меньше ли, больше ли, всякая партия нивелирует и подавляет. От всего этого общество, где действуют политические партии, не возвышается в нравственности. И в сегодняшнем мире всё больше проступает сомнение, и маячит нам поиск: а нельзя ли возвыситься и над парламентской много- или двухпартийной системой? не существует ли путей внепартийного, вовсе *беспартийного* развития наций?

Интересно, что Сахаров, похваливая западную демократию и превознося социализм, сам предлагает для будущего всеземного общества... ни то и ни другое, но проговаривается о совсем другой мечте: «очень интеллигентное... общемировое руководство», «мировое правительство» — явно невозможное ни при демократии, ни при социализме, ибо каким же общим голосованием, когда и где может быть избрана умственная элита в правительство? Это уже совсем иной принцип — власти *авторитарной*, которая могла бы оказаться либо дурной, либо отличной, но способы её создания, принципы её построения и

функционирования ничего общего не могут иметь с современной демократией.

Кстати и здесь: эту элиту для мирового правительства Сахаров мыслит, называет интеллектуальной, а предчувствует — нравственной, в духе этой своей работы, в своём мироощущении.

Упрекнут, что, критикуя полезную статью академика Сахарова, мы сами как будто не предложили ничего конструктивного.

Если так — будем считать эти строки не легкомысленным концом, а лишь удобным началом разговора.

1969

4

(Добавление 1973 года)

Четыре года спустя, решая включить эту прежнюю статью в нынешний сборник, я должен развить ту мысль, на которой статья была прервана.

Среди советских людей, имеющих неказённый образ мнений, почти всеобщим является представление, что нужно нашему обществу, чего следует добиваться, к чему стремиться: свобода и парламентская многопартийная система. Сторонники этого взгляда объемлют и всех сторонников социализма и шире того. Это представление столь единодушно, что возразить ему даже выглядит неприлично (в кругах неофициальных, разумеется).

В этом почти полном единодушии сказывается наша традиционная пассивная подражательность Западу: пути для России могут быть только повторительные, напряженье большое искать иных. Как

метко сказал Сергей Булгаков: «Западничество есть духовная капитуляция перед культурно сильнейшим.»*

Традиция — давняя, традиция дореволюционной русской интеллигенции, которая не холоднокровно, но жертвенно, но иногда отдавая и жизнь, считала целью своей и народной: свободу (народа) и счастье (народа). Как это осуществилось — знает история. Но независимо от того: вдумаемся в самый лозунг.

Не входит в нашу тему, но: что понималось под народным *счастьем*? В основном: *не*нищета, материальное благосостояние (вполне совпадающее и с сегодняшним официальным: непрерывный рост материального уровня). Сегодня, я думаю, и без дискуссии можно признать, что для *цели*, да ещё нескольких поколений, да ещё с миллионными кровавыми жертвами, этого маловато. Духовный же сектор счастья хотя и подразумевался кадетской интеллигенцией (социалистической меньше), но очень смутно, это труднее было вообразить себе за малопонятный народ: главным образом, конечно, гражданское равенство, образование (западное), отчасти может быть хороводы, даже и обряды, но уж конечно не чтение Житий святых или религиозные диспуты. Всеобщее убеждение выразил Короленко: «Человек создан для счастья, как птица для полёта.» И эту формулировку тоже переняла наша сегодняшняя пропаганда: и человек и общество имеют целью — «счастье»...

Хотя кадетская партия для большей близости с народом и назвала себя «партией народной свободы», однако требование «свободы» и понятие о «свободе» весьма слабо были в нашем народе развиты. В своей крестьянской массе народ жаждал *земли*, а это лишь в некотором смысле свобода, в некотором смысле богатство, а в некотором (главном) — обязанность, а в некотором (высшем) — мистическая связь с миром и ощущение самоценности.

Внешняя свобода сама по себе — может ли быть целью сознательно живущих существ? Или она — только форма для осуществления других, высших задач? Мы рождаемся уже существами с

---

* *С. Булгаков*. Два града. М.: Путь, 1911. Т. 1. От автора, с. XX.

внутреннею свободой, свободой воли, свободой выбора, главная часть свободы дана нам уже в рождении. Свобода же внешняя, общественная — очень желательна для нашего неискажённого развития, но не больше как условие, как среда, считать её *целью* нашего существования — бессмыслица. Свою внутреннюю свободу мы можем твёрдо осуществлять даже и в среде внешне несвободной (насмешка Достоевского: «среда заела»). В несвободной среде мы не теряем возможности развиваться к целям нравственным (например: покинуть эту землю лучшими, чем определили наши наследственные задатки). Сопротивление среды награждает наши усилия и бóльшим внешним результатом.

Поэтому в настойчивых поисках политической свободы как первого и главного есть промах: прежде хорошо бы представить, чтó с этой свободой делать. Такую свободу мы получили в 1917 году (и от месяца к месяцу всё бóльшую) — и как же поняли мы её? Каждому ехать с винтовкой, куда считаешь правильным. И с телеграфных столбов срезать проволоку для своих хозяйственных надобностей.

Многопартийная парламентская система, которую у нас признают единственно правильным осуществлением свободы, в иных западно-европейских странах существует уже и веками. Но вот в последние десятилетия проступили её опасные, если не смертельные пороки: когда отсутствие этической основы для партийной борьбы сотрясает сверхдержавы; когда ничтожный перевес крохотной партии между двух больших определяет надолго судьбу народа и даже смежных с ним; когда безграничная свобода дискуссий приводит к разоружению страны перед нависающей опасностью и к капитуляции в непроигранных войнах; когда исторические демократии оказываются бессильны перед кучкою сопливых террористов. Сегодня западные демократии — в политическом кризисе и в духовной растерянности. И сегодня меньше, чем всё минувшее столетие, приличествует нам видеть в западной парла-

ментской системе единственный выход для нашей страны. Тем более что готовность России к такой системе, весьма низкая в 1917 году, могла за эти полвека только снизиться.

Заметим, что в долгой человеческой истории было не так много демократических республик, а люди веками жили, и не всегда хуже. Даже испытывали то пресловутое *счастье*, иногда названное пасторальным, патриархальным, и не придуманное же литературой. И сохраняли физическое здоровье нации (очевидно так, раз нации не выродились). И сохраняли нравственное здоровье, запечатлённое хотя бы в фольклоре, в пословицах, — несравненно высшее здоровье, чем выражается сегодня обезьяньими радио-мелодиями, песенками-шлягерами и издевательскою рекламой: может ли по ним космический радиослушатель вообразить, что на этой планете уже были — и оставлены позади — Бах, Рембрандт и Данте?

Среди тех государственных форм было много и авторитарных, то есть основанных на подчинении авторитету, с разным происхождением и качеством его (понимая термин наиболее широко: от власти, основанной на несомненном авторитете, до авторитета, основанного на несомненной власти). И Россия тоже много веков просуществовала под авторитарной властью нескольких форм — и тоже сохраняла себя и своё здоровье, и не испытала таких самоуничтожений, как в XX веке, и миллионы наших крестьянских предков за десять веков, умирая, не считали, что прожили слишком невыносимую жизнь. Функционирование таких систем во многих государствах целыми веками допускает считать, что в каком-то диапазоне власти они тоже могут быть сносными для жизни людей, не только демократическая республика.

У авторитарных государственных систем при достоинствах устойчивости, преемственности, независимости от политической трясучки, само собой, есть свои большие опасности и пороки: опасность лож-

ных авторитетов, насильственное поддержание их, опасность произвольных решений, трудность исправить такие решения, опасность сползания в тиранию. Страшны не авторитарные режимы, но режимы, не отвечающие ни перед кем, ни перед чем. Самодержцы прошлых, религиозных, веков при видимой неограниченности власти ощущали свою ответственность перед Богом и собственной совестью. Самодержцы нашего времени опасны тем, что трудно найти обязательные для них высшие ценности.

Верней сказать: по отношению к истинной земной цели людей (а она не может сводиться к целям животного мира, к одному лишь беспрепятственному существованию) — государственное устройство является условием второстепенным. На эту второстепенность указывает нам Христос: «отдайте кесарево кесарю» — не потому, что каждый кесарь достоин того, а потому что кесарь занимается не главным в нашей жизни.

И если Россия веками привычно жила в авторитарных системах, а в демократической за 8 месяцев 1917 года потерпела такое крушение, то, может быть, — я не утверждаю это, лишь спрашиваю, — может быть, следует признать, что эволюционное развитие нашей страны от одной авторитарной формы к другой будет для неё естественней, плавнее, безболезненней? Возразят: эти пути совсем не видны, и новые формы тем более. Но и реальных путей перехода от нашей сегодняшней формы к демократической республике западного типа тоже нам никто ещё не указал. А по меньшей затрате необходимой народной энергии первый переход представляется более вероятным.

Государственная система, существующая у нас, не тем страшна, что она недемократична, авторитарна на основе физического принуждения, — в таких условиях человек ещё может жить без вреда для своей духовной сущности.

Всемирно-историческая уникальность нашей нынешней системы в том, что сверх всех физических и

экономических понуждений от нас требуют ещё и полную *отдачу души*: непрерывное активное участие в общей, для всех заведомой *лжи*. Вот на это растление души, на это духовное порабощение не могут согласиться люди, желающие быть л ю д ь м и.

Когда кесарь, забрав от нас кесарево, тут же, ещё настойчивей, требует отдать и Божье — этого мы ему жертвовать не смеем!

Главная часть нашей свободы — внутренняя — всегда в нашей воле. Если мы сами отдаём её на разврат — нам нет людского звания.

Но заметим: коль скоро абсолютно необходимая задача сводится не к политическому освобождению, но к *освобождению нашей души от участия в навязываемой лжи*, она и не требует никаких физических, революционных, общественных, организационных действий, митингов, забастовок или союзов, о чём нам и подумать страшно и от чего отговориться условиями вполне естественно. Нет! Она есть *всего лишь* доступный нравственный шаг каждого отдельного человека. И ни перед живущими, ни перед потомками, ни перед друзьями, ни перед детьми не оправдается никто, добровольно бегавший гончею лжи или стоявший её подпоркою.

Винить нам — некого, кроме себя, и потому не стоят ни гроша все разоблачительные анонимные памфлеты, программы и объяснения. Каждый из нас — в грязи и навозе по *собственной* воле, и ничья грязь не осветляется грязью соседей.

Октябрь 1973

РАСКАЯНИЕ И САМООГРАНИЧЕНИЕ
как категории национальной жизни

1

Блаженный Августин написал однажды: *«Чтó есть государство без справедливости? Банда разбойников.»* Разительную верность такого суждения, я думаю, охотно признают очень многие и сегодня, через 15 веков. Но заметим приём: на государство расширительно перенесено этическое суждение о малой группе лиц.

По нашей человеческой природе мы естественно судим так: обычные индивидуальные человеческие оценки и мерки применяем к более крупным общественным явлениям и ассоциациям людей — вплоть до целой нации и государства. И у разных авторов разных веков можно найти немало таких перенесений.

Однако социальные науки — чем новее, тем строже — запрещают нам такие распространения. Серьёзными, научными теперь признаются лишь те исследования обществ и государств, где руководящие приёмы — экономический, статистический, демографический, идеологический, двумя разрядами ниже — географический, с подозрительностью — психологический, и уж совсем считается провинциально оценивать государственную жизнь этическою шкалой.

А между тем люди, живя общественными скоплениями, нисколько не перестают быть людьми и в скоплениях не утрачивают (лишь огрубляют, иногда сдерживают, иногда разнуздывают) всё те же основные человеческие побуждения и чувства, всем нам известный спектр их. И трудно понять эту надменную грубизну современного направления социальных наук: почему оценки и требования, так обяза-

тельные и столь применимые к отдельным людям, семьям, малым кружкам, личным отношениям, — уж вовсе сразу отвергаются и запрещаются при переходе к тысячным и миллионным ассоциациям? На такое распространение никак не меньше оснований, чем из грубого экономического процесса выводить сложное психологическое поведение обществ. Барьер переноса во всяком случае ниже там, где сам принцип не перерождается, не требует рожденья живого из мёртвого, а лишь распространения себя на бóльшие человеческие массы.

Такой перенос вполне естественен для религиозного взгляда: не может человеческое общество быть освобождено от законов и требований, составляющих цель и смысл отдельных человеческих жизней. Но и без религиозной опоры такой перенос легко и естественно ожидается. Это очень человечно: применить даже к самым крупным общественным событиям или людским организациям, вплоть до государств и ООН, наши душевные оценки: благородно, подло, смело, трусливо, лицемерно, лживо, жестоко, великодушно, справедливо, несправедливо... Да так все и пишут, даже самые крайние экономические материалисты, ибо остаются же людьми. И ясно: какие чувства преимущественно побеждают в людях данного общества — те и окрашивают собой в данный момент всё общество, и становятся нравственной характеристикой уже всего общества. И если нéчему доброму будет распространиться по обществу, то оно и самоуничтожится или оскотеет от торжества злых инстинктов, куда б там ни показывала стрелка великих экономических законов.

И всегда открыто для каждого, даже неучёного, и представляется весьма плодотворным: не избегать рассмотрения общественных явлений в категориях индивидуальной душевной жизни и индивидуальной этики.

Мы здесь попытаемся сделать так лишь с двумя: раскаянием и самоограничением.

2

Труден ли, лёгок ли вообще этот перенос индивидуальных человеческих качеств на общество, — он труден безмерно, когда желаемое нравственное свойство самими-то отдельными людьми почти нацело отброшено. Так — с раскаянием. Дар раскаяния, может быть более всего отличающий человека от животного мира, глубже всего и утерян современным человеком. Мы повально устыдились этого чувства, и всё менее на Земле заметно его воздействие на *общественную* жизнь. Раскаяние утеряно всем нашим ожесточённым и суматошным веком.

И как же переносить на общество и нацию то, чего не существует на индивидуальном уровне? — тема этой статьи может показаться преждевременной и даже ненужной. Но мы исходим из несомненности, как она представляется нам: что и раскаяние (покаяние) и самоограничение вот-вот начнут возвращаться в личную и общественную сферу, уже подготовлена полость для них в современном человечестве. А стало быть пришло время обдумать этот путь и общенационально — понимание его не должно отстать от неизбежных самотекущих государственных действий.

Мы так заклинили мир, так подвели его к самоистреблению, что подкатило нам под горло самое время каяться: уж не для загробной жизни, как теперь представляется смешным, но для земной, но чтоб на Земле-то нам уцелеть. Тот, много раз предсказанный прорицателями, а потом отодвинутый, *конец света* — из достояния мистики подступил к нам трезвой реальностью, подготовленной научно, технически и психологически. Уже не только опасность всемирной атомной войны, это мы перебоялись, это море нам по колено, но расчёты экологов объясняют нам нас в полном капкане: если не переменимся мы с нашим истребительно-жадным *прогрессом*, то при всех вариантах развития в XXI веке

человечество погибнет от истощения, бесплодия и замусоренности планеты.

Если к этому добавить накал межнационального и межрасового напряжения, то не покажется натяжкою сказать: что без *раскаяния* вообще мы вряд ли сможем уцелеть.

Уж как наглядно, как дорого заплатило человечество за то, что во все века все мы предпочитали порицать, разоблачать и ненавидеть *других*, вместо того чтобы порицать, разоблачать и ненавидеть себя. Но при всей наглядности мы и к исходу XX века не хотим увидеть и признать, что мировая разделительная линия добра и зла проходит не между странами, не между нациями, не между партиями, не между классами, даже не между хорошими и плохими людьми: разделительная линия пересекает нации, пересекает партии и в постоянном перемещении то теснима светом и отдаёт больше ему, то теснима тьмою и отдаёт больше ей. Она пересекает сердце каждого человека, но и тут не прорублена канавкою навсегда, а со временем и с поступками человека — колеблется.

И если только э т о одно принять, тысячу раз выясненное, особенно искусством, — то какой же выход и остаётся нам? Не партийное ожесточение и не национальное ожесточение, не до мнимой *победы* тянуть все начатые накалённые движения, — но только раскаяние, поиск собственных ошибок и грехов. Перестать винить всех *других* — соседей и дальних, конкурентов географических, экономических, идеологических, всегда оправдывая лишь себя.

Раскаяние есть первая верная пядь под ногой, от которой только и можно двинуться вперёд не к новой ненависти, а к согласию. Лишь с раскаяния может начаться и духовный рост.

Каждого отдельного человека.

И каждого направления общественной мысли.

Правда, раскаявшиеся политические партии мы так же часто встречаем в истории, как тигро-голу-

бей. (Ещё политические деятели могут раскаиваться, многие не теряют людских качеств. А *партии* — видимо, вполне бесчеловечные образования, сама цель их существования запрещает им каяться.)

Зато *нации* — живейшие образования, доступные всем нравственным чувствам и, как ни мучителен этот шаг, — также и раскаянию. Ведь «идея нравственная всегда предшествовала зарождению национальности», — пишет Достоевский («Дневник писателя»; его примеры: еврейская нация создалась лишь после Моисея, многие из мусульманских — после Корана). «А когда с веками в данной национальности расшатывается её духовный идеал, так падает национальность и все её гражданские уставы и идеалы». Как же обделить нацию правом на раскаяние?

Однако тут сразу возникают недоумения, по меньшей мере такие:

(а) Не бессмысленно ли это? Ожидать раскаяния от целой нации — значит прежде допустить грех, порок, недостаток целой нации? Но такой путь мысли нам решительно запрещён, по крайней мере уже сто лет: судить о нациях в целом, говорить о качествах или чертах целой нации.

(б) Масса нации в целом не совершает единых поступков. А при многих государственных системах она даже не может ни помешать, ни содействовать решению своих руководителей. *В чем* же ей раскаиваться?

И наконец, даже если отвести два первых:

(в) Как может нация в целом выразить раскаяние? Ведь не больше чем устами и перьями одиночек?

Попытаемся ответить на эти вопросы.

3

(а) Именно тот, кто оценивает существование наций наиболее высоко, кто видит в них не временный плод социальных формаций, но сложный яр-

кий неповторимый и не людьми изобретенный организм, — тот признаёт за нациями и полноту духовной жизни, полноту взлётов и падений, диапазон между святостью и злодейством (хотя бы крайние точки достигались лишь отдельными личностями). Конечно, всё это сильно меняется с ходом времени, с течением истории, та самая подвижная разделительная черта между добром и злом, она всё время колышется по области сознания нации, иногда очень бурно, — и потому всякое суждение, и всякий упрёк и самоупрёк, и само раскаяние связаны с определённым временем, утекают вослед ему и только напоминательными контурами остаются в истории.

Но ведь и отдельные личности так же неузнаваемо меняются в течении своей жизни, под влиянием её событий и своей духовной работы (и в этом — надежда, и спасение, и кара человека, что изменения доступны нам и за свою душу ответственны мы сами, а не рождение и не среда!), тем не менее мы рискуем раздавать оценки «дурных» и «хороших» людей, и этого нашего права обычно не оспаривают.

Между личностью и нацией сходство самое глубокое — в мистической природе нерукотворности той и другой. И нет человеческих доводов — почему, разрешая оценивать одну изменчивость, запрещать оценивать другую. Это — не более как условность престижа, может быть и предусмотрительная против неосторожных употреблений.

Но, продолжая стоять на ощущении интуитивном, — как чувствуется, а не как указывается позитивным знанием: у подавляющего большинства людей существуют национальные симпатии и антипатии, иногда они общи какому-то кружку людей, узкому или широкому, и внутри него высказываются (не слишком вслух, стыдясь перед ликом века), иногда это чувство (любви или ненависти, но чаще ненависти, увы) такое сильное, что захлёстывает целые нации и уже прорывается трубно, если не воин-

ственно. Часто эти чувства вызваны ошибочным или поверхностным опытом субъекта, всегда — они ограничены во времени, то возникают, то гаснут, но они *существуют*, и даже очень категорические, это известно всем, и лицемерие — в запрете об этом говорить.

Меняются условия жизни нации — меняются и обстоятельства: есть ли ей в чём раскаиваться *сегодня*. Сегодня — может и не быть. Но, по изменчивости существования: как человеку не прожить, не совершив греха, так не прожить и нации. И нельзя представить себе такой, которая за всю длительность своего бытия не имела бы, в чём покаяться. Без исключения каждая нация, как бы она ни ощущала себя сегодня гонимой, обделённой и неущербно-правой, — в какое-то время несомненно внесла и свою долю бессердечия, несправедливости, надменности.

Примеров слишком много, их вереницы, а эта статья — не историческое исследование. Подлежит отдельному размышлению и: ви́ны какой давности ещё висят на национальной совести, а какие — уже нет? Для Турции, со свежей виною в армянской резне, прежних несколько веков насилия над балканскими славянами — ещё живая вина сегодня? или уже нет? (Пусть не упрекнёт меня нетерпеливый читатель, что я не сразу начинаю с России, — конечно, вот-вот будет Россия, как можно иначе у русских?)

(б) Сейчас никто не будет оспаривать, что английский, французский или голландский народ целиком несёт на себе вину (и в душе своей — след) колониальной деятельности своих государств. *Их* государственная система допускала значительные помехи колонизации со стороны общества. Но помех таких было мало, нация втягивалась в это завлекательное мероприятие кто участием, кто сочувствием, кто признанием.

А вот случай гораздо ближе, из середины XX века, когда общественное мнение западных стран почти господствует над деятельностью своих прави-

тельств. После окончания 2-й мировой войны британская и американская военные администрации по сговору с советской систематически выдавали ей на юге Европы (Австрия, Италия) — и не только там! но и со своих территорий — *сотни тысяч* гражданских беженцев из СССР (это — помимо военных контингентов), не желавших возвращаться на родину, — выдавали *обманом*, не предупреждая, против ведома и желания, выдавали по сути на смерть, — вероятно, половина их убита лагерями. Соответствующие документы до сих пор тщательно скрываются. Но — были живые свидетели, и сведения, конечно, растекались среди англичан и американцев, и за четверть века было немало возможностей в тех странах послать запросы, поднять бучу, судить виновных, — но не последовало ни движения. Причина: что судьбы восточноевропейцев для сегодняшнего Запада — отдалённые тени. Однако равнодушие — никогда не снимало вины. Именно через равнодушное молчание это гнусное предательство военной администрации расползлось и запятнало национальную совесть тех стран. И раскаяния — не выразил никто доныне.

Сегодня в Уганде ретивый генерал Амин высылает азиатов как будто своим единоличным решением, — но несомненно корыстное сочувствие населения, поживляющегося добычею высылаемых. Так начинают угандийцы свой национальный путь, и, как во всех молодых странах, прежде страдавших от угнетения, а ныне рвущихся к физической силе, раскаяние — самое последнее в ряду тех чувств, которые им предстоит переживать.

Гораздо сложней доказывать ответственность албанцев за деятельность своего фанатического правителя, тяжестью гнёта только потому обращённую внутрь, что на внешнее давление не хватает сил. Но та энтузиастическая прослойка, на которой он парит, — не из простых ли албанских семей собралась?

В том и особенность единых организмов, что они вместе пользуются и вместе страдают от действия каждого их органа. Даже когда большинство населения вовсе бессильно помешать своим государственным руководителям — оно обречено на ответственность за грехи и ошибки тех. И в самых тоталитарных, и в самых бесправных странах мы все несём ответственность — и за своё правительство, каково оно, и за походы наших военачальников, и за выслуги наших солдат, и за выстрелы наших пограничников, и за песни нашей молодёжи.

Тысячелетиями известно выражение: *за грехи отцов*. Кажется: мы не можем за них раскаиваться, мы даже не жили в то время! мы ещё менее за то ответственны, чем подданные тоталитарного режима! Но выражение — не спуста взято, и слишком часто мы видели и видим *расплату* детей за отцов.

Мистически спаянная в общности вины, нация направлена и к неизбежности общего раскаяния.

(в) Индивидуальное выражение общего раскаяния не только спорно по представительности: насколько выразитель его полномочен. Оно и чрезвычайно тяжело для самих выразителей: в отличие от раскаяния индивидуального, где советы посторонних и даже близких не могут иметь для тебя веса, коль скоро в это состояние ты уже вступил душою, — тот, кто взялся выразить раскаяние национальное, всегда будет подвергаться веским отговорам, укорам, предостережениям: как бы не опозорить свою страну, как бы не дать пищу её врагам. К тому ж, единолично произнося слова раскаяния в масштабах общественных, неизбежно *делить* вину, указывать на разные степени её у разных групп, — а это уже меняет, затемняет самый дух и тон раскаяния. Только в историческом отдалении мы можем с несомненностью судить, насколько верно было передано одним человеком истинное душевное движение своей нации.

Но бывают примеры — и Россия яркий тому, когда раскаяние выражено не однократно, не единоминутно одним писателем или одним оратором, а стало постоянным чувствованием всей активной общественности. Так в XIX веке распространилось раскаяние в русской дворянской интеллигенции (даже с таким перехлёстом, что покаянщики за собой уже не признавали ничего доброго, а за простым народом никаких грехов) — и, развиваясь, и захватывая интеллигенцию разночинную, и принимая реальные формы, стало историческим действием неисчислимых — и даже обратных — последствий.

Раскаяние нации вернее всего, осязательнее всего и выражается в её д е л а х. Делах конечных.

Сильное движение раскаяния мы видим и в нашу расчётливую беспокаянную эпоху — у страны, несущей на себе вину двух мировых войн. Увы, не у всей той нации. У той половины (трёх четвертей) её, где на пути раскаяния не стала запретной бетонной стеной идеология ненависти.

Это раскаяние — не словесное, не в уверениях, а в реальных поступках, в больших уступках — драматически явлено нам через Canossa-Reise канцлера Брандта в Варшаву, в Освенцим, затем в Израиль. Элементы этого раскаяния вероятно влились и в опрометчивую Ostpolitik. Практически эта политика не сбалансирована, какой бывают все «политики» всегда. Она родилась, быть может, из нравственных задач, в облаке того раскаяния, которое наполнило атмосферу Германии после второй мировой войны. Именно этим нравственным импульсом, а не государственным расчётом, она и выделяется. Подобные движения жаждется увидеть сегодня и от других наций и стран. (От первых — н а с!) Оправдала бы она себя и практически, если бы от восточно-европейских партнёров встретила бы такое же душевное движение, а не выхватывающую политическую корысть.

4

Однако пристойно автору русскому и пишущему для России обратиться и к раскаянию — русскому. Эта статья и пишется с верой в природную наклонность русских к раскаянию, к покаянию, а потому в нашу способность даже и в нынешнем состоянии найти импульс к нему и явить всемирный пример.

Не случайно одна из опорных пословиц, выражающих русское миропонимание, была (была до революции...) —

НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ.

Конечно, не от одной природы нашей так, но, влиятельней, от православия, очень искренне усвоенного когда-то всею народной толщей. (Это теперь мы почти поголовно уверены, что *сила солому ломит*, и соответственно служим тому.)

Дар раскаяния был послан нам щедро, когда-то он заливал собою обширную долю русской натуры. Не случайно так высоко стоял в нашей годовой череде *прощёный день*. В дальнем прошлом (до XVII века) Россия так богата была движениями покаяния, что оно выступало среди ведущих русских национальных черт. В духе допетровской Руси бывали толчки раскаяния — вернее религиозного покаяния, массового: когда оно начиналось во многих отдельных грудях и сливалось в поток. Вероятно, это и есть высший, истинный путь раскаяния всенародного. Ключевский, исследуя хозяйственные документы Древней Руси, находит много примеров, как русские люди, ведомые раскаянием, прощали долги, кабалу, отпускали на волю холопов, и тем значительно смягчался юридически-жестокий быт. Широкими жертвами завещателей снижался смысл материального накопления. Известна множественность покаянного ухода в скиты, в отшельничество, в монастыри. И летописи, и древнерусская литерату-

ра изобилуют примерами раскаяния. И террор Ивана Грозного ни по охвату, ни тем более по методичности не разлился до сталинского во многом из-за покаянного опамятования царя.

Но начиная от бездушных реформ Никона и Петра, когда началось вытравление и подавление русского национального духа, началось и выветривание покаяния, высушивание этой способности нашей. За чудовищную расправу со старообрядцами — кострами, щипцами, крюками и подземельями, ещё два с половиной века продолженную бессмысленным подавлением двенадцати миллионов безответных безоружных соотечественников, разгоном их во все необжитые края и даже за края своей земли, — за тот грех господствующая церковь никогда не произнесла покаяния. И это не могло не лечь валуном на всё русское будущее. А просто: в 1905 гонимых *простили*... (И то слишком поздно, так поздно, что самих гонителей это уже не могло спасти.)

Весь петербургский период нашей истории — период внешнего величия, имперского чванства — всё дальше уводил русский дух от раскаяния. Так далеко, что мы сумели на век или более передержать немыслимое крепостное право — теперь уже бо́льшую часть своего народа, собственно наш народ содержа как рабов, не достойных звания человека. Так далеко, что и прорыв раскаяния мыслящего общества уже не мог вызвать умиротворения нравов, но окутал нас тучами нового ожесточения, ответными безжалостными ударами обрушился на нас же: невиданным террором и возвратом, через 70 лет, крепостного права ещё худшего типа.

В XX веке благодатные дожди раскаяния уже не смягчали закалевшей русской почвы, выжженной учениями ненависти. За последние 60 лет мы не только теряли дар раскаяния в общественной жизни, но и осмеяли его. Опрометчиво было обронено и подвергнуто презрению это чувство, опустошено и то место в душе, где раскаяние, покаяние жило. Вот уже полвека мы движимы уверенностью, что

виноваты царизм, патриоты, буржуи, социал-демократы, белогвардейцы, попы, эмигранты, диверсанты, кулаки, подкулачники, инженеры, вредители, оппозиционеры, враги народа, националисты, сионисты, империалисты, милитаристы, модернисты, — только не мы с тобой! Стало быть и исправляться не нам, а им. А они — не хотят, упираются. Так как же их исправлять, если не штыком (револьвером, колючей проволокой, голодом)?

Одна из особенностей русской истории, что в ней всегда, и до нынешнего времени, поддерживалась такая направленность злодеяний: в массовом виде и преимущественно мы причиняли их не вовне, а внутрь, не другим, а — своим же, себе самим. От наших бед больше всех и пострадали русские, украинцы да белорусы. Оттого, и пробуждаясь к раскаянию, нам много вспоминать придётся внутреннего, в чём не укорят нас извне.

Легко ли будет всё честно вспомнить — нам, утерявшим самое чувство правды? Мы, нынешнее старшее и среднее поколения, всю нашу жизнь только и брели и хлюпали зловонным болотом общества, основанного на насилии и лжи, — как же не замараться? Есть такие прирождённые ангелы — они как будто невесомы, они скользят как будто поверх этой жижи, нисколько в ней не утопая, даже касаясь ли стопами её поверхности? Каждый из нас встречал таких, их не десятеро и не сто на Россию, это — праведники, мы видели их, удивлялись («чудаки»), пользовались их добром, в хорошие минуты отвечали им тем же, они располагают, — и тут же погружались опять на нашу обречённую глубину. Мы брели кто по щиколотку (счастливцы), кто по колено, кто по пояс, кто и по горло, кому как приходилось в разное время и по особенностям натуры, а кто и вовсе погружался, лишь редкими пузырьками сохранившейся души ещё напоминая о себе на поверхности.

А общество — из кого же составлено, как не из нас? Это царство неправды, силы, бесполезности

справедливого, неверия в доброе, — эта болотная жижа, она и была составлена из **нас**, из кого же другого? Мы привыкли, что надо подчиняться и лгать, иначе не проживёшь, — и в том воспитывали наших детей. Каждый из нас, если станет прожитую свою жизнь перебирать честно, без уловок, без упряток, вспомнит не один такой случай, когда притворился, что уши его не слышат крика о помощи, когда отвёл равнодушные глаза от умоляющего взора, сжёг чьи-то письма и фотографии, которые обязан был сохранить, забыл чьи-то фамилии и знакомство со вдовами, отвернулся от конвоируемых и, конечно же, всегда голосовал, вставал и аплодировал мерзости (хоть и в душе испытывая мерзость), — а как бы иначе уцелеть? Но и: великий Архипелаг как бы иначе простоял среди нас 50 лет незамеченный?

Уж говорить ли о прямых доносчиках, предателях и насильниках, которых, наверно, тоже был не один миллион, иначе как бы управиться с таким Архипелагом?..

И если мы теперь жаждем — а мы, проясняется, жаждем — перейти наконец в общество справедливое, чистое, честное, — то каким же иным путём, как не избавясь от груза нашего прошлого, и *только* путём раскаяния, ибо виновны все и замараны все? Социально-экономическими преобразованиями, даже самыми мудрыми и угаданными, не перестроить царство всеобщей лжи в царство всеобщей правды: кубики не те*.

---

* Линия раскаяния отчётливее понимается, отличается, если сравнить её с линией защиты гражданских прав. Вот свежий недавний пример, в нём как в капельке видно. Александр Галич в прошлые годы в русле казённого творчества написал сценарий по поводу советско-французской дружбы, весьма одобренный, допущенный на советские экраны, и этим определяется его духовная цена. По случаю недавнего дипломатического торжества признано было уместным этот фильм демонстрировать снова, но фамилию провинившегося с тех пор сценариста — вырезать. И что же сценарист? Как бы естественно реагировать ему? Линия раскаяния: испытать бы радость, что позор прежней духовной

А если прольются многие миллионы раскаяний, признаний и скорбей — пусть не все публичные, пусть между друзей и знающих тебя, — то всё вместе как же это и назвать, если не *раскаянием национальным?*

Но тут наша попытка, как и всякая попытка национального раскаяния, сразу напарывается на возражение из собственной среды: Россия слишком много выстрадала, чтобы ещё каяться, её надо жалеть, а не растравлять напоминанием о грехах.

И правда: как наша страна пострадала в этом веке, сверх мировых войн уничтожив сама в себе до 70 миллионов человек, — так никто не истреблялся в современной истории. И правда: больно упрекать, когда надо жалеть. Но раскаяние и всегда больно, без того б ему не было нравственной цены. Те жертвы были — не от наводнений, не от землетрясений. Жертвы были и невинные, и винные, но их страшная сумма не могла бы накопиться от рук только чужих: для того нужно было соучастие *наше, всех нас,* России.

Даже и более жёсткая, холодная точка зрения, нет, течение определилось в последнее время. Вот оно (обнажённо, но не искажённо): русский народ по своим качествам благороднейший в мире; его история ни древняя, ни новейшая не запятнана ничем, недопустимо упрекать в чём-либо ни царизм, ни большевизм; не было национальных ошибок и грехов ни до 17-го года, ни после; мы не пережили никакой потери нравственной высоты и потому не испытываем необходимости совершенствоваться; с окраинными республиками нет национальных проблем и сегодня, ленинско-сталинское решение идеально; коммунизм даже не мыслим без патриотизма;

сделки как бы сам отваливается от него, сам собою отпадает грех давний. Даже, может быть, и публично выступить с этим очистительным чувством? И сценарист выступает публично, да, — но с *протестом,* отстаивая своё право на подпись под фильмом. Ущемленье гражданского права кажется ему важнее, чем очищение от старого греха.

перспективы России-СССР сияющие; принадлежность к русским или не русским определяется исключительно кровью, что же касается духа, то здесь допускаются любые направления, и православие — нисколько не более русское, чем марксизм, атеизм, естественно-научное мировоззрение или, например, индуизм; писать Бог с большой буквы совершенно необязательно, но Правительство надо писать с большой.

Всё это вместе у них называется *русская идея.* (Точно назвать такое направление: национал-большевизм.)

«Мы русские, какой восторг!» — воскликнул Суворов. «Но и какой соблазн», — добавил Ф. Степун после революционного нашего опыта.

А мы понимаем патриотизм как цельное и настойчивое чувство любви к своей нации со служением ей не угодливым, не поддержкою несправедливых её притязаний, а откровенным в оценке пороков, грехов и в раскаянии за них. Усвоить бы нам, что не бывает народов, великих вечно или благородных вечно: это звание трудно заслуживается, а уходит легко. Что величие народа не в громе труб: неоплатную духовную цену приходится платить за физическую мощь. Что подлинное величие народа — в высоте *внутреннего* развития; в душевной широте (к счастью, природнённой нам); в безоружной нравственной твёрдости (какую недавно чехи и словаки показали Европе, впрочем не надолго потревожив совесть её).

В советский период ещё раздулась и ещё слепее стала заносчивость предыдущего петербургского периода. И так всё далее от раскаянного сознания это уводило нас, что не легко убедить, заставить внять наших соотечественников, что ныне мы, русские, не во славе сияющей несёмся по небу, но сидим потерянные на обугленном духовном пепелище. И если не вернём себе дара раскаяния, то погибнет и наша страна, и увлечёт за собою весь мир.

Только через полосу раскаяния множества лиц

могут быть очищены русский воздух, русская почва, и тогда сумеет расти новая здоровая национальная жизнь. По слою лживому, неверному, закоренелому — чистого вырастить нельзя.

5

Пытаясь выразить национальное раскаяние, приходится испытать не только враждебное сопротивление с одной стороны, но и страстное вовлечение с другой. Писал С. Булгаков, что «только страждущая любовь даёт право на национальное самозаушение»*. Кажется: нельзя «раскаиваться», ощущая себя сторонним или даже враждебным тому народу, «за» который взялся раскаиваться? Однако именно такие охотники уже проявились. А при затемнённости нашей близкой истории, уничтожении архивов, потере свидетельств, потому беззащитности нашей от любых самоуверенных и непроверенных суждений, от любых обидных извращений, вероятно много ждёт нас таких попыток, и вот первая же из них — достаточно настойчивая, претендующая быть не меньше как «национальным раскаянием».

Не миновать её тут разобрать. Это статьи в № 97 «Вестника Русского Христианского Студенческого Движения», особенно — «Metanoia» (самоосуждение, самопроверка, от Булгакова же и взято, из 1911 года) анонимного автора NN и «Русский мессианизм» такого же анонима Горского.

В самом смелом Самиздате всё равно будет оглядка на *условия.* Здесь — в зарубежном издании и анонимы, авторы решительно не опасаются ни за себя, ни за читателей и пользуются случаем однажды в жизни излить душу — чувство, очень понятное советскому человеку. Резкость — предельная, слог становится развязен, даже и с заносом, авторы не

* *С. Булгаков.* Два града. Т. 2, с. 289.

боятся не только властей, но уже и читательской критики: они невидимки, их не найти, с ними не поспорить. Ещё и от этого урезчены их судейские позиции по отношению к России. Нет и тени советовности авторов со своими соотечественниками, с нами, остальными, а только: обличение безнадёжно порочного русского народа, тон презрения к совращённым. Нигде не ощущается «мы» с читателями. Авторы, живущие среди нас, требуют покаяния от нас, сами оставаясь неуязвимы и невиновны. (Эта их чужеродность наказывает их и в языке, вовсе не русском, но в традиции поспешно-переводной западной философии, как торопились весь XIX век.)

Статьи совершают похороны России со штыковым проколом на всякий случай — как хоронят зэков: лень проверять, умер ли, не умер, прокалывай штыком и сбрасывай в могильник.

Вот несколько утверждений оттуда.

— (Горский) Русский народ, начиная свой бунт против Бога, з н а л, что осуществление социалистической религии возможно лишь через деспотизм.

Да когда ж это мы в лаптях были так остро развиты? Бунт начинала — интеллигенция, но и она *не знала* того, что так доступно формулировать в 70-е годы XX века.

— (NN) Россией принесено в мир Зла больше, чем любой другой страной.

Не станем говорить, что Россией принесено в мир мало зла. А — так называемая Великая французская революция и, стало быть, Франция принесли зла — меньше? Это — подсчитано? А Третий Райх? А марксизм сам по себе? уж даже если ни о ком другом... И наоборот: наш бесчеловечный опыт, который мы перенесли в основном собственной кровью и кровью роднейших нам народов, — может быть и пользу принёс кое-кому на Земле подальше? Может быть научил кое-где правящие тупые классы в

чём-то уступить? Может быть освобождение колониального мира произошло не без влияния октябрьской революции, как реакция — не допустить до нашего? Это Бог один может знать, это не нам судить, какая страна принесла больше всех зла.

— (Горский) «В революцию народ оказался мнимой величиной.» «Собственная национальная культура совершенно чужда русскому народу.» Доказательство: «В первые годы революции иконы оказались пригодны на дрова, храмы на кирпичи.»

Вот это и есть: приходи кто хочешь и суди с наскока, наши летописи изничтожены. Если народ оказался мнимой величиной — тогда он в революции и не виноват, вопреки остальным обвинениям? Если он оказался мнимой величиной — кто же тогда сопротивлялся разливистыми крестьянскими восстаниями — тамбовским, сибирским? До мнимости ещё надо было его *довести* многолетним истреблением, согбением и соблазном — и именно об этом истреблении Горский как будто не ведает. Сложный процесс — и до чего ж упрощён. В 1918 русские крестьяне поднимались за церковь на бунты, и таких насчитывается *несколько сот,* подавленных красным оружием. Вот после того, как уничтожили духовенство и вырезали защитников веры в крестьянстве и в городских приходах, остальных напугали, а подросла комсомольско-пионерская молодёжь, — после этого, да, пошли храмы ломами бить (и то больше: комсомольцы да по службе на эту работу поставленные). Но и с тех пор в северных краях столичным искателям не «за бесценок продаются» иконы, как пишет знающий автор (за бутылку бывает, да), а и даром же отдаются: считается грехом брать деньги за них. А вот прогрессивные юные интеллигенты, получившие такой подарок, этими иконами нередко потом выгодно торгуют с иностранцами.

Но более всего в объёмной этой публикации от-

даётся пыла и страниц разоблачению *русского мессианизма.*

— (Горский) «Преодоление национального мессианского соблазна — первоочередная задача России.» Русский мессианизм — живучее самой России: Россия умерла, она «археологична», как Византия, а мессианизм её не умер, переродился в советский.

Такое лукавое извращение нашей истории даже не сразу понимается, настолько не ожидаешь его. Сперва с дутым академизмом прослеживается «история» злосчастного бессмертного мессианизма, который, однако, почему-то пребывал в России не всегда: два века (с XV по XVII) будто бы наличествовал, потом два века явно начисто отсутствовал, потом в XIX веке будто опять возник (и «захватывал интеллигенцию», — кто помнит такое?), в революцию прикинулся «пролетарским мессианизмом», а в последние десятилетия совлёк маску и снова открылся как русский мессианизм. Так на пунктире, в натяжках и перескоках, идея Третьего Рима вдруг выныривает в виде... Третьего Интернационала! (Ученическое повторение заносов Бердяева.) С ненавидящим настоянием по произволу извращается вся русская история для какой-то всё неулавливаемой цели — и это под соблазнительным видом *раскаяния*! Удары будто направлены всё по Третьему Риму да по мессианизму, — и вдруг мы обнаруживаем, что лом долбит не дряхлые стены, а добивает в лоб и в глаз — давно опрокинутое, еле живое русское национальное самосознание. И вот как уцеливает:

— «русская идея есть главное содержание большевизма»! «Кризис коммунистической идеи есть кризис того источника веры, которым долго (по тексту — веками. — *А. С.*) жила Россия.»

Вот как, под видом раскаяния, нас выворачивают и топчут. Россия «долгое время жила» правосла-

вием, известно. А главное содержание большевизма — неуёмный, воинственный атеизм и классовая ненависть. Так вот, по неохристианскому автору, это всё едино суть. Традиция бешеного атеизма принята в традицию древнего православия. «Русская идея» — «главное содержание» интернационального учения, пришедшего к нам с Запада? А когда Марат требовал *«миллион голов»* и утверждал, что голодный имеет право *съесть* сытого (какие знакомые ситуации!), — это тоже было «русское мессианское сознание»? Коммунистическими движениями кишела Германия XVI века, — отчего же в России в XVII веке, в Смутное Время, при такой «русской идее», ничего подобного не было?

— (NN) «Только на основе вселенской русской спеси стал возможен соблазн революции.»

Как это сплести? Если на «вселенской русской спеси» стоял царизм, а революция есть разрушение и смытие кровью всей конструкции царизма, то почему же она *происходит* от «русской спеси»?

— (Челнов) «Пролетарский мессианизм приобретает ярко выраженный русофильский характер.»

Это сегодня, сейчас приобретает, когда половина русских находится в крепостном состоянии, без паспортов. А найдём ли память и мужество вспомнить те первые революционные лет 15, когда «пролетарский мессианизм приобрёл ярко выраженный» *русофобский* характер? Те годы, с 1918 по 1933, когда «пролетарский мессианизм» уничтожил цвет русского народа, цвет старых классов — дворянства, купечества и священства, потом цвет интеллигенции, потом цвет крестьянства? Пока он ещё не принял «ярко выраженного русофильского характера», а имел ярко выраженный русофобский, — что скажем о времени т о м?..

— (NN, Челнов) Большевизм есть органическое порождение русской жизни.

Так или не так — об этом ещё долго и многие бу-

дут споры идти. И решение не может найтись ни в чьей публицистической горячности, но — подробными обоснованными исследованиями. Один «Тихий Дон» — подлинный, не искажённый безграмотными врезками, — больше свидетельствует здесь, чем дюжина современных публицистов. Ещё долго будут спорить наши учёные и художники: была ли русская революция следствием уже произошедшего в народе нравственного переворота? Или наоборот? И да не будут при том забыты никакие обстоятельства, теперь не напоминаемые.

Конечно, побеждая на русской почве, ка́к движению не увлечь русских сил, не приобрести русских черт! Но и вспомним же интернациональные силы революции! Все первые годы революции разве не было черт как бы иностранного нашествия? Когда в продовольственном или карательном отряде, приходившем уничтожать волость, случалось — почти никто не говорил по-русски, зато бывали и финны, и австрийцы? Когда аппарат ЧК изобиловал латышами, поляками, евреями, мадьярами, китайцами? Когда большевистская власть в острые ранние периоды гражданской войны удерживалась на перевесе именно иностранных штыков, особенно латышских? (Тогда этого не скрывали и не стыдились.) Или позже, все 20-е годы, когда во всех областях культуры (и даже в географических названиях) последовательно вытравлялась вся русская традиция и русская история, как бывает разве только при оккупации, — это желание самоуничтожиться тоже было проявлением «русской идеи»? Замечает Горский, что году в 1919 границы Советской России примерно совпадали с границами Московского царства, — *значит,* большевизм в основном поддержали русские... Но ведь эту географию и так можно истолковать, что русские в основном вынуждены были *принять его на свои плечи,* и только? А разве знаем мы на Земле хоть один народ, который в XX веке был застигнут пришедшей волной коммунизма и устоял против него, встряхнулся? Таких примеров

ещё нет, кроме Южной Кореи, где помогала ООН. Был бы ещё Южный Вьетнам, да, кажется, дали ему подножку. И что же теперь, коммунизм на Кубе и во Вьетнаме «есть органическое порождение русской жизни»? А «марксизм — одна из форм народническо-мессианского сознания» — во Франции? в Латинской Америке? в Танзании? И всё это — от немытого старца Филофея?

Как же разрушена, перекорёжена и затемнена русская история XX века, если, не знающие её, такие самоуверенные могут являться к нам судьи! Своим равнодушием мы рискуем дожить, что вообще провалятся в небытие 50—100 лет русской истории, и никто уже ничего достоверного о них не установит — будет поздно.

Группа статей в № 97 — не случайность. Это, может быть, замысел: нашей беспомощностью воспользоваться и выворотить новейшую русскую историю — нас же, русских, одних обвинить и в собственных бедах, и в бедах тех, кто поначалу нас мучил, и в бедах едва ли не всей планеты сегодня. Эти обвинения — характерны, проворно вытащены, беззастенчиво подкинуты, и уже предвидится, как нам будут их прижигать и прижигать.

Вся и моя статья написана не для того, чтобы применьшить вину русского народа. Но и не соскребать же на себя все вины со всей матушки-Земли. Не имели защитной прививки — да, растерялись — да, поддались — да, потом и отдались — да! Но — не изобрели первые и единственные мы, ещё с XV века!

Не мы одни — и многие так, едва ли не все: подкатывает пора — поддаются, отдаются, и даже при меньшем давлении, чем отдались мы, и при лучших традициях, нежели у нас, и даже — «с большой охотой». (Наша краткая история от Февраля до Октября оказалась сжатым конспектом позднейшей и нынешней истории Запада.)

Так уже при начале раскаяния получаем мы предупреждения, какими обидами и клеветами бу-

дет утыкан этот путь. Кто начинает раскаиваться первым, раньше других и полней, должен ждать, что под видом покаянщиков слетятся и корыстные, печень твою клевать.

А выхода нет всё равно: только раскаяние.

6

Может оказаться, что мы уже не способны к этому мечтаемому пути поиска и признания своих ошибок, грехов и преступлений. Но тогда и нельзя увидеть нравственного выхода из нашего провала. А всякий другой выход — не выход. Лишь временный общественный самообман.

Если же мы окажемся настолько ещё не погибшими, что найдём в себе силы пройти эту жгучую полосу общенационального раскаяния, раскаяния внутреннего, что́ мы тут, внутри страны, наделали сами над собою, — то возможно ли будет России на этом остановиться? Нет, нам придётся решимость в себе найти ещё и на следующие шаги: на признание грехов внешних, перед другими народами.

А их немало у нас. И для очищения мирового воздуха и для убеждения других в нашей искренней расположенности мы не должны ни скрывать этих грехов, ни комкать, ни смягчать в воспоминаниях. Я думаю: если ошибиться в раскаянии, то верней — в сторону бо́льшую, в пользу других. Принять заранее так: что нет таких соседей, перед которыми мы невиновны. Как в прощёный день просят прощения у всех окружающих.

Охват раскаяния — бесконечен. Тут не избегнуть и давних грехов, и то, что другим мы можем зачесть в давность, себе — не имеем права. Страницами несколькими ниже предстоит говорить о будущности Сибири — и всякий раз при этом вздрагивает сердце о нашем предавнем грехе потеснения и истребления коренных сибирцев. И какая ж тут давность? Будь

сегодня Сибирь густо населена исконными народностями, наш нравственный шаг мог быть бы только один: уступить им их землю и не мешать их свободе. Но поскольку лишь эфемерным рассеянием они присутствуют на сибирском континенте — дозволено нам искать там своё будущее, с братской нежностью заботясь о коренных, помогая им в быте, в образовании и не навязывая им силою ничего своего.

Исторический обзор — не предмет этой статьи, уже не допускает и объём её. Нашлось бы там достаточно наших вин — таких, как перед горным Кавказом: завоевательный русский натиск XIX века (вовремя и осуждённый русскими великими писателями) и выселение XX века (о котором и сами-то кавказские писатели не смеют).

Раскаяние — всем всегда тяжело. И не только через порог себялюбия, но ещё и потому, что свои вины себе хуже видны.

Возьмём ли русско-польскую линию — нет и здесь конца узлам вин. Проследить их — поучительно в самом общечеловеческом смысле. (Сегодня, когда и поляки и мы раздавлены насилием, может показаться неуместным такое историческое разбирательство. Но я пишу — впрок. Когда-нибудь прозвучит и уместно.)

О наших винах перед Польшей у нас в России достаточно говорено, и в нашей памяти наслоилось, убеждать не надо. Три раздела Польши. Подавление восстаний 1830 и 1863 годов. После того русификация: вовсе запретили начальную польскую школу, в гимназиях даже польский язык преподавался на русском и был не обязателен, на квартирах ученикам между собою запрещалось говорить по-польски! В XX веке — упорное вымучивание, как не дать Польше независимость, лукавое двусмысленное поведение русского руководства в 1914-16 годах.

Но зато: сколько же и звучало с русской стороны раскаяния, начиная от Герцена, и как же едино было сочувствие полякам всего русского образованного общества, так что в кругах Прогрессивного

блока польская независимость не считалась меньшей целью войны, чем сама русская победа.

Если же по событиям новейшим, в советское время, такого общественного раскаяния в России не прозвучало, то лишь по обстановке нашей подавленности, а помнят все, ещё будут поводы назвать громко: высоко-благородный удар в спину гибнущей Польше 17 сентября 1939 года; и уничтожение цвета Польши в наших лагерях; и отдельно Катынь; и злорадное холодное наше стояние на берегу Вислы в августе 1944 года, наблюдение в бинокли, как на том берегу Гитлер давит варшавское восстание национальных сил, — чтоб им не воспрять, а мы-то найдём, кого поставить в правительство. (Я был там рядом и говорю уверенно: при динамике нашего тогдашнего движения форсировка Вислы не была для нас затруднительна, а изменила бы судьбу Варшавы.)

Но подобно тому, как одни люди легче раскрываются раскаянию, а другие сопротивительней и даже вовсе ни на щёлочку, — так, мне кажется, и нации есть более и менее склонные к раскаянию.

В предыдущие века расцветная, сильная, самоуверенная Польша не короче по времени и не слабее завоёвывала и угнетала нас. (XIV—XVI века — Галицкую Русь, Подолию. В 1569 по Люблинской унии присоединение Подлясья, Волыни, Украины. В XVI — поход на Русь Стефана Батория, осада Пскова. В конце XVI века подавлено казачье восстание Наливайко. В начале XVII — войны Сигизмунда III, два самозванца на русский престол, захват Смоленска, временный захват Москвы; поход Владислава IV. В тот миг поляки едва не лишили нас национальной независимости, глубина той опасности была для нас не слабей татарского нашествия, ибо поляки посягали и на православие. И у себя внутри систематически подавляли его, вгоняли в унию. В середине XVII — подавление Богдана Хмельницкого, и даже в середине XVIII — подавление крестьянского восстания под Уманью.) И что ж, прокатилась ли

волна сожаления в польском образованном обществе, волна раскаяния в польской литературе? Никогда никакой. Даже ариане, настроенные против всяких войн вообще, ничего особо не высказали о покорении Украины и Белоруссии. В наше Смутное Время восточная экспансия Польши воспринималась польским обществом как нормальная и даже похвальная политика. Поляки представлялись сами себе — избранным божьим народом, бастионом христианства, с задачею распространить подлинное христианство на «полуязычников»-православных, на дикую Московию, и быть носителями университетской ренессансной культуры. И когда во 2-й половине XVIII века Польша испытывала упадок, затем и после разделов её, публично высказывались об этом размышления, сожаления, они носили характер государственно-политический, но никак не этический.

Правда, не всегда разделишь, где общенациональная черта, где отпечаток социального строя. Польский строй со слабыми выборными королями, всесильными магнатами и безмерным своеволием шляхты вёл к шумному самопроявлению её, исключал самоограничение, делал неуместным раскаяние. При таком строе образованные поляки чувствовали себя участниками и деятелями совершаемого, никак не сторонними наблюдателями. Русское же раскаяние XIX и начала XX века облегчалось тем, что осудители политики могли считать себя несоучастными: это всё совершают *они,* царь не советовался с обществом.

Но может быть польское раскаяние выразилось в *делах*? Больше столетия испытав горечь разделённого состояния, вот Польша получает по Версальскому миру независимость и немалую территорию (опять за счёт Украины и Белоруссии). Каковы ж первые внешние действия её? Пилсудский (кстати — социалист и одноделец Александра Ульянова по процессу) ловит момент создать «Великую Польшу от моря до моря». Но для этого он не только не

выступает против большевиков, а выжидает ослабления России от гражданской войны. Осенью 1919, в момент наибольших успехов Деникина, Пилсудский ведёт тайные переговоры с большевиками через Мархлевского, гарантирует им своё невмешательство и тем разрешает снять крупные красные силы с белорусского направления на битву под Орлом. Весной 1920, когда Деникин разбит и ждать не остаётся, — Польша энергично нападает на Советскую Россию, берёт Киев, с целью затем выйти к Чёрному морю. У нас в школах учат (чтобы было страшней), что это был «Третий поход Антанты» и что Польша координировалась с белыми генералами, дабы восстановить царизм. Вздор, это было самостоятельное действие Польши, переждавшей разгром всех главных белых сил, чтобы не быть с ними в невольном (и обязывающем) союзе, а самостоятельно грабить и кромсать Россию в её наиболее истерзанный момент. Эта цель Польше не вполне удалась. В августе 1920, при начавшемся крупном наступлении Врангеля, Польша, напротив, вступает в мирные переговоры с большевиками (и берёт с Советов контрибуцию). Следующее внешнее действие её, 1921 года: беззаконное отобрание Вильнюса со всею областью от слабой Литвы. И никакая Лига Наций, никакие призывы и усовещания не подействовали: так и продержала Польша захваченный кусок до самых дней своего падения. Кто помнит её национальное раскаяние в связи с этим? На украинских и белорусских землях, захваченных по договору 1921 года, велась неуклонная полонизация, по-польски звучали даже православные церковные проповеди и преподавание закона Божьего. И в пресловутом 1937 году (!) в Польше рушили православные церкви (более ста, средь них — и варшавский собор), арестовывали священников и прихожан.

И как же над этим всем подняться нам, если не взаимным раскаянием?..

И не правда ли, есть ощущение: острота раскаяния, как личного, так и национального, очень зави-

сит от сознания встречной вины? Если обиженный нами обидел когда-то и нас — наша вина не так надрывна, та встречная вина всегда бросает ослабляющую тень. Татарское иго над Россией навсегда ослабляет наши возможные вины перед осколками Орды. Вина перед эстонцами и литовцами всегда больней, стыдней, чем перед латышами или венграми, чьи винтовки довольно погрохали и в подвалах ЧК и на задворках русских деревень. (Отвергаю непременные здесь возгласы: «так это не те! нельзя же с одних — на других!..» И мы — не те. А отвечаем все — за всё.)

Это — лишний довод в пользу раскаяния всеобщего. И какое же очищение, даже восторженное, вызывает у нас, когда враги признают свою вину перед нами! С каким рвением добрым хочется перехлестнуть их в раскаянии, превзойти в великодушии!

Но теряет раскаяние смысл, если на нём и обрывается: порыдать, да жить по-прежнему. Раскаяние есть открытие пути для новых отношений. Новых отношений — и между нациями.

Как всякое раскаяние, так и раскаяние нации предполагает возможность прощения со стороны обиженных. Но ожидать прощения, прежде того самим не настроившись простить, — невозможно. Путь взаимного раскаяния есть и путь взаимного прощения.

Кто — не виновен? Виновны — все. Но где-то должен быть пресечен бесконечный счёт обид, уж не сравнивая их по давности, по весу и по объёму жертв. Ни сроки, ни сила обид сравняться никогда не могут, ни между какими соседями. Но могут сравняться чувства раскаяния.

Картина такая мне нисколько не кажется идиллической, отвлечённой, не относящейся к современной ситуации. Напротив. Как нельзя построить хорошего общества при дурных отношениях между людьми, так и хорошего человечества не будет при дурных, затаённо-мстительных отношениях наций. И никакая *позитивная* внешняя политика и ни-

какие ловчайшие усилия дипломатов так не договаривать договора, чтобы каждая сторона находила успокоение своей гордости, не заглушат семян раздора и не устранят новых и новых конфликтов.

Сейчас вся атмосфера ООН пересыщена ненавистью и злорадством — тем, с которым Ассамблея ликовала (даже, говорят, на скамьи вскакивали экспансивные члены), когда 10 миллионов китайцев Тайваня выкинули из человеческой семьи за то, что они не подчинились тоталитарному захвату.

Без установления существенно *новых*, добрых отношений между нациями вся задача «всеобщего мира» есть или утопия или шаткая эквилибристика.

Взаимных вин особенно много накопляется в государствах многонациональных и в федерациях — таких, как раньше была Австро-Венгрия, как сейчас СССР, Югославия, Нигерия, многоплеменные и многорасовые африканские государства. Для того чтобы такие государства существовали при внутренней прочности, а не на спайке понуждающей силы, никак не обойтись без развитого чувства раскаяния у живущих там народов — иначе под любой золою будет вечно тлеть и снова, снова вспыхивать огонь, и не будет прочности у этих стран. Западные пакистанцы были безжалостны к восточным — и страна развалилась, но и от этого не утихла ненависть. Напротив, с помощью английского и советского оружия и при равнодушии всего мира север Нигерии кроваво расправился с её востоком, и страну удержали в единстве, — но если это не будет исправлено раскаянием и добром победителей — не будет той стране прочности и здоровья.

Раскаяние есть только подготовка почвы, только подготовка чистой основы для нравственных действий впредь — того, что в частной жизни называется *исправлением*. И как в частной жизни исправлять содеянное следует не словами, а делами, так тем более — в национальной. Не столько в статьях, книгах и радиопередачах, сколько в национальных *поступках*.

По отношению ко всем окраинным и заокраинным народам, насильственно втянутым в нашу орбиту, только тогда чисто окажется наше раскаяние, если мы дадим им подлинную волю самим решать свою судьбу.

7

После раскаяния и при отказе от насилия выдвигается как самый естественный принцип — *самоограничение.* Раскаяние создаёт атмосферу для самоограничения.

Самоограничение отдельных людей много раз наблюдено, описано, хорошо всем известно. (Не говоря уже, как оно приятно окружающим в быту, — оно может иметь для человека универсально-полезный характер и во всех областях его деятельности.) Но, сколько знаю, не проводило последовательно самоограничения никакое государственное образование и такой задачи в общем виде себе не ставило. А когда ставило в худую минуту в частной области (продовольствие, топливо и др.), то отлично себя самоограничение оправдывало.

Всякий профессиональный союз и всякий концерн добивается любыми средствами занять наиболее выгодное положение в экономике, всякая фирма — непрерывно расширяться, всякая партия — вести своё государство, среднее государство — стать великим, великое — владеть миром.

Мы с большой охотой порываемся ограничить *других,* тем только и заняты все политики, но сегодня высмеян будет тот, кто предложит партии или государству ограничить *себя* — при отсутствии вынуждающей силы, по одному этическому зову. Мы напряжённо следим, сторожим, как обуздать непомерную жадность *другого,* но не слышно отказов от непомерной жадности *своей.* Не раз уже дала нам история примеры кровопролитий, когда была обуздана жадность меньшинства, — но кто и как обуздает распалённую жадность большинства? Ведь только — оно само.

А мысль об общественном самоограничении — не нова. Вот мы находим её столетие назад у таких последовательных христиан, как русские старообрядцы. В их журнале «Истина» (Иоганисбург, 1867, № 1) в статье К. Голубова, корреспондента Огарёва и Герцена, читаем:

«Своей безнравственною борзостию подчиняется народ злостраданию. Не то есть истинное благо, которое достигается путём восстаний и отъятия: это скорее будет бесчиние развратной совести; но то есть истинное прочное благо, которое достигается *дальновидным самостеснением»* (выделено мною. — *А. С.*).

И в другом месте:

«Кроме самостеснения нет истинной свободы человеческой.»

(!) После западного идеала неограниченной свободы, после марксистского понятия свободы как осознанно-неизбежного ярма, — вот воистину христианское определение свободы: свобода — это самостеснение! самостеснение — ради других!

Такой принцип, однажды понятый и принятый, вообще переключает нас — отдельных людей, все виды наших ассоциаций, общества и нации — с развития внешнего на внутреннее, и тем углубляет нас духовно.

Поворот к развитию внутреннему, перевес внутреннего над внешним, если он произойдёт, будет великий поворот человечества, сравнимый с поворотом от Средних Веков к Возрождению. Изменится не только направление интересов и деятельности людей, но и самый характер человеческого существа (от духовной разбросанности к духовной сосредоточенности), тем более — характер человеческих обществ. Если процессу этому суждено где-то пройти революционно, то революции эти будут не прежние — физические, кровопролитные и никогда не благодатные, но *революции нравственные,* где нужны и отвага, и жертва, но не жестокость, — некий новый феномен человеческой истории, ещё неизвест-

ный, ещё никем не провидимый в чётких ясных формах. Рассмотрение всего этого выходит за рамки нашей статьи.

Но и в материальной сфере такой поворот отметно скажется. Человеку — не выколачиваться в жажде всё большего и большего заработка и захвата, но экономно, разумно, бессумятно тратить то, что у него есть. Государству — не как сейчас, не применять силу даже иногда без ясной цели, если где давится — непременно дави, если какая стенка поддаётся передвижке — передвигай, но и между государствами принять индивидуальную мораль: не делай другому, чего не хотел бы себе; но — углублённо осваивать то, что имеешь. Только так и может создаться упорядоченная жизнь на планете.

Понятие о неограниченной свободе возникло в тесной связи с ложным, как мы теперь узнали, понятием «бесконечного прогресса». Такой прогресс невозможен на нашей ограниченной Земле с ограниченными поверхностями и ресурсами. Перестать толкаться и самостесниться — всё равно неизбежно: при бурном росте населения нас к этому скоро вынудит сама матушка-Земля. Но насколько было бы духовно ценней и субъективно легче принять принцип самоограничения — прежде того, *дальновидным самостеснением.*

Нелёгок будет такой поворот западной свободной экономике, это революционная ломка, полная перестройка всех представлений и целей: от непрерывного прогресса перейти к стабильной экономике, не имеющей никакого развития в территории, объёмах и темпах (а лишь — в технологии, и то успехи её отсеиваются весьма придирчиво). Значит, отказаться от заразы внешней экспансии, от рыска за новыми и новыми рынками сырья и сбыта, от роста производственных площадей, количества продукции, от всей безумной гонки наживы, рекламы и перемен. Стимул к самоограничению ещё никогда не существовал в буржуазной экономике, но как легко и как давно он мог быть сформулирован из нравственных

соображений! Исходные понятия — частной собственности, частной экономической инициативы — природны человеку, и нужны для личной свободы его и нормального самочувствия, и благодетельны были бы для общества, *если бы только...* если бы только носители их на первом же пороге развития *самоограничились,* а не доводили бы размеров и напора своей собственности и корысти до социального зла, вызвавшего столько справедливого гнева, не пытались бы покупать власть, подчинять прессу. Именно в ответ на бесстыдство неограниченной наживы развился и весь социализм.

Но русскому автору сегодня — не этими заботами голову ломать. Аспектов самоограничения — международных, политических, культурных, национальных, социальных, партийных — тьма. Нам бы, русским, разобраться со своими.

И показать пример широкой души. Небесплодности раскаяния.

В той надежде и вере я и пишу эту статью.

8

Может быть, как никакая страна в мире, наша родина после столетий ложного направления своего могущества (и в петербургский и в советский периоды), стянувши столько ненужного внешнего и так много погубивши в себе самой, теперь, пока не окончательно упущено, нуждается во всестороннем *внутреннем* развитии: и духовно, и как последствие — географически, экономически и социально.

Наша внешняя политика последних десятилетий представляется как бы нарочито составленной вопреки истинным потребностям своего народа. За судьбы Восточной Европы мы взяли на себя ответственность, не сравнимую с нашим сегодняшним духовным уровнем и нашей способностью понимать европейские нужды и пути. Эту ответственность мы самоуверенно готовы распространить и на любую

страну, как бы далеко она ни лежала, хотя б на обратной стороне земного шара, лишь бы она проявляла намерение национализировать средства производства и централизовать власть (эти признаки по марксистской теории — ведущи, все остальные — национальные, бытовые, тысячелетних культур — второстепенны). Наша страна неутомимо вмешивается в конфликты всех материков, судит и рядит, подталкивает к ссорам и бесстыдно гонит оружие первым товаром советского экспорта (то, что в советских газетах до 40-х годов называлось «торговцы кровью»).* В погоне за всеми этими искусственными целями, никак не нужными нашей нации, мы истощили свои силы, мы подорвали свои поколения: предыдущие — больше физически, сегодняшние — больше духовно.

Мы — устали от этих всемирных, нам не нужных задач! Нуждаемся мы отойти от этого кипения мирового соперничества. От рекламной космической гонки, никак не нужной нам: что́ подбираться к оборудованию лунных деревень, когда хилеют и непригодны стали для житья деревни русские? В безумной индустриальной гонке мы стянули непомерные людские массы в противоестественные города с торопливыми нелепыми постройками, где мы отравляемся, издёргиваемся и вырождаемся уже с юных лет. Изнурение женщин вместо их равенства, заброшенность семейного воспитания, пьянство, потеря вкуса к работе, упадок школы, упадок родного языка — целые духовные пустыни плешами выедают наше бытие, и только на преодолении их ожидает нас престиж истинный, а не тленный. Дальних ли тёплых морей нам добиваться или чтобы теплота разлилась между собственными гражданами вместо злобы?

А ещё ко всему, похваляясь своею передовитостью, мы рабски копировали западный техниче-

* По данным западных специалистов, с 1955 по 1970 СССР продал оружия на 28 миллиардов долларов; в 70-х годах его доля в мировой торговле оружием — 37,5 %.

ский прогресс и вместе с ним бездумно впоролись в кризисный тупик, угрожающий сегодня существованию всего человечества.

Как семья, в которой произошло большое несчастье или позор, старается на некоторое время уединиться ото всех и переработать своё горе в себе, так надо и русскому народу: побыть в основном наедине с собою, без соседей и гостей. Сосредоточиться на задачах внутренних: на лечении души, на воспитании детей, на устройстве собственного дома.

Леченье наших душ! — ничего нет для нас важнее теперь, после всего отжитого, после нашего всежизненного участия во лжи и даже злодействах. Поколения старшие, быть может, уже и не успеют с этим, но с тем большей ревностью и самоотверженностью мы должны заняться воспитанием наших детей, чтобы выросли они по чистоте несравнимы с нашим падшим обществом. *Школа* — это ключ в будущую Россию! А такая задача — худым родителям и воспитателям вырастить добрую смену — противоречива, сложна, не в одну волну решается, бессчётных усилий требует: всю систему народного просвещения надо пересоздать, и не отбросными, но лучшими силами народа. На то пойдут и миллиардные затраты — и взять их надо за счёт трат наших внешних, ненужных, хвастливых. Надо перестать выбегать на улицу на всякую драку, но целомудренно уйти в свой дом, пока мы в таком беспорядке и потерянности.

К счастью, д о м такой у нас есть, ещё сохранён нам историей, неизгаженный просторный дом — русский Северо-Восток. И отказавшись наводить порядки за океанами, и перестав пригребать державною рукой соседей, желающих жить вольно и сами по себе, — обратим своё национальное и государственное усердие на неосвоенные пространства Северо-Востока, чья пустынность уже нетерпима становится для соседей по нынешней плотности земной жизни.

Северо-Восток — это Север Европейской России — Пинега, Мезень, Печора, это и — Лена и вся средняя полоса Сибири, выше магистрали, по сегодня пустующая, местами нетронутая и незнаемая, каких почти не осталось пространств на цивилизованной Земле. Но и тундра и вечная мерзлота Нижней Оби, Ямала, Таймыра, Хатанги, Индигирки, Колымы, Чукотки и Камчатки не могут быть покинуты безнадёжно при технике XXI века и перенаселении его.

Северо-Восток — тот ветер, к нам, описанный Волошиным:

В этом ветре — вся судьба России...

Северо-Восток — тот вектор, от нас, который давно указан России для её естественного движения и развития. Он уже понимался Новгородом, но заброшен Московскою Русью, осваивался самодеятельным негосударственным движением, потом изневольным бегунством старообрядцев, а Петром не угадан, и в последний полувек тоже, по сути, пренебрежён, несмотря на шумные планы.

Северо-Восток — это напоминание, что мы, Россия, — северо-восток планеты, и наш океан — Ледовитый, а не Индийский, мы — не Средиземное море, не Африка, и делать нам там нечего! Наших рук, наших жертв, нашего усердия, нашей любви ждут эти неохватные пространства, безрассудно покинутые на четыре века в бесплодном вызябании. Но лишь два-три десятилетия ещё, может быть, оставлены нам для этой работы: иначе близкий взрыв мирового населения отнимет эти пространства у нас.

Северо-Восток — ключ к решению многих якобы запутанных русских проблем. Не жадничать на земли, не свойственные нам, русским, или где не мы составляем большинство, но обратить наши силы, но воодушевить нашу молодость — к Северо-Востоку, вот дальновидное решение. Его пространства дают нам выход из мирового технологического кризиса. Его пространства дают нам место исправить все нелепости в построении городов, промышленности, электростанций, дорог. Его холодные, местами мёрз-

лые пространства ещё далеко не готовы к земледелию, потребуют необъятных вкладов энергии, — но сами же недра Северо-Востока и таят эту энергию, пока мы её не разбазарили.

Северо-Восток не мог оживиться лагерными вышками, криками конвойных, лаем человекоядных. Только свободные люди со свободным пониманием национальной задачи могут воскресить, разбудить, излечить и инженерно украсить эти пространства.

Северо-Восток — более звучания своего и глубже географии будет означать, что Россия предпримет решительный выбор *самоограничения,* выбор вглубь, а не вширь, внутрь, а не вовне; всё развитие своё — национальное, общественное, воспитательное, семейное и личное развитие граждан — направит к расцвету внутреннему, а не внешнему.

Это не значит, что мы закроемся в себе уже навек. То и не соответствовало бы общительному русскому характеру. Когда мы выздоровеем и устроим свой дом, мы, несомненно, ещё сумеем и захотим помочь народам бедным и отсталым. Но — не по политической корысти: не для того, чтоб они жили по-нашему или служили нам.

Возразят: но как далеко могут нация, общество, государство зайти в самоограничении? Ведь роскошь произвольных и вполне самоотверженных решений, какая есть у отдельного человека, не может быть допущена целым народом. Если народ перешёл к самоограничению, а соседи его — нет, — должен ли он быть готов противостоять насилию?

Да, разумеется. Силы защиты должны быть оставлены, но лишь подлинно — защиты, но лишь соразмерно с непридуманною угрозою, не самодовлеющие, не самозатягивающие, не для роста и красы генералитета. Оставлены — в надежде, что начнёт же меняться и вся атмосфера человечества.

А не начнёт меняться, — так уже рассчитано: жизни нам всем осталось менее ста лет.

Ноябрь 1973

ОБРАЗОВАНЩИНА

1

Роковые особенности русского предреволюционного образованного слоя были основательно рассмотрены в «Вехах» — и возмущённо отвергнуты всею интеллигенцией, всеми партийными направлениями от кадетов до большевиков. Пророческая глубина «Вех» не нашла (и авторы знали, что не найдут) сочувствия читающей России, не повлияла на развитие русской ситуации, не предупредила гибельных событий. Вскоре и название книги, эксплуатированное другою группою авторов («Смена вех») узко политических интересов и невысокого уровня, стало смешиваться, тускнеть и вовсе исчезать из памяти новых русских образованных поколений, тем более — сама книга из казённых советских библиотек. Но и за 60 лет не померкли её свидетельства: «Вехи» и сегодня кажутся нам как бы присланными из будущего. И только то радует, что через 60 лет кажется утолщается в России слой, способный эту книгу поддержать.

Сегодня мы читаем её с двойственным ощущением: нам указываются язвы как будто не только минувшей исторической поры, но во многом — и сегодняшние наши. И потому всякий разговор об интеллигенции сегодняшней (по трудности термина «интеллигенция» пока, для первой главы, понимая её: «вся масса тех, кто так себя называет», интеллигент — «всякий, кто требует считать себя таковым») почти нельзя провести, не сравнивая нынешних качеств с суждениями «Вех». Историческая оглядка всегда даёт и понимание лучшее.

Однако, нисколько не гонясь сохранить тут цельность веховского рассмотрения, мы позволим себе,

со служебною целью сегодняшнего разбора, суммировать и перегруппировать суждения «Вех» в такие четыре класса:

а) *Недостатки той прошлой интеллигенции*, важные для русской истории, но сегодня угасшие, или слабо продолженные, или диаметрально обёрнутые.

Кружковая искусственная выделенность из общенациональной жизни. (Сейчас — значительная сращённость, через служебное положение.) Принципиальная напряжённая противопоставленность государству. (Сейчас — только в тайных чувствах и в узком кругу отделение своих интересов от государственных, радость от всякой государственной неудачи, пассивное сочувствие всякому сопротивлению, своя же на деле — верная государственная служба.) Моральная трусость отдельных лиц перед мнением «общественности», недерзновенность индивидуальной мысли. (Ныне далеко оттеснена панической трусостью перед волей государства.) Любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру, к народному материальному благу парализовала в интеллигенции любовь и интерес к истине; «соблазн Великого Инквизитора»: да сгинет истина, если от этого люди станут счастливее. (Теперь таких широких забот вовсе нет. Теперь: да сгинет истина, если этой ценой сохранюсь я и моя семья.) Гипноз общей интеллигентской веры, идейная нетерпимость ко всякой другой, ненависть как страстный этический импульс. (Ушла вся эта страстная наполненность.) Фанатизм, глухой к голосу жизни. (Ныне — прислушивание и подлаживание к практической обстановке.) Нет слова более непопулярного в интеллигентской среде, чем «смирение». (Сейчас подчинились, и до раболепства.) Мечтательность, прекраснодушие, недостаточное чувство действительности. (Теперь — трезвое утилитарное понимание её). Нигилизм относительно труда. (Изжит.) Негодность к практической работе. (Годность.) Объединяющий всех напряжённый атеизм, некритически принимающий, что наука компетентна решить и вопросы ре-

лигии, притом — окончательно и, конечно, отрицательно; догматы идолопоклонства перед человеком и человечеством; религия заменена верой в научный прогресс. (Спала напряжённость атеизма, но он все так же разлит по массе образованного слоя — уже традиционный, вялый, однако с безусловным предпочтением научного прогресса и «человек выше всего».) Инертность мысли; слабость самоценной умственной жизни, даже ненависть к самоценным духовным запросам. (Напротив, за отход от общественной страсти, веры и действия иные образованные люди на досуге и в замкнутой скорлупе, кружке, вознаграждают себя довольно интенсивной умственной деятельностью, но обычно без всякого приложения наружу, иногда — анонимным тайным выходом в Самиздат.)

«Вехи» интеллигенцию преимущественно критиковали, перечисляли ее пороки и недостатки, опасные для русского развития. Отдельного рассмотрения достоинств интеллигенции там нет. Мы же сегодня, углом сопоставительного зрения не упуская качеств нынешнего образованного слоя, обнаружим, как, меж перечислением недостатков, авторы «Вех» упоминают такие черты, которые сегодня нами не могут быть восприняты иначе как:

б) *Достоинства предреволюционной интеллигенции.*

Всеобщий поиск целостного миросозерцания, жажда веры (хотя и земной), стремление подчинить свою жизнь этой вере. (Ничего сравнимого сегодня; усталый цинизм.) Социальное покаяние, чувство виновности перед народом. (Нынче распространено напротив: что народ виновен перед интеллигенцией и не кается.) Нравственные оценки и мотивы занимают в душе русского интеллигента исключительное место; думать о своей личности — эгоизм, личные интересы и существование должны быть безусловно подчинены общественному служению; пуританизм, личный аскетизм, полное бескорыстие, даже ненависть к личному богатству, боязнь его

как бремени и соблазна. (Всё — не о нас, всё наоборот!) Фанатическая готовность к самопожертвованию, даже активный поиск жертвы; хотя путь такой проходят единицы, но для всех он — обязательный, единственно достойный идеал. (Узнать невозможно, это — не мы! Только слово общее «интеллигенция» осталось по привычке.)

Не низка ж была русская интеллигенция, если «Вехи» применили к ней критику, столь высокую по требованиям. Мы ещё более поразимся этому по группе черт, выставленных «Вехами» как:

в) *Тогдашние недостатки*, по сегодняшней нашей переполюсовке *чуть ли не достоинства.*

Всеобщее равенство как цель, для чего готовность принизить высшие потребности одиночек. Психология героического экстаза, укрепленная государственными преследованиями; партии популярны по степени своего бесстрашия. (Нынешние преследования жесточе, систематичней и вызывают подавленность, не экстаз.) Самочувствие мученичества и исповедничества; почти стремление к смерти. (Теперь — к сохранности.) Героический интеллигент не довольствуется ролью скромного работника, его мечта — быть спасителем человечества или по крайней мере — русского народа. Экзальтированность, иррациональная приподнятость настроения, опьянение борьбой. Убеждение, что нет другого пути, кроме социальной борьбы и разрушения существующих общественных форм. (Ничего сходного! Нет другого пути, кроме подчинения, терпения, ожидания милости.)

Но — не всё духовное наследство растеряли мы. Узнаём и себя.

г) *Недостатки, унаследованные посегодня.*

Нет сочувственного интереса к отечественной истории, чувства кровной связи с ней. Недостаток чувства исторической действительности. Поэтому интеллигенция живёт в ожидании социального чуда (тогда — много и делали для него, теперь — укрепляя, чтобы чуда не было, и... ожидая его!). Всё зло — от внешнего неустройства, и потому требуют-

ся только внешние реформы. За всё происходящее отвечает самодержавие, с каждого же интеллигента снята всякая личная ответственность и личная вина. Преувеличенное чувство своих прав. Претензия, поза, ханжество постоянной «принципиальности» — прямолинейных отвлечённых суждений. Надменное противопоставление себя — «обывателям». Духовное высокомерие. Религия самообожествления, интеллигенция видит в себе Провидение для своей страны.

Всё так совпадает, что и не требует комментариев.

Добавим каплю из Достоевского («Дневник писателя»):

Малодушие. Поспешность пессимистических заключений.

Так ещё много бы оставалось в сегодняшней интеллигенции от прежней — если бы сама *интеллигенция* ещё оставалась быть...

2

Интеллигенция! Каков точно её объём, где её границы? Одно из излюбленнейших понятий в русских спорах, а употребляется весьма по-разному. При нечёткости термина многое обесценивается в выводах. Авторы «Вех» определяли интеллигенцию не по степени и не по роду образованности, а по идеологии — как некий новый *орден*, безрелигиозно-гуманистический. Они очевидно не относили к интеллигенции инженеров и учёных математического и технического циклов. И интеллигенцию военную. И духовенство. Впрочем, и сама интеллигенция того времени, *собственно интеллигенция* (гуманитарная, общественная и революционная), тоже к себе не относила всех их. Более того, в «Вехах» подразумевается, а у последователей «Вех» укореняется, что крупнейшие русские писатели и философы — Достоевский, Толстой, Вл. Соловьёв — тоже не принадлежали к интеллигенции! Для совре-

менного читателя это звучит диковато, а между тем в своё время состояло так, и расщелина была достаточно глубока. В Гоголе ценили обличение государственного строя и правящих классов. Но, как только он приступил к наиболее дорогим для себя духовным поискам, он был публицистически исхлёстан и отрешён от передовой общественности. В Толстом ценили те же разоблачения, ещё — вражду к церкви, к высшей философии и творчеству. Но его настойчивая мораль, призывы к опрощению, ко всеобщей доброте воспринимались снисходительно. «Реакционный» Достоевский был и вовсе интеллигенцией ненавидим, был бы вообще наглухо забит и забыт в России и не цитировался бы сегодня на каждом шагу, если бы в XX веке внезапно на уважаемом Западе не вынырнула его громовая мировая слава.

А между тем все не попавшие в собственно интеллигенцию — куда же должны были быть включены? А у них были свои характерные черты, иногда далеко не совпадавшие с теми, какие подытожены в «Вехах». Например, к интеллигенции технической относится лишь малая часть характеристик из «Вех». Не было в ней отделённости от национальной жизни, ни противопоставленности государству, ни фанатизма, ни революционизма, ни ведущей ненависти, ни слабого чувства действительности и т. д. и т. д.

Если принять определение интеллигенции этимологическое, от корня (intelligere: понимать, знать, мыслить, иметь понятие о чём-либо), то, очевидно, оно охватило бы во многом иной класс людей, чем те, кто в России рубежа двух веков присвоил себе это звание и в этом качестве рассмотрен в «Вехах».

Г. Федотов остроумно предлагал считать интеллигенцией специфическую группу, «объединяемую идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей».

В. Даль определял интеллигенцию как «образованную, умственно развитую часть жителей», но

вдумчиво отмечал, что «для *нравственного образования* у нас нет слова» — для того просвещения, которое «образует и ум, и *сердце*».

Были попытки строить определение интеллигенции на самодвижущей творческой силе, даже вопреки внешним обстоятельствам; на неподражательности образа мысли; на самостоятельной душевной жизни. Во всех этих поисках высшая затруднённость не в формулировке определения и не в характеристике реально существующей общественной группы, а в разности желаний: кого мы *хотели бы* видеть под именем интеллигенции.

Бердяев позже предлагал определение, альтернативное тому, какое рассмотрено в «Вехах»: интеллигенция как совокупность духовно-избранных людей страны. То есть духовная элита, а не социальный слой.

После революции 05—07 годов начался тихий процесс поляризации интеллигенции: поворота интересов студенческой молодёжи и медленного выделения ещё очень тонкого слоя с повышенным вниманием ко внутренней нравственной жизни человека, а не ко внешним общественным преобразованиям. Так что авторы «Вех» не вовсе были в тогдашней России одинокими. Однако этому неслышному хрупкому процессу выделения нового типа интеллигенции (вслед за тем расщепился бы и уточнился сам термин) не суждено было в России произойти: его смешала и раздавила первая мировая война, затем стремительный ход революции. Чаще многих других произносилось в русском образованном классе слово «интеллигенция», — но так, за событиями, и не успело получить обстоятельно-точного смысла.

А дальше — условий и времени было ещё меньше. 1917 год был идейным крахом «революционно-гуманистической» интеллигенции, как она очерчивала сама себя. Впервые ей пришлось от одиночного террора, от кипливой кружковщины, от партийного начётничества и необузданной общественной критики правительства перейти к реальным государ-

ственным действиям. И, в полном соответствии с печальными прогнозами авторов «Вех» (ещё отдельно у С. Булгакова: «интеллигенция в союзе с татарщиной... погубит Россию»), интеллигенция оказалась не способна к этим действиям, сробела, запуталась, её партийные вожди легко отрекались от власти и руководства, которые издали казались им такими желанными, — и власть, как обжигающий шар, отталкиваемая от рук к рукам, докатилась до тех, что ловили её и были кожею приготовлены к её накалу (впрочем, тоже интеллигентские руки, но особенные). Интеллигенция сумела раскачать Россию до космического взрыва, да не сумела управить её обломками. (Потом, озираясь из эмиграции, сформулировала интеллигенция оправдание себе: оказался «народ — не такой», «народ обманул ожидания интеллигенции». Так в этом и состоял диагноз «Вех», что, обожествляя народ, интеллигенция не знала его, была от него безнадёжно отобщена! Однако незнанье — не оправданье. Не зная ни народа, ни собственных государственных сил, надо было десятижды остеречься непроверенно кликать его и себя в пустоту.)

И как та кочерга из присказки, в тёмной избе неосторожно наступленная ногою, с семикратной силой ударила олуха по лбу, так революция расправилась с пробудившей её русской интеллигенцией. После царской бюрократии, полиции, дворянства и духовенства следующий уничтожительный удар успел по интеллигенции ещё в революционные 1918-20 годы, и не только расстрелами и тюрьмами, но холодом, голодом, тяжёлым трудом и насмешливым пренебрежением. Ко всему тому интеллигенция в своём героическом экстазе готова не была и — чего уж от самой себя никак не ожидала — в гражданскую войну потянулась частью под защиту бывшего царского генералитета, а затем и в эмиграцию, иные не первый уже раз, но теперь — вперемешку с той бюрократией, которую недавно сама подрывала бомбами.

Заграничное существование, в бытовом отношении много тяжче, чем в прежней ненавидимой России, однако, отпустило осколкам русской интеллигенции ещё несколько десятилетий оправданий, объяснений и размышлений. Такой свободы не досталось большей части интеллигенции — той, что осталась в СССР. Уцелевшие от гражданской войны не имели простора мысли и высказывания, как они были избалованы раньше. Под угрозою ГПУ и безработицы они должны были к концу 20-х годов либо принять казённую идеологию в качестве своей задушевной, излюбленной, или погибнуть и рассеяться. То были жестокие годы испытания индивидуальной и массовой стойкости духа, испытания, постигшего не только интеллигенцию, но, например, и русскую церковь. И можно сказать, что церковь, к моменту революции весьма одряхлевшая и разложенная, быть может из первых виновниц русского падения, выдержала испытание 20-х годов гораздо достойнее: имела и она в своей среде предателей и приспособителей (обновленчество), но и массою выделила священников-мучеников, от преследований лишь утвердившихся в стойкости и под штыками погнанных в лагеря. Правда, советский режим был к церкви намного беспощаднее, а перед интеллигенцией приопахнул соблазны: соблазн *понять Великую Закономерность,* осознать пришедшую железную Необходимость как долгожданную Свободу — осознать *самим,* сегодня, толчками искреннего сердца, опережающими завтрашние пинки конвойных или зашеины общественных обвинителей, и не закиснуть в своей «интеллигентской гнилости», но утопить своё «я» в Закономерности, но заглотнуть горячего пролетарского ветра и шаткими своими ногами догонять уходящий в светлое будущее Передовой Класс. А для догнавших — второй соблазн: своим интеллектом вложиться в Небывалое Созидание, какого не видела мировая история. Ещё бы не увлечься!.. Этим ретивым самоубеждением были физически спасены многие интеллигенты и даже, ка-

залось, не сломлены духовно, ибо с полной искренностью, вполне добровольно отдавались новой вере. (И ещё долго потом высились — в литературе, в искусстве, в гуманитарных науках — как заправдошние* стволы, и только выветриванием лет узналось, что это стояла одна пустая кора, а сердцевины уже не было.) Кто-то шёл в это «догонянье» Передового Класса с усмешкою над самим собой, лицемерно, уже поняв смысл событий, но просто спасаясь физически. Парадоксально, однако (и этот процесс повторяется сегодня на Западе), что большинство шло вполне искренно, загипнотизированно, охотно дав себя загипнотизировать. Процесс облегчался, увернялся захваченностью подрастающей интеллигентской молодёжи: огненнокрылыми казались ей истины торжествующего марксизма — и целых два десятилетия, до второй мировой войны, несли нас те крылья. (Вспоминаю как анекдот: осенью 1941, уже пылала смертная война, я — в который раз и всё безуспешно — пытался вникнуть в мудрость «Капитала».)

В 20-е и 30-е годы усиленно менялся, расширялся и самый состав прежней интеллигенции, как она сама себя понимала и видела.

Первое естественное расширение было — на интеллигенцию техническую («спецы»). Впрочем, как раз техническая, стоявшая на прочной деловой почве, реально связанная с национальной промышленностью и на совести не имевшая греха соучастия в революционных жестокостях, значит, и без нужды сплетать горячее оправдание Новому Строю и к нему льнуть, — техническая интеллигенция в 20-е годы оказала гораздо большую духовную стойкость, чем гуманитарная, не спешила принять Идеологию как единственно возможное мировоззрение, а по независимости своей работы и физически устояла притом.

---

* В этом издании учтена авторская трактовка орфографии, изложенная в «Некоторых грамматических соображениях...» А. И. Солженицына, помещаемых в третьем томе нашего трехтомника. — *Сост.*

Но были и другие формы расширения — и разложения! — прежнего состава интеллигенции, уверенно направляемые государственные процессы. Один — физическое прервание традиции интеллигентских семей: дети интеллигентов имели почти нулевые права на поступление в высшие учебные заведения (путь открывался лишь через личное подчинение и перерождение молодого человека: комсомол). Другой — спешное создание рабфаковской интеллигенции, при слабой научной подготовке, — «горячий» пролетарско-коммунистический поток. Третий — массовые аресты «вредителей». Этот удар пришёлся больше всего по интеллигенции технической: разгромив меньшую часть её, остальных смертельно напугать. Процессы шахтинский, Промпартии и несколько мелких в обстановке уже общей напуганности в стране успешно достигли своей цели. С начала 30-х годов техническая интеллигенция была приведена также к полной покорности, 30-е годы были успешной школой предательства уже и для неё: так же покорно голосовать на митингах за любые требуемые казни; при уничтожении одного брата другой брат послушно брал на себя хоть и руководство Академией Наук; уже не стало такого военного заказа, который русские интеллигенты осмелились бы оценить как аморальный, не бросились бы поспешно-угодливо выполнять.* Удар пришёлся не только по старой интеллигенции, но уже отчасти и по рабфаковской, он избирал по принципу непокорности, и так всё более пригибал оставшуюся массу. Четвёртый процесс — «нормальные» советские пополнения интеллигенции — кто прошёл всё своё 14-летнее образование при советской власти и генетически был связан только с нею.

В 30-е же годы совершилось и новое, уже необъятное, расширение «интеллигенции»: по государ-

* Эта угарная преданность государственным заказам очень нестеснительно выражена в недавней самиздатской публикации «Туполевская шарага», она не миновала и крупнейших фигур.

ственному расчёту и покорным общественным сознанием в неё были включены миллионы государственных служащих, а верней сказать: вся интеллигенция была зачислена в *служащих,* иначе и не говорилось и не писалось тогда, так заполнялись анкеты, так выдавались хлебные карточки. Всем строгим регламентом интеллигенция была вогнана в служебно-чиновный класс, и само слово «интеллигенция» было заброшено, упоминалось почти исключительно как бранное. (Даже свободные профессии через «творческие союзы» были доведены до служебного состояния.) С тех пор и пребывала интеллигенция в этом резко увеличенном объёме, искажённом смысле и умалённом сознании. Когда же, с конца войны, слово «интеллигенция» восстановилось отчасти в правах, то уж теперь и с захватом многомиллионного мещанства служащих, выполняющих любую канцелярскую или полуумственную работу.

Партийное и государственное руководство, правящий класс, в довоенные годы не давали себя смешивать ни со «служащими» (они — «рабочими» оставались), ни тем более с какой-то прогнившей «интеллигенцией», они отчётливо отгораживались как «пролетарская» кость. Но после войны, а особенно в 50-е, ещё более в 60-е годы, когда увяла и «пролетарская» терминология, всё более изменяясь на «советскую», а с другой стороны и ведущие деятели интеллигенции всё более допускались на руководящие посты, по технологическим потребностям всех видов управления, — правящий класс тоже допустил называть себя «интеллигенцией» (это отражено в сегодняшнем определении интеллигенции в БСЭ), и «интеллигенция» послушно приняла и это расширение.

Насколько чудовищно мнилось до революции назвать интеллигентом священника, настолько естественно теперь зовётся интеллигентом партийный агитатор и политрук.

Так, никогда не получив чёткого определения

интеллигенции, мы как будто и перестали нуждаться в нём. Под этим словом понимается в нашей стране теперь *весь образованный слой,* все, кто получил образование выше семи классов школы.

По словарю Даля *образовать* в отличие от *просвещать* означает: придать лишь наружный лоск.

Хотя и этот лоск у нас довольно третьего качества, в духе русского языка и верно по смыслу будет: сей образованный слой, всё то, что самозванно или опрометчиво зовётся сейчас «интеллигенцией», называть *образованщиной.*

3

Так — произошло, и с историей уже не поспоришь: согнали нас в образованщину, утопили в ней (но и *мы дали* себя согнать, утопить). С историей не поспоришь, а в душе — протест, несогласие: не может быть, чтоб так и осталось! Воспоминанием ли прошлого, надеждой ли на будущее: *мы* — другие!..

Некто Алтаев (псевдоним, статья «Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура» в № 97 «Вестника РСХД»), признавая это численное умножение, растворение интеллигенции и смыкание её с бюрократией, всё же ищет рычаг, которым бы отделить интеллигенцию от растворяющей массы. Он находит его в «родовом признаке» интеллигенции, якобы отличавшем её и до революции и сейчас, так что можно признать его за «определение» интеллигенции: что это «уникальная категория лиц», не повторявшаяся никогда ни в одной стране, живущая в «сознании коллективной отчуждённости» от «своей земли, своего народа и своей государственной власти». Но, не говоря об искусственности такого определения (и не такой уж уникальности ситуации), можно возразить, что дореволюционная интеллигенция (в «веховском» определении) именно

сознания отчуждённости от своего *народа* не имела, напротив, уверена была в своём полновластии высказываться от его имени; а интеллигенция современная вовсе не отчуждена от современного *государства:* те, кто ощущают так — сами с собой или в узком кругу своих, зажато-тоскливо, обречённо, отданно, — не только *держат* государство всею своей повседневной интеллигентской деятельностью, но принимают и исполняют даже более страшное условие государства: участие *душой* в обязательной общей лжи. Куда ж дальше? Ещё может быть можно остаться «отчуждённым», отдаваясь только телом, только мозгом, только специальными познаньями, — но не душой же! Интеллигенция прежняя действительно была противопоставлена государству до открытого разрыва, до взрыва, так оно и случилось, — об интеллигенции нынешней сам же Алтаев в противоречие себе пишет, что «она не смела выступить при советской власти не только оттого, что ей не давали этого сделать, но и оттого в первую очередь, что ей *не с чем* было выступить. Коммунизм был её собственным детищем... в том числе и идеи террора... В её сознании не было принципов, существенно отличавшихся от принципов, реализованных коммунистическим режимом», интеллигенция сама «причастна ко злу, к преступлению, и это больше, чем что-либо другое, мешает ей поднять голову». (И облегчило войти в систему лжи.) Хотя и в несколько неожиданной форме, интеллигенция получила по сути то самое, чего добивалась многими десятилетиями, — и без боя покорилась. И только ту утешку посасывала втихомолку, что «идеи революции были хороши, да извращены». И на каждом историческом изломе тешила себя надеждой, что режим вот выздоравливает, вот изменится к лучшему и теперь-то, наконец, сотрудничество с властью получает полное оправдание (блестяще отграненные у Алтаева *шесть соблазнов* русской интеллигенции — революционный, сменовеховский, социалистический, патриотический, оттепельный и технократический, в их

последовательном появлении и затем сосуществовании во всякий момент современности).

Покорились — до полной приниженности, до духовного самоуничтожения, и что ж, как не кличка *образованщины,* по справедливости остаётся нам? Тоскливое чувство отчуждённости от государства (годов лишь с 40-х), своего невольничьего состояния в чужих лапах — это не признак родовой, непрерывный, но зарождение нового протеста, зарождение раскаяния. И большинством же интеллигенции вполне сознаётся теперь — кем тревожно, кем равнодушно, кем высокомерно — отчуждение от нынешнего *народа.*

О том, как не размыться в образованщине, как отграничиться от неё и спасти понятие интеллигенции, много пишет и Г. Померанц (не псевдоним, лицо подлинное, востоковед, имеющий в Самиздате целый том философских эссе и публицистических статей): «самая здоровая часть современного общества», «другого такого прогрессивного слоя не найти».* Но и он остаётся в смущении перед морем образованщины: «Понятие интеллигенции очень трудно определить. Интеллигенция в самой жизни ещё не устоялась.» (? За 130 лет от Белинского и Грановского не устоялась? нет, после революционного потрясения.) Ему приходится выделять «лучшую часть интеллигенции», это «даже не прослойка, а кучка людей», «собственно интеллигентно лишь маленькое ядро интеллигенции», «узкий круг людей, способных самостоятельно открывать вновь святыни, ценности культуры», даже: «интеллигентность — это процесс»... Он предлагает вообще отказаться от очерчивания контура, границ, пределов интеллигенции, а представить себе как бы поле (в смысле физики): центр излучения (самая малая кучка) — затем «слой одушевлённой интеллигенции» — дальше «неодушевлённая интеллигенция» (?), которая однако «развитее мещанства». (В ста-

* Все цитаты из Померанца здесь и ниже — главным образом из статей «Человек ниоткуда» и «Квадрильон».

рых вариантах той же самиздатской статьи Померанц делил интеллигенцию на «порядочную» и «непорядочную» с таким странным определением: «порядочные люди гадят ближнему лишь по необходимости, без удовольствия», а непорядочные, мол, с удовольствием, и в этом их различие!)

Правда, в защиту этого многомиллионного класса, на границе «неодушевлённости» и «мещанства», Померанц находит весьма сочувственные слова: о тяжести работы школьных педагогов, врачей общей медицинской сети и бухгалтеров — этих «грузчиков умственного труда». Но, оказывается, эта его настойчивая защита есть скорее нападение на «народ»: доказать, что искать ошибки в платёжной ведомости тяжелее, чем колхознице работать в задушливом птичнике.

Что искажённый труд и искалеченные люди — верно. Я и сам, достаточно поработав школьным преподавателем, могу горячо разделить эти слова и ещё добавить сюда много разрядов: техников-строителей, сельхозтехников, агрономов... Школьные учителя настолько задёрганные, заспешенные, униженные люди, да ещё и в бытовой нужде, что не оставлено им времени, простора и свободы формулировать собственное мнение о чём бы то ни было, даже находить и поглощать неповреждённую духовную пищу. И не от природы и не от слабости образования вся эта бедствующая провинциальная масса так проигрывает в «одушевлённости» по сравнению с привилегированной столично-научной, а именно от нужды и бесправия.

Но оттого нисколько не меняется безнадёжная картина расплывшейся образованщины, куда стандартным входом служит самое среднее образование.

4

Если обвиняют нынешний рабочий класс, что он чрезмерно законопослушен, безразличен к духовной жизни, утонул в мещанской идеологии,

весь ушёл в материальные заботы, получение квартир, покупку безвкусной мебели (уж какую продают), в карты, домино, телевизоры и пьянку, — то на много ли выше поднялась образованщина, даже и столичная? Более дорогая мебель, концерты более высокого уровня и коньяк вместо водки? А хоккей по телевизору — тот же самый. Если на периферии образованщины колотьба о заработках есть средство выжить, то в сияющем центре её (шестнадцать столиц и несколько закрытых городков) выглядит отвратительно подчинение любых идей и убеждений — корыстной погоне за лучшими и бóльшими ставками, званиями, должностями, квартирами, дачами, автомобилями (Померанц: «сервис — это компенсация за потерянные нервы»), а ещё более — заграничными командировками. (Вот поразилась бы дореволюционная интеллигенция! Это же надо объяснить: впечатления, развлечения, красивая жизнь, валютная оплата, покупка цветных тряпок... Думаю, самый захудалый дореволюционный интеллигент по этой причине не подал бы руки самому блестящему сегодняшнему столичному образованцу.) Но более всего характеризуется интеллект центровой образованщины её жаждой наград, премий и званий, несравненных с теми, что дают рабочему классу и провинциальной образованщине, — и суммы премий выше и какая звучность: «народный художник (артист и т. д.)... заслуженный деятель... лауреат...»! Для всего того не стыдно вытянуться в струнчайшую безукоризненность, прервать все порицательные знакомства, выполнять все пожелания начальства, осудить письменно или с трибуны или неподанием руки любого коллегу по указанию парткома.

Если это всё — «интеллигенция», то что же тогда «мещанство»?!..

Люди, чьё имя мы недавно прочитывали с киноэкранов и которые уж конечно ходили в интеллигентах, недавно, уезжая из этой страны навсегда, не стеснялись разбирать екатерининские секретеры по доскам (вывоз древностей запрещён), вперемежку

с простыми досками сколачивали их в нелепую «мебель» и вывозили так. И язык поворачивается выговорить это слово — «интеллигенция»?.. Только таможенный запрет ещё удерживает в стране иконы древнее XVII века. А из более новых целые выставки устраиваются ныне в Европе — и не только государство продавало их туда...

Всякий живущий в нашей стране платит подать в поддержку обязательной идеологической лжи. Но у рабочего класса и тем более у крестьянства эта подать минимальна, особенно после упразднения ежегодных вымученных займов (душевредных и мучительных именно своей ложной добровольностью, деньги-то можно было отбирать в любой форме), осталось — редкое голосование на общем собрании, где не так уж тщательно проверяют отсутствующих. С другой стороны, государственные управители и идеологические внедрители иные искренне верят своей Идеологии, многие отдались ей по многолетней инерции, по недостатку знаний, по психологической особенности человека иметь мировоззрение, соответствующее его основной деятельности.

Но — центровая образованщина? Отлично видеть жалкость и дряблость партийной лжи, меж своими смеяться над нею — и тут же цинично, в «гневных» протестах и статьях, звучно и витиевато повторять ту же ложь, ещё развивая и укрепляя её средствами своей элоквенции и стиля! На ком же узнано, с кого ж и списано Оруэллом *двоемыслие,* как не с советской интеллигенции 30-х и 40-х годов? Это двоемыслие с тех пор лишь отработалось, стало устойчивым жизненным приёмом.

О, мы жаждем *свободы,* мы заклеймим (шёпотом) всякого, кто усумнился бы в желанности и необходимости полнейшей свободы в нашей стране! (Пожалуй, так: не для всех, но для центровой образованщины непременно. Померанц в письме XXIII съезду партии предлагает ассоциацию «интеллигентного ядра», обладающую независимой прессой, теоретический центр, дающий советы администра-

тивно-партийному.) Однако этой свободы мы ждём как внезапного чуда, которое без наших усилий вдруг выпадет нам, сами же ничего не делаем для завоевания той свободы. Уж где там прежние традиции — поддержать политических, накормить беглеца, приютить беспаспортного, бездомного (можно службу казённую потерять), — центровая образованщина повседневно добросовестно, а иногда и талантливо трудится для укрепления общей тюрьмы. И этого она не разрешит поставить себе в вину! — приготовлены, обдуманы, отточены многоязыкие оправдания. Подножка сослуживцу, ложь в газетном заявлении находчиво оправдываются совершившим, охотно принимаются хором окружающих: если б я (он) этого не сделал, то меня (его) бы сняли с этого поста и назначили бы худшего! Так для того, чтоб удерживать позиции *добра* к облегчению всех, — естественно, каждый день приходится причинять зло некоторым («порядочные люди гадят ближним лишь по необходимости»). Но эти некоторые — сами виноваты: зачем так резко-неосторожно выставили себя перед начальством, не думая о *коллективе*? или зачем скрыли свою анкету перед отделом кадров — и вот *подвели под удар* весь коллектив?.. Челнов (Вестник РСХД, № 97) остроумно называет позицию интеллигенции кривостоянием, «при котором прямизна кажется нелепой позой».

Но главный оправдательный аргумент — д е т и! Перед этим аргументом смолкают все: кто ж имеет право пожертвовать материальным благополучием своих детей для *отвлечённого* принципа правды?!.. Что моральное здоровье детей дороже их служебного устройства, — и в голову не приходит родителям, самим обеднённым на то. Резонно вырасти такими и детям: прагматики уже со школьной скамьи, первокурсники уже покорны лжи политучёб, уже разумно взвешивают, как наивыгоднейше вступить на состязательное поприще наук. Поколение, не испытавшее настоящих гонений, но как оно осторожно! А те немногие юноши — надежда России,

кто оборачивается лицом к правде, — обычно проклинаются и даже преследуются своими разъярёнными состоятельными родителями.

И не оправдаешь центровую образованщину, как прежних крестьян, тем, что они раздроблены по волостям, ничего не знают о событиях общих, давимы локально. Интеллигенция во все советские годы достаточно была информирована, знала, что делается в мире, *могла* знать, что делается в стране, но — отворачивалась, но дрябло сдавалась в каждом учреждении и кабинете, не заботясь о деле общем. Конечно, от десятилетия к десятилетию сжимали невиданно (западным людям и не вообразить, пока до них не докатилось). Людей динамичной инициативы, отзывных на все виды общественной и личной помощи, самодеятельности, — подавляли гнётом и страхом, да и саму общественную помощь загаживали казённой лицемерной имитацией. И в конце концов поставили так, что как будто третьего нет: в травле товарища по работе никто не смеет остаться нейтральным — едва уклонясь, он тут же становится травимым и сам. И всё же у людей остаётся выход и в этом положении: что ж, быть травимым и самому! что ж, пусть мои дети на кóрочке вырастут, да честными! Была б интеллигенция т а к а я — она была бы непобедима.

А есть ещё особый разряд — людей именитых, так недосягаемо, так прочно поставивших имя своё, предохранительно окутанное всесоюзной, а то и мировой известностью, что, во всяком случае в послесталинскую эпоху, их уже не может постичь полицейский удар, это ясно всем напрозор, и вблизи, и издали; и нуждою тоже их не накажешь — накоплено. *Они-то* — могли бы снова возвысить честь и независимость русской интеллигенции? выступить в защиту гонимых, в защиту свободы, против удушающих несправедливостей, против убогой навязываемой лжи? Двести таких человек (а их и полтысячи можно насчитать) своим появлением и спаянным стоянием очистили бы общественный воздух

в нашей стране, едва не переменили бы всю жизнь! В предреволюционной интеллигенции так и действовали тысячи, не ожидая защитной известности. В нашей образованщине — насчитаем ли полный десяток? Остальные — такой *потребности* не имеют! (Даже если у кого и отец расстрелян — ничего, съедено.) Как же назвать и зримую верхушку нашу — выше образованщины?

В сталинское время за отказ подписать газетную кляузу, заклинание, требование смерти и тюрьмы своему товарищу действительно могла грозить и смерть, и тюрьма. Но сегодня — какая угроза сегодня склоняет седовласых и знаменитых брать перо и, угодливо спросивши — «где?», подписывать не ими составленную грязную чушь против Сахарова? Только личное ничтожество. Какая сила заставляет великого композитора XX века стать жалкой марионеткой третьестепенных чиновников из министерства культуры и по их воле подписывать любую презренную бумажку, защищая кого прикажут за границей, травя кого прикажут у нас? (Сокоснулся композитор безо всяких перегородок, душа с душою, с тёмной гибельной душою XX века. Он ли её, нет, она его захватила с такой пронзающей достоверностью, что когда — если! — наступит у человечества более светлый век, услышат наши потомки через музыку Шостаковича, как мы были уже в когтях дьявола, в его полном обладании, — и когти эти, и адское его дыхание казались нам красивыми.)

Бывало ли столь жалкое поведение среди великих русских учёных прошлого? среди великих русских художников? Традиция их сломлена, мы — образованщина.

Тройной стыд, что уже не страх перед преследованием, но извилистые расчёты тщеславия, корысти, благополучия, спокойствия заставляют так сгибаться «московские звезды» образованщины и средний слой «остепенённых». Права Лидия Чуковская: *кого-то* от интеллигенции пришла пора отчислить. Если не *этих* всех — то окончательно потерян смысл слова.

О, появились бесстрашные! — выступить в защиту сносимого старого здания (только не храма) и даже целого Байкала. Спасибо и на том, конечно. В нашем сегодняшнем сборнике предполагалось участие одного незаурядного человека, достигшего между тем всех чинов и званий. В частных беседах стонет его сердце — о безвозвратности гибели русского народа. От корней знает нашу историю и культуру. И — отказался: *к чему это? ни к чему не приведёт*... Обычная достойная отговорка образованщины.

Чего заслуживаем. На каком дне прозябаем.

Когда сверху дёргали верёвку, что можно посмелей (1956, 1962), мы малость разминали затекшую спину. Когда дёргали «цыц!» (1957, 1963), мы сникали тут же. Был момент и самопроизвольный: 1967-68, Самиздат пошёл как половодье, множились имена, новые имена в протестах, казалось — ещё немножко, ещё чуть-чуть — и начнём дышать. И — много ли понадобилось на подавление? Полсотни самых дерзких лишили работы по специальности. Нескольких исключили из партии, нескольких из союзов да семь дюжин «подписантов» *вызвали на собеседование* в партком. И бледные и потерянные возвращались с «собеседований».

И самое важное открытие своё, условие своего дыхания, возрождения и мысли — Самиздат — образованщина поспешно обронила в бегстве. Давно ли гнались образованцы за новинками Самиздата, выпрашивали перепечатать, начинали собирать самиздатские библиотеки? отправляли в провинцию?.. Но вот стали сжигать эти библиотеки, содержать в девственности пишущие машинки, разве иногда в тёмном коридоре перехватывать запретный листок, пробегать с пятого на десятое и тут же возвращать обожжёнными руками.

Да, в тех преследованиях прояснело, проступило несомненное *интеллигентное ядро:* кто продолжал собою рисковать и жертвовать — открыто или в неслышном сокрытии хранил опасные материалы,

бесстрашно помогал посаженным или сам поплатился свободой.

Но и другое «ядро» открылось, кто обнаружил иную мудрость: из этой страны — бежать! Спасая ли свою неповторимую индивидуальность («там буду спокойно развивать русскую культуру»). Затем — спасая тех, кто остаётся («там будем лучше защищать ваши права здесь»). Наконец же — и детей своих, более ценных, чем дети остальных соотечественников.

Такое открылось «ядро русской интеллигенции», которое может существовать и без России...

5

Да всё бы простилось нам, вызывало бы только сочувствие — и наша зажатая униженность, и наше служение лжи, если бы мы смиренно признались в своей некрепости, в своей привязанности к благополучию, в своей духовной неготовности к этим слишком крутым испытаниям: мы — жертвы истории, произошедшей до нас, мы уже родились — в ней, и хлебнули её довольно, и вот барахтаемся, не знаем, как выбиться.

Но нет! В этом положении мы выискиваем изворотливые доводы ошеломительной высоты, почему должны мы «осознать себя духовно, не бросая своего НИИ» (Померанц), — как будто «осознать себя духовно» есть задача уютного размышления, а не строгого искуса, а не беспощадного испытания. Мы нисколько не отреклись от заносчивости. Мы настаиваем на высоком наследном звании интеллигентов, на праве быть высшими судьями всего духовного, происходящего в стране и человечестве: давать общественным теориям, течениям, движениям, направлениям истории и деятельности активных лиц безапелляционные оценки из безопасной норы. Ещё в вестибюле НИИ, беря пальто, мы вырастаем на голову, а уж за чайными столами вече-

ром произносится вершинная оценка: что́ из поступков и кому из деятелей «простит» или «не простит интеллигенция».

Наблюдая жалкое реальное поведение центровой образованщины на советской службе, невозможно поверить, на каком историческом пьедестале эта образованщина видит себя: каждый — сам себя, друзей и сослуживцев. Всё большее сужение профессиональных знаний, дающее возможность и в доктора наук проходить полуневеждам, нисколько не смущает образованца.

Настолько властно надо всеми образованными людьми это высокое мнение образованщины о себе, что даже упорный обличитель её Алтаев в промежутке между обличениями традиционно склоняется: «сегодня (наша) интеллигенция явно держит в своих руках судьбы России, а с нею и всего мира»!.. Горький смех... По пройденному русскому опыту перед растерянным сегодняшним Западом — могла бы держать! — да руки слабы, да сердце перебивается...

В 1969 году этот напор самодовольства научно-технической образованщины прорвался в Самиздат статьёй Семёна Телегина (разумеется, псевдоним) «Как быть?». Тон — бодрого напористого всезнайки, быстрого на побочные ассоциации, с довольно развязным и невысоким остроумием, вроде «руссиш культуриш», то пренебрежением к этому населению, с которым приходится делить один участок суши («человеческий свинарник»), то — пафосными зачинами: «А задумывались ли вы, читатель?». «Творческое начало, источник этики и гуманизма», автор выводит от обезьян, лучшим выходом для разочарованных считает «трибуны стадиона», худшим — «в сектанты».

Но не так важен сам автор, как единомыслящий круг его, который он аттестует отчётливо: «прогрессивные интеллигенты» (состоящие в партии, ибо сиживают на партсобраниях и руководят «отдельными участками работы»), «мы — цвет мыслящей

России», кто «создаёт свой круг воззрений, в котором можно жить, не путаясь в противоречиях». «Представьте себе класс высокообразованных людей, вооружённых идеями современной науки, умелых, самостоятельных, бесстрашно мыслящих, вообще привыкших и любящих думать, а *не...* пахать землю.»

Не скрывает Телегин и таких особенностей своего круга: «Мы — люди, привыкшие думать одно, говорить другое, а делать третье... Тотальная демобилизация морали коснулась и нас.» Речь идёт о *троедушии,* о тройной морали — «для себя, для общества, для государства». Но является ли это пороком? Весёлый Телегин считает: «в этом наша победа»! Как так? А: власти хотели бы, чтобы мы и *думали* так же подчинённо, как говорим вслух и работаем, а мы *думаем* — бесстрашно! «мы отстояли свою *внутреннюю свободу»!* (Изумишься: если шиш, показываемый тайно в кармане, есть внутренняя свобода, — что же тогда внутреннее рабство? Мы бы всё-таки назвали внутренней свободой способность и мыслить *и действовать,* не завися от внешних пут, а внешней свободой — когда тех пут вовсе нет.)

Именно в статье Телегина «цвет мыслящей России» адекватно и очень откровенно выразил себя. Обогатительно для нас познакомиться с этими взглядами.

«Под режимом угнетения» будто бы выросла «новая культура», «система отношений и система мышления», это «колосс на двух ногах — искусства и науки». В области искусства? — гитаристы-песенники и независимая самиздатская литература. В области науки? — «могучая методология физики», а из неё — «целая жизненная философия», вот уже «десятки отраслевых и локальных подкультур пускают побеги в чертёжных залах КБ, в коридорах НИИ, в холлах институтов Академии Наук». «Здесь простор творцам, и они есть.» «Науку не обуздать никаким властям» (гм-гм...). И вот: можно будет «методологию физики приложить к тонкостям мора-

ли» (упаси нас Бог...), «на этой подпольной культуре взойдёт, как на дрожжах, племя новых цельных людей, гигантов, которым будут смешны наши страхи».

И дальше — смелый план, как эту культуру использовать для нашего спасения. Дело в том, что «открыто выступать против условий, в которых мы живём... не всегда лучший способ». «Зло злом не исправишь», не помогут и не нужны «ни тайные заговоры, ни новые партии», нельзя призывать к революции.

С последним выводом мы искренне согласны, хотя в обосновании его автор грешит: падение самодержавия приписывает исключительно тому, что общество отвергло казённую идею, а никакой революционной деятельности. Это — не так, тут параллели не натянешь: и революционная деятельность была самая настоящая, и самодержавие не оборонялось в сотую долю так свирепо, и интеллигенция была жертвенна. Но с практическим выводом мы согласны: откинем мысль о революции, «не будем строить планов создания новой массовой партии ленинского типа».

А — что же? Вот: «на первых порах больших жертв не предвидится» (очень успокоительно для образованщины). 1-й этап: «неприятие культуры угнетателей» и своё «культурное строительство» (ну, читать Самиздат и высоко понимать в курилках НИИ). 2-й этап: прилагать «усилия по распространению этой культуры среди народа», даже «активно нести эту культуру в народ» (методологию физики? гитарные песни?), «внести в народ понимание того, до чего мы сами дошли», для чего искать «обходные способы». Такой путь «потребует в первую очередь не отваги (в который раз этот бальзам на душу!), а дара убеждать, прояснять, умения долго и успешно возбуждать внимание народа, не привлекая внимания властей», «России нужны не только трибуны и подвижники, но и... ехидные критики, искусные миссионеры новой культуры». «Находим же мы с

народом общий язык, говоря о футболе и рыбалке,— надо искать конкретные формы хождения в народ.» «И неужели мы, владея мировоззрением... (и т. д.) ... не справимся с задачей, которую успешно решают полуграмотные проповедники религии?!» (Увы, увы, не в грамотности дело, на том и выдаёт себя заносчивая и подслепая образованщина, а — в душевной силе.)

Мы так щедро цитируем, потому что: не одного Телегина уже, а — всех самоуверенных идеологов центровой образованщины. Кого из них ни послушаем мы, одно это и слышим: осторожное просветительство! Статья Челнова (Вестник, № 97) точно, как и у Телегина, не сговариваясь, озаглавлена: «Как быть?» Ответ: «создавать тайные христианские братства», расчёт на тысячелетнее ж улучшение нравов. Л. Венцов (Вестник, № 99): «Думать!» — то же, не сговариваясь, телегинское лекарство. На короткое время заплодились в Самиздате журналы и журналы — «Луч свободы», «Сеятель», «Свободная мысль», «Демократ» — все строго конспиративны, конечно, и у всех совет один: только не открывать своего лица, только не нарушать конспирации, а медленно распространять среди народа верное понимание... *Как* же? всё та же тысячелетняя пастораль, которую сто раз обгонят события ракетного века. Помни́лось, это так легко: в норке рассуждать, рассуждения отдавать в Самиздат, а там — *само* пойдёт!

Да не пойдёт.

В тёплых светлых благоустроенных помещениях НИИ учёные-«то́чники» и техники, сурово осуждая братьев-гуманитариев за «прислуживание режиму», привыкли прощать себе свою безобидную служебную деятельность, а она никак не менее страшна, и не менее сурово за неё спросится историей. А нука, потеряли б мы завтра половину НИИ, самых важных и секретных, — пресеклась бы наука? Нет, империализм. «Создание антитоталитарной культуры может привести и к свободе вещественной», —

уверяет Телегин, — да к а к же это себе вообразить? Полный рабочий день учёные (с тех пор как наука стала промышленностью — по сути квалифицированные промышленные рабочие) выдают *вещественную* если не «культуру», то цивилизацию (а больше — вооружение), именно вещественно укрепляют ложь, и везде голосуют, и соглашаются, и повторяют, как велено, — и как же такая культура спасёт всех нас?

За минувшие от статьи Телегина годы много было общественных поводов, чтобы *племя гигантов* хоть бы плечами повело, хоть бы дохнуло разик, — нет! Подписывали, что требовалось, против Дубчека, против Сахарова, против кого прикажут, и, держа шиши в карманах, торопились в курилки развивать «отраслевую подкультуру» и ковать «могучую методологию».

А может быть и психиатры института Сербского той же «тройной моралью» живут и гордятся своею «внутренней свободой»? И прокуроры иные, и высокие судьи? — среди них ведь есть люди отточенного интеллекта (например, Л. Н. Смирнов), никак не ниже телегинских гигантов.

Тем и обманчива, в том и путана эта самодовольная декларация, что она очень близко проходит от истины, и это веет читателю на сердце, а в опасной точке круто сворачивает вбок. «Ohne uns!» — восклицает Телегин. Верно. «Не принимать культуру угнетаталей!» — верно. Но: когда? где? и в чём не принимать? Не в гардеробной после собрания, а *на* собрании — не повторять, чего не думаешь, не голосовать против воли! И в *том* кабинете — не подписывать, чего не составил по совести сам. Какую там «культуру» отвергать? Никто и не навязывает «культуры», навязывают л о ж ь — и всего-то лжи нельзя принять, но — тотчас, в тот момент и в том месте, где её предлагают, а не возмущаться вечером дома за чайным столом. Отвергнуть ложь — *тотчас,* и не думать о последствиях для своей зарплаты, семьи и досуга развивать «новую культуру». От-

вергнуть — и не заботиться, повторят ли твой шаг другие, и не оглядываться, как это распространится на весь народ.

И потому, что ответ так ясен, стянут к такой простоте и прямоте, — от него всем блеском красноречия увиливает анонимный идеолог высокомерного, мелкого и бесплодного племени гигантов.*

А кто не способен идти на риск — избавьте нас пока в нашей грязи, в нашей низости от ваших остроумных рассуждений, обличений и указаний, откуда наши русские пороки.

6

И как же при этом центровая образованщина понимает своё место в стране, по отношению к своему народу? Ошибётся, кто предположит, что она раскаивается в своей роли прислужницы. Даже Померанц, представляющий совсем другой круг столичной образованщины — непристроенной, неруководящей, беспартийной, гуманитарной, не забудет восхвалить «ленинскую культурную революцию» (разрушала старые формы производства, очень ценно!), защитить образ правления 1917-22 годов («временная диктатура в рамках демократии»). И: «деспотического отношения со стороны победивших революционеров обыватель, разумеется, вполне заслуживает. Его трусость, его раболепие воспитывают деспотов». Его раболепие, не наше!.. А *чем* же центровая образованщина ведёт себя достойней так называемого «обывателя»?

Даже предположения о какой бы то ни было *вине* перед народом за прошлое или за нынешнее, чем так мучилась предреволюционная интеллигенция, не возникает ни у кого из певцов образован-

* В Самиздате — текучи редакции. И позже Телегин изменил конец. Появилось: «первые вёрсты — бойкот, неучастие, игнорирование». Игнорирование — это обычный шиш, а вот *неучастие* — где же?..

щины, ни у порицателей её. Тут они все едины, и Алтаев: «Народу самому неплохо было бы ощутить свою вину перед интеллигенцией.»

В сравнении себя с народом центровая образованщина все выводы делает в свою пользу. Померанц: «Интеллигенция есть мера общественных сил — прогрессивных, реакционных. Противопоставленный интеллигенции, *весь народ сливается в реакционную массу»* (выделено мною. — *А. С.*). «Это — та часть образованного слоя общества, в которой совершается духовное развитие, в которой рушатся старые ценности и возникают новые, в которой делается очередной шаг от зверя к Богу... Интеллигенция это и есть то, что интеллигенция искала в других — в народе, в пролетариате и т. д.: фермент, двигающий историю.» Более того: «Любовь к народу гораздо опаснее (чем любовь к животным): никакого порога, мешающего стать на четвереньки, здесь нет.» Да просто: «Здесь... *складывается хребет нового народа»,* «новое что-то заменит народ», «люди творческого умственного труда становятся избранным народом XX века»!!!

То же у Телегина, то же и Горский (ещё один псевдоним, Вестник, № 97): «Путь к высшим ценностям лежит в стороне от слияния с народом.» На 180 градусов от того, как думали их глупые интеллигентные предшественники.

Заберём себе и религию. Померанц: «Крестьяне не совершенны в религии», то есть без философской высоты: «можете назвать это Богом, Абсолютом, Пустотой... я не привязан ни к одному из этих слов», а просто сердечная преданность вере, её заветам и даже обрядам, фи, — крестьяне не совершенны в вере, «так же, как и в агрономии». (По крестьянской агрономии и хлебушек был, и почва не гибла, а по науке вот скоро мы без почвы. Да, бишь, против *почвенников* и вся дискуссия Померанца, его идеал «люди воздуха, потерявшие все корни в обыденном бытии».) Зато «нынешние интеллигенты ищут Бога. Религия перестала быть приметой наро-

да. Она стала приметой элиты». То же и Горский: «Смешивать возвращение в церковь и хождение в народ — опасный предрассудок.»

Один пишет в московском Самиздате, другие — в парижском журнале, друг друга, вероятно, не знают, а какое единство! — иголки не пробьёшь. Значит, не придумка одиночек, а *направление*.

А что ж порекомендуем народу? Вообще ничего. Никакого *народа нет*, в этом снова все они сходятся: «Культура, как змея, просто сбрасывает кожу, и *старая кожа, народ*, лежит, потеряв свою жизнь, в пыли.» «Для человечества патриархальные добродетели безнадёжно потеряны», «мужик не может возродиться иначе как оперный». «Мы не окружены народом. Крестьянства в развитых странах становится слишком мало, чтобы окружить нас», «крестьянские нации суть голодные нации, а нации, в которых крестьянство исчезло, — это нации, в которых исчез голод». (Это пока мы ещё не упёрлись в технологический тупик.)

Но если идеологи образованщины так понимают общее положение народов, то как тогда — национальные судьбы? Обдумано и это. Померанц: «Нации — локальные культуры и постепенно исчезнут.» А «место интеллигенции — всегда на полдороге... Духовно все современные интеллигенты принадлежат диаспоре. Мы всюду не совсем чужие. Мы всюду не совсем свои.»

В таком интернационализме-космополитизме было воспитано всё наше поколение. И (если отвлечься — если *можно* отвлечься! — от национальной *практики* 20-х годов) в нём есть большая духовная высота и красота, и, может быть, когда-нибудь человечеству уготовано на эту высоту подняться. Такой взгляд достаточно владеет сейчас и европейским обществом. В ФРГ это приводит к настроению не очень-то заботиться об объединении Германии, ничего мистически необходимого в немецком национальном единстве, мол, нет. В Великобритании, ещё с иллюзорной хваткой её за мифическое Британское

содружество и при чутком возмущении общества против малейших расовых утеснений, это привело к тому, что страна наводнилась азиатами и вест-индцами, совершенно равнодушными к английской земле, культуре, традициям и только ищущими пристроиться к уже готовому высокому стандарту жизни. Так ли уж это хорошо? Не нам издали судить. Но век наш вопреки прорицаниям, порицаниям и заклинаниям оказался повсюдным сплошным веком оживления наций, их самосознания, собирания. И чудодейственное рождение и укрепление Израиля после двухтысячелетнего рассеяния — только самый яркий из множества примеров.

Наши авторы как будто должны бы это знать, но в рассуждениях о России игнорируют. Горский раздражён против «бессознательного патриотизма», против «инстинктивной зависимости от природных и родовых стихий», он запрещает нам безотчётно иррационально *просто любить* ту страну, где мы родились, но требует от каждого возвыситься до «акта духовного самоопределения» и лишь таким способом выбрать себе родину. Среди признаков, объединяющих нацию, *он не называет родного языка!* (уступая даже такому теоретику, как... Сталин), ни — *ощущения истории* этой страны. Лишь на подсобном месте признаёт «этническую и территориальную общность», а видит единство нации в религии (это верно, но религия может быть шире нации) и опять — в неопределённой «культуре» (не той ли, что у Померанца «переползает как змея»?). Настаивает, что существование наций противоречит Пятидесятнице. (А мы-то думали, что, сходя на апостолов языками многими, Дух Святой и подтвердил разнообразие человечества в нациях, — как оно и живёт с тех пор.) С раздражением заклинает, что для России «центральной творческой идеей» должно стать не «национальное возрождение» (это *им* в кавычки взято, и нам запрещено такое глупое понятие), а «борьба за Свободу и духовные ценности». А мы по невежеству и противопоставления здесь не

понимаем: как же иначе может духовно растерзанная Россия вернуть себе духовные ценности, если не через национальное возрождение? До сих пор вся человеческая история протекала в форме племенных и национальных историй, и любое крупное историческое движение начиналось в национальных рамках, а ни одно — на языке эсперанто. Нация, как и семья, есть природная непридуманная ассоциация людей с врождённой взаимной расположенностью членов, — и нет оснований такие ассоциации проклинать или призывать к исчезновению сегодня. А в дальнем будущем видно будет, не нам.

К тому ж, конечно, и Померанц. Уверяет он нас, что «с позиции народности все кошки серы... Бороться с отечественными порядками, стоя целиком на отечественной почве, так же просто, как вытащить себя из болота». И опять мы по тупости не понимаем: а с *какой же* почвы можно бороться с *отечественными* пороками? — с интернациональной? Эту борьбу — латышскими штыками и мадьярскими пистолетами — мы уже испытали своими рёбрами и затылками, спасибо! Надо исправлять себя именно *самим,* а не кликать других мудрых себе в исправители.

Скажут: да что я прицепился к этим двум, Померанцу да Горскому, даже полутора (аноним за половину), с Алтаевым два, с Телегиным два с половиной?

А потому что — *направление,* все — теоретики и, видно, выставятся ещё не раз. Так на всякий будущий случай и поставим эти зарубки. Летом 1972 года, когда пылали русские леса по советскому бесхозяйству (у *наших* заботы были на Ближнем Востоке, в Латинской Америке), — бодрячок, весельчак и атеист Семён Телегин выпустил в Самиздат листовку, где впервые поднялся в свой гигантский рост и указал: это, мол, тебе, Россия, небесная кара за твои злодейства! Прорвало.

Ка́к на национальную проблему смотрит центровая образованщина — для того пройдитесь по знат-

ным образованским семьям, кто держит породистых собак, и спросите, как они собак кличут. Узнаете (да с повторами): Фома, Кузьма, Потап, Макар, Тимофей... И никому уха не режет, и никому не стыдно. Ведь мужики — только «оперные», *народа* не осталось, отчего ж крестьянскими, хрестьянскими именами и не покликать?

О, как по этому ломкому хребту пройти и в обиду по напраслине своих не давши, и порока своего горше чужого не спуская?..

7

Однако картина народа, нарисованная Померанцем, увы, во многом и справедлива. Подобно тому как мы сейчас, вероятно, смертельно огорчаем его, что интеллигенции в нашей стране не осталось, а всё расплылось в образованщине, — так и он смертельно ранит нас утверждением, что и *народа* тоже больше не осталось.

«Народа больше нет. Есть масса, сохраняющая смутную память, что когда-то она была народом и несла в себе Бога, а сейчас совершенно пустая.» «Народа в смысле народа-богоносца, источника духовных ценностей, вообще нет. Есть неврастенические интеллигенты — и масса.» «Что поют колхозники? Какие-то остатки крестьянского наследства» да вбитое «в школе, в армии и по радио». «Где он, этот народ? Настоящий, народный, пляшущий народные пляски, сказывающий народные сказки, плетущий народные кружева? В нашей стране остались только следы народа, как следы снега весной... Народа как великой исторической силы, станового хребта культуры, как источника вдохновения для Пушкина и Гёте — больше нет.» «То, что у нас обычно называют народом, совсем не народ, а мещанство.»

Мрак и тоска. А — близко к тому.

И действительно, как было народу остаться? Накладывались в одну сторону и погоняли друг

друга два процесса. Один — всеобщий (но в России ещё бы долго он придержался, и, может, могли б мы его миновать) — процесс, как модно называть, *массовизации* (мерзкое слово, но и процесс не лучше), связанный с новой западной технологией, осточертелым ростом городов, всеобщими стандартными средствами информации и воспитания. Второй — наш особый, советский, направленный стереть исконное лицо России и натереть искусственное другое, этот действовал ещё решительней и необратимей.

Как же остаться было народу? Были насильственно выкинуты из избы иконы и послушание старшим, печка хлебов и прялки. Потом миллионы изб, самых благоустроенных, вовсе опустошены, развалены или взяты под дурной догляд, и 5 миллионов трудоохотливых здравых семей вместе с грудными детьми посланы умирать в зимней дороге или по прибытии в тундру. (И наша *интеллигенция* не дрогнула, не вскрикнула, а *передовая* часть её даже и сама выгоняла. Вот тогда она и кончила быть, интеллигенция, в 1930-м, и за тот ли миг должен народ просить у неё прощения?) Остальные избы и дворы разорять уже было хлопот меньше. Отняли землю, делавшую крестьянина крестьянином, обезличили её, как не бывало и в крепостное право, обезынтересили всё, чем мужик работал и жил, одних погнали на Магнитогорски, других — целое поколение так и погибших баб — заставили кормить махину государства до войны, всю великую войну и после войны. Все внешние интернациональные успехи нашей страны и расцвет сегодняшних тысяч НИИ были достигнуты разгромом русской деревни, русского обычая. Взамен притянули в избы и в уродливые многоэтажные коробки городских окраин — репродукторы, пуще того поставили их на всех центральных столбах (по всему лику России и сегодня это бубнит от шести утра до двенадцати ночи, высший признак *культуры*, и пойди заткни — будет антисоветский акт). И те репродукторы докон-

чили работу: они выбили из голов всё индивидуальное и всё фольклорное, натолкали штампованного, растоптали и замусорили русский язык, нагудели бездарных пустых песен (сочиняла их интеллигенция). Добили последние сельские церкви, растоптали и загадили кладбища, с комсомольской горячностью извели лошадь, изгадили, изрезали тракторами и пятитонками вековые дороги, мягко вписанные в пейзаж. Где ж и кому осталось плясать и плести кружева?.. Ещё наслали лакомством для сельской юности серятину глупеньких фильмов (интеллигент: «надо выпустить, будут большие *тиражные*»), да то же затолкано и в школьные учебники, да то же и в книгах повзрослей (а кто писал их, не знаете?), — чтоб и новая свежесть не выросла там, где вырублен старый лес. Как танками изгладили всю историческую народную память (Александру Невскому без креста подняться дали, но чему поближе — нет), — и как же народу было сохраниться?

Так вот, на этом пепелище, сидя в золе, разберёмся.

Народа — нет? И тогда, верно: уже не может быть национального возрождения??.. И что ж за надрыв! — ведь как раз замаячило: от краха всеобщего технического прогресса, по смыслу перехода к стабильной экономике, будет повсюду восстанавливаться первичная связь большинства жителей с землёю, простейшими материалами, инструментами и физическим трудом (как инстинктивно ищут для себя уже сегодня многие пресыщенные горожане). Так неизбежно восстановится во всех, и передовых, странах некий наследник многочисленного крестьянства, наполнитель народного пространства, сельскохозяйственный и ремесленный (разумеется, с новой, но рассредоточенной техникой) класс. А у нас — мужик «оперный» и уже не вернётся?..

Но интеллигенции — тоже нет? Образованщина — древо мёртвое для развития?

Подменены все классы — и как же развиваться?

Однако — кто-то же есть? И как людям запретить будущее? Разве л ю д я м можно не жить дальше? Мы слышим их устало-тёплые голоса, иногда и лиц не разглядев, где-нибудь в полутьме пройдя мимо; слышим их естественные заботы, выраженные русской речью, иногда ещё очень свежей; видим их живые готовные лица и улыбки их; испытываем на себе их добрые поступки, иногда для нас внезапные; наблюдаем самоотверженные детные семьи, претерпевающие все ущербы, только бы душу не погубить, — и как же им всем запретить будущее?

Поспешен вывод, что больше нет народа. Да, разбежалась деревня, а оставшаяся приглушена, да, на городских окраинах — стук домино (достижение всеобщей грамотности) и разбитые бутылки, ни нарядов, ни хороводов, и язык испорчен, а уж тем более искажены и ложно направлены мысли и старания, — но почему даже от этих разбитых бутылок, даже от бумажного мусора, перевеваемого ветром по городским дворам, не охватывает такое отчаяние, как от служебного лицемерия образованщины? Потому что *народ* в массе своей н е у ч а с т в у е т в к а з ё н н о й л ж и, и это сегодня — главный признак его, позволяющий надеяться, что он не совершенно пуст от Бога, как упрекают его. Или, во всяком случае, сохранил невыжженное, невытоптанное в сердце место.

Поспешен и вывод, что нет интеллигенции. Каждый из нас лично знает хотя бы несколько людей, твёрдо поднявшихся и над этой ложью и над хлопотливой суетой образованщины. И я вполне согласен с теми, кто хочет видеть, верить, что уже видит некое *интеллигентное ядро* — нашу надежду на духовное обновление. Только по другим бы признакам я узнавал и отграничивал это ядро: не по достигнутым научным званиям, не по числу выпущенных книг, не по высоте образованности «привыкших и любящих думать, а не пахать землю», не по научности методологии, легко создающей «отраслевые под-

культуры», не по отчуждённости от государства и от народа, не по принадлежности к духовной диаспоре («всюду не совсем свои»). Но — по чистоте устремлений, по душевной самоотверженности — во имя правды и прежде всего — для э т о й страны, где живёшь. Ядро, воспитанное не столько в библиотеках, сколько в душевных испытаниях. Не то ядро, которое желает считаться ядром, не поступясь удобствами жизни центровой образованщины. Мечтал Достоевский в 1887 году, чтобы появилась в России «молодёжь скромная и доблестная». Но *тогда* появлялись «бесы» — и мы видим, куда мы пришли. Однако свидетельствую, что сам я в последние годы своими глазами видел, своими ушами слышал эту скромную и доблестную молодёжь, — она и держала меня как невидимая плёнка над кажущейся пустотой, в воздухе, не давая упасть. Не все они сегодня остаются на свободе, не все сохранят её завтра. И далеко не все известны нашему глазу и уху: как ручейки весенние, где-то сочатся под толстым серым плотным снегом.

Это порочность метода: вести рассуждение в «социальных слоях», никак иначе. В социальных слоях получается безнадёжность (как у Амальрика и получилось). Интеллигенция-образованщина как огромный социальный слой закончила своё развитие в тёплом болоте и уже не может стать воздухоплавательной. Но это и в прежние, лучшие времена интеллигенции было неверно: зачислять в интеллигенцию целыми семьями, родами, кружками, слоями. В частности могли быть и сплошь интеллигентная семья, и род, и кружок, и слой, а всё же по смыслу слова интеллигентом человек становится индивидуально. Если это и был слой, то — психический, а не социальный, и, значит, вход и выход всегда оставались в пределах индивидуального поведения, а не рода работы и социального положения.

И слой, и народ, и масса, и образованщина — состоят из людей, а для людей никак не может быть

закрыто будущее: люди определяют своё будущее сами, и на любой точке искривлённого и ниспадшего пути не бывает поздно повернуть к доброму и лучшему.

Будущее — неистребимо, и оно в наших руках. Если мы будем делать правильные выборы.

Вот и в сочинениях Померанца среди многих противоречивых высказываний выныривают то там, то сям поразительно верные, а если сплотить их, увидим, что и с разных сторон можно подойти к сходному решению. «Нынешняя масса — это аморфное состояние между двумя кристаллическими структурами... Она может оструктуриться, если появится стержень, веточка, пусть хрупкая, вокруг которой начнут нарастать кристаллы.» С этим — не поспоришь.

Однако, упорно преданный интеллигентским идеалам, Померанц отводит эту роль стержня-веточки — только интеллигенции. По трудной доступности Самиздата надо цитировать обширно: «Масса может заново кристаллизоваться в нечто народоподобное только вокруг новой интеллигенции.» «Рассчитываю на интеллигенцию вовсе не потому, что она хороша... Умственное развитие само по себе только увеличивает способность ко злу... Мой избранный народ плох, я это знаю... но остальные ещё хуже.» Правда, «прежде, чем посолить, надо снова стать солью», а интеллигенция перестала быть ею. Ах, «если бы у нас хватило характера отдать все свои лавровые венки, все степени и звания... Не предавать, не подвывать... Предпочесть чистую совесть чистому подъезду и приготовиться обходиться честным куском хлеба без икры.» Но: «Я просто верю, что интеллигенция может измениться и потянуть за собою других»...

Здесь мы ясно слышим, что интеллигенцию Померанц выделяет и отграничивает по *умственному развитию,* лишь ж е л а е т ей — иметь и нравственные качества.

Да не в том ли заложена наша старая потеря,

погубившая всех нас, — что интеллигенция отвергла религиозную нравственность, избрав себе атеистический гуманизм, легко оправдавший и торопливые ревтрибуналы и бессудные подвалы ЧК? Не в том ли и начиналось возрождение «интеллигентного ядра» в 10-е годы, что оно искало вернуться в религиозную нравственность — да застукали пулемёты? И то ядро, которое сегодня мы уже, кажется, начинаем различать, — оно не повторяет ли прерванного революцией, оно не есть ли по сути «младовеховское»? Нравственное учение о личности считает оно ключом к общественным проблемам. По такому ядру тосковал и Бердяев: «Церковная интеллигенция, которая соединяла бы подлинное христианство с просвещённым и ясным пониманием культурных и исторических задач страны.» И С. Булгаков: «Образованный класс с русской душой, просвещённым разумом, твёрдой волею.»

Это ядро не только не уплотнено, как надо быть ядру, оно даже не собрано, оно рассеяно, взаимонеузнанно: его частицы многие не видели, не знают, не предполагают друг о друге. И не интеллигентность их роднит — но жажда правды, но жажда очиститься душою и такое же очищенное светлое место содержать вокруг себя каждого. Потому и «неграмотные сектанты» и какая-нибудь неведомая нам колхозная доярка тоже состоят в этом ядре добра, объединяемые общим направлением к чистой жизни. А какой-нибудь просвещённый академик или художник вектором стяжательства и жизненного благоразумия направлен как раз наоборот — назад, в привычную багровую тьму этого полувека.

Сколько это — «стержень-веточка» для «кристаллизации» целого народа? Это — десятки тысяч людей. Это опять-таки потенциальный *слой* — но не перелиться ему в будущее просторной беспрепятственной волною. Так безопасно и весело, как обещают нам, не бросая НИИ, по уик-эндам и на досуге, не составить «хребта нового народа». Нет — это придётся совершать в будни, на главном направлении

нашего бытия, на самом опасном участке, да ещё и каждому в леденящем одиночестве.

Обществу столь порочному, столь загрязнённому, в стольких преступлениях полувека соучастному — ложью, холопством радостным или изневольным, ретивой помощью или трусливой скованностью, — такому обществу нельзя оздоровиться, нельзя очиститься иначе как пройдя через душевный фильтр. А фильтр этот — ужасный, частый, мелкий, имеет дырочки, как игольные ушки, — на одного. Проход в духовное будущее открыт только поодиночно, через продавливание.

Через сознательную добровольную жертву.

Меняются времена — меняются масштабы. 100 лет назад у русских интеллигентов считалось жертвой пойти на смертную казнь. Сейчас представляется жертвой — рискнуть получить административное взыскание. И по приниженности запуганных характеров это не легче, действительно.

Даже при самых благоприятных обстоятельствах (одновременная множественность жертвенного порыва) придётся потерять не музейную икру, как предупреждает Померанц, но — апельсины, но — сливочное масло, торговля которыми так налажена в научных центрах. Ликовали злорадные критики, что в «Круге первом» я обнажил «низкий уровень любви в народе» пословицею «для щей люди женятся, для мяса замуж идут», а мы, мол, любим и женимся только на уровне Ромео! Но пословиц русских много, для разных оттенков и ситуаций. Есть и такая:

Хлеб да вода — молодецкая еда.

Вот на этакой еде предстоит нам показать уровень своей любви к этой стране и её белым берёзкам. А любить их глазами — мало. Понадобится осваивать жестокий Северо-Восток — и придётся ехать нашим излюбленным образованским детям, а не ждать, чтобы *мещанство* ехало вперёд. И все умные советы анонимных авторов — конспирация, конспи-

рация, «только не вылазки в одиночку», тысячелетнее просвещение да развитие тайком культуры — вздор. Из нашей нынешней презренной аморфности никакого прохода в будущее не оставлено нам, кроме открытой личной и преимущественно публичной (пример показать) жертвы. «Вновь открывать святыни и ценности культуры» придётся не эрудицией, не научным профилем, а *образом душевного поведения,* кладя своё благополучие, а в худых оборотах — и жизнь. И когда окажется, что образовательный ценз и число печатных научных работ тут совсем ни к чему, — с удивлением мы почувствуем рядом с собою так презираемых «полуграмотных проповедников религии».

Слово «интеллигенция», давно извращённое и расплывшееся, лучше признаем пока умершим. Без замены интеллигенции Россия, конечно, не обойдётся, но не от «понимать, знать», а от чего-то *духовного* будет образовано то новое слово. Первое малое меньшинство, которое пойдёт продавливаться через сжимающий фильтр, само и найдёт себе новое определение — ещё в фильтре или уже по другую сторону его, узнавая себя и друг друга. Там узнается, родится в ходе их действия. Или оставшееся большинство назовёт их без выдумок просто праведниками (в отличие от «правдистов»). Не ошибёмся, назвав их пока жертвенною элитой. Тут слово «элита» не вызовет зависти ничьей, уж очень беззавистный в неё отбор, никто не обжалует, почему его не включили: включайся, ради Бога! Иди, продавливайся!

Из прошедших (и в пути погибших) одиночек составится эта элита, кристаллизующая народ.

Станет фильтр для каждой следующей частицы всё просторней и легче — и всё больше частиц пойдёт через него, чтобы по ту сторону из достойных одиночек сложился бы, воссоздался бы и достойный *народ* (это своё понимание народа я уж высказывал). Чтобы построилось общество, первой характеристикой которого будет не коэффициент товарного

производства, не уровень изобилия, но чистота общественных отношений.

А другого пути я решительно не вижу для России.

И остаётся описать только устройство и действие фильтра.

8

Со стороны над нами посмеиваются: какой робкий и какой скромный шаг воспринимается нами как *жертва.* По всему миру студенты захватывают университеты, выходят на улицы, даже свергают правительства, а смирнее наших студентов в мире нет: сказано — политучёба, пальто с вешалки не выдавать, и никто не уйдёт. В 1962 весь Новочеркасск бушевал, но в общежитии Политехнического института заперли дверь на замок — и никто не выпрыгнул из окна! Или: голодные индусы освободились из-под Англии безнасильным непротивлением, гражданским неповиновением, — но и на такую отчаянную смелость мы не способны — ни рабочий класс, ни образованщина, мы Сталиным-батюшкой напуганы на три поколенья вперёд: как же можно *не выполнить* какого-нибудь распоряжения власти? Это уж — самогубительство последнее.

И если написать крупными буквами, в чём состоит наш экзамен на человека:

НЕ ЛГАТЬ! НЕ УЧАСТВОВАТЬ ВО ЛЖИ!
НЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЛОЖЬ!

— то будут смеяться над нами не то что европейцы, но арабские студенты, но цейлонские рикши: всего-то столько от русских требуется? И это — жертва, смелый шаг? а не просто признак честного человека, не жулика?

Но пусть смеются грибы другого кузова, а кто в нашем давится, тот знает: это действительно очень смелый шаг. Потому что каждодневная ложь у

нас — не прихоть развратных натур, а форма существования, условие повседневного благополучия всякого человека. Ложь у нас включена в государственную систему как важнейшая сцепка её, миллиарды скрепляющихся крючочков, на каждого приходится десяток не один.

Именно поэтому нам так гнетуще жить. Но именно поэтому нам так естественно и распрямиться! Когда давят безо лжи — для освобождения нужны меры политические. Когда же запустили в нас когти лжи — это уже не политика! это — вторжение в нравственный мир человека, и распрямленье наше — *отказаться лгать* — тоже не есть политика, но возврат своего человеческого достоинства.

Что есть жертва? — годами отказываться от истинного дыхания, заглатывать смрад? Или — начать дышать, как и отпущено земному человеку? Какой циник возьмётся вслух возразить против такой линии поведения: *неучастие во лжи*?

О, возразят конечно тут же, и находчиво: а что́ есть ложь? А кто это установит точно, где кончается ложь, где начинается правда? А в каждой исторически-конкретной диалектической обстановке и т. д., как уже и изворачиваются лгуны полвека.

А ответ самый простой: как видишь *ты сам*, как говорит тебе твоя совесть. И надолго будет довольно этого. В зависимости от кругозора, жизненного опыта, образования, каждый видит, понимает границу общественно-государственной лжи по-своему: один — ещё очень далеко от себя, другой — верёвкой, уже перетирающей шею. И там, где, по честности, видишь эту границу *ты*, — *там* и не подчиняйся лжи. От *той* части лжи отстранись, которую видишь несомненно, явно. А если искренне не видишь лжи нигде — и продолжай спокойно жить, как прежде.

Что значит — не лгать? Это ещё не значит — вслух и громко проповедывать правду (страшно!). Это не значит даже — вполголоса бормотать то, что думаешь. Это значит только: *не говорить того, чего*

не думаешь, но уж: ни шёпотом, ни голосом, ни поднятием руки, ни опусканием шара, ни поддельной улыбкой, ни присутствием, ни вставанием, ни аплодисментами.

Области работы, области жизни — разные у всех. Работникам гуманитарных областей и всем учащимся лгать и участвовать во лжи приходится гуще и невылазнее, ложь наставлена заборами и заборами. В науках технических её можно ловчей сторониться, но всё равно: каждый день не миновать такой двери, такого собрания, такой подписки, такого обязательства, которое есть трусливое подчинение лжи. Ложь окружает нас и на работе, и в пути, и на досуге, во всём, что видим мы, слышим и читаем.

И как разнообразны формы лжи, так разнообразны и формы отклонения от неё. Тот, кто соберёт своё сердце на стойкость и откроет глаза на щупальцы лжи, — тот в каждом месте, всякий день и час сообразит, как нужно поступить.

Ян Палах — сжёг себя. Это — чрезвычайная жертва. Если б она была не одиночной — она бы сдвинула Чехословакию. Одиночная — только войдёт в века. Но так много — не надо от каждого человека, от тебя, от меня. Не придётся идти и под огнемёты, разгоняющие демонстрации. А всего только — дышать. А всего только — не лгать.

И никому не придётся быть первым — потому что «первых» уже многие сотни есть, мы только по их тихости их не замечаем. (А кто за веру терпит — тем более, да им-то прилично работать и уборщицами, и сторожами.) Из самого ядра интеллигенции я могу назвать не один десяток, кто уже давно так живёт — годами! И — жив. И — семья не вымерла. И — крыша над головой. И — что-то на столе.

Да, страшно! Дырочки фильтра в начале такие узкие, такие узкие — разве человеку с обширными запросами втиснуться в такую узость? Но обнадёжу: это лишь при входе, в самом начале. А потом они быстро, близко свободнеют, и уже перестают тебя так сжимать, а потом и вовсе покидают сжа-

тием. Да, конечно! Это будет стоить оборванных диссертаций, снятых степеней, понижений, увольнений, исключений, даже иногда и выселений. Но в огонь — не бросят. И не раздавят танком. И — крыша будет, и будет еда.

Этот путь — самый безопасный, самый доступный изо всех возможных наших путей, любому среднему человеку. Но он — и самый эффективный! Именно только мы, знающие нашу систему, можем вообразить, что́ случится, когда этому пути последуют тысячи и десятки тысяч, — как очистится и преобразится наша страна без выстрелов и без крови.

Но этот путь — и самый нравственный: мы начинаем освобождение и очищение со *своей души*. Ещё прежде, чем мы очистим страну, — мы очистимся сами. И это — единственно правильный исторический порядок, ибо зачем очищать воздух страны, если сами остаёмся грязными?

Возразят: но как жаль молодёжь! Ведь если на экзамене по общественной науке не проговоришь обязательной лжи, — двойка, отчисление из института, и перебито образование и жизнь.

В одной из следующих статей нашего сборника обсуждается, так ли правильно понимаем мы и осуществляем лучшие пути в науке. Но и без того: потеря в образовании — не главная потеря в жизни. Потери в душе, порча души, на которую мы беззаботно соглашаемся с юных лет, — непоправимее.

Жаль молодёжь? Но и: чьё же будущее, как не их? Из кого ж мы и ждём жертвенную элиту? Для кого ж мы и томимся этим будущим? Мы-то стары. Если они сами себе не построят честного общества, то и не увидят его никогда.

Январь 1974

ВСЕРОССИЙСКОМУ ПАТРИАРХУ ПИМЕНУ

великопостное письмо

СВЯТЕЙШИЙ ВЛАДЫКО!

Камнем гробовым давит голову и разламывает грудь ещё не домершим православным русским людям — то, о чём это письмо. Все знают, и уже было крикнуто вслух, и опять все молчат обречённо. И на камень ещё надо камешек приложить, чтобы дальше не мочь молчать. Меня таким камешком придавило, когда в рождественскую ночь я услышал Ваше послание.

Защемило то место, где Вы сказали, наконец, о детях — может быть, первый раз за полвека с такой высоты: чтобы наряду с любовью к Отчизне родители прививали бы своим детям любовь к Церкви (очевидно, и к вере самой?) и ту любовь укрепляли бы собственным добрым примером. Я услышал это — и поднялось передо мной моё раннее детство, проведенное во многих церковных службах, и то необычайное по свежести и чистоте изначальное впечатление, которого потом не могли стереть никакие жернова и никакие умственные теории.

Но — что́ это? Почему этот честный призыв обращён только к русским эмигрантам? Почему только тех детей Вы зовёте воспитывать в христианской вере, почему только дальнюю паству Вы остерегаете «распознавать клевету и ложь» и укрепляться в правде и истине? А нам — распознавать? А нашим детям — прививать любовь к Церкви или не прививать? Да, повелел Христос идти разыскивать даже сотую потерянную овцу, но всё же — когда девяносто девять на месте. А когда и девяноста девяти подручных нет — не о них ли должна быть забота первая?

Почему, придя в церковь крестить сына, я дол-

жен предъявить свой паспорт? Для каких канонических надобностей нуждается Московская Патриархия в регистрации крестящихся душ? Ещё удивляться надо силе духа родителей, из глубины веков унаследованному неясному душевному сопротивлению, с которым они проходят доносительскую эту регистрацию, потом подвергаясь преследованию по работе или публичному высмеиванью от невежд. Но на том иссякает настойчивость, на крещеньи младенцев обычно кончается всё приобщение детей к Церкви, последующие пути воспитания в вере глухо закрыты для них, закрыт доступ к участию в церковной службе, иногда и к причастию, а то и к присутствию. Мы обкрадываем наших детей, лишая их неповторимого, чисто-ангельского восприятия богослужения, которого в зрелом возрасте уже не наверстать, и даже не узнать, что потеряно. Перешиблено право продолжать веру отцов, право родителей воспитывать детей в собственном миропонимании, — а вы, церковные иерархи, смирились с этим и способствуете этому, находя достоверный признак *свободы вероисповедания* в том. В том, что мы должны отдать детей беззащитными не в нейтральные руки, но в удел атеистической пропаганды, самой примитивной и недобросовестной. В том, что отрочеству, вырванному из христианства, — только бы не заразилось им! — для нравственного воспитания оставлено ущелье между блокнотом агитатора и уголовным кодексом.

Уже упущено полувековое прошлое, уже не говорю — вызволить настоящее, но — будущее нашей страны как же спасти? — будущее, которое составится из сегодняшних детей? В конце концов истинная и глубокая судьба нашей страны зависит от того, окончательно ли укрепится в народном понимании *правота силы* или очистится от затменья и снова засияет *сила правоты?* Сумеем ли мы восстановить в себе хоть некоторые христианские черты или дотеряем их все до конца и отдадимся расчётам самосохранения и выгоды?

Изучение русской истории последних веков убеждает, что вся она потекла бы несравненно человечнее и взаимосогласнее, если бы Церковь не отреклась от своей самостоятельности и народ слушал бы голос её, сравнимо бы с тем, как, например, в Польше. Увы, у нас давно не так. Мы теряли и утеряли светлую этическую христианскую атмосферу, в которой тысячелетие устаивались наши нравы, уклад жизни, мировоззрение, фольклор, даже само название людей — *крестьянами*. Мы теряем последние чёрточки и признаки христианского народа — и неужели это может не быть главной заботою русского Патриарха? По любому злу в дальней Азии или Африке русская Церковь имеет своё взволнованное мнение, лишь по внутренним бедам — никогда никакого. Почему так традиционно безмятежны послания, нисходящие к нам с церковных вершин? Почему так благодушны все церковные документы, будто они издаются среди христианнейшего народа? От одного безмятежного послания к другому, в один ненастный год не отпадёт ли нужда писать их вовсе: их будет не к кому обратить, не останется паствы, кроме патриаршей канцелярии?

Вот уже седьмой год пошёл, как два честнейших священника, Якунин и Эшлиман, своим жертвенным примером подтверждая, что не угас чистый пламень христианской веры на нашей родине, написали известное письмо Вашему предшественнику. Они обильно и доказательно представили ему то добровольное внутреннее порабощение — до самоистребления, до которого доведена русская Церковь: они просили указать им, если что неправда в их письме. Но каждое слово их было *правда*, никто из иерархов не взялся их опровергнуть. И как же ответили им? Самым простым и грубым: наказали, за правду — отвергли от богослужения. И Вы — не исправили этого посегодня. И страшное письмо двенадцати вятичей так же осталось без ответа, и только давили их. И по сегодня всё так же сослан в монастырское заточение единственный бесстрашный ар-

хиепископ — Ермоген Калужский, не допустивший закрывать свои церкви, сжигать иконы и книги запоздало-остервенелому атеизму, так много успевшему перед 1964 годом в остальных епархиях.

Седьмой год как сказано в полную громкость — и что же изменилось? На каждый действующий храм — двадцать в запустении и осквернении, — есть ли зрелище более надрывное, чем эти скелеты, достояние птиц и кладовщиков? Сколько населённых мест по стране, где нет храма ближе ста и даже двухсот километров? И совсем без церквей остался наш Север — издавнее хранилище русского духа и, предвидимо, самое верное русское будущее. Всякое же попечение восстановить хоть самый малый храм, по однобоким законам так называемого «отделения Церкви от государства», перегорожено для делателей, для жертвователей, для завещателей. О колокольном звоне мы уже и спрашивать не смеем, — а почему лишена Россия своего древнего украшения, своего лучшего голоса? Да храмы ли? — даже Евангелие у нас нигде не достать, даже Евангелие везут к нам из-за границы, как наши проповедники везли когда-то на Индигирку.

Седьмой год — и хоть что-нибудь отстоено Церковью? Всё церковное управление, поставление пастырей и епископов (и даже — бесчинствующих, чтоб удобнее высмеять и разрушить Церковь) всё так же секретно ведётся из *Совета по делам*. Церковь, диктаторски руководимая атеистами, — зрелище, не виданное за Два Тысячелетия! Их контролю отдано и всё церковное хозяйство и использование церковных средств — тех медяков, опускаемых набожными пальцами. И благолепными жестами жертвуется по 5 миллионов рублей в посторонние фонды, — а нищих гонят в шею с паперти, а прохудившуюся крышу в бедном приходе не на что починить. Священники бесправны в своих приходах, лишь процесс богослужения ещё пока доверяется им, и то не выходя из храма, а за порог к больному или на кладбище — надо спрашивать постановление горсовета.

Какими доводами можно убедить себя, что планомерное разрушение духа и тела Церкви под руководством атеистов — есть наилучшее *сохранение* её? Сохранение — для кого? Ведь уже не для Христа. Сохранение — чем? *Ложью?* Но после лжи — какими руками совершать евхаристию?

Святейший Владыко! Не пренебрегите вовсе моим недостойным возгласом. Может быть не всякие семь лет Вашего слуха достигнет и такой. Не дайте нам предположить, не заставьте думать, что для архипастырей русской Церкви земная власть выше небесной, земная ответственность — страшнее ответственности перед Богом.

Ни перед людьми, ни тем более на молитве не слукавим, что внешние путы сильнее нашего духа. Не легче было и при зарождении христианства, однако оно выстояло и расцвело. И указало путь: жертву. Лишённый всяких материальных сил — в *жертве* всегда одерживает победу. И такое же мученичество, достойное первых веков, приняли многие наши священники и единоверцы на нашей живой памяти. Но тогда — бросали львам, сегодня же можно потерять только благополучие.

В эти дни, коленно опускаясь перед Крестом, вынесенным на середину храма, спросите Господа: какова же иная цель Вашего служения в народе, почти утерявшем и дух христианства и христианский облик?

Александр Солженицын

Великий пост
Крестопоклонная неделя
1972

МИР И НАСИЛИЕ

Статья для газеты «Афтенпостен»

1

Потрясённые двумя кряду грандиозными мировыми войнами, наши последние поколения совершили эмоциональную ошибку или сдвиг: угрозу мирному, справедливому, доброму существованию человечества стали видеть почти исключительно в войнах, чем и укрепилось основное противопоставление «мир — война». И созывались весьма шумные и весьма односторонние конгрессы, избирались Всемирные Советы. И деятели, посвятившие усилия (кто искренне, а кто демагогически) предотвращению новых войн (иногда — некоторого разряда этих войн и в пользу войн другого разряда), получили или присвоили себе звание «сторонников мира».

Но такое звание гораздо шире взятой ими задачи. Движение «против войны» это далеко ещё не всё движение «за мир».

Противопоставление «мир — война» содержит логическую ошибку: целая теза противопоставляется *части* антитезы. Война есть массовое, густое, громкое, яркое, но далеко не единственное проявление никогда не прекращённого многоохватного мирового насилия. Противопоставление же логически равновесное и нравственно истинное есть:

МИР — НАСИЛИЕ.

Существование человечества разрушается и разъедается не только бурными нарывами войн, но и постоянными неуступчивыми процессами насилия, иногда тоже бурными, иногда вялыми и скрытыми. И если принято говорить (и это верно), что «мир неделим», что малое нарушение его (однако не толь-

ко военное!) уже нарушает весь мир, — то *так же неделимо и насилие.* И захват *одного* заложника и *один* угон самолёта есть такая же угроза всеобщему миру, как орудийный выстрел на государственной границе или бомба, сброшенная на территорию другой страны.

Но здесь, как и в сомнительной классификации войн на «допустимые» и «недопустимые», мы сразу сталкиваемся с корыстным противодействием истине: известные группы насильников настаивают не считать угрозой миру (а даже благодеянием ему) именно ту форму насилия, которую применяют *они.*

Например, терроризм последних лет. Настороженное, напряжённое относительно войн, человечество оказалось небдительно, ослаблено относительно других видов насилия, — вот и в полном разброде, практически не готовое отразить терроризм ничтожных одиночек. И — разительно! — всемирная гуманная организация не смогла произнести *даже нравственного осуждения* терроризму! Корыстное большинство ООН такому осуждению противопоставило классификационные сомнения: да всякий ли терроризм вреден? и где же научное определение терроризма?

В шутку можно было бы предложить им такое: «когда нападают на нас — это терроризм, а когда нападаем мы — это партизанское освободительное движение».

Серьёзно же. Отказываются признать терроризмом вероломное нападение в мирной обстановке на мирных людей со стороны скрыто-вооружённых, часто переодетых в цивильное военных. Требуют: изучить групповые цели террористов, поддерживающую их базу, идеологию и, может быть, признать священным «партизанством». (Дошло до юмористического уже термина «городские партизаны» в Южной Америке.)

Конечно, возрастая количественно и в сплошном территориальном охвате, терроризм где-то переходит в партизанство (для отвоевания своей ли террито-

рии или для перенесения войны и революции на чужую территорию), а партизанство — в регулярную войну, руководимую через границу военными штабами. По всеобщей неделимости насилия такие плавные переходы существуют, да, и могут представить некоторые классификационные трудности, особенно для тех, кто эмоционально заинтересован *не* добыть истину и оправдать какие-то из видов насилия. Однако ободрю классификаторов примером из истории СССР. Массовые крестьянские движения 1920-21 годов в Сибири, в Тамбовской губернии и в Узбекистане, в составе десятков тысяч человек и в разливе на пространства целых государств (по масштабам Европы), без всякого терминологического спора названы у нас *бандитскими,* и это успешно внедрено в сознание уцелевших (далеко не все уцелели) потомков тех повстанцев, так что они без иронии называют своих отцов и дедов «бандитами».

По той же неделимости мирового насилия истинное, то есть не руководимое зарубежными центрами, массовое стихийное партизанство бывает вызвано постоянными силовыми беззаконными решениями своего правительства — *систематическим государственным насилием.*

Такое устоявшееся перманентное государственное насилие, за десятилетия своего господства успевающее принять все «юридические» формы, кодифицировать толстые своды своих насильственных «законов» и накинуть мантии на плечи своих «судей», есть грознейшая опасность сегодняшнему миру, хотя мало кем это сознаётся. Такое насилие уже не нуждается ни подкладывать взрывные устройства, ни сбрасывать бомбы, его процедура совершается в строгом безмолвии, редко нарушенном последним криком удушаемого. Такое насилие разрешает себе выглядеть и благообразным, и дружелюбным, и очень мирным, и вовсе дремлющим.

Но масштабы такого насилия можно примерно оценить по подсчётам профессора статистики И. А. Курганова (они опубликованы на Западе,

исследователям доступно проверить их основательность). Советский опыт уничтожения оценивается им в 66 миллионов смертей, то есть очевидно *больше, чем потеряли все воевавшие страны, вместе взятые, за две мировые войны.*

Такие цифры полезны тем, кто преуменьшает значение «вялых», «мирных» форм насилия перед «горячими» войнами.

2

Ошибка в том, какой же объём включён в понятие «мир», именно — эмоциональная, я не оговорился. Это часто так: не потому мы ошибаемся, что нам разглядеть истину трудно, да она даже на поверхности лежит, а потому ошибаемся, что приятнее и легче всего вести познание в согласии именно с чувствами, особенно — эгоистическими. Истина давно была и показана, и доказана, и объяснена, но оставлена без внимания и сочувствия, подобно «1984» Оруэлла по «всеобщему заговору лести» (выражение самого автора).

Достоверно доказанные зверские массовые убийства в Гуэ были замечены лишь слегка, почти тут же прощены — ибо *в ту сторону* лилась симпатия общества и не хотелось нарушать этой инерции. Было досадно только, что эти сведения просочились в свободную печать и на время (совсем короткое) причинили неловкость (совсем небольшую) неистовым защитникам северовьетнамской системы. Неужели можно поверить, что порхающий мотылёк Рэмзи Кларк, перед тем всё же министр юстиции, просто «понятия не имел», просто догадаться не мог, что военнопленный, который подаёт ему бумагу, нужную политическим целям Кларка, перед тем подвергнут пытке? (Он мог только *формы* не знать: что именно за сломанную руку верёвкой через блок в потолке, поднимая и опуская.) Да в Соединённых Штатах никто это Кларку и в упрёк не поставил,

это же не «вотергейт». С таким же нравственным перекосом мог осмелиться лидер английских лейбористов поехать в чужую страну (разумеется, не африканскую, этого бы ему не спустили! — но в Чехословакию) и там произносить самовольные «прощения» правительсту, не спросясь местного населения. А когда в 1968 единственные норвежцы предложили по свежим августовским следам *не всех* допустить к олимпийским играм, — с тем же нравственным окривением большинство олимпийцев стыдливо замерло, зажмурилось, забормотало о высоких интересах спорта и коммерции. Но какой стеной они выстраиваются, если нужно протестовать *в другую сторону!* Да разве так, как генерала Григоренко, смогла б четыре года безнаказанно держать и пытать негритянского деятеля Южно-Африканская Республика? Да буря мирового негодования давно б сорвала уже крышу с той тюрьмы!

В 1966 английский журнал с простора своей неограниченной свободы не счёл бестактным назвать «честолюбивым» замысел М. Михайлова создать такой же точно свободный журнал в Югославии. А немецкий журнал из своей безмятежности рассудил, что замысел Михайлова есть «преждевременная и дурная услуга либерализации»! (После сокрушения Михайлова мы видим, как, уже не встречая дурных услуг, либерализация широко разлилась по Югославии...) Или вот недавняя отчаянная смелость новозеландских и австралийских протестов против французских ядерных испытаний, — а отчего же не против китайских, гораздо более серьёзных? Только ли потому, что при необъявленных сроках велики расходы на содержание контрольного корабля? Убеждённо скажу: кроме окривения — ещё просто из малодушия, ибо из экспедиции в китайскую пустыню или к китайским берегам никто бы не вернулся — и они *знают* это. Лицемерие многих западных протестов в том и состоит: протестуют там, где не опасно для жизни, где ожидают отступления оппонента и где не попадёшь под осуждение

«левых» кругов (желательно протестовать всегда с ними заодно). И таковы же — распространённейшие ныне формы «нейтралитета» или «неприсоединения»: одной стороне всегда поддакивать и угождать, другую (притом кормящую!) всегда лягать.

До наступления резвого оборотистого XX века одновременное существование двух шкал нравственных оценок в человеке, общественном течении или даже правительственном учреждении называлось *лицемерием*. А как назовём это сегодня?

Неужели этот массовый лицемерный перекос Запада виден только издали, а вблизи не виден?

Этим густым лицемерием несёт и от сегодняшней американской политической жизни, от перекривленных зрением вождей сената и от бренчащего «вотергейтского дела». Нисколько не защищая ни Никсона, ни республиканскую партию, как не изумиться этой притворной шумной ярости демократов? А что ж они думали: демократия, не имеющая никакой обязательной этической основы, демократия как *борьба интересов*, не выше, чем интересов, борьба по регламенту всего лишь конституции, без этического купола над собой, — что ж, она не была полна обоюдных обманов и злоупотреблений в прежних избирательных кампаниях, только, может быть, не на уровне электронной техники и счастливым образом не вскрытых?

Меня лично, все эти годы занятого исследованием русской жизни перед её крушением, поражает невозможное, кажется, сходство русской монархии в её последние годы и, например, республиканских Соединённых Штатов в их нынешние, смею предсказать, тоже последние годы перед великим расстройством. Сходство не в материально-экономической сфере и не в социальной структуре, но главней того: в психологической безудержности, в эмоциональной безоглядчивости политиков. Так, весь яростный штурм демократов вокруг вотергейтского дела кажется пародией на яростный и опрометчивый штурм кадетов в 1915-16 против Горемыкина-Штюрмера.

Это одна из загадок иррациональной истории: каким образом Россия в конце XIX века, ещё индустриально не вооружённая, ещё косная в своём медлительном существовании, получила такой импульс, совершила такой динамический скачок, что сейчас русский исследователь смотрит на нынешнюю западную общественную жизнь как «назад», как «в прошлое». И до грусти смешно наблюдать, как общественные течения, деятели и молодёжь Запада с опозданием в 50 и 70 лет повторяют «наши» идеи, заблуждения и поступки.

И, наоборот, можно согласиться, как утверждают многие и

многие: что происходящее в СССР есть не просто «происходящее в одной из стран», но есть *завтра человечества,* и потому к своим внутренним процессам достойно полного внимания западных наблюдателей.

Нет, не трудности познания затрудняют Запад, но *нежелание знать,* но эмоциональное предпочтение приятного — суровому. Руководит таким познанием дух Мюнхена, дух ублажения и уступок, трусливый самообман благополучных обществ и людей, потерявших волю к ограничениям, к жертвам и к стойкости. И хотя этот путь *никогда* не приводил к сохранению мира и справедливости, всегда бывал попран и поруган, — человеческие чувства оказываются сильнее самых отчётливых уроков, и снова и снова расслабленный мир рисует сентиментальные картины, как насилие великодушно смягчится и охотно откажется от превосходства своей силы, а пока можно продолжать беззаботное существование.

И «самолётный» и всякий иной терроризм десятикратно разлился именно потому, что перед ним слишком поспешно капитулируют. А когда проявляют твёрдость, то и побеждают его всегда, заметьте.

От большого объёма и сложности того, что составляет *мир,* решающая борьба за него в современном человечестве происходит далеко не только на конференциях дипломатов или конгрессах профессиональных ораторов со сбором миллионов добрых пожеланий. Самые-то страшные виды немирности протекают без атомных ракет, без морских и воздушных флотов, так *мирно,* что могут восприняться почти как «традиционный народный обычай». И поэтому *сосуществование* на тесной слитой Земле правильно мыслить как существование не только без войн, этого мало! — но и *без насилия:* ка́к жить, что́ говорить, что́ думать, что́ знать и чего не знать...

Не знаю, как в Европе, а в нашей стране вдоль всех железных дорог выложено камешками: «миру — мир!» и «за мир во всём мире!». Можно при-

нять эту пропаганду как очень полезную, если она будет означать: чтобы во всём мире не только не было войн, но прекратилось бы и всякое *внутреннее* насилие.

Чтобы достичь не короткой отодвижки военной угрозы, а мира действительного, мира по сущности, по здоровой основе своей, — надо против «тихих», спрятанных видов насилия вести борьбу, никак не менее строго, чем против «громких». Поставить задачей остановить не только ракеты и пушки, но и границы государственного насилия остановить на том пороге, где кончается необходимость защиты членов общества. Изгнать из человечества самую идею, что кому-то дозволено применять силу вопреки справедливости, праву, взаимной договорённости.

И тогда: служит миру не тот, кто рассчитывает на добродушие насильников, но тот, кто неподкупно, непреклонно и неутомимо отстаивает права угнетённых, покорённых и убиваемых.

Такие борцы за мир на Западе, сколько я могу судить издали, — тоже есть, и, значит, у них есть аудитория, и это не даёт нашим надеждам окончательно затмиться.

Я не компетентен перечислять имена таких людей на Западе. У нас же естественно назвать — Андрея Дмитриевича Сахарова.

3

Распространившаяся ошибка в определении мира как «анти-войны», а не как «анти-насилия» естественно привела и к ошибочным оценкам заслуг отдельных деятелей в борьбе за мир.

Лучшим борцом за мир, собирающим лавры в аэропортах и в парламентах, начинает пониматься тот, кто любой ценой отодвигает дыхание войны — «горячей» или «холодной» (точней бы назвать её «ругательной», в ней Запад всегда проигрывает, ибо его фразы и утверждения подвержены анализу

критики; или назвать войной нервов, соревнованием упорств, — тем более Запад обречён всегда проигрывать); любыми уступками добивается прекращения газетной брани, создаёт передышку для торговли и мнимого благоденствия. Напротив, люди, неколебимо ставшие на пути глобальной опасности миру со стороны всех видов насилия, иногда рискуют быть причисленными даже к «поджигателям войны», а то и расчётливо оклеветываются так.

Этот сдвиг в понимании, *чему же именно* противостоит мир, сказывается и на деятельности Нобелевского комитета мира. Его суждения и решения с одной стороны естественно определяются настроениями мировой общественности, но с другой стороны, так же естественно, ответно формируют их, дают критерии. И поэтому ответственность Нобелевского комитета мира в избрании лауреатов — исключительно велика. Даже когда Нобелевский комитет не присуждает премии никому, это тоже вырастает в значение весомое: что заслуги и полезность деятельности предыдущего лауреата столь велики, что с ними не идут в сравнение ничьи другие. Ещё опаснее ложное направление оценок, например... взять подальше пример, — как если бы в 1939 году (помешала мировая война, а в октябре 1938 было уже по времени поздно) присудили Нобелевскую премию мира Невилю Чемберлену. Высшее недоумение и разброд в оценках вызвало бы сегодня и увенчание такого деятеля, который может быть отчасти и способствовал ослаблению мировой напряжённости методами «неприсоединения», но у себя в стране известен как подавитель свободы и национальных движений.

Если нобелевские премии увенчивают многолетние усилия отдельных людей, ещё укрепляя авторитет этих людей для их последующей деятельности, то в не меньшей степени достойный или недостойный выбор кандидатов возвышает или подрывает авторитет самого института нобелевских премий.

Пользуясь правом нобелевского лауреата выдви-

гать кандидатов на нобелевские премии и не имея возможности обратиться к Нобелевскому комитету иначе как посредством этой статьи в газете «Афтенпостен», — я прошу считать эти мои строки формальным выдвижением Андрея Дмитриевича Сахарова в кандидаты на присуждение нобелевской премии мира 1973 года.

Обоснование этого я, по сути, уже дал в своём недавнем интервью газете «Монд»: неутомимое многолетнее и жертвенное (лично ему опасное) противодействие А. Д. Сахарова — настойчивому государственному насилию над отдельными личностями и группами населения. Такую деятельность, в понимании, развиваемом данною статьёй, и следует оценить как высший вклад в дело всеобщего мира, вклад не показной, не призрачный, но самый основательный: малыми индивидуальными силами героически задерживать могущественное насилие, а значит — укреплять всеобщий мир.

И пусть Нобелевский комитет не испытает сомнения из-за прошлых, слишком больших достижений Сахарова в области вооружения, не ощутит в том парадоксальности: в осознании человеческим духом своих прежних ошибок, в очищении от них, в искуплении их — как раз и содержится высший смысл пребывания человечества на Земле.

5 сентября 1973
Москва

ПИСЬМО ВОЖДЯМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Написанное еще до взятия «Архипелага» в КГБ письмо со всеми этими предложениями я отправил по адресу полгода назад. С тех пор на него не было никакого отклика, ответа или движения к ним. В закрытом аппаратном разбирательстве погибло у нас много идей и несомненнее этих. Мне ничего не остаётся теперь, как сделать письмо открытым. Газетная кампания против «Архипелага», нежелание признать неопровержимое прошлое могли бы считаться окончательным отказом. Но я и сегодня не могу счесть его бесповоротным. Для раскаяния никогда не бывает слишком поздно, этот путь открыт всему живущему на Земле, всему способному жить.

Это письмо родилось, развилось из единственной мысли: как избежать грозящей нам национальной катастрофы? Могут удивить некоторые практические предложения его. Я готов тотчас и снять их, если кем-нибудь будет выдвинута не критика остроумная, но путь конструктивный, выход лучший и, главное, вполне реальный, с ясными путями. Наша интеллигенция единодушна в представлении о желанном будущем нашей страны (самые широкие свободы), но так же единодушна она и в полном бездействии для этого будущего. Все завороженно ждут, не случится ли что само. Нет, не случится.

Мои предложения были выдвинуты, разумеется, с весьма-весьма малою надеждой, однако же не нолевой. Основание для надежды подаёт хотя бы «хрущёвское чудо» 1955—1956 годов — непредсказанное невероятное чудо роспуска миллионов невинных заключённых, соединённое с оборванными на-

чатками человечного законодательства (впрочем, в других областях, другою рукой, тут же громоздилось и противоположное). Этот порыв деятельности Хрущёва перехлестнул необходимые ему политические шаги, был несомненным сердечным движением, по сути своей — враждебен коммунистической идеологии, несовместим с нею (отчего так поспешно от него отшатнулись и методически отошли). Запретить себе допущение, что нечто подобное может и повториться, значит полностью захлопнуть надежду на мирную эволюцию нашей страны.

Январь 1974

Не обнадёжен я, что вы захотите благожелательно вникнуть в соображения, не запрошенные вами по службе, хотя и довольно редкого соотечественника, который не стоит на подчинённой вам лестнице, не может быть вами ни уволен с поста, ни понижен, ни повышен, ни награждён, и, таким образом, весьма вероятно услышать от него мнение искреннее, безо всяких служебных расчётов, — как не бывает даже у лучших экспертов в вашем аппарате. Не обнадёжен, но пытаюсь сказать тут кратко главное: что́ я считаю спасением и добром для нашего народа, к которому по рождению принадлежите все вы — и я.

Это не оговорка. Я желаю добра всем народам, и чем ближе к нам живут, чем в большей зависимости от нас — тем более горячо. Но преимущественно озабочен я судьбой именно русского и украинского народов, по пословице — где уродился, там и пригодился, а глубже — из-за несравненных страданий, перенесенных нами.

И это письмо я пишу *в предположении*, что такой же преимущественной заботе подчинены и вы, что вы не чужды своему происхождению, отцам, дедам, прадедам и родным просторам, что вы — не безнациональны. Если я ошибаюсь, то дальнейшее чтение этого письма бесполезно.

Я не стану здесь окунаться в тягчайшие подробности последних 60 лет. Как тянется наша история и что́ была она, я пытаюсь выяснить в книгах, о которых не думаю, чтобы вы читали их, может быть никогда и не прочтёте. Но это письмо я обращаю именно к вам: высказать вам моё понимание будущего, которое мне кажется верным, и, может быть, всё-таки, вас убедить. Предложить вам ещё пока своевременный выход из главных опасностей, ждущих нашу страну в ближайшие 10—30 лет.

Эти опасности: война с Китаем и общая с Западной цивилизацией гибель в тесноте и смраде изгаженной Земли.

1. ЗАПАД НА КОЛЕНЯХ

Никакой самый оголтелый патриотический предсказатель не осмелился бы ни после Крымской войны, ни, ближе того, после японской, ни в 1916, ни в 21-м, ни в 31-м, ни в 41-м годах даже заикнуться выстроить такую заносчивую перспективу: что вот уже близится и совсем недалеко время, когда все вместе великие европейские державы перестанут существовать как серьёзная физическая сила; что их руководители будут идти на любые уступки за одну лишь благосклонность руководителей будущей России и даже соревноваться за эту благосклонность, лишь бы только русская пресса перестала их бранить; и что они ослабнут так, не проиграв ни единой войны, что страны, объявившие себя «нейтральными», будут искать всякую возможность угодить и подыграть нам; что вечная грёза о *проливах*, не осуществясь, станет, однако, и не нужна — так далеко шагнёт Россия в Средиземное море и в океаны; что только боязнь экономических убытков и лишних административных хлопот будет аргументом против российского распространения на Запад; и даже величайшая заокеанская держава, вышедшая из двух мировых войн могучим победите-

лем, лидером человечества и кормильцем его, вдруг проиграет войну с отдалённой маленькой азиатской страной, проявит внутреннее несогласие и духовную слабость.

Действительно, внешняя политика царской России никогда не имела успехов сколько-нибудь сравнимых. Даже выиграв большую европейскую войну против Наполеона, она никак не расширила своей власти на Восточную Европу. Она бралась подавлять венгерскую революцию — в пользу Габсбургов, обеспечивала прусский тыл в 1866 и 1870, ничего за то не взяв, то есть бескорыстно возвышала германские державы. Напротив, сама спутывалась ими же в балканских и турецких войнах, проигрывала, и при огромных ресурсах и замахах так никогда и не исполнила мечты своих руководящих кругов о проливах, хотя и в последнюю, гибельную для себя войну вступила с этой главной целью. Россия часто оказывалась исполнителем чужих задач, вовсе не своих. Множество промахов её внешней политики происходило от недостатка практического расчёта на верхах, от бюрократической неповоротливой дипломатии, — но отчасти, очевидно, и от некоторой доли идеализма в представлениях руководителей, что мешало им последовательно проводить в жизнь национальный эгоизм.

От всех этих слабостей с начала и до конца освобождена советская дипломатия. Она умеет требовать, добиваться и брать, как никогда не умел царизм. По своим реальным достижениям она могла бы считаться даже блистательной: за 50 лет, при всего одной большой войне, выигранной не с лучшими позициями, чем у других, — возвыситься от разорённой гражданской смутою страны до сверхдержавы, перед которой трепещет мир. Некоторые моменты особенно поражают сгромождением успехов. Например, конец второй мировой войны, когда Сталин, без затруднений всегда переигрывавший Рузвельта, переиграл и Черчилля, взял не только всё, что хотел в Европе и Азии, но даже, вероятно

сверх своих ожиданий, легко получил ещё и более миллиона советских граждан, отбивавшихся от возвращения на родину, но преданных западными союзниками обманом и силой. Нисколько не меньше сталинских успехов надо признать успехи советской дипломатии последних лет: Западный мир как единая весомая сила перестал противостоять Советскому Союзу, да даже почти перестаёт и существовать. Найдя в себе единство, стойкость и мужество для Второй мировой войны и ещё силы найдя выйти из послевоенной разрухи, Европа, видимо, на том и исчерпалась надолго. Державы-победительницы без всяких внешних причин ослабли и одряхли.

На такой вершине ошеломляющих успехов неохотнее всего воспринимаются чьи-то мнения или сомнения. Сейчас, конечно, самый неудачный момент приступать к вам с советом или увещанием. В момент внешних успехов труднее всего бывает отказатья от дальнейшей накатки их, самоограничиться, перестроиться.

Но тем и отличаются мудрые от немудрых, что они принимают советы и опасливые соображения много ранее крайней необходимости.

Да и в этих успехах далеко не всё есть повод для самовосхищения. Катастрофическое ослабление Западного мира и всей западной цивилизации далеко-далеко не только успех неуклонимой настойчивой советской дипломатии, это главным образом результат исторического, психологического и нравственного кризиса всей той культуры и системы мировоззрения, которая зачалась в эпоху Возрождения и получила высшие формулировки у просветителей XVIII века. Анализ того кризиса — за пределами этого письма.

А ещё в наших успехах можно увидеть — нельзя не увидеть! — два удивительных провала: среди всех успехов мы *сами* вырастили себе двух лютых врагов, прошлой войны и будущей войны, — германский вермахт и теперь маоцзедуновский Китай. Германскому вермахту в обход Версальского договора

мы помогли получить на советских полигонах первые офицерские кадры, первые навыки и теорию современной войны, танковых прорывов и воздушных десантов, что очень пригодилось потом в гитлеровской армии при её сжатых сроках подготовки. А как мы вырастили Мао Цзе-дуна вместо миролюбивого соседа Чан Кай-ши и помогли ему в атомной гонке — эта история ближе, известнее. (Ещё не так ли и с арабами провалимся?)

И вот что заметим здесь главное, для дальнейшего: провалы эти истекали не из ошибок наших дипломатов, не из просчётов наших генералов, а из *точного следования указаниям марксизма-ленинизма:* в первом случае — повредить мировому империализму, во втором — поддержать зарубежное коммунистическое движение. Соображения *национальные* в обоих случаях отсутствовали.

Я знаю прекрасно, что говорю с крайними реалистами, и не стану пусто взывать: о, призаймём хоть немного неудачливого идеализма от старой русской дипломатии! Или: облагодетельствуем мир тем, что перестанем вмешиваться в его жизнь. Или: проверим нравственные основания нашей победной дипломатии — она приносит Советскому Союзу внешнюю мощь, но приносит ли истинное добро его народам?

Я говорю с крайними реалистами, и проще всего назвать ту опасность, которую вы знаете детальнее меня, и давно уже смотрите туда тревожно, и правильно, что тревожно: *Китай.*

Как бы вы ни торжествовали сейчас, как бы ни возносились, — но приходится помнить и учиться, что во всей мировой истории ещё не бывало (и не будет никогда) такой силы, на которую не нашлось бы противосилы.

По нашей пословице: вырос лес, так выросло и топорище.

В данном случае — 900 миллионов топорищ.

2. ВОЙНА С КИТАЕМ

Я надеюсь, вы не повторяете ошибки многих мировых правителей до вас: вы не строите расчётов на победоносный блицкриг. Против нас — почти миллиардная страна, какая не выступала ни в одной войне мировой истории. Её население, очевидно, ещё не успело с 1949 года утерять своего исконного высочайшего трудолюбия — выше нашего сегодняшнего, — своего упорства, покорности и находится в верном захвате тоталитарной системы, нисколько не упустительнее нашей. Её армия и её население не будут с западным благоразумием сдаваться массами ни окружёнными, ни покорёнными. Каждый солдат и каждый гражданский будет сражаться до последней пули и последнего вздоха. Союзника — в той войне не будет у нас, во всяком случае — размера Индии. Оружия ядерного вы, конечно, не примените первые — это было бы совершенно непоправимо со стороны репутации, которой вы не можете пренебречь, да и с практической стороны всё равно не принесло бы быстрой победы. Тем более не применит его противная сторона, более слабая в нём. (Да вообще, к счастью для человечества, оно из простого самосохранения умеет удерживаться на самой последней грани гибели. Так после 1-й мировой войны никто не посмел применить химического оружия, так после 2-й, я верю, никто не применит ядерного. Таким образом, всё нынешнее разорительное его сверхнакопление бессмысленно, лишь тешит изобретателей и генералов, оно есть тяжкий жребий тех, кто взялся быть в переднем ряду ядерных держав. Накопление это никогда не пригодится, а к началу конфликта ещё и устареет.)

Война же *обыкновенная* будет самой длительной и самой кровавой изо всех войн человечества. Уж по крайней мере, подобно вьетнамской (с которой будет схожа во многом), она никак не будет короче 10—15 лет и разыграется, кстати, почти по тем нотам, которые написал Амальрик, посланный за это на

уничтожение, вместо того чтобы пригласить его в близкие эксперты. Если в 1-й мировой войне Россия потеряла до полутора миллионов человек, а во 2-й (по данным Хрущёва) — 20 миллионов, то война с Китаем никак не обойдётся нам дешевле 60 миллионов голов, — и, как всегда в войнах, лучших голов, все лучшие, нравственно высшие, обязательно погибают там. Если говорить о русском народе — будет истреблён последний наш корень, произведётся последнее из истреблений его, начатых в XVII веке уничтожением старообрядцев, потом — Петром, потом — неоднократно, о чём тоже не буду в этом письме, а теперь — уже окончательное. После этой войны русский народ практически перестанет существовать на планете. И уже только это одно будет означать полный проигрыш той войны, независимо ото всех остальных её исходов (во многом безрадостных, в том числе и для вашей власти, как вы понимаете). Разрывается сердце: представить, как наша молодёжь и средний возраст пошагает и поколесит погибать в войне, да какой? — *идеологической,* за что? — главным образом, за мёртвую идеологию. Я думаю, даже и вы не способны взять на себя такую ужасную ответственность!

Щемящее сочувствие вызывают и рядовые китайцы — потому что они будут самыми беспомощными жертвами той войны, они находятся в столь зажатом положении, что не только не могут изменить своей судьбы, не только обсудить её, но даже ушками пошевелить.

Вот это гибельное будущее, по темпам приближения совсем уже недалёкое, ложится бременем на нас сегодняшних, — и на тех, кто имеет власть, и кто силу имеет повлиять, или кто только голос имеет, чтобы произнести: этой войны не должно быть вообще, *эта война вообще не должна состояться!* Не ставить задачу выиграть ту войну, ибо выиграть её никому не возможно, но — *избежать её!*

Мне кажется, я такой путь вижу. И потому взялся за это письмо сегодня.

Какие причины клонят к этой войне? Вторая — это динамическое давление миллиардного Китая на до сих пор не освоенные наши сибирские земли — не на ту полоску, о кой идёт спор по старым договорам, но на *всю* Сибирь, до которой у нас впопыхах великих социальных и даже космических преобразований не дошли руки, — и это давление будет возрастать с ростом общей перенаселённости Земли. Однако *первая* причина нависающей войны, причина гораздо более острая, главная и безвыходная, — идеологическая. Не удивимся: во всей истории не было войн и междоусобиц лютее, чем вызванные идеологическими (в том числе, увы, и религиозными) разногласиями. Вот уже 15 лет между вами и вождями Китая идёт спор о том, кто вернее понимает, толкует и продолжает Отцов Передового Мировоззрения. И помимо и острей государственного столкновения между нами вырастает это глобальное соперничество, претензия единосмысленно толковать коммунистическое учение и в нём вести именно за собою все народы мира.

И как же вы представляете? — возникнет война, и обе воюющих стороны так и понесут на знамёнах чистоту своей идеологии? И 60 миллионов наших соотечественников дадут себя убить за то, что именно на 533-й странице ленинского тома написана заветная истина, а не на 335-й, как утверждает наш противник? Разве только самые-самые первые лягут так...

Когда началась война с Гитлером, Сталин, так многое пропустивший и погубивший в военной подготовке, этой стороны, идеологической, не упустил. И хотя идеологические основания для той войны казались несомненнее, чем ожидающие вас, — война велась против идеологии, по внешности диаметрально противоположной, — Сталин от первых же дней войны не понадеялся на гниловатую порченую подпорку идеологии, а разумно отбросил её, почти перестал её поминать, развернул же старое русское знамя, отчасти даже православную хо-

ругвь, — и мы победили! (Лишь к концу войны и после победы снова вытащили Передовое Учение из нафталина.)

Так неужели вы думаете, что при столкновении идеологий близких, смежных, расходящихся лишь в оттенках, вам не придётся совершать ту же переориентировку? Но будет — поздно, в военном напряжении — уже очень тяжело.

Насколько же разумнее этот самый предохранительный поворот сделать уже сегодня! Если всё равно для войны его сделать неизбежно, то не разумнее ли сделать его много заблаговременней — *чтобы не воевать* вообще?!

Отдайте им эту идеологию! Пусть китайские вожди погордятся этим короткое время. И за то взвалят на себя весь мешок неисполнимых международных обязательств, и кряхтят, и тащат, и воспитывают человечество, и оплачивают все несуразные экономики, по миллиону в день одной Кубе, и содержат террористов и партизан южных континентов.

Отпадёт главная лютая рознь между нами и ими, отпадёт множество пунктов нынешнего состязания и столкновения во всём мире, — и военный конфликт отодвинется намного, а может быть — *и не состоится вовсе никогда.*

Посмотрим непредубеждённо: тёмный вихрь «передовой идеологии» налетел на нас с Запада в конце прошлого века, достаточно потерзал и разорил нашу душу, — и если теперь сам утягивается дальше на Восток — так пусть утягивается, не мешайте! (Не значит, что я хочу духовной гибели Китаю. Я верю, что и наш народ скоро излечится от этой болезни и китайский со временем тоже, — надеюсь, не слишком поздно, чтоб успеть спасти свою страну и оберечь человечество. Но с нас после всего перенесенного хватит пока заботы — как спасти наш народ.)

Отпадёт идеологическая рознь — и советско-китайской войны скорее всего не будет вовсе. А если в отдалённом будущем и будет, то уж действительно оборонительная, действительно отечественная. В кон-

це XX века отдавать сибирскую территорию мы не можем, это несомненно. Но отдать идеологию — только к нашему облегчению и выздоровлению!

3. ТУПИК ЦИВИЛИЗАЦИИ

Вторая опасность — многосторонний тупик западной цивилизации, к которой и Россия давно избрала честь принадлежать, — не так близка, ещё в запасе есть два-три десятилетия, и тупик этот мы разделяем со всеми передовыми странами, даже у них заклинено грозней и хуже, чем у нас; и сохраняются надежды на новые научные лазейки и изобретения, оттягивающие расплату. И я не касался бы той опасности в этом письме, если бы решение обеих задач *не совпадало* бы во многом, если бы один и тот же поворот, *единое* решение не избавляло бы нас от *обеих* опасностей! Так благоприятно редко сходится в истории. Эти дары её надо ценить, эти возможности не упускать.

И как это «внезапно» вывалилось перед человечеством и перед Россией!!.. Наши передовые публицисты и до революции и после — как излюбили высмеивать тех *ретроградов* (именно в России их было много всегда), кто звал беречь и жалеть нашу старину, даже самые глухие деревушки в три избы, даже просёлочные дороги рядом с железной колеёй, сохранять лошадей уже при автомобилях, не забрасывать малых производств для огромных заводов и комбинатов, не пренебрегать навозными удобрениями для химических, не скопляться миллионами в городах, не карабкаться друг другу на голову в многоэтажных зданиях. И как смеялись, как затравили реакционными «славянофилами» (из посмешища это стало термином, простаки и не придумали себе названия другого), затравили тех, кто говорил, что такой колосс, как Россия, да со многими душевными особенностями и бытовыми традициями, вполне может поискать и свой особый путь в человечестве;

и не может быть, чтобы путь развития у всего человечества был только и непременно один.

Нет, мы должны были протащиться всем западным буржуазно-промышленным и марксистским путём, чтобы к концу XX века узнать, опять-таки от передовых западных учёных, то, что искони понимал любой деревенский дед на Украине или в России и мог бы давно-давно растолковать передовым публицистам, если б те в своём запале нашли бы время поконсультироваться с ним: что не может дюжина червей бесконечно изгрызать одно и то же яблоко; что если земной шар ограничен, то ограничены и его пространства и его ресурсы, и не может на нём осуществляться *бесконечный, безграничный* прогресс, вдолбленный нам в голову мечтателями Просвещения. Нет, мы должны были брести и брести за чьими-то спинами, не зная переда дороги, пока не услышали теперь, как головные перекликаются: забрели в тупик, надо заворачивать. Весь «бесконечный прогресс» оказался безумным напряжённым нерассчитанным рывком человечества в тупик. Жадная цивилизация «вечного прогресса» захлебнулась и находится при конце.

И не «конвергенция» ждёт нас с западным миром, но — полное обновление и перестройка и Запада, и Востока, потому что оба в тупике.

Всё это сейчас широко распубликовано и разъяснено на Западе трудами «Общества Тейяра де Шардена» и «Римского Клуба». Вот их выводы в самом сжатом виде.

«Прогресс» должен перестать считаться желанной характеристикой общества. «Бесконечность прогресса» есть бредовая мифология. Должна осуществляться не «экономика постоянного развития», но *экономика постоянного уровня, стабильная. Экономический рост не только не нужен, но губителен.* Надо ставить задачу не увеличения народных богатств, а лишь сохранения их. Надо срочно отказаться от современной технологии гигантизма — и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в рас-

селении (нынешние города — раковые опухоли). Главная цель техники становится сейчас: устранить плачевные результаты предшествующей техники. «Третий мир», ещё не ставший на гибельный путь западной цивилизации, может быть спасён лишь «раздробленной технологией», требующей не сокращения ручного труда, но увеличения его, техники самой простой и основанной только на местных материалах.

Вся безудержность промышленного развития осуществилась не за тысячелетия, не за столетия («от Адама до 1945 года»), а только за последние 28 лет (после 1945). Эта бурность темпа последних лет и является самой опасной для человечества. Указанные группы учёных провели компьютерные расчёты по разным вариантам экономического развития — и все варианты оказались безнадёжны, предвещая катастрофическую гибель человечества между 2020 и 2070 годами, если оно не откажется от экономического прогресса. В этих расчётах рассматривались 5 главных факторов: население, природные ресурсы, сельскохозяйственное производство, промышленность и загрязнение среды. Если верить существующим сведениям о ресурсах Земли, некоторые из них идут к быстрому концу: через 20 лет окончится вся нефть, через 19 вся медь, через 12 — ртуть, и многие другие близки к концу, очень ограничены энергетические ресурсы и пресная вода. Но даже если последующими разведками запасы окажутся и вдвое, и втрое больше известных ныне, и если вдвое увеличится производительность сельского хозяйства, и подчинена будет человеку ядерная энергия, — во всех случаях в первых десятилетиях XXI века должна наступить массовая гибель населения: если не от остановки производства (конец ресурсов), то от избытка производства (гибель среды), — во всех случаях... Совместно все пять вышеназванных факторов решить оптимально при нынешней ставке на «прогресс» невозможно. Если человечество не откажется от экономического прогресса — биосфера станет не-

пригодной для жизни практически уже *при ныне живущих.* А чтобы человечество спасти — технология должна быть перестроена к стабильной в ближайшие 20—30 лет, для этого перестройка должна начаться немедленно, сейчас.

Впрочем, наиболее вероятно всё же, что западная цивилизация не погибнет. Она столь динамична, столь изобретательна, что изживёт и этот нависающий кризис, переломает вековые ложные представления и в несколько лет приступит к необходимой перестройке. А «Третий мир» заблаговременно внимет предупреждениям и *вообще не пойдёт по западному пути,* это ещё очень доступно для большинства африканских, для многих азиатских стран (и никто их не будет за это дразнить «негрофилами»).

Но — мы?? С нашей неповоротливостью, косностью, с нашей неспособностью и робостью менять хоть единую букву, хоть штрих один в том, что сказал Маркс о промышленном развитии к 1848 году. Экономически, физически — мы вполне можем спастись. Но на пути нашего спасения стоит, перегораживает — Единственно Передовое Мировоззрение: если отказаться от промышленного развития, то как же тогда рабочий класс, социализм, коммунизм, безграничный рост производительности труда и т. д.?.. Исправлять Маркса нельзя, это ревизионизм...

Но «ревизионистами» вас всё равно уже кличут, что́ бы вы впредь ни делали. Так не верней ли — трезво, ответственно и решительно выполнить свой долг — отказаться от мёртвой буквы ради живого народа, целиком зависящего от вашей власти, от ваших решений? И — не промедлять. Зачем нам тянуть, если всё равно потом придётся очнуться? Зачем доделывать, повторять за другими мучительную петлю до конца, пока мы еще недостаточно в неё впоролись? Если в череде идущих кричит передний «я заблудился!» — надо ли нам непременно дотопывать до того места, где он осознался, и лишь потом заворачивать? А почему бы нам не свернуть

на верную дорогу — сразу, от того места, где мы есть?

Мы и так слишком долго и слишком верно шли за западной технологией. Казалось бы, «первая в мире социалистическая страна», которая показывает образец другим народам Запада и Востока, и такая «оригинальная» в следовании некоторым уродливым доктринам — о крестьянстве, о мелком ремесле, — почему же были мы так уныло неоригинальны в технологии, так безмысло и слепо шли за западной цивилизацией? (А — от военной спешки, а спешка — от необъятных «интернациональных задач», и всё опять — от марксизма...) При центральном плане, которым мы гордимся, уж у нас-то была, кажется, возможность не испортить русской природы, не создавать противочеловеческих многомиллионных скоплений. Мы же сделали всё наоборот: измерзопакостили широкие русские пространства и обезобразили сердце России, дорогую нашу Москву, — какая ошалелая несыновняя рука разорвала бульвары, так что нельзя уже ими пройти, не ныряя в унизительные каменные тоннели? какой злой чужой топор вырубил Садовое кольцо, заменил его бензинно-асфальтной отравленной зоной? Изничтожен неповторимый облик города, вся старая планировка, наляпаны подражания Западу вроде Нового Арбата, стиснут, раскинут и возвышен город, в котором жить стало невыносимо, — и что теперь делать? Воссоздать прежнюю Москву на новом месте? — вероятно, невозможно. Значит, примириться с полной утратой её?

Мы бестолково-неоглядно тратили наши ресурсы, истощали нашу почву, безобразили наши просторы то глупейшими «сухопутными морями», то заражёнными околопромышленными пустырями, — но пока ещё гораздо больше сохранилось не испорченного нами, где мы не успели. Так очнёмся вовремя, так повернём с места!

И тут есть дополнительная надежда для нас — одна особенность, одна оговорка в рассуждениях вышеназванных учёных. Оговорка эта: высшее богатство народов сейчас составляет *земля.* Земля как простор для расселения. Земля как объём биосферы. Земля как покров глубинных ресурсов. Земля как почва для плодородия. И хотя о плодородии тоже прогнозы мрачные: земельные пространства в среднем по планете и рост плодородия будут исчерпаны к 2000 году, а если удастся с/х производство удвоить (не колхозам, конечно, не нам), — то к 2030 году всё равно плодородие исчерпается, — это в среднем по планете. Однако есть четыре счастливых страны, обильно богатые неосвоенною землёй ещё и сегодня. Это — Россия (я не оговариваюсь, именно — РСФСР), Австралия, Канада и Бразилия.

И в том — русская надежда на выигрыш времени и выигрыш спасения: на наших широченных северо-восточных земельных просторах, по нашей же неповоротливости четырёх веков ещё не обезображенных нашими ошибками, мы можем *заново* строить не безумную пожирающую цивилизацию «прогресса», нет, — безболезненно ставить сразу стабильную экономику и соответственно её требованиям и принципам селить там впервые людей. Эти пространства дают нам надежду не погубить Россию в кризисе западной цивилизации. (А по колхозному забросу много потерянных земель и ближе есть.)

Без догматической предвзятости вспомним Столыпина и отдадим ему должное. В 1908 году в Государственной Думе он пророчески сказал: *«Земля — это залог нашей силы в будущем, земля — это Россия.»* И по поводу Амурской железной дороги: «Если мы будем продолжать спать летаргическим сном, то край этот будет пропитан чужими соками, а когда мы проснёмся, может быть, он окажется русским только по названию.»

Сегодня, в противостоянии Китаю, эта опасность

распространяется едва ли не на всю нашу Сибирь. Две опасности смыкаются, — но от обеих счастливым образом рисуется единый выход: *отбросить мёртвую идеологию,* которая грозит нам гибелью и на путях войны и на путях экономики, отбросить все её чуждые мировые фантастические задачи, а сосредоточиться на освоении (в принципах стабильной, непрогрессирующей экономики) русского Северо-Востока — северо-востока Европейской нашей части, севера Азиатской и главного массива Сибири.

Не будем греть надежд и не будем подгонять того сотрясения, которое может быть и зреет, может быть и произойдёт в западных странах. Эти надежды могут так же обмануть, как и надежды на Китай в 40-х годах: если на Западе создадутся новые общественные системы, они могут оказаться к нам и жёстче и недружелюбнее нынешних. И оставим арабов их судьбе, у них есть ислам, они разберутся сами. И оставим самой себе Южную Америку, ей никто не грозит внешним завоеванием. И оставим Африку самой узнать, каково начинать самостоятельный путь государственности и цивилизации, лишь пожелаем ей не повторить ошибок «непрерывного прогресса». Полвека мы занимались: мировой революцией; расширением нашего влияния на Восточную Европу; на другие материки; преобразованием сельского хозяйства по идеологическим принципам; уничтожением помешных классов; искоренением христианской религии и нравственности; эффектной бесполезной космической гонкой; само собой — вооружением, себя и других, кто просит оружия; чем угодно, кроме развития и благоустроения главного богатства нашей страны — Северо-Востока. Но не предстоит нашему народу жить ни в Космосе, ни в Юго-Восточной Азии, ни в Латинской Америке, а Сибирь и Север — наша надежда и отстойник наш.

Скажут, что мы и там много делали, строили, — но не столько строили, сколько людей губили, как

на «мёртвой дороге» Салехард — Игарка, да уж не будем тут все лагерные истории перебирать. Так строить, чтоб затоплять Кругбайкальскую железную дорогу, а обходную бессмысленно гнать горами, сжигая тормоза; так строить, как целлюлозные комбинаты на Байкале и Селенге, поскорей к поживе и к отраве, — так лучше бы и повременить. По темпам века мы сделали на Северо-Востоке очень мало. Но сегодня можно сказать — и к счастью, что так мало: зато теперь можем делать всё разумно с самого начала, по принципам стабильной экономики. Ещё сегодня — к счастью, а в близком завтра уже будет к беде.

И какая ирония: с 1920 года, полвека, мы гордо (и справедливо) отказывались доверить иностранцам разработку наших природных богатств — и это могло выглядеть обещающими национальными чаяниями. Но мы тянули, тянули, но мы теряли, теряли время, и вдруг именно теперь, когда обнажилось истощение мировых энергетических ресурсов, мы, великая промышленная сверхдержава, подобно последней отсталой стране приглашаем иностранцев разрабатывать наши недра и предлагаем им в расплату забирать бесценное наше сокровище — сибирский природный газ, за что через полпоколения наши дети будут нас проклинать как безответственных мотов. (У нас было бы много других хороших товаров для расплаты, если бы наша промышленность тоже не была бы построена главным образом на... идеологии. И тут поперёк дороги нашему народу — идеология!)

Я не счёл бы нравственным советовать политику обособленного спасения среди всеобщих затруднений, если бы наш народ в XX веке не пострадал бы, я думаю, больше всех народов мира: *помимо* двух мировых войн мы потеряли от одних гражданских раздоров и неурядиц, от одного внутреннего «классового», политического и экономического, уничтожения — 66 (шестьдесят шесть) миллионов человек!!! Такой подсчёт произвёл бывший ленинградский про-

фессор статистики И. А. Курганов, вам принесут в любую минуту. Я не учёный статистик, не берусь проверять, да и вся же статистика скрыта у нас, тут расчёт косвенный, но действительно: нет ста миллионов (именно *ста*, как и предсказывал Достоевский!), на войнах и без войн мы потеряли *треть* того населения, какое могли бы иметь сейчас, почти *половину* того, которое имеем! Кто еще из народов расплачивался такою ценой? После таких потерь мы можем допустить себе и небольшую льготу, как дают больному отдых после тяжкой болезни. Нам надо излечить свои раны, спасти своё национальное тело и свой национальный дух. Достало бы нам наших сил, ума и сердца на устройство нашего собственного дома, где уж нам заниматься всею планетой.

И опять-таки, по счастливому совпадению, весь мир от этого — только выиграет.

Другое нравственное возражение могут выставить — что наш Северо-Восток не вовсе-то русский, что при овладении им был совершён и исторический грех: было уничтожено немало местных жителей (ну да несравненно с нашим недавним самоуничтожением) и потеснены другие. Да, это было, было в XVI веке, но этого исправить уже никаким образом нельзя. С тех пор малолюдными, даже безлюдными, лежат эти раскинутые просторы. По переписи всех народностей Севера — 128 тысяч, они редкой цепочкой разбросаны по огромным пространствам, освоением Севера мы нисколько их не тесним. Напротив, сегодня мы естественно поддерживаем их быт и существование, они не ищут себе обособленной судьбы и не могли бы найти её. Изо всех национальных проблем, стоящих перед нашей страной, эта — самая мягкая, её и нет почти.

Итак, наш выход один: чем быстрей, тем спасительнее — перенести центр государственного внимания и центр национальной деятельности (центр расселения, центр поисков молодёжи) с далёких кон-

тинентов, и даже из Европы, и даже с юга нашей страны — на её Северо-Восток.*

5. РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕЕ, А НЕ ВНЕШНЕЕ

Это перенесение центра внимания и центра усилий конечно не будет иметь только один географический смысл: не только с внешних пространств на внутренние, но и *с внешних задач на внутренние.* Во всех смыслах: с внешнего на внутреннее. Этого требует от вас истинное, не показное состояние наших людей, наших семей, наших школ, нашего народа, нашего духа, нашего быта, нашего хозяйства.

С конца, с хозяйства. Парадоксально, поверить нельзя: но при таких блестящих успехах во внешней политике, у такой военно-могучей великой державы — такой тупик и даже безнадёжность в экономике. Всё, чего мы тут достигли, получено не уменьем, а числом, то есть непомерными затратами людских сил и материалов. Всё создаваемое обходится много дороже, чем оно стоит, но государство разрешает себе не считать расходов. Наше «идеологическое сельское хозяйство» уже стало посмешищем для всего мира, а скоро — при всемирной недостаче продуктов — станет и обузой для него. Во многих местах мира вспыхивает и ещё гуще будет вспыхивать голод из-за перенаселённости, земельной скудости, первичного выхода из колониального состояния, — то есть люди *не могут* произвести зерна. Мы же не производим достаточно или сотрясаемся от одного засушливого года (а ведь знает история земледелия и по семи подряд?) — всё потому, что не хотим признать свою колхозную ошибку. Веками Россия выво-

---

* Конечно, такое перенесение рано или поздно должно привести к тому, чтобы мы сняли свою опеку с Восточной Европы. Также не может быть и речи о насильственном удержании в пределах нашей страны какой-либо окраинной нации.

зила хлеб, перед 1-й мировой войной — по 10—12 миллионов тонн ежегодно, и вот 55 лет нового строя и 40 лет прославленной колхозной системы — и мы вынуждены 20 миллионов тонн *ввозить*! Ведь стыдно, ведь пора же очнуться! Деревня, на которой веками стояла Россия, стала главной слабостью её! Долгие десятилетия мы истощали колхозную деревню до полного отобрания сил её, до полного отчаяния, — наконец стали ей возвращать ценности, стали ей и платить — но *поздно*. Истощены её вера в дело, её интерес. По старой пословице: отбей охоту — рублём не возьмёшь. При угрожающей в мире нехватке зерна один выход у нас быть сытою страной: отказаться от принудительных колхозов, оставить только добровольные. На пространствах Северо-Востока ставить (с большими затратами, конечно) такое сельское хозяйство, которое будет кормить своим естественным экономическим ходом, а не наплывами агитаторов и мобилизованных горожан.

Предполагаю, знаете вы (это видно по вашим указам), что и во всём народном хозяйстве, во всей государственной служебной громаде так: люди не кладут сил на казённой работе и не рвутся к ней, но сколько могут — обманывают (а то и воруют), служебные часы тратят на личные дела (вынуждены так! — ибо при нынешних заработках не хватит никаких сил и никакой жизни), все стараются получить денег больше, а работать меньше, — и с таковым народным настроением какими же сроками можно располагать для спасения страны?

Но ещё разрушительнее — водка. Тоже знаете вы хорошо, вот и указ ваш был, — а что он изменил? Пока водка — важная статья государственного дохода, ничего не изменится, так и будем ради барыша прожигать народную внутренность. (Я когда-то в ссылке работал в потребкооперации и чётко помню, что водка составляла 60—70 % нашего оборота.)

По сравнению с нравами людей, их душевным состоянием, их отношением друг ко другу и к обще-

ству — мелки и ничтожны все те материальные достижения, которыми у нас так трубно гордятся.

То, что географически будет называться освоением Северо-Востока, хозяйственно — построением стабильной экономики, во всех своих решаемых задачах — градостроительных, транспортных, социальных — должно углубиться в задачи *нравственные*. Физическое и духовное здоровье народа должно стать целью и всего этого движения, и каждого его этапа, и каждой его стороны.

Построение более чем половины государства на новом, свежем месте позволяет не повторить губительных ошибок XX века — с промышленностью, с дорогами, с городами. Если не жечься куцыми экономическими потребностями дня, а создавать для наших детей страну с чистым воздухом и чистыми водами, придётся отказаться от многих видов промышленного производства с ядовитыми отходами. Скажут — военная необходимость диктует? Но военных необходимостей у нас вдесятеро меньше, чем мы делаем вид, чем мы напряжённо и суетливо создаём сами себе, изобретая интересы в Атлантическом или Индийском океанах. На ближайшие полвека у нас единственная истинная военная необходимость — оборониться от Китая, а лучше вовсе с ним не воевать. Хорошо устроенный Северо-Восток есть и лучшая защита от Китая. Больше *никто на Земле* нам не угрожает, никто на нас не нападёт. Мы вооружены для мирного времени многократно избыточно, мы производим массу оружия, которое потом будем менять и менять на свежее, в избытке тренируем личный состав, который и из возраста выйдет к моменту военной необходимости.

Со всех сторон, кроме Китая, мы имеем большой запас безопасности по срокам, и это даёт нам возможность на многие годы сильно сократить военную подготовку и освободившееся бросить на экономику и устройство жизни. Технологическая гибель — не меньшая опасность, чем война.

Пришла пора и освободить русскую юность от

обязательной всеобщей воинской повинности, которой нет ни в Китае, ни в Соединённых Штатах, ни в одной большой стране мира. Мы эту армию держим всё из той же генеральской и дипломатической суеты — для престижа, из чванства; для внешнего расширения, от которого надо отказаться, физически и душевно спасая самих же себя; и ещё — от ложного представления, что мужскую молодёжь нельзя воспитать государственно полезной иначе как пропуская её через армейский котёл долгими годами. Если и будет признано, что мы не можем обеспечить оборону иначе как проводя через армию всех, то на много может быть сокращён срок службы и очеловечено «воспитание» в армии. При нынешнем мы как народ теряем *внутренне* гораздо больше, чем нашагивают наши парады.

Резко уменьшая вооружение, мы освободим и наше небо от надоевших грохочущих самолётных армад, — над нашими обширными пространствами денно и нощно, без поры и времени, они производят свои нескончаемые полёты и учения! — с переходами звукового порога, с гулом и рёвом, нарушающим быт, отдых, сон и нервы сотен тысяч людей, эффективно оглупляя их под своим гулом (все видные начальники над своими дачными местностями полёты запрещают), — и всё это десятилетиями, ни для какого спасения страны, а — никчемушняя суета. Верните стране здоровую *тишину*, без которой и не может быть здорового народа.

Нынешняя городская жизнь, которой обречена уже половина нашего населения, совершенно противоестественна, и все вы единодушно с этим согласны, ибо единодушно ежевечерне спасаетесь из города на загородные дачи. И все вы по вашему возрасту хорошо помните прежние до-автомобильные города — города для людей, лошадей, собак, ещё — трамваев, человечные, приветливые, уютные, всегда с чистым воздухом, зимою многоснежные, весною через заборы на улицы льются запахи из садов; сады чуть не при каждом доме, и редко какой дом

выше двух этажей — приятнейшая высота человеческого жилища; жители тех городов были не кочевники, не кочевали дважды в год, спасая детей от пылающего ада. Экономика не-гигантизма, с дробной, хотя и высокой технологией, не только позволит, но даже потребует построения рассредоточенных городов, мягких для человека. И вполне можно поставить на всех въездах шлагбаумы, пропуская лошадей и электрические аккумуляторные двигатели, но не ядовитые двигатели внутреннего сгорания, и в самом городе на перекрестках если нужно кому нырять под землю, — то двигателям, а не старым, малым и больным людям.

Вот такими городами пусть украсится наш растепленный, отмороженный Северо-Восток, и на то растепление пусть грохаются дурные космические деньги.

Правда, в прежних русских городах была ещё одна особенность, уже духовная, позволявшая самым образованным людям с наслаждением жить там и не сгущаться всем в одну семимиллионную столицу: многие провинциальные города, не только Иркутск, Томск, Саратов, Ярославль, Казань, многие были значительными и самостоятельными культурными центрами. А у нас сейчас разве допустим какой-нибудь самодеятельный, самомыслящий центр, кроме Москвы? Даже и Питер затускнел совсем. Бывало, в каком-нибудь Вышнем Волочке могло появиться уникальное книжное издание большой ценности, — а разве сейчас это допустит наша *идеология*? Нынешняя централизация всех видов духовной жизни — уродство, духовное убийство. Без таких 40—80 городов нет России как страны, лишь какой-то безгласный придаток. Вот и тут, как на каждом месте, на каждой линии, построить Россию здоровую нам мешает — *идеология*.

Так каждая сторона быта неразрывно связана с душевным состоянием людей. Тот, кто вынужденно калечит гусеницами тракторов или колёсами огромных грузовиков не приспособленные к ним, не ожи-

давшие их травяные и просёлочные дороги, или остервенелым «неподвижным мотоциклом» бензопилы на рассвете от жадности перебуживает целый посёлок, — становится жесток и циничен. Не случайны и эти бесчисленные пьяные и хулиганы, не дающие женщинам проходу в вечерние и праздничные часы, — никакой милиции на них не хватит, тем более не удержит их идеология, претендующая, что она заменила нравственность.

Достаточно поработав в школах — и городских, и сельских, могу утверждать, что школа наша плохо учит и дурно воспитывает, а лишь разменивает и мельчит юные годы и души. Всё поставлено так, что ученикам не за что уважать свой педсовет. Школа будет истинной тогда, когда в учителя пойдут люди отборные и к тому призванные. Но для этого — сколько средств и усилий надо потратить! — не так оплачивать их труд и не так унизительно держать их. А сейчас пединститут — в ряду институтов последний по своему авторитету, и взрослый мужчина стыдится быть школьным учителем. Абитуриенты как мухи на мёд летят на военную электронику — неужели для таких бесплодностей мы развивались тысячу сто лет?

Не получая нужного в школе, наши будущие граждане не много получают и в семье. Мы много хвастаем достигнутым женским равноправием и детскими садами и скрываем, что это всё — взамен подорванной семьи. А равноправие женщин не в том, чтобы занимать столько же рабочих мест и служебных постов, сколько мужчины, но лишь — принципиальная незакрытость всех этих постов для женщины. Реально же состояние мужского заработка должно быть таково, чтобы в семье с двумя ли, с четырьмя ли детьми женщина не нуждалась бы в отдельном заработке, не нуждалась бы поддерживать семью ещё и деньгами сверх своих трудов и забот. В погоне за пятилетками, за лишними руками, мы никогда не давали мужчинам такого заработка, и подрыв и разорение семей — одна из наших страш-

ных плат за пятилетки. И как не сжаться сердцу стыдом и жалостью, когда мы видим наших женщин с тяжёлыми носилками на мощении мостовых, на подстилке железнодорожных путей? Видя такую картину — о чём ещё можно говорить? В чём ещё сомневаться? Чтоб освободить их от такого унижения — как не отказаться от финансирования южноамериканских революционеров?

Так почти каждое направление народной деятельности мы видим запущенным, требующим средств, труда и терпения. Но не выше того и досуг, сведенный к телевизору, картам, домино и всё той же водке, а кто читает — так или спорт, или шпионские детективы, или всё ту же Идеологию в виде газет. Неужели это и есть тот манящий социализм-коммунизм, для которого и клались все жертвы и гибли 60—90 миллионов?

Потребности внутреннего развития несравненно важней для нас, как народа, чем потребности внешнего расширения силы. Вся мировая история показывает, что народы, создавшие империи, всегда несли духовный ущерб. Цели великой империи и нравственное здоровье народа несовместимы. И мы не смеем изобретать интернациональных задач и платить по ним, пока наш народ в таком нравственном разорении и пока мы считаем себя его сыновьями.

Ещё ли нам не отказаться от Средиземного моря?

А для этого прежде всего — от идеологии.

6. ИДЕОЛОГИЯ

Эта идеология, доставшаяся нам по наследству, не только дряхла, не только безнадёжно устарела, но и в свои лучшие десятилетия она ошиблась во всех своих предсказаниях, она никогда не была наукой.

Примитивная верхоглядная экономическая теория, которая объявила, что только рабочий рождает ценности, и не увидела вклада ни организаторов, ни

инженеров, ни транспорта, ни аппарата сбыта. Она ошиблась, предсказывая, что пролетариат будет безгранично зажат, что он никогда ничего не добьётся при буржуазной демократии, — нам бы сейчас так накормить его, одеть и осыпать досугом, как он получил всё это при капитализме! Она дала маху, что благополучие европейских стран держится на колониях, — а они только освободясь от колоний и стали совершать свои «экономические чудеса». Она прошиблась, что социалисты никогда не сумеют приходить к власти иначе как вооружённым переворотом. Она просчиталась, будто эти перевороты начнутся с передовых промышленных стран, — как раз всё наоборот. И как революции быстро охватят весь мир, и как будут быстро отмирать государства — всё сплошь заблуждения, всё сплошь незнание человеческой природы. И что войны присущи только капитализму и кончатся с ним, — мы уже видели самую пока долгую войну XX века, 15 и 20 лет не капитализм отвергал переговоры и перемирие, — и не дай нам Бог увидеть самую жестокую и самую кровавую изо всех войн человечества — войну между двумя коммунистическими сверхдержавами. Так и национализм был этой теорией в 1848 году погребён как уже «пережиток» — а найдите сегодня в мире силу бóльшую! И со многим так, перечислять устанешь.

Марксизм не только не точен, не только не наука, не только не предсказал *ни единого события* в цифрах, количествах, темпах или местах, что сегодня шутя делают электронные машины при социальных прогнозах, да только не марксизмом руководясь, но поражает марксизм своей экономико-механистической грубостью в попытках объяснить тончайшее человеческое существо и ещё более сложное миллионное сочетание людей — общество. Лишь корыстью одних, ослеплением других и жаждой верить у третьих можно истолковать этот жуткий юмор XX века: каким образом столь опороченное, столь провалившееся учение ещё имеет на Западе стольких последователей! У *нас-то* их меньше всего оста-

лось! *Мы-то*, отведавшие, только притворяемся поневоле...

Мы видели выше, что всеми жерновами, которые топят вас, наградил вас не ваш здравый смысл, а именно наследное дряхлое Передовое Учение. И коллективизацией. И национализацией мелких ремёсел и услуг (что сделало невыносимой жизнь рядовых граждан, но вы этого не ощущаете; что нагромоздило воровство и ложь даже в повседневной экономике — и вы бессильны). И необходимостью для великого интернационального замаха так раздувать военное развитие, что пущена в прорву вся внутренняя жизнь, и даже вот Сибирь освоить за 55 лет не нашлось времени. И помехами в промышленном развитии и перестройке технологии. И преследованием религии, очень важным для марксизма*, но бессмысленным и невыгодным для практических государственных руководителей: с помощью бездельников травить своих самых добросовестных работников, чуждых обману и воровству, — и страдать потом от всеобщего обмана и воровства. Для верующего его вера есть высшая ценность, выше той еды, которую он кладёт в желудок. Задумались ли вы: зачем же эти лучшие миллионы подданных вы отрешаете от родины? Вам как государственным руководителям это только вредно, а делаете вы это автоматически, механически, потому что марксизм навязывает вам так. Как навязывает он вам, руководителям сверхдержавы, давать отчёты о своих действиях каким-то далёким приезжим гостям — с другого полушария вождям невлиятельных, незначительных компартий, меньше всего озабоченных русской судьбой.

Воспитанным в марксизме кажется страшным такой шаг: вдруг начать жить без этой привычной

---

* Сергей Булгаков показал («Карл Маркс как религиозный тип», 1906), что атеизм есть главный вдохновляющий и эмоциональный центр марксизма, всё остальное учение уже наворачивалось вокруг него. Яростная вражда к религии — самое настойчивое в марксизме.

идеологии. Но тут, по сути, выбора не осталось, сами обстоятельства заставят сделать его, да может оказаться поздно. Национальным руководителям России в предвидении грозящей войны с Китаем всё равно придётся опираться на патриотизм, и только на него. Когда Сталин начинал такой поворот во время войны, вспомните! — никто даже не удивился, никто не зарыдал по марксизму, все приняли как самое естественное, наше, русское! Разумно же совершить перегруппировку сил перед великой опасностью — раньше, а не позже. Да этот отказ, только нерешительный, уже и начат у нас давно, ибо что такое «совмещение» марксизма с патриотизмом? — бессмыслица. Эти точки зрения можно «слить» только в общих заклинаниях, на любом же конкретном историческом вопросе эти точки зрения всегда противоположны. Это так явно, что Ленин в 1915 году даже декларировал: «мы — антипатриоты». И то было истинно, искренне. И все 20-е годы слово «патриот» у нас значило абсолютно то же самое, что «белогвардеец». И всё это письмо, которое я сейчас кладу перед вами, есть патриотизм — и *значит* отрицание марксизма. Марксизм, напротив, велит не осваивать Северо-Востока и оставить наших женщин с ломами и лопатами, но торопить и финансировать мировую революцию.

В ту минуту, когда уже будут стрелять первые пушки на советско-китайской границе, бойтесь оказаться в этой двойственной шаткости с недостатком и нечёткостью национального самосознания в нашей стране, — вы видите, как могучая Америка проиграла маленькому Северному Вьетнаму, как легко сдали нервы американского общества и молодёжи — именно потому, что в Соединённых Штатах очень слабое, невыявленное национальное самосознание. Не пропустите момент!

Шаг поначалу кажется трудным, а на самом деле вы очень скоро испытаете большое облегчение, отбросив эту никчемную ношу, облегчение всего государственного устройства, всех движений в руко-

водстве. Ведь эта идеология, доводя до острейшего конфликта наше внешнее положение, давно уже перестала помогать нам во внутреннем, как помогала в 20-е и 30-е годы. Всё в стране давно держится лишь на материальном расчёте и подчинении подданных, ни на каком идейном порыве, вы отлично знаете это. Сегодня эта идеология уже только ослабляет и связывает вас. Она захламляет всю жизнь общества, мозги, речи радио, печать — ложью, ложью, ложью. Ибо как же ещё мёртвому делать вид, что оно продолжает жить, если не пристройками лжи? Всё погрязло во лжи, и *все это знают* и в частных разговорах открыто об этом говорят, и смеются, и нудятся, а в официальных выступлениях лицемерно твердят то, «что положено», и так же лицемерно, со скукой читают и слушают выступления других, — сколько же уходит на это впустую энергии общества! И вы — открывая газеты или включая телевизор, — *вы сами* разве верите сколько-нибудь в искренность этих выступлений? Да давно уже нет, я уверен. А иначе — глухо ж вас отъединили от внутренней жизни страны.

Эта всеобщая обязательная, принудительная к употреблению ложь стала самой мучительной стороной существования людей в нашей стране — хуже всех материальных невзгод, хуже всякой гражданской несвободы.

И все эти арсеналы лжи, совсем и не нужные для нашей государственной устойчивости, привлекаются как налог в пользу Идеологии: связать, увязать происходящее, как оно течёт, и цепкую когтистую умершую Идеологию. Именно оттого, что наше государство по привычке, по традиции, по инерции всё ещё держится за эту ложную доктрину, за её ответвлённые заблуждения, — оно и нуждается сажать за решётку инакомыслящего. Потому что именно ложной идеологии нечем ответить на возражения, на протесты, кроме оружия и решётки.

Отпустите же эту битую идеологию от себя! Отдайте её вашим соперникам или куда она там тя-

нется, пусть она минует нашу страну как туча, как эпидемия, и пусть о ней заботятся и в ней разбираются другие, только не мы! И вместе с ней мы освободимся от необходимости наполнять всю жизнь ложью. Стяните, стряхните со всех нас эту потную грязную рубашку, на которой уже столько крови, что она не даёт дышать живому телу нации, крови тех 66 миллионов. На ней — вся ответственность за всё пролитое, убеждать ли мне вас, что надо поскорее скинуть её — и пусть подбирает, кто хочет.

Я вовсе не предлагаю вам принять другую крайность — преследовать или запрещать марксизм, даже спорить против него (с ним спорить скоро никто уже и не будет, из лени одной). Я только предлагаю вам — спастись от него самим, и спасти от него своё государственное устройство, и свой народ. А для этого только: лишить марксизм мощной государственной поддержки, и пусть он существует сам по себе, на своих ногах. И пусть его пропагандируют, защищают и внедряют беспрепятственно все желающие — но в свободное от работы время и *не на государственной зарплате*. То есть вся система агитпропа должна перестать оплачиваться из народных средств. У многочисленных работников агитпропа это ведь не может вызвать негодования или сопротивления? — новое положение освободит их от всяких обидных упрёков в возможной корысти, оно впервые даст им возможность по-настоящему доказать свою идейную убеждённость, свою искренность. И им должна быть только радостна эта двойная нагрузка? — в будни, в дневное время, принять на себя продуктивный труд для страны, производить реальные ценности (любой труд, какой бы они ни избрали взамен нынешнего, будет много продуктивнее, ибо их нынешний — нолевой, если не отрицательный), а по вечерам, по свободным дням и в отпуска посвятить свой досуг пропаганде любимого учения, бескорыстно наслаждаясь истиной. Ведь именно так поступают, например, верующие, да ещё под преследованием, — и считают себя духовно

удовлетворёнными. Какой будет замечательный слу чай — не говорю проверить, но — доказать искренность всех тех, кто десятилетиями агитировал всех нас.

7. А КАК ЭТО МОГЛО БЫ УЛОЖИТЬСЯ?

Сказавши всё это, я не забыл ни на минуту, что вы — крайние реалисты, на том и начат разговор. Вы — исключительные реалисты и не допустите, чтобы власть ушла из ваших рук. Оттого вы не допустите доброю волей двух- или многопартийную парламентскую систему у нас, вы не допустите реальных *выборов*, при которых вас могли бы не выбрать. И на основании реализма приходится признать, что это ещё долго будет в ваших силах.

Долго, но — не вечно.

Предложив диалог на основании реализма, должен и я сознаться, что из русской истории стал я противником всяких вообще революций и вооружённых потрясений, значит, и в будущем тоже: и тех, которых вы жаждете (не у нас), и тех, которых вы опасаетесь (у нас). Изучением я убедился, что массовые кровавые революции всегда губительны для народов, среди которых они происходят. И среди нашего нынешнего общества я совсем не одинок в этом убеждении. Всяким поспешным сотрясением смена нынешнего руководства (всей пирамиды) на других персон могла бы вызвать лишь новую уничтожающую борьбу и наверняка очень сомнительный выигрыш в качестве руководства.

В таком положении что ж остаётся н а м? Приводить утешительные соображения о зелености винограда. Аргументировать довольно искренно, что мы — не поклонники того буйного «разгула демократии», когда каждый четвёртый год политических деятелей и даже всей страны чуть не полностью ухлопывается на избирательную кампанию, на

угождение массе, и на этом многократно играют не только внутренние группировки, но и иностранные правительства; когда суд, пренебрегая обеспеченной ему независимостью, в угождение страстям общества объявляет невиновным человека, во время изнурительной войны выкравшего и опубликовавшего документы военного министерства. Что даже и в демократии устоявшейся видим мы немало примеров, когда её роковые пути избраны в результате эмоционального самообмана или случайного перевеса, даваемого крохотной непопулярной партией между двух больших, — и от этого ничтожного перевеса, никак не выражающего волю большинства (а и воля большинства не защищена от ложного направления), решаются важнейшие вопросы государственной, а то и мировой политики. Да ещё эти частые теперь примеры, когда любая профессиональная группа научилась вырывать себе лучший кусок в любой тяжёлый момент для своей нации, хоть вся она пропади. И уж вовсе оказались беспомощными самые уважаемые демократии перед кучкою сопливых террористов.

Да, конечно: свобода — нравственна. Но только до известного предела, пока она не переходит в самодовольство и разнузданность.

Так ведь и *порядок* — не безнравственен, устойчивый и покойный строй. Тоже — до своего предела, пока он не переходит в произвол и тиранию.

У нас в России, по полной непривычке, демократия просуществовала всего 8 месяцев — с февраля по октябрь 1917 года. Эмигрантские группы к-д и с-д, кто ещё жив, до сих пор гордятся ею, говорят, что им её загубили посторонние силы. На самом деле та демократия была именно *их* позором: они так амбициозно кликали и обещали её, а осуществили сумбурную и даже карикатурную, оказались не подготовлены к ней прежде всего сами, тем более была не подготовлена к ней Россия. А за последние полвека подготовленность России к демократии, к многопартийной парламентской системе, могла ещё

только снизиться. Пожалуй, внезапное введение её сейчас было бы лишь новым горевым повторением 1917 года.

Записывать ли нам себе в демократическую традицию — соборы Московской Руси, Новгород, ранее — казачество, сельский мир? Или утешиться, что и тысячу лет жила Россия с авторитарным строем — и к началу XX века ещё весьма сохраняла и физическое и духовное здоровье народа?

Однако выполнялось там важное условие: тот авторитарный строй имел, пусть исходно, первоначально, сильное нравственное основание — не идеологию всеобщего насилия, а православие, да древнее, семивековое православие Сергия Радонежского и Нила Сорского, ещё не издёрганное Никоном, не оказёненное Петром. С конца московского и весь петербургский период, когда то начало исказилось и ослабло, — при внешних кажущихся успехах государства авторитарный строй стал клониться к упадку и погиб.

Но и русская интеллигенция, больше столетия все силы клавшая на борьбу с авторитарным строем, — чего же добилась с огромными потерями и для себя и для простого народа? Обратного конечного результата. Так, может быть, следует признать, что для России этот путь был неверен или преждевременен? Может быть, на обозримое будущее, хотим мы этого или не хотим, назначим так или не назначим, России всё равно суждён авторитарный строй? Может быть, только к нему она сегодня созрела?..

Всё зависит от того, *какой* авторитарный строй ожидает нас и дальше. Невыносима не сама авторитарность, но — навязываемая повседневная идеологическая ложь. Невыносима не столько авторитарность — невыносимы произвол и беззаконие, непроходимое беззаконие, когда в каждом районе, области или отрасли — один властитель и всё вершится по его единой воле, часто безграмотно и жестоко. Авторитарный строй совсем не означает,

что законы не нужны или что они бумажны, что они не должны отражать понятия и волю населения. Авторитарный строй — не значит ещё, что законодательная, исполнительная и судебная власти не самостоятельны ни одна и даже вообще не власти, но все подчиняются телефонному звонку от единственной власти, утвердившей сама себя. Я напомню, что *советы*, давшие название нашему строю и просуществовавшие до 6 июля 1918 года, никак не зависели от Идеологии — будет она или не будет, но обязательно предполагали широчайший с о в е т всех, кто трудится.

Остаёмся ли мы на почве реализма или переходим в мечтания, если предложим восстановить хотя бы реальную власть советов? Не знаю, что сказать о нашей конституции, с 1936 года она не выполнялась ни одного дня и потому не кажется способной жить. Но может быть — и она не безнадёжна?

Оставаясь в рамках жестокого реализма, я не предлагаю вам менять удобного для вас размещения руководства. Совокупность всех тех, от верху до низу, кого вы считаете действующим и желательным руководством, переведите, однако, в систему советскую. А впредь от того любой государственный пост пусть не будет прямым следствием партийной принадлежности, как сейчас. Освободите и свою партию от упрёков, что люди получают партийные билеты для карьеры. Дайте возможность некоторым работящим соотечественникам тоже продвигаться по государственным ступеням и *без* партийного билета — вы и работников получите хороших и в партии останутся лишь бескорыстные люди. Вы, конечно, не упустите сохранить свою партию как крепкую организацию единопособников и конспиративные от масс («закрытые») свои отдельные совещания. Но, расставшись с Идеологией, лишь бы отказалась ваша партия от невыполнимых и ненужных нам задач мирового господства, а исполнила бы национальные задачи: спасла бы нас от войны с Китаем

и от технологической гибели. Эти задачи и благородны и выполнимы.

Не должны мы руководиться соображениями политического гигантизма, не должны замышлять о судьбах других полушарий, от этого надо отказаться навек, это наверняка всё лопнет, другие полушария и тёплые океаны будут развиваться всё равно без нас, по-своему, и тем никто из Москвы не управит, и того никто не предскажет даже в 1973 году, а тем более Маркс из 1848-го. Руководить нашей страной должны соображения внутреннего, нравственного, здорового развития народа, освобождения женщины от каторги заработков, особенно от лома и лопаты, исправления школы, детского воспитания, спасения почвы, вод, всей русской природы, восстановления здоровых городов, освоения Северо-Востока — и никакого Космоса, и никаких всемирно-исторических завоеваний и придуманных интернациональных задач: другие народы ничуть не глупее нас, а есть у Китая лишние деньги и дивизии — пусть пробует.

Учил нас Сталин — и вас и всех нас, что *благодушие* есть «величайшая опасность», то есть добрая душа правителей — величайшая опасность! Это нужно было ему так для его замысла — уничтожать миллионы подданных. Но если у вас нет этой цели — так отречёмся от его проклятой заповеди! Пусть авторитарный строй, — но основанный не на «классовой ненависти» неисчерпаемой, а на человеколюбии — и не к близкому своему окружению, но искренне — ко всему своему народу. И самый первый признак, отличающий этот путь, — великодушие, милосердие к узникам. Оглянитесь и ужаснитесь: с 1918 по 1954 год и с 1958 посегодня *ни один человек* не был у нас освобождён из заключения движением доброй души! Если кого и выпускали изредка, то по голому политическому расчёту: насколько уже сломлен духом или насколько нестерпимо давит мировая общественность. Уж конечно

придётся отказаться навек от психиатрического насилия, и от негласных судов, и от того жестокого безнравственного мешка лагерей, где провинившихся и оступившихся калечат дальше и уничтожают.

Чтобы не задохнулись страна и народ, чтобы они имели возможность развиваться и обогащать вас же идеями, свободно допустите к честному соревнованию — не за власть! за истину! — все идеологические и все нравственные течения, в частности все религии, — их некому будет преследовать, если их гонитель марксизм лишится государственных привилегий. Но допустите честно, не так, как сейчас, не подавляя в немоте, допустите их с молодёжными духовными организациями (не политическими совсем), допустите их с правом воспитывать и учить детей, с правом свободной приходской деятельности. (Сам я не вижу сегодня никакой живой духовной силы, кроме христианской, которая могла бы взяться за духовное исцеление России. Но я не прошу и не предлагаю ей льгот, а только: честно — не подавлять.) Допустите свободное искусство, литературу, свободное книгопечатание — не политических книг, Боже упаси! не воззваний! не предвыборных листовок — но философских, нравственных, экономических и социальных исследований, ведь это всё будет давать богатый урожай, плодоносить — в пользу России. Такая свободная колосьба мыслей быстро избавит вас от необходимости все новые идеи с запозданием переводить с западных языков, как это происходит все полвека, вы же знаете.

Чего вам опасаться? Неужели это так страшно? Неужели вы так не уверены в себе? У вас остаётся вся неколебимая власть, отдельная сильная замкнутая партия, армия, милиция, промышленность, транспорт, связь, недра, монополия внешней торговли, принудительный курс рубля, — но дайте же народу дышать, думать и развиваться! Если вы сердцем принадлежите к нему — для вас и колебания не должно быть!

А ещё ведь и такая потребность бывает в человеческой душе — искупление прошлого?..

Покажется, что я уклонился с первоначальной платформы реализма? Но я напомню исходное предположение: что вы не чужды отцам, дедам и русским просторам. Но я повторяю вышесказанное: мудро прислушаться к советам раньше крайней необходимости.

Вы можете с негодованием или смехом отбросить соображения какого-то одиночки, писателя. Но с каждым годом то же самое будет настойчиво предлагать вам жизнь — по разным поводам, в разное время, с разными формулировками, — но именно это. Потому что это осуществимый *плавный* путь спасения нашей страны, нашего народа.

И — вас самих, кстати. Ведь наступит грозный час — и вы опять воззовёте к этому народу, не к мировому коммунизму. И даже ваша судьба — *даже ваша*! — будет зависеть от н а с.

Конечно, такие решения не принимаются в неделю. Но сейчас вы имеете возможность совершить этот переход спокойно — хоть в три года, хоть в пять, хоть, со всем процессом, и в десять. Лишь бы начать — уже сейчас, лишь бы решиться — уже сейчас. Потом жизнь выставит требования и неотложней, и резче.

Ваше заветное желание — чтобы наш государственный строй и идеологическая система не менялись и стояли вот так веками. Но так в истории не бывает. Каждая система или находит путь развития или падает.

Невозможно вести такую страну, исходя из злободневных нужд: в 1942 году осуждать Неру как клику за его национально-освободительное движение (подрывал военные усилия наших союзников англичан), в 1956 году лобызаться с ним. И то же с Тито, и со многими, многими. Вести такую страну — нужно иметь национальную линию и постоянно ощущать за своими плечами все 1100 лет её истории, а не только 55 лет, 5 % её.

Вы заметите, конечно, что это письмо не преследует никаких личных целей. Я из вашей скорлупы вырос уже всё равно, написанные мною вещи будут всё равно напечатаны, помимо вашего дозволения или запрета. Всё, что я сказал, — я уже сказал. Мне — тоже 55 лет, и я, кажется, доказал многими своими шагами, что не дорожу материальными благами и готов пожертвовать жизнью. Для вас такой тип жизнеощущения необычен — но вот вы наблюдаете его.

Этим письмом я тоже беру на себя тяжёлую ответственность перед русской историей. Но не взять на себя поиска выхода, но ничего не предпринять — ответственность ещё бо́льшая.

А. Солженицын

5 сентября 1973
Москва

ЖИТЬ НЕ ПО ЛЖИ!

Когда-то мы не смели и шёпотом шелестеть. Теперь вот пишем и читаем Самиздат, а уж друг другу-то, сойдясь в курилках НИИ, от души нажалуемся: чего только *они* не накуролесят, куда только не тянут нас! И ненужное космическое хвастовство при разорении и бедности дома; и укрепление дальних диких режимов; и разжигание гражданских войн; и безрассудно вырастили Мао Цзедуна (на наши средства) — и нас же на него погонят, и придётся идти, куда денешься? и судят, кого хотят, и здоровых загоняют в умалишённые — всё «они», а мы — бессильны.

Уже до донышка доходит, уже всеобщая духовная гибель насунулась на всех нас, и физическая вот-вот запылает и сожжёт и нас, и наших детей, — а мы по-прежнему всё улыбаемся трусливо и лепечем косноязычно:

— А чем же мы помешаем? У нас нет сил.

Мы так безнадёжно расчеловечились, что за сегодняшнюю скромную кормушку отдадим все принципы, душу свою, все усилия наших предков, все возможности для потомков — только бы не расстроить своего утлого существования. Не осталось у нас ни твёрдости, ни гордости, ни сердечного жара. Мы даже всеобщей атомной смерти не боимся, третьей мировой войны не боимся (может, в щёлочку спрячемся), — мы только боимся шагов гражданского мужества! Нам только бы не оторваться от стада, не сделать шага в одиночку — и вдруг оказаться без белых батонов, без газовой колонки, без московской прописки.

Уж как долбили нам на политкружках, так в

нас и вросло, удобно жить, на весь век хорошо: *среда*, социальные условия, из них не выскочишь, бытие определяет сознание, мы-то при чём? мы ничего не можем.

А мы можем — в с ё! — но сами себе лжём, чтобы себя успокоить. Никакие не «они» во всём виноваты — м ы с а м и, только м ы!

Возразят: но ведь действительно ничего не придумаешь! Нам закляпили рты, нас не слушают, не спрашивают. Как же заставить *их* послушать нас?

Переубедить их — невозможно.

Естественно было бы их переизбрать! — но перевыборов не бывает в нашей стране.

На Западе люди знают забастовки, демонстрации протеста, — но мы слишком забиты, нам это страшно: как это вдруг — отказаться от работы, как это вдруг — выйти на улицу?

Все же другие роковые пути, за последний век отпробованные в горькой русской истории, — тем более не для нас, и вправду — не надо! Теперь, когда все топоры своего дорубились, когда всё посеянное взошло, — видно нам, как заблудились, как зачадились те молодые, самонадеянные, кто думали террором, кровавым восстанием и гражданской войной сделать страну справедливой и счастливой. Нет, спасибо, отцы просвещения! Теперь-то знаем мы, что гнусность методов распложается в гнусности результатов. Наши руки — да будут чистыми!

Так круг — замкнулся? И выхода — действительно нет? И остаётся нам только бездейственно ждать: вдруг случится что-нибудь с а м о?

Но никогда оно от нас не отлипнет с а м о, если все мы все дни будем его признавать, прославлять и упрочнять, если не оттолкнёмся хотя б от самой его чувствительной точки.

От — лжи.

Когда насилие врывается в мирную людскую жизнь — его лицо пылает от самоуверенности, оно так и на флаге несёт, и кричит: «Я — Насилие! Разойдись, расступись — раздавлю!» Но насилие

быстро стареет, немного лет — оно уже не уверено в себе, и, чтобы держаться, чтобы выглядеть прилично, — непременно вызывает себе в союзники Ложь. Ибо: насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может держаться только насилием. И не каждый день, не на каждое плечо кладёт насилие свою тяжёлую лапу: оно требует от нас только покорности лжи, ежедневного участия во лжи — и в этом вся верноподданность.

И здесь-то лежит пренебрегаемый нами, самый простой, самый доступный ключ к нашему освобождению: *личное неучастие во лжи*! Пусть ложь всё покрыла, пусть ложь всем владеет, но в самом малом упрёмся: пусть владеет *не через меня*!

И это — прорез во мнимом кольце нашего бездействия! — самый лёгкий для нас и самый разрушительный для лжи. Ибо когда люди отшатываются ото лжи — она просто перестаёт существовать. Как зараза, она может существовать только на людях.

Не призываемся, не созрели мы идти на площади и громогласить правду, высказывать вслух, что́ думаем, — не надо, это страшно. Но хоть откажемся говорить то, чего *не* думаем!

Вот это и есть наш путь, самый лёгкий и доступный при нашей проросшей органической трусости, гораздо легче (страшно выговорить) гражданского неповиновения по Ганди.

Наш путь: *ни в чём не поддерживать лжи сознательно*! Осознав, где граница лжи (для каждого она ещё по-разному видна), — отступиться от этой гангренной границы! Не подклеивать мёртвых косточек и чешуек Идеологии, не сшивать гнилого тряпья — и мы поражены будем, как быстро и беспомощно ложь опадёт, и чему надлежит быть голым — то явится миру голым.

Итак, через робость нашу пусть каждый выберет: остаётся ли он сознательным слугою лжи (о, разумеется, не по склонности, но для прокормления семьи, для воспитания детей в духе лжи!), или пришла ему пора отряхнуться честным человеком, до-

стойным уважения и детей своих и современников. И с этого дня он:

— впредь не напишет, не подпишет, не напечатает никаким способом ни единой фразы, искривляющей, по его мнению, правду;

— такой фразы ни в частной беседе, ни многолюдно не выскажет ни от себя, ни по шпаргалке, ни в роли агитатора, учителя, воспитателя, ни по театральной роли;

— живописно, скульптурно, фотографически, технически, музыкально не изобразит, не сопроводит, не протранслирует ни одной ложной мысли, ни одного искажения истины, которое различает;

— не приведёт ни устно, ни письменно ни одной «руководящей» цитаты из угождения, для страховки, для успеха своей работы, если цитируемой мысли не разделяет полностью или она не относится точно сюда;

— не даст принудить себя идти на демонстрацию или митинг, если это против его желания и воли; не возьмёт в руки, не подымет транспаранта, лозунга, которого не разделяет полностью;

— не поднимет голосующей руки за предложение, которому не сочувствует искренне; не проголосует ни явно, ни тайно за лицо, которое считает недостойным или сомнительным;

— не даст загнать себя на собрание, где ожидается принудительное, искажённое обсуждение вопроса;

— тотчас покинет заседание, собрание, лекцию, спектакль, киносеанс, как только услышит от оратора ложь, идеологический вздор или беззастенчивую пропаганду;

— не подпишется и не купит в рознице такую газету или журнал, где информация искажается, первосущные факты скрываются.

Мы перечислили, разумеется, не все возможные и необходимые уклонения ото лжи. Но тот, кто станет очищаться, — взором очищенным легко различит и другие случаи.

Да, на первых порах выйдет не равно. Кому-то на время лишиться работы. Молодым, желающим жить по правде, это очень осложнит их молодую жизнь при начале: ведь и отвечаемые уроки набиты ложью, надо выбирать. Но и ни для кого, кто хочет быть честным, здесь не осталось лазейки: никакой день никому из нас даже в самых безопасных технических науках не обминуть хоть одного из названных шагов — в сторону правды или в сторону лжи; в сторону духовной независимости или духовного лакейства. И тот, у кого недостанет смелости даже на защиту своей души, — пусть не гордится своими передовыми взглядами, не кичится, что он академик или народный артист, заслуженный деятель или генерал, — та́к пусть и скажет себе: я — быдло и трус, мне лишь бы сытно и тепло.

Даже этот путь — самый умеренный изо всех путей сопротивления — для засидевшихся нас будет нелёгок. Но насколько же легче самосожжения или даже голодовки: пламя не охватит твоего туловища, глаза не лопнут от жара, и чёрный-то хлеб с чистой водою всегда найдётся для твоей семьи.

Преданный нами, обманутый нами великий народ Европы — чехословацкий — неужели не показал нам, как даже против танков выстаивает незащищенная грудь, если в ней достойное сердце?

Это будет нелёгкий путь? — но самый лёгкий из возможных. Нелёгкий выбор для тела, — но единственный для души. Нелёгкий путь, — однако есть уже у нас люди, даже десятки их, кто годами выдерживает все эти пункты, живёт по правде.

Итак: не первыми вступить на этот путь, а — присоединиться! Тем легче и тем короче окажется всем нам этот путь, чем дружнее, чем гуще мы на него вступим! Будут нас тысячи — и не управятся ни с кем ничего поделать. Станут нас десятки тысяч — и мы не узнаем нашей страны!

Если ж мы струсим, то довольно жаловаться, что кто-то нам не даёт дышать — это мы сами себе не даём! Пригнёмся ещё, подождём, а наши братья би-

ологи помогут приблизить чтение наших мыслей и переделку наших генов.

Если и в *этом* мы струсим, то мы — ничтожны, безнадёжны, и это к нам пушкинское презрение:

К чему стадам дары свободы?
. . . .
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

12 февраля 1974

НА ЗАПАДЕ

1974-1993

СЛОВО ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЕ КЛИШЕ»

Союза итальянских журналистов

Цюрих, 31 мая 1974

Ознакомясь с принципами, согласно которым ваша премия присуждается Союзом итальянских журналистов уже 11-й год и вот сегодня мне, я, разумеется, не только выражаю вам благодарность, но не свободен и от чувства гордости, видя столь достойных и мужественных людей в числе моих предшественников, в том числе — совокупно всю пражскую молодёжь 1968 года.

Те, кто передают сегодня эту премию, и тот, кто её сегодня получает, прожили свою жизнь как будто в разных половинах планеты, разных мирах, разных системах, о которых говорят, что они разделены пропастью, во всём противоположны и исключают друг друга. Однако если бы это было так, то не нашлось бы между нами единых ценностей, которые подали бы вам мысль присудить мне эту премию. А если такие ценности нашлись, то, быть может, мы можем выработать и общий взгляд на происходящее в сегодняшнем мире и даже открыть друг во друге сходное направление наших чаяний и усилий.

Примитивное разделение мира на две системы является суждением *политическим,* а значит весьма посредственного уровня. Все вообще политические приёмы есть операции с готовыми нравственными (или безнравственными) данностями, лежат на невысоком уровне человеческого сознания и бытия, обрываются и меняются за короткие периоды, при каждой смене ситуации. Страстными политическими ярлыками мы больше вводимся в заблуждение, чем вникаем в состояние сегодняшнего мира. Если же мы хотим охватить истинную суть положения чело-

вечества сегодня, степень безнадёжности его и степень надежды, — а пресса в своих высших задачах тоже не может не иметь в виду этой цели, — нам не избежать подняться много выше, чем политические характеристики, формулировки и рецепты.

И тогда мы увидим, быть может, хотя это не окажется более отрадно, что главная опасность не в том, что мир расколот на две альтернативные социальные системы, а в том, что *обе* системы поражены пороком, и даже *общим,* и потому ни одна из систем при её нынешнем миропонимании не обещает здорового выхода. Через все случайности конкретного развития отдельных стран и за несколько веков этот порок органически пророс в современное человечество, и на большой дистанции мы можем его проследить.

Мы — все мы, всё цивилизованное человечество, — посаженные на одну и ту же жёстко связанную карусель, совершили долгий орбитальный путь. Как детишкам на карусельных конях, он казался нам нескончаемым — и всё вперёд, всё вперёд, нисколько не вбок, не вкривь. Этот орбитальный путь был: Возрождение — Реформация — Просвещение — физические кровопролитные революции — демократические общества — социалистические попытки. Этот путь не мог не совершиться, коль скоро Средние Века когда-то не удержали человечества, оттого что построение Царства Божьего на Земле внедрялось насильственно, с отобранием существенных прав личности в пользу Целого. Нас тянули, гнали в Дух — насилием, и мы рванули, нырнули в Материю, тоже неограниченно. Так началась долгая эпоха гуманистического индивидуализма, так начала строиться цивилизация на принципе: человек — мера всех вещей, и человек превыше всего.

Весь этот неизбежный путь весьма обогатил опыт человечества, но вот на наших глазах и он подошёл к исчерпанию: ошибки в основных положениях, не оцененные в начале пути, ныне мстят за себя. Поставив высшею мерой всех вещей человека, со всеми

его недостатками и жадностью, отдавшись Материи неумеренно, несдержанно, — мы пришли к засорению, к изобилию мусора, мы тонем в земном мусоре, этот мусор заполняет, забивает все сферы нашего бытия. В сфере материальной этот мусор уже всем слишком заметен, он отравил воздух, воду, освоенную часть земной поверхности, уже захламляет и неосвоенную; он так же безобразно наградил наши могучие производственные усилия, как в жизни отдельных людей повседневно самые заманчивые рекламы, упаковки и пластмассы обращаются в изобильный мусор городской. Но и в сфере так называемой духовной этот мусор забивает нас, давит нас — тяжёлыми объёмами, не могущими вместиться в наши глаза, уши, груди, втолакиванием звонких всеобщих, как будто всем ясных, а на деле беспомощных плоских идей, ложной наукой, жеманным искусством, — всем, что не знает над собою ответственности выше, чем Человек, то есть ты, я и люди по нашей склонности. Гремливая цивилизация совершенно лишила нас сосредоточенной внутренней жизни, вытащила наши души на базар — партийный или коммерческий. В сфере социальной наш многовековый путь привёл нас в одних случаях на край анархии, в других — к стабильной деспотии. Между этими двумя грозными исходами на наших глазах становятся немощными, бесправными одно за другим демократические правительства — оттого что малые и большие соединения людей не желают самоограничиться в пользу Целого. Это понимание, что должно же быть нечто Целое, Высшее, где-то разроненное нами, когда-то полагавшее предел нашим страстям и безответственности, — это понимание чутко сторожится современными жестокими тираниями и вовремя выставляется под названием Социализма. Но — обман вывески, неисследованность термина: полстолетия достаточно показали, что и там мы массами унавоживаем благоденствие малых групп людей — и притом самых ничтожных, мусорных.

Оттого и орбитален оказался путь, что из власти насилия вырвались мы и во власть насилия вернулись — ещё не все пока, но скоро грозит и всем, при общей болезни ослабнувшей воли и потерянной перспективе. Орбита грозит унизительно замкнуться.

Как нам видится, цивилизованное человечество подошло сейчас к повороту мировой истории (жизни, быта и миропонимания), по значению такому же, как от Средних Веков к Новому Времени, — если только по беспечности и по упадку духа мы не пропустим этого поворота. Именно ваша страна, Италия, была некогда первой страною мира, приоткрывшей нам прежний исторический поворот. Быть может, теперь вы из первых же и ощущаете бездны нашего нынешнего положения и, по вашей чуткости, поможете нам найти те формы, которые облегчили бы нам перейти на орбиту более высокого уровня, на которой мы научимся соблюдать достойную гармонию между нашей природой физической и природой духовной. Найдём в себе душевную высоту заново открыть, что человек — не венец вселенной, а есть над ним — Высший Дух.

По угрожающим темпам сегодняшней жизни — времени на осмысление и осуществление этого поворота у нас остаётся несравненно меньше, чем отпускалось его в неторопливом теченьи XIV или XVI веков. А при всём кровавом опыте минувших столетий — и самый выбор форм преобразования должен быть тоньше и выше: мы научились уже, что физическим сотрясением государств, что насильственными переворотами открывается путь не в светлое будущее, а в худшую гибель, в худшее насилие. Что если и суждены нам впереди революции спасительные, то они должны быть революциями н р а в с т в е н н ы м и, то есть неким новым феноменом, который нам предстоит ещё открыть, разглядеть и осуществить.

ТРЕТЬЕМУ СОБОРУ ЗАРУБЕЖНОЙ РУССКОЙ ЦЕРКВИ

Ваши Высокопреосвященства,
Ваши Преосвященства, Досточтимые Отцы,
Милостивые государи!

Высокопреосвященнейший митрополит Филарет выразил желание, чтобы я обратился к вам со своими соображениями, как и чем может неугнетённая часть русской православной Церкви помочь её угнетённой пленённой части. Сознавая свою неподготовленность к выступлению по церковному вопросу перед собранием священнослужителей и иерархов, посвятивших служению Церкви всю свою жизнь, я, однако, и не смею уклониться от своего долга, лишь прошу о снисхождении к моим возможным ошибкам в терминологии или в самой сути суждений.

Скорбная картина подавления и уничтожения православной Церкви на территории нашей страны сопровождала всю мою жизнь от первых детских впечатлений: как вооружённая стража обрывает литургию, проходит в алтарь; как беснуются вокруг пасхальной службы, вырывая свечи и куличи; одноклассники рвут нательный крестик с меня самого; как сбрасывают колокола наземь и долбят храмы на кирпичи. И хорошо я помню то предвоенное время, когда храмовая служба запрещена была уже почти повсюду в нашей стране, так что в моём полумиллионном городе не оставалось ни единого действующего храма. Это было через 13 лет после декларации митрополита Сергия, и так приходится признать, что та декларация не была спасением Церкви, но безоговорочной капитуляцией, облегчающей властям «плавное» глухое уничтожение её. Возрождение церковного существования ещё тремя годами позже отнюдь не было выполнением конкордата со стороны власти, но вызывалось бедствен-

ным положением последней: силой религиозной волны по стране, особенно от восстановления храмов в оккупированных областях, и необходимостью угодить западному общественному мнению. На самом же деле обманом были уступки и обещания 1943 года: вот прошло ещё 30 лет — и всё с той же несмирённой атеистической злобой власть гнёт и давит русскую Церковь и лишь в той мере терпит её — *думает*, что в той мере! — как нуждается в ней для политической декорации и вмешательства в дела Церкви международной.

Однако есть свой глубинный непредвидимый ход у многих явлений, тем более у духовных. Введенная Сталиным лишь как фишка в политической игре, Церковь — не как организация, но как духовное тело — стала набирать силу, не разрешённую властями и уже не полностью контролируемую. Расплохом города берут — говорит пословица. Таким расплохом была разгромлена и смята наша Церковь в 20-е годы — от сил, по своей лютой крайности слишком неожиданных тогдашнему благодушному населению. Правда, эта лютость преследований вызвала очищающую вспышку веры и жертвы, какой давно не знала русская Церковь, а может быть и мировая, — но те исповедники были уничтожены сплошь. Стойкое исповедание стоило свободы и жизни — и к разгару 30-х годов уже казалось, что из России навсегда изгнана не только храмовая служба с колоколами, но при последнем удушеньи и затаённая шепчущая молитва. Однако то, что могло удаться с первого наскока, сорвалось со второго: оказалось, что церковная масса уже не даёт разгромить себя так же и во второй раз. Мы, население, в коммунистической атмосфере тоже изрядно закалились и приспособились, о чём вы можете судить по многим общественным явлениям в нашей стране. Напротив, власть дряхлеет от года к году, всё более возлюбив имущество. То, что в 30-х годах казалось духовно-обречённой пустыней, сегодня зеленеет во многих местах и направлениях. Ещё со

свежим недавним опытом могу свидетельствовать вам: островками, отдалённо не похожими на советскую повседневность, советскую психологию, теплятся православные храмы в современном Советском Союзе. Жестоко разрежены эти храмы по лику страны, иногда и двести километров надо ехать для церковной требы, на рядовую службу уже не поедешь, просят других за себя подать поминанье и поставить свечку. Но и праздничное переполнение уцелевших церквей оборачивается против гонителей: при нынешнем охолощении веры на Западе — может быть нигде на Земле нет сейчас таких переполненных христианских храмов, как в СССР: негде положить земного поклона, перекреститься тесно, от этого ощущения вера отнюдь не слабеет. Чувствуя плечи друг друга, мы утверждаемся против гонений. Круг верующих ещё много шире, чем кому доступно и кто смеет посещать храмы. В Рязанской области, которую я наблюдал больше других, до 70 % младенцев окрещивается, несмотря на все запреты и преследования, а на кладбищах кресты всё больше вытесняют советские столбики со звездой и фотографией. Конечно, это еще далеко не разгорбленная Церковь: она пронизана доносителями на штатных должностях, ограничена во всех видах гражданских прав, её священники — под произволом атеистических самодуров, реально не существует приход и приходская деятельность, отрезаны пути христианского воспитания отрочества и юности, — но уже молодость сама своими ногами всё гуще приходит в храмы. И здесь не могу не сделать характернейшего сопоставления: 60 и 80 лет назад русская православная Церковь при полной поддержке могущественного государства, сама во всесилии и красе, была избегаема и подвержена насмешкам именно со стороны молодёжи и интеллигенции. Вспоминаю недавно умершего крупного деятеля советской культуры, который в юности на обязательном богослужении клал на сборные церковные блюда — окурки вместо монеток, вызы-

вая восхищённый смех гимназисток. Сегодня, напротив, интеллигенция и молодежь в Союзе, даже не разделяя веры, относятся к ней с достойным уважением, все насмешки свои и презрительное своё уклонение перенеся на господствующую коммунистическую идеологию. И сколько пламенных последователей было у воинствующего атеизма в 20-е годы, это я хорошо помню, тех самых, кто бесновался, задувая свечи и рубя топорами иконы, — ныне они рассыпались в прах, как и их Союз Воинствующих Безбожников, самые ярые нашли свою гибель на том же Архипелаге, где и верное священство, другие переменились, учение их лишилось всякой энергии, а Церковь пережила жестокости, которых, кажется, пережить невозможно, и вот стоит, хоть и далеко до своего естественного объёма, и вот крепится — если не организацией своей, то духом верующих и новообращённых.

Вот *такой* я вижу сегодняшнюю русскую Церковь в нашей стране и хотел бы предостеречь деятелей Зарубежной Церкви от ошибки дальнего зрения: считать эту многомиллионную нашу Церковь — «падшей», а ей противопоставлять некую «истинную», «потаённую», «катакомбную». Первые 15—20 лет советской власти, в разгул как будто побеждающих гонений, подобие катакомбной Церкви было, да: в тайных укрытиях моления травимых священников и гонимых верующих. Но течёт обычная жизнь, и большинство людей — не святые, а обычные. И вера и богослужение призваны сопровождать их обычную жизнь, а не требовать всякий раз сверхподвига. И если храм оказывается рядом и свечи его зажжены — то люди естественно тянутся туда. Я и сам знаком с иными такими женщинами, кто в 30-е годы перепрятывал батюшек и собирал тайные богослужения на квартирах, — сегодня эти женщины просто ходят в ближайший храм. А если где проявляется почитание молитвенных разорённых мест (у источника, на кладбище, тоже знаю такие под Рязанью), как бы взамен богослужения, —

то лишь по закрытости всех окружных храмов и полному отсутствию пастырей. Заблуждение — выводить из таких случаев существование тайной церковной организации как «всероссийского явления». Если власти вновь заколотят завтра все храмы до единого, катакомбные моления возникнут вновь, но на это и у власти уже энергии нет. Не надо сегодня образом катакомбной церкви подменять реальный русский православный народ. Не надо, как я замечаю в некоторых ваших публикациях, игнорировать, обходить умозаключением — самовозникший и самокрепнущий в нашей стране православный мир. Задача ваша сегодня гораздо сложней, многосоставней — но и *радостней!* — чем солидаризоваться только с таинственной, безгрешной, но и бестелесной катакомбой.

Нынешняя Церковь в нашей стране — пленённая, угнетённая, придавленная, но отнюдь не падшая! Она восстала на духовных силах, которыми, как видим, Господь не обделил наш народ. Её воскрешение и стояние я нисколько не приписываю, я уже сказал, верности программы митрополита Сергия Страгородского и его последователей. *Не их* помрачительным расчётам укрепить Христа ношением на груди отчеканенного ордена антихриста; или заманиванием беженцев в лагеря родины на смерть; или любой агитпропской клеветой о какой-нибудь «бактериологической войне, ведомой американцами»; *не их* малодушной капитуляцией и *не их* преступлениями восстановился корпус Христовой Церкви, — но так потекли исторические силы, выражающие Промысел Божий. Грехи покорности и предательства, допущенные иерархами, легли земной и небесной ответственностью на этих водителей, однако не распространяются на церковное туловище, на многочисленное доброискреннее священство, на массу молящихся в храмах — и *никогда* не могут передаться церковному народу, вся история христианства убеждает нас в этом. Если бы грехи иерархов перекладывались на верующих, то не была бы вечна

и непобедима Христова Церковь, а всецело зависела бы от случайностей характеров и поведений.

Но — и понять, и посочувствовать требует наша новейшая история. Я поклоняюсь памяти Патриарха Тихона. Какая новизна, неисследованность и тягота предожидала все разнообразные и несхожие шаги его в те бурные годы, которым по бурности не было равных за тысячу лет России: и когда он руку подымал с амвона для анафемы большевицким комиссарам; и когда терзался сомнениями в клещах бесстыжей игры Ленина и Троцкого с церковными ценностями: милосердие приводило к разгрому, а стойкость выглядела противохристианской; и когда для одоления наглых «обновленцев» допускал тон полупримирения с атеистической властью; и когда взвешивал меру разрешимых уступок. На плечи его легла тяжесть не только тех необычайных, ещё никем тогда не осознанных лет, но и тогда ж проявившееся бремя грехов предыдущей церковной русской истории. Внезапная смерть Патриарха (с большой вероятностью — чекистское убийство) лишь подтверждает праведность его линии. Таким же смертным подтверждением в тюрьмах ГПУ, на Соловках, в других лагерях и ссылке была отмечена правота тысяч священников, монахов, епископов и патриаршего местоблюстителя Петра. И кто преклоняется перед твёрдостью их, тот не может не оплакать ложную линию угодничества, начатую митрополитом Сергием (однако тоже ещё в обстановке, трудно постигаемой), а его последователями продлённую и даже раскатанную по наклонной вниз. Но и им легко ли было освоить, что не от их подписи зависит неуклонимое возрождение Церкви? что, напротив, *отказав* большевикам во всех уступках, они славней и успешней восставили б её?! Это теперь мы обучились, да и то не все, что людовраждебной силе, впервые вообще узнанной в XX веке и первыми нами, в России, недопустимо духовно подчиняться никогда ни на вершок: всегда — гибель. Под этой властью только твёрдостью мы добываем себе про-

стор, либо когда власть вынуждается обстоятельствами; из доброй милости мы никогда ещё не получили ничего. А последние годы таково в нашей стране расположение сил и слабостей, что Московская Патриархия могла бы *сама,* одной лишь непреклонностью своею, быть может с потерею нескольких должностей, — от многих пут и унижений решительно рассвободить нашу Церковь. Я и сегодня не смотрю иначе на предмет моего письма Патриарху Пимену в позапрошлом году. К освобождению ото лжи кого ж было призвать *первыми,* если не духовных отцов? Однако, пересеча государственную границу, я утерял право такое письмо повторить бы сегодня.

Пересеча границу, а прежде того лишь по смутной наслышке что-то знав о разногласиях зарубежных русских Церквей, — *здесь* по-новому изумляешься глубине нашего православного церковного разрознения, а значит глубине того кризиса, в который русская Церковь впала. *Там* — своё горе, *здесь* — своё.

Правда, мне тоже трудно себе уяснить пути водительства западных епархий московской юрисдикции: как это? — из сочувствия узникам, вместо того чтобы сбивать с них цепи — надевать такие же и на себя? из сочувствия к рабам склонять и свою выю под ярмо? из сочувствия ко лгущим в плену — поддерживать ту ложь на свободе? Если всё это — из преданности материнской Церкви, если все эти жертвы — для единства с ней, то это — ложно понятое единство, извращённая иллюзия, не вызывающая благодарности у меня как прихожанина Церкви пленённой: если они так едины и сочувственны с нами, то отчего ж ни движеньем не обороняют нас от нашего гнёта? отчего ж не выскажут внятно о происквливой низости, лживом коварстве всей государственной церковной политики, всех «комитетов по делам Церквей»?

Но чем оправдать несогласия *свободных* зарубежных русских православных Церквей друг с дру-

гом? Я смиренно повторю, с чего я начал эту речь: что я никакой специалист по церковным вопросам; я никогда не изучал каноники; и не могу сейчас вникнуть с подробностями в полувековую уже историю русских Церквей вне пределов родины. Но главные факты этого разрозненния знаю, и, мне кажется, каждая из спорящих Церквей имеет немалые канонические основания, и у каждой можно найти в них огрех (как и у самой Московской Патриархии с её пресеченной традицией). Прав канонически *безусловных,* безоговорочных не найдётся ни у кого, — а без того и не могла пережить русская Церковь эпоху таких непредвидимых сотрясений. Расчёты всяких строителей предусматривают действия обычных земных сил, а если раскололась сама земля, то нельзя ни упрекать их, ни сетовать на формулы. Я думаю, в т а к у ю эпоху канонические основания вообще должны были отступить на второй план перед *духом* каждой Церкви и верностью её исповедания. Но ни в подчинении безбожным силам, ни в сотрудничестве с ними, я думаю, никто здесь не обвинит Церковь, пошедшую от митрополита Евлогия, ни Американскую митрополию. И обе они возносят молитвы о страждущей русской Церкви и угнетённом нашем народе. И вместе с тем ни одну из спорящих трёх Церквей нельзя признать божественно безошибочной во всём объёме её деятельности. (Да кто из наших соотечественников за эти 60 лет, на родине или за рубежом, временами не питал иллюзий? не ошибался? не оступался?) Потому никто не обладает такой безусловностью, чтобы другую Церковь отлучить от Церкви единой.

Однако да не прогневается на меня ваш высокий Собор: и новоприбывшему, и невежественному, и слепцу, и юнцу ясно, что разрознение, дошедшее до запрета взаимного литургического и даже бытового общения священников! до отлучения прихожанина за то, что он помолился нашему Богу в *другой* церкви! до *отказа в причастии умирающему* христианину, если он не в точности «наш»! — сотря-

сает уже не только единство нашего православия, общую наследственность от Патриарха Тихона, но и саму христианственность нашу: одному ли молимся мы Христу? Тогда все молящиеся ныне по всей Руси — тем более отлучены и даже прокляты? А если нет, не погибли, — почему ж погибли прихожане Церквей «парижской» и Американской?

Прибредя от бедствий и жертв пленённой Церкви — чем же тогда возрадоваться в Церкви свободной? Какая опасность страшней для русского православия: внешний ли гнёт по захвату или внутренний распад по несогласию? О себе скажу: под первым я никогда не терял бодрости, второй привёл меня здесь в уныние. (И только то, может быть, успокаивает, что успел заметить по здешней пастве: она так же мало знает и так же мало отвечает за расхождение иерархов, как и *наша там.*) Как легко понять самоотверженное стояние Зарубежной Церкви против терзателей нашего народа (отчего так настойчиво они силились вас покорить или извести), — так невозможно понять и принять противостояния православных друг другу. Ведь тогда безнадёжно всё будущее русского православия?? — если не соединились в объёме малом, при сходном жизненном опыте, — насколько невозможно будет соединиться в объёме всеобщем, при разительном несходстве пережитого?

Вероятно, подробным изучением можно обнаружить много частных, особенных, даже личных, психологических и случайных мелких причин, которые неудачным нанизыванием углубляли и ожесточали начавшийся в Зарубежьи раскол. Но, загораживая всякий иной путь к добыче истины, восстаёт перед нами тяжёлый вопрос как воздвигнутый крест, и нет у нас душевного права увильнуть, обминуть, не ответить: да в Зарубежьи ли, только ли от ненормального эмигрантского положения проявился этот раскол? А не следствие ли он уже давно ослабленного, внутренне подорванного состояния русской православной Церкви? и если ослабленного, то *как давно?*

Моя жизнь уже много лет посвящена исследованию новейшей русской истории, точней: отчего совершилась уничтожающая революция, как текла она и остались ли пути к спасению России от этой гангрены? В ходе этой работы я обнаружил, что со всех сторон произведены извращения, сплетено немало легенд, приукрашивающих *свою* сторону. И я был бы непоследователен и без надежды узнать истину, если бы, освещая все искажения кряду, для иных сохранил бы щадящее исключение. Горько сказать, но одно из таких исторических искажений — представлять дореволюционную русскую Церковь как пребывающую в благосовершенстве, к которому и нужно снова подняться, всего лишь.

Нет, истина вынуждает меня сказать, что состояние русской Церкви к началу XX века, вековое униженное положение её священства, пригнетённость от государства и слитие с ним, утеря духовной независимости, а потому утеря авторитета в массе образованного класса, и в массе городских рабочих, и — самое страшное — поколебленность этого авторитета даже в массе крестьянства (сколько пословиц, высмеивающих священство, и как мало — в уваженье к нему!), — это состояние русской Церкви *явилось одной из главных причин необратимости революционных событий*. Если бы русская православная Церковь была бы в начале XX века духовно самостоятельна, здорова и мощна, то она имела бы авторитет и силу *остановить гражданскую войну*, властно поднявшись н а д воюющими сторонами, а не дав себя причислить приложением к одной из них. И здесь нет никакой фантазии: в истинно православном царстве н е м о ж е т разразиться такая истребительная война.

Увы, состояние русской православной Церкви к моменту революции совершенно не соответствовало глубине духовных опасностей, оскалившихся на весь наш век и на наш народ — первый в этой череде. Живые церковные силы, ведшие к спасительным реформам и к Собору, давимые самодовольным

государственным аппаратом и вязнущие в дремотном благодушии своих сослужителей, — не успели, настолько зримо не успели, что пушки красногвардейцев били по крышам и куполам заседающего Собора.

В этой краткой речи неуместно говорить подробнее о чертах нашей церковной недостойности перед ликом грозного 1917 года (но, может быть, судя о недостойности нынешней Московской Патриархии, мы внутренне вспомним, и кое-что сравним, объясним), да присутствующие здесь знают многое и помимо и больше меня, даже из личного опыта некоторые. Но я осмелюсь остановить внимание собравшихся ещё на другом — дальнем, трёхсотлетнем грехе нашей русской Церкви, я осмеливаюсь полнозвучно повторить это слово — г р е х е, ещё чтоб избегнуть употребить более тяжкое, — грехе, в котором Церковь наша — и весь православный народ! — *никогда не раскаялись,* а значит, грехе, тяготевшем над нами в 17-м году, тяготеющем поныне и, по пониманию нашей веры, могущем быть причиною кары Божьей над нами, неизбытой причиною постигнувших нас бед.

Я имею в виду, конечно, русскую инквизицию: потеснение и разгром устоявшегося древнего благочестия, угнетение и расправу над 12 миллионами наших братьев, единоверцев и соотечественников, жестокие пытки для них, вырывание языков, клещи, дыбы, огонь и смерть, лишение храмов, изгнание за тысячи вёрст и далеко на чужбину — их, никогда не взбунтовавшихся, никогда не поднявших в ответ оружия, стойких верных древле-православных христиан, их, кого я не только не назову раскольниками, но даже и старообрядцами остерегусь, ибо и мы, остальные, тотчас выставимся тогда всего лишь *новообрядцами.* За одно то, что они не имели душевной поворотливости принять поспешные рекомендации сомнительных заезжих греческих патриархов, за одно то, что они сохранили двуперстие, которым крестилась и вся наша Церковь семь сто-

летий, — мы обрекли их на эти гонения, вполне равные тем, какие отдали нам возместно атеисты в ленинско-сталинские времена, — и никогда не дрогнули наши сердца раскаянием! И сегодня в Сергиевом Посаде при стечении верующих идёт вечная неумолчная служба над мощами преподобного Сергия Радонежского, — но богослужебные книги, по которым молился святой, мы сожгли на смоляных кострах как дьявольские. И это непоправимое гонение — самоуничтожение русского корня, русского духа, русской целости — продолжалось 250 лет (не 60, как сейчас) — и могло ли оно не отдаться ответным ударом всей России и всем нам? За эти столетия иные императоры склонны были прекратить гонения верных подданных — но высшие иерархи православной Церкви нашёптывали и настаивали: гонения продолжать! 250 лет было отпущено нам для раскаяния, — а мы всего только и нашли в своём сердце: *простить гонимых,* простить *им,* как *мы* уничтожали их. Но и это был год, напомню, 1905-й — его цифры без объяснения сами горят как валтасарова надпись на стене.

(За эти же века с неоглядчивой щедростью теряли мы наших православных и по многочисленным сектам, а за советские десятилетия — даже самую чистую, ревностную, бесстрашную молодёжь, — и думаю, не всегда то была вина их своемыслия, а чаще — вина церковной закоренелости, вялости, равнодушия.)

Вот как глубоко, дальне и горькокоренне — наше церковное разрозднение, рассеяние и наша собственная вина в том, что постигло Россию. Вот сколько ещё объединений — шагов, ступеней, нагорий объединения — высится перед нами, чтоб могли мы собраться воистину в Единую Русскую Православную Церковь, к которой наконец смилуется Бог. Нашу самую древнюю ветвь я наблюдал в богослужениях и беседах менее года назад, в московских храмах, — и я свидетельствую вам о её поразительной стойкости в вере (и против государственного

угнетения — много стойче *нас!*) и о таком сохранении русского облика, речи и духа, какого уже и сыскать нельзя нигде больше на территории Советского Союза. И то, что видели мои глаза и слышали уши, никогда не даст мне признать всемолимое объединение русской Церкви законченным, пока мы не объединимся во взаимном прощении и с нашей самой исконной ветвью.

Так много ступеней нас ждёт — в высоту братства и любви, а мы и на самой низшей застигнуты в непонятном раздроблении — не веры, не оттенков веры или хотя бы обряда, но каких-то *юрисдикций* — мерзкое слово, которого не только не слышали мы из уст Христа, но представить нельзя на страницах священных книг.

После того как блистательный, неограниченный, ничем не сдержанный материальный *прогресс* привёл всё человечество в удручающий духовный тупик, лишь немного по-разному выраженный на Западе и на Востоке, я не вижу других здоровых путей для всего живого, для наций, для обществ, для всех людских соединений — и уж, конечно, тем более для Церквей, по самой их природе, — других путей, нежели *признание своих, а не чужих* грехов и ошибок; покаяния в них; движения и развития путём *ограничения* прежде всего самих себя. Этот выход — универсален, и нет оснований предлагать что-либо другое для русской православной Церкви — свободной или пленённой, за рубежом или на родине. Грехи столетий и десятилетий — на всех нас, ни у какого церковного течения, церковной организации нет чистоты от них: все мы есть Россия и все мы сделали её такой, какова она сегодня. В духе известных вам моих убеждений вы не сомневаетесь, конечно, что я отношусь с полным сочувствием к тому неуступчивому стоянию против атеистических насильников, которое вы избрали единожды и выдержали посегодня. Но загадочным образом всякое *стояние*, чтоб удержать свои позиции неискажёнными, должно *развиваться* во времени. И чуткое

развитие взглядов, оценок, практических решений ваших Соборов, поместных и архиерейских, могло бы, вероятно, сделать вашу деятельность много эффективнее и помочь насущнее общему возрождению русской Церкви.

Покажется, что я уклонился от первоначально заданного мне вопроса: как и чем может помочь свободная часть русской православной Церкви — её угнетённой части? На самом деле я посильно отвечаю на него.

Не припомню исключений: основные движения, которые решают будущее страны и народа, происходят всегда в метрополии, а не в диаспорах. (Такую плату платят все, избравшие изгнание: ослабляется их влияние на судьбу своей страны.) Итак, ожидаемое и, конечно, произойдущее освобождение и нашей Церкви и нашего народа тоже совершится — в метрополии, процессами внутренними, божественно-неисповедимыми, как всё сложное, не прогнозируемое самыми дальновидными умами. Но и формы, которые отольются или проступят тотчас после освобождения, тем менее доступны нашему прогнозу. Я очень бы предостерёг отдельных заносчивых мечтателей от такого ожидания, что освобождённый православный мир рухнет оземь и будет просить иерархию Зарубежной Церкви прийти и возглавить себя. Не человеческими весами взвесить, *кто кого* должен тут оказаться достоин по силе страданий, по силе раскаяния и по силе веры своей.

Чем же можно о т с ю д а т у д а помочь? Показать пример стойкости и непримиримости? — *отсюда туда?* — неубедительно. Единственно правильный путь — это путь к будущему слиянию всех ветвей русской Церкви. Учение, погубившее нашу страну, всё двигалось идеями последовательного разъединения. Поэтому восставить Россию может только объединение её физических и духовных сил. И соотечественники наши, кто находится за рубежом, но не перестаёт ощущать Россию как свою родину, — не ласковую память прошлого, но реальную родину

будущего, для своего потомства, — сегодня здесь ничем лучшим не могли бы послужить России, как сохранить в православии сокровище единства, как слить всё русское зарубежное православие в единую стройную дружную молодую Церковь.

Вот почему я осмелюсь сегодня использовать предоставленное мне слово перед Собором для призыва: всем, кто деятель, а не историк, кто хочет цели́ть и помочь, — твёрдо обратиться в будущее, а не в прошлое! Тогда отпадут и поблекнут до ничтожества причины, приведшие к неоправданному расколу русского православия за рубежом, и не будут далее искаться виновники того прошлого разделения. Отпадут расхождения недоразуменные, поверхностные, «юрисдикционные», не относящиеся к исповеданию веры. И если *структурное* объединение невозможно в короткий срок, как я понимаю, — то одним мановеньем, одним манифестом вот вашего Собора сейчас — возможно откинуть и призвать откинуть взаимную враждебность Церквей, декларировать нестеснённость литургического общения православных священников, ежели их Церкви заведомо не услужают безбожию. Я призываю вас подумать о той печальной картине, как привидится рядовому русскому православному на родине, когда откроется ему, что, на полной свободе и никем не преследуемое, православие непростительно раскололось.

Решения вашего Собора, увы, не могут определить хода развития и освобождения русской Церкви в метрополии, но они предопределят величину и полезность вклада и форму вашего будущего влияния на ту и в ту освобождённую Церковь.

Да само мечтаемое освобождение Церкви из-под диктата безбожия — разве единственная и высшая наша задача? Нынешний (он уже долгий, столетний уже) кризис Церкви значительно глубже, и тяжесть стоящих задач весомее. Не больше ли предусмотрительной мудрости и душевного мужества надо изыскать для исправления грехов, несправедливостей и ошибок застарелых, давних, сегодня уже не яв-

ных, — но каждая из них и все они вместе легли на лик русского Православия искажающими шрамами. Как восстановить Церковь, которая не пригнетёт никого из чад своих? Восстановить Церковь не как отрасль государственного управления, никакой (и самой лучшей) государственной власти духовно не подчинённую и ни с каким партийным направлением не связанную? Церковь, в которой расцветут лучшие замыслы наших несостоявшихся реформ, направленных лишь к возрождению чистоты и свежести первоначального христианства? Церковь, которая станет на ноги не сама для себя, но всей России поможет найти своеродный, своеобычный выход из духоты и темноты сегодняшнего мира?

Формы, которых мы должны достичь, — не восстановленные, не повторённые дореволюционные. Но такой высоты должны быть они явлены и так напоены сокровищем неувядаемого поиска, чтобы привлечь, увлечь, быть может, и Западный мир, охваченный сегодня духовной неутолённостью. Несравненная горечь русского опыта подаёт и такую надежду.

Повторяю и в окончании: я не мню себя призванным к решению церковных вопросов. Но доступно и каждому мирянину выговорить правду так, как она открывается ему, в надежде, что соборный разум и соборное сознание восполнят всё, недостающее ей.

Прошу у ваших архипастырей и пастырей благословения, у всех у вас — молитвы.

Александр Солженицын

Август 1974
Штерненберг, нагорье Цюриха

САХАРОВ И КРИТИКА «ПИСЬМА ВОЖДЯМ»

Ожидая выхода в свет сборника «Из-под глыб», я весь 1974 год воздерживался от ответов на изобильную критику моего «Письма вождям»: сам адрес «Письма» не допускал достаточно глубокого обоснования моих предложений, оно более обнаружится теперь в моих статьях Сборника. Критика, пришедшая от московской интеллигенции, больше всего, пожалуй, поражала не сама собою, а — холодным игнорированием другого, *одновременно* опубликованного документа и обращённого *прямо* к советской интеллигенции: «Жить не по лжи». Следовало или не следовало обращаться к советским правителям, «так» или «не так» было им предложено, откажутся или не откажутся они от идеологии, — это не имело решающего и единственного значения: был предложен второй и более верный путь, с *нашей* стороны: отшатнуться от идеологии нам, перестать нам поддерживать это злобное чучело — и оно рухнет помимо воли «вождей». Странно: этого призыва, обращённого прямо к нам, многословные московские критики моего «Письма» не заметили. По пословице: где просто, тут ангелов со́-сто, а где хитро, там ни одного.

Западная критика удивила другим: *непрочтением* «Письма». Начиная с поспешных и безответственных газетных заголовков, отзывались так, будто речь шла о каком-то другом документе, где предлагалось не самоограничение, а агрессия.

И не пришлось бы мне вовсе отвечать, если бы среди первых же критиков не оказался А. Д. Сахаров, чьё особенное положение в нашей стране и моё к нему глубокое уважение не дают возможности игнорировать его высказывания. Сегодня, уже имея в виду аргументацию сборника «Из-под глыб», я

считаю своим долгом и правом дополнительно кратко ответить Андрею Дмитриевичу.

Я счастлив отметить, что сегодня мы сходимся с ним несравненно по большему числу вопросов, чем это было 6 лет назад, когда мы познакомились в самые месяцы появления его меморандума. (Я хочу надеяться, что ещё через 6 лет область нашего совпадения удвоится.) Пункты нашего согласия уже отмечались в прессе, и среди главных тут (используя сахаровские формулировки): неудача социализма в России не вытекает из специфической «русской традиции», но из сути социализма; отказ от «социалистического мессианизма», от явной и тайной поддержки смут во всём мире; «отделение марксизма от государства»; прекращение опеки над Восточной Европой; отказ от насильственного удержания национальных республик; разоружение в широких пределах; освобождение политзаключённых, терпимость в идеологии; укрепление семьи, воспитания, покрытие «потерь во взаимоотношениях людей, в их душах».

Но есть и очень важные пункты расхождений, в которых нельзя оставить неясности. Главная из них — р о л ь И д е о л о г и и в СССР. Сахаров считает, что марксистская идеология почти не имеет влияния и значения: для правителей она лишь «удобный фасад», а в основе — только жажда власти, ни внешняя, ни внутренняя политика страны якобы вообще не определяются ею, общество «идеологически индифферентно», лишь «лицемерная болтовня заменяет присягу на верность».

И этого лицемерия — мало? Да красным электродом прожгло наши души черезо все 55 лет: черезо всю оплевательную «самокритику» 20-х и 30-х годов, публичные отречения от родителей и друзей, издевательски-надрывную «добровольность займов» (для нищих колхозников!), ликование народов по поводу того, что они оккупированы (день оккупации — национальный праздник!), ликование населения при известиях об арестах и расстрелах, сверх-

человеческую злодейскую твёрдость у палачей и сегодняшнюю обязательную мерзкую ложь, вот эту принудительную «присягу» — а ею интеллигенция-образованщина, втайне мечтая о свободе, послушно и поддерживает своё рабство. Всего несколько лет назад даже редакция «Нового мира», не говорю о множестве «передовых» НИИ, выразила печатный восторг по поводу оккупации Чехословакии, то есть надругалась над собственной многолетней линией, — и Идеология не имеет значения? Да завтра произойдёт ещё одно такое событие — и снова образованщина подтвердит своё высшее одобрение. Идеология выкручивает наши души как поломойные тряпки, она растлевает нас, наших детей, опускает нас ниже животного состояния — и она «не имеет значения»? Есть ли что более отвратительное в Советском Союзе? Если *все не верят* и все подчиняются — это указывает не на слабость Идеологии, но на страшную злую силу её.

И той же властной хваткой она ведёт наших правителей — от дореволюционных ленинских «Уроков Коммуны», что только массовыми расстрелами должна утверждаться пролетарская власть; от одержимо-ненавистного тайного ленинского письма о разгроме Церкви — и через реальное уничтожение *целых классов* и десятков миллионов разрозненных людей (какие властолюбцы для утверждения какой власти когда нуждались в таком стократном запасе прочности??), через коллективизацию, экономически бессмысленную, но заглотное приношение в идеологическую пасть (недавно хорошо показал Агурский: главной целью коллективизации было — сломить душу и древнюю веру народа), — и до избыточного, не нужного нам разлития азиатского коммунизма всё дальше на юг; до растоптания союзного чешского народа — не по государственным соображениям, а всего только из-за идеологической трещины. И сегодня правители, отравленные ядом этой Идеологии, неотвратимо шутовски твердят по шпаргалкам, хотя б сами не верили в то (пусть по-

нимая только *власть* — но и они рабы Идеологии), и безумно стремятся поджечь весь мир и захватить его, хотя это погубит и сокрушит их самих, хотя покойней было б им сидеть на захваченном, — но так гонит их Идеология! Вся внутренняя ложь и вся внешняя экспансия, и оправдание войн и убийств («прогрессивные» убийства при классово оправданных обстоятельствах целесообразны!), оправдание завтрашних войн — всё на этой Идеологии. И на её почти мистическом влиянии — полувековая восхищённая завороженность Запада, его приветствия нашим зверствам: никогда перед кучкой простых властолюбцев так бы не ослеп весь просвещённый мир.

Марксистская Идеология — зловонный корень сегодняшней советской жизни, и, только очистясь от него, мы можем начать возвращаться к человечеству.

Второе заметное расхождение между Сахаровым и мной: допустимость и реальность какого-нибудь иного пути развития нашей страны, кроме внезапного (и необъяснимо откуда) наступления полной демократии. Теоретические соображения об этом теперь можно найти в моей первой статье (дополнение 1973 года) сборника «Из-под глыб». Практическое обозрение истории и перспектив демократии в России требует отдельного рассмотрения на историческом материале. Как и во многих местах, мне фальшиво приписано вместо сомнений о внезапном введении демократии в сегодняшнем СССР — полное отвращение к демократии вообще. Я обратил бы внимание читателей снова на М. Агурского, кто в отзыве (Вестник РХД, № 112) на «Письмо вождям» ответственно пишет о величайшей опасности *межнациональных войн,* которые затопят кровью рождение у нас демократии, если оно произойдёт в отсутствие сильной власти. Межнациональные противоречия в итоге советской системы — десятикратно накалённее, чем были в прежней России. Этому вопросу в нашем Сборнике посвящена одна из статей

И. Шафаревича. А происхождение тоталитаризма отнюдь *не* из авторитарных систем, существовавших веками и никогда не дававших тоталитаризма, но — из кризиса демократии, из краха безрелигиозного гуманизма, прослежено ещё в одной статье нашего Сборника.

Наконец, существенное непонимание возникает между нами тогда, когда Сахаров, к моему удивлению, обвиняет меня в «великорусском национализме», и даже слово «патриотизм» относит к «арсеналу официозной пропаганды» (как и «православие» «настораживает его» — оттого что «Сталин допускал прирученное православие» — то есть *угнетал* его по своей программе). Меня, когда я предлагаю никого не угнетать, всех освободить, сосредоточиться на внутреннем лечении народных ран, — назвать националистом? Какое ж слово тогда для завоевателя? Можно было бы искать разгадку во всеобщей путанице терминов: империализм, нетерпимый шовинизм, надменный национализм и скромный патриотизм (любовь-служение своей нации и стране с откровенным раскаянием в её грехах, под это определение подходит и сам Сахаров). Но кто хорошо знает нынешнюю обстановку в советской общественной среде, тот согласится, что дело — не в путанице терминов, а в исключительной накалённости чувств. Когда в нобелевской лекции я сказал в самом общем виде:

> «Нации — это богатство человечества, это — обобщённые личности его, самая малая из них несёт свои особые краски, таит в себе особую грань Божьего замысла», —

это было воспринято всеобще-одобрительно: всем приятный общий реверанс. Но едва я сделал вывод, что это относится *также* и к русскому народу, что *также и он* имеет право на национальное самосознание, на национальное возрождение после жесточайшей духовной болезни, — это было с яростью объявлено великодержавным национализмом. Такова горячность — не лично Сахарова, но широкого слоя в

образованном классе, чьим выразителем он невольно стал. За русскими не предполагается возможности любить свой народ, не ненавидя других. Нам, русским, запрещено заикаться не только о национальном возрождении, но даже — о «национальном самосознании», даже оно объявляется опасной гидрой.

Теперь, когда вышел Сборник, я могу сослаться на высокую нравственную аргументацию В. Борисова, напоминающего нам о нации-личности в личностной иерархии христианского космоса, о том, что не историей создаются нации, но нации создают историю, на долгой жизни своей, то в свете, то во тьме, ища, как предельно-полно выразить свою личность. И подавление этой личности — величайший грех. (Для меня, как для писателя, тут ещё трепещет судьба я з ы к а: если подавлять национальное самосознание, то ведь надо и язык убивать как свидетеля национальной души? Да такое убийство русского языка и происходит уже десятилетиями в СССР.) Другой мой соавтор, М. Агурский, которого никак не обвинишь в пристрастии, указал недавно, что нынешний «национализм» большой нации есть её самозащита от собственной экспансии, которая истощает и приводит к вырождению прежде всего её самоё. Да, сегодня русский порыв к национальному самосознанию — есть оборонительный вопль тонущего народа. Не смотрите на внешние успехи государственной силы: как нация мы, русские, находимся в пучине гибели и ищем — есть ли ещё за что уцепиться и выбраться.

Особенно задело Сахарова и оскорбило единомыслящих с ним читателей мое выражение в «Письме»: «несравненные страдания, перенесенные русским и украинским народами». Я рад был бы, чтоб это выражение не имело оснований. Однако я хочу напомнить А. Д., что «ужасы Гражданской войны» далеко не «в равной степени» ударили по всем нациям, а именно по русской и украинской главным образом, это в *их* теле бушевала революция и сознательно-направленный большевицкий террор: боль-

шинство нынешних республик были в отпавшем состоянии, а остальные малые народы до поры щадились и поддерживались по тактике коммунизма, использовались против главного массива. Под видом уничтожения дворянства, духовенства и купечества уничтожались более всего русские и украинцы. Это *их* деревни более всего испытали разорение и террор от продотрядов (большей частью инородных по составу). Это на *их* территории было подавлено более 100 крупных крестьянских восстаний, в том числе обширные Тамбовское и Сибирское. Это *они* умирали в великие искусственные большевицкие голоды 1921 на Волге и 1931—1932 на Украине. Это в основном *их* загнали толпою в 10—15 миллионов умирать в тайгу под видом «раскулачивания». (Как и сейчас нет деревни беднее русской.) А уж русская культура была подавлена прежде и вернее всех: вся старая интеллигенция перестала существовать, эпидемия переименований катилась, как при оккупации, в печати позволено было глумиться и над русским фольклором, и над искусством Палеха, и от ленинской «шовинистической великорусской швали» родилась дальше волна беспрепятственных издевательств: «русопятство» считалось литературно-изящным термином, Россия печатно объявлялась призраком, трупом, и ликовали поэты:

Мы расстреляли толстозадую бабу Россию,
Чтобы по телу её пришёл Коммунизм-мессия.

(Если нужны библиографические уточнения, я их представлю публично.) И так вьюжило лет 15 — и никто нигде ни у нас, ни за границей не предположил и не обмолвился, что в Советском Союзе существует какое-либо «национальное угнетение». И лишь с конца 30-х годов, когда два наибольших народа были уже убиты и по социалистической переменчивой тактике (прекрасно вскрытой теперь И. Шафаревичем) пришло время перенести давление на малые народы, — только с этих пор услышали мы о национальном угнетении в СССР, что тоже совершенно верно.

Я не буду входить во второстепенные наши расхождения с А. Д. Сахаровым: о том, можно ли так верить в «научное и демократическое регулирование экономики», как верит он, но какое не осуществилось ещё даже в Европейском сообществе; в конвергенцию; в предпочтительную важность эмиграции перед всеми видами других прав остающегося населения; в расцвет России через приток иностранных капиталов (будто они будут искать нашего расцвета, а не своей короткой быстрой выгоды с пренебрежением к нашей природе). Я не буду возвращать ему упрёков в утопичности; в нашем беспомощном положении как не попытать порой и утопию?

Но нельзя не удивиться, что А. Д. Сахаров, севши мне отвечать, допустил большую небрежность в истолковании моей точки зрения. Он приписывает моему проекту: «замедление международных научных связей», «идеологический изоляционизм», «стремление отгородить нашу страну от торговли... от обмена людьми и идеями», «общинную организацию производства», «отдать ресурсы государства и результаты научных исследований... энтузиастам национально-религиозной идеи и создать им высокие доходы...» и т. д. Всякий, кто потрудится ещё раз перечитать моё «Письмо», убедится, что ничего подобного там нет.

Эта горячность и опрометчивость пера, не свойственная Сахарову, выразила горячность и поспешность того слоя, который без гнева не может слышать слов «русское национальное возрождение».

В нынешнем Сборнике разъяснено, *как* мы это возрождение понимаем: пройти свой путь раскаяния, самоограничения и внутреннего развития, внести свой вклад в добрые отношения между народами, без которых никакая «прагматическая дипломатия» и никакие ООНовские голосования не спасут человечество от гибели.

18 ноября 1974

СЛОВО НА НОБЕЛЕВСКОЙ ЦЕРЕМОНИИ

Стокгольм, 10 декабря 1974

Ваше Величество!
Ваши королевские Высочества!
Дамы и господа!

Много лауреатов выступало перед вами в этом зале, но, наверно, ни с кем не досталось Шведской Академии и Нобелевскому Фонду столько хлопот, сколько со мной. Один раз я уже здесь был, хотя и не во плоти; и один раз досточтимый Карл Рагнар Гиров уже направлялся ко мне; и вот наконец я приехал не в свою очередь занимать лишний стул. Четырем годам надо было пройти, чтобы дать мне слово на три минуты, а секретарь Академии вынужден обращаться к тому же писателю вот уже с третьей речью.

И потому я должен просить извинения, что так много забот доставил всем вам, и особо благодарить за ту церемонию 1970 года, когда ваш покойный король и вы все тепло приветствовали здесь пустое кресло.

Но согласитесь, что и лауреату это тоже не так просто: четыре года носить в себе трёхминутную речь. Когда я собирался ехать к вам впервые, не хватало никакого объема в груди, никаких листов бумаги для того, чтобы высказаться на первой свободной трибуне моей жизни. Для писателя подневольной страны первая же трибуна и первая речь есть речь обо всём на свете, о всех болях своей страны, — и при этом простительно забыть цель церемонии, состав собравшихся и влить горечь в стаканы торжества. Но с того года, не поехав сюда, я научился и у себя в стране говорить открыто почти всё, что я думаю. А изгнаньем оказавшись на Западе, тем более я приобрёл эту нестеснённую возможность

говорить сколько угодно, где угодно, чем здесь и не дорожат. И нет мне уже необходимости перегружать это короткое слово, к тому ж и в обстановке, совсем для того не подходящей.

Нахожу, однако, и особое преимущество в том, чтобы ответить на присуждение Нобелевской премии лишь через несколько лет. Например, за 4 года можно испытать, какую роль уже сыграла эта премия в твоей жизни. В моей — очень большую. Она помогла мне не быть задавленному в жестоких преследованиях. Она помогла моему голосу быть услышанному там, где моих предшественников не слышали и не понимали десятилетиями. Она помогла произвести вовне меня такое, чего б я не осилил без неё.

Со мной Шведская Академия совершила одно из исключений, довольно редких: присудила мне премию в среднем возрасте, а по моей открытой литературной деятельности — даже во младенческом, всего на 8-м году её. Для Академии тут крылся большой риск: ведь тогда была опубликована лишь малая часть написанных мною книг.

А может быть, лучшая задача всякой литературной и научной премии именно — содействовать движению на самом пути.

И я приношу Шведской Академии мою сердечную признательность за то, что она своим выбором 1970 года чрезвычайно поддержала мою писательскую работу. Осмелюсь поблагодарить её и от той обширной неказенной России, которой запрещено выражать себя вслух, которую преследуют и за написание книг и даже за чтение их. Академия выслушала много упрёков за это своё решение — будто такая премия служила политическим интересам. Но то выкрикивали хриплые глотки, которые никаких других интересов и не знают.

Мы же с вами знаем, что работа художника не укладывается в убогой политической плоскости, как и вся наша жизнь в ней не лежит и как не держать бы нам в ней наше общественное сознание.

ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ?..

После того как Первой Мировой войне наследовала Вторая, — у кого не возникало в уме и на устах, над кем не нависало: а не вспыхнет ли ещё и Третья?.. И сколько уступлено, сколько пожертвовано, чтоб отклонить, удалить, избежать её!

Но многие ли заметили, имеют мужество признать, что Третья Мировая война уже пришла, и уже почти прошла, вот кончается в этом году, — и уже проиграна свободным миром катастрофически?

Третья Мировая война началась немедленно за Второй, даже перекрывая её конец, она началась в 1945 году в Ялте под расслабленными перьями и ложными идеями Рузвельта и Черчилля, спешивших начать победу с уступок — Эстонии, Латвии, Литвы, Молдавии, Монголии, миллионов советских граждан, насильственно возвращаемых на смерть и в лагеря, созданием недееспособной Организации Объединённых Наций, отдачей во власть безграничного насилия — Югославии, Албании, Румынии, Болгарии, Польши, Венгрии, Чехословакии, Восточной Германии. Третью Мировую потому не узнали, что она вошла в мир не как прежние — не с посылки громогласных разрывных нот, не с налётов тысяч бомбардировщиков, — она вступила в мир вкрадчивой невидимкой, она ввинтилась в его рыхлое тело под псевдонимами — то демократических преобразований при 100 %-ном единодушии народа; то холодной войны; то мирного сосуществования; то — стабилизации положения; то — признания реальностей; то — разрядки; то — торговли (к усилению наступающего противника). В попытке любой

ценой избежать Третьей Мировой войны — Запад *именно ее* и впустил в мир, дал покорить, разорить два десятка стран и совершенно изменить вид Земли.

Когда теперь мы оглядываемся на эти 30 лет, — мы видим их как долгий извилистый спуск — только спуск, только вниз, только к ослаблению и упадку. Могущественные западные державы, победительницы в двух первых мировых войнах, в этот *мирный* 30-летний период только ослаблялись, только теряли союзников — реальных или возможных, роняли их уважение к себе, только отдавали беспощадному врагу — территории, население, великий многолюдный Китай — своего крупнейшего союзника во Второй Мировой войне, Северную Корею, Кубу, Северный Вьетнам, теперь и Южный, теперь и Камбоджу, вот на грани Лаос, Таиланд, Южная Корея, Израиль, в ту же пропасть уносится Португалия, бессильно ждут своей участи Финляндия, Австрия, не способные защищать себя и справедливо не надеясь на защиту со стороны. Уж не перечислить тут мелких стран Африки или Аравии, ставших марионетками коммунизма, и многих других, даже европейских, спешащих угодливым заискиванием продлить своё существование. И ООН, не только не удавшаяся, но самая дурная демократия Земли, игрушка безответственных сил, стала эстрадой для высмеивания Запада, отразила в себе это крутое падение мощи его.

Итак, если державы-победительницы превратились в держав побеждённых, отдавших в сумме столько стран и столько населения, сколько не отдавалось ни в одной капитуляции, ни в одной войне человеческой истории, — то не метафора сказать: Третья Мировая война — *уже была* — и закончилась поражением Запада.

Сегодня, когда расстрелом тысяч и тысяч, пленением миллионов и созданием новых необъятных концлагерей трагически кончается вьетнамская, самая видимая и самая долгая битва этой войны, не

так легко вспомнить, вообще устаивал ли Запад когда-нибудь где-нибудь за эти 30 лет? Оказывается — да, три давних случая было таких: Греция в 1947, Западный Берлин в 1949 и Южная Корея в 1950. Эти случаи внушали веру и надежду в Запад. Но прочтите все эти три названия сегодня: какое из этих мест имеет реальную силу выстоять дальше против порабощения? Кто защитит их в момент угрозы? какой сенат ратифицирует посылку им оружия и помощи? кто не предпочтёт своё спокойствие их свободе? Существует ли ещё Атлантический пакт, уже почти потерявший 4 страны? Когда отважный Израиль насмерть защищался вкруговую — Европа капитулировала поодиночке перед угрозой сократить воскресные автомобильные прогулки.

Ещё два-три таких славных десятилетия мирного сосуществования — и понятия «Запад» не останется на Земле.

Третья Мировая война вонзилась в самое податливое место Запада: в то свойство человеческой природы, что при благополучии хочется продолжать его любым самообманом и уступками. От этого и радость подписать всякое новое соглашение (как будто хоть одно выполнялось Советским Союзом дольше, чем оно было ему выгодным). Вот скоро на «конференции 35» стра́ны Западной Европы охотно увековечат рабство своих восточных сестёр — и будут мнить, что укрепили мир.

Я описал положение так, как оно ясно видится любому среднему человеку Востока, от Познани до Кантона. Но ещё много мужества надо западному сердцу, но ещё много напряжения надо западному взгляду, чтобы увидеть и признать это такое ясное: методическое неуклонное победное разлитие насилия и крови из одного центра по всему земному шару вот уже скоро 60 лет. Пройтись по карте и увидеть те следующие страны, которые намечены в жертву.

Конечно, никто не может требовать от Запада

защищать Малайю, Индонезию, Тайвань или Филиппины, и даже никто не смеет упрекнуть его за отказ. Но те юноши, которые отказались переносить тяготы и страхи далёкой вьетнамской войны, — быть может, ещё не выйдя из боевого возраста, лягут — ещё они, даже не их сыновья, — лягут за саму Америку, но уже поздно и бесполезно.

Опоздано спрашивать: как избежать Третьей Мировой войны? Надо найти трезвость и мужество остановить Четвёртую. Остановить, а не валиться на колени.

28 апреля 1975

РЕЧЬ В ВАШИНГТОНЕ

перед представителями профсоюзов АФТ — КПП*

30 июня 1975

Большинство присутствующих здесь сегодня — люди труда, созидательного труда, и сам я, проработавши в жизни немало лет каменщиком, литейщиком, чернорабочим, и от имени всех тех, кто делил со мною подневольный труд, как эти два бывших заключённых ГУЛАГа, которых сейчас вы видели**... и от тех, кто сегодня работает в нашей стране в угнетённом состоянии... — я могу начать сегодняшнюю речь обращением: Братья! Братья по труду!

Не забывая и многочисленных почётных гостей, присутствующих здесь, добавим: дамы и господа!..

«Пролетарии всех стран — соединяйтесь!» — этот лозунг кто из вас (*аплодисменты*)... кто из нас не слышал этого лозунга, который звучит над землёй уже сто двадцать пять лет... И сегодня вы можете найти его на любой советской брошюре и на каждом номере газеты «Правда». Но никогда руководители коммунистической революции в Советском Союзе не применили этих слов искренне и в полном их смысле. Когда нарастает за десятилетия много лжи, то мы уже забываем ту коренную, основную ложь, которая не на листьях дерева, а у корней его. Сейчас почти невозможно уже вспомнить и поверить... Я недавно специально опубликовал, снова переиздал брошюру тысяча девятьсот восемнадцатого года. Это подробная запись собрания всех представителей петроградских заводов и фабрик, того самого города, который у нас называют колыбелью революции. Повторяю, это был март 1918 года. Прошло всего четыре месяца после октябрьской революции — и все представители петро-

---

* Американская Федерация Труда — Конгресс Производственных Профсоюзов.

** Александр Долгун и Симас Кудирка.

градских фабрик и заводов проклинают коммунистов, которые обманули их во всех обещаниях. И более того — не только оставили в холоде и голоде Петрограда, сами убежав из Петрограда в Москву, но расстреливали из пулемётов рабочие толпы на заводских дворах, которые требовали выбора независимых фабрично-заводских комитетов. Я напоминаю — это был март восемнадцатого года. Сейчас уже редко кто может восстановить в памяти: и колпинский расстрел 1918 года, и подавление петроградских забастовок рабочих в 1921 году... Среди того руководства, среди ЦК, руководившего коммунистической партией в начале революции, все были интеллигенты-иммигранты, приехавшие на уже происходящие в России волнения производить коммунистическую революцию. Один из них был настоящий рабочий — токарь высокого разряда до последнего дня своей жизни... Это был Александр Шляпников. Кто знает сейчас это имя? Именно потому, что он был выразителем истинных рабочих интересов в коммунистическом руководстве... Годы перед революцией, там, в России, он руководил всей коммунистической партией, руководил именно Шляпников, а не Ленин, который был в эмиграции. В двадцать первом году он возглавил рабочую оппозицию, которая доказывала, что коммунистическая верхушка изменила, предала рабочие интересы, попирает пролетариат, угнетает пролетариат и переродилась в бюрократию. Шляпников исчез и канул. Он был арестован потом, позже, а так как он держался стойко — расстрелян в тюрьме, и имя его может быть многим сегодня здесь даже неизвестно. А я напоминаю: перед революцией во главе коммунистической партии России — стоял Шляпников, а не Ленин.

С тех пор рабочий класс никогда уже не мог отстоять своих прав. И в отличие от всех стран Запада наш рабочий класс получает только подачки. Он не может защитить самых простых своих бытовых интересов, и малейшая забастовка, по поводу зарплаты или бытовых условий, рассматривается

как контрреволюция. Благодаря закрытости советской системы вы никогда не слышали, вероятно, ни о текстильной забастовке в 1930 году в городе Иванове, ни о рабочих волнениях в 1961 году в городах Александрове, Муроме. Ни о крупном рабочем восстании в Новочеркасске в 1962 году, то есть уже в хрущёвские времена, после всех «оттепелей». Об этой истории будет подробно скоро напечатано в вашей стране, в моей книге «Архипелаг ГУЛаг», том третий. Это была история, когда рабочие пошли мирной демонстрацией к горкому партии с портретами Ленина, прося изменить экономические условия. По ним открыли пулемётный и автоматный огонь, и танками разгоняли толпу, и даже своих раненых и убитых никакая семья не смела взять: их всех тайным образом убрали...

Именно присутствующим здесь мне не надо объяснять, что в нашей стране после революции никогда не бывало и не существует свободных профсоюзов. Вольно́ руководителям британских тред-юнионов играть в эту недостойную игру: ехать делать визиты воображаемым профсоюзам и... напарываться на встречные визиты. Но Американская Федерация Труда — Конгресс Производственных Профсоюзов никогда не поддавались этим иллюзиям, никогда (*апл.*)... американское рабочее движение никогда не давало себя ослепить и принять рабство за свободу. И я сегодня от всех наших угнетённых благодарю вас!.. (*Апл.*) Когда мудрецы и либеральные мыслители Запада, забывшие значение слова «либерти», клялись тут на Западе, что в Советском Союзе никаких концентрационных лагерей вообще не существует, — Американская Федерация Труда опубликовала в 1947 году карту, карту наших лагерей. И от всех заключённых того времени я благодарю ваше американское движение! (*Апл.*)

Но подобно тому, как мы ощущаем себя с вами союзниками, существует и другой союз... Это союз наших коммунистических вождей и ваших капиталистов. (*Апл.*) Этот союз не новый. Ныне здравству-

ющий и очень прославленный Арманд Хаммер положил начало, сделал первую разведку ещё при Ленине, в самые первые годы революции. Разведка оказалась чрезвычайно успешной, и с тех пор — все эти пятьдесят лет — мы наблюдаем непрерывную, постоянную поддержку со стороны бизнесменов Запада, они помогли советским коммунистическим вождям, их неуклюжей, нелепой экономике, которая не могла бы никогда справиться сама со своими трудностями, непрерывно помогали материалами и технологией. Крупнейшие стройки первой пятилетки были созданы исключительно при помощи американской технологии и американских материалов. И сам Сталин признавал, что две трети всего необходимого было получено с Запада. И если сегодня Советский Союз имеет могучие военные и полицейские силы, при стране по современным меркам нищей, — эти силы он имеет для подавления нашего свободного движения в Советском Союзе, — то мы также должны благодарить, но в этот раз должны благодарить западный капитал.

Я напомню недавний случай. Некоторые из вас читали в газетах, а другие могли пропустить. Инициативой ваших бизнесменов была устроена в Москве выставка криминологической техники, то есть новейшую, самую новейшую тонкую технику, которая предназначена у вас для ловли преступников, для подслушивания, подсматривания, фотографирования, выслеживания, опознания преступников, они повезли в Москву (*апл.*)... они повезли в Москву на выставку и поставили, чтобы советские кагебисты могли изучать... Будто бы не понимая, к а к и х преступников, к о г о будет ловить КГБ. Советское правительство чрезвычайно заинтересовалось этой техникой и решило купить её, и ваши бизнесмены охотно стали продавать. И только когда здесь отдельные трезвые голоса подняли шум, — остановили эту сделку, продажа не состоялась только таким образом. Но надо знать ловкость КГБ: не то что две-три недели надо было стоять этой технике в совет-

ских помещениях, под советской охраной, достаточно было двух-трёх ночей, чтобы кагебисты там уже рассмотрели и перекопировали... И если сегодня идёт у нас ловля людей с самой лучшей, с самой совершенной техникой, то я сегодня тоже могу поблагодарить ваших капиталистов!

Это то, что почти непонятно человеческому уму: та сжигающая жажда наживы, которая теряет всякие границы разума, всякие пределы самоограничения, всякую совесть, только бы получить деньги. (*Апл.*) И я должен сказать, что Ленин предсказывал это всё. Ленин, который бо́льшую часть жизни прожил на Западе, а не в России, вообще Запад знал лучше, чем Россию, — он всегда писал и говорил, что западные капиталисты сделают всё, чтобы укрепить экономику СССР. Они будут соревноваться друг с другом, чтобы продать нам дешевле, продать быстрее, чтобы Советы купили именно у этого, а не у того. Он говорил: они всё нам сами принесут, не представляя себе своего будущего. И в тяжёлые минуты, на партийном съезде в Москве, он сказал так: «Товарищи, не паникуйте, когда нам будет очень плохо, мы дадим буржуазии верёвку, и она сама удавит себя.» И тогда Карл Радек, может знаете, был такой находчивый остряк, сказал: «Владимир Ильич, ну откуда же мы наберём столько верёвки, чтобы вся буржуазия удавилась?» И Ленин без затруднения ответил: «А сама буржуазия нам её и продаст...» (*Апл.*) Десятилетиями — двадцатые, тридцатые, сороковые, пятидесятые годы — вся советская печать писала: «Западный капитализм — тебе конец! Мы тебя уничтожим!» Но капиталисты как не слышали: они не могут понять, они поверить этому не могут. Никита Хрущёв приехал сюда и сказал: «мы вас похороним!» — они не поверили, они приняли это за шутку. Сейчас, конечно, у нас там стали умней, сейчас не говорят — мы вас похороним, сейчас говорят: «разрядка»... (*Апл.*) Ничто не изменилось в коммунистической идеологии, и цели остались те же, но вместо простодушного Хрущё-

ва, который не умел держать язык за зубами, теперь говорят «разрядка».

Для того чтобы понять этот вопрос, я разрешу себе сделать маленький исторический обзор — истории подобных отношений, которые назывались в разные периоды то торговлей, то стабилизацией положения, то признанием реальности, то вот разрядкой. Эти отношения имеют историю по крайней мере сорок лет. Я хочу напомнить вам, с какой системой они начались. Вот с какой. Это была система, которая:

— пришла к власти путём вооружённого переворота;

— разогнала Учредительное Собрание;

— капитулировала перед Германией — общим тогда противником;

— ввела бессудную расправу, ЧК, расправу без всякого суда;

— давила рабочие забастовки;

— невыносимо грабила деревню, до мужицких восстаний, а когда происходили мужицкие восстания — давила их кроваво;

— разгромила Церковь;

— довела до бездны голода двадцать губерний страны.

Это — знаменитый Волжский голод 1921 года. Очень типичный коммунистический приём: добиваться власти, мало считаясь с тем, что падают производительные силы, что не засеваются поля, что стоят заводы, что страна опускается в голод, в нищету, — а когда наступает голод и нищета, то просить гуманистический мир помочь накормить эту страну. Мы сегодня видим так в Северном Вьетнаме, вот уже в Португалии к тому идёт, и так же было в России в 1921 году. Когда трёхлетней гражданской войной, начатой коммунистами (это был лозунг коммунистов — «гражданская война», это была цель Ленина — гражданская война, читайте Ленина — это была его задача и лозунг), когда разорили Россию гражданской войной, — попросили Амери-

ку: «Америка, накорми наших голодных!» — и, действительно, щедрая, великодушная Америка накормила наших голодных. Была создана так называемая АРА — Американская Администрация помощи, её возглавил тогда будущий... теперь уже покойный ваш президент Гувер. И, действительно, много миллионов русских жизней спасла эта ваша организация. Но какую благодарность вы получили? В СССР не только постарались из народной памяти изгладить всё это, почти невозможно теперь в советской печати найти воспоминания, что была такая АРА. Но стали обвинять, что это была хитрая шпионская организация, мол это был хитрый замысел американского империализма, чтобы опутать Россию шпионской сетью.

Я повторяю, продолжаю:

— это была система, которая ввела первые в мире концентрационные лагеря;

— это была система, которая в XX веке первая ввела систему заложников, то есть брать не того, кого преследуют, а брать его семью или просто брать приблизительно кого-нибудь и расстреливать их.

Эта система заложников и преследования семей существует и сегодня, она и сегодня является самым сильным орудием преследования, потому что самые смелые люди, которые не боятся за себя, могут дрогнуть от угрозы своей семье.

— Это была система, которая первая ввела, до Гитлера, задолго до Гитлера, фальшивые объявления о регистрации, то есть вот такие-то, такие-то должны явиться на регистрацию. Они приходят регистрироваться, а их уводят на уничтожение. У нас тогда не было, по технике, газовых камер, у нас применялись баржи, а баржи набивали по сотне, по тысяче людей и топили их;

— это была система, которая обманула трудящихся во всех своих декретах: декрете о земле, декрете о мире, декрете о заводах, декрете о свободе печати;

— это была система, которая уничтожила все

остальные партии. Я прошу вас понять: она уничтожила не просто партии, не распустила их, но членов уничтожила, всех членов партий уничтожила других, вот так она их уничтожила;

— это была система, которая провела геноцид крестьянства: пятнадцать миллионов крестьян было отослано на уничтожение;

— система, которая ввела крепостное право, так называемый «паспортный режим»;

— это была система, которая в мирное время на Украине искусственно вызвала голод. Шесть миллионов человек умерло от голода на Украине в 32-33-м году на самом краю Европы! В Европе умерло, и Европа не заметила, и мир не заметил... шесть миллионов человек!

Я мог бы продолжать это перечисление, однако я должен остановиться. Я останавливаюсь, потому что я дошёл до 1933 года. Это был тот самый год, вот со всем этим итогом, со всем, что я перечислил, когда ваш президент Рузвельт и ваш конгресс сочли эту систему достойной дипломатического признания, дружбы и помощи. Я напомню, что великий Вашингтон не согласился на признание французского Конвента из-за его зверств. Я напомню, что и в 1933 году в вашей стране раздавались голоса, возражающие против признания Советского Союза. Однако признание состоялось, и тем было положено начало и дружбе, и, вскоре, военному союзу.

Вспомним, что в 1904 году США, американская пресса ликовала японским победам и все желали поражения России за то, что Россия консервативная страна. Напомню, что в 1914 году раздавались упрёки Франции и Англии, как могли они вступить в союз с такой консервативной страной, как Россия.

Размеры и направление моей речи сегодня не разрешают мне что-либо ещё говорить о прошлой России. Я только скажу, что информация о дореволюционной России получена Западом из рук или недостаточно компетентных или недостаточно добросовестных. И я только приведу для сравнения ряд

цифр. Вот эти цифры. По подсчётам специалистов, по самой точной объективной статистике, в дореволюционной России, за 80 лет до революции, — это были годы революционного движения, покушения на царя, убийства царя, революции, — за эти годы было казнено по 17 человек в год. Знаменитая инквизиция, в расцвет своих казней, в те десятилетия, уничтожала по 10 человек в месяц. Я цитирую книгу, изданную самой ЧК в 1920 году. За 1918 и 1919 год они с гордостью отчитываются о своей революционной работе. Они извиняются, что данные у них не совсем полные, но вот они: в 1918 и 1919 годах ЧК расстреливало без суда больше тысячи человек в месяц! Это писало само ЧК, когда оно ещё не понимало, как это будет выглядеть в истории. А в расцвет сталинского террора в 1937-38 году, если мы разделим число расстрелянных на число месяцев, мы получим более 40 000 расстрелянных в месяц!!! Вот эти цифры: 17 человек в год, больше 1000 в месяц и более 40 000 в месяц! Вот та́к росло то, что делало трудным для демократического Запада союз с прежней Россией.

И с этой страной, с этим Советским Союзом, в 1941 году вся объединённая демократия мира: Англия, Франция, Соединённые Штаты, Канада, Австралия и другие мелкие страны, — вступили в военный союз.

Как это объяснить? Как можно это понять?..

Здесь можно выдвинуть несколько объяснений. Я думаю, первое объяснение можно сделать такое: что, значит, вся соединённая демократия Земли оказалась слабой против одной Германии Гитлера. Если это так, то это страшный знак. Это ужасное предзнаменование для сегодняшнего дня. Если все эти страны вместе не могли справиться с маленькой Германией Гитлера, что же они будут делать теперь, когда больше половины земного шара залито тоталитаризмом?

Я не хочу признать этого объяснения. Но, может

быть, тогда второе объяснение: что это просто была паника, страх государственных деятелей? Они просто не имели веры в себя, они просто не имели силы духа, и в этой растерянности пошли на союз с советским тоталитаризмом? Тоже не лестно для Запада. Или, наконец, третье объяснение: что это был замысел, демократия не хотела защищаться сама, она хотела защититься руками другого тоталитаризма, советского. Я не говорю сейчас о нравственной оценке этого, об этом — позже. Но, в плоскости простого расчёта, какая это недалёкость! какой это глубокий самообман! У нас есть такая русская пословица: волка на собак в помощь не зови. Если собаки на тебя напали и рвут — бей собак! Бей собак, а волка не зови!(*Апл.*) Потому что, когда придут волки, они собак слопают или прогонят, но они съедят и тебя.

Мировая демократия могла разбить один тоталитаризм за другим — и германский, и советский. Вместо этого она укрепила советский тоталитаризм и позволила родиться третьему тоталитаризму — китайскому. И вот это всё развилось в сегодняшнюю мировую ситуацию.

Рузвельт в Тегеране в одном из последних своих тостов так и произнёс: «Я не сомневаюсь, что мы трое (то есть Рузвельт, Черчилль и Сталин), мы ведём свои народы в согласии с их желаниями и с их целями...» Как это объяснить? — пусть занимаются этим историки. Мы тогда слушали и поражались. Мы думали, что вот мы дойдём до Европы, мы встретимся с американцами и мы им расскажем. Я был в тех войсках, которые прямо шли на Эльбу. Ещё немного — и я должен был быть на Эльбе и пожать руку вашим американским солдатам. Меня взяли незадолго до этого в тюрьму. Тогда встреча не состоялась. Вот теперь, с таким большим опозданием, опять той же самой рукой меня бросили сюда. И я пришёл сейчас сюда, вместо той встречи на Эльбе (*апл.*)... с опозданием в 30 лет... Для меня сегодня здесь — Эльба... чтобы сказать вам сегодня, как друг Америки, сказать то, что мы, как друзья

Америки, хотели сказать тогда, но что и нашим солдатам помешали, впрочем, сказать на Эльбе.

Есть ещё одна пословица русская: недруг поддакивает, а друг спорит. Именно потому, что я друг Америки, именно потому, что дружеские чувства вызывают эту речь (*апл.*)... я и пришёл сказать вам: друзья мои, я не буду говорить сладких слов. Положение в мире не просто опасное, положение в мире не просто угрожаемое, положение в мире ка-та-строфическое. (*Апл.*)

Произошло нечто непонятное простому человеческому уму. Во всяком случае, мы там, мы там, бессильные, средние советские люди, мы не могли понять год за годом и десятилетие за десятилетием — что происходит? Как это объяснить? Англия, Франция, Соединённые Штаты — державы-победительницы во Второй мировой войне. Всегда державы-победительницы диктуют мир. Они устанавливают такое существование, которое соответствует их философии, их представлениям о свободе, их представлениям о национальных интересах. Вместо этого, начиная с Ялты, государственные руководители Запада необъяснимым образом подписывали капитуляцию за капитуляцией... Никогда Запад и ваш президент Рузвельт не поставили никаких условий Советскому Союзу в получении помощи... и неограниченно помогали, а затем неограниченно уступали. Уже в Ялте, безо всякой необходимости, были молчаливо признаны оккупации Монголии, Молдавии, Эстонии, Латвии и Литвы. Вслед за тем, почти не было сделано ничего для защиты Восточной Европы, и отдали ещё 7—8 стран Восточной Европы.

Сталин потребовал выдать ему тех советских граждан, которые не хотят возвращаться на родину. И западные страны отдали полтора миллиона человек. Как отдали? Они схватили их силой... английские солдаты убивали русских, которые не хотели идти в плен к Сталину, и силой толкали их к Сталину на уничтожение. Теперь это стало известно, но вот совсем недавно, вот несколько лет назад. Полтора миллиона человек!

Как могла это сделать демократия Запада?.. И вслед за тем, все остальные 30 лет, — эти годы постоянных отступлений и отдачи страны за страной. До того, что теперь уже и в Африке есть советские сателлиты, и почти вся Азия уже захвачена, и вот катится в пропасть Португалия. За 30 лет тоталитаризму отдано больше, чем когда-либо, когда-либо в мировой истории, в какой-либо войне отдавала страна, потерпевшая поражение.

Войны не было, но она как бы вот произошла. Мы на Востоке долго этого не могли понять. Мы не могли понять хлипкости этого перемирия, заключённого во Вьетнаме. То есть всякий средний советский человек понимал, что это такое хитрое устройство, которое даёт возможность Северному Вьетнаму взять Южный, в тот любой день, когда он захочет. И вдруг это премируется нобелевской премией мира. Трагическая и ироническая премия. (*Апл.*) Это очень опасное ощущение, которое может возникнуть при таком тридцатилетнем отступлении.

Уже создаётся такое мирочувствие, — «как бы поскорее уступить», поскорее бы отдать, и как-нибудь наступило бы замирение, как-нибудь наступил бы покой. Так и писали сейчас многие газеты на Западе: скорее бы кончалось кровопролитие во Вьетнаме и наступило бы национальное единение. (У берлинской стены они не вспоминают национальное единение.) А одна из ваших ведущих газет после конца Вьетнама на целую страницу дала заголовок: «Благословенная тишина». Врагу не пожелал бы я такой благословенной тишины! Врагу не пожелал бы я такого национального единения. (*Апл.*) Я провёл 11 лет на Архипелаге, я изучал полжизни этот вопрос. И я могу, глядя издали на эту страшную вьетнамскую трагедию, сказать: миллион человек будет просто уничтожен, а 4—5 миллионов, по масштабам Вьетнама, сядут в концентрационные лагеря и будут восстанавливать Вьетнам. А что происходит в Камбодже, вы уже знаете. Геноцид. Полное

уничтожение, но в новой форме. Опять газовых камер не хватает, потому что техника недостаточна. И поэтому просто в несколько часов поднимают столицу, провинившийся столичный город, и выгоняют его — стариков, детей, женщин, без вещей, без еды: иди и умирай!

Это очень опасное мироощущение, когда начинает вкрадываться такое чувство: «Ну, отдайте!» Мы уже сейчас слышим голоса на Западе и в вашей стране: «Отдайте Корею, отдайте Корею, и будем жить тихо.» Отдайте Португалию, конечно. Отдайте Японию. Отдайте Израиль. Отдайте Тайвань, Филиппины, Таиланд, Малайзию, отдайте ещё десять африканских стран, дайте только нам возможность спокойно жить. Дайте возможность нам ездить в наших широких автомобилях по нашим прекрасным автомобильным дорогам. Дайте возможность нам спокойно играть в теннис и гольф. Дайте спокойно нам смешивать коктейли, как мы привыкли. Дайте нам видеть на каждой странице журнала улыбку с распахнутыми зубами и с бокалом. (*Апл.*)

Но вот ещё как повернулось: сейчас на Западе это всё обернулось обвинением против Соединённых Штатов Америки.

Сейчас на Западе раздаётся очень много голосов, которые говорят: «Вот, Америка, — твоя вина!» Я должен решительно здесь сегодня защитить Америку от этих обвинений! Я должен сказать, что Соединённые Штаты Америки изо всех стран Запада — меньше всего виноваты в этом и больше всего сделали для того, чтобы не было так. Америка помогала Европе выиграть Первую и Вторую мировые войны, Америка подняла Европу из двух послевоенных разорений, пятнадцать — двадцать — двадцать пять лет подряд она стояла щитом, защищая Европу, в то время как европейские страны считали пятаки: как бы не оплачивать своей армии, а лучше вовсе её не иметь, как бы не оплачивать вооружения, как бы уйти из НАТО, зная, что всё равно Америка защитит. Эти страны с тысячелетней цивилиза-

цией и культурой — это от них началось, хотя на том материке им там ближе, им там можно лучше разобраться.

Я вот приехал на ваш континент, я вот уже два месяца путешествую по его просторам. Я согласен — здесь это не чувствуется так близко, здесь можно и ошибиться, здесь нужны душевные усилия, чтобы понять остроту мирового положения. Соединённые Штаты Америки давно проявили себя как самая великодушная и самая щедрая страна в мире. Где бы ни произошло наводнение, землетрясение, пожар, стихийное бедствие, болезнь, — кто помогает первый? — Соединённые Штаты. Кто помогает больше всех и бескорыстно? Соединённые Штаты. (*Апл.*) И что мы слышим в ответ? — упрёки, проклятья: «американцы, убирайтесь вон», жгут американские культурные центры, и представители «третьих стран» в Организации Объединенных Наций вскакивают на столы, чтобы голосовать против Америки.

Однако всё это не снимает тяжести с плеч Америки. Ход истории, хотите вы или не хотите, но ход истории сам привёл вас — сделал вас мировыми руководителями. Вашей стране уже нельзя думать провинциально, вашим политическим деятелям уже нельзя думать только о своём штате, о своей партии, о мелких ситуациях, которые приведут его или не приведут к государственному посту. Вам приходится думать обо всём мире. И когда наступит новый политический мировой кризис, — а я считаю, что вот очень острый закончился, а следующий может наступить в любой момент, — всё равно, главные решения лягут на плечи Америки, на плечи Соединённых Штатов.

И вот я, уже находясь здесь, слышу некоторые объяснения ситуации, я разрешу себе процитировать то, что я слышал здесь.

«Нельзя защищать тех, у кого не хватает воли к обороне.» Я согласен. Но это сказано по поводу Южного Вьетнама, — так в половине сегодняшней Европы и трёх четвертях сегодняшнего мира воля к обо-

роне ещё меньше, чем была в Южном Вьетнаме.

Нам говорят: «Нельзя защищать тех, кто не может обороняться собственными людскими ресурсами.» А против превосходных сил тоталитаризма, когда он набрасывается весь, — и никто не может защититься собственными ресурсами — никто; и например, Япония совсем не имеет армии.

Нам говорят: «Нельзя защищать тех, у кого нет полной демократии.» Вот это самое замечательное, это самая основная мелодия, которую я вижу в ваших газетах и слышу в выступлениях некоторых ваших политических деятелей. А кто в мире когда-нибудь на переднем крае тоталитаризма удержался с полной демократией? Вы — соединённая демократия мира — не удержались! Америка, Англия, Франция, Канада, Австралия вместе — не удержались! При первой опасности гитлеризма — протянули руку Сталину. Это называется удержаться в демократии? Нет! (*Апл.*) И так ещё говорят (этих выступлений много было подряд): «Если Советский Союз будет использовать разрядку в своих интересах — ну тогда мы...» А что тогда? Советский Союз использовал разрядку в своих интересах, использует и будет использовать! Вот, например, они с Китаем вместе усиленно участвуют в разрядке, а пока взяли три страны. Пока, незаметно, три страны Индокитая взяли. Ну правда, можно ожидать, что в утешение Китай пришлёт пинг-понговскую команду. (*Смех.*) А Советский Союз прислал лётчиков, которые когда-то перелетали Северный Полюс. И вот на днях полетят вместе с вашими в космос.

Типичный спектакль, я отлично помню тот год — это 1937 год — июнь тридцать седьмого года, когда Чкалов, Байдуков и Беляков героически перелетели Северный Полюс и спустились в штате Вашингтон. Это был тот год и тот месяц, когда Сталин расстреливал больше сорока тысяч человек в месяц!.. Сталин знал, что делал. Он послал лётчиков и вызвал у вас доверчивое ликование: дружба двух стран через Северный Полюс! Герои, другого не скажешь, —

герои. Но это был спектакль, чтоб отвлечь вас от событий тридцать седьмого года. А, простите, какой сейчас юбилей? Сколько лет прошло? Тридцать восемь. Разве это юбилей? Нет, просто надо закрыть Вьетнам. И вот послали снова лётчиков. Открыли памятник Чкалову в штате Вашингтон. Чкалов — герой и достоин памятника. Но для истинной картины надо было позади памятника поставить стену и на ней показать барельеф тех расстрелов или тех черепов и костей. (*Апл.*)

Ещё так нам говорят (простите, что я много цитат привожу, но их гораздо больше звучит в вашей прессе и по радио): «Мы не можем игнорировать, что Северный Вьетнам и красные кхмеры попрали соглашение. Но мы готовы смотреть в будущее.» То есть что это значит? Значит, пусть уничтожают людей, но, если вот эти насильники, вот эти убийцы, вот эти палачи предложат нам разрядку, мы с удовольствием будем с ними разряжаться. Ну так, как Вилли Брандт сказал как-то: «Я бы и со Сталиным пошёл на разрядку.» То есть в то время, когда Сталин уничтожал по сорок тысяч в месяц, — Брандт охотно бы пошёл с ним на разрядку! Смотреть в будущее! — так смотрели в будущее и в 1933 и в 1941. Но смотрели плохо. Так смотрели в будущее два года назад, когда заключали нелепое, непонятное, негарантированное перемирие во Вьетнаме. И плохо смотрели. Так торопились с этим перемирием, что пропустили освободить из плена всех собственных американцев. Так торопились скорее подписать этот документ, что́ там каких-то три тысячи американцев — ну, нет и нет, и без них обойдёмся. Как это делается? Как это может быть? Ну, часть из них, — действительно, бывает в войне, — без вести пропавшие. Но вожди Северного Вьетнама и сами признают, что часть содержится там у них — содержится. И что же, они отдают ваших соотечественников? Нет, они их не отдают и ставят всё время условия. То они ставили условия: пусть Тхеу уйдёт от власти, теперь они ставят условия: пусть Соеди-

нённые Штаты восстановят нам Вьетнам. А то, мол, очень трудно нам разобраться — найти этих людей.

Если правительству Северного Вьетнама трудно объяснить вам, что произошло с вашими братьями, с вашими американскими военнопленными, не возвращёнными и посегодня, то я, на основе опыта Архипелага, могу вам совершенно ясно это объяснить. Есть такой закон на Архипелаге, что те, кому достаётся труднее всего и которые стоят наиболее стойко, самые честные, самые мужественные, самые непреклонные, — они никогда больше не увидят света, их уже никогда нельзя показать, потому что они расскажут такое, что не умещается в голову. Часть ваших военнопленных вернувшихся рассказывали вам, что их пытали. Это значит, что тех, кто остался, пытали больше. Но те не уступили ни на шаг. Это — лучшие ваши люди. Это — ваши первые герои, которые в одиноком поединке устояли. (*Апл.*) И сейчас... сейчас, к сожалению, они не могут ободриться нашими аплодисментами. Они не могут их услышать в своих одиночных камерах, где могут умереть, а могут сидеть тридцать лет, как сидит Рауль Валленберг, — если знаете, шведский дипломат, захваченный Советским Союзом в 1945 году. Вот, тридцать лет сидит, и его не отдают.

А находились у вас при этом истерические деятели, которые говорили: «Я поеду в Северный Вьетнам, стану на колени и на коленях буду умолять отпустить наших военнопленных.» Это уже не политическое поведение — это мазохизм. (*Апл.*) Для того чтобы понять хорошо, что значила разрядка все эти сорок лет, дружба, стабилизация положения, торговля, я должен вам сказать то, чего вы никогда не видите и не слышите. Оттуда, с нашей стороны, сказать, как это выглядело. А выглядело это вот как: только знакомство с американцем, не дай Бог, ты пошёл с ним, сел в кафе или в ресторан, — уже «подозрение в шпионаже», десять лет. Я рассказываю в «Архипелаге» случай, который не какой-нибудь арестант мне рассказал, но все члены Верхов-

ного Суда СССР, в те короткие дни, когда я был при Хрущёве возвышен, и они мне рассказали этот случай: один советский гражданин был в Соединённых Штатах и возвратясь сказал: «В Соединённых Штатах отличные автомобильные дороги.» КГБ арестовало его и потребовало десяти лет. А судья сказал: я не возражаю, но всё-таки мало материала, надо бы добавить ещё что-нибудь. Так судью этого сослали на Сахалин за то, что он смел спорить, а тому человеку дали десять лет. Вы подумайте, какую ложь он сказал и какое «восхваление» американского империализма: в Америке хорошие автомобильные дороги! Десять лет.

В 1945-46 году через наши камеры тюремные проходило множество людей, не тех, которые сотрудничали с Гитлером, хотя были такие, не тех, кто в чём-то был виноват, а тех, которые всего-навсего — побывали на Западе и были освобождены из немецкого плена американцами. Вот это считалось криминалом: освобождён американцами. Это значит: он видел хорошую светлую жизнь. Если он приедет, он будет рассказывать. Самое страшное не то, что он сделал во время войны, а что он будет рассказывать. И все такие получали десять лет.

В последний визит Никсона в Москву ваши американские корреспонденты давали такой репортаж на западный лад: репортаж с московских улиц. «Вот я, мол, иду с микрофоном по улице и спрашиваю простых советских людей: скажите, пожалуйста, что вы думаете о встрече Никсон — Брежнев?» И, удивительно, все до одного отвечали: «Великолепно, я очень доволен, я в восторге!» Что это? Как это понять? Да если я иду по улице и ко мне подходит американец с микрофоном и спрашивает, то я знаю, что с другого боку идёт кагебист тоже с микрофоном и он прекрасно запишет, что я скажу. Я скажу — и сейчас буду в тюрьме. И я отвечаю: «Да, да, великолепно, я ничего лучшего не видел.» (*Апл.*) Ну чего же стоят такие корреспонденты, если они просто переносят ваш западный приём, не продумавши, переносят туда?

Вы лендлизом помогали нам многие годы — у нас сделано всё, чтобы забыть его, затереть, по возможности не вспоминать. А сейчас, до того как пришёл я в этот зал, я отчасти и оттягивал свой приезд в Вашингтон, чтобы прежде посмотреть немного простую Америку, побывать в нескольких штатах, просто поговорить с людьми. Мне рассказали, я впервые узнал, что по всем штатам в годы войны Общество советско-американской дружбы собирало помощь советским людям: тёплые вещи, продукты, подарки, — и посылало. А мы не только не видели их, мы не только их не получали — их распределили там где-то в привилегированных кругах, — но нам никто никогда об этом не говорил. Я это узнал сейчас, здесь у вас в штатах, вот в этот месяц.

Всё, что можно сказать ядовитого об Америке, — было сказано ещё в сталинское время, и всё это лежит тяжёлым осадком, и всё это можно пробудить в любой день. В любой день газеты могут выйти с заголовками: «Кровавый американский империализм хочет захватить мир», и весь этот яд поднимется, и множество людей у нас поверят и будут считать вас агрессорами. Вот так велась разрядка с нашей стороны.

Советская система так закрыта, что её почти невозможно понять отсюда. И ваши самые учёные теоретики пишут научные труды, пытаются объяснить и понять, что происходит там, и вот несколько таких наивных объяснений, которые нам, советским людям, просто смешны. То говорят, советские вожди отказались теперь от своей человеконенавистнической идеологии. Нисколько. Нисколько от неё не отказались. То говорят — в Кремле есть «левые» и «правые» и там идёт борьба, и мы должны себя так вести, чтобы не помешать «левым». Всё это фантазия: левые... правые... Ну есть там какая-то борьба за власть — но в главном они все заодно. Или ещё есть такая теория, что теперь благодаря росту техники растёт технократия в Советском Союзе, растёт

инженерия — и инженеры теперь правят хозяйством, и вот скоро они будут определять судьбу, а не партия. Скажу вам — инженеры столько же будут определять судьбу, сколько наши генералы — судьбу армии, то есть — ноль. Все будут делать так, как скажет партия.

Вот такая наша система, судите сами. Это система, где сорок лет не было настоящих выборов, но идёт спектакль, комедия. Стало быть система, где нет законодательных органов. Это система, где нет независимой прессы, система, где нет независимых судебных органов, где народ не имеет никакого влияния ни на внешнюю, ни на внутреннюю политику; где подавляется всякая мысль не такая, как государственная. И, кстати, электронное подслушивание — это у нас такая простая вещь, это у нас быт. У вас произошёл один случай электронного подслушивания, и всю страну трясло полтора года. А у нас это быт. Это почти в каждой квартире, в каждом учреждении, мы к этому привыкли — нас это даже не удивляет. (*Апл.*)

Это система, где разоблачённые палачи миллионов, как Молотов и более мелкие, никогда не судимы и теперь на высоких пенсиях в высочайшем благополучии. Это система, где сегодня продолжается спектакль и каждого иностранца, чтобы ему показать страну, обставляют несколькими подставленными советскими людьми, работающими по сценарию. Это система, где собственная конституция не выполнялась ни одного дня, где все решения зреют в какой-то тайне, в какой-то безответственной кучке, и оттуда ударяют как молния, по нам и по вам. И чего же стоят подписи этих людей? Как же можно, как можно положиться на их подписи в документах разрядки? Вы сейчас можете спросить своих специалистов, они говорят, что вот даже в последние годы Советский Союз сумел создать и превосходящее химическое оружие и ракеты более совершенные, чем в Соединённых Штатах.

Так что же из этого всего? Разрядка — нужна

или нет? Не только нужна. Она нужна как воздух. Это единственное спасение Земли, чтобы вместо мировой войны произошла разрядка. Но разрядка истинная, и если её уже испортили плохим словом, которое у нас разрядка, а у вас детант, так может быть надо найти другое слово. Я бы сказал, что даже можно очень мало признаков, главных признаков назвать для такой истинной разрядки. Я бы сказал, что почти достаточно трёх главных признаков. Первый признак: чтобы разоружиться не только от войны, но и от насилия, чтобы не осталось аппарата не только войны, но и насилия, то есть не только того оружия, которым уничтожают соседей, но и того оружия, которым давят соотечественников. (*Апл.*) Это не разрядка, если мы сегодня здесь с вами можем приятно проводить время, а там стонут люди и погибают, и в психиатрических домах вечерний обход, и третий раз в день колют лекарство, разрушающее мозг и человека. А второй признак разрядки я бы назвал такой: чтоб это было не на улыбках поставлено, не на словесных уступках, чтоб это стояло на камне. Это евангельское слово всем известно: не на песке надо строить — на камне. То есть должны быть гарантии того, что это не оборвётся в одну ночь или в один рассвет. (*Апл.*) А для этого нужно, чтобы там, вторая сторона, которая входит в разрядку, имела над собой контроль: контроль общественности, контроль прессы, контроль свободного парламента. А пока такого контроля нет — нет гарантии. (*Апл.*) А третье простое условие: какая же это разрядка, если вести человеконенавистническую пропаганду — то, что в Советском Союзе гордо называют идеологической войной? Нет уж — дружить так дружить, разрядка так разрядка! Идеологическую войну надо кончить!

Советский Союз и коммунистические страны умеют вести переговоры. Они знают, как это делается. Долго-долго ни в чём не уступать, а потом немножечко уступить. И сразу раздаётся ликование: они уступают, пора подписывать договор! Вот европей-

ские переговоры тридцати пяти стран. Два года мучительно, мучительно вели переговоры, тянули нервы и уступили: некоторые женщины из коммунистических стран теперь могут выходить замуж за иностранцев и некоторым журналистам теперь будет позволено кое-где немножко в СССР поездить. Дают одну тысячную долю естественного права, которое вообще должно быть с самого начала, вне переговоров, — и уже радость, и уже мы на Западе слышим много голосов: они уступают, пора подписывать! За эти два года, пока велись переговоры, во всех странах Восточной Европы давление усилилось, репрессии усилились даже в Югославии, в Румынии, не говоря уже об остальных. И именно сейчас канцлер Австрии говорит: «надо скорее, пришла пора подписать вот это соглашение». Что это такое, это соглашение? Предлагаемое соглашение сегодня — это похороны Восточной Европы. Это значит, Западная Европа подписывается окончательно, что она совершенно согласна, что Восточную Европу будут и дальше подавлять, только, пожалуйста, не трогайте нас. И канцлер Австрии думает, что если засыпят братскую могилу над Восточной Европой, то Австрия на самом краю могилы уцелеет и не сползёт туда же. А мы изо всей нашей жизни там вывели, что только есть одно, чем можно устоять против насилия: это твёрдость!

Надо понимать природу коммунизма. Сама идеология коммунизма, всё ленинское воспитание таково, что оно считает дурачком, кто не берёт того, что лежит. Если можно взять — бери, если можно наступать — наступай, а вот если стена — отступи. И коммунистические правители уважают только твёрдость и презирают и смеются над теми, кто им всё время уступает. У вас говорят сейчас, — вот последняя цитата, которую я приведу из высказываний ваших государственных деятелей: «Мощь без попытки к примирению ведёт к мировому конфликту.» Скажу: а мощь с непрерывным угождением — вообще не мощь! (*Апл.*)

А из нашего опыта я вам скажу: только твёрдость даёт возможность устоять против наступления коммунистического тоталитаризма. Мы видим много исторических примеров тому. Вот несколько. Маленькая Финляндия устояла в 1939 году собственными силами. Вы отстояли Берлин в 1948 только твёрдостью — и не было мирового конфликта! Вы отстояли Корею в 1950 — только твёрдостью — и не было мирового конфликта. Вы заставили снять ракеты с Кубы в 1962 — только твёрдостью — и не было мирового конфликта. И покойный Аденауэр вёл переговоры с Хрущёвым твёрдо, и он начал с Хрущёвым настоящую разрядку. Хрущёв начал уступать, и, если бы его не сняли, в ту зиму он собирался ехать в Германию и продолжать истинную разрядку.

Я напомню вам и слабость такого человека, чья фамилия редко сочетается со слабостью. Слабость Ленина. Ленин, придя к власти, панически отдавал Германии всё, что только та хотела. Просто — что хотела. Германия взяла, сколько хотела, сказала — Армению отдать Турции, — пожалуйста. Почти неизвестно, но Ленин просил, ходатайствовал перед кайзеровским правительством, чтобы кайзеровское правительство Германии уговорило правительство Украины и разрешило коммунистам как-то границу провести от Украины. Не было разговора — захватывать Украину, но только как-нибудь, чтобы границу-то свою провести.

Мы, мы, инакомыслящие в СССР, мы не имеем ни танков, ни оружия, ни организации — мы ничего не имеем, руки наши пусты. У нас есть только сердце и то, что мы выдержали за полвека в этой системе. И когда мы нашли в себе стойкость стать и стоять, то мы и устояли. И если я сегодня здесь (*апл.*)... Мы устояли только твёрдостью духа. И если я сегодня здесь стою перед вами, то не по милости коммунизма, не по доброте коммунизма, не благодаря разрядке, но благодаря своей твёрдости и вашей твёрдой поддержке. (*Апл.*) Они знали, что я не уступлю ни на палец, ни на волос, и где взять нечего — от-

ступились. Это не даётся легко. В наших условиях это воспиталось от тяжести жизни. Это и в каждом бы из вас воспиталось, если бы вы попали в такую тяжёлую жизнь. Я не хочу здесь называть сегодня много имён, но вот Буковский, Владимир Буковский, чьё имя уже почти забыли (*апл.*)... Я почему не хочу называть много имён?.. — потому что, сколько ни назови, больше остаётся и, когда решаем вопрос с двумя-тремя, мы как бы забываем и предаём остальных. Надо помнить цифры. У нас десятки тысяч политзаключённых и, по подсчёту английских специалистов, семь тысяч человек в принудительном психиатрическом лечении. Так вот, Владимир Буковский: Буковскому предложили — ладно, освобождайся, убирайся на Запад и замолчи. И этот мальчик, молодой человек, который при смерти, сказал: нет, я так не поеду. Я писал о тех, кого вы посадили в психиатрические дома, освободите их, тогда и я поеду на Запад. Вот та сила, та стойкость, которая стоит против камня и против танков! И нам с вами в оценке всего, о чём я сегодня здесь говорил, можно было бы и не вести разговоров в этой вот плоскости деловых расчётов, то есть — почему та или иная страна поступала так? и как эти расчёты велись? Нам можно было подняться на нравственную высоту и сказать: в 1933 и в 1941 году — ваше руководство и весь Запад не принципиально, беспринципно пошли на сделку с тоталитаризмом. Это даром не проходит. Это когда-нибудь отзовётся. Вот оно 30 лет отзывалось и ещё отзовётся, и ещё страшнее отзовётся! Нельзя мыслить только в низкой плоскости политического расчёта. Надо думать и о том, что благородно, что честно, а не только, что выгодно. Изворотливые западные юристы сейчас ввели такой термин «юридического реализма». Этим юридическим реализмом они хотят заслонить нравственные оценки. Мол, надо признать реальность, надо понять, что, если установились какие-то законы в тех странах насилия, эти законы тоже надо признать и уважать. Среди юрис-

тов сейчас широко распространено такое понятие, что право — выше нравственности. Право — это такое отточенное, а нравственность — это, мол, что-то неопределённое. Нет, как раз наоборот! Нравственность — выше права! (*Апл.*) А право — это наша попытка человеческая как-то записать в законах часть этой нравственной сферы, которая над нами, выше нас. Мы пытаемся понять эту нравственность, свести её на землю и представить в виде законов. Иногда это удаётся лучше, иногда удаётся хуже, иногда получается карикатура на нравственность, но нравственность всегда выше права. И этой точки зрения нельзя покинуть. Надо душой и сердцем это признать. В сегодняшней жизни, в двадцатом веке, стало почти смешно говорить «добро» и «зло». Это стали почти какие-то старомодные понятия. А это очень реальные понятия, понятия высшей сферы над нами — добро и зло. (*Апл.*) И вместо того чтобы вести низкие, мелкие и недалёкие политические расчёты и игры, надо отдать себе отчёт: вот концентрируется Мировое Зло, огромной ненависти и силы. Оно растекается по земле, и надо стать против него, а не спешить подавать ему, подавать ему всё, что оно хочет съесть. (*Апл.*) Сегодня в мире происходят два важнейших процесса. Один процесс — тот, о котором я сказал, — вот он идёт уже более тридцати лет. Это процесс близоруких уступок. Это процесс отдавать, отдавать, отдавать, и может быть когда-нибудь волк насытится. А второй процесс, который я считаю ключевым, — и я предсказываю, что он принесёт нам всем будущее... — это процесс тот, что под чугунной корой коммунизма, в Советском Союзе уже лет двадцать, а в других коммунистических странах меньше, — идёт освобождение человеческого духа, вырастают новые поколения, непоколебимые в борьбе со злом, которые не идут на беспринципные компромиссы, которые предпочитают потерять всё: заработок, всякие условия существования, саму жизнь, только не пожертвовать совестью, только не войти в сделку со злом. (*Апл.*) Так вот — этот процесс за-

шёл так далеко, что в сегодняшнем Советском Союзе марксизм упал так низко, он скатился к анекдоту, он скатился в человеческое презрение. У нас уже просто никто мало-мальски серьёзный, и даже студенты и школьники, уже серьёзно, без улыбки, без насмешки о марксизме не говорят. Но весь этот процесс нашего освобождения, который, конечно, вызовет и общественные перемены, — этот процесс медленнее, чем тот, который... чем первый, чем процесс уступок. Нам там, когда мы наблюдаем за этими уступками, нам страшно. Зачем же так быстро, зачем так стремительно, зачем уступают по несколько стран в один год?.. Я начал с того, что вы — союзники нашего освободительного движения в коммунистических странах. И я призываю вас: давайте вместе думать и стараться, как нам урегулировать соотношение этих двух процессов. Всякий раз, когда вы помогаете нашим преследуемым, вы не только проявляете великодушие и благородство, вы защищаете не только их, но и самих себя, но и своё будущее. (*Апл.*) Но давайте попробуем, сколько можно, — остановим безумный, бессмысленный и безнравственный процесс бесконечных уступок агрессору... этих ловких юридических изворотов, когда каждый раз находится аргумент: почему ещё одну, ещё одну, и ещё одну страну надо отдать, отдать и отдать. Почему надо снова и снова подавать коммунистическому тоталитаризму технику — сложную, тонкую, то, что нужно ему для вооружения, для подавления своих граждан. Если мы сумеем задержать, хотя бы не остановить, но задержать этот процесс уступок и дать возможность продолжаться процессу освобождения в коммунистических странах, то эти два процесса, в конце концов, дадут нам наше будущее. (*Апл.*) «Внутренних дел» не осталось на нашей тесной планете... Коммунистические вожди говорят вам: не вмешивайтесь в наши внутренние дела, дайте нам душить спокойно... А я говорю вам: пожалуйста, побольше вмешивайтесь в наши внутренние дела... Мы просим вас — вмеши-

вайтесь! (*Апл.*) И, так понимая свою задачу, я тоже сегодня, может быть, вмешался в ваши внутренние дела, или как-то коснулся их, простите. (*Апл.*) Вот я уже много поездил по Америке. Это добавилось к моим прежним представлениям о ней, как я слушал о ней по всем радио, по рассказам людей, бывалых людей. Америка вызывает у меня, у моих друзей, у наших единомышленников там, у всех простых советских людей, — не у высокопоставленных, — вызывает соединённое чувство восхищения и сострадания. Восхищения — тем, что вы даже сами не знаете, сколько ещё у вас будущего и сколько сил. Вы страна — будущего. Вы страна молодая. Страна не использованных ещё даже возможностей. Страна великих просторов географических. Простора души. Щедрости. Великодушия. Но с этими качествами: силы, щедрости и великодушия — в человеке, в каждом, а вот и в целой стране, соединяется обычно — доверчивость. И ваша доверчивость уже сослужила, уже несколько раз сослужила вам плохую службу... И я, и я хотел бы призвать, чтобы Америка проверяла эту свою доверчивость, и не дала возможность тем мудрецам, которые, играя в достижение будто бы ещё более тонкой справедливости, ещё более юридических тонкостей равенства и каких-то оговорок, чтоб они — одни по искажённости кругозора, другие по близорукости, а кто по корысти, — чтобы под этим ложным видом борьбы за мир и за общественную справедливость не повели бы вас, не завели бы вас на ложную дорогу. Ибо они толкают ослабить, разоружить вашу прекрасную страну перед такой опасностью, перед такой грозной силой, какой не знала вся мировая история, не только ваша, американская, но вся мировая история. И я призываю вас: трудовая простая Америка, — представленная сегодня здесь своим профсоюзным движением, — не дайте себя ослабить, не дайте завести себя в неверную сторону. Будем стараться замедлить процесс уступок и помочь процессу освобождения!.. (*Аплодисменты.*)

РЕЧЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ

перед представителями профсоюзов АФТ — КПП

9 июля 1975

Так всё-таки: возможно или невозможно передать опыт от тех, кто страдал, к тем, кому ещё предстоит страдать? Так всё-таки: способна или не способна одна часть человечества научиться на горьком опыте другой? Возможно или невозможно кого-нибудь предупредить об опасности?

Сколько было послано Западу свидетельств, за 60 лет сколько волн эмиграции, сколько миллионов людей! Они — все здесь, вы их встречаете, вы их отличаете, если не по душевной их потерянности, не по скорби их, не по тоске, вы их отличаете по акценту, по внешнему виду, они не сговаривались, они из разных стран принесли вам один и тот же опыт и говорят о нём, предупреждают о том, что уже есть, что было. Но стоят гордые небоскрёбы, упёртые в небо, и говорят: у нас этого не будет, к нам это не придёт, у нас это невозможно.

Будет. Возможно. По пословице: отведаешь сам, поверишь и нам.

Но неужели надо ждать того момента, когда нож подступит к горлу? Неужели нельзя заранее трезво оценить ту мировую опасность, которая хочет проглотить весь мир? Я — уже был проглочен. Я уже побывал в брюхе дракона, в красном горячем брюхе дракона. Он меня не переварил и отрыгнул. (*Аплодисменты.*) И я пришёл к вам свидетелем того, как там, в брюхе.

Это удивительный феномен, что коммунизм сам о себе 125 лет открыто чёрным по белому пишет, и даже раньше он писал более откровенно, и в Коммунистическом манифесте, который все знают по названию и почти никто не даёт себе труда читать, —

там даже более страшные вещи некоторые написаны, чем те, что осуществлены. Вот поразительно. Весь мир грамотный, все умеют читать, и всё-таки как будто не хотят понять. Человечество ведёт себя так, как будто оно не поняло, что такое коммунизм, не хочет понять, не способно понять.

Я думаю, здесь дело не только в маскировке коммунистов последние десятилетия, последние годы. Здесь дело в том, что суть коммунизма — совершенно за пределами человеческого понимания. По-настоящему нельзя поверить, чтобы люди так задумали — и так делают. Вот именно потому, что она за пределами понимания, вероятно поэтому так трудно коммунизм и понимается.

В моём прошлом выступлении в Вашингтоне я много говорил о государственной советской системе, как она создавалась и какая она есть. Но, может быть, гораздо важнее сказать о той идеологии, которая вдохновила эту систему, создала её и ведёт. Гораздо важнее понять суть этой идеологии и, самое главное, её преемственность, что она вовсе не изменилась за 125 лет. А какая родилась — такая и́ есть.

Ну, что марксизм — не наука, у нас в Советском Союзе среди интеллигентных людей ясно. Даже неудобно сказать, что марксизм есть наука. Уж не говоря о науках точного цикла — физико-математических, естественных, — даже социологические науки сегодняшнего века, они, если предсказывают какое-нибудь событие, то говорят, где его можно ожидать, в какие сроки, в каких формах, как событие может протекать. Коммунизм никогда не давал таких предсказаний. Никогда не говорилось: где, когда и что именно. Это всегда была декламация. Декламация о том, как мировой пролетариат свергнет мировую буржуазию и тотчас же наступит самое счастливое светлое общество, где, впрочем, обрывалась фантазия и Маркса, и Энгельса, и Ленина. Ни один из них дальше не описывал, что там будет за общество. А просто: самое светлое, самое счастливое. Всё — для человека!

Лень перечислять все неудавшиеся предсказания марксизма. Ну, несколько из них: что положение рабочего класса при том строе, который существует сейчас на Западе, будет ухудшаться, ухудшаться, ухудшаться, дойдёт до полной нищеты и невыносимости. У нас бы там в стране так накормить, одеть рабочий класс, так снабдить его всем и дать ему столько досуга! Или знаменитое предсказание о том, что коммунистические перевороты все начнутся с передовых стран: Англия, Франция, Америка, Германия — вот здесь начнётся коммунизм. Ну, всё наоборот, вы видите: всё наоборот. Или предсказание о том, что социалистические государства и существовать не будут: как только капитализм будет повержен, так сразу государство будет отмирать. Вы видите сегодня: где ещё есть такие сильные государства, как в так называемых социалистических, коммунистических странах? Или утверждение о том, что войны присущи только капитализму. Только потому, мол, происходят войны, что капитализм. А как только наступит коммунизм, так все войны прекратятся. Мы уже достаточно видели это: в Будапеште, в Праге, на советско-китайской границе, при оккупации Прибалтики, при ударе Польше в спину. Мы достаточно видели это и ещё, наверное, достаточно увидим.

Коммунизм есть такая грубая попытка объяснить общество и человека, как если бы хирург взял топор мясника для своей тонкой операции. Всё, что есть тончайшего в психологии человека и в устройстве общества — ещё более сложного организма, — всё это сводится к грубому экономическому процессу. Всё это создание «человек» сводится к материи. Характерно, что коммунизм настолько лишён аргументов, что против своих оппонентов, вот в наших странах, в коммунистических, ему совершенно нечего противопоставить. Аргументов нет — а поэтому палка, тюрьма, концентрационный лагерь, психиатрический насильственный дом.

Марксизм был всегда против свободы. Вот я про-

цитирую несколько слов отцов коммунизма — Маркса и Энгельса — из... я даю цитаты по первому советскому изданию 1929-30 года. Маркс и Энгельс: «Реформы — признак слабости», — том 23, стр. 339. «Демократия — страшнее монархии и аристократии», — том 2, стр. 369. «Политическая свобода — есть ложная свобода. Хуже, чем самое худшее рабство», — том 2, стр. 394. Маркс и Энгельс в своей переписке неоднократно говорят, что после прихода к власти несомненно нужен террор. Неоднократно они пишут: «придётся повторить 1793 год. После прихода к власти нас станут считать чудовищами, на что нам, конечно, наплевать», — том 25, стр. 187.

Коммунизм никогда не скрывал, что он отрицает всякие абсолютные понятия нравственности. Он смеётся над понятиями добра и зла как категорий несомненных. Коммунизм считает нравственность относительной, классовой. В зависимости от обстоятельств, от политической обстановки любой акт, в том числе и убийство, и убийство сотен тысяч людей, может быть плохо, а может быть — хорошо. Это — в зависимости от классовой идеологии. А кто определяет классовую идеологию? Весь класс не может собраться, чтобы сказать, хорошо это или плохо. Кучка людей определяет, что хорошо, что плохо. Но я должен сказать, что вот в этом направлении коммунизм успел больше всего. Он успел заразить весь мир этим представлением об относительности добра и зла. Сейчас этим захвачены далеко не только коммунисты. Сейчас считается в передовом обществе неудобным, неудобным употреблять серьёзно слова «добро» и «зло». Коммунизм сумел внушить нам всем, что это понятия старомодные и смешные. Но если у нас отнять понятия добра и зла, — что останется у нас? У нас останутся только жизненные комбинации. Мы опустимся в животный мир.

И теория, и практика коммунизма совершенно античеловечны поэтому. Существует такое слово, которое сейчас очень широко употребляется: «антикоммунизм». Это очень дурно, без вкуса составлен-

ное слово. Слово составлено так, будто бы коммунизм — есть нечто извечное, основное, основополагающее. Поэтому он является системой отсчёта. И по отношению к коммунизму определяется — антикоммунизм, антикоммунисты. Почему я говорю, что это слово плохо сконструировано, почему его составили люди, не понимающие этимологии языка: потому что исконным понятием, вечным понятием является человечность. А коммунизм есть — античеловечность. Кто говорит «антикоммунизм», тот говорит: анти-античеловечность. Дурная конструкция. Так и надо говорить: то, что против коммунизма, — вот то и есть человечность! (*Апл.*) Не признавать, отвергать эту человеконенавистническую коммунистическую идеологию — вот это и есть простая человечность! Это не партийность, это — протест нашей души против тех, кто говорят нам: забудьте понятия добра и зла.

И удивительно, кроме всех книг своих, сколько наглядных пособий предложил коммунизм современному человечеству. Прогремели танки по Будапешту. Ничего. Прогремели танки по Чехословакии. Ничего. Кому бы другому не простили, коммунизму — можно простить. По какому-то будто нарочитому замыслу, как будто Бог хотел наказать, отнимая ум, коммунизм воздвиг берлинскую стену. Ведь чудовищный символ! — показать, что такое коммунизм. 14 лет расстреливают там не только тех, кто хочет уйти из счастливого общества коммунизма. Недавно был случай, какой-то иностранный мальчик с западной стороны упал в речку, в Шпрее. И его хотели спасти. Восточно-германские пограничники открыли огонь. Не спасайте. И потонул... мальчик, совсем со стороны.

Убедила кого-нибудь берлинская стена? Опять нет. Опять её игнорируют. Да, она стоит, но к нам она не придёт. У нас стены такой не будет. И те танки, которые были в Будапеште и Праге, и те к нам не придут. На всех границах коммунистического мира, во всяком случае на европейских, поставлены

электронные убиватели. Уже не люди, — приборы для убивания всякого. И это нам не грозит, мы этого не боимся... Изобрели в коммунистических странах принудительное психиатрическое лечение. Ничего. Мы живём спокойно. Там три раза в день... вот сейчас, идут дневным обходом и колют вещества, разрушающие мозг. Ничего. Мы живём спокойно.

Есть у вас такая Анжела Дэвис. Я не знаю, известна ли она у вас в стране. Но в нашей стране буквально целый год мы ничего не слышали, кроме Анжелы Дэвис. Во всём мире существует одна Анжела Дэвис, и она страдает. Нам прожужжали все уши этой Анжелой Дэвис. Маленьким детям в школах велели подписывать петиции в защиту Анжелы Дэвис. Мальчикам, девочкам по 8, 9, 10 лет. Ну, освободили Анжелу Дэвис. Хотя она и тут не очень тяжело сидела, но она приехала на поправку на советские курорты. И некоторые советские диссиденты, а больше не советские, а группа чехословацких диссидентов обратилась к ней: товарищ Анжела Дэвис, вы посидели в тюрьме, вы знаете, как обидно сидеть, когда вы считаете себя невиновной. У вас сейчас такой авторитет, помогите нашим чехословацким узникам, защитите тех, кого в Чехословакии преследуют. Анжела Дэвис ответила: так им и надо! пусть сидят! Вот лицо коммуниста, вот сердце коммуниста. (*Апл.*)

Я особенно хочу сейчас напомнить, что коммунизм развивается как стержень, он развивается единым стержнем, вовсе не меняясь, как принято о нём теперь говорить. Ленин. Если Ленин развивал марксизм, а он развивал его, то, во-первых, в сторону идеологической непримиримости. Читая Ленина, вы поражаетесь, сколько злобы и ненависти при малейшем расхождении, когда на волос расходятся взгляды. И потом, развивал Ленин марксизм в сторону его человеконенавистничества. Перед октябрьской революцией в России написал Ленин такую книгу «Уроки Парижской коммуны». Он анализировал, почему коммуна в Париже в 1871 году потер-

пела поражение. И вот был главный вывод Ленина: коммуна слишком мало расстреливала. Коммуна слишком мало уничтожала. Надо было уничтожать целые классовые группы. Придя к власти, Ленин это показал.

Затем придумали такое слово «сталинизм». И оно очень пошло́. И сейчас даже на Западе часто говорят: только бы Советский Союз не вернулся к сталинизму. Но никакого сталинизма никогда не было. Это выдумка хрущёвской группы для того, чтобы свалить на Сталина все коренные особенности, все коренные вины коммунизма. И она очень эффектно удалась. А между тем всё самое главное успел сделать Ленин до Сталина. Это он обманул крестьян с землёй, это он обманул рабочих с самоуправлением, это он сделал профсоюзы органом угнетения, это он создал ЧК, это он создал концентрационные лагеря, это он послал войска подавить все национальные окраины и собрать империю.

Всего-навсего-то Сталин сделал по своей недоверчивости вот что: там, где достаточно было для общего страха посадить двух человек, он сажал сто. А следующее руководство вернулось к прежней тактике. Там, где достаточно посадить двух человек, там и сажают двух человек, а не сто. Вся вина Сталина была перед своей собственной партией. Что он собственной коммунистической партии не доверял. И за это одно придумали сталинизм. И Сталин никуда не ушёл от той же линии. И когда рисовали у нас барельеф: Маркс-Энгельс-Ленин-Сталин, а дальше можно пристроить Мао Цзе-дуна, Ким Ир Сена, Хо Ши Мина — это всё стержень, это всё единая линия.

Сейчас ещё принята на Западе и такая теория: вот в Китае очень такой... очищенный коммунизм, пуританский коммунизм, не переродившийся. А в Китае просто задержалась та фаза казарменного коммунизма, которая установлена была Лениным в России, но продержалась только до 1921 года. Ленин установил её не потому, что этого требовали во-

енные обстоятельства. Он установил её потому, что так они мыслили, так они представляли будущее общество. Но когда под давлением экономики надо было отступить, ввели так называемый НЭП. И отступили. А у китайцев эта фаза задержалась дольше. Китай характеризуется сейчас всеми теми чертами массового принудительного труда, который не оплачивается сколько-нибудь сравнительно со своей стоимостью. Работой и в праздники, насильственными коммунами, и вталкиванием, вдолблением лозунгов и догм, которые упраздняют человеческое существо. Человек перестаёт быть индивидуальностью.

Самое страшное в мировой системе коммунизма — это её соединённость, это её сплочённость. Недавно Энрико Берлингуэр сказал так, совсем вот недавно: над Коминтерном закатилось солнце. О, нет! Оно не закатилось. Его энергия сгустилась в электричество и ушла в подземные провода. Солнце Коминтерна течёт электрическим током высокого напряжения всюду под землёй. И когда недавно был такой инцидент — возмущались западные коммунисты ложью, будто бы подсунули какую-то инструкцию им из Москвы, будто бы Португалия действует по московской инструкции, ну и, конечно, в Москве отрицали. А потом нашли, что всё это самое открыто напечатано в журнале «Проблемы мира и социализма». Эта самая инструкция Пономарёва. Видимые отличия коммунистических партий мира мнимые. Они все едины в одном: ваш строй должен быть уничтожен!

Что удивляться, что это плохо понимает мир? Если социалисты, наиболее близкие к коммунистам, — и они не понимают, и они не могут поверить в природу коммунизма до конца. Недавно вождь шведских социалистов Пальме сказал так: «единственно, как может коммунизм выжить, — это стать на демократические позиции». Единственно, как может выжить волк, — это перестать есть мясо и стать ягнёнком. (*Смех.*) А ведь Пальме — совсем

рядом. Швеция близко к Советскому Союзу. Я думаю, и он, и Миттеран, и итальянские социалисты ещё доживут до положения Суареша. Но и положение Суареша сегодня ещё не самое плохое. Самое страшное ждёт Суареша ещё впереди. Истинно, что́ их всех ждёт, могли бы рассказать только русские социалисты — меньшевики и эсеры. Но они никогда не расскажут. Они все в земле, они убиты. Читайте «Архипелаг ГУЛаг»...

Конечно, в нынешней обстановке коммунисты вынуждены применять разные виды маскировки. То мы слышим «Народный фронт», то мы слышим так называемый «диалог с христианством». Коммунисты будут вести диалог с христианством! У нас в Советском Союзе диалог был простой — из пулемётов, из револьверов. Сегодня в Португалии на безоружных католиков коммунисты пришли с камнями и побили их камнями. Сегодня. Это — «диалог»... И когда французские и итальянские коммунисты говорят, что они будут вести диалог, то дайте им только силу, мы увидим этот диалог. Я в этом году путешествовал по Италии в апреле. Я был поражён: на вратах храма серп и молот. На дверях священника оскорбительная надпись. Хулиганские коммунистические надписи вообще пестрят на стенах итальянских городов. Это сейчас, пока они ещё не пришли к власти, это сейчас... Их руководители, когда они были в Москве, Пальмиро Тольятти, подписывали Сталину, соглашались со всеми казнями. Дайте им прийти к власти в Италии — мы увидим этот диалог!

Все коммунистические партии, когда они получают полную власть, становятся совершенно беспощадны. Но на тех стадиях, когда власти нет, им надо применять маскировку.

Нам, русским, с русским опытом, трагически смотреть на то, что происходит в Португалии. Нам говорили всегда: ну, это у вас, у русских, это вы не могли вашу демократию удержать, 8 месяцев — и у вас её задушили, это на востоке Европы. Но Пор-

тугалия на крайнем западе Европы. Уже западнее Португалии — дальше некуда. И что мы видим? Мы видим как будто бы карикатуру, чуть-чуть изменённые русские события. Для нас это звучит повторением. Мы узнаём, мы можем подставить. Вместо Суареша мы можем подставить наших социалистов. У нас тоже говорили, большевики шли к власти под лозунгом: «Вся власть Учредительному Собранию!» Но получили на выборах 25 процентов. И разогнали его. Здесь коммунисты получили 12 процентов. Так они сделали парламент бездейственным. Какая ирония: говорят, социалисты — победители на выборах. Суареш — лидер победителей. И его лишили собственной газеты. Подумайте, — лидера, лидера победившей партии лишили собственной газеты! А что избрали ассамблею, она будет заседать — не имеет никакого значения. И обо всём этом западная пресса серьёзно пишет: первые свободные выборы в Португалии. О, Боже мой, упаси от таких свободных выборов. (*Апл.*) Отдельные случаи коварства, отдельные случаи хитрости, конечно, в разных обстоятельствах меняются. Но мы узнаём этот характер, мы узнаём коммунистический характер в таком эпизоде, когда военные руководители, якобы не коммунисты, решили рассудить этот случай с газетой «Република»: хорошо, приходите завтра в 12 часов дня, мы откроем вам двери, и вы тут разбирайтесь. Но они открыли в 10, и почему-то знали только коммунисты. А социалисты не знали. Коммунисты пришли, сожгли всё, что надо уничтожить, а потом пришли социалисты. «Ах, это была ошибка! Ошибка, случайно, не сверили часы...»

Вот из таких-то приёмов, их тысячи, соткана вся история нашей революции. И будет много ещё таких случаев в португальской. Или такой пример: нынешние военные руководители Португалии, для того чтобы не потерять помощи Запада, они же уже разорили Португалию, есть-то уже нечего, помощь нужна, заявляют: да, у нас останется многопартийная система. И несчастный Суареш поставлен в по-

ложение — лидер победителей поставлен в положение, что он должен демонстрировать, что рад этому заявлению о многопартийной системе. Но в тот же день из того же рта объявляется, что начинается немедленное построение бесклассового общества. А кто хоть сколько-нибудь из марксизма когда-нибудь видел самый малый кусочек, тот знает, что бесклассовое общество — значит, партий не будет. То есть в один и тот же день сказано: система многопартийная, все партии удушим. И второе не слышно, а первое слышно. И все повторяют: система будет многопартийная... Вот это приёмы коммунистов.

Португалия уже сегодня практически выпала из НАТО. Боюсь быть худым пророком: этих событий не остановить. Португалию можно считать уже очень скоро реальным членом Варшавского пакта. Но невозможно без боли смотреть на это трагическое и ироническое повторение коммунистических приёмов. На двух концах Европы с расстоянием в 60 лет так же точно в несколько месяцев удушается демократия, которая только-только-только хотела стать на ноги.

Частный вопрос о войне тоже отлично освещён в марксистской, коммунистической литературе. Вот как смотрит коммунизм на войну. Я цитирую Ленина: «Мы не можем стоять за *лозунг* мира, ибо считаем его архипутаным... и тормозящим революционную борьбу» (письмо к Коллонтай, июль 1915). Отрицать войну вообще — это не по-марксистски. «...Объективно кому же теперь сыграет на руку лозунг мира? Во всяком случае не пропаганде идей *революционного* пролетариата!» (письмо Шляпникову, ноябрь 1914). «Бесполезно выставлять добренькую программу благочестивых пожеланий о мире, если не выставлять в то же время и на первом месте проповедь нелегальной организации и гражданской войны...» (письмо к Коллонтай, декабрь 1914). Вот как смотрит коммунизм на войну. Война нужна. Война — это средство достичь цели.

Но, к несчастью для коммунизма, в 1945 году эта

прямая линия упёрлась в вашу атомную бомбу. В американскую атомную бомбу. И тогда коммунисты переменили тактику. Тогда они стали внезапно сторонниками мира во что бы то ни стало. Стали собираться конгрессы мира. Петиции мира писаться. И Западный мир поддался этому обману. А цель и идеология осталась та же: уничтожить ваш строй! Уничтожить то, как на Западе идёт жизнь.

Но при вашем атомном перевесе нельзя было себе этого разрешить. И тут произошла подмена понятий. Подменили, сказали так: «не война» — это мир. То есть миру противопоставили войну. А это ошибка. Тезису противопоставили только часть антитезиса. Когда нельзя вести открытой войны, то можно потихоньку душить. Можно применять терроризм, партизанскую борьбу, насилие, тюрьмы, концлагеря. Скажите, это что — мир?

Полная противоположность миру — это насилие. И те, кто хотят в мире мира, должны не только войну убрать из мира, но убрать и насилие. А если нет открытой войны, но идёт насилие, — это не мир.

Пока в Советском Союзе, в Китае, в других коммунистических странах нет предела насилию, а теперь присоединяется к этому массиву, кажется, и Индия, кажется, миссис Ганди не зря ездила в Москву, она хорошо переняла их методы. Можно рассчитывать, что она ещё 400 миллионов добавит к тому массиву, 400 миллионов человек. Пока нет границ насилию, ничто не сдерживает насилие на таком огромном массиве, больше половины человечества, — как можете вы считать себя в безопасности? Америка с Европой вместе — ещё не остров в океане, нет, так я ещё не скажу. Но Америка с Европой уже меньшинство. И процесс этот продолжается всё время. Пока в тех коммунистических странах общественность не контролирует своих правительств и не может иметь суждения, да даже не может знать ничего, даже знать ничего не может, что правительства задумали, — до тех пор у западного мира и у всеобщего мира нет никакой гарантии.

Говорит пословица: схватишься, как с горы покатишься.

Понятно, вы любите свободу. Но в нашем тесном мире приходится платить за свободу пошлину. Нельзя любить свободу только для себя и спокойно соглашаться с тем, что пусть в большинстве человечества, на большей части земли царит насилие и душит людей.

Их идеология: уничтожить ваш строй. Это цель их 125 лет. Она никогда не менялась. Лишь немножко менялись методы. И когда ведётся разрядка, мирное сосуществование и торговля, они настаивают: а идеологическая война должна продолжаться! А что такое идеологическая война? Это сноп ненависти, это повторение клятвы: западный мир должен быть уничтожен. Как когда-то в римском сенате знаменитый оратор кончал каждую речь свою фразой: «А между прочим, Карфаген должен быть уничтожен», — так и сейчас при каждом действии, торговле или разрядке, пресса коммунизма, закрытые инструктажи, тысячи лекторов повторяют: а капитализм должен быть уничтожен!

Можно понять, это человеческое чувство, я всегда говорю: живя в благополучии, трудно поверить, что надо уже сейчас, в благополучии, применять какие-то меры предосторожности. Что в благополучии уже надо остерегаться.

Да если начать перечислять список нарушенных Советским Союзом договоров, то это составит ещё один доклад. Я понимаю, когда ваши государственные деятели подписывают с Советским Союзом или с Китаем какой-нибудь договор, вам хочется верить, что этот договор будет выполнен. Но ведь и поляки в 1921 году в Риге, когда подписывали договор с коммунистами, им тоже хотелось верить, хотелось верить, что это будет так. Но их ударили в спину. Но ведь Эстония, Латвия и Литва, когда они подписывали договоры о дружбе с Советским Союзом, им тоже хотелось верить, что это будет так. Но их всех проглотили.

Те самые люди, которые подписывают с вами договоры, те самые, не другие, отдают распоряжения о психиатрических домах и о тюрьмах. И почему же они должны быть разные? Из любви ли к вам? Как это объяснить? Почему они тех, кто у них под рукою, давят, а по отношению к вам будут благородно честными? Пока что защитники разрядки этого не объяснили.

Вам хочется верить, и вы уменьшаете свою армию. Вы уменьшаете исследовательские работы. Целый был такой институт по изучению Советского Союза. Хоть один-то институт был. Вы ничего не знаете о Советском Союзе. Там темнота. Вот эти прожекторы туда не бьют. (*Апл.*) И ничего не зная, вы упразднили последний, единственный институт, который хоть что-то мог изучить. Жалко денег стало. А Советский Союз, наоборот, изучает вас. Вы все открыты через прессу, через парламент. И ещё он изучает вас. И увеличивает штаты своих представителей здесь. И они следят за вашими учреждениями, они аккуратно посещают заседания, если можно, даже комиссии вашего Конгресса, они всё это изучают.

Конечно, всякие мирные соглашения очень привлекательны для тех, кто их подписывает. Они укрепляют престиж у избирателей. Но будет время, имена этих государственных деятелей смоет история. Никто их уже не вспомнит. А западные народы будут расплачиваться за эти доверчивые соглашения. (*Апл.*)

И если бы только оказывалось, что разрядка нужна вот сегодня, сейчас. Нет, находятся теоретики, которые очень далеко видят. Директор русского института колумбийского университета Шульман на заседании сенатской комиссии по иностранным делам осветил блестящую дальнюю перспективу, он сказал: «Разрядка имеет дальний план. В дальнем плане будет совместное сотрудничество Соединённых Штатов Америки и Советского Союза в установлении мирового порядка.» Да какой же новый порядок в сотрудничестве с ненасытным тоталитариз-

мом думает установить этот профессор? (*Апл.*) Это не ваш будет порядок.

Но главный аргумент сторонников разрядки известен, это всё необходимо делать для того, чтобы избежать ядерной войны. Я думаю, что после всего, что произошло за эти годы, я могу успокоить их и вас: а ядерной войны, ядерной войны — и не будет. Зачем? Зачем ядерная война, если вот уже целые 30 лет от Западного мира отламывают столько, сколько надо. Страну за страной, страну за страной. Процесс идёт. Если говорить только об этом 1975 годе, ну вот, 4 страны уже отломили. Четыре. Три страны Индокитая и Индию. И так процесс идёт. И чрезвычайно быстро. Этот темп надо оценить. Но, допустим, наступит момент, когда наконец Западный мир поймёт и скажет: нет, ни шагу дальше! Что произойдёт в этом случае?

Я хочу обратить ваше внимание. У вас есть такие теоретики, которые говорят: остановите ядерное вооружение США. Мы, мол, уже имеем сейчас, Америка сегодня имеет ядерного вооружения столько, достаточно, чтобы уничтожить половину мира противоположного. Зачем нам больше? Пусть судят ядерные специалисты. Но почему-то ядерные специалисты Советского Союза, почему-то руководители Советского Союза думают иначе. Спросите ваших специалистов. Я уже не говорю о превосходстве в танках, в самолётах в 4, 5, 7 раз. Но вот за сегодняшними переговорами СОЛТ, за сегодняшним разоружением ваш оппонент всё время обманывает вас. То использует радар на контроле, который по соглашению нельзя было использовать. То нарушает договор об ограничении размеров ракет. То нарушает условия их разрушительной силы. То нарушает условия о разделяющихся головках. Не доглянешь оком, заплатишь боком. (*Апл.*) Было время, когда Советский Союз не шёл ни в какое сравнение с вами по атомному вооружению. Потом сравнялся, сравнялся. Потом, сейчас уже все признают, что начинает превосходить. Ну, может быть, сейчас коэффици-

ент больше единицы. А потом будет два к одному. А потом три к одному. А потом пять к одному. Я не специалист в этой области, и вы не специалисты. Но, наверное, это не зря. Но я думаю, что, если бы хватало того вооружения, не гнали бы дальше. Я думаю, что есть там какой-то резон. Что при таком превосходстве в ядерном оружии можно будет ваше оружие остановить! И в одно несчастное утро открыто объявят: внимание, мы отправляем войска в Европу. А если вы пошевельнётесь, мы вас уничтожим. И окажется, что это соотношение: три к одному или пять к одному — сработает. И вы не шевельнетесь. И у вас найдутся теоретики, которые сейчас же скажут: о, только бы наступила благословенная тишина!..

Это всё напоминает такую ситуацию, что сидит за шахматной партией игрок, который чрезвычайно высокого мнения о себе и невысокого мнения о противнике. Он считает, что он, конечно, превосходит противника, что он такой тонкий, такой расчётливый, ну, конечно, он обыграет. Он сидит, рассчитывает свои комбинации, вот двумя конями он делает четыре вилки. Он ждёт не дождется следующих ходов, он ёрзает на стуле от радости. Он не допускает, что противник умней его. Он не видит, что у него летят пешки. И ладья его под ударом. Ему всё кажется: ага, так-так-так-так, мы Москву, Пекин, Пхеньян, Ханой, мы их перессорим. Да смешно! Кто их перессорит? А пока что: в Западном Берлине вас переиграли. В Португалии исключительно тонко переиграли. На Ближнем Востоке переигрывают. Не надо быть такого низкого мнения о своём противнике.

Но даже если бы этот шахматист мог бы выиграть партию на доске, он забывает, он забывает, увлечённый доской, поднять глаза и посмотреть, что у его противника глаза убийцы. И если у противника партия не удастся, у него за спиной дубина, и он раскроит и голову этому шахматисту, и эту партию. (*Апл.*) Этот расчётливый шахматист забывает под-

нять глаза, посмотреть и на барометр. Барометр упал. Он не видит, что уже нет света из окна, что идут тучи и надвигается ураган. Вот это значит слишком поверить в свои способности на шахматной доске.

А подходит действительно... Кроме той тяжёлой политической ситуации, которая сегодня на земле, мы с вами присутствуем, на нас надвигается ещё новая ситуация. Это — кризис неведомого рода, это нечто другое, это совсем не политическое. Приближается крупный поворот всей мировой истории, всей цивилизации. Это уже замечено многими в разных местах, по своим специальностям. Это поворот, я бы не нашёлся ни с чем его больше сравнить, как с поворотом от Средних Веков к Новому Времени. Это целый поворот цивилизации. Это такой поворот, когда устоявшиеся понятия вдруг становятся нерезкими, теряют точные контуры. Это такой поворот, когда часто употребляемые, привычные наши, обычные слова теряют смысл, становятся пустышками. Это такой поворот, когда методы, безотказные много столетий, — не берут, перестают действовать. Это такой поворот, когда иерархия ценностей, которой мы поклоняемся, чтó мы считаем самым для себя дорогим и что менее, из-за чего колотится наша жизнь и наше сердце, — эта иерархия начинает качаться и может рухнуть.

И вот эти два кризиса, политический кризис сегодняшнего мира и придвигающийся кризис духовный, они сходятся во времени. И, очевидно, ещё нашему поколению предстоит войти в них. На руководство вашей страны, которая откроет третье столетие вашего существования, может быть, ляжет тяжесть, которой не было ещё во всей американской истории. Вашим руководителям этого уже близкого времени понадобится глубокая интуиция, духовное предвидение, высокие качества ума и души. Пошли вам Бог, чтобы в те минуты вас возглавили такие же великие характеры, как те, которые создали вашу страну. (*Апл.*)

За последнее время, путешествуя по некоторым вашим штатам, я, конечно, ощутил, что эти два города, в которых я выступаю, Вашингтон и Нью-Йорк, далеко-далеко не выражают вашей страны, всего разнообразия и всех возможностей её. Так же точно, как старый Санкт-Петербург не выражал России. Как Москва не выражает сегодняшнего Советского Союза, как Париж не раз злоупотреблял, что выражает всю Францию.

Я испытал глубокое впечатление, прикоснувшись к тем местам, откуда текли и текут ваши истоки. Ещё раз задумаешься: люди, создавшие ваше государство, никогда не упускали из руки нравственного компаса. Они не смеялись над абсолютностью понятий «добро» и «зло». И свою практическую политику они сверяли с этим нравственным компасом. И вот удивительно: политика, рассчитанная по нравственному компасу, оказывается самой дальновидной и самой спасительной. Хотя в ближайшем коротком кругозоре кажется: да зачем эта нравственность? Вот надо сейчас, тут смотреть, как вот тут близко сейчас покомбинировать.

Руководители, создавшие вашу страну, никогда не говорили: пусть рядом царит рабство, ладно, а мы вступим с ним в разрядку, лишь бы оно не распространилось на нас.

Я достаточно попутешествовал по разным штатам вашей страны, в разных концах её, чтобы сказать, что я убедился в здоровости, крепости, широте провинциальной Америки. Я уверен, что эти здоровые, щедрые, неисчерпаемые силы помогут вам возвысить весь стиль вашего государственного руководства.

Да, когда путешествуешь по вашей стране, видишь вашу свободную и независимую жизнь, действительно, все эти мировые опасности, о которых я сегодня говорил, кажутся нереальными. Действительно, вот я знаю, я пришел, говорю. Но здесь на ваших просторах и я начинаю понимать это беззаботное чувство. Правда, как-то нереально. На этом

континенте трудно поверить во всё то, что происходит на земле. Но, господа! Беспечной жизни уже не будет ни у вашей страны, ни у нашей страны. У наших двух стран очень нелёгкая судьба. И лучше к этому готовиться заранее. (*Апл.*)

Я понимаю, я ощутил: вы устали. Вы устали, но ведь вам ещё не достались подлинные страшные испытания XX века, которые перекатились над старым континентом. Вы устали, но не так, как устали мы, 60 лет лежим, придавленные к земле. Вы устали, но не устали коммунисты, которые имеют целью уничтожить вашу систему! Нисколько не устали. (*Апл.*)

Я понимаю, сейчас самый неудачный момент приехать в эту страну и выступать вот с такими речами, как я. Но, если бы был удачный момент, удобный, в моих выступлениях не было бы и нужды. (*Апл.*) Вот именно потому, что момент самый неудачный, именно поэтому я пришёл рассказать вам об опыте о т т у д а. Если бы наш опыт Востока сам к вам влился, мне не нужно было бы принимать эту несвойственную мне и не любимую мною роль оратора. Я писатель, я бы сидел и писал свои книги.

Но концентрируется мировое зло, ненавистное к человечеству. И оно полно решимости уничтожить ваш строй. Надо ли ждать, что оно ударит ломом в вашу границу и что американская молодёжь должна будет умирать на границах вашего континента?

После моего первого выступления, как всегда в прессе бывают, были поверхностные, в суть не вникающие комментарии. И один из них был такой: будто бы я приехал призывать Соединённые Штаты освобождать н а с от коммунизма. Кто хоть сколько-нибудь следил за тем, что я писал и что говорил много лет в Советском Союзе, а потом уже на Западе, тот знает: я всегда говорил противоположное. Я призывал моих соотечественников, тех, у кого в трудные моменты дрогнуло сердце и они смотрели с мольбой на Запад, я призывал: не ждите помощи!

И не просите помощи! Это нечестно. Мы должны стать сами на свои ноги. У Запада довольно своих забот без нас. Поддерживают нас — спасибо сердечное. Но просить, но призывать — никогда.

Я сказал прошлый раз: в мире идут два процесса. Один процесс — духовного освобождения СССР и других коммунистических стран. Второй процесс — подача помощи с Запада коммунистическим правителям. Уступок, разрядки, отдачи целых стран. И я только сказал: помните, мы там сами должны подняться, но, защищая нас, вы защищаете своё будущее.

Мы, там, по рождению рабы. Мы родились рабами. Вот я не молод, а я родился уже в рабстве. А все, кто моложе меня, тем более. Мы рабы, но мы тянемся к свободе. А вы, вы свободны по рождению. Но, если вы свободны по рождению, зачем вы подставляете шею рабству? Зачем вы помогаете нашим рабовладельцам? (*Апл.*) Я единственно о чём просил в моей прошлой речи и прошу сейчас: когда нас живьём закапывают в землю (я сравнивал предстоящее европейское соглашение с братской могилой Восточной Европы)... А вы знаете, это очень неприятное ощущение: когда земля забивается тебе в рот, а ты ещё жив... Когда нас живьём закапывают в землю, пожалуйста, не подавайте лопаты могильщикам! Пожалуйста, не посылайте им современных землеройных машин! (*Апл.*)

По совпадению, в тот самый день, когда я произносил речь в Вашингтоне, к вашим сенаторам в московском Кремле обратился Суслов. И он сказал: собственно, значение торговли больше политическое, чем экономическое. Обойдёмся мы и без вашей торговли. — Ложь! Всё существование наших рабовладельцев от начала и до конца стоит на западной экономической помощи. (*Апл.*) Я говорил в прошлый раз: начиная от первых деталей, которыми восстанавливались заводы наши в 20-е годы, начиная от строек Магнитостроя, Днепростроя, автомобильных заводов, тракторных в первые пятилетки, и

в послевоенные годы и сейчас, и всё, что требуется им от вас сейчас, это всё совершенно необходимо. Не политически, — экономически необходимо советской системе. Советская экономика обладает чрезвычайно малым коэффициентом полезного действия. Чрезвычайно слабой эффективностью. И то, что у вас делается малым числом людей, малым числом машин, — у нас собирает огромные толпы и большие массы материалов. Поэтому советская экономика не может справиться со всем сразу. И война, и космос, связанный с войной, и тяжёлая промышленность, и лёгкая промышленность, и накормить своё население и одеть, — так вот, силы всей советской экономики сосредотачиваются на войне, где вы не будете помогать. А всё, чего не хватает, что можно пристроить туда или что нужно для того, чтобы накормить народ, или сделать остальную промышленность, — всё берётся от вас. Так вы косвенно помогаете военной подготовке и полицейской крепости Советского Союза. (*Апл.*)

Чтобы представить себе, как нелепа советская экономика, маленький пример. Скажите, что это за страна, великая держава мира, которая: имеет огромный военный потенциал, завоёвывает космос, — а что она может продать? Всю тяжёлую технику, сложную, тонкую технику — покупает. Так тогда это сельскохозяйственная страна? Ничего подобного, зерно тоже покупает. Что же мы можем продавать? Что это за экономика? То, что создано у нас социализмом? Нет! То, что Бог от начала положил в русские недра, вот это всё мы транжирим и продаём. То, что от Бога. А когда кончится — нечего будет и продавать.

Но торговля на этом не остановится. Председатель Американской Федерации Труда — Конгресса Производственных Профсоюзов мистер Джордж Мини справедливо сказал недавно: это — не займы, которые мы даём, которые вы, Соединённые Штаты, даёте Советскому Союзу, а это экономическая помощь. Она даётся на таких процентах, на которых

американский рабочий не может взять ссуду на постройку дома. Это — прямая помощь.

Но если б это было всё. Я в прошлой речи говорил и сейчас хочу напомнить, надо на каждую вещь смотреть ещё с той стороны, от нас. Наша страна берёт вашу помощь, а в школах учат, а в газетах пишут, а в лекциях говорят: смотрите, западный мир загнивает! Смотрите, экономика западного мира кончается, сбываются великие предсказания Маркса, Энгельса и Ленина: капитализм погиб! Он уже совершенно погиб! А наша социалистическая экономика, мол, расцветает, она доказала наконец торжество коммунизма. И вот я думаю, господа, особенно те, кто имеет социалистическое мировоззрение: дайте же наконец социалистической экономике доказать своё превосходство! Дайте ей доказать, что она передовая, что она всемогущая, что она вас побила, что она вас перегнала. Не вмешивайтесь в неё. Перестаньте ей давать взаймы и продавать. (*Апл.*) Если она такая всемогущая, ну вот она встанет сама, постоит 10—15 лет на своих собственных ногах, а мы посмотрим. И я скажу вам, что будет. Так пошутили, а дальше без шутки. А без шутки будет то, что, когда на все стороны нельзя будет управиться экономике, она должна будет уменьшить свою военную подготовку, она должна будет бросить бесполезный космос и должна будет кормить народ и одевать его. И должна будет смягчить свою систему.

Таким образом, всего-навсего, к чему я призываю, это: раз она такая процветающая экономика, раз она такая гордая, а ваша такая пропащая, загнившая, так перестаньте той помогать. Ну где же, когда же калека помогал богатырю? (*Смех и аплодисменты.*)

И ещё одно искажение промелькнуло в вашей прессе по поводу моего предыдущего выступления. Сказали: ну вот, приехал к нам ещё один оратор холодной войны. Приехал к нам ещё один призывать возобновить холодную войну. Нет, плохо поняли. Холодная война, война ненависти, она и сегодня

идёт, только со стороны коммунизма. Что такое холодная война? — ругательная война. Вас и так ругают. С вами торгуют, подписывают договоры, — и ругают, и проклинают. И в тех источниках, которые вы можете читать, а ещё больше в тех, которые вы не читаете и не слышите, там, в глубине Советского Союза, против вас холодную войну не прекращали никогда ни на одну минуту. Вас иначе не называют, как американские империалисты. Я говорю: в один день достаточно всем газетам напечатать, что вы хотите подавить мир, — и нашим людям даже негде взять другой информации. Но призываю ли я вас к холодной войне? Ни в коем случае, Боже упаси, зачем? Всего-навсего, только: дайте возможность этой экономике развиваться. Не закапывайте нас в землю, а экономика пусть развивается, а мы посмотрим.

Но способна ли свободная, разнообразная западная система принять такую линию? Способна ли она вся едино согласиться: и правда, перестанем соревноваться, перестанем угождать, перестанем отталкивать друг друга локтями — мне, мне, мол, пожалуйста, концессию, мне вот там дайте... Очень может быть, что и не согласится. И если такого единства не будет найдено, если в безумном соревновании фирм будут всё так же гнать займы и тонкую технику, и подавать землеройные машины для наших могильщиков, боюсь, что окажется прав Ленин, который сказал: сама буржуазия продаст нам верёвку, а мы ей дадим повеситься.

С древних времён торговля начиналась с того, что два встретившихся человека, пришедших из леса или по морю, по реке, показывали, что у них нет палки, нет камней, что они не вооружены. И в знак этого они показывали открытую ладонь. И так создалось — рукопожатие. И сегодня то, что называется «детант», — это есть ослабление туго натянутой верёвки. (Какое зловещее совпадение — опять верёвки...) Ведь «детант» — это ослабление. А я бы сказал — нужна открытая ладонь. Нужны такие отношения между Советским Союзом и Соеди-

нёнными Штатами, чтобы не было обмана в вооружении, чтобы не было концентрационных лагерей, чтобы не было психиатрических домов для здоровых. Чтобы не сжимались горла женщин от слёз. Чтобы прекратилась эта вечная идеологическая война, которую против вас ведут. Чтобы такое выступление, как моё сегодня, не носило бы никакого характера исключительности. А запросто приезжали бы к вам люди из Советского Союза, из Китая, из других коммунистических стран, не подготовленные КГБ, не одобренные ЦК партии, а просто приезжали люди от себя, и могли бы вам рассказывать, что, правда, у нас творится.

И вот это и была бы, как я называю, «открытая ладонь». (*Аплодисменты.*)

РЕЧЬ НА ПРИЁМЕ В СЕНАТЕ США

Вашингтон, 15 июля 1975

Многоуважаемые господа!

Здесь, в здании Сената Соединённых Штатов Америки, я не могу не начать с того, что нисколько не забыл ту высокую и даже исключительную честь, которую оказал мне Сенат, проявив двукратные усилия присвоить мне звание «почётного гражданина Соединённых Штатов». Я понял эти усилия так, что вы имели в виду не исключительно меня как личность, но — бесправное множество моей страны и даже других коммунистических стран, то множество, которое никогда не имело и не имеет возможности высказать своё мнение ни в прессе, ни в парламентах, ни на международных конференциях.

Принося вам благодарность за решения, принятые Сенатом США относительно меня, я тем более ощущаю ту ответственность, почти непосильную для плеч отдельного физического человека, ответственность такого представительства. Но так как я никогда не забывал страданий, поисков и порывов того безмолвного множества и не имел другой цели в жизни, как выразить именно их, — это даёт мне силу и для нынешних выступлений в США и для сегодняшнего выступления здесь. В виде публицистическом у нас, в коммунистических странах, выступают пока немногие, но сплошь миллионы понимают мерзость системы, испытывают отвращение к ней, а кто успевает — «голосует ногами», просто убегая от этого массового насилия и уничтожения.

Сегодня здесь я вижу не только членов Сената, но и группу членов Палаты Представителей. Итак,

я впервые выступаю перед участниками законодательного процесса вашей страны, влияние которого за последние годы распространилось на ход далеко не только американской истории.

Наш с вами жизненный опыт почти совершенно и во всём противоположен. От изобилия пережитого в XX столетии русский опыт стал горьким образом слишком богат и даже обращён к вам как бы из Будущего. Тем более необходимо нам с настойчивостью и полной открытостью выражать друг другу свой опыт. Одна из самых страшных опасностей сегодняшнего мира в том и состоит, что судьбы мира как никогда связаны в единый клубок, так что события или ошибки в одной части мира тотчас отражаются на судьбе другой, — а между тем обмен информацией и суждениями между массами населений перегорожен железными заставами с одной стороны, а с другой стороны — искажается удалённостью, слабой осведомлённостью, узостью кругозора или преднамеренностью теорий наблюдателей и истолкователей.

Несколькими своими выступлениями в вашей стране я пытался прорвать эту стену бедственного незнания или беспечной надменности. Я пытался передать вашим соотечественникам скованное дыхание жителей Восточной Европы именно в эти недели, когда дружным согласием дипломатических лопат будут засыпаны и утрамбованы в братской могиле ещё дышащие груди. Я пытался объяснить американцам, что именно в нежном расцвете детанта — ещё уменьшена, ещё снижена в 1973 году голодная норма питания в тюрьмах и лагерях СССР, и именно в последние месяцы, когда всё большее количество западных ораторов указывает на благодетельные последствия «разрядки», — в Советском Союзе утверждено ещё новое важное усовершенствование наказательной системы: сохраняя бессмертное первенство в изобретении концлагерей принудительного труда, тюрьмоведы Советского Союза сегодня установили и новый вид одиночного тюремного заключения: принудительный труд в тюремных камерах —

холодных, голодных, без свежего воздуха, без достаточного света и по непосильным нормам выработки, а за их невыполнение — карцер.

Увы, такова человеческая природа, что никакие чужие страдания не омрачают нашего временного блаженства и не могут быть нами ощущены, пока они не выпадут и на нашу долю. Я не уверен, сумел ли я своими выступлениями донести это дыхание грозной реальности до благоденствующего американского общества. Но я сделал, что был обязан и что мог. Тем горше, если справедливость моих предупреждений будет оценена лишь через несколько лет.

Недавно ваша страна пережила длительное вьетнамское испытание, утомившее и разделившее ваше общество. Я уверенно говорю вам: это испытание было самым лёгким из той цепи испытаний, которые в близкое время ожидают вашу страну.

Соединённые Штаты Америки, хотят они того или не хотят, поднялись на хребет мировой истории и несут на себе тяжесть руководства если не всем миром, то ещё доброй половиной его. Соединённые Штаты не имели до того тысячелетней подготовки, и за двести лет, пожалуй, не было времени окончательно спаяться национальному самосознанию, — а груз обязанностей и задач наваливается, не спросясь.

Потому и вы, члены Сената и члены Палаты Представителей, каждый из вас — не рядовой член рядового парламента, но вы вознесены на особую высоту в современном мире. Я хотел бы передать вам, как мы там, подданные коммунистических стран, воспринимаем ваши слова, действия, проекты и осуществлённые резолюции, разносимые мировым радио, — иногда с горячим одобрением, иногда с ужасом и отчаянием, — но никогда не имеем возможности крикнуть об этом вслух. Может быть некоторые из вас, сами для себя, ещё чувствуют себя всего лишь представителями своего штата или своей партии, — но мы о т т у д а, издали, не видим этих

различий, мы воспринимаем вас не как демократов и не как республиканцев, не как представителей Восточного побережья, или Тихоокеанского, или Среднего Запада, — мы воспринимаем вас как деятелей, от каждого из которых в близком будущем зависит трагический или спасительный ход мировой истории.

В том наступающем сочетании мирового политического кризиса и данного поворота человечества, утомлённого и засорённого ложной иерархией ценностей, — на вас или на ваших последователей в Капитолии выпадут, уже сегодня ложатся задачи непомерно огромные, несравненно более крупные, чем короткие расчёты дипломатии, межпартийной борьбы или противоборения между Президентом и Конгрессом. И выбора нет, как только: возвыситься в рост с задачами века.

Очень скоро, слишком скоро вашему государству понадобятся не только незаурядные, но — в е л и к и е люди. Найдите их в своих душах. Найдите их в своих сердцах. Найдите их — в глубинах своего Отечества!

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ РАДИО

Лондон, 26 февраля 1976

Радиостанция Би-Би-Си гостеприимно предложила мне высказаться: как я, иностранец, изгнанник, вижу сегодняшний Запад, и в частности вашу страну. Посторонний взгляд может нести нечто свежее. Я хочу надеяться, что вам будет не очень скучно выслушать меня. Разумеется, я недостаточно знаю внутреннюю вашу историю, но за внешней, как и многие русские, всегда следил внимательно. Я буду говорить откровенно, не пытаясь понравиться вам или польстить. Поверьте, я рад был бы наполнить эту беседу восклицаниями восхищения. Четверть века назад в каторжных лагерях Казахстана, готовясь к нашим безнадёжным мятежам против коммунистических танков, мы видели Запад солнцем свободы, твердыней духа, сокровищницей разума.

Как раз в тот год ваш министр Моррисон удачной тактикой заставил газету «Правду» бесцензурно напечатать целую страницу его высказываний. Боже мой, с какой жадностью мы, каторжане с обритыми головами, в оборванных грязных телогрейках, стуча тяжёлыми лагерными тóпалами, ринулись к витрине, где вывешивалась центральная большевицкая газета: вот сейчас и в наше подземное царство ворвётся алмазно-светлый и алмазно-твёрдый луч истины и надежды. Небывалый за 40 лет прорыв через бульдожью хватку советской цензуры! что за правду он сейчас им влепит! как он нас поддержит! Но мы читали, читали эту беспомощную водянистую статью — и оседали вместе с ней: то была легкомысленная речь человека, не имеющего понятия о свирепой структуре, о безжалостных целях комму-

нистического мира. (Потому-то «Правда» и расщедрилась её напечатать.) Нам, испытавшим 40 лет ада, английский министр не нашёлся сказать ни одного спасительного слова.

Шли годы и шли десятилетия. Несмотря на железный занавес, сведения о событиях и мнениях Западного мира проникали и проникали к нам, особенно через русские передачи Би-Би-Си, даже и в периоды жестоких глушений. И чем дальше, тем больше состояние вашего мира вызывало у нас недоумение.

Есть много загадок и противоречий в человеческой натуре, их сложность и вызывает к жизни искусство, то есть поиск не линейных формулировок, не плоских решений, не однозначных объяснений. Среди таких загадок: почему люди, придавленные к самому дну рабства, находят в себе силу подниматься и освобождаться — сперва духом, потом и телом? А люди, беспрепятственно реющие на вершинах свободы, вдруг теряют вкус её, волю её защищать и в роковой потерянности начинают почти жаждать рабства? Или: почему общества, кого полувеками одурманивают принудительной ложью, находят в себе сердечное и душевное зрение увидеть истинную расстановку предметов и смысл событий? А общества, кому открыты все виды информации, вдруг впадают в летаргическое массовое ослепление, в добровольный самообман?

Таким открыли мы за многие годы соотношение духовных процессов, идущих на Востоке и на Западе, — увы, ваш процесс впятеро и вдесятеро быстрей, чем наш, и это почти лишает человечество надежды избежать глобальной катастрофы. Годами мы не хотели этому верить, мы надеялись, что Запад видится нам таким от недостаточности приходящих сведений. Несколько лет назад в нобелевской лекции я говорил об этом уже с большим опасением. И всё же, пока сам не попал на Запад и не осмотрелся здесь два года, я не мог бы представить, до какой крайней степени Запад *желает* быть слепым к миро-

вой ситуации, до какой крайней степени Запад уже обратился в мир потерянной воли, цепенеющий перед опасностью и более всего угнетённый необходимостью защищать свою свободу.

Есть известная немецкая пословица: Mut verloren — alles verloren, потеряно мужество — потеряно всё. Есть другая, древняя латинская, где верным признаком гибели считается потеря разума перед тем. Но что должно произойти с обществом, где скрещиваются, одновременно проявляются обе эти потери — и мужества, и разума? Таким нашёл я современный Запад.

Конечно, и этому процессу есть незагадочное объяснение, и не внешнее, как модно в наш век: считать самого человека безупречным, а всё сваливать на дурное устройство общества. Объяснение — самое человеческое: с тех пор как провозглашено и усвоено, что *над* человеком нет высшей силы, но человек — венец вселенной и мера всех вещей, — потребности, желания (и слабости) человека естественно понялись как высшие императивы вселенной. И, значит, только то в мире хорошо и следует делать, что ублаготворяет наши чувства. Это мировоззрение родилось именно в Европе несколько веков назад, тогда его материалистические крайности объяснялись предыдущими крайностями католичества. Но в беспрепятственном полноводном течении нескольких веков оно заполнило весь Западный мир, уверенно вело его на колониальные завоевания, на захват африканских и азиатских рабов, — всё это в приличном соседстве с наружным христианством и расцветом собственных свобод. И к началу XX века это мировоззрение, казалось, стояло в зените цивилизации и разума. И ваша страна, Англия, всегда бывшая ядром или даже жемчужиной Западного мира, выражала ту цивилизацию особенно сильным ярким блеском — и в хорошем, и в дурном.

И в 1914 году, открывая зловещий XX век, над этой цивилизацией грянула гроза, размеров и дальности которой никто не мог тогда охватить. Четыре

года Европа невиданно уничтожала сама себя, а в 1917 на её краю обнажилась и зазияла трещина — впад в бездну. Эта трещина тоже имела незагадочное происхождение: она была самым последовательным проявлением учений, веками блуждавших по Европе с немалым успехом. Но было в этой трещине и нечто космическое: по её ещё не вымеренной, не воображённой глубине; по её непредставимой способности расширяться и поглощать.

За 40 лет до того Достоевский предсказывал, что социализм обойдётся России в 100 миллионов жертв. Цифра казалась невероятной. Я очень рекомендую английской печати сделать для английского читателя доступным трёхстраничный бесстрастный подсчёт русского профессора статистики Ивана Курганова. Он напечатан на Западе 12 лет назад, но, как всегда в социальной области, только то принимается нами в познание, что не противоречит нашим эмоциям. Из этого подсчёта мы узнаём, что Достоевский если ошибся, то в *меньшую* сторону: социализм обошёлся нынешнему Советскому Союзу с 1917 по 1959 — в 110 миллионов человек!

Когда происходит геологическая катастрофа — не сразу опрокидываются континенты в океан. Сперва в каком-то месте должна пролечь эта зловещая начинательная трещина. По многим причинам сложилось так, что эта первая мировая трещина легла по нашему русскому телу, могла бы — и в другом месте. России, которую принято было считать отсталой, довелось совершить социальный скачок в целое столетие, обгоняя опыт всех стран мира. С нечеловеческой плотностью мы пережили на себе нечеловеческий опыт, о котором Западный мир, вот и ваша Англия, до сих пор не имеет, а точней: боится иметь подлинное представление. И со странным ощущением мы, люди из Советского Союза, смотрим на нынешний Запад: как будто не соседи по планете, не современники, мы смотрим — из вашего будущего, или — на наше прошлое, 70-летней давности, которое вдруг повторяется. Всё то же, всё то же видим

мы: всеобщее поклонение взрослого общества мнениям своих детей; лихорадочное увлечение многой молодёжи ничтожно-мелкими идеями; боязливость профессоров оказаться не в модном течении века; безответственность журналистов за метаемые слова; всеобщая симпатия к революционерам крайним; немота людей, имеющих веские возражения; пассивная обречённость большинства; слабость правительств и паралич защитных реакций общества; духовная растерянность, переходящая в политическую катастрофу. Следующие события — впереди, но уже близко, и мы по горькой *памяти* можем без труда «предсказывать» их вам.

С тех пор как в 1917 началась эта мировая катастрофа — до конца логически развилось и проявилось то несравненное прагматическое мировоззрение, избегающее нравственных решений, на котором воспитана сегодняшняя Европы: коль скоро не существует никаких высших духовных сил над нами, а я, Человек с большой буквы, — венец вселенной, то если кому неизбежно погибнуть сегодня, пусть погибают всякие другие, а не самый ценный я и мои близкие. На территории бывшей России уже бушевал Апокалипсис, — Западная Европа спешила вырваться из этой проклятой войны, всё забыть поскорей, возобновить благоденствие, моды и новые танцы. Ллойд Джордж так и сказал: забудьте о России! Мы должны заботиться о благосостоянии нашего общества.

В 1914, когда нужна была помощь для западных демократий, Россией не побрезговали. Но в 1919, тем самым русским генералам, кто три года выручал Марну, Сомму и Верден, в напряженьи всех русских сил и выше русского разума, — тем самым генералам западные союзники отказали и в военной помощи и в союзе. Уже довольно русских солдат было погребено даже и в земле Франции, а с других русских солдат, приплывших в Константинополь, высчитывали стоимость пайка, конфискуя в уплату солдатское бельё, и толкали их вернуться на рас-

праву к большевикам или ехать полурабами на кофейные плантации Бразилии.

Неблаговидностям обычно находятся благовидные или даже блистательные оправдания. В 1919 не говорилось открыто: «да какое нам дело до ваших страданий?», но говорилось: мы не имеем права поддерживать власти даже союзной страны против желания их народа. (Когда в 1945 пришлось миллионы советских людей против их воли предавать на Архипелаг ГУЛАГ, аргумент удобно обернули: мы не имеем права поддержать желание этих миллионов и не выполнить обязательств перед властями союзной страны. Каждый раз избиралась форма, удобнейшая для эгоизма.)

Но нашлось оправданье и выше: происходящие в России события были несомненным продолжением всего XVIII и XIX веков Европы, всеобщего перехода от либерализма к социализму. Итак, по инерции идей надо было восхищаться ими. И вот вся *прогрессивная,* вся влиятельная общественность Европы (и в Англии — ярче всего) — восхищалась «невиданным передовым экспериментом в СССР», когда нас уже душили раковые метастазы Архипелага и зимой в тайгу отправляли умирать миллионы самых трудолюбивых крестьян. Не так далеко от вас, на Украине и Кубани, пухли от голоду в мирные годы, корчились и умирали 6 миллионов крестьян, с детьми и стариками, — и ни одна западная газета не пожелала печатать тех фотографий и сообщений, а ваш остроумец Бернард Шоу опровергал: «В России — голод? Никогда я не обедал столь сытно и вкусно, как переехав советскую границу.» Ваши правители, парламентарии, ораторы, публицисты, писатели, властители ваших дум умудрялись десятилетиями *не замечать* 15-миллионного ГУЛАГа! До 30 книг о ГУЛАГе напечатаны в Европе прежде моей — и почти ни одна не замечена.

Где-то есть рубеж, господа, где инерция «идейности», «зари новой жизни» переходит в сознательное, рассчитанное — лицемерие. Ибо так — удобнее жить.

За последнее столетие, если не дольше, ваш конфликт с Гитлером был тем исключительным выдающимся случаем, когда Англия отбросила философию прагматизма: «что выгодно», признавать во главе стран любую группу бандитов или труппу марионеток, лишь бы они фактически контролировали территорию, — как это проявляется и декларируется по сегодняшний день. В случае с Гитлером Англия полной душой приняла позицию нравственную — и это подвигло её на одно из самых героических сопротивлений её истории.

Позиция нравственная, даже в политической жизни, всегда сохраняет нам дух, а иногда, как видим, и само наше физическое существование. Нравственная позиция вдруг оказывается дальновиднее всяких прагматических расчетов.

Ваша война против Гитлера, однако, не имела характера в аристотелевском смысле трагического: ваши жертвы, страдания и смерти оправдывались, не противоречили целям войны: вы защищали и защитили именно то, что хотели защитить. А для народов СССР война была трагической: мы попали в такое положение, что были вынуждены всеми силами и несравненно бо́льшими жертвами, защищая родную землю, тем самым укрепить ненавистное для себя: власть своих палачей, свою угнетённость, свою гибель (и, как видно уже сегодня, — вашу завтрашнюю гибель). И когда миллионы советских дерзнули бежать от угнетателей или даже начать народное от них освобождение, — наши свободолюбивые западные союзники, и среди них не последние — вы, англичане, вероломно обезоруживали, связывали этих людей и передавали коммунистам на уничтожение (в уральские лагеря, на добычу урана, на атомную бомбу против вас же!). При этом не гнушались избивать английскими прикладами 70-летних стариков, индивидуально т е х самых союзников Англии по Первой мировой войне — теперь поспешно выдаваемых на убийство. Только с английских островов было насильственно выдано —

100 000 советских граждан, на континенте — не один миллион. Но самое яркое: ваша свободная, независимая, неподкупная пресса, ваши знаменитые «Таймс», «Гардиан», «Нью Стейтсмен» и все остальные — добровольно участвовали в скрытии этого злодейства, и молчали бы посегодня, если б американский профессор Эпштейн не начал бестактного расследования, как демократии умеют действовать фашистскими методами. Заговор английской прессы достиг успеха: наверно многие современные англичане даже не знают об этом злодействе конца Второй мировой войны. Но оно — было, и больно врезалось в русскую память.

Мы помогли спасти свободу Западной Европы — дважды. И за это — дважды вы покинули нас в рабстве.

Понятно, вам опять хотелось: поскорей вырваться из проклятой войны, скорей отдыхать и благоденствовать. И высокая философия прагматизма продиктовала вам ещё многое за эту цену *не заметить*: и ссылку целых народов в Сибирь. И Катынь, и Варшаву, ту самую страну, из-за которой и вся мировая война началась. И не вспомнить Эстонию, Латвию, Литву. И одну за другой отдать в рабство ещё шесть своих европейских сестёр и дать разрубить седьмую. В Нюрнбергском трибунале локоть к локтю дружески заседать с судьями, такими же убийцами, как подсудимые, — и это не противоречило британской юриспруденции. Возникал новый тиранический режим как угодно далеко на Земле — в Китае, в Лаосе, — Британия была первая, кто спешила его признать, расталкивая конкурентов.

Для всего этого нужна была большая нравственная выдержка, — но она не покинула ваше общество. Надо было всё время повторять заклинание — «заря новой жизни», — и вы шептали его, и вы кричали его. А когда уж очень тошно становилось на душе и хотелось перед всем миром наверстать в смелости, самим себе вернуть самоуважение, — ваша страна проявляла и несравненную смелость: то про-

тив Исландии, то против Испании, которые не могут вам ответить. Танковые колонны в Восточном Берлине, в Будапеште и в Праге декларировали «народное волеизъявление», — но в виде протеста не отзывался оттуда английский посол. Неизвестное число узников убивали и убивают секретно в Восточной Азии — и не отзывались английские послы. Каждый день в Советском Союзе шприцами психиатров убивают людей только за то, что они непослушно думают или верят в Бога, — и не отзывается английский посол. Но казнили в Мадриде пятерых террористов, реальных убийц, — и с грохотом на всю планету был отозван английский посол, и какой же ураган бесстрашного гнева вырвался с Британских островов! Протестовать надо уметь: очень, очень гневно! — но там, где это не противоречит потоку века и не опасно для авторитета протестующих... Хотя б на минуту, подчиняясь британскому скепсису, который не мог же вас покинуть вовсе, — вы бы перенеслись в положение раздавленной Восточной Европы и оттуда нашими глазами оценили бы своё неприличие!.. Убили испанского премьер-министра — всей культурной Европе это понравилось. Убивали испанских полицейских, даже парикмахеров, — и европейские страны ликовали (будто их собственные полицейские застрахованы от централизованного Интернационала Террора). Никакой семье, едущей на аэродром, не гарантировано, что она не будет расстреляна из автомата «борцом» за чьё-либо «освобождение». Никакому прохожему не гарантировано, что он цел пройдёт по улице. Но хором общественного мнения гарантируется террористам: сохранение жизни, реклама и приличные условия содержания, пока его не выручат другие террористы. Общество на защите террористов! — это и было в России перед её крушением, мы тоже прошли через это гибельное.

А трещина геологическая — всё расширяется. Длится по планете. Переходит на другие континенты. В неё грохнула самая многолюдная страна мира.

И ещё десяток стран. И никем не защищённые племена — курдов, северных абиссинцев, сомалийцев или ангольцев, не перечислить, — великие традиции британской свободы не продрогнули от таких мелочей. Убаюкивающе рисуется вам посегодня, что именно ваших превосходных островов эта трещина никогда не расколет и не взорвёт. А между тем — пропасть уже под вами. На глазах всего мира беспрепятственно захватываются по несколько стран в год как плацдармы для следующей мировой войны. Захватываются и нептуновы пространства — англичанам ли объяснять, что это значит и для какой цели будет использовано? И что́ сегодня вся Европа? — картонные декорации, между которыми торгуются, как меньше тратить на оборону, чтобы больше осталось на состоятельную жизнь. Континент с несравненной многовековой подготовкой вести человечество — добровольно разронил свою силу, своё влияние на ход мировых событий, не только физическое, даже умственное. Динамичные решения, ведущие движения стали вызревать за пределами Европы. Что за странность, с каких пор великая Европа нуждается в посторонней защите? То она была так избыточно сильна, что воевала внутри себя, уничтожала саму себя и захватывала колонии. То, не проиграв ни одной крупной войны, вдруг стала беспомощно слаба.

Как ни скрыто бывает для человеческого глаза, неожиданно для практического разума, — но иногда срабатывает прямая реальная связь между злом, которое мы давно причинили другим, и злом, которое вдруг ударяет по нам. Люди более прагматические могут объяснить эту связь как цепь естественных причин и следствий. Люди, более склонные к религиозному ви́дению, различат здесь связь между грехом и наказанием. Это можно увидеть в истории каждой страны. За то, что деды и отцы стремились заложить уши от стонов мира и закрыть глаза на бездны его, — за то пришло расплатиться нынешнему поколению.

Ваши органы печати, знаменитые своими традициями, публикуют немало анализов и комментариев, вызывающих стыд мелкостью мысли, недальновидностью взора. Что сказать, если ваша ведущая либеральная газета вот недавно сравнила нынешний внутренний процесс русского духовного возрождения... с безнадёжной попыткой свиней летать. Здесь — презрение шире, чем только к возможностям моего народа. Здесь — брезгливое презрение вообще ко всяким порывам духовного возрождения, ко всему, что не вытекает прямо из экономики, а строится на критериях нравственных. Бесславный конец 400-летнего материализма.

Такому падению современной мысли ещё очень способствовал туманный призрак социализма. Он помогал мнимо насытить жажду справедливости, успокоить совесть, что сила, накатывающая расплющить вас, есть благо, спасение, — и от этого особенно расцвело общественное лицемерие, и Европа могла не заметить уничтожения миллионов людей на самом своём краю.

Даже не существует признанного единого чёткого определения социализма, лишь расплывчато-радужное представление о чём-то хорошем и благородном, так что два социалиста, разговаривая между собой, вполне могут говорить совсем о разном. И любой африканский диктатор нового типа непротиворечиво объявляет себя социалистом.

Но социализм избегает логики, потому что он — эмоциональный порыв, приземлённая религия, и никто не нуждается хотя бы по разу внимательно прочесть и вникнуть во всех предыдущих пророков. О тех книгах судят понаслышке, выводы принимаются готовыми. Социализм отстаивается со страстной иррациональностью, не подвержен анализу, неуязвим для критики. У него (особенно же у марксизма) есть такой изящный приём: всякая серьёзная критика объявляется «за рамками возможной дискуссии». Как «основу для дискуссии» требуется

предварительно 95 % социалистического учения признать — и тогда о 5 % допускается спорить.

Ещё один миф тут — что социализм есть некая новейшая современная формация, выход из гибнущего капитализма. А между тем он существовал на земле задолго и задолго до всякого капитализма. Мой друг академик Игорь Шафаревич в своём обширном исследовании социализма показывает, что социалистические *системы,* те, к которым нас призывают сейчас как к манящему будущему, — составили даже самую длительную часть предыдущей истории человечества — на Древнем Востоке, в Китае, а потом повторены кровавыми опытами времён Реформации. Что социалистические *учения* возникли гораздо позже того, но тоже тянутся дольше двух тысяч лет. И происхождение их — не рывок прогрессивной мысли, как считается сейчас, но — *реакция*: реакция Платона на афинскую демократию, реакция гностиков на христианство, реакция: от динамичного мира индивидуальностей вернуться к безликим коснеющим системам древности. И, прослеживая затем взрывную череду социалистических учений и утопий в Европе — Мора, Кампанеллы, Уинстенли, Морелли, Дешана, Бабефа, Фурье, Маркса и десятки других, мы не можем не содрогнуться от открытого провозглашения ими черт этого страшного общества. Было бы уместно призвать всех добросовестных социалистов непредвзято хладнокровно прочесть с десяток главных трудов главных пророков европейского социализма и дать отчёт самим себе: действительно ли это есть тот общественный идеал, за который им не жалко отдавать бессчётные чужие жизни и будет не жалко отдать свою?

Социализм начинает с уравнения как будто только материального (но все виды социализма согласны, что для этого необходимо принуждение), — однако логика движения к «идеальному» равенству непременно заставляет применять насилие и дальше: уравнивать сами исходные личности, слишком разбросанные в диапазонах образования, способно-

стей мыслей, чувств. Английская формула «мой дом — моя крепость» также стоит помехой на пути социализма. И ещё создана заманчивая формула — «социалистическая демократия», бессмысленная как «ледяной кипяток»: именно демократию-то дракон и ползёт проглотить — демократию всё более ослабленную и всё более стиснутую на двух неполных материках, когда по всей планете наливаются силою тирании. Я напомню, что принудительный труд анонсирован *у всех* пророков социализма, и в «Коммунистическом Манифесте» тоже, так что не следует в Архипелаге ГУЛАГе видеть азиатское извращение высокой идеи — но неизбежный закон.

Социализм гипнотизирует современное общество и лишает его зрения: увидеть смертельную себе опасность. Самое опасное, что вы потеряли чувство опасности, вы даже не видите, откуда она к вам стремительно катит, вы придумываете её в других местах планеты и туда шлёте стрелы своего тощего колчана. Самое опасное, что вы потеряли волю — защищаться.

И Великобритания — ядро Западного мира, как мы уже согласились, — едва ли не глубже всех испытала на себе эту общую деградацию мощи и воли. Уже лет 20 голос Англии не слышен на нашей планете, в нём нет характера, нет новизны, и в сегодняшнем мире позиция Англии значит меньше, чем Румынии, или даже... Уганды. Всеизвестная ясность английского практического ума как будто отказала. Сегодняшнее английское общество и в реальном политическом мире и в мире идей живёт самообманными иллюзиями. Строятся хрупкие конструкции, чтоб истолковать самим себе, что опасности нет, что грозный ход её и есть установление прочного мира.

Мы, угнетённые русские и угнетённые восточноевропейцы, с болью смотрим на катастрофическое ослабление Европы. Мы протягиваем вам опыт наших страданий, мы хотели бы, чтоб вы переняли его, не платя ту непомерную цену смертями и рабством, как заплатили мы. Но ваше общество от-

талкивается от предупреждающих наших голосов. И, наверное, надо признать сокрушённо, что опыт — вообще непередаваем, всё и всем надо пережить самим...

Да не только Англия и не только Западный мир, но и Восточный, все мы, скованные единым роком, одним железным поясом, каждый по-своему, подошли к последнему краю великой исторической катастрофы, — такого потопа, который проглатывает цивилизации и меняет эпохи. Особая сложность сегодняшней мировой ситуации в том, что на часах Истории совпало сразу несколько стрелок, и нам всем предстоит пройти через кризис не только социальный, не только политический, не только военный, — но устоять на ногах и в великом эпохальном повороте, подобном повороту от Средних Веков к Возрождению. Как когда-то человечество разглядело ошибочный нетерпимый уклон позднего Средневековья и отшатнулось от него — так пришло нам время разглядеть и губительный уклон позднего Просвещения. Нас глубоко затянуло в рабское служение приятным удобным материальным вещам, вещам, вещам и продуктам. Удастся ли нам встряхнуться от этого бремени и расправить вдунутый в нас от рождения Дух, только и отличающий нас от животного мира?..

СЛОВО НА ПРИЁМЕ В ГУВЕРОВСКОМ ИНСТИТУТЕ

Стэнфорд, 24 мая 1976

Господа, от момента первого посещения и знакомства я испытываю тёплое, скажу даже — нежное, чувство к этой Гуверской башне над ласковыми зелёными и дворцовыми просторами Стэнфордского университета, с быстрым шорохом деловитых студенческих велосипедов, — всякая юность может позавидовать здешней обстановке обучения. Тёплое чувство к мелодичному башенному перезвону, что-то навевающему из хода вечности. И, конечно, ко всем вам — сотрудникам и исследователям этого хранилища, так счастливо возникшего на несчастьи русской истории и собравшего немало из того, что в СССР подлежало бы обязательному сожжению, либо сокрытию навек от всяких глаз людских.

Трагические обстоятельства советской истории вообще создали довольно необычайную ситуацию для изучения русской истории, и, может быть, сегодня здесь наиболее уместно это пояснить. Гуверовского института не минует ни один серьёзный западный исследователь истории России и истории СССР. Таких учёных, особенно в Соединённых Штатах, теперь немало. Этому надо радоваться. Но вместе с тем нельзя избежать и тревоги, что общая ненормальность исходных условий, общий сдвиг геологических пластов вносят, не по вине самих исследователей, — общую, как говорят математики, *систематическую ошибку*, которая сдвигает и искажает все результаты исследований.

Ненормальность, во-первых, в том, что изучаемая страна — ваша современница, она реально, бурно живёт, — а между тем ведёт себя как немая ар-

хеологическая древность: хребет её истории перебит, память провалена, речь отнялась, сама о себе она лишена возможности писать правду, рассказывать истинно как есть, сама себя открыть. Итак, посторонние учёные, изучающие эту страну, попадают в положение как бы археологов: им недостаёт звеньев, материалов, связи, а больше всего — самого духа той ли прежней исчезнувшей России или сегодняшнего умело замкнутого СССР, — воздуха страны, без которого нельзя воссоздать истории даже и тогда, когда объективные материалы будто и собраны. Недохватка этой корневой связи с почвой особенно сказывается, конечно, на иностранных исследователях.

А в другом отношении — это не равнодушная примирённая античность и даже не просто одна из 120 современных вам стран, так чтобы посвятить ей один из 120 институтов и академически изучать, — нет! эта страна решительно определяет ход современной мировой истории, сильнейше влияет и на ход американской, так что и работа каждого американского учёного о Советском Союзе приобретает высокую температуру: от её верности или ошибочности, от её глубокого понимания или поверхностного скольжения может роковым образом зависеть, пойти завтра к лучшему или к худшему ваша собственная американская история.

Но, в-третьих, сложнее того: эта страна по внешности совсем не молчит, а непрерывно, активно, очень обильно, весьма атакующе подаёт о себе как будто информацию, на самом же деле — запрограммированную ложь.

И ещё в-четвёртых: положение осложняется тем, что эта советская ложная информация эмоционально подхватывается увлечённой социалистической средою Запада, оттого для историка создаётся как бы сбивающий боковой ураган, который порошит глаза, уклоняет само тело исследователя и поворачивает голову его в более покойное, удобное, но и ложное положение: он вынужден смотреть не туда,

где лежат черепки истины, а куда повернул его ветер эпохи.

Да добросовестному западному исследователю — как можно вообразить, представить, поверить, например, что в главной Большой Энциклопедии этой страны *ни одной строки* нельзя a priori считать истиной, но в каждой предусмотрительно подозревать или ложь, или сокрытие, или лукаво-извращающую формулировку?.. Я уже не говорю о таких трагикомических случаях, как с одним из ваших коллег, чью работу о Тамбовском, 1920-21 годов, восстании крестьян против большевиков мне показывали здесь, в Гуверовском институте. Хорошо знакомый с этой темой, я мог оценить, как тщательно и настойчиво этот американский учёный, будучи в Советском Союзе, разыскал все доступные материалы и даже — почти недоступные. Но около главного из них в его списке библиографии я нашёл примечание: «К сожалению, все выписки из этого источника у меня были украдены из гостиницы в Москве, так что я не сумел их использовать в моей работе.» Вот это уже не вызвало моего удивления: простофили из библиотеки проморгали, выдали иностранцу неположенное, — но КГБ вовремя проследило и исправило ошибку!.. (За самую возможность таких поездок — хоть как-то ближе прикоснуться к материалу — иные учёные платят ещё и оглядчивостью, сдержанностью формулировок, чтобы не рассердить хозяев страны, но, как и всякая сделка за счёт истины, она не оправдывает себя.)

Вот о чём не догадывалась дореволюционная русская администрация: что надо информировать мировое общественное мнение о жизни внутри России. По медленному течению тогдашней истории, по изолированности стран — даже и в голову не могло прийти, что от этого скоро будет зависеть будущее своего народа и многих других. Зато революционные и фрондирующие политические эмигранты из России — ощутили это здесь, на Западе, и не жалели своего эмигрантского досуга на подобную дея-

тельность, вложили в неё всю эмоциональную горечь, нетерпеливость и необъективность временных неудачников ниспровержения и переворота. Они и создали на Западе искажённую, непропорциональную, предвзятую картину нескольких русских столетий, отчасти по своей страсти, отчасти потому, что многие из тех эмигрантов были молодые люди искусственного партийного формирования, они совсем не имели возможности да и не хотели знать и прочувствовать глубины тысячелетней народной жизни. И так для Запада картина России — как раз в момент её самого обнадёживающего экономического и социального развития перед Первой мировой войной — была составлена отрицателями России, ненавистниками её жизненного уклада и её духовных ценностей, и в таком виде инерционно утвердилась посегодня. Вот — пятое тяжёлое осложнение, тот изначальный сдвиг целого пласта, который для западных исследователей переносит все начальные точки отсчёта, все возможности правильного сопоставления прежней России и нынешнего Советского Союза. Протянуты были легенды, целая цепь мифов, приправлены даже безответственными цифрами — касательно экономики или социальной эффективности, характера революционного движения или масштаба репрессий (некоторых таких искажений я касаюсь в разных местах «Архипелага ГУЛага»). И так искажение русской исторической ретроспективы, непонимание России Западом, выстроилось в устойчивое тенденциозное обобщение — об «извечном русском рабстве», чуть ли не в крови, об «азиатской традиции», — и это обобщение опасно заблуживает сегодняшних исследователей, мешая им понять социалистическую природу и суть происходящего в СССР. В том обобщении искусственно упущены вековые периоды, широкие пространства и многие формы яркой общественной самодеятельности нашего народа — Киевская Русь, суздальское православие, напряжённая религиозная жизнь в лесном океане, века кипучего новгородского и псковского

народоправства, стихийная народная инициатива и устояние в начале XVII века, рассудительные Земские Соборы, вольное крестьянство обширного Севера, вольное казачество на десятке южных и сибирских рек, поразительное по самостоятельности старообрядчество, наконец, крестьянская община, которую даже и в XIX веке пристальный английский наблюдатель (Маккензи Уоллес) признал в её функционировании равной английскому парламентаризму. И всё это искусственно заслонили двумя веками крепостничества в центральных областях и петербургской бюрократией. При составлении такой ложной тенденции в пренебрежении остался и глубокий фольклор — гениальное и наиболее верное свидетельство народа о себе, он заслонён памфлетами не весьма одарённых разоблачителей, посредственно владевших и самим русским языком. Да даже вот события, близкие американской памяти, — поддержка Россией североамериканского правительства в вашу гражданскую войну, тёплая русско-американская дружба в царствование Александра II, чьи великие реформы оборваны безумными террористами, — всё это забыто и вычеркнуто, как не было никогда.

В этой обстановке удивляться ли, что один из ваших учёных, долголетний руководитель одного из «русских центров», выпускает псевдоакадемическую книгу о старой России, полную ошибок, натяжек, а может быть, и преднамеренных искажений. Удивляться ли, что в подобной обстановке всякий американский молодой историк, или писатель, или журналист, приступая к русской теме, непременно, с самого начала, автоматически поддаётся постулату: СССР — естественное продолжение старой России?

А на самом деле: переход от дооктябрьской России к СССР есть не продолжение, но *смертельный излом хребта,* который едва не окончился полной национальной гибелью. Советское развитие — не продолжение русского, но извращение его, совер-

шенно в новом неестественном направлении, враждебном своему народу (как и всем соседним, как и всем остальным на Земле). Термины «русский» и «советский», «Россия» и «СССР» — не только не взаимозаменяемы, не равнозначны, не однолинейны, но — непримиримо противоположны, полностью исключают друг друга, и путать их, употреблять не к месту — грубая ошибка, научное неряшество. А между тем: как легкомысленно эта подмена распространена в сегодняшнем западном словоупотреблении! и — как губительно для западного же перспективного понимания!

Тут сбивает, забивает глаза песком тот настойчивый резкий ветер эпохи, социалистический ветер, не позволяющий учёному ровно держать глаза в сторону истины — для того оказывается нужным ещё и бесстрашие! Весь западный мир сегодня испытывает порыв к социализму, и целыми десятилетиями было так заманчиво: уже найти свой идеал осуществлённым на Земле! Когда же оказалось, что советская система сильно-сильно-сильно отличается от самого непритязательного идеала, — тут и пригодилось фальшивое отождествление терминов «советский» и «русский»: все преступления, пороки и провалы *советского* социализма ложно отнесли за счёт *русской* «рабской традиции», выхватывая, как из пожара, своего бумажного ангела социализма: у русских он, конечно, не мог удаться, но у *нас*, на Западе, будет совсем другой — чистенький, белоснежный.

Передо мной сегодня — научная аудитория, и поэтому я смею рекомендовать вам не упустить работы двух русских — не историков, нет, потому что чистые историки у нас либо уничтожены, либо понуждены ко лжи, — но учёных из точного крыла науки: всемирно известного математика Игоря Шафаревича и незаурядного физика профессора Юрия Орлова, которого советская власть безжалостно преследует уже 20 лет — с 1956 года, года «оттепели» после XX съезда, когда он осмелился высказать в Академии Наук естественный вывод из хрущёвского док-

лада: что *этой* партии и *этому* правительству следует подать в отставку. Шафаревич в своём обширном исследовании социализма на множестве исторических фактов показывает, что социалистические системы совсем не новы, что они всегда и всюду в истории принимали безжалостный тоталитарный характер и даже все западные — именно *западные* — теоретики и пророки социализма именно эти жестокие принципы с гордостью и обещали. Юрий Орлов приёмами и языком, заимствованными из физики, убедительно объясняет всем нам (его работа сейчас пришла на Запад из Самиздата), что, даже теоретически рассуждая, *никакой другой формы, кроме тоталитарной,* не может принять последовательный социализм, как не могут не сцепляться присоединённые шестерёнки, не может не вращаться разогнанное колесо. Орлов показывает, что даже самые мягкие способы введения социализма, если только они будут последовательны и неуклонны, — ни к чему другому не могут привести, кроме тоталитаризма, то есть к полному подавлению индивидуальности и человеческой души.

Я думаю, я назвал те главные опасности и помехи, которые мешают западным историкам продуктивно, с пользой для своей страны, для моей страны и для всего хода истории, своевременно обнажить похищенные у нас и сокрытые пласты русской истории последнего столетия.

В этой работе неоценимо содействие вашего Гуверовского хранилища и сотрудников вашего института. Я понимаю, что вы храните и заняты не одною русской историей, но я повторю: русская и советская история для Соединённых Штатов — не просто история одной из 120 зарубежных стран. От того, поймёт ли её Американский континент адекватно и не опоздав по времени, — очень-очень скоро будет зависеть судьба и вашей огромной прекрасной страны.

СЛОВО ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПРЕМИИ «ФОНДА СВОБОДЫ»

Стэнфорд, 1 июня 1976

Многоуважаемые господа, руководители
и представители «Фонда Свободы»!

Я живо тронут вашим решением присудить мне вашу премию. Принимаю её с благодарностью и с сознанием долга перед тем высоким человеческим понятием, которое звучит, содержится, заключено в названии вашей организации, в символе, соединившем нас сегодня здесь. Этого символа естественно и коснуться в моём ответном слове.

В такой ситуации, как сегодня, легче всего поддаться декламации о мрачных пропастях тоталитаризма и восхвалению светлых твердынь западной свободы. Гораздо трудней, но и плодотворней, посмотреть критически на самих себя. Если область свободных общественных систем на Земле всё сужается и огромные континенты, недавно как будто получавшие свободу, утягиваются в область тираний, то в этом виноват не только тоталитаризм, для которого проглатывать свободу есть функция естественного роста, но, очевидно, и сами свободные системы, что-то утерявшие в своей внутренней силе и устойчивости.

Наши с вами представления о многих событиях и явлениях опираются на несходный жизненный опыт, поэтому могут заметно разниться, однако именно этот угол между лучами зрения и может помочь нам объёмнее воспринять предмет. Я осмелюсь обратить ваше внимание на некоторые аспекты свободы, о которых не модно говорить, но от этого они не перестают быть, значит и влиять.

Понятие свободы нельзя верно охватить без оценки жизненных задач нашего земного существо-

вания. Я сторонник того взгляда, что жизненная цель каждого из нас — не бескрайнее наслаждение материальными благами, но: покинуть Землю лучшим, чем пришёл на неё, чем это было определено нашими наследственными задатками, то есть за время нашей жизни пройти некий путь духовного усовершенствования. (Сумма таких процессов только и может назваться духовным прогрессом человечества.) Если так, то внешняя свобода оказывается не самодовлеющей целью людей и обществ, а лишь пособным средством нашего неискажённого развития; только *возможностью* для нас — прожить не животным, а человеческим существом; только *условием*, чтобы человек лучше выполнил своё земное назначение. И свобода — не единственное такое условие. Никак не меньше внешней свободы нуждается человек — в незагрязнённом просторе для души, в возможностях душевного сосредоточения.

Увы, современная цивилизованная свобода именно этого простора не хочет оставить нам. Увы, именно за последние десятилетия само наше представление о свободе снизилось и измельчилось по сравнению с предыдущими веками, оно свелось почти исключительно к свободе от наружного давления, к свободе от государственного насилия. К свободе, пóнятой всего лишь на юридическом уровне — и не выше.

Свобода! — принудительно засорять коммерческим мусором почтовые ящики, глаза, уши, мозги людей, телевизионные передачи, так чтоб ни одну нельзя было посмотреть со связным смыслом. Свобода! — навязывать информацию, не считаясь с правом человека *не* получать её, с правом человека на душевный покой. Свобода! — плевать в глаза и души прохожих и проезжих рекламой. Свобода! — издателей и кинопродюсеров отравлять молодое поколение растлительной мерзостью. Свобода! — подростков 14—18 лет упиваться досугом и наслажденьями вместо усиленных занятий и духовного роста. Свобода! — взрослых молодых людей искать

безделья и жить за счёт общества. Свобода! — забастовщиков, доведенная до свободы лишать всех остальных граждан нормальной жизни, работы, передвижения, воды и еды. Свобода! — оправдательных речей, когда сам адвокат знает о виновности подсудимого. Свобода! — так вознести юридическое право страхования, чтобы даже милосердие могло быть сведено к вымогательству. Свобода! — случайных пошлых перьев безответственно скользить по поверхности любого вопроса, спеша сформовать общественное мнение. Свобода! — сбора сплетен, когда журналист для своих интересов не пожалеет ни отца родного, ни родного Отечества. Свобода! — разглашать оборонные секреты своей страны для личных политических целей. Свобода! — бизнесмена на любую коммерческую сделку, сколько б людей она ни обратила в несчастье или предала бы собственную страну. Свобода! — политических деятелей легкомысленно осуществлять то, что нравится избирателю сегодня, а не то, что дальновидно предохраняет его от зла и опасности. Свобода! — для террористов уходить от наказания, жалость к ним как смертный приговор всему остальному обществу. Свобода! — целых государств иждивенчески вымогать помощь со стороны, а не трудиться построить свою экономику. Свобода! — как безразличие к попираемой дальней чужой свободе. Свобода! — даже не защищать и собственную свободу, пусть рискует жизнью кто-нибудь другой.

Все эти свободы юридически часто безупречны, но нравственно — все порочны. На их примере мы видим, что совокупность всех п р а в свободы — далеко ещё не есть Свобода человека и общества, это только в о з м о ж н о с т ь, она обращаема по-разному. Всё это — невысокий тип свободы. Не та свобода, которая возвышает человеческий род. Но — истерическая свобода, которая достоверно может его погубить.

Подлинно человеческая свобода — есть от Бога нам данная свобода *внутренняя,* свобода определе-

ния своих поступков, но и духовная ответственность за них. И истинно понимает свободу не тот, кто спешит корыстно использовать свои юридические права, а тот, кто имеет совесть ограничить самого себя и при юридической правоте. Не тот, кто спешит выиграть благоприятный судебный процесс, но кто имеет благородство отказаться от него, — напротив: публично открыть свои промахи или проступки. То, что называлось стародавним и теперь уже странным словом — *честь*.

Я думаю, не будет излишней скромностью признать, что в некоторых славных странах Западного мира в XX веке свобода под видом «развития» деградировала от своих первоначальных высоких форм. Что ни в одной стране на Земле сегодня нет той высшей формы свободы одухотворённых человеческих существ, которая состоит не в лавировке между статьями законов, но в добровольном самоограничении и в полном сознании ответственности — как эти свободы задуманы были нашими предками.

Однако я глубоко верю в неповреждённость, здоровость корней великодушной мощной американской нации, с требовательной честностью её молодёжи и недремлющим нравственным чувством. Я своими глазами видел американскую провинцию — и именно поэтому с твёрдой надеждой сегодня высказываю здесь это всё.

РЕЧЬ В ГАРВАРДЕ

на ассамблее выпускников университета

8 июня 1978

Я рад возможности приветствовать 327-й выпуск старейшего Гарвардского университета и сердечно поздравляю всех выпускников!

Девиз вашего университета — «Veritas». И некоторые из вас уже знают, а другие узнают на протяжении жизни, что Истина мгновенно ускользает, как только ослабится напряжённость нашего взора, — и при этом оставляет нас в иллюзии, что мы продолжаем ей следовать. От этого вспыхивают многие разногласия. И ещё: истина редко бывает сладкой, а почти всегда горькой. Этой горечи не избежать и в сегодняшней речи, — но я приношу её не как противник, но как друг.

Три года назад в Соединённых Штатах мне тоже пришлось говорить такое, от чего отталкивались, не хотели принять, — а сейчас согласились многие.

Раскол сегодняшнего мира доступен даже поспешному взгляду. Любой наш современник легко различает две мировые силы, каждая из которых уже способна нацело уничтожить другую. Но понимание раскола часто и ограничивается этим политическим представлением: иллюзией, что опасность может быть устранена удачными дипломатическими переговорами или равновесием вооружённых сил. На самом деле мир расколот и глубже, и отчуждённей, и бóльшим числом трещин, чем это видно первому взгляду, — и этот многообразный глубокий раскол грозит всем нам разнообразной же гибелью. По той древней истине, что не может стоять царство — вот, наша Земля, — разделившееся в себе.

* * *

Есть понятие «третий мир», и, значит, уже три мира. Но их несомненно больше, мы не доглядываем издали. Всякая древняя устоявшаяся самостоятельная культура, да ещё широкая по земной поверхности, уже составляет самостоятельный мир, полный загадок и неожиданностей для западного мышления. Таковы по меньшему счёту Китай, Индия, Мусульманский мир и Африка, если два последние можно с приближением рассматривать собранно. Такова была тысячу лет Россия, — хотя западное мышление с систематической ошибкой отказывало ей в самостоятельности и потому никогда не понимало, как не понимает и сегодня в её коммунистическом плену. И если Япония в последние десятилетия всё более стала «дальним Западом», всё тесней примкнула к Западу (судить не берусь), то, например, Израиль я бы не отнёс к западному миру хотя бы по тому решающему обстоятельству, что его государственный строй принципиально связан с религией.

Как ещё сравнительно недавно маленький новоевропейский мирок легко захватывал колонии во всём мире, не только не предвидя серьёзного сопротивления, но обычно презирая какие-либо возможные ценности в мироощущении тех народов! Успех казался ошеломляющим, не знал географических границ. Западное общество развёртывалось как торжество человеческой независимости и могущества. И вдруг в XX веке так ясно обнаружилось, что оно хрупко и обрывчато. И теперь мы видим, каким коротким, шатким оказалось это завоевание (очевидно свидетельствуя и о пороках того западного миросознания, которое на эти завоевания вело). Сейчас соотношение с бывшим колониальным миром обратилось в свою противоположность, и западный мир нередко переходит к крайностям угодливости, — однако трудно прогнозировать, как ещё велик будет счёт этих бывших колониальных стран к Западу

и хватит ли ему откупиться, отдав не только последние колониальные земли, но даже всё своё достояние.

* * *

Всё же длящееся ослепление превосходства поддерживает представление, что всем обширным областям на нашей планете следует развиваться и доразвиться до нынешних западных систем, теоретически наивысших, практически наиболее привлекательных; что все те миры только временно удерживаются — злыми правителями, или тяжёлыми расстройствами, или варварством и непониманием — от того, чтоб устремиться по пути западной многопартийной демократии и перенять западный образ жизни. И страны оцениваются по тому, насколько они успели продвинуться этим путём. Но такое представление выросло, напротив, на западном непонимании сущности остальных миров, на том, что все они ошибочно измеряются западным измерительным прибором. Картина развития планеты мало похожа на это.

Тоска расколотого мира вызвала к жизни и теорию конвергенции между ведущим Западом и Советским Союзом — ласкательную теорию, пренебрегающую, что эти миры друг во друга нисколько не развиваются, и даже непревратимы друг во друга без насилия. А кроме того конвергенция неизбежно включает в себя принятие также и пороков противоположной стороны, что вряд ли кого устраивает.

Если бы сегодняшнюю речь я произносил в своей стране, я, в этой общей схеме раскола мира, сосредоточился бы на бедствиях Востока. Но поскольку я уже четыре года вынужденно нахожусь здесь и аудитория передо мною западная, — думаю, будет содержательней сосредоточиться на некоторых чертах современного Запада, как я их вижу.

* * *

Падение мужества — может быть самое разительное, что видно в сегодняшнем Западе постороннему взгляду. Западный мир потерял общественное мужество и весь в целом и даже отдельно по каждой стране, каждому правительству, каждой партии, и уж конечно — в Организации Объединённых Наций. Этот упадок мужества особенно сказывается в прослойках правящей и интеллектуально-ведущей, отчего и создаётся ощущение, что мужество потеряло целиком всё общество. Конечно, сохраняется множество индивидуально-мужественных людей, но не им доводится направлять жизнь общества. Политические и интеллектуальные функционеры выявляют этот упадок, безволие, потерянность в своих действиях, выступлениях и ещё более — в услужливых теоретических обоснованиях, почему такой образ действий, кладущий трусость и заискивание в основу государственной политики, — прагматичен, разумен и оправдан на любой интеллектуальной и даже нравственной высоте. Этот упадок мужества, местами доходящий как бы до полного отсутствия мужеского начала, ещё особо-иронически оттеняется при внезапных взрывах храбрости и непримиримости этих самых функционеров — против слабых правительств, или никем не поддержанных слабых стран, осуждённых течений, заведомо не могущих дать отпор. Но коснеет язык и парализуются руки против правительств могущественных, сил угрожающих, против агрессоров и против Интернационала Террора.

Напоминать ли, что падение мужества издревле считалось первым признаком конца?

* * *

Когда создавались современные западные государства, то провозглашался принцип: правительство должно служить человеку, а человек живёт на зем-

ле для того, чтоб иметь свободу и стремиться к счастью (смотри, например, американскую декларацию независимости). И вот наконец в последние десятилетия технический и социальный прогрессы дали осуществить ожидаемое: государство всеобщего благосостояния. Каждый гражданин получил желанную свободу и такое количество и качество физических благ, которые по теории должны были бы обеспечить его счастье — в том сниженном понимании, как в эти же десятилетия создалось. (Упущена лишь психологическая подробность: постоянное желание иметь ещё больше и лучше и напряжённая борьба за это запечатлеваются на многих западных лицах озабоченностью и даже угнетением, хотя выражения эти принято тщательно скрывать. Это активное напряжённое соревнование захватывает все мысли человека и вовсе не открывает свободного духовного развития.) Обеспечена независимость человека от многих видов государственного давления, обеспечен большинству комфорт, которого не могли представить отцы и деды, появилась возможность воспитывать в этих идеалах и молодёжь, звать и готовить её к физическому процветанию, счастью, владенью вещами, деньгами, досугом, почти к неограниченной свободе наслаждений, — и кто же бы теперь, зачем, почему должен был бы ото всего этого оторваться и рисковать драгоценной своей жизнью в защите блага общего и особенно в том туманном случае, когда безопасность собственного народа надо защищать в далёкой пока стране?

Даже биология знает, что привычка к высокоблагополучной жизни не является преимуществом для живого существа. Сегодня и в жизни западного общества благополучие стало приоткрывать свою губящую маску.

* * *

Соответственно своим целям западное общество избрало и наиболее удобную для себя форму суще-

ствования, которую я назвал бы юридической. Границы прав и правоты человека (очень широкие) определяются системою законов. В этом юридическом стоянии, движении и лавировании западные люди приобрели большой навык и стойкость. (Впрочем, законы так сложны, что простой человек беспомощен действовать в них без специалиста.) Любой конфликт решается юридически — и это есть высшая форма решения. Если человек прав юридически, — ничего выше не требуется. После этого никто не может указать ему на неполную правоту и склонять к самоограничению, к отказу от своих прав, просить о какой-либо жертве, бескорыстном риске — это выглядело бы просто нелепо. Добровольного самоограничения почти не встретишь: все стремятся к экспансии, доколе уже хрустят юридические рамки. (Юридически безупречны нефтяные компании, покупая изобретение нового вида энергии, чтобы ему не действовать. Юридически безупречны отравители продуктов, удолжая их сохранность: публике остаётся свобода их не покупать.)

Всю жизнь проведя под коммунизмом, я скажу: ужасно то общество, в котором вовсе нет беспристрастных юридических весов. Но общество, в котором нет других весов, кроме юридических, тоже мало достойно человека. *(Аплодисменты.)* Общество, ставшее на почву закона, но не выше, — слабо использует высоту человеческих возможностей. Право слишком холодно и формально, чтобы влиять на общество благодетельно. Когда вся жизнь пронизана отношениями юридическими, — создаётся атмосфера душевной посредственности, омертвляющая лучшие взлёты человека. *(Апл.)*

Перед испытаниями же грозящего века удержаться одними юридическими подпорками будет просто невозможно.

* * *

В сегодняшнем западном обществе открылось неравновесие между свободой для добрых дел и сво-

бодой для дел худых. И государственный деятель, который хочет для своей страны провести крупное созидательное дело, вынужден двигаться осмотрительными, даже робкими шагами, он всё время облеплен тысячами поспешливых (и безответственных) критиков, его всё время одёргивает пресса и парламент. Ему нужно доказать высокую безупречность и оправданность каждого шага. По сути, человек выдающийся, великий, с необычными неожиданными мерами, проявиться вообще не может — ему в самом начале подставят десять подножек. Так под видом демократического ограничения торжествует посредственность.

Подрыв административной власти повсюду доступен и свободен, и все власти западных стран резко ослабли. Защита прав личности доведена до той крайности, что уже становится беззащитным само общество *(апл.)*... от иных личностей, — и на Западе приспела пора отстаивать уже не столько права людей, сколько их обязанности. *(Апл.)*

Напротив, свобода разрушительная, свобода безответственная получила самые широкие просторы. Общество оказалось слабо защищено от бездн человеческого падения, например от злоупотребления свободой для морального насилия над юношеством, вроде фильмов с порнографией, преступностью или бесовщиной *(апл.)*: все они попали в область свободы и теоретически уравновешиваются свободой юношества их не воспринимать. Так юридическая жизнь оказалась не способна защитить себя от разъедающего зла.

Что же говорить о тёмных просторах прямой преступности? Широта юридических рамок (особенно американских) поощряет не только свободу личности, но и некоторые преступления её, даёт преступнику возможность остаться безнаказанным или получить незаслуженное снисхождение — при поддержке тысячи общественных защитников. Если где власти берутся строго искоренять терроризм, то общественность тут же обвиняет их, что они нару-

шили гражданские права бандитов. *(Апл.)* Немало подобных примеров.

Весь этот переклон свободы в сторону зла создавался постепенно, но первичная основа ему, очевидно, была положена гуманистическим человеколюбивым представлением, что человек, хозяин этого мира, не несёт в себе внутреннего зла, все пороки жизни происходят лишь от неверных социальных систем, которые и должны быть исправлены. Странно, вот на Западе достигнуты наилучшие социальные условия, — а преступность несомненно велика и значительно больше, чем в нищем и беззаконном советском обществе. (Под именем уголовных у нас там сидит в лагерях огромное множество людей, но подавляющее их большинство — не преступники, а те, кто против беззаконного государства отстаивали себя неюридическими способами.)

* * *

Широчайшей свободой естественно пользуется и пресса (я употребляю дальше это слово, включая всю media). Но — как?

Опять: лишь бы не перешагнуть юридические рамки, но безо всякой подлинной нравственной ответственности за искажение, за смещение пропорций. Какая у журналиста и газеты ответственность перед читающей публикой или перед историей? Если они неверной информацией или неверными заключениями повели общественное мнение по неверному пути, даже способствовали государственным ошибкам, — известны ли случаи публичного потом раскаяния этого журналиста или этой газеты? Нет, это подорвало бы продажу. На подобном случае может потерять государство, но журналист всегда выходит сух. Скорее всего он будет теперь с новым апломбом писать противоположное прежнему.

Необходимость дать мгновенную авторитетную информацию заставляет заполнять пустоты догадками, собирая слухи и предположения, которые по-

том никогда не опровергнутся, но осядут в памяти масс. Сколько поспешных, опрометчивых, незрелых, заблудительных суждений высказывается ежедневно, заморочивает мозги читателей — и так застывает! *(Апл.)* Пресса имеет возможность и симулировать общественное мнение и воспитать его извращённо. То создаётся геростратова слава террористам, то раскрываются даже оборонные тайны своей страны, то беззастенчиво вмешиваются в личную жизнь известных лиц под лозунгом: «все имеют право всё знать». *(Апл.)* (Ложный лозунг ложного века: много выше утерянное право людей *не знать,* не забивать своей божественной души — сплетнями, суесловием, праздной чепухой. *(Апл.)* Люди истинного труда и содержательной жизни совсем не нуждаются в этом избыточном отягощающем потоке информации.)

Поверхностность и поспешность — психическая болезнь XX века — более всего и выражена в прессе. Прессе противопоказано войти в глубину проблемы, это не в природе её, она лишь выхватывает сенсационные формулировки.

И при всех этих качествах пресса стала первейшей силой западных государств, превосходя силу исполнительной власти, законодательной и судебной. А между тем: по какому избирательному закону она избрана и перед кем отчитывается? Если на коммунистическом Востоке журналист откровенно назначается как государственный чиновник, то кто выбирал западных журналистов в их состояние власти? на какой срок и с какими полномочиями?

И ещё одна неожиданность для человека, пришедшего с тоталитарного Востока, с его строгой унификацией прессы: у западной прессы в целом тоже обнаруживается общее направление симпатий (ветер века), общепризнанные допустимые границы суждений, а может быть и общекорпоративные интересы, и всё это вместе действует не соревновательно, а унифицированно. Безудержная свобода существует для самой прессы, но не для читателей *(апл.)*: достаточ-

но выпукло и звучно газеты передают только те мнения, которые не слишком противоречат их собственным и этому общему направлению.

* * *

Безо всякой цензуры на Западе осуществляется придирчивый отбор мыслей модных от мыслей немодных — и последние, хотя никем не запрещены, не имеют реального пути ни в периодической прессе, ни через книги, ни с университетских кафедр. *(Апл.)* Дух ваших исследователей свободен юридически — но обставлен идолами сегодняшней моды. Не прямым насилием, как на Востоке, но этим отбором моды, необходимостью угождать массовым стандартам устраняются от вклада в общественную жизнь наиболее самостоятельно думающие личности, появляются опасные черты стадности, закрывающей эффективное развитие. В Америке мне приходилось получать письма замечательно умных людей, какого-нибудь профессора дальнего провинциального колледжа, который много способствовал бы освежению и спасению своей страны, — но страна не может его услышать: его не подхватит media. Так создаются сильные массовые предубеждения, слепота, опасная в наш динамичный век. Например, иллюзорное понимание современного мирового положения — такой окаменелый панцырь вокруг голов, что через него уже не проникает ничей человеческий голос из 17 стран Восточной Европы и Восточной Азии, — а только проломит его неизбежный лом событий.

Я перечислил несколько черт западной жизни, которые поражают человека, пришедшего в этот мир понову. Размеры и задачи этой речи не позволяют продолжить обзор: как эти особенности западного общества отражаются на таких важных сторонах национального существования, как образование начальное, образование высшее гуманитарное и искусство.

* * *

Почти все признают, что Запад указывает всему миру выгодный экономический путь развития, последнее время сбиваемый, правда, хаотической инфляцией. Но и многие живущие на Западе недовольны своим обществом, презирают его или упрекают, что оно уже не соответствует уровню, к которому созрело человечество. И многих это заставляет колебнуться в сторону ложного и опасного течения социализма.

Я надеюсь, никто из присутствующих не заподозрит, что я провёл эту частную критику западной системы для того, чтобы выдвинуть взамен идею социализма. *(Апл.)* Нет, с опытом страны осуществлённого социализма я во всяком случае не предложу социалистическую альтернативу. Что социализм всякий вообще и во всех оттенках ведёт ко всеобщему уничтожению духовной сущности человека и нивелированию человечества в смерть, — глубоким историческим анализом показал математик академик Шафаревич в своей блестяще аргументированной книге «Социализм»; скоро два года, как она опубликована во Франции, — но ещё никто не нашёлся ответить на неё. В близком времени она будет опубликована и в Америке.

* * *

Но если меня спросят, напротив: хочу ли я предложить своей стране в качестве образца сегодняшний Запад, как он есть, я должен буду откровенно ответить: нет, ваше общество я не мог бы рекомендовать как идеал для преобразования нашего. Для того богатого душевного развития, которое уже выстрадано нашею страною в этом веке, — западная система в её нынешнем, духовно-истощённом виде не представляется заманчивой. Даже перечисленные особенности вашей жизни приводят в крайнее огорчение.

Несомненный факт: расслабление человеческих характеров на Западе и укрепление их на Востоке. За шесть десятилетий наш народ, за три десятилетия — народы Восточной Европы прошли душевную школу, намного опережающую западный опыт. Сложно и смертно давящая жизнь выработала характеры более сильные, более глубокие и интересные, чем благополучная регламентированная жизнь Запада. Поэтому для нашего общества обращение в ваше означало бы в чём повышение, а в чём и понижение, — и в очень дорогом. Да, невозможно оставаться обществу в такой бездне беззакония, как у нас, но и ничтожно ему оставаться на такой бездушевной юридической гладкости, как у вас. Душа человека, исстрадавшаяся под десятилетиями насилия, тянется к чему-то более высокому, более тёплому, более чистому, чем может предложить нам сегодняшнее западное массовое существование, как визитной карточкой предпосылаемое отвратным напором реклам, одурением телевидения и непереносимой музыкой. *(Апл.)*

И это всё видно глазам многих наблюдателей, изо всех миров нашей планеты. Западный образ существования всё менее имеет перспективу стать ведущим образцом.

Бывают симптоматичные предупреждения, которые посылает история угрожаемому или гибнущему обществу: например, падение искусств или отсутствие великих государственных деятелей. Иногда предупреждения бывают и совсем ощутимыми, вполне прямыми: центр вашей демократии и культуры на несколько часов остаётся без электричества — всего-то, — и сразу целые толпы американских граждан бросаются грабить и насиловать. Такова толщина плёнки! Такова непрочность общественного строя и отсутствие внутреннего здоровья в нём.

Не когда-то наступит, а уже идёт — физическая, духовная, космическая! — борьба за нашу планету. В своё решающее наступление уже идёт и давит мировое Зло, — а ваши экраны и печатные издания

наполнены обязательными улыбками и поднятыми бокалами. В радость — чему?

* * *

Ваши весьма видные деятели, как Джордж Кеннан, говорят: вступая в область большой политики, мы уже не можем пользоваться моральными указателями. Вот так, смешением добра и зла, правоты и неправоты, лучше всего и подготовляется почва для абсолютного торжества абсолютного Зла в мире. Против мировой, хорошо продуманной стратегии коммунизма Западу только и могут помочь нравственные указатели, — а других нет *(апл.)*... а соображения любой конъюнктуры всегда рухнут перед стратегией. Юридическое мышление с какого-то уровня проблем каменит: оно не даёт видеть ни размера, ни смысла событий.

Несмотря на множественность информации — или отчасти именно благодаря ей, — западный мир весьма слабо ориентируется в происходящей действительности. Таковы, например, были анекдотические предсказания некоторых американских экспертов, что Советский Союз найдёт себе в Анголе свой Вьетнам или что наглые африканские экспедиции Кубы лучше всего умерятся ухаживанием за ней Соединённых Штатов. *(Апл.)* Таковы ж и советы Кеннана своей стране — приступить к одностороннему разоружению. О, знали бы вы, как хохочут над вашими политическими мудрецами самые молоденькие референты Старой Площади!* *(Апл.)* А уж Фидель Кастро откровенно считает Соединённые Штаты ничтожеством, если, находясь тут рядом, осмеливается бросать свои войска на дальние авантюры.

Но самый жестокий промах произошёл с непониманием вьетнамской войны. Одни искренне хотели, чтоб только скорей прекратилась всякая война, другие мнили, что надо дать простор национальному

---

* Старая Площадь — резиденция ЦК КПСС.

или коммунистическому самоопределению Вьетнама (или, как особенно наглядно видно сегодня, — Камбоджи). А на самом деле участники американского антивоенного движения оказались соучастниками предательства дальневосточных народов — того геноцида и страданий, которые сегодня там сотрясают 30 миллионов человек. Но эти стоны — слышат ли теперь принципиальные пацифисты? *(апл.)*... сознают ли сегодня свою ответственность? или предпочитают не слышать? У американского образованного общества сдали нервы, — а в результате угроза сильно приблизилась к самим Соединённым Штатам. Но это не сознаётся. Ваш недальновидный политик, подписавший поспешную вьетнамскую капитуляцию, дал Америке вытянуться как будто в беззаботную передышку, — но вот уже усотерённый Вьетнам вырастает перед вами. Маленький Вьетнам был послан вам предупреждением и поводом мобилизовать своё мужество. Но если полновесная Америка потерпела полноценное поражение даже от маленькой коммунистической полу-страны, — то на какое устояние Запад может рассчитывать в будущем?

Мне пришлось уже говорить, что в XX веке западная демократия самостоятельно не выиграла ни одной большой войны: каждый раз она загораживалась сильным сухопутным союзником, не придираясь к его мировоззрению. Так во Второй мировой войне против Гитлера, вместо того чтобы выиграть войну собственными силами, которых было, конечно, достаточно, — вырастили себе горшего и сильнейшего врага, ибо никогда Гитлер не имел ни столько ресурсов, ни столько людей, ни пробивных идей, ни столько своих сторонников в западном мире, пятую колонну, как Советский Союз. А ныне на Западе уже раздаются голоса: как бы ещё в одном мировом конфликте заслониться против силы — чужою силой, загородиться теперь — Китаем. Однако никому в мире не пожелаю такого исхода: не говоря, что это — опять роковой союз со Злом, это дало бы Америке лишь некоторую оттяжку, но

затем, когда миллиардный Китай обернулся бы с американским оружием, — сама Америка была бы отдана нынешнему камбоджийскому геноциду.

* * *

Но и никакое величайшее вооружение не поможет Западу, пока он не преодолеет потерянности своей воли. При такой душевной расслабленности самое это вооружение становится отягощением капитулянту. Для обороны нужна и готовность умереть, а её мало в обществе, воспитанном на культе земного благополучия. *(Апл.)* И тогда остаются только уступки, оттяжки и предательства. В позорном Белграде свободные западные дипломаты в слабости уступили тот рубеж, на котором подгнётные члены хельсинкской группы отдают свои жизни.

Западное мышление стало консервативным: только бы сохранялось мировое положение, как оно есть, только бы ничто не менялось. Расслабляющая мечта о статус-кво — признак общества, закончившего своё развитие. Но надо быть слепым, чтобы не видеть, как перестали принадлежать Западу океаны и всё стягивается под ним территория земной суши. Две так называемых мировых — а совсем ещё не мировых — войны состояли в том, что маленький прогрессивный Запад внутри себя уничтожал сам себя и тем подготовил свой конец. Следующая война — не обязательно атомная, я в неё не верю, — может похоронить западную цивилизацию окончательно.

И перед лицом этой опасности — как же, с такими историческими ценностями за спиной, с таким уровнем достигнутой свободы и как будто преданности ей, — настолько потерять волю к защите?!

* * *

Как сложилось нынешнее невыгодное соотношение? От своего триумфального шествия — каким об-

разом западный мир впал в такую немощь? Были в его развитии губительные переломы, потеря взятого курса? Да как будто нет. Запад только прогрессировал и прогрессировал в объявленном направлении, об руку с блистательным техническим Прогрессом. И вдруг оказался в нынешней слабости.

И тогда остаётся искать ошибку в самом корне, в основе мышления Нового Времени. Я имею в виду то господствующее на Западе миросознание, которое родилось в Возрождение, а в политические формы отлилось с эпохи Просвещения, легло в основу всех государственных и общественных наук и может быть названо рационалистическим гуманизмом либо гуманистической автономностью — провозглашённой и проводимой автономностью человека от всякой высшей над ним силы. Либо, иначе, антропоцентризмом — представлением о человеке как о центре существующего.

Сам по себе поворот Возрождения был, очевидно, исторически неизбежен: Средние Века исчерпали себя, стали невыносимы деспотическим подавлением физической природы человека в пользу духовной. Но и мы отринулись из Духа в Материю — несоразмерно, непомерно. Гуманистическое сознание, заявившее себя нашим руководителем, не признало в человеке внутреннего зла, не признало за человеком иных задач выше земного счастья и положило в основу современной западной цивилизации опасный уклон преклонения перед человеком и его материальными потребностями. За пределами физического благополучия и накопления материальных благ все другие, более тонкие и высокие, особенности и потребности человека остались вне внимания государственных устройств и социальных систем, как если бы человек не имел более высокого смысла жизни. Так и оставлены были сквозняки для зла, которые сегодня и продувают свободно. Сама по себе обнажённая свобода никак не решает всех проблем человеческого существования, а во множестве ставит новые.

Но всё же в ранних демократиях, также и в американской при её рождении, все права признавались за личностью лишь как за Божьим творением, то есть свобода вручалась личности условно, в предположении её постоянной религиозной ответственности, — таково было наследие предыдущего тысячелетия. Ещё 200 лет назад в Америке, да даже и 50 лет назад, казалось невозможным, чтобы человек получил необузданную свободу — просто так, для своих страстей. Однако с тех пор во всех западных странах это ограничение выветрилось, произошло окончательное освобождение от морального наследства христианских веков с их большими запасами то милости, то жертвы, и государственные системы принимали всё более законченный материалистический вид. Запад наконец отстоял права человека, и даже с избытком, — но совсем поблекло сознание ответственности человека перед Богом и обществом. В самые последние десятилетия этот юридический эгоизм западного мироощущения окончательно достигнут — и мир оказался в жестоком духовном кризисе и политическом тупике. И все технические достижения прославленного Прогресса, вместе и с Космосом, не искупили той моральной нищеты, в которую впал XX век и которую нельзя было предположить, глядя даже из XIX-го.

* * *

Чем более гуманизм в своём развитии материализовался, тем больше давал он оснований спекулировать собою — социализму, а затем и коммунизму. Так что Карл Маркс мог выразиться (1844): «коммунизм есть натурализованный гуманизм».

И это оказалось не совсем лишено смысла: в основаниях выветренного гуманизма и всякого социализма можно разглядеть общие камни: бескрайний материализм; свободу от религии и религиозной ответственности (при коммунизме доводимую до антирелигиозной диктатуры); сосредоточенность на

социальном построении и наукообразность в этом (Просвещение XVIII века и марксизм). Не случайно все словесные клятвы коммунизма — вокруг человека с большой буквы и его земного счастья. Как будто уродливое сопоставление — общие черты в миросознании и строе жизни нынешнего Запада и нынешнего Востока! — но такова логика развития материализма.

Причём в этом соотношении родства закон таков, что всегда оказывается сильней, привлекательней и победоносней то течение материализма, которое левей и, значит, последовательней. И гуманизм, вполне утерявший христианское наследие, не способен выстоять в этом соревновании. Так в течение минувших веков и особенно последних десятилетий, когда процесс обострился, в мировом соотношении сил: либерализм неизбежно теснился радикализмом, тот был вынужден уступать социализму, а социализм не устаивал против коммунизма. Именно потому коммунистический строй мог так устоять и укрепиться на Востоке, что его рьяно поддерживали (ощущая с ним родство!) буквально массы западной интеллигенции, не замечали его злодейств, а уж когда нельзя было не заметить — оправдывали их. Так и сегодня: у нас на Востоке коммунизм идеологически потерял всё, он упал уже до ноля, и ниже ноля, западная же интеллигенция в значительной степени чувствительна к нему, сохраняет симпатию, — и это-то делает для Запада такой безмерно трудной задачу устояния против Востока.

* * *

Я не разбираю случая всемирной военной катастрофы из тех изменений общества, которые она бы вызвала. Но, пока мы ежедневно пробуждаемся под спокойным солнцем, мы обязаны вести и ежедневную жизнь. А есть катастрофа, которая наступила уже изрядно: это — катастрофа гуманистического автономного безрелигиозного сознания.

Мерою всех вещей на Земле оно поставило человека — несовершенного человека, никогда не свободного от самолюбия, корыстолюбия, зависти, тщеславия и десятков других пороков. И вот ошибки, не оцененные в начале пути, теперь мстят за себя. Путь, пройденный от Возрождения, обогатил нас опытом, но мы утеряли то Целое, Высшее, когда-то полагавшее предел нашим страстям и безответственности. Слишком много надежд мы отдали политико-социальным преобразованиям, — а оказалось, что у нас отбирают самое драгоценное, что у нас есть: нашу внутреннюю жизнь. На Востоке её вытаптывает партийный базар, на Западе коммерческий. *(Апл.)* Вот каков кризис: не то даже страшно, что мир расколот, но что у главных расколотых частей его — сходная болезнь.

Если бы, как декларировал гуманизм, человек был рождён только для счастья, — он не был бы рождён и для смерти. Но оттого, что он телесно обречён смерти, его земная задача, очевидно, духовней: не захлёб повседневностью, не наилучшие способы добывания благ, а потом весёлого проживания их, но несение постоянного и трудного долга, так что весь жизненный путь становится опытом главным образом нравственного возвышения *(апл.)*: покинуть жизнь существом более высоким, чем начинал её. Неизбежно пересмотреть шкалу распространённых человеческих ценностей и изумиться неправильности её сегодня. Невозможно, чтоб оценка деятельности президента сводилась бы к тому, какова твоя заработная плата и не ограничен ли в продаже бензин. *(Апл.)* Только добровольное воспитание в самих себе светлого самоограничения возвышает людей над материальным потоком мира.

Держаться сегодня за окостеневшие формулы эпохи Просвещения — ретроградство. Эта социальная догматика оставляет нас беспомощными в испытаниях нынешнего века.

Если и минет нас военная гибель, то неизбежно наша жизнь не останется теперешней, чтоб не по-

гибнуть сама по себе. Нам не избежать пересмотреть фундаментальные определения человеческой жизни и человеческого общества: действительно ли превыше всего человек и нет над ним Высшего Духа? верно ли, что жизнь человека и деятельность общества должны более всего определяться материальной экспансией? допустимо ли развивать её в ущерб нашей целостной внутренней жизни?

Если не к гибели, то мир подошёл сейчас к повороту истории, по значению равному повороту от Средних Веков к Возрождению, — и потребует от нас духовной вспышки, подъёма на новую высоту обзора, на новый уровень жизни, где не будет, как в Средние Века, предана проклятью наша физическая природа, но и тем более не будет, как в Новейшее время, растоптана наша духовная. *(Апл.)*

Этот подъём подобен восхождению на следующую антропологическую ступень. И ни у кого на Земле не осталось другого выхода, как — вверх. *(Аплодисменты.)*

КОММУНИЗМ: У ВСЕХ НА ВИДУ — И НЕ ПОНЯТ

Статья для журнала «Time»

Гибельные ошибки Запада относительно коммунизма начались с 1918: с самого начала западные правительства не увидели себе смертельной опасности. В России тогда объединились против коммунизма все прежде враждовавшие силы — от государственных до кадетов и правых социалистов. Не соединённо с ними в одних рядах, разрозненно, но тысячами крестьянских и десятками рабочих восстаний сопротивлялась коммунизму вся толща народа. Красная армия была собрана расстрелами десятков тысяч уклонявшихся от большевицкой мобилизации. И этого нашего национального противостояния коммунизму западные державы не поддержали. На Западе распространялись самые фантастически-розовые представления о коммунистическом режиме — и «прогрессивная» общественность Запада горячо приветствовала его, хотя уже в 1921 в 30 губерниях России шёл камбоджийский геноцид. (Ещё при жизни Ленина было уничтожено невинного гражданского населения не меньше, чем при Гитлере, — а сегодня американские школьники, единодушно называя Гитлера величайшим злодеем истории, — считают Ленина благодетелем.) Западные страны, соревнуясь между собой, спешили экономически укрепить и дипломатически поддержать советский режим, который не мог бы выжить без этой помощи. Смерть 6 миллионов от голода на Украине и Кубани Европа протанцевала.

Чего этот прославленный режим сто́ит — обнаружилось всему миру в 1941 году: от Балтийского до Чёрного моря Красная армия откатывалась как сдутая ветром, несмотря на своё численное превосходство и прекрасную артиллерию, — откатывалась, как не знала Россия 1000 лет и не знала военная история

человечества. За несколько месяцев сдалось в плен около 3 миллионов воинов! Это и было открытое выражение, что наш народ жаждет конца коммунизма, — и Запад не мог этого не понять, если бы хотел видеть. Но Западу близоруко казалось, что все мировые угрозы — в одном Гитлере, а с его свержением уже не останется опасности на Земле. Запад тогда всеми силами помогал Сталину оседлать национальную лошадь под коммунистическую власть. Так во Второй мировой войне Запад защищал не всеобщую свободу, но лишь свободу для себя. И в конце войны выдавал Сталину на расправу русские дивизии, татарские и кавказские батальоны и сотни тысяч военнопленных и подневольных, стариков, женщин и детей, не желавших возвращаться под гнёт, — и выдача эта производилась со стороны Запада фашистско-коммунистическими методами, британские солдаты сами кололи и стреляли казаков, своих союзников по Первой войне, чтоб только купить дружбу со Сталиным. Сталин играл Рузвельтом как игрушкой, легко обеспечил себе захват Восточной Европы, — от Ялты началась 35-летняя полоса американских капитуляций, лишь коротко прерванная в Западном Берлине и в Корее (когда сопротивлялись — тотчас и выигрывали). Я уже выражал, что весь период от 1945 по 1975 есть как бы ещё одна мировая война, без боя и беззащитно проигранная Западом, отдавшим мировому коммунизму два десятка стран.

Основа этих капитуляций была двойная. Во-первых, духовная слабость всякого благополучия, которое боится собою рисковать. Но во-вторых, и никак не меньше, полное непонимание смертельно-злобной непримиримой природы коммунизма, единой и опасной для *всех* стран. Феномен коммунизма XX века объясняют неисправимыми свойствами русской нации, — по сути расистский взгляд. (А в Китае? Вьетнаме? Кубе? Абиссинии? да хоть и Жорж Марше?) Ищут порчу только не в самом коммунизме. Агрессивность его объясняют (Гарриман) напуганностью чужой агрессией, — и только поэто-

му колоссальные вооружения и захват новых стран? Западные дипломаты строят зыбкие расчёты на каких-то несуществующих «правом» и «левом» крыльях Политбюро, когда все там едины в стратегии мирового захвата и неразборчивы в средствах. Если бывает в Политбюро борьба, то чисто личная, и она не может служить никакому дипломатическому использованию. Средний советский человек, лишённый всей мировой информации и советологической литературы, всё это знает отлично. И неграмотные афганские пастухи разобрались безошибочно: они сжигают портреты именно Маркса и Ленина, а не развешивают уши к тому, что Брежнев был болен и только поэтому их оккупировали. (Трезвые средние американцы тоже понимают природу коммунизма лучше своих публицистов и учёных.)

Спросите раковую опухоль — зачем она растёт? Она просто не может иначе. Так и коммунизм: не может не захватывать новых стран, злобным инстинктом, а вовсе не разумом стремясь к захвату и всего мира. Коммунизм — это новое качество, не виданное во всей мировой истории, и бесплодно искать аналоги. Все предупреждения Западу о беспощадной и ненасытной природе коммунистической власти остаются втуне: этого не хотят принять именно потому, что это слишком страшно. (Разве в Афганистане трагедия произошла не 2 года назад? Но Запад закрывал глаза и оттягивал, сколько мог, — для призрака разрядки.) Десятилетиями отнекиваются: «мирное сосуществование», «разрядка», «миролюбие кремлёвского руководства», — а тем временем коммунизм отхватывает страну за страной и берёт новые ракетные уровни. И самое поразительное: коммунисты десятилетиями не скрывали (пока ещё не поумнели), объявляли громко, что их задача — уничтожить буржуазный мир, — а Запад только улыбался: «какая крайняя шутка». Но *уничтожить класс* — это уже продемонстрировано в СССР: это значит — физически уничтожить те 10—15 миллионов, которые составляют класс, — и рука

коммунистов ещё никогда не дрогнула. Как и сослать целый народ в 24 часа в пустыню. Свои «идеалы» коммунизм может осуществлять только за счёт уничтожения коренной основы жизни всякой страны. И кто это понимает — не подумает, что китайский коммунизм миролюбивее советского (просто — зубы не отросли), или титовский коммунизм хорош по характеру: на таком же кровавом замесе, на массовых убийствах укрепился и он, — но только Запад по слабонервности предпочёл этого не заметить в 1943-45. Кто понимает — не будет гадать: доходит или не доходит мировая помощь до умирающих камбоджийцев через власти Сам-Рина? — конечно, не доходит, конечно, всё отгребается для армии и государства, а люди — подыхайте.

Вся комедия «разрядки» нужна коммунизму только для того, чтоб укрепиться за счёт западных финансов (эти займы не будут возвращены) и западной техники, — перед тем как начать следующее большое наступление. Коммунизм крепче и долговечнее нацизма, он и гораздо тоньше и умней в пропаганде и умеет разыгрывать такие комедии.

Коммунизм не переродится никогда, он всегда будет являть человечеству смертельную угрозу. Это — как инфекция в мировом организме: как бы она ни притаилась — она неизбежно ударит заражением. И не надо хвататься за иллюзии, что есть страны с иммунитетом против коммунизма: любая ныне свободная страна может быть доведена до обморока и полного подчинения.

А тем не менее всё появляются, и в немалом числе, такие целители, которые над остро-инфекционной коммунистической заразой ставят успокоительный диагноз: «эта болезнь — не заразна, это — наследственная русская болезнь, и она никогда не перекинется на нас». И вот их лечение: только не сердить брежневский режим! но поддерживать его и снабжать, а ненавидеть и противиться надо — всякому возрождению русского национального сознания, — того единственного, что реально ослабляет

советский коммунизм изнутри! Это — целая последовательная кампания, её ведут видные американские профессора и публицисты, а безответственную пристрастную информацию им поставляет группа новых эмигрантов из Советского Союза. Эта пропаганда — безумна для самого Запада и обезоруживает его. После того как национальные силы нашей страны были первый раз преданы Западом в гражданскую войну и второй раз во Вторую мировую — теперь открыто призывают совершить это предательство в третий раз! Этот совет — губительный для русского народа и других народов СССР, — но столько же губительный и для Запада: на погибель нам — но и на погибель вам! Сейчас коммунистическая верхушка со своей одряхлевшей идеологией снова мечтает оседлать русский национализм для своих имперских целей, — а такие западные руки толкают коня под всадника — под всадника против себя самих! — не оставляя коню никакого другого выхода.

Коммунизм враждебен *всякой* национальности и уничтожает *всякую*. Американское антивоенное движение долго тешило себя надеждой, что в Северном Вьетнаме национализм и коммунизм гармоничны, что коммунизм-то и заботится о национальном самоопределении своего любимого народа. Но погребальная флотилия вьетнамских лодок в океане, даже сосчитанная в своей непотонувшей части, — быть может не самым пламенным деятелям того движения, но хоть некоторым объяснила, где истинно находится (и всё время находилось) национальное самосознание. И жгучие страдания миллионов умирающих камбоджийцев (к которым мир уже и привыкает) ещё разительней показывают то же. А Польша — всего лишь молилась несколько папских дней, и только слепые могли не увидеть, где народ, а где коммунизм. А ещё — будапештские повстанцы. А ещё — восточные немцы, зачем-то умирающие под берлинской стеной. А ещё — китайцы, зачем-то переплывающие акульное море под Гонконгом. Китай — глуше всех скрывает свои тай-

ны, — и вот Запад спешит поверить хоть в этот «хороший, миролюбивый» коммунизм. Но та же смертельная пропасть и ненависть лежит между китайским правительством и китайским народом.

В таком же соотношении с коммунизмом находится и русское национальное сознание. Запад беспечно — и горько для нас — путает в употреблении слова «русский» и «советский», «Россия» и «СССР», а применять первое ко второму — подобно тому как признать за убийцей одежду и паспорт убитого. Бездумное заблуждение — считать русских в СССР «правящей нацией». Нет, они приняли на себя ещё от Ленина самый первый сокрушающий удар, положили ещё тогда миллионы мёртвых (да убитых по выбору, всех отменных), ещё прежде геноцидной коллективизации. Тогда же вся русская история была облита помоями, церковь и культура раздавлены, уничтожены духовенство, дворянство, купечество, за ними и крестьянство. Впоследствии удары от власти получали и все другие народы, но сегодня русская деревня находится на самом низком в СССР жизненном уровне, русские провинциальные города — самые низкие по снабжению. На огромных просторах нашей страны — нечего *есть*, и закупки американского зерна никак не улучшили народного питания (зерно идёт в мобилизационные амбары). Русские — главная масса рабов этого государства. Русский народ измождён, биологически вырождается, его национальное сознание унижено, подавлено. От души русского народа воинствующий национализм сейчас далее всего, империя ему отвратна. Но коммунистическое правительство зорко следит за своим рабом и более всего подавляет его бескоммунистическое сознание, — оттого гноят в лагерях его свободомыслящих (Огурцов — 20 лет, Осипов — 15, Орлов — 12), снова арестовывают священников — духовных учителей народа (о. Глеб Якунин, о. Дмитрий Дудко), невинный комитет защиты верующих, доедино — общины молодых христиан, ссылают академика Сахарова.

В ожидании Третьей мировой войны Запад снова ищет, кем заслониться, — и находит себе в союзники коммунистический Китай! Это снова предательство — не только Тайваня, но всего угнетённого китайского народа, — ибо его толкают конём под коммунистического всадника. Поддерживая дружбу с китайским правительством, Америка помогает укрепить гнёт над китайским народом. Но кроме того — это безумная, самоубийственная политика: снабдив миллиардный Китай американским оружием, вы победите СССР, но уже дальше никакая масса на Земле не удержит коммунистический Китай от мирового господства.

Коммунизм останавливается только тогда, когда встречает стену, — хотя бы стену непоколебимой воли. И такую стену теперь не избежать создавать Западу в его уже крайнем положении. А между тем 20 возможных союзников уже отданы во власть коммунизма после Второй мировой войны. А между тем вашей технологией уже развиты устрашающие военные силы коммунизма. Теперь придётся устанавливать стену из оставшихся сил. Нынешнему поколению Запада придётся самому стать стеной на той дороге, по которой его предки легкомысленно отступали 60 лет.

Но! — все порабощённые народы за вас: и русский народ, и все народы СССР, и китайский, и кубинский. И только в расчёте на *этот* союз и *эту* помощь может иметь успех стратегия Запада. Только *вместе* с ними вы составляете решающую силу на Земле. И принципиально: если отстаивать свободу не только свою, но и всего мира, то нет другого пути.

Конечно, это потребует от ваших политиков, дипломатов и военных решительной перестройки нынешних представлений, приёмов и тактики.

Пять лет назад всеми моими предупреждениями правительственная Америка пренебрегла. Вольно́ вашим деятелям пренебречь и сегодняшними. Но сбудутся и они.

Январь 1980
Вермонт

ЧЕМ ГРОЗИТ АМЕРИКЕ ПЛОХОЕ ПОНИМАНИЕ РОССИИ

Статья для журнала «Foreign Affairs»

1

Люди, не безнадёжно ослеплённые своими иллюзиями, сегодня должны признать, что весь Запад каким-то образом попал в критическое и даже смертельно-опасное положение. Можно указать немало частных объяснений этому и отметить те частные этапы за 60 лет, которые привели к сегодняшней ситуации. Но если указывать главную причину, то это: 60-летняя упорная слепота к природе коммунизма.

Я не говорю о тех, кто и посегодня любит, прославляет и защищает коммунизм. Разумеется — не к ним моя статья. Но есть множество понимающих, что коммунизм — зло, что он опасен миру, — а всё ещё не доведавшихся до непримиримости его природы. И такие люди, занимая посты направляющих референтов или ведущих политических деятелей, — допускают сегодня новые, свежие просчёты, которые неизбежно ответно ударят в будущем, и ударят смертельно.

И самые распространённые ошибки здесь две. Одна — непонимание тотальной враждебности коммунизма всему человечеству. Что он — неизлечим, что у него нет «лучших» вариантов, что он — не может «подобреть», что идеологически он не может прожить без террора. Что поэтому никакое сосуществование с ним на одной планете невозможно: либо он прорастёт человечество как рак и убьёт его; либо человечество должно от него избавиться, и то ещё потом с долгим лечением метастазов.

Вторая ошибка — тоже очень распространённая: мировую болезнь коммунизма неразделимо смешивают с той страной, которою он овладел первой, —

Россией. Эта ошибка смещает акценты угрозы, все рецепты правильных действий и тем обезоруживает Запад. Это непонимание становится трагичным и угрожает всем народам, причём американскому — никак не позже и не меньше, чем русскому. Не придётся ждать следующих поколений, чтобы нашлось достаточно «благодарных проклинателей» тех, кто внедрил эту ошибку в общественное сознание.

О первой ошибке я много писал и говорил. На Западе немало вызывал этим недоверия, — но, кажется, с годами, по мере обучения реальностью, согласие увеличивается.

Предлагаемая статья посвящена главным образом второй ошибке.

2

Прежде всего легкомысленно и неправильно применяют слово «Россия»: его используют вместо слова «СССР», и слово «русские» вместо «советские», — и даже с постоянным эмоциональным преимуществом в пользу второго («русские танки вошли в Прагу», «русский империализм», «русским нельзя верить», но — «советские космические достижения», «успехи советского балета»). А следует твёрдо различать, что понятия эти не только противоположны, но *враждебны*. Соотношение между ними такое, как между человеком и его болезнью. Но мы же не смешиваем человека с его болезнью, не называем его именем болезни и не клянём за неё. Государство как действующее целое, страна с её правительством, политикой и армией — с 1917 уже не могут более называться Россией. Слово «русский» неправомерно применять ни к сегодняшней власти в СССР, ни к армии его, ни к будущим военным успехам и оккупационным властям в разных местах мира, хотя они и будут служебно пользоваться русским языком. (Это равно

относится и к Китаю, и ко Вьетнаму, только там не возникло своё слово «советский»). Один американский дипломет воскликнул недавно: «Пусть на русском сердце Брежнева работает американский стимулятор!» Ошибка, надо было сказать: «на советском». Не одним происхождением определяется национальность, но душою, но направлением преданности. Сердце Брежнева, попускающего губить свой народ в пользу международных авантюр, — не русское. Вся их деятельность по уничтожению народной жизни и загаживанию природы, осквернению национальных святынь и памятников, содержанию народа в голоде и нищете уже 60 лет — показывает, что коммунистические вожди чужды народу и равнодушны к его страданиям. (И лютый красный кхмер; и польский функционер, хотя и взращённый матерью-католичкой; и китайский комсомольский надсмотрщик над голодными кули; и разъеденный Жорж Марше с кремлёвской внешностью, — все они ушли от своей национальности, предавшись бесчеловечью.)

Слово «Россия» для сегодняшнего дня может быть оставлено только для обозначения угнетённого народа, лишённого возможности действовать как одно целое, для его подавленного национального самосознания, религии, культуры, — и для обозначения его будущего, освобождённого от коммунизма

Когда в 20-е годы передовое западное общество восхищалось большевизмом, то не путали, так и называли предмет восторга «советским». В трагические годы Второй мировой войны два понятия в глазах мира как будто слились (об этой жестокой ошибке — ниже). С лет холодной войны установилась недоброжелательность преимущественно к слову «русский». И это даёт себя знать поныне, даже в последние годы появились новые острые обвинения против «русского».

3

Сведения и понимание исторической России и нынешнего СССР американский читатель получает в основном: от американских учёных — историков и славистов; от американских дипломатов; от американских корреспондентов в Москве; от новейших эмигрантов из СССР. (Не упоминаю пропагандистских советских публикаций, которым уже верят меньше, и туристических впечатлений — совсем поверхностных, по искусным приёмам «Интуриста».)

Американская историческая наука, при всей казалось бы незаграждённой ей широте и непредвзятости, но сталкиваясь со скудостью и марксистской деформацией советских источников, часто попадает, сама того не замечая, в принудительное русло, предоставляемое советской официальной наукой, и, в иллюзии самостоятельного пути, невольно повторяет проблематику, иногда и методологию советской науки и вслед за ней обходит некоторые скрытые, совсем затемнённые области. Достаточный пример: что само существование Архипелага ГУЛАГа, его нечеловеческая жестокость, его размеры, длительность и объёмы смертности до самого последнего времени не признавались западной наукой. Другой пример: мощные явления стихийного народного сопротивления коммунизму в нашей стране в 1918—1922 совсем не были замечены западной наукой, а в замеченной части объявляются (в лад с коммунистами) «бандитизмом» (например — М. Левин). Что касается общей оценки советской истории, то здесь и по сей день дают себя знать те восторги, с которыми «прогрессивная» европейская общественность встречала «зарю новой жизни» в разгар наших террористических уничтожений 1917—1921. И посегодня во многих публикациях американских профессоров вы можете встретить в серьёзном употреблении — «идеалы революции», а эти идеалы с самого первого шага проявлялись как миллионные

убийства. Также и глубинная история России испытала на Западе искажённое влияние страстной радикальной мысли. В последние годы в американской науке заметно господство легчайшего однолинейного пути: неповторимые события XX века — сперва в России, затем и в других странах — объяснить не особенностью нового коммунистического феномена в человеческой истории, — но свести к исконным свойствам русской нации от X и XVI веков (взгляд — прямо расистский). События XX века объясняются неосновательными поверхностными аналогиями из прошлых веков. Пока коммунизм был предметом западного восхищения — он превозносился как несомненная заря нового века. С тех пор как пришлось его осудить — его находчиво объяснили извечным русским рабством.

Такая трактовка имеет много сторонников в нынешнем мире, ибо она выгодна многим: коль скоро коммунизм преступен и порочен не сам по себе, а во всём виноваты традиции старой России, то: нет угрозы основам существования западного мира; сохраняются обещающие перспективы разрядки, торговли и дружбы с коммунистическими странами, всем жителям Запада — продолжение безопасного комфорта; все коммунисты западных стран освобождаются от обвинения и подозрения («у них будет лучше, совсем хороший коммунизм»); и облегчается совесть тех либералов и радикалов, которые отдали в прошлом столько своих восторгов и помощи этому кровавому режиму.

Соответственно в трактовке прежней русской истории учёные этого направления поступают бесцеремонно. Они допускают весьма произвольный отбор явлений, фактов и лиц, поддаются недостоверным, а то и просто ложным версиям событий, но ещё разительней: почти полностью пренебрегают духовной историей тысячелетней страны, как будто она (приём марксизма) и не имела влияния на течение материальной истории. При изучении китайской, таиландской или любой африканской истории

и культуры считается необходимым испытывать уважение к её своеобразию. По отношению же к русскому тысячелетнему восточному христианству западные исследователи во множестве испытывают лишь презрение и удивление: почему этот странный мир, целый материк, всё не принимал западного мировоззрения и всё не шёл по столь явно преимущественному западному социальному пути? Россия решительно осуждается за всё, в чём она не похожа на Запад.

В длинном ряду выступлений, искажающих облик России, характерна хотя бы книга Ричарда Пайпса «Россия при старом режиме».* Пайпс вовсе пренебрегает духовной жизнью русского народа и его миропониманием — христианством, рассматривает века русской истории вне зависимости от православия и его деятелей (достаточно сказать: Сергий Радонежский, несравненно повлиявший на века русской духовной и государственной жизни, вообще ни разу не упомянут в книге, а Нил Сорский выставлен в анекдотической роли). То есть вместо показа живого народного существа — анатомируется труп. Самой Церкви Пайпс отводит одну главу, при этом лишь как гражданскому учреждению и трактуя его в духе советской атеистической пропаганды. Этот народ и эта страна представлены как не доразвившиеся до духовной жизни, движимые одними лишь грубыми материальными расчётами, от мужика и до царя. Даже внутри тематических разделов нет убедительного последовательного изложения истории: хаотически смешаны исторические эпохи, события разных веков (и часто без указания дат). Автор произвольно игнорирует события, лица и стороны русской жизни, которые мешали бы его концепции: что вся история России никогда не имела другого смысла, как создать полицейский строй. Он отбирает только то, что помогает ему дать пренебрежительно-насмешливое и открыто-враждебное описание рус-

---

* *Richard Pipes*. Russia under the Old Regime. New York: Charles Scribner's Sons, 1974, p. 361.

ской истории и русского народа. Из его книги возможен только один вывод: об античеловеческой сути русской нации, никуда не годившейся все 1000 лет и очевидно безнадёжной для будущей жизни. Даже честь мирового изобретения тоталитаризма Пайпс приписывает императору Николаю I. Не говоря уже о том, что тоталитарный феномен никогда не был осуществлён до Ленина, у г. Пайпса достаточно эрудиции, чтоб он мог указать, что идею тоталитарного государства первый предложил Гоббс в «Левиафане» (глава государства — господин не только над имуществом и жизнью, но и *совестью* граждан). Да и Руссо давал к тому основания, объявляя демократическое государство «неограниченным сувереном» не только над собственностью, но и над *личностью* граждан.

Меня как писателя, выросшего и всю жизнь проведшего в стихии русского языка и фольклора, особенно поражает такой «научный» приём Пайпса: из 40 тысяч русских пословиц, составляющих в своём единстве и внутренних противоречиях ослепительное художественное и философское создание, Пайпс вырывает (искусственно подобранные Горьким) подходящие ему полдюжины пословиц — и ими «доказывает» жестокую циничную природу русского крестьянства. На меня этот приём производит такое же впечатление, как, вероятно, на ухо Ростроповича произвёл бы волк, севший играть на виолончели.

Все учёные и публицисты этого направления с каким-то тупоумием повторяют из книги в книгу, из статьи в статью два имени: Иоанн Грозный и Пётр I, подразумеваемо или открыто сводя к ним весь смысл русской истории. Но и по два, и по три не менее жестоких короля можно найти и в английской, и во французской, в испанской и в любой другой истории, — однако никто не сводит к ним полноту исторических объяснений. Да никакие два короля не могут определить историю 1000-летней страны. Однако рефрен продолжается. Таким приё-

мом одни учёные хотят показать, что коммунизм только и возможен в странах с «порочной историей», другие — очистить и сам коммунизм, переложив вину за его дурное исполнение на свойства русской нации. Подобный взгляд повторился и в серии недавних статей, посвящённых столетию Сталина, например у профессора Роберта Таккера (R. C. Tucker, New York Times, 21.12.79).

Короткая, но энергичная статья Таккера изумляет: неужели она написана не 25 лет назад? Как же может учёный политик и сегодня настолько не понимать коммунистического феномена? Мы снова встречаем всё те же неувядшие идеалы революции, которые загубил гнусный Сталин, потому что уроки брал не у Маркса, а у гнусной русской истории. Профессор Таккер спешит спасти социализм тем, что Сталин, оказывается, не был *настоящим* социалистом! — он действовал не по теории Маркса, а по стопам всё тех же настрявших Иоанна Грозного из XVI века и Петра из XVIII. Что будто вся сталинская эпоха есть радикальный возврат в прежнюю царскую эпоху, а совсем не последовательное применение марксизма к современным реальным условиям, что Сталин разрушал большевизм (а не продолжал его). Я, по авторской скромности, не смею просить и надеяться, чтобы профессор Таккер прочёл хотя бы 1-й том «Архипелага ГУЛага», а лучше бы все три. Это может быть освежило бы у него в памяти, что коммунистический полицейский аппарат, промоловший потом 60 миллионов жертв, создали Ленин, Троцкий и Дзержинский, сперва в виде ЧК, имевшей неограниченное право бессудного расстрела неограниченного числа людей. Что Ленин собственным пером сформулировал 58-ю статью уголовного кодекса, на которой и был основан весь сталинский ГУЛАГ. И весь красный террор и миллионные подавления крестьянства сформулированы Лениным и Троцким. Вот э т и инструкции Сталин и выполнял честно, лишь ограниченно по своим умственным возможностям. Един-

ственное, в чём он осмелился отойти от Ленина, — это в том, что стал уничтожать (для укрепления собственной власти) верхушку коммунистической партии. Но и в этом он лишь выполнял всеобщий закон больших кровавых революций: они непременно пожирают своих делателей. В СССР верно говорилось: «Сталин — это Ленин сегодня», и действительно: вся сталинская эпоха есть прямое продолжение ленинской, лишь более зрелое по результатам и длительной плавности развития. Никакого «сталинизма» никогда не существовало ни в теории, ни на практике, ни такого явления, ни такой эры, — это понятие придумала после 1956 левая западная мысль для спасения «идеалов» коммунизма. И только в злом фантазме можно назвать «русским националистом» Сталина, уничтожившего 15 миллионов отборных крестьян, сломавшего хребет русскому крестьянству — то есть самой России — и положившего свыше 30 миллионов голов во Вторую мировую войну, не выбирая экономных методов ведения, не бережа народных жизней.

И какой же образец мог, по Таккеру, увидеть для себя Сталин в прежней царской России? Лагерей — вообще не было, и понятия даже такого. Отсидочных тюрем — очень мало, и поэтому политические (кроме крайних террористов), и в том числе все большевики, посылались в благополучную сытую ссылку на казённом содержании, где никто не принуждал их к труду, — и откуда все желающие беспрепятственно бежали за границу. Но и уголовная тогдашняя каторга не составляла 1/10000 части ГУЛАГа. Всякое следствие велось в строгой законности по устоявшимся законам, всякий суд — открыт и с участием адвокатуры. Секретная полиция в сумме по всей стране имела штатов меньше, чем сегодня госбезопасность одной Рязанской области, охранные отделения существовали в нескольких крупных городах и то со слабым надзором, а всякий уехавший за черту этих городов сразу уходил из-под наблюдения. В армии — вообще не было секретного

осведомления и наблюдения (что весьма облегчило февральскую революцию), ибо Николай II считал это оскорблением своей армии. Добавим к этому: отсутствие специальных пограничных войск, пограничных укреплений и полная свобода эмиграции.

Многие западные историки отдаются устойчивой ложной традиции в представлении дореволюционной России, тем отчасти повторяя советскую пропаганду. Россия перед войной 1914 года была страна с цветущим производством, в быстром росте, с гибкой децентрализованной экономикой, без стеснения жителей в выборе экономических занятий, с заложенными началами рабочего законодательства, а материальное положение крестьян настолько благополучно, как оно никогда не было при советской власти. Газеты были свободны от предварительной политической цензуры (даже и во время войны), существовала полная свобода культуры, интеллигенция была свободна в своей деятельности, исповедание любых взглядов и религий не было воспрещено, а высшие учебные заведения имели неприкосновенную автономность. Многонациональная Россия не знала национальных депортаций и вооружённого сепаратистского движения. Вся эта картина не только не схожа с коммунистической эпохой, но прямо противоположна ей во всём. Александр I был с войском и в Париже, — но не присоединил к России и клочка европейской земли. Советские завоеватели никогда не уходят ниоткуда, где однажды ступила их нога, — и оба феномена признаются одноприродными! Та «плохая» Россия не нависала захватом над Европой, ни тем более Америкой и Африкой. И экспортировала она — хлеб и сливочное масло, а не оружие и не инструкторов терроризма. И сокрушилась-то она из верности западным союзникам, из-за того что Николай II продолжал бессмысленную войну с Вильгельмом, вместо того чтобы пойти на сепаратный мир (как сегодня Садат) — и спасти свою страну. Недружелюбие к прежней России на Западе было раздуто усилиями русской революцион-

ной эмиграции, предложившей самую примитивную схему, движимую их политическими увлечениями, — и никогда не уравновешенную никакими русскими ответами и разъяснениями, ибо в старой России понятия не имели о роли «агитации и пропаганды». (И так, например, 9 января 1905 в Петербурге, когда было несчастным образом убито 100 человек из демонстрации и ни один не арестован, осталось вечным клеймом и характеристикой России, а 17 июня 1953 в Берлине, когда было злоумышленно убито 600 демонстрантов и арестовано 50 тысяч, — не поминается упрёком СССР, но скорей ставится в уважение его силе: «надо искать общий язык».)

Как-то с веками совсем забылась дружба России с юными, новообразованными Соединёнными Штатами в XVIII веке. С начала XX века в американском обществе распространились недружественность к России. Её последствия мы видим и сегодня. Но сегодня они выходят из рамок отдалённых чувствований и грозят привести весь Запад к роковой ошибке.

4

После таких коренных ошибок, проявляемых в понимании России и СССР американскими учёными, мы уже меньше удивимся промахам политиков — хотя работников как будто практических, но всегда головой под влиянием существующих общих теорий, а руками — сильно скованными обстановкой момента.

Совокупным действием этих причин только и можно объяснить чудовищную резолюцию Конгресса США 17 июля 1959 о порабощённых нациях (Public Law 86—90, с тех пор возобновлявшуюся), где даже отсутствует всеобщий виновник — СССР, где всемирный коммунизм назван русским, России приписано порабощение континентального Китая и

Тибета, и русским отказано числиться в составе угнетённых наций, к каким причислены несуществующие Идель-Урал и Казакия.

Очевидно, пятно непонимания и невежества гораздо шире, чем эта резолюция.

Так и многие действующие или прежде действовавшие дипломаты Соединённых Штатов своими постами и своим авторитетом помогли создать вокруг советского коммунизма опасное горючее облако иллюзий и легковесных расчётов. Такого наследства много оставили дипломаты рузвельтовской школы, как Гарриман, до сих пор уверяющий легковерных американцев в миролюбии кремлёвских владык, у которых, мол, только очень ранено сердце болью за свой советский народ, пострадавший в войне. (Достаточно вспомнить несчастных крымских татар, которых и сегодня не пускают в Крым по той единственной причине, что они стеснили бы охотничьи угодья Брежнева.) А на самом деле кремлёвскому руководству народ бесконечно чужд, безразличен, эксплуатируется до полного истощения и вымирания, а когда потребуется, — его погонят на уничтожение миллионами без жалости.

Выдающийся вред в конструкцию и направление американской внешней политики годами удавалось вносить и Джорджу Кеннану своими статьями, высказываниями и советами, основанными на глубоком якобы познании советского опыта. Он — как раз из упорных создателей мифа о «мягких» членах Политбюро, — которые, однако, никогда ничем себя не проявили. Он настойчиво советует больше прислушиваться к заявлениям советских руководителей и даже сегодня восклицает: как можно не верить Брежневу, энергично отрицающему агрессивные намерения? Захват Афганистана Кеннан приписывает... «скорее *защитным* импульсам» советского руководства!

Вместо проницательного анализа многим западным дипломатам свойственен неизлечимый самообман, и это видно на таких ветеранах политики,

как В. Брандт с его самоубийственной для Германии «Ostpolitik», — и именно такие разрушительные действия увенчиваются нобелевскими премиями мира.

Тут небезынтересно отметить явление, которое я назвал бы «эффектом Киссинджера», но свойственное не ему одному: в период занятия важного поста вести политику уступок и капитуляции, за которую Западу ещё придётся платить в будущем многими годами и жизнями, — но, едва уйдя в отставку, вдруг прозревать и начинать давать самые решительные советы. Отчего это может происходить, как объяснить? Не прозревают же они так внезапно! Не следует ли допустить, что они всё истинно понимали и раньше, но просто плыли в политической рутине, держась за свой пост?

Многолетняя дипломатия умиротворения сводилась неизменно к отдаче всех позиций и укреплению своего противника. Сегодня уже глобально обозрим 35-летний итог совместных усилий всех главных западных дипломатов: они так всемерно укрепили СССР и коммунистический Китай, что лишь идеологическая ссора между этими двумя правительствами (возникшая отнюдь не усилиями Запада) ещё спасает западный мир. То есть существование Запада уже зависит не собственно от него.

И ещё остались этим дипломатам зыбкие расчёты на мнимый раскол в советском Политбюро между несуществующими там «консервативным и либеральным крыльями», «ястребами и голубями», «правыми и левыми», старыми—молодыми, злыми и добродушными, — последний рубеж банкротов: никогда не содержало в себе Политбюро ни человечных, ни миролюбивых людей, — такие не могут даже подняться до верху по условиям коммунистической бюрократии, и они тотчас бы задохнулись и умерли там.

Тем не менее и сегодня Америку тешат и успокаивают иллюзиями и мнимыми надеждами. То — надеждами на раскол в Политбюро и версией, что не Брежнев оккупировал Афганистан! То — иллюзия-

ми лучших экспертов, что «СССР получит свой Вьетнам» — то в Анголе, то в Абиссинии, то в Афганистане. (Можно заверить этих экспертов и их читателей, что сегодняшний СССР способен проглотить ещё пять таких стран — быстро и не подавиться.) То — новыми и новыми надеждами на «разрядку», несмотря на растоптание очередной страны. (И тут можно успокоить, что «разрядку», какая она была, покупку всего нужного между двумя захватами, советские вожди охотно восстановят и после Афганистана.)

Само собой понятно, что из информации, доставляемой такими дипломатами, Америка не почерпнёт понимания СССР и глубины опасности.

Но политики этого рода за последнее время получили подкрепление: фальшивым «объяснением» СССР и России занялась активная группа новейших эмигрантов оттуда. Среди них нет крупных имён, но они быстро признаются тут профессорами и специалистами по России, оттого что быстро ориентируются, какое направление свидетельства желательно. Они настойчивы, громки, повторительны в прессе разных стран, статьями, интервью, уже и книгами — все вместе довольно дружно проводят сходную линию, которую суммарно можно бы обрисовать так: «сотрудничество с коммунистическим правительством СССР — и война русскому национальному самосознанию». Как правило, они, будучи в СССР, служили коммунизму в советских институтах и даже активно и многолетне участвовали в лживой коммунистической печати и никогда не высказывались оппозиционно. Затем они выехали из СССР по израильской визе, но не поехали в Израиль (drop-outs, по израильской терминологии), а в странах Запада объявили себя тотчас истолкователями России, её исторического духа и нынешней жизни русского народа (которой они и не наблюдали по своему привилегированному положению в Москве). Самые активные из этих новых информаторов даже не ставят советской системе в вину уничтожение

60 миллионов, и не ставят в вину её воинствующий атеизм, прощают её тотальное подавление, но возглашают Брежнева «миротворцем» и открыто призывают к максимальной поддержке коммунистического режима в СССР как «наименьшего зла», наилучшей альтернативы для Запада, — и одновременно обвиняют в таком сотрудничестве русское национальное направление. Смысл духовных течений у нас на родине передаётся Западу превратно. Пытаются вселить в западное общественное мнение — страх и даже ненависть к возрождению почти насмерть подавленного коммунистической властью за 60 лет русского национального самосознания, — искусственно и недобросовестно связывая его с правительственным манёвром антисемитизма. Для этого изображают советский народ поголовным стадом баранов, он никак не способен разобраться в своей 60-летней судьбе, в причине своей нищеты и страданий, — и только ждёт официального объяснения от коммунистических верхов, а они ему подсунут антисемитизм — и народ удовлетворится этим. (На самом деле средний советский человек намного отчётливей понимает античеловеческую природу коммунизма, чем многие публицисты и политики Запада.)

Некоторые из этих эмигрантов делают при том довольно безграмотные экскурсы в историю предыдущих русских веков, — как раз прилегая к упомянутой выше близорукой американской школе. Из всего этого ряда можно назвать хотя бы Дм. Симеса или А. Янова — 17 лет кряду верного коммунистического журналиста, никогда не выступавшего против советского режима, а теперь с большой лёгкостью представляющего доверчивому американскому читателю то превратные картины советской действительности, то произвольно прыгая по поверхности русского прошлого, обходя его устои и раздувая мыльные пузыри. Янов приписывает русскому национальному сознанию почти на соседних страницах одновременно: и мессианизм (бредовая вы-

думка), и тут же — отрицающий его изоляционизм, в котором видит почему-то угрозу миру.

Поскольку в традиции американской исторической науки уже существует искажённое и недоброжелательное представление о прежней России, — такие семена могут дать ядовитые всходы.

Усилия этих пристрастных информаторов дополняются и подкрепляются за последний год потоком статей американских журналистов, из них часто — московских корреспондентов американских газет. Содержание этих статей всё то же: грозная опасность для Запада возрождения русского национального самосознания, затем — беззастенчивое смешение православия с антисемитизмом (если не прямо пишут, что они тождественны, то назойливо ставят их в смежных фразах и абзацах), и затем ещё одна особая теория: что подымающееся русское религиозно-национальное самосознание и снисходящие прожжённые коммунистические вожди не имеют другой мечты, как слиться воедино в некоей «новой правой», — и лишь непонятно, что́ им все эти годы мешало слиться, чей же запрет? На самом деле религиозные и национальные круги в СССР только преследуются — всеми уголовными методами.

На первый взгляд, такое совпадение картины от эмигрантов-информаторов и от свободных американских корреспондентов поражает: коль два независимых источника сообщают одно и то же — значит, что-то есть воистину. Но надо хорошо знать положение всех западных корреспондентов в СССР: подлинная советская жизнь от них закрыта каменной стеной, особенно провинция и деревня (всякие поездки туда исключительно декоративны, строго обставлены КГБ, а для простых советских людей в провинции разговоры с иностранцами без подстройки КГБ — смертельно опасны). Характерно признание Р. Кайзера, корреспондента «Вашингтон Пост»: прожив в Москве 4 года корреспондентом — он ни разу ничего не слышал о крупнейшем новочеркасском восстании 1962 года! Источники инфор-

мации западных корреспондентов: тщательная обработка холостой пустой официальной советской прессы; кулуарное собирание соображений от западных дипломатов (источники совпадают!); затем случайные встречи со второстепенными представителями коммунистической знати (но это — настолько низкий и неискренний человеческий материал, что нельзя рассматривать его серьёзно). А главный источник — беседы с теми немногими москвичами, кто бесповоротно переступил черту запрета близости с западными людьми (а часто — это представители того же столичного круга, из которого уже уехали упомянутые информаторы). Вот они-то и являются главным источником сведений для широковещательных грозных статей о русской национальной опасности для всего мира. И так анонимная антисемитская листовка в московской подворотне подаётся в западной прессе с обобщающим размахом. Но так и открывается совпадение источников: картина мира строится по отражению её в одном и том же маленьком осколке. В физике это всё называется: систематическая ошибка измерительного прибора.

Если же вдруг информация — иная по направлению, не подходит к тому, что настроена искать сейчас в Москве западная пресса, — то такая информация попросту гасится, как сделал, например, корреспондент «Нью-Йорк Таймс» К. Рэн, получив большой важности интервью от академика Шафаревича и нигде его не напечатав. Так же точно западные учёные, западные органы печати не принимают в соображение журнал «Вестник Русского Христианского Движения», выходящий уже полвека в Париже при содействии именно культурных русских кругов и чрезвычайно популярный в них. Они узнали бы совсем другую картину, далёкую от рисуемых ужасов.

При такой степени осведомлённости только и может возникнуть перекос, что главная проблема сегодняшнего СССР — это проблема эмиграции. Как вообще проблемы большой страны могут свестись

к отъезду из неё кого бы то ни было? То там, то здесь по русской провинции (недавно в Перми) происходят многотысячные голодные рабочие забастовки, разгоняемые оружием, даже с парашютным десантом на заводскую крышу, — но разве у Запада есть внимание это заметить и прореагировать? Так и грандиозный процесс в СССР, губительный для существования русского народа, процесс, уже идущий и рассчитанный лет на 10—15, — процесс окончательного уничтожения русского крестьянства — физического уничтожения изб, деревень, сгона крестьян в многоэтажные посёлки индустриального типа, конца связи с землёю, последнего конца национальных традиций, быта, очевидно — и народного характера, конца русского пейзажа, — этого наступления, которое повели коммунистические убийцы народной души, скудные информаторы Запада даже в о о б щ е н е з а м е т и л и! Первая революция (1917—1920) была — зарезать Россию кривым ленинским ножом. Россия всё же осталась жива. Вторая революция (1929—1931) — раздробить Россию сталинской кувалдой. Россия всё же осталась жива. Наступила третья бесповоротная революция — соскрести Россию с лица земли брежневским бульдозером. И в этот момент смертельного уничтожения русского национального существования — информаторы Запада вопят о самой большой угрозе для всего мира: русского национального сознания...

5

Москва — это не Советский Союз. С начала 30-х годов общий жизненный уровень всей Москвы был — за счёт ограбления остального народа и особенно деревни — искусственно поднят по сравнению с прочей страной. (Отчасти в таком положении ещё Ленинград и некоторые закрытые научные посёлки.) Таким образом, всё московское насе-

ление вот уже 50 лет искусственно подкармливается и искусственно поддерживается на ином психологическом уровне, нежели вся остальная ограбленная страна. (Большевики научены уроком февральской революции 1917 в Петрограде.) От этого Москва получилась неким уголком, промежуточным между СССР и Западом; она почти настолько же комфортабельнее остального Советского Союза, насколько Запад комфортабельнее Москвы. Но поэтому и все суждения, собранные по московскому опыту, прежде чем быть перенесены на общесоветский опыт, должны быть исправлены большим поправочным коэффициентом. Истинный общесоветский опыт — только в провинции, в деревне, в лагере и в жестокой армии мирного времени.

Сам я все 55 лет своей советской жизни провёл исключительно в глубинном СССР, никогда не имел привилегий столичного жительства и свой жизненный опыт могу использовать без коэффициента. Я и буду говорить не о Москве, но — о стране.

Прежде всего: западные глаза затуманены ложным газетным представлением, что русские являются «господствующей нацией» в СССР. Они не были ею никогда: от 1917 и посегодня. Первые 15 лет советской власти сокрушительный, уничтожительный удар советского коммунизма пришёлся по русским, украинцам и белорусам (нынешний упадок рождаемости происходит ещё оттуда) — с почти полным истреблением их высших классов, духовенства, культурной традиции, интеллигенции и питающего слоя — крестьянства. Запрещались и проклинались лучшие имена русского прошлого, вся прошлая история покрывалась бранью, церкви уничтожались сплошь, десятками тысяч, города и улицы переименовывались в имена палачей — так, как могут делать только оккупанты. По мере же того, как коммунисты чувствовали себя у власти твёрже, они переносили подобный удар и по остальным национальным республикам, применялся известный принцип Ленина, Гитлера и уголовников:

бить врагов поодиночке. И так — «господствующей нации» вообще в СССР не оказалось: коммунистам-интернационалистам никогда не была нужна такая. То обстоятельство, что в качестве государственного языка сохранился русский, — чисто механическое, какой-то один должен был быть. Русский язык только изгажен этим употреблением. От этого русские не почувствовали себя господами: если, насилуя женщину, ею командуют на её родном языке, — это не значит, что не было акта изнасилования. И то обстоятельство, что с конца 30-х годов в коммунистическом руководстве стали получать перевес русские и украинцы по происхождению, — никак не сделало эти нации господствующими. Во всём мире (и в Китае, и в Корее) закон таков: люди, отдавшие себя коммунистическому руководству, уходят душой не только от своей нации, — но и от человечества вообще.

Но шерсти можно больше состричь с более крупной овцы — и так раскладки экономического гнёта все советские годы были наиболее жестоки по отношению к РСФСР. К другим национальным республикам экономические приёмы были всё же осторожнее: боялись национальной вспышки. Повсюду введена бесчеловечная колхозная система, — но всё же расценка за центнер апельсинов в Грузии была — при меньшей затрате труда — несравненно преимущественней, нежели за центнер русского картофеля. Эксплуатировались беспощадно все, — но предельная степень эксплуатации была в РСФСР, и сегодня самая нищая в СССР деревня — русская. Так же и города в русской провинции десятилетиями не знают не только мяса, сливочного масла или яиц, но грезят о простых макаронах или о маргарине.

Такая материальная пропасть существования — и уже полвека! — ведёт и приводит к биологическому вырождению нации, к упадку телесному и духовному, — тем более усиленному отупляющей политической пропагандой, насильственным отня-

тием религии, подавлением независимой культуры, свободой для одного лишь пьянства, двойным трудовым изнеможением женщины (на казённой работе — наравне с мужчиной, и дома без бытовых приборов) и ограблением детского ума. Падение бытовых нравов — жестоко, но не потому, что так плох народ, а потому что коммунисты лишили его пищи физической, пищи духовной — и отстранили всех, кто мог бы оказать духовную помощь, в первую очередь священство.

Русское национальное сознание сегодня — исключительно подавлено и унижено всем произошедшим и происходящим с нами. Это — сознание долго больного и при смерти больного человека, у которого одна только мечта — о покое и выздоровлении. Все помыслы русской семьи в глубине страны неизмеримо скромней и робче, чем можно услышать западному корреспонденту в досужных московских беседах. Все помыслы эти: как-нибудь прекратился бы бесконтрольный произвол местного мелкого коммунистического сатрапа, да удалось бы наесться, да обучить детей, да запасти топливо на зиму, да удалось бы иметь хоть по одной комнате на двух человек, да открылась бы церковь ближе чем 200 километров от их жительства, да не запрещалось бы крестить детей и воспитывать их в добре, да отвлечь отца семейства от пьянства.

И вот *эту* тягу глубинной России подняться от животного существования к человеческому и вернуть себе элементы религиозно-национального сознания — легкоязычные быстроязычные современные информаторы Запада называют: русским шовинизмом — и величайшей угрозой современному человечеству, — гораздо большей, чем откормленный дракон коммунизма, уже занесший ракетно-танковую лапу над остатком нашей планеты. Вот *этим* несчастным людям, этому смертельно больному народу, беспомощному спасти себя от гибели, приписывают фанатическую идею мессианства и воинствующий национализм!

Пугают — фантомом. «Русским национализмом» клеймят сейчас простое чувство любви к своей родине, естественный патриотизм. Но страну, не знавшую 50 лет простого хлеба, — уже никому не настроить к воинствующему национализму. Держать в плену другие народы, держать в капкане Восточную Европу, захватывать и вооружать дальние заморские страны — это нужда злобного Политбюро, а не рядового русского человека. Что же касается «исторического русского мессианизма», то это — сочинённый вздор: за несколько веков никакие духовно-влиятельные, или правительственные, или интеллигентские слои в России не страдали мессианской болезнью. Да я допустить не могу, чтобы в наше погрязшее время на Земле какой-нибудь народ смел бы считать себя «избранным».

Все народы Советского Союза нуждаются в долгом выздоровлении после коммунистической порчи, а русскому народу, по которому удар был самый истребительный и затяжной, нужно 150—200 лет выздоровления, мирной национальной России. Но такая Россия подсекает коммунистическое безумие. Русское национальное возрождение и освобождение стало бы гибелью советского коммунизма, а за ним и мирового. И советский коммунизм отлично сознаёт, что русское национальное сознание — отменяет его. Для людей, искренне любящих Россию, никакое примирение с коммунизмом никогда не было и не будет возможно. И потому коммунизм наиболее беспощаден был всегда — к христианским деятелям и к национальным. Первые годы это был сплошной расстрел, потом — гноение в лагерях. Но и по сегодняшний день их продолжают преследовать неотвратимо: Владимир Шелков уморён насмерть 25 годами лагерей, 13 лет уже отсидел Огурцов, 12 — Осипов, этой зимой разгромлен совсем аполитичный «Комитет защиты прав верующих», арестованы независимые священники о. Глеб Якунин и о. Дмитрий Дудко, пересажаны члены христианского семинара Огородникова. Власти и не

скрывают, что всей тяжестью своего террористического аппарата они открыто давят христианскую веру. И в этот-то момент, когда религиозные круги в СССР преследуются отъявленно жестоко, — как красиво, как морально слышать поношения православия со стороны западной печати!

Нынешняя антирусская кампания западных информаторов, прорастающая и в центральной американской прессе, — исключительно полезна и спасительна для советского коммунизма, хотя не стану обязательно настаивать, что она вся инспирирована им самим.

Но и, обратно: эта кампания переворачивает для Запада реальность вверх дном, понуждает бояться своего естественного союзника — угнетённый русский народ, а верить своему смертельному врагу — коммунистическому режиму — и слать ему обильную помощь, в которой он так нуждается после полувекового экономического банкротства.

6

Но и поверженный, разгромленный, ограбленный народ — продолжает физически существовать, и коммунистическая власть — одинаково в СССР, в Китае или на Кубе — имеет цель заставить его: и безотказно на себя работать и безотказно воевать, когда потребуется. А для войны — в СССР коммунистическая идеология уже давно не тянет, никого она не воодушевляет. Итак, несомненно намерение власти: снова сэксплуатировать ими же угнетённое русское национальное чувство — для своей новой войны, для своих жестоких империалистических целей, и тем судорожней и отчаянней, чем больше будет коммунизм идеологически тонуть, — чтобы получить от национальных чувств недостающую себе физическую и духовную крепость. Верно, такая опасность есть.

Упомянутые информаторы — её видят, и даже

видят только её одну (не истинные поиски национального духа). И в грубом случае за это уже вперёд бранят нас шовинистами и фашистами, а в самом предупредительном случае говорят: раз вы видите, что религиозно-национальное возрождение русского народа может быть подло использовано советской властью, — то и откажитесь от возрождения и откажитесь от всяких национальных чаяний.

Но ведь советская власть использует и еврейскую эмиграцию из СССР для успешного разжигания антисемитизма («вот, смотрите, единственные, кому разрешено спасаться из ада, и за это Запад платит товарами»), — следует ли отсюда, что можно дать евреям совет отказаться от поисков своих религиозных и национальных истоков? Конечно, нет. Позволительно нам всем — жить на Земле естественно и стремиться к тому, к чему мы каждый стремимся, без оглядки на то: а кто как об этом подумает, что напишут в газете или какие тёмные силы будут пытаться использовать для себя?

Да зачем говорить всё в предположениях будущего времени? У нас есть недавняя история. В 1918—1922 годах во многих местах России тысячные крестьянские толпы шли с вилами (или даже только с иконами, и эти случаи описаны в литературе) на красные пулемёты как на силу, враждебную своему народному существованию, — и крестьян убивали тысячами же.

А 1941-45 годы? Вот когда впервые — в масштабе многомиллионном и полностью на глазах всего мира — коммунизм действительно оседлал русский национализм, убийца оседлал полуубитого — и в Америке, и в Англии не только никого это не устрашило, — но вызвало единодушный восторг всего западного мира, и «России» простили её неблагозвучное название и всякую недобрую память прошлого, её впервые безоглядно полюбили (парадоксально: когда она перестала быть сама собой) — и ликовали и аплодировали: потому что такое оседлание тогда спасало западный мир от Гитлера. И не упрекали,

что это «величайшая опасность», хотя на самом деле это и была величайшая опасность. Тогда Запад даже и мысли не допускал, что у русских могут быть какие-нибудь иные чувства, кроме коммунистических.

А что испытывали тогда подсоветские народы на самом деле? А было вот как. Прогремело 22 июня 1941 года, прослезил батька Сталин по радио свою потерянную речь, — а всё взрослое трудящееся население (не молодёжь, оболваненная марксизмом), и притом всех основных наций Советского Союза, задышало в нетерпеливом ожидании: ну, пришёл конец нашим паразитам! теперь-то вот скоро освободимся. Кончился проклятый коммунизм! Литва, Латвия, Эстония встречали немцев ликованием. Белоруссия, Западная Украина, потом первые русские области встречали немцев ликованием. Но нагляднее всех показала настроение народа Красная армия: на виду у всего мира, на фронте в 2000 километров шириной, она откатывалась — хотя пешком, но с автомобильной скоростью. Ничего нельзя придумать убедительнее этого голосования ногами — одних мужчин расцветного боевого возраста. Всё численное превосходство было на стороне Красной армии, превосходная артиллерия, немало танков, — но армии откатывались неуподобляемо, невиданно для всей русской и всей мировой истории. За короткие первые месяцы в плен сдались около 3 миллионов солдат и офицеров!

Вот было настроение народа (народов), испытавших кто 24 года коммунизма, а кто — даже только 1. Для них весь смысл новейшей войны был — освобождение от коммунистической чумы. Народ, естественно, стремился в первую очередь решить не европейскую задачу, а свою национальную — освободиться от коммунистов.

Видел ли Запад это катастрофическое отступление? Не мог не видеть. Истолковал ли как-нибудь для себя? Нет, ослеплённый своими заботами и своими болями, не истолковал даже и до сегодняш-

него дня. А между тем, при бесстрашной преданности принципу *всеобщей*, универсальной свободы, он не должен был покупать лендлизом помощь кровавого Сталина, укреплять его господство над народами, ищущими своей свободы. Запад должен был открывать независимый фронт против Гитлера — и сокрушить Гитлера своими *собственными* силами, и эти силы у демократических стран были, но их жалели, и предпочли загородиться несчастными народами СССР.

После 24 лет террора никакими силами, никаким убеждением не удалось бы коммунизму оседлать русский национализм для своего спасения, — если бы не оказалось (а под коммунистическим колпаком нет внешней информации, и мы заранее не знали), что с запада на нас катится другая такая же чума, да ещё со специальной антинациональной задачей: русский народ частью истребить, а частью обратить в рабов. И первое, что немцы делали: восстанавливали уже разбежавшиеся колхозы для лучшей эксплуатации крестьянства. Так наш народ попал между молотом и наковальней. И из двух лютых врагов пришлось выбирать того, который говорит на твоём языке. Так и произошло оседлание нашего национализма коммунизмом. На несколько лет коммунизм как забыл и оглох к своим лозунгам и теориям, как забыл марксизм, а всё твердил о «славной России» да ещё и восстанавливал Церковь. (Впрочем, лишь до конца войны.) Так в этой злополучной войне мы своей победой только укрепили на себе ярмо.

Но кроме того ещё было русское движение, искавшее третий путь: всё же использовать эту войну для освобождения от коммунизма. Они никак не были сторонниками Гитлера, лишь невольно оказались включёнными в систему его империи, внутренне они считали своим союзником только Запад (искренне считали, не лукаво, как коммунисты). Но для Запада всякий, кто хотел бы освободиться от коммунизма в ту войну, — был предатель дела

Запада. Пропади хоть все народы Советского Союза и погибни в советских концлагерях сколько угодно миллионов, — лишь бы Западу благополучно и побыстрей выйти из этой войны. Так пожертвовали сотнями тысяч этих русских, и казаков, и татар, и кавказцев: не разрешили даже сдаться в плен американцам, а выдали на расстрелы и расправу в СССР.

Но ещё поразительней, что английская и американская армии сдавали коммунистам на расправу — сотни тысяч мирных жителей, обозы стариков, женщин и детей, и просто бывших военнопленных и подневольных рабочих, — сдавали не только против их воли, но даже видя тут же их самоубийства. А английские отряды и сами застреливали, кололи, рубили этих людей, почему-то не желающих возвращаться на свою родину. Однако ещё поразительнее: из тех английских и американских офицеров не только никто никогда не был наказан и не получил упрёка, — но свободная, гордая, ничем не связанная английская и американская печать — почти 30 лет невинно единодушно промолчала об этом предательстве своих правительств, — 30 лет не находилось ни одного честного пера! Не этому ли удивиться больше всего? Бесперебойная гласность Запада вдруг в этом случае отказала. Почему?

Тогда казалось: выгоднее заплатить коммунистам каким-то миллионом-другим глупых людей и купить себе вечный мир.

Так же — и безнадобно! — пожертвовали Сталину всею Восточной Европой.

Теперь, через 35 лет, можно подвести итоги этой мудрости: западные страны держатся только на непредвиденной советско-китайской ссоре.

7

Свою эгоистическую и пагубную ошибку во Второй мировой войне Запад с тех пор повторял ещё не раз: всей силой желания и мольбы он

только хотел бы не противопоставить себя коммунизму! Где можно и где нельзя — он не замечал ни массовых коммунистический убийств, ни коммунистической агрессии. Он быстро прощал и Восточный Берлин (1953), и Будапешт, и Прагу, и спешил поверить в миролюбие северокорейских правителей (они ещё себя покажут), и в благородство северовьетнамских, давал (и даёт) позорно дурачить себя хельсинкским соглашением (в уплату признав навсегда все захваты коммунизма в Европе), хватался за миф прогрессивной Кубы (даже Ангола, Абиссиния и Южный Йемен ещё не разубедили сенатора Мак-Гаверна), за спасительность еврокоммунизма, до одурения заседал и верил в издевательские венские переговоры о европейском разоружении и старался 2 года (с апреля 1978) не замечать захвата Афганистана. Историки и потомки будут изумлены, не найдут объяснения такой трусливой слепоте. Только леденящий камбоджийский геноцид распахнул перед Западом всю глубину той смертной пропасти, привычной для нас, где мы живём уже 60 лет, — но, кажется, и тут западная совесть начала уже привыкать и отвлекаться.

А понять бы до конца всем розовым мечтателям, что природа коммунизма — едина во всём мире и во всех странах и всегда — антинациональна, всегда направлена на убийство того народного тела, в котором он развивается, а затем и на убийство соседних тел. Какие бы иллюзии «разрядки» ни строились, с коммунизмом никогда ни у кого не будет устойчивого мира: коммунизм будет только жадно распространяться. Какой бы спектакль «разрядки» ни разыгрывался, но идеологическую войну коммунизм ведёт с вами всегда и непрерывно, и вы никогда не называетесь у них иначе как «врагами». Коммунизм никогда не остановится в своём стремлении захватить мир: прямым ли завоеванием, подрывной ли террористической деятельностью или разложением структуры общества. Вон, ещё свободны Италия, Франция, — но уже дали проесть себя сильным

коммунистическим партиям. Каждому отдельному человеку и целому обществу, особенно демократическому, свойственно питаться надеждами. Но в отношении коммунизма надеяться не на что: никакого сговора с коммунистической доктриной быть не может, возможны только: или полное торжество её во всём мире или полное её крушение повсюду. Единственное спасение и для России, и для Китая, и для всего мира, — чтоб от неё отказались. Иначе весь мир скоро будет подвергнут разорению и уничтожению. Коммунистическая оккупация Восточной Европы и Восточной Азии не прекратится никогда, но в любой момент возможна оккупация Западной Европы и других многих стран. Африканские и южно-американские возможности коммунизма тоже уже продемонстрированы наглядно, и едва только страна «плохо лежит» — тотчас её захватывают. Конечно, есть надежда и на другой исход: что коммунистические завоеватели в конце концов сорвутся, как и все завоеватели мировой истории. Им кажется, что пришёл час их мирового господства, они рвутся к победе, а на самом деле — к своей гибели. Но за эту их гибель в будущей войне человечеству придётся заплатить уже миллиардными жертвами.

Казалось бы, в предвидении этой смертельной угрозы, — как должны бы быть направлены усилия американской дипломатии? Единственно к тому, чтоб эти империалистические «всадники» не были так страшны и сильны, чтобы ни в одной стране они не могли снова оседлать национальных чувств и почерпнуть в них народную силу. Но не только не избирается этот путь — а прямо противоположный.

Американская дипломатия за последние 35 лет производит впечатление неумелой и жалкой. Недавно — бесспорно ведущая держава мира, победительница во Второй мировой войне, вождь Организации Объединенных Наций, — Соединённые Штаты быстро и систематически теряли и свою руководящую роль в ООН (испытав там множество униже-

ний), и своё решающее влияние на всех континентах (и часто унизительно), и теснились даже в глазах своих западно-европейских союзников, и всё время понижались в соотношении с СССР. (До того, что уже совершаются извинительные сенаторские визиты в Москву: объяснить там, чтоб не сердились на прения в Сенате.) Все усилия американской дипломатии были: всячески оттягивать конфликты, хотя бы ценой непрерывного упадка своих сил.

Никак не поняв урока Второй мировой войны, что только совершенно безвыходные, безжалостные обстоятельства могут привести к совместным действиям коммунизма и порабощённой им нации, — Соединённые Штаты держались по отношению к советскому и восточно-европейским правительствам как к лучшим выразителям национальных чаяний захваченных ими народов, почтительно общались с их фальшивыми представителями. То есть они заранее, на будущее, самым неблагоприятным для себя же образом, отказываются от союза с порабощёнными народами и подгоняют их под прочный захват коммунизмом. Они оставляют и русский народ, и китайский народ в отчаянно-безвыходном одиночестве, в котором мы уже побывали в 1941.

В 50-е годы одному нерядовому деятелю из русской эмиграции военного времени на его проект организации русских антикоммунистических сил было отвечено видным чиновником американской администрации: «Нам не нужна никакая Россия, ни прошлая, ни будущая!» Чванный, глупый и самоубийственный для Америки ответ. Теперь дела в мире стали так, что без возрождения здоровой национальной России не существовать и Америке, — всё будет изничтожено в кровопролитном состязании. В том состязании будет гибелью Америки, если она будет соединять в своих представлениях и действиях — коммунистических агрессоров и страдательно завлечённые народы СССР, бороться не против коммунизма, а против «русских», — то есть снова загонит их в ситуацию 1941 года, когда они

так же будут порываться освободиться и не находить себе сочувствия.

Сегодня практика американской дипломатии всячески поддерживает эту искусственную губительную сдачу национального самосознания — его владетельному коммунизму. После 35 лет всех своих неудач американская дипломатия теперь взяла новую недальновидную, неразумную — безумную — ставку: загородиться Китаем, то есть отдать, толкнуть и китайские национальные силы в полное распоряжение своего коммунизма, для чего не жалко показалось внести аванс Тайванем.

Этот поступок (это предательство) — и против китайского национального чувства и против русского национального чувства (Америка открыто поддерживает тоталитарных угнетателей — и готовит их против нас).

Уж не спрашиваю: где тут остатки демократической принципиальности? Где тут уважение к свободе народов? Но и стратегически — близорукий расчёт: может внезапно произойти и роковое примирение двух коммунизмов — и тогда оба вместе обернутся против Запада. А если и не помирятся, то Китай, вооружённый Америкой, справится и с Америкой.

Стратегическое непонимание, что угнетённые народы — союзники Запада, приводит западные правительства к реальным непоправимым ошибкам. Все годы у них мог быть открытый мост к угнетённым народам — эфир, но его либо вовсе не использовали, либо бездарно. Америка легко могла осуществить телевизионные передачи со спутников, — и ещё легче отказалась от этого проекта после гневного протеста советского правительства (оно-то знает, чего боится!). Конечно, это средство требует понимания высоты запросов и мысли того страдающего народа, к которому обращаются. Конечно, не мерзость коммерческих передач была бы нужна — она только оскорбила бы сознание тех голодных народов, это было бы ещё хуже, чем ничего.

Недоброкачественная передача в Америку информации об СССР отзывается роковой разобщающей взаимностью: тем трудней становится и американцам увидеть себя с другой стороны. И, например, русский отдел «Голоса Америки» в большинстве своих передач делает как будто всё, что в его силах, чтоб не привлечь к Америке вдумчивого русского слушателя, но изумлённо оскорбить, ранить и оттолкнуть его от понимания Соединённых Штатов.

Оттого что Запад получает сведения об СССР в искажённой диспропорции, — он и не способен соразмерить и правильно составить со своей стороны радиопередачи на Советский Союз. Многолюдная и стоящая немалых денег русская секция «Голоса Америки» плохо служит американским интересам, а часто прямо вредит им. Кроме последних известий и самых актуальных политических комментариев, многие часы ежедневных передач наполнены пошлой дребеденью, которая вызывает только раздражение голодных угнетённых миллионов слушателей, лишённых прежде всего правды о собственной истории. Вместо того чтоб доносить им (и многократно повторять по условиям трудного слушания) эту историю и те книги, за которые в СССР преследуют тюремными сроками, вместо того чтобы поддерживать их антикоммунистический дух, укрепляя реальных будущих союзников Америки, — часы радиовещания наполняют ничтожными рассказами о коллекционерах пивных бутылок, о прелестях путешествий на океанских лайнерах (со смакованием: как кормят, какое казино и дискотека), подробностями из жизни американских эстрадных певцов, много о спорте, о котором и без того не запрещается знать жителям СССР, и о джазе, который они беспрепятственно могут ловить со всех иностранных радиостанций. (Не более удачная находка и подробные рассказы евреев, приехавших в США, как они тут живут, устроились и довольны. Так как в СССР все знают, что право выехать есть только у евреев, — эти передачи не способствуют

ничему иному, кроме выращивания антисемитизма.) Руководители «Голоса Америки» явно имеют всё время в виду — не сердить советское руководство. Поэтому, в детантском усердии, они убирают из передач то, что могло бы раздражить правящих коммунистов. Примеров этой политической угодливости «Голоса Америки» к ЦК КПСС — много, но приведу из собственного опыта, поскольку мне их легче документировать. Из моего заявления об аресте Гинзбурга 4 февраля 1977, всего из трёх фраз, цензурой «Голоса Америки» было выброшено две:

> «Эта расправа касается западных людей более, чем можно сразу представить. Это — существенное звено в неуклонной тотальной подготовке советского тыла: чтобы он не мешал тому наступлению внешнему, которое так успешно ведётся последние годы, а будет развёрнуто ещё шире: на силу, дух и само существование Запада.»

Моё послание к римским Сахаровским слушаниям того же года было полностью задержано из-за фраз:

> «...пожелать, чтобы леденящие рассказы с вашей трибуны нашли бы путь сквозь глухоту благополучия, которое дожидается лишь звука смертной себе трубы, а меньших звуков не слышит. Пробились бы к близорукому сознанию, которое радо потешиться и отдохнуть в змеиных песнях еврокоммунизма.»

Политически целомудренный «Голос Америки» не мог допустить, чтоб это услышали люди Востока, да и люди Запада. Но ещё и гораздо хуже того: нередко «Голос Америки» и сам звучит в масть советским властям, а то и прямо по-коммунистически, вполне как радиостанция Москвы. Недавно, во время болезни Тито, было передано: но есть и радостные новости из Югославии — в эти дни болезни вождя тысячи граждан охотно вступают в Союз коммунистов! Ну — буквально то ленинско-сталин-

ское издевательство, которое каждый день гремит из репродукторов над головами советских слушателей. Такая передача может вызвать у них только сомнение в умственных способностях передающих. И даже в религиозные передачи почти не допускаются православные службы, в которых больше всего нуждаются наши слушатели, лишённые церквей, и даже на этом малом отрезке теснится (как и коммунистами в СССР) само православие — как «религия, не характерная для США». Для Соединённых Штатов пусть не характерная, но она характерна для России! — а передача ведётся ведь на русском языке.

Если ещё к этому добавить, что вещания ведутся языком, который трудно назвать русским: с грубыми грамматическими ошибками, плохим синтаксисом, неверными ударениями, плохой фонетикой, то надо сказать: сделано достаточно много, чтоб отвратить русских слушателей от этой радиостанции.

Так бездарно используется самое могучее средство, которое есть в руках Соединённых Штатов для того, чтоб установить взаимопонимание и даже союз с угнетённым русским народом.

Впрочем, и другие западные радиостанции на русском языке имеют сходные пороки. Так же и Би-Би-Си свойственны предупредительность, чтобы не оскорбить коммунистические вкусы, и поверхностное представление о нынешнем русском народе, — оттого неспособность отобрать главное, нужное как хлеб, и многие драгоценные часы вещания забиваются чуждой нам и бесполезной чепухой.

8

Для многонациональной человеческой массы, заключенной сегодня границами Советского Союза, дилемма такова: или кровожадно-империалистическое развитие коммунизма, с захватом множества стран в разных частях планеты, — или отказ

от коммунистической идеологии и переход на путь умиротворяющий, выздоровляющий, родинолюбивый, заботливый к своим народам.

Для меня, как для русского, мало утешения в надежде, что при первом пути советский коммунизм, может быть, всё-таки потерпит поражение и какая-то кучка нынешних заправил, кто не успеет сбежать, попадёт на вторую Нюрнбергскую скамью. Нет утешения, потому что истинно расплатится за то — обманутый истерзанный народ.

Но как открыть второй путь? Из-под коммунистической диктатуры внутренними силами совершить это чрезвычайно трудно, особенно оттого, что весь остальной мир, в затемнении своего разума, недружелюбно относится к нашим попыткам освобождения из-под коммунизма: в лучшем случае — умыванием рук.

Осознав дилемму, я, в моих слабых силах, 7 лет назад надумал предпринять такое доступное мне действие: написал «Письмо вождям Советского Союза» с призывом к ним — очнуться от коммунистического бреда и позаботиться о своей разорённой стране. Конечно: попытка почти равная полной безнадёжности, но цель моя была по крайней мере: громко поставить этот вопрос, и, может быть, не нынешние вожди, но кто-либо из их преемников прислушается к моим предложениям. В этом «Письме» я попытался сформулировать тот минимум разумной национальной политики, который можно мыслить, не вырывая власти у современных коммунистических властителей как личностей (ибо утопично надеяться, что они отдадут свою личную власть). Я предложил им: отбросить коммунистическую идеологию, хотя бы пока только. (Но каково им отбрасывать такое оружие, если именно к коммунистическим идеям Запад наиболее податлив?..)

В области внешней там было следствие: «не замышлять о судьбах других полушарий», «отказаться от невыполнимых и ненужных задач мирового господства, от Средиземного моря и помощи

южно-американским революционерам», оставить в покое Африку, убрать войска из Восточной Европы (то есть все эти марионеточные режимы оставить перед лицом своих народов без советских дивизий), не удерживать насильственно в пределах нашей страны какой-либо окраинной нации и освободить нашу молодёжь от обязательной всеобщей воинской повинности. «Потребности внутреннего развития несравненно важней для нас, как народа, чем потребности внешнего расширения силы», — писал я тогда.

Как восприняли эту программу вожди СССР — известно: ухом не повели. Но как восприняла западная и американская печать? Это меня изумило! Как: консерватизм — ретроградство — изоляционизм — и величайшую угрозу всему миру!!! Настолько, значит, угнетено западное сознание несколькими десятилетиями своих капитуляций, что когда Советский Союз, захватив пол-Европы, лезет в Азию и в Африку — это вызывает у Запада большое уважение: надо не сердить их, надо найти общий язык с этими прогрессивными (спутали с «агрессивными») силами. Когда же я предложил немедленно прекратить агрессию, и даже прекратить думать о ней, и освободить все желающие народы, и убраться к своим внутренним задачам, — это было понято и даже крикливо представлено как — реакционность и угрожающий всему миру изоляционизм.

Но надо хотя бы различать: изоляционизм всемирного защитника (Соединённых Штатов) или изоляционизм всемирного нападчика (Советского Союза). Первый — действительно смертельно опасен для всего мира и всеобщего мира, второй — спасителен. Если советские (а теперь и кубинские, и вьетнамские, а завтра китайские) войска перестанут захватывать весь мир и уберутся прочь: кому же это так опасно? Кто бы мне объяснил? — не понимаю посегодня.

Но я и не предлагал никакого принципиального

(культурного или экономического) изоляционизма, — уединиться так, будто на планете никого, кроме нас, больше нет. Нашей нации — глубоко больному человеку после 60 лет коммунизма и потеряв 60 миллионов человек, это кроме войн, — я предложил то, что единственно можно предложить больному: перестать тратить драгоценные силы на драку и толкотню здоровых людей, но отдаться только своему выздоровлению, но экономить для него каждую крупицу национальных сил: «достало бы нам наших сил, ума и сердца на устройство нашего собственного дома, где уж нам заниматься всею планетой», «физическое и духовное здоровье народа должно стать целью». Я призывал подняться из бытовой и моральной бездны, в которой живёт наш народ, и прежде всего спасти детей от оболванивания идеологией, женщин — от непосильного физического труда, мужчин — от пьянства, природу — от отравы, восстановить совершенно разрушенное семейное воспитание, поднять школу и спасти сам русский язык губимый коммунистической системой. На всё это и нужно 150—200 лет внешнего покоя и терпеливого занятия внутренними проблемами. И кому же это в мире опасно?

Но письмо было — действительно реальным обращением к реальным вождям, держащим в своих руках безмерную власть, и нельзя было не считаться, что самое большее можно ждать от них только уступки, но не капитуляции: ни реальных свободных всеобщих выборов, ни полной, ни частичной смены руководства. Наибольшее, к чему я призывал, — отказаться только от коммунистической идеологии и её самых безжалостных последствий, дать хоть немного распрямиться национальному духу — ибо только национальные характеры во всей истории создавали общества. И со скалы леденящего тоталитаризма я мог предложить только медленный плавный спуск через авторитарную систему (неподготовленному народу с той скалы сразу прыгнуть в демократию — значит расшлёпаться насмерть в

анархическое пятно). И вот этот «авторитаризм» тотчас так же был поставлен мне в вину западной прессой.

Но в «Письме вождям» я тут же оговаривал: «авторитарный строй, основанный на человеколюбии», «авторитарность — с твёрдой реальной законностью, отражающей волю населения», «устойчивый покойный строй, не переходящий в произвол и тиранию», «отказ от негласных судов, от психиатрического насилия, от жестокого мешка лагерей», «допустить все религии без притеснений», «свободное книгопечатание, свободные литература и искусство». Как временную меру по выходу из нашей тюрьмы, — я думаю, никто не может предложить ничего более быстрого и спасительного.

Что же касается принципиального выбора или отвержения для России авторитарности в будущем, — я не высказывался по этому поводу, я не имею конечного мнения. Моя критика некоторых сторон демократии известна. И я не считаю, что осуществлялась воля английского народа, когда Англию годами губило лейбористское правительство, избранное всего лишь 40 процентами избирателей. Или воля немецкого народа, когда левый блок имел в парламенте перевес на 1 место. Или воля всякого народа, когда половина его, разочаровавшись, не является к избирательным урнам. Я не могу отнести к достоинствам демократий их бессилие против малых террористических кучек или расцвета гангстеризма, или безудержной наживы капиталистов в ущерб морали народов. И я напомню, что страшный тоталитаризм, родившийся на земле, скажем, четырежды, ни один раз не родился из авторитарной системы, но всегда — из слабых демократий: Февральской, Веймарской, итальянской, чанкайшистской. А ведь большей частью государства человеческой истории были авторитарными, — а вот тоталитаризма никогда не рождали.

Я никогда не брался и не берусь разбирать этот вопрос теоретически, ибо я — не государствовед и не

политик. Я — лишь художник, больно зацепляемый слишком кричащими событиями современности, её общим кризисом. Я думаю, этот вопрос и не может решиться никаким газетно-журнальным спором и никакой скороспелой, даже научной, рекомендацией. Решение может быть получено лишь органическим развитием векового народного опыта и безо всякого насилия со стороны.

Тут я ещё раз напомню о том большом уважении, которое проявляет мировая наука ко всяким особенностям культурного развития даже малых народов Африки или Азии, некоему «локальному комплексу». И призову: не отказать в таком «локальном комплексе» также и русскому народу и не диктовать нам хотя бы так же, как не диктуют Африке. Русский народ живёт на земле уже 1100 лет — дольше многих из своих нетерпеливых учителей. И за эти 1100 лет в нём создались и накопились некие свои традиционные общественные понятия, которые не надо спешить осмеивать со стороны. Вот несколько примеров. Традиционное древнерусское понятие правды — как справедливости высшей, не юридической, а онтологической, от Бога. Общественным идеалом считалось (не значит, что каждый так жил, но идеал был надо всеми): жить праведно, жить моральным уровнем выше, чем всякие возможные требования законов. И пословицы были такие:

Одно слово правды весь мир перетянет.

Не в силе Бог, а в правде.

Коли бы все жили по правде — и законов не надо.

Или еще: по исконным русским представлениям истина не может быть найдена голосованием, большинство не обязательно лучше видит её. (А по особенностям массовой психологии, скажем — часто и хуже.) И когда для важных решений собирались представители земли («Земские Соборы»), на них не бывало голосований: истина искалась путём долгих взаимных убеждений — и определялась конечным общим согласием. И такое решение Собора юриди-

чески не было обязательно для царя, — но морально неизбежно. Судя с таких представлений, создание *партий*, то есть частей, борющихся за свои частные *интересы* за счёт других частей народа, представляется нелепостью. (Да и не соответствует достоинству человечества, каким ему пора бы стать.)

Не случайно могучая власть, перед которой сегодня трепещет вся свободная планета (и западные свободные вожди, парламентарии и публицисты), за 60 лет ничего так концентрированно, яростно не выжигала в подвластной стране, как её мировоззрение — христианство. И — не смогла уничтожить!

А новейшие информаторы Запада спешат уверить, что это нескудеющее христианство и есть величайшая опасность.

9

Всякое публицистическое выступление неизбежно влечёт за собой много откликов — большей частью рассудительных, добросовестных, но зато исказительные всегда крикливы, лезут в истерические заголовки, стараются запасть в людскую память, даже берут и верх. По роду своей жизни, работы и принципам поведения, я обычно никак не откликаюсь на весь этот ворох. Но коль скоро сейчас я уже высказываюсь по существенным вопросам, решусь очень коротко отозваться на некоторые искажения.

По поводу «Письма вождям» и дальше по другим поводам меня часто упрекали, что я — сторонник теократического государства, прямого управления государства религиозными лидерами. Это — ложь, ничего подобного никогда мною не сказано, не написано. Практическая государственная деятельность никак не из области религии. Но я считаю, что в государстве религия должна быть не только не гонима, а занимать достойное духовновлиятельное место — как, например, в Польше, в

Израиле, и никто этого не осуждает, не понимаю, почему же это запрещается России, которая за 1000 лет вынесла свою веру и за 60 лет выстрадала её смертями миллионов мирян и десятков тысяч священников?

Тогда же обвиняли меня, что я предлагаю какой-то общий «путь назад» — надо совсем считать человека идиотом, чтобы приписывать ему движение против хода времени. Будто бы я предлагаю будущей России «отказаться от современной технологии» — ещё одна лжишка: я предлагал технологию «современную, но дробную, а не гигантскую».

Какой путь я действительно предлагаю — я закончил этим гарвардскую речь и могу повторить: *путь вверх*. Я считаю, что роскошно-материальный XX век слишком передержал нас в полуживотном состоянии — кого от избытка, кого от голода.

Гарвардская речь вознаградила меня потоком сочувственных откликов простых американцев (кое-кому из них удалось напечататься и в газетах), поэтому я спокойно относился к потоку упрёков, который сыпала на меня рассерженная пресса (я ждал от неё большей восприимчивости к критике): фанатик; одержимый; расколотый разум; циник; мстительный поджигатель войны; наконец и просто: «убирайся вон из страны!» (изящное применение принципа свободы слова, чем это отличается от Советов?). Возмущались, как я смею употреблять «наша страна» по отношению к той, которая меня изгнала, — да дело в том, что не родина меня изгнала, а коммунистическое правительство. Р. Пайпс написал: «Свобода слова, которая так неприятна Солженицыну». Я думаю, он достаточно грамотен по-английски, чтобы прочесть, как было сказано: не свобода слова, а только безответственное аморальное злоупотребление ею.

А самое распространённое обвинение было: будто я «призываю Запад идти освобождать» наш народ от коммунистов. Это — совершенное нежелание читать и понимать текст добросовестно. Не

только в гарвардской речи, но и никогда прежде я не призывал ни к чему подобному и даже за все годы моей публичной деятельности не обратился за помощью ни к одному западному правительству, ни к одному западному парламенту. Я всегда говорил: мы освободимся — сами, это — *наша* задача, как бы она ни была трудна, а к Западу только одна просьба и один совет. Просьба: пожалуйста, не заталкивайте нас под диктатуру, не предавайте нас миллионами, как поступили в 1945, и не укрепляйте наших угнетателей вашими техническими средствами. И совет: в вашем безграничном отступлении — поберегите сами себя, не отступайте в ту последнюю яму, из которой вам уже нельзя будет выбраться.

Ещё притворилась часть прессы после Гарварда: как это я защищаю «право не знать» (обычно обрывали цитату: «не забивать своей божественной души сплетнями, суесловием, праздной чепухой»)? В обрыве — уже и ответ. Упрекают: и это Солженицын, который в СССР добивался права *знать*. Да, я добивался права всему миру знать: об Архипелаге ГУЛАГе, о народном сопротивлении, о миллионах умерших, о голоде 1933 года и предательстве 1945. Но нас, проживших суровые годы, оскорбляет получать от прессы подробности, что у бывшего британского премьера оперировано не что-нибудь, а именно яичко, и какое одеяло у Жаклин Кеннеди, и какой напиток предпочитает певица дешёвых песен.

А серьёзное непонимание вышло в том месте, где я сказал, что смертно давящая жизнь Востока выработала характеры более глубокие, чем регламентированная жизнь Запада. Некоторые недоумели: так что это значит: коммунизм — хорош? духовное превосходство советской системы? О нет, конечно! А только древняя истина: что силу человеческому характеру придают страдания и испытания. О, конечно, множество людей у нас там, в вечной гонке нищеты и под гнётом, — растоптано, принижено, искажено или отвращено от человеческого облика. Но открытое давление Зла не так коварно растле-

вает людей, как его привлекательное вползание: под прямым гнётом рождается и противоположный процесс — душевного подъёма и даже взлёта. На наших лицах почти нет церемонийных улыбок, но у нас больше друг другу поддержки — неюридической, когда жертва не списывается с налогов, такой системы и не существует. Наша атмосфера там — риск не ради себя, и мне лично приходилось наблюдать такое же преображение и некоторых западных людей, когда они долго действовали в советских условиях. Один американский читатель опубликовал, что предлагал своим дочерям по 100 долларов за прочтение 2-го тома «Архипелага» — и дочери отказались. А у нас его читают под страхом сесть в тюрьму. Да сравните двух юношей: трусливый террорист в Западной Европе, выходящий с бомбой против мирных людей и демократического правительства, — или инакомыслящий в Восточной Европе, выходящий с голой грудью против Дракона? Молодые американцы, не охотные к воинской повинности, или молодые советские солдаты, отказавшиеся стрелять в повстанцев (Берлина, Будапешта, Афганистана) — и тут же за это расстрелянные (и знали, что будут расстреляны!).

Я не вижу никакого спасения человечеству, кроме самоограничения каждого человека и каждого народа. И в этом — дух идущего сейчас в России религиозного национального возрождения. И я изложил это в качестве своей основной программы в статье «Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни», 5 лет назад изданной в Америке. Эту статью мои оппоненты почему-то избегают и вспоминать и цитировать.

Недавно «Нью-Йорк Ревью оф букс» дала крупный зловещий заголовок «Опасность национализма Солженицына». Но ни у неё, ни у её информаторов недостало ума указать в самой статье, обнимаемой заголовком: в чём же эта опасность? Что ж, я возьмусь помочь им цитатами из напечатанного мной.

Из «Письма вождям»:

«Я желаю добра всем народам, и чем ближе к нам живут, чем в большей зависимости от нас — тем более горячо.»

«Щемящее сочувствие вызывают и рядовые китайцы — потому что они будут самыми беспомощными жертвами той войны.»

Из «Раскаяния и самоограничения»:

«Нам придётся решимость в себе найти на признание грехов *внешних,* перед другими народами.»

«По отношению ко всем окраинным и заокраинным народам, насильственно втянутым в нашу орбиту, только тогда чисто окажется наше раскаяние, если мы дадим им подлинную волю самим решать свою судьбу.»

«Как нельзя построить хорошего общества при дурных отношениях между людьми, так и хорошего человечества не будет при дурных, затаённо-мстительных отношениях наций... Между государствами принять индивидуальную мораль: не делай другому, чего не хотел бы себе.»

Вот в чём опасность «национализма Солженицына». Вот в чём мировая угроза русского религиозно-национального возрождения.

10

Но и после Афганистана, как и после Чехословакии, Анголы или любого следующего советского захвата, — ах, как хочется всё-таки верить в разрядку! Да неужели же она кончена?.. «Да ведь советские руководители не отказались от неё! — об этом ясно заявил Брежнев, об этом писала «Правда»!» (Маршалл Шульман, никогда не теряющий оптимизма о коммунистическом руководстве, и другие эксперты в том же духе).

О, конечно же, советские руководители готовы продолжать детант, отчего же? Тот самый детант, в котором благодушествовал Запад, пока Камбоджу

вымаривали миллионами в джунглях. Тот самый детант, которому радовался Запад, когда в афганской деревне (да не одной же такой!) расстреливали тысячу мужчин от 12-летних мальчиков, — и мы, русские, сразу узнаём этот случай — это по-советски! так убивали и нас с 1918 года! Советскому коммунизму ещё очень пригодится детант: додушить последнее инакомыслие в стране и докупить недостающее электронное оборудование.

Запад просто не хочет поверить, что пришло время жертв, Запад просто не готов к жертвам. Даже пожертвовать выгодами торговли не способны торгующие до самого пушечного залпа: разум отказывает им понять, что их барыши не достанутся их детям, что сегодняшние мнимые выгоды скоро отзовутся полным разорением. Между западными союзниками идёт лавирование, как бы каждому жертвовать меньше другого. Всё это — от жира благополучия, провозглашённого целью жизни и заменившего высокий дух и высокое мировоззрение, растерянное Западом.

Коммунизма нельзя остановить никакими уловками детанта, никакими переговорами — его может остановить только внешняя сила или развал изнутри. Гладкое, лёгкое многолетнее шествие западного отступления должно было кончиться когда-то — и вот оно кончается: пусть не последний рубеж, но уже предпоследний. Не защитив дальних границ, придётся защищать ближние. Уже сегодня весь Запад под опасностью большей, чем нависала в 1939 году.

Сегодня было бы непоправимо для всего мира, если бы Америка сосчитала пекинское руководство своим союзником, а русский народ своим врагом вместе с коммунизмом: она затолкала бы в эту пасть оба великих народа, но и туда же бы упала сама. Она отняла бы у обоих великих народов последнюю надежду на освобождение. Неутомимые обвинители России и русского забывают сверить стрелки часов: все ошибки Америки в понимании

России могли быть академичными, но лишь до сегодняшнего динамического момента.

Накануне планетарной битвы между мировым коммунизмом и мировой человечностью хотя бы ясно видел Запад, где враги человечности и где друзья её, — и не искал бы союза врагов, но искал бы союза друзей. Так много уже уступлено, отдано и расторговано, что сегодня Запад уже не может устоять даже при единении всех западных государств, — а лишь в союзе с порабощёнными народами коммунистических стран.

Февраль 1980
Вермонт

ИМЕТЬ МУЖЕСТВО ВИДЕТЬ

Полемика в журнале «Foreign Affairs»

Уровень политической полемики заставляет выслушивать весьма плоские, а притом дружные обвинения, — например, что я идеализирую прошлое России, не знаю истории собственной страны, а уж тем более не понимаю Америку и всё современное человечество, ибо мало разговариваю на бензоколонках. Я предупреждал против злостных искажений русской истории, — мне приписали это как исчерпывающую систему взглядов. Историей русской революции я занимаюсь более 40 лет, сейчас оканчиваю 8-томное повествование, которое начнёт выходить по-русски через 2 года, по-английски может быть через 5. В объёмном художественном анализе открываются куда более коренные пороки и ошибки многовекового русского развития, чем могут мне представить мои горячие оппоненты по газетной поверхности или привременной страсти. Конечно, художнику не место в политической полемике, она огрубляет аргументы, — но больно слышать легковесные безответственные суждения, произносимые с научным видом, а между тем поражаться беззащитности и ненаходчивости современного Запада перед мировой ситуацией — прежде всего в составе идей и уровне их исполнителей. При таком течении трудно найти покой отложить высказывание ещё на 5 лет.

1

Жизнеспособность всякой системы хорошо характеризуется её приимчивостью к критике. Я всегда был уверен, что американская система жаждет критики и даже любит её. Уверенность по-

колебалась после моей гарвардской речи, когда в потоках гнева прессы отчётливо прозвучало: «не рассуждай, замолчи и даже убирайся прочь!» Никак не ожидал встретить такую тональность и на страницах «Foreign Affairs» (г. Тривс). Я не «читаю нотации», я передаю коммунистический опыт. Мне-то лично проще всего замолчать и предоставить заботу о будущем Америки исключительно единомышленникам мистера Тривса. Когда они испытают всё на себе, — у нас будет полное понимание. Но боязнь критики и свежих мыслей — роковая черта обречённых систем.

Статья Тёрстона — как будто специально написана показательной иллюстрацией к моей статье: как легко западного человека дурачить в СССР. Юмористично звучит его ссылка на «личный 10-месячный опыт» наблюдаемого иностранца в советской столице, в отработанных условиях советской «показухи», — опыт, который он отважно противопоставляет полувековому коренному опыту жителя в запретных глубинах страны. Вот и результат: его открытие о «советском патриотизме» и «гордости материальным прогрессом» (металлургии? военной промышленности?), когда нечего есть, — оскорбительно звучит цитатой из «Правды» или «Жэньминь жибао». Спор о локальных и искажаемых Тёрстоном юридических деталях прежних русских десятилетий никак не вмещается на страницы «Foreign Affairs» и в эту дискуссию. Но поразишься, с какой опрометчивостью он заключает о «социалистических симпатиях» России на основе «выборов» в Учредительное Собрание — уже после большевицкого переворота, когда не социалистические партии реально были жёстко ограничены. Он механически переносит американское понятие «выборы» в крестьянскую Россию 1917 года, не понимавшую даже этого процесса «выборы», не готовую ни к какому сознательному голосованию. (В 1945 американцы спрашивали советских: «так если вы недовольны Сталиным, отчего вы его не переизберёте?»)

Более неловко чувствуешь себя, когда такой советолог, как профессор Далин, внушает нам, что живое полувековое наблюдение за скрытыми глубинами советских пространств не столь важно, как вникнуть в мотивы тех, кто направляет советскую политику, — а для этого, очевидно, нужны только встречи с ними в Москве и анализ «Правды». Но сам же Далин в другом месте соглашается, что деятели СССР скрывают свои мотивы. Результаты таких бесед мы и видим на сплошных многолетних промахах Запада. Видел ли профессор Далин своими глазами предмет своего изучения — пространства этой порабощённой страны и жителей провинции и деревни? По каким данным он так уверенно судит о неоскудении русской деревни и подъёме уровня советской жизни? Его суждения о Луне были бы точней, ибо доклады астронавтов надёжней. О советской провинции, где не хватает картофеля до весны, а других продуктов вообще не знают (и это, мистер Далин, никак не «гипербола», вам только трудно это вообразить), наш оппонент серьёзно пишет, что там распространена гордость за успехи космонавтов и шахматистов. Или вознаграждает нас расцветом «безопасной» для правительства культуры, — какой именно? Гуманитарная пропитана ложью, «точная» поставлена на службу войне, — что ж остаётся от «культуры»? (А в провинции и такой нет.)

Законно желание г. Далина узнать, откуда взялись при утаённой советской статистике цифры погибших в СССР. Но цифры профессора статистики Ивана Курганова были опубликованы в Соединённых Штатах 16 лет назад («Новое Русское Слово», 12.4.1964) на языке, доступном профессору Далину, — и странно, что он их не заметил. О новых подсчётах наших потерь Иосифом Дядькиным, сейчас арестованным, можно прочесть в «Уолл Стрит Джорнал», 23.7.1980. Порядок этих цифр — десятки миллионов — совпадает у обоих авторов. Конечно, ещё много времени пройдёт, пока мы получим уточнённые данные: советская пасть не выдаёт тайн,

даже и в доверительных беседах функционеров.

Далее нам предлагают (г. Лёбль) не вдаваться в историю возникновения коммунизма в СССР, а судить лишь о сегодняшней угрозе. Но во *всех* областях знаний установлено, что всякое явление можно понять только зная историю его развития. От того, считать ли сегодня коммунизм (в том числе кубинский, вьетнамский, китайский) явлением исключительно русского происхождения или интернациональным и даже метафизическим, — определяются совершенно разные ответы на него: губительная ли капитуляция, идущая со времён Ф. Рузвельта, или попытка твёрдого стояния. Утверждение мистера Лёбля, что коммунизм так же национален по природе, как и национал-социализм, совсем не убедительно: тот никогда и не проявлял себя интернациональным, а только национальным, ввёл понятие «высшей нации»; и не выжигал и не вырезал прежде всего жизнь «своей» нации, как это делает в каждой стране каждый коммунизм с первого шага. И именно поэтому (как никогда не делает хитрый коммунизм) нацизм открыто заявлял, что идёт обратить народы СССР в своих рабов, — и на этом, как правильно пишет Лёбль, потерпел поражение. Однако Лёбль приписывает моей статье свою тенденциозную трактовку, что только украинцы и прибалты готовы были поддержать Гитлера, — я же свидетельствую, что и все захваченные русские области ожидали от этой войны себе освобождения, и Красная армия потому бежала с такой лёгкостью. Но Гитлер объявил войну именно русскому народу, не оставляя ему выхода. И именно этот совет повторно предлагают сегодняшнему Западу те, кто считает нависшую над миром опасность не коммунистической, а русской. И этот совет будет иметь тот же уничтожительный результат.

В тоталитарных государствах самой разрушительной деятельностью считается и более всего преследуется — восстановление исторической правды. Но и в условиях Запада этой цели достичь нельзя,

если разрешать себе высказывания недобросовестные и даже неграмотные. Тот же Лёбль: «в конце прошлого века русское правительство было союзником всех деспотических правительств». Интересно — каких именно? Справка: в конце прошлого века (с 1892) Россия имела единственного союзника — республиканскую Францию, с 1907 — Англию. «Царские мечты о мировом господстве захватили души русского народа.» В XIX веке единственный «царь», который мечтал о мировом господстве, был Наполеон. Более нигде такой феномен не наблюдался, кроме необъятной Британской империи на 5 материках. *Где* в русской литературе, искусстве и фольклоре Лёбль может указать жажду мирового господства? Каким другим способом он подслушал это из «душ русского народа»? «Русская культура на первом месте повсюду в Советском Союзе.» Мистеру Лёблю простительно не знать, что такое русская культура, но не следует судить по газетной наслышке. Я свидетельствую, что *русская* культура разгромлена и уничтожена с ненавистью в первое же советское десятилетие. Сегодня под псевдонимом «русской культуры» выступает антинациональная и атеистическая *советская культура* — притом на испорченном, изгаженном русском языке. Интересы коммунистической Москвы — «в первую очередь русские интересы», — пишет Лёбль в споре против моей статьи, даже, видимо, не прочтя целых разделов её. Я именно указываю, что никакая нация под советским господством не разорена в такой степени, как русская.

Впрочем, подобные безответственности мы обнаруживаем и у более видных американских лиц. Руководитель русского цикла Принстонского университета профессор Стефан Кохен пишет («Нью Рипаблик», 29.12.1979): «за период 1-й и 2-й пятилетки (то есть 1928—1937) в основном отсталое общество было преобразовано в преимущественно промышленное, получившее доступ ко многим благам современного государства всеобщего благополучия»! Фан-

тастическое высказывание! Будь оно известно у меня на родине, его восприняли бы как глумление: это всё сказано о десятилетии всеобщего разорения, голода, хлебных карточек в мирное время, 6 миллионов голодных смертей на одной Украине, 15 миллионов уничтоженных крепких крестьян, конца сельскохозяйственного изобилия, конца промышленности изделий массового потребления, отсутствия по всей стране одежды, обуви, тканей, домашних предметов, — с заменой на тяжёлую индустрию и показные для иностранцев магазины в Москве. В эти годы пещерного оскудения и озверения, которые Кохен сравнивает со всеобщим благополучием, — населению моей страны казался утерянным чудом последний предвоенный 1913 год. И к изобилию того «царского» года наша страна и издали не приближалась за минувшие 70 лет.

Если такой промах может допустить руководитель всего русского обучения ведущего университета, — удивляться ли, что один из кандидатов в президенты США, Э. Кеннеди, недавно выразился, что стеснения в мясе нисколько не страшны советскому руководству: оно «просто» будет кормить население курами. Человек, который претендует направлять мировую политику и экономику, не знает такого простого, что в СССР куриное мясо — на вес золота, что его нигде нет, невозможно достать даже для диетического больного.

Это парение в сфере иллюзий, этот как будто нарочитый самообман — характерная черта западной прессы и многих западных политических деятелей: верить только в желаемое и словесно заклинать, чтобы осуществлялось именно оно. Так, «Нью-Йорк Таймс» в июне 1945 собственным авторитетом подтверждала — для какой же цели? — что катынские убийства совершены не коммунистами, а гитлеровцами. Это с тех пор едва не всеобщее желание иметь дело с иллюзиями, а не с фактами, и доверчивое приятие недобросовестных сплетен о русской и советской истории — закрывают глаза Западу в

нынешний грозный момент, закрывают возможность понять истинное положение и найти пути спасения. Запад как будто *не хочет* знать истины до того момента, когда знать её будет уже поздно.

2

Статья профессора Таккера явно выражает не только его личные взгляды, но устойчивые взгляды целой среды, весьма влиятельной, даже определяющей для направления американской политики: приходят ли к власти демократы или республиканцы, тот или иной президент, — все ведущие эксперты и советчики набираются из этой среды. (И характерно, что проф. Далин присоединяется к существенным опорным пунктам статьи проф. Таккера.)

Центральная точка здесь — непонимание природы коммунизма: как концентрации непримиримого и динамического Зла (ведь слово «зло» теперь считается ненаучным, и даже неприличным, ни «зла», ни «добра» нет, а есть только плюрализм равноценных мнений); как явления интернационального и всеисторического (лишь крайний полюс социализма), а вовсе не локально русского. От этого — непонимание всего нынешнего советского феномена.

Кто вчитается внимательно в статью Таккера, — увидит, что Таккер испытывает сочувствие к «чистому» коммунизму, к ранним ленинским годам его и, конечно, никакого осуждения марксистскому учению. Ему, быть может, неловко выразить это сегодня прямыми словами, но это — во всей композиции его мышления. Для того и понадобилось ему передвинуть всё зло коммунизма на сталинские годы и от них потянуть хобот в поисках происхождения в русский XVI и XV век. За ленинскими годами Таккер отрицает даже насильственную систему ГУЛАГа, отрицает принудительность труда в ленинских концлагерях, и даже оправдывает их тем, что в них за-

ключались будто бы лишь «противники большевицкой власти», — а не просто подряд все яркие личности и кто не нравился большевикам по происхождению и личному поведению. (Это всё достаточно изложено в «Архипелаге ГУЛаге», и я предлагаю профессору Таккеру решиться на то, на что не решилась советская власть: прямо опровергать «Архипелаг» по пунктам.)

Пора же наконец называть вещи своими именами: что октябрьский переворот Ленина и Троцкого против слабой русской демократии был бандитским. Что он был произведен с большой финансовой помощью вильгельмовской Германии. Что коммунизм первых лет был такой же грязной, коварной, жестокой, бесчеловечной системой, как потом и сталинский. Что заслуга изобретения многомиллионного насильственного ГУЛАГа принадлежала Троцкому (принудительные «трудармии»), и ему же — бессмертное изобретение первых «газовых камер» (баржи, потопляемые в море с сотнями людей), и ему же — массовые расстрелы собственных военнообязанных, не идущих воевать за большевиков. И народный геноцид на Дону — расстрел более 1 миллиона 200 тысяч гражданского казачьего населения — принадлежит тем же двум бессмертным авторам. Весь замысел: пропагандно наделить крестьян землёй и тут же отобрать её вместе с урожаем — Ленин. Объявить войну зажиточному крестьянству (ниже уровня среднего американского фермера), и с тысячными расстрелами крестьян, — Ленин. Согнать крестьян в управляемые коммуны и артели — Ленин. Подавить всякую печать, кроме коммунистической, — Ленин. Разгромить независимое рабочее движение («съезды заводских уполномоченных») и профсоюзы — Ленин и Троцкий. Неумеренно эвфемистично называет Таккер такой строй «авторитарным», — а слово «тоталитарный» он не может выговорить в отношении к нему.

Читая полную переписку Маркса и Энгельса, опубликованную по-русски (такая возможность у

проф. Таккера есть), — можно было бы изумиться крайней беспринципности и бессовестности этих заговорщиков и их яростной «ортодоксальности» («русская черта» по Таккеру), если б не иметь перед глазами более поздних множественных примеров. В их взглядах мы уже узнаём и лютый атеизм как главный стержень мировоззрения, и лютую нетерпимость и злобу ко всем остальным партийным направлениям и даже к некоторым славянским народам, взятым в целости. А вот из их известных высказываний:

«...Существует лишь одно средство *сократить*, упростить и сконцентрировать кровожадную агонию старого общества и кровавые муки родов нового общества, только *одно средство — революционный терроризм.*» (*К. Маркс, Ф. Энгельс.* Сочинения. 2-е изд. Т. 5, с. 494.)

«Мы беспощадны и не просим никакой пощады у вас. Когда придёт наш черёд, мы не будем прикрывать терроризм лицемерными фразами.» (Там же. Т. 6, с. 548.)

«...Народная месть прорвётся с такой яростью, о которой и 1793 год не может нам дать никакого представления.» (Там же. Т. 2, с. 515.)

«Противодействовать попыткам буржуазии внести успокоение, вынуждать демократов привести в исполнение их теперешние террористические фразы... Не только не выступать против так называемых эксцессов, против случаев народной мести к ненавистным лицам или официальным зданиям... но и взять на себя руководство ими.» (Там же. Т. 7, с. 263.)

«Насилие (то есть государственная власть) — это тоже экономическая сила!» (Там же. Т. 37, с. 420.)

«Политическая свобода — ...хуже, чем самое худшее рабство.» (*К. Маркс, Ф. Энгельс.* Сочинения. М.: Госиздат, 1929—1935. Т. 2, с. 394.)

«Смотря в будущее, я вижу нечто такое, что будет сильно отдавать изменой отечеству; вот это для нас фатально.» (Там же. Т. 22, с. 138.)

«В одно прекрасное утро наша партия благодаря беспомощности и вялости всех остальных партий вынуждена будет стать у власти... Мы будем вынуждены проводить коммунистические опыты и делать скачки, о которых мы сами отлично знаем, что они несвоевременны... Прежде, чем мир будет способен дать историческую оценку подобным событиям, нас станут считать... чудовищами, на что нам, конечно, наплевать.» (Там же. Т. 25, с. 187.)

Маркс и Энгельс не раз повторяли: «став у кормила власти, мы вынуждены будем разыграть 1793 год».

И Ленин никогда не скрывал своих исторических истоков и не приписывал им происхождения из русских традиций. Он и постоянно цитировал, и клялся именами, и применял на деле Маркса и Энгельса (что, однако, не делает коммунизм немецким явлением). И, следуя им, открыто и многократно восхищался якобинским террором — и массовыми казнями и массовым потоплением обречённых. Он говорил: «террор обновляет страну» — и не скрывал, что следует Бабёфу: побеждённые классы полностью уничтожать. (Но это не делает коммунизма и французским.) Именно во Французской революции возникла расправа по классовой принадлежности. И названия и форма «революционных трибуналов» и даже «чрезвычайных комиссий» (по-советски ЧК) заимствованы от якобинцев (не от Ивана IV из XVI века). Сходство теории и тактики большевиков и якобинцев имеет школьную наглядность для всякого, кто только пожелает перечитать те исторические материалы. (До всех подробностей: запрещение свободной печати; уничтожение фракций; «диктатура как лучшая форма свободы»; монолитное единство всего населения; слияние государственного аппарата с партийным, а партийный подчиняется диктатуре одного лица; и даже — продовольственные отряды, грабящие крестьян, разрушение церквей, переливка колоколов, отнятие церковных ценностей.)

Странно, что проф. Таккер как будто никогда ничего об этом не слышал и не задумывался над этой прямой обнажённой преемственностью. В изложении, претендующем быть научным, он применяет совершенно несерьёзный довод в доказательство «исконно русского» происхождения большевизма: так полагал Бердяев!..

Уже, кажется, давно ни в какой науке не считается аргументом ссылка на авторитет. Осмелимся возразить, что философия Бердяева вообще есть весьма капризное творчество. В течении своей жизни он по меньшей мере два, а в чём и три раза менял свой образ мыслей почти на 180 градусов*, выступая против своих прежних взглядов как против чужих. Его книга о коммунизме в России не есть объективное историческое исследование, не анализ исторических фактов, а претворение его индивидуальных философских переменчивых установок, законченных тем, что он вывесил на своём доме советский красный флаг. Многие общемировые процессы (как подмена религиозного творчества социальным) он искусственно приписывает одной России. Не останавливается перед тем, чтобы человеконенавистнический марксизм назвать «этическим учением», о Марксе и Ленине заявить, что они «хотели добра», — это звучит кощунственно над трупами замученных миллионов и перед рылом сегодняшнего мирового завоевателя. Бердяев признаёт, что в русской истории были «перерывы органического развития», — и тут же, сам себе противореча, всё строит на «органической традиции», по удобству — то от Московской Руси, то от исключающей её Петербургской.

Однако Бердяев писал в 1937 году, когда ещё не выступил весь исторический объём явления. Но как можно в 1980, при 25 коммунистических странах

---

* См., например: *Н. Полторацкий.* Бердяев и Россия. Нью-Йорк, 1967.

на 4 континентах и во всех расах, — продолжать считать, что коммунизм (и его Интернационал Террора, разветвлённый ещё в 20 странах) — определился русскими чертами?

Идея Таккера, что сталинский период коммунистического Левиафана создан заимствованием из XVI и XVIII веков русской истории, не только ненаучна, но производит впечатление импрессионистической фантазии. Неужели это научный аргумент: что Сталин, для того чтобы рубить головы своим врагам и наводить ужас на население, нуждался в примере Ивана Грозного? А без Грозного — он бы не догадался? Мировая история даёт мало примеров тираний? Глубокие познания, что тиран должен держать народ в страхе, Сталин мог почерпнуть из первого школьного учебника по всеобщей истории, а может быть — из истории грузинского феодализма, а ещё раньше — из собственного лукавого и злобного нутра: что-что, а именно это он от рождения понимал, ему ничего не надо было читать. Или, пишет Таккер: ГУЛАГ происходит от насильственного труда при Петре I, — оказывается, насильственный труд изобретен в России! А почему не от египетских фараонов? А ближе по векам: демократические Англия, Франция и Голландия применяли насильственный труд в своих колониях, а США — даже на собственной территории, и все — позже Петра. А уж гребцы на галерах — хрестоматийны. (К чему приводит Таккер отрывок из Кеннана-старшего — совершенно не ясно, разве: доказать, что в дореволюционной России и каторга была так же открыта иностранным наблюдателям, как и суд? Можно не полениться найти у французских романистов ещё более яркое описание каледонской каторги, — и что это доказывает относительно 5-й республики? Когда в Англии впервые вышел (1881) перевод «Записок из Мёртвого дома» Достоевского, один из ведущих журналов отмечал отсутствие строгости, которая «привела бы в ужас английского

тюремщика»*.) Исконной русской чертой объявляются и захваты территорий, — хотя Англия имела захватов побольше, и Франция немало, значит ли это, что английский и французский народы хищны по своей природе? И уж тем более колхозы — всемирная социалистическая идея коммуны — объясняются как проявление русского крепостного права.

Неужели это научный метод: объявить перенос приёмов управления и учреждений через 4 столетия — при отсутствии каких-либо конкретных носителей, передатчиков, партий, сословий, лиц, вперепрыг через тотальное уничтожение всех общественных институтов в 1917, — какой-то мистический перенос, очевидно через кровяные гены? (Или, как изящнее выражается проф. Далин, — «что-то в русской почве, созданное наследственностью или средой».) И тут же рядом «не заметить» прямое наследование всего через 5—10 лет всех нужных традиций и готовых учреждений! — от Ленина и Троцкого того же самого ЧК ГПУ НКВД, тех же самых «троек» вместо суда (при чём тут Александр III?), того же самого (уже в наличии) ГУЛАГа, той же самой 58 й статьи, того же самого массового террора, той же самой партии, той же самой идеологии — в пределах того же поколения и через живых носителей, успевших убивать там и здесь, и тот же самый принцип сверхиндустриализации (подавить потребности народа и съесть его тяжёлой промышленностью), выдвинутый Троцким? (Нет никакой «двусмысленности» в наследии Ленина и Троцкого, которую ищет Далин.)

Я отказываюсь приписать профессору Таккеру такую невероятную слепоту! Я вынужден увидеть в этом сознательную попытку обелить ранний коммунистический режим, будто все его дьявольские преступления и учреждения вообще не существова-

---

* Журнал «The Atheneum» (Лондон). 1881. April 2. № 2788, p 455. Более тяжёлые условия английских заключённых по сравнению с заключёнными русскими отмечали и другие журналы.

ли, а созданы позже Сталиным, который будто бы «разрушал» большевизм, — и почерпнуты якобы из русской традиции. Какую такую «революцию сверху» (избитый марксистский термин у Таккера) совершил Сталин? Он честно и последовательно углублял и укреплял доставшееся ему ленинское наследство в его же формах. Но даже если бы Таккеру (и многим его единомышленникам) удалось бы доказать невозможное: что ЧК, ревтрибуналы, институт заложников, ограбление народа, тотальное насильственное единство мнений, партийная идеология и диктатура взяты не у своих коммунистов и не у якобинцев, но у Ивана IV и Петра I, — то и тут бы Таккер просёкся с «русской традицией». Дело в том, что для национальных мыслителей России оба эти царя были предметом порицания, а не восторга, а народное сознание, фольклор решительно осудили первого как злодея, второго как антихриста. Что Петр I *разрушал* русский быт, обычаи, сознание, национальный характер, подавлял религию (и встречал народные бунты) — это лежит на поверхности, это всем известно.

Неужели это исконная русская традиция: коммунистическая подрывная деятельность во всём мире, система экономического саботажа, идеологического разложения, террора и восстаний? Горячая сегодня среднеазиатская точка даёт нам понять разницу. Да, бухарский эмират (не Афганистан) был захвачен Россией — в том XIX веке, когда и все демократические страны Европы с моральной лёгкостью дозволяли себе любые завоевания. (И Англия пыталась, но не сумела, взять Афганистан.) Мне горько и стыдно, что и моя страна участвовала в общеевропейском насильственном покорении слабых народов. Но за 50 лет российского протектората в Средней Азии был мир: не подавлялась религия, быт, личная свобода — и не было движения к восстаниям. А едва захватил власть Ленин, — он с 1921 года готовил, под видом «революционной федерации», захват Турции, Персии и Афганистана.

А с 1922 в Хивинской и Бухарской областях в ответ на методы коммунистов вспыхнула мусульманская повстанческая война, как сегодня в Афганистане, и продолжалась 10 лет, и подавлена уже при Сталине безмерными расправами над населением. Вот чья «традиция» — вторжение в Афганистан.

Справка Таккера (поддержанная и Далиным), что слово «сталинизм» изобретено в 20-х годах троцкистской фракцией в борьбе со Сталиным, — мне, конечно, известна. Но называть сегодня «сталинизмом» осуществлённую 25-летнюю эпоху гигантского коммунистического государства — значит отвлекающе прикрывать непримиримую античеловеческую сущность коммунизма — главную угрозу сегодняшнему миру.

Оттого, что коммунизм — явление интернациональное, значит ли, что вовсе исключаются какие-либо его национальные признаки или обстоятельства? Не совсем, ибо коммунизму приходится действовать на живой земле, в среде конкретного народа и поневоле пользоваться его языком (для своих целей калеча его). В Китае преследуют стенные плакаты, а в СССР — самиздат. Русское городское население насильственно выгоняют работать на картофельные поля, а кубинское — на сахарный тростник. В СССР уничтожали население ссылкой в тундру, а в Камбодже — в джунгли. В Югославии провели манёвр одним способом: Тито поспешно совершил массовые убийства 1945 года, — а затем притворился барашком, чтобы получать западную помощь. А Чаушеску виртуозно достиг доли внешнеполитической независимости, — но укреплением внутреннего тоталитарного духа выше 100%. По восточно-германскому коммунизму ясно, что страна не должна объединяться, а по северокорейскому так же ясно, что должна. (Не знаю, откуда взял Далин, что по моему мнению всякий итальянец, голосующий за коммунистов, или всякий узбек, принудительно вовлечённый в партию, теряют свою

национальность? У меня сказано: «люди, отдавшие себя коммунистическому *руководству,* уходят душой от своей нации и от человечества вообще», — и профессор Далин мог бы не делать этого ошибочного переноса. «В ряде случаев коммунизм служит инструментом для развития национальных движений или интересов», — уверяет Далин, и так действительно думали в Штатах относительно Северного Вьетнама. Но теперь-то, кажется, разуверились? Теперь-то всем ясно, что ни в Эстонии, ни в Польше, ни в Монголии и нигде никогда коммунизм не служил национальным интересам?) В дополнение к коммунистической пропаганде — отчего не использовать ловко ещё и национальную? — этим коммунистические правительства не брезгуют. Но значит ли это, что «коммунизм во всех странах разный»? Нет, он во всех одинаковый: везде тоталитарный, везде с подавлением личности, совести, и даже уничтожением жизни, везде с идеологическим террором и везде агрессивный: конечная цель мирового коммунизма, всех видов коммунизма — захватить всю планету, в том числе и Америку. Можно понять кремленологическую кастовую обиду профессора Далина, что так неприятно упрощается проблема, хотелось бы видеть более тонкие градации в увлечённости вождей идеологией, — но идеология влечёт их помимо личных убеждений, — например, бессмысленно и неудержимо влечёт на мировой захват, не нужный им самим лично: как в фанатизме захватывают они Анголу, Абиссинию, Афганистан. Плохую услугу оказывают американской политике те, кто предлагают играть на «тонких вариациях» между разными коммунизмами.

Меня пытаются опровергнуть моим личным опытом: вот как заметно развивается коммунизм: при Сталине Солженицын сидел в тюрьме, при Хрущёве — напечатали «Ивана Денисовича», а при Брежневе — выслали. Удобный бродячий сюжет, он кочует из статьи в статью, прикочевал и к Таккеру! —

потому ли, что не могут найти другого за 63 года благодетельного примера, чем «Иван Денисович»? (А не появись «Иван Денисович» — ещё лучше: или вовсе не было при коммунизме лагерей, или русский народ не способен сам о них сказать.) Но пример Хрущёва — это то самое исключение, которое ещё строже подтверждает правило: изо всех коммунистических правителей он единственный был свергнут внутренними партийными силами именно за то, что он единственный иногда оступался от коммунистической догмы в сторону человечности, уж Ленин-Троцкий-Свердлов-Сталин-Молотов-Брежнев в сторону человечности никогда не делали ни шагу. Но и Хрущёв был верен марксизму в его главном сатанинском стержне: в истребительной ненависти к религии.

Тактические манёвры у коммунизма можно найти и покрупней, чем «Иван Денисович», — НЭП, обманное «восстановление» понятия родины и церкви Сталиным, «борьба за мир» во времена американской ядерной монополии, «пусть цветут сто цветов», «мирное сосуществование», даже уход из Австрии, теперь «разрядка», — но это всё показывает не изменение природы коммунизма, а его маневренную гибкость и беспощадность.

Полемизируя со мной, Таккер — да и Далин — избежали кардинального вопроса, а жаль: коммунизм («чистый», марксистский) — зло или нет? Способен он «подобреть и излечиться»? Угрожает он, как удав, удушением всему остальному миру или нет?

От этого вопроса Таккер уклонился. Зато он спешит предупредить мир о несравненно большей опасности: «остро-злокачественной форме национализма», которая «прорастает» разгромленный, обезглавленный, в порошок истертый, при последних вздохах своей жизни русский народ.

3

Плодоносность политической теории определяется её практическими результатами. Теория о том, что коммунизм есть явление по своей природе национальное русское, что коммунизм и русский народ едины и надо воевать против них соединённо, есть не только повторение обезумелой гитлеровской тактики, которая в самой себе несёт поражение. Но она и в других отношениях питает иллюзиями вместо реальности: она заставляет видеть в нынешнем коммунистическом СССР наследника прежней России, *а значит* «нормальное» государство, которое стремится к обеспечению интересов своих и своего населения, — а потому с ним можно действовать традиционно, вступать в разумные переговоры, договоры, компромиссы, делить сферы влияния. А это совсем не так: никакое коммунистическое государство не заботится об интересах своего населения, и не зависит от его мнения, — и готово хоть полностью этим населением пожертвовать, чтобы достичь интернациональной победы. (Может быть, это виднее поблизости, на примере Кубы.) Поэтому с коммунизмом невозможен никакой реальный компромисс, его невозможно ни задобрить, ни подкупить, ни умиротворить, — и вереницей уступок западный мир лишь ухудшает своё положение. Советская держава отнюдь не преследует своей государственной выгоды, советские народы только страдают от бесконечной мировой агрессии и растраты капиталов и людских жизней по всем материкам, — но ничто, ни даже личность правителей, не может остановить свойства коммунизма расширяться. Для коммунистических стран нетерпимо само существование на Земле других стран с преимуществами экономики или свободы, невыносим этот завидный для населения пример другой жизни, — такие страны необходимо подавить и завоевать. Коммунизма нельзя объяснить на дипломатическом, юридическом, экономическом языках.

Но самый большой успех, достигнутый коммунизмом, — даже не военный, а пропагандный: что остальной мир верит в его смягчение и в «хорошие» варианты коммунизма. Что западный мир послушно принимает даже язык коммунизма: называет тиранические режимы Восточной Европы — «народными демократиями», подрывную войну по расшатыванию Запада изнутри — «разрядкой». В первые месяцы коммунистической Камбоджи по тону из Пномпеня иные западные газеты попугайски называли начавшийся там геноцид — «крестьянской революцией». Да советские агенты имеют свободу даже на страницах крупнейших американских газет высмеивать, что никакой советской агрессии не существует вовсе, расслаблять американцев ложью, что коммунизм — не интернационален и никому не угрожает. Напротив, западная читающая масса уже и поверить не может, что в Советском Союзе и в Китае — посегодня всеобщее недоедание и нет главнейших товаров для населения, во многих местах снабжение по карточкам, — а считает это «пропагандой» врагов коммунизма. 35 лет идёт реальная война, вереница западных отступлений, отдано более 20 стран, — а на Западе все согласно называют эту Третью мировую войну — «мирным сосуществованием». Меняются президенты, государственные секретари, эксперты Белого дома и Госдепартамента, а новых идей нет, идеи всё те же: проводить всё более «тонкие различия» между разными коммунизмами, группировками их и лидерами, и балансировать на них, — то есть неуклонно сползать в пропасть ступенями уступок и капитуляций. (И ещё следующие, быть может, зреют сегодня в Государственном департаменте.) Теперь мы слышим настойчивую «новую» идею: предупреждают бояться не того давящего катка, который прокатал уже полчеловечества и скоро прокатает вторую, — но бояться возрождения национальной России к своему излечению.

Новых идей нет. Мудрено им и вспыхнуть в самодовольной секулярности, замкнутой сама на себя.

Теория тонких различий в разных коммунизмах (или, по Далину: «значительных вариаций внутри коммунизма», «вариаций, градаций и перемен», «более дифференцированного и сбалансированного понимания», «искусного подхода») в вопросах более крупных, чем продажа партии товара, мало сказать бесполезна, — она для Запада губительна. Перед лицом всеуничтожающей мировой силы, нависающей уже над самою Америкой, предлагается: верить, что коммунизм вдруг переменится к доброму и откажется от агрессии; что существуют «миролюбивые советские руководители» (особенно — Брежнев); что есть принципиальные расхождения в Политбюро; что сменится их поколение — и всё смягчится... Надеяться, что коммунистические правительства Восточной Европы или Азии вдруг выйдут из повиновения Москве (пример Албании или Северной Кореи не слишком укрепил Запад, пример Румынии не принёс добра её народу), и для того подкупать их торговыми льготами (облегчая финансовое бремя СССР). Что расколется европейское коммунистическое движение (не слишком долго французская компартия играла в самостоятельность, и все компартии в момент оккупации готовно предоставят кадры для управления своими странами). Что вьетнамский, кубинский, ангольский, абиссинский и другие рассыпаемые по земле метастазные коммунизмы будут проводить свою национальную политику и охотно дружить с Соединёнными Штатами. Что коммунистическое движение увязнет в исламе.

В цепи этих несбыточных надежд пока не осуществилась ни одна, кроме советско-китайского раскола, на котором и строятся теперь надежды и планы Соединённых Штатов. Уж Китай — мыслится, как будто это и вовсе не коммунистическая страна, как будто там нет тоталитарного угнетения своего миллиарда людей. А Китай — как Советский Союз в 30-е годы — остро нуждается в западной технической помощи и для того старается изобразить собой приличное государство. Но в глубинах Китая, для

народа, поддерживается прежняя неприязнь к Америке и отвращение к американскому образу жизни, — и поворот против Соединённых Штатов будет для властей осуществим в одну ночь. Да даже и сегодня, твёрдый во внешних действиях, как всякий коммунизм, Китай уже потребовал снять защиту с Тайваня, а вот и предложил американцам убираться из Южной Кореи. Придёт время, Китай взвесит: стоит ли ему сталкиваться с СССР, а не выгодней ли сговориться? (Нынешняя отмена культа Мао в Китае — уже шаг в этом направлении.) И в отношении Китая просчёт американской дипломатии всё тот же: его рассматривают как «нормальное» государство, а это только — корпус коммунистической агрессии, для которой сегодня просто ещё нет сил.

35 лет Соединённые Штаты и весь Запад идут дорогою добровольных поражений — треть столетия! это движение уже исторических масштабов, и оно не пройдёт даром. Соединённые Штаты начинали это отступление еще при подавляющем превосходстве своих сил, а сегодня в Вашингтоне спохватились, что баланс мировых военных сил — уже против Запада, перевес весов пропустили по благодушию и самодовольству. Если не устояли тогда, — то теперь устоять труднее. Нагонять — труднее. Но самая большая слабость — не военная, а психологическая. От молодых людей-призывников и до руководителей государства все надеются на хороший исход и робеют принять самоотверженные и смелые решения, — до тех пор, пока это станет уже поздно: когда придётся биться за собственную территорию. Запад морально не готов к конфликту и борьбе, не готов дать себе отчёт, как далеко, если не бесповоротно, зашла опасность. Запад всё питает надежды на ложную «разрядку» — наиболее удобную форму затяжной победоносной войны для СССР. Советские вожди и предпочитают захватывать все мировые позиции именно в форме «разрядки», терроризма и государственных переворотов, — зачем им всеобщая война, особенно атомная? (Атомная война, я думаю,

уже исключается — к счастью для человечества — из обоюдной стратегии: советские вожди становятся основательно уверены, что завоюют мир и без неё, а Запад морально не сможет применить атомное оружие первым, — да и что такое был бы западный атомный «успех»? уничтожение не столько своих действенных врагов, сколько потенциальных союзников — порабощённых народов.) Под видом «разрядки» Западу ещё удаётся оттягивать прямое столкновение, но с тем, что оно произойдёт в обстановке куда более тяжёлой для Запада. Скоро Соединённые Штаты узнают горячей и свою близкую южную границу: уже и так 20 лет прямо в американский живот наставлен кубинский пистолет. Теперь Соединённые Штаты ещё немного помогут, как уже и делается, никарагуанским коммунистам и панамским революционерам, — уже палач Кастро похвалил их за это, — и Южный фронт против Соединённых Штатов будет готов. Кубинский пистолет, 20 лет беспрепятственно наставленный на Америку, каждый день демонстрирует миру и унижение американских принципов и степень американской слабости. Сегодняшняя американская внешняя политика — утлое, робкое лавирование, угождение и задабривание возможных врагов. (Но не поможет оно ни в Зимбабве, ни в Анголе, ни в Никарагуа, и атомное снабжение Индии не отвернёт её от СССР, пустой лотерейный номер.) И даже те, кто предлагают твёрдую позицию относительно коммунизма, удерживают иллюзию, что коммунизм можно обратить к внутренним демократическим реформам. Всерьёз — никогда.

Только если признать неотвратимость мировой опасности, интернациональность коммунистической задачи от самого начала, понять, что решающего конфликта с коммунизмом западному миру избежать не удастся и уже откладывать осталось недолго, — только в этом случае Запад способен будет перейти к открыто-принципиальной и гордой защите свободы во всём мире — от Кубы до Тибета, до Вол-

ги и до Берлина, а не сделкам с угнетателями. Только внятие в тотальную непримиримость коммунизма даёт единственную трезвую надежду на спасение человечества при стольких уже загубленных и сданных позициях. Зрение состоит в том, что все народы, порабощённые коммунизмом, от кубинского под вашим боком и до русского в противоположном бастионе, суть жертвы коммунизма и враги коммунизма, а потому — естественные ваши союзники. Запад так чуток к пожеланиям народов Третьего мира — и так глух к чаяниям народов коммунистических стран.

Единственная и глубокая политика Соединённых Штатов может состоять не в заигрывании с каждым переворотчиком в шатко-нейтральной стране, не в угождении каждому советскому эмиссару, который представляет не население, а свою правящую клику, не в игольчатом балансировании между мнимо соперничающими коммунистическими фракциями, — но: открыто стать на сторону всех порабощённых народов против поработившего их всемирного коммунизма. Открыть пропагандное наступление такой же силы и проницательности, как 60 лет ведут коммунисты против вас, и не трепетать, что в ответ будет браниться лживая «Правда». В моей статье я поражался, как безумно отбросил Запад мощную невоенную силу эфира, зажигающий эффект которой в коммунистической мгле даже не может вообразить западное сознание. Так можно установить прямой контакт с подневольными народами и способствовать росту их самосознания и высвобождения. (Радиостанции и телестанции Запада в их сегодняшнем виде совсем не готовы к такой роли. А, например, «русская секция» радиостанции «Свобода», несмотря на многолетнюю работу, из-за своей принципиальной чужести и даже враждебности русскому национальносму сознанию катастрофически утеряла контакт с русским населением и русскими интересами.) Для всего этого нужна крутая ломка традиционной межгосударственной «веж-

ливости», но коммунисты давно её растоптали, да и в Тегеране мы видели цену ей.

Для спасения Запада от сегодняшего положения нужно вырваться из рутинного процесса, нужны смелые решения выдающихся руководителей.

Я мог бы и не спешить со всеми этими аргументами. Уже становится ясно, что ни одна моя статья, ни десять моих статей, ни десятеро таких, как я, — не посильны перенести Западу наш кровавый выстраданный опыт и даже нарушить тот эвфорический комфорт, который царит в американской политической науке. Я мог бы не спешить, — потому что уже на пороге те события, которые сами бесповоротно откроют Западу его просчёты.

Июль 1980
Вермонт

НАШИ ПЛЮРАЛИСТЫ

Шесть лет не читал я ни сборников их, ни памфлетов, ни журналов, хотя редкая там статья не заострялась также и даже особенно против меня. Я работал в отдалении, не обязанный нигде, ни с кем из них встречаться, знакомиться, разговаривать. Занятый Узлами, я эти годы продремал все их нападки и всю их полемику. Уже загалдели всё печатное пространство, уже измазали меня в две дюжины мазутных кистей, уже за меня в одной новоэмигрантской газете удивлялись: да что ж я вовсе не отбиваюсь? да меня не бьёт только ленивый, меня бить — легче нет, сношу все удары. Да можно узреть и такое гнёздышко, где мечтали бы, чтоб я с ними сцепился, повысил бы им цену, а без этого хиреют на глазах, захлебнулись в собственном яде. И если б касалось только меня, то без затруднения прожил бы я так и ещё двенадцать, и умер бы, так и не прочтя, что ж они там понаписали.

Но нет, облыгают — народ, лишённый гласности, права читать и права отвечать. Пришлось-таки взяться, непривычная, несоразмерная работа: доставать и читать эти «самосознания», «противостояния», «альтернативы», «новые правые», старые левые, и не везде даже синтаксический уровень. Вот сейчас в первый раз прочитал их, кончивши три Узла, — сразу посвежу и пишу.

О ком я собрался тут — большей частью выехали, иные остались, одни были участники привилегированного коммунистического существования, а кто отведал и лагерей. Объединяет их уже довольно длительное общественное движение, напряжённое к прошлому и будущему нашей страны, которое не

имеет общего названия, но среди своих идеологических признаков чаще и охотнее всего выделяет «плюрализм». Следуя тому, называю и я их плюралистами.

«Плюрализм» они считают как бы высшим достижением истории, высшим благом мысли и высшим качеством нынешней западной жизни. Принцип этот нередко формулируют: «как можно больше разных мнений», — и главное, чтобы никто серьезно не настаивал на истинности своего.

Однако может ли плюрализм фигурировать отдельным принципом, и притом среди высших? Странно, чтобы простое множественное число возвысилось в такой сан. Плюрализм может быть лишь напоминанием о множестве форм, да, охотно признáем, — однако же цельного движения человечества? Во всех науках строгих, то есть опёртых на математику, — *истина одна,* и этот всеобщий естественный порядок никого не оскорбляет. Если истина вдруг двоится, как в некоторых областях новейшей физики, то это — оттоки одной реки, они друг друга лишь поддерживают и утверживают, так и понимается всеми. А множественность истин в общественных науках есть показатель нашего несовершенства, а вовсе не нашего избыточного богатства, — и зачем из этого несовершенства делать культ «плюрализма»? Однажды, в отклик на мою гарвардскую речь, было напечатано в «Вашингтон пост» такое письмо американца: «Трудно поверить, чтобы разнообразие само по себе было высшей целью человечества. Уважение к разнообразию бессмысленно, если разнообразие не помогает нам достичь высшей цели.»

В той речи я как раз и говорил о множестве миров на Земле, не обязанных повторять единую стандартную колодку Запада, — то и есть плюрализм. Но наши «плюралисты» сперва хотят обстрогать всех в эту единую колодку (так это уже — монизм?) — а внутри неё разрешить — мыслящим личностям? — «плюрализм».

Да, разнообразие — это краски жизни, и мы их жаждем, и без того не мыслим. Но если разнообразие становится высшим принципом, тогда невозможны никакие общечеловеческие ценности, а применять свои ценности при оценке чужих суждений есть невежество и насилие. Если не существует правоты и неправоты — то какие удерживающие связи остаются на человеке? Если не существует универсальной основы, то не может быть и морали. «Плюрализм» как принцип деградирует к равнодушию, к потере всякой глубины, растекается в релятивизм, в бессмыслицу, в плюрализм заблуждений и лжей. Остаётся — кокетничать мнениями, ничего не высказывая убеждённо; и неприлично, когда кто-нибудь слишком уверен в своей правоте. Так люди и запутаются, как в лесу. Спел с гитарою Галич — и с тех пор сотни раз повторены и декларативно выкрикнуты полюбившиеся слова:

...Не бойтесь пекла и ада,
А бойтесь единственно только того,
Кто скажет: «Я знаю, как надо».

Чем и парализован нынешний западный мир: потерею различий между положениями истинными и ложными, между несомненным Добром и несомненным Злом, центробежным разбродом, энтропией мысли — «побольше разных, лишь бы разных!». Но сто мулов, тянущих в разные стороны, не производят никакого движения.

А истина, а правда во всём мировом течении одна — Божья, и все-то мы, кто и неосознанно, жаждем именно к ней приблизиться, прикоснуться. Многоразличие мнений имеет смысл, если прежде всего, сравнением, искать свои ошибки и отказываться от них. Искать всё же — «как надо». Искать истинные взгляды на вещи, приближаться к Божьей истине, а не просто набирать как можно больше «разных».

Однако я не настаиваю, что правильно выбрал термин. Будем пользоваться им как рабочим. Зато — какое духовное пиршество нас ждёт! Как изумимся

мы сейчас бесчисленным переливам плюралистической мысли, бескрайнему спектру!

Увы, доглядясь: даже в иных западных странах сегодня «плюрализм» остаётся скорее лишь лозунгом, чем делом. Современное западное образованное общество (а оно-то и диктует) — на самом деле мало терпимо, и даже особенно — к общей критике себя, всё оно — в жёстком русле общепринятого направления; правда, для обуздания противящихся действует не дубиной, а клеветой и зажимом через финансовую власть. И — подите пробейтесь через клубок предвзятостей и перекосов в какой-нибудь сверкающей центральной американской газете.

С удивлением видим, что таковы и первые крепнущие шажки плюралистов наших: «Проповедывать демократиям о вреде демократий — дело неблагодарное.» Справедливо изволили заметить. Но — тоталитаризму о вреде тоталитаризма тем более не напроповедуешься, тогда разрешите узнать, чем демократия вдумчивей и объективней? Странно, вот уже несколько лет ширяет крыльями на Западе наш ничем не стеснённый плюрализм (уж ни на кого не кивнёшь, что не дали «самовыразиться») — и где же вереница его освежающих спасительных открытий? Всего лишь несколько поверхностно-плёночных, да ещё и наследованных, убеждений. И первейшее из них — о русской истории. Разумеется — «в целом», в самой общей сводке, а не в конкретном анализе.

Когда я попал в Швейцарию и услышал от тамошних радикалов (есть и там радикалы, а как же?), что «это *у вас* такой плохой социализм, а у нас будет хороший», — я изумился, но и снисходительно: сытые, неразвитые умы, вы ж ещё не испытали на себе всей этой мерзости! Но вот приезжают на Запад «живые свидетели» из СССР и — вместо распутывания западных предрассудков — вдруг начинают облыжно валить коммунизм на проклятую Россию и на проклятый русский народ. Тем усугубляя и западное ослепление, и западную незащищён-

ность против коммунизма. И здесь-то и лежит вся растрава между нами.

И поразительно: разные уровни развития, разные возрасты, разная самостоятельность мысли, а все — в единую оглушающую дуду: против России! Как сговорились.

«Марксистская опричнина — частный случай российской опричнины.» — «Сталинское варварство — прямое продолжение варварства России.» — «Царизм и коммунизм — один и тот же противник.» — «Всё перешло в руки деспотизма не в 1917, а в 1689» (по другому варианту — в 1564). — «Русский мессианизм под псевдонимом марксизма.» — «Разделение русской истории на дооктябрьскую и послеоктябрьскую — под сомнением...» — «Коммунизм — идеологическая рационализация русской империалистической политики, — более универсальная, чем славянофильство или православие.» — «Нет изменения в русской политике с 1917 года.» — «Преувеличенное отношение к октябрьскому перевороту: ...уничтожение первоначальной модели (революции), возврат русской истории на круги своя.» — «Семена социализма погибли в русской почве.» (Тут соглашусь: почва оказалась для социализма крепенькая, пришлось киркой добавлять.) — «Как до революции господствовало зло и подавлялось добро, так и после революции.» — «Между царизмом и советизмом прямая преемственность в угнетении», «качественное сходство».

Господа, опомнитесь! В своём недоброжелательстве к России какой же вздор вы несёте Западу? зачем же вы его дурачите? Не было в до-большевицкой России ЧК, не было ГУЛАГа, массового захвата невинных, ни системы всеобщей присяги лжи, проработок, отречений от родителей, наказаний за родство, люди свободно избирали вид занятий, и труд их был оплачен, городские жёны не работали, один отец кормил семью в 5 и 7 детей, жители свободно переезжали с местам на место, и, самое доро-

гое, — в эмиграцию тотчас, кто хотел, — и философ нам говорит, что тут *качественное* сходство?

«Христианство — это путь, не испытанный Россией.» — «Религиозность русского народа и в прошлом была сомнительной.» (Цитаты из разных, из разных, я чаще не указываю кто, однако на полях рукописи помечаю — книгу, журнал, страницу.) — «Русское православие столь же поверхностно, как и русский марксизм.» — «Религия, которую *как будто* исповедует русский народ» (вернулись к Белинскому). — «Совесть... у нас постоянно находилась на положении пасынка.» (Прочистим уши: это о России? Да где же шире жило покаяние, и на людях? Или, при всеобщем отвращении к судебной волоките, купеческая и ремесленная деятельность по устному слову, а не по письменному договору, — много ли такого в Европе? Да даже это проникало и в государственные документы (Екатерина, 1778): купцам платить налог 1 % «с капитала, объявленного *по совести*». Но в народные свойства не погружается глаз их.) Даже: «духовная структура» русских унаследована от монголов, «она застойна, не способна к развитию и прогрессу» (понимать: унтерменши? безнадёжная раса?). — «Страна Иванов и Емель.» — «Грузин Сталин больше всех приближается к русскому идеалу.» — «Жандарм Европы Суворов, реакционер Кутузов» (протереть глаза: воскрес Покровский? так же учили в 20-е годы). И на каждом шагу у самых разных: «гениальный маркиз де Кюстин»... «великолепная книга маркиза де Кюстина» (это — хором, нашли себе достойного учителя-туриста, отчего тогда не Теофила Готье?). — «Была ли Россия тюрьмой народов? У кого достанет совести это отрицать?» А у кого достало совести эту пропагандную мерзость повторять? У Шрагина.

С большой лёгкостью рассуждает он (они) о любом веке русской истории — то из XIII века, тут же держи из XVII, да откуда же такая эрудиция крылатая? Да разве можно хотя бы по русской истории знать все века уверенно и равномерно? У меня вот,

слабака, вся жизнь ушла на один 1917 год. А секрет прост, доглядитесь в сноски: Шрагин не затрудняет себя чтением источников, он цитаты выдёргивает вторичные, из уже нахватанных кем-то обзоров, да всё ревдемократов или радикалов, а уж как они там отбирали? — совесть-то у нас, пишут, была пасынок. (Знаю, знаю я эту слабость, сам когда-то обжёгся на «Истории русской общественной мысли» Плеханова, такие же нахватанные цитаты приводил и я. Тому потоку, *как понимали все умные люди,* нашей Освобожденческой идеологии — очень легко поддаться, трудно сопротивиться. Встречалось это и у меня — и пока идёшь в направлении потока, с тем большей силой тебя уверенно поддерживает слитное *общество.*) И Чернышевского цитирует нам целыми страницами, спасибо! С таким фундаментом вот и выводят они «русский либерализм — от конца XIX века», даже не знают, откуда он пошёл и что́ он есть. Вот и узнаём: «идея „святой Руси“... предусматривает, что ответственность за всё плохое несём не мы с вами», — ну, откуда это притянуто? тогда и понятия г р е х а не было в России?

О самом народе: «Русские — сильный народ, только голова у них слабая», «умственная слабость». «Широкая русская натура Подонка.» И о России в целом: «Что это за девушка, которую все, кому не лень, насилуют?» А один глубокий их мыслитель открыл: все нации — существительные, только «русский» — прилагательное! Так вы что, усмехается, сами себя за людей не считаете? Боже, как это проницательно! Только не подумал ни мыслитель, ни редактор журнала, что ведь «Пинский» и «Синявский» — тоже прилагательные. Да ведь какой «учёный» — а то тоже прилагательное. (Эта мысль до того показалась им глубока, что в двух смежных номерах журнала приводят её от двух разных лиц, оба претендуют на авторство.)

Но были всё же у России и заслуги: «Россия отличается от азиатских обществ лишь тем, что сумела создать европейски мыслящую интеллигенцию.»

А уж «вина интеллигенции за удручающие события русской истории сильно преувеличена», хотя, правда, интеллигенция и «пыталась подменить прошлое и будущее России». Вот это — самокритично. Вот это — очень верно сегодня.

В процессе глубокого плюралистического исследования рождены и новые важные термины: не «славянофильство», а «монголофильство» (Амальрик). И — «татаро-мессианская Россия», «татарский мессианизм» (Янов). Термины настолько богатые и загадочные, что хоть объявляй конкурс на истолкование.

И как ни обтрагивают мёртвое тело старой России равнодушные пальцы наших исследователей — всё вот так, одно омерзение к ней. А потому — вперёд! к перспективе! к октябрьской революции!

Рвут к Октябрю, объяснить нам скоренько и Октябрь, — но я умоляю остановиться: а Февраль?? Разрешите же хронологически: а что с Февралём?

Вот удивительно! Столько отвращения к этой стране, такая решительность в суждениях, в осуждениях порочного народа — а слона-то и не приметили! Самая крупная революция XX века, взорвавшая Россию, а затем и весь мир, и так недалеко ходить по времени, это ж не Филофей с «Третьим Римом», и единственная истинная революция в России (ибо 1905 — только неудавшаяся раскачка, а Октябрь — лёгкий переворот уже сдавшегося режима), — такая революция *никем из наших оппонентов не упоминается,* не то что уж не исследуется. Да почему же так?

Да откровенно: нечего сказать. Трудно объяснить в благоприятном смысле для либералов, радикалов и интеллигенции. А во-вторых, не менее главное, снижу голос: н е з н а ю т. Вот так, всё учили, до, и после, и вокруг, и XVI век, а Февраля — не знают. Отчасти потому, что и большевицкие пропагандисты и учащие профессора всегда спешили вперёд — к Октябрю и к интернациональному счастью народов, освободившихся из российской

тюрьмы. Отчасти — и сами промарщивают эти неприятные 8 месяцев, трудные к оправданию.

А между тем, господа, вот тут-то и был взрыв! Вот тут-то и выхвачен бомбовый чёрный ров — а вы как легко облетаете его на крылышках.

А я — взялся напомнить. Я годами копил, копил — не цитаты из чьих-то обзоров, а самые первичные факты: в каком городе, на какой улице, в каком доме, в какой день и в котором часу, и несколько сотен важнейших деятелей всех направлений, всех видов общественной жизни, и каждого жизнь осматривается, когда доходит до описания его действий, и повествование без главного героя, ибо не бывает их в истории миллионных передвижений. И начал из тех Узлов публиковать главы, обильные фактами и цитатами из жизни, сгущённый, объективный исторический материал, открытый для суждения всем, дюжина глав, страниц уже до 400, да петита.

И что же? Вот поразительно! Обмолчали! Любую фразу моей публицистики (десятая часть написанного мной) — выворотили, обнюхали, истолковали, испровергли с десяти сторон. А эти главы — как не заметили. Отчего же их перья не клюют вот это? Казалось бы: философу Шрагину с его искренней «тоской по истории» (перепечатывает из книги в книгу, и как верно требует — помнить! вспоминать!) — вот бы и брать историю! разведать, оценить, указать на ошибки, раскритиковать, разнести вдрызг? Нет!.. Во-вторых, опять-таки: это не та доступная обзорная либеральная культура, нарастающая сама на себе слоями — вторично, третично, где уже до нас потрудились многие просвещённые умы, а мы только — хвать пример из XV века, хвать из XVIII, — а здесь труда много класть, и здесь потребно собственное вживание в обнажённую историю, стать и ощутить себя в её трясении беспомощным стебельком. Куда легче порассуждать «вообще». Но и, во-первых, это всё — крайне неприятный материал, идущий в противоречие с теориями и жела-

ниями, непривлекательное знание. И — смолчали, обошли, как нет, как не было!

Не все, отдадим справедливость. Профессор Эткинд, из самых пламенных плюралистов, окрикнул (это место и другие все заметили): зачем я в думском заседании цитирую крайне правого Маркова 2-го? (А он держал там речь больше полутора часов, ему продляли, как же мне отобрать? я там не председатель. Значит — вычеркнуть, переписать историю по оруэлловскому рецепту?) А главное, окрикнул: «Нет смысла задним числом устраивать суды над Милюковым или, скажем, Парвусом (над Сталиным — нужно, это вопрос иной).» А — почему иной? А как насчет Ленина? — не указал. И еще один историк: «нас не интересует роль Парвуса в русской революции».

Вот так так! Вот это «тоска по истории»! Да ведь и пишут: «что пользы расчёсывать язвы, и без того зудящие нестерпимо»?

Ба! Так от демократических плюралистов я слышу то же самое, что слышал от коммунистических верзил с дубинами, когда прорвался «Иван Денисович» (не пускали меня дальше, к «Архипелагу»): не надо вспоминать! зачем ворошить прошлое? — это так больно, это сыпать соль на старые раны!

Так тем опаснее станет для нас Февраль в будущем, если его не вспоминать в прошлом. И тем легче будет забросать Россию в её новый роковой час — пустословием. Вам — не надо вспоминать? А нам — надо! — ибо мы не хотим повторения в России этого бушующего кабака, за 8 месяцев развалившего страну. Мы предпочитаем ответственность перед её судьбой, человеческому существованию — не расхлябанную тряску, а устойчивость.

О Семнадцатом годе потому и судят так невежественно и с такой лёгкостью, что года этого не представляют. (Кто дерзает и на фантастические выкладки, почти вроде марсианского десанта: а вдруг бы «черносотенцы взяли в свои руки»?..)

Народную распущенность, возбуждённую еще до большевиков всеми образованскими подстрекательствами Февраля, — теперь изображают коренно-народным прорывом векового классового гнева, для которого большевики оказались лишь послушными удобными выразителями.

И поэтому заговорщицкий октябрьский переворот? — «Бунт народа.» — «Лидеры октябрьского переворота скорее были ведомыми осуществителями массовых желаний (а лидеры Февраля — стало быть, не массовых? — *А. С.*). ...Они не порывали с народной почвой» (! — в Женевах, в бреде соцдемовских брошюр). «Как революция, так и её последствия — национальны.» (Да, товарищи-господа, зачем же вы из Советского Союза уезжали? — это можно всё и там открыто печатать.) «Взбунтовавшийся народ руками ленинской партии свергнул интеллигентскую демократию», — и барашкам-ленинцам реабилитация. И даже так рыдают: «развитие марксизма было приостановлено Октябрьской революцией». И размышляет философ: «Октябрьская революция последовательно, не минуя ни одного пункта, опровергла все утверждения марксизма.» (Например — марксову «науку восстания», захват банков, телеграфа, власти? диктатуру «авангарда», классовую борьбу? атеизм как стержень идеологии, сокрушение «жандарма Европы»? — да многое...) «Октябрьский переворот — прорыв азиатской субстанции.» Но, в противоречие с этим, другой философ: «Пока старые большевики не были истреблены — над ЦК и ЧК клубился дух демократии.» (Померанц. Попал бы ты к ним туда!)

От октябрьского переворота мой обзор несколько разветвится: наши плюралисты стопроцентно единодушны в осуждении старой России и в игнорировании Февраля — но с Октября разрешают себе различие оценок, правда не слишком пёстрое. От этого чтение их не так безнадёжно уныло, как я опасался; бывает написано совсем не зло, и не со злости.

Можно встретить такое: «Ленин прежде всего

был гений, и нет сомнения в его субъективно честных намерениях... Обаяние его всё ещё сильно в России, перед ним всё ещё благоговеют и преклоняются.» (Очень сердечно, узнаете? Это Левитин-Краснов. Да это так общеизвестно, что и западным радиостанциям указано не критиковать Ленина, чтобы... не потерять аудиторию в СССР!) «Слово „советский“ глубоко привилось в России и не вызывает у большинства населения отрицательных эмоций.» «Советская „нация“ существует... *Положительные идеалы „советскости“*» (это — наследник коммунистического вожака). «Коммунистический интернационализм — общемировое движение с общечеловеческими целями» (это — присоединившийся М. Михайлов) — а не какой-нибудь «прорыв азиатской субстанции», да и приняли же большевики «самую разумную и умеренную эсеровскую программу» по земле (просто: отобрали в с ю землю государству и весь урожай). Правда, «правящая партия надругалась над *идеалами*» (мне и самому неудобно, но это — Шрагин). — «Перерождалась и умирала сама партия.» Той, в которую «я вступила радостно, давно нет в живых» (Р. Лерт). Позволительно поправить — что *та самая,* которая в Киеве 1918 года, вместе и с молодым активом, творила первые каннибальские убийства, а сегодня — в Абиссинии, в Анголе. И хотя «не берусь ответить, почему произошло то, что произошло», но «отречения от моего прошлого никто не дождётся». Какая способность к развитию! Дальше и «советское отношение к литературе, к мысли — это вовсе не выражение советских идей», — так понять, что русская традиция, что ли? И, наконец, отступая, отступая по ступенькам, всё ж упинаются, что советское правительство — не «самое гнусное» на планете. (Копелев. А отчего бы тогда не назвать, какое же гнусней?)

Историю своего просветления и умственного обогащения плюралисты не скрывают: «новая интеллигенция» — от XX съезда КПСС. «В 1953 почти никто не сознавал реальности.» (Совсем уж глупень-

кими народ представляют. Сознавали — десятки миллионов, да уже полегли, или языки закусили. «Не сознавали» — кто был на элитарном содержании.) А потом «у интеллектуалов будто пала катаракта с глаз». «Только тогда у них открылись глаза на колоссальные преступления прошлого» (Синявский). И как не стыдно такое печатать? Кому «открыл глаза XX съезд» — вот это и есть рабы: о миллионных преступлениях им должны открыть сами палачи, иначе они не догадываются.

Да Михайлов-то, издали глядя, раньше их всех и открыл: «Что во всём виновата марксистско-ленинская идеология — не выдерживает никакой критики... Идеология ничего не определяла.» Когда уничтожают целые классы по 20 миллионов человек — это оказывается всего лишь «жажда власти». «И борьба с религией ведётся не из-за идеологии, а из-за власти», — без уничтожения верующих какая же нынче власть может устоять? «Идеология никогда — (и в коминтерновские времена) — не определяла внешней политики Кремля»! Ну, а из «жажды власти» и американские политики погрызывают друг другу глотку, так что это всё понятно, близко, обыденно, и бояться Западу нечего. Да идеологию «мировой революции или построения социализма» наш автор называет «передовой», её-то тем более нечего бояться.

Наиболее изо всех раздумчивый Шрагин настойчиво убеждает нас: «дело не в марксистской идеологии, а в нас самих». О да, конечно, в высшем смысле — в нас самих, да! Во всяком грехе, которому мы поддаёмся, например сотрудничаем на марксистских кафедрах, прежде всего виноваты мы сами. И в том, что сегодня человечество на 50 % уже проглочено коммунизмом, на 35 % туда ползёт, а на 15 % шатается, — виноваты сами эти 50, и эти 35, и даже те 15. Но почему уж так вовсе «не в идеологии»? Если мы умираем от яда, хотя бы и добровольно выпитого, — хил наш организм, что не мог сопротивиться, — но яд всё-таки был?

Итак, что же мы получили в результате величайшего исторического и т. д. интернационального (межнационального) акта? Ну конечно же — «то, что у нас называют социализмом», — «это государственный капитализм». — «То, что зовётся у нас социализмом, есть типически-азиатское — и русское в том числе — порождение.» — «У внутреннего строя СССР *ничего общего* с социализмом нет», «когда-то начали строить совсем другое общество» (пожить бы тебе в том военном коммунизме, когда баржами топили, да расстреливали крымских жителей через одного). — «В России коммунизм в прошлом» (да сбудется это как пророчество!), Сталин-де погубил и убил истинный коммунизм, — размазывает Чалидзе самое затасканное представление о Сталине, какое на Западе мызгают уже четверть века — с XX съезда, когда у всех у них «катаракта пала». (И американская радиостанция с дрожью в голосе спешит передать эту новинку в СССР.)

Никто из плюралистов не взялся нам нарисовать подробное историческое полотно, как это коммунизм хотел утвердиться, да не вышло на русском болоте. Но дают нам некоторые бесценные детали. «Ведь не угрожали же тем, кто именовал бы (города и улицы) по-прежнему, ни аресты, ни расстрелы, ни даже увольнения с работы.» (Это в подлом контексте выражено, что быдло русский народ сам не хотел постоять за своё прошлое.) О, коротка же память! О, ещё как грозило! Промолвили бы вы «Тверь» или «Нижний Новгород» — где бы вы были? Мой Тверитинов погиб на этом, и случай подлинный. А и за уличный вопрос «где Таганрогский проспект?» вместо «Будённовского» — вели вас в милицию тотчас, и неизвестно с возвратом ли. — «Враждебность интеллигентской и народной психологий в терроре 30-х и 40-х годов.» — «Не случайно жертвы партийных чисток получают название „врагов народа”.» — «Вина русской интеллигенции перед самой собою» (а не перед народом). — «Интеллигенция не была информирована, разделена

взаимным недоверием и страхом» (как будто масса была информирована и не разделена тем же), и не из советской интеллигенции состоял «контингент давителей», — да побывали, побывали, и в прокуратурах, и в ЧК. (Особенно когда «над ЧК клубилась демократия».) А — среди пылающих партийных, комсомольских активистов и доносчиков 20-х и 30-х годов? «Представляют большевизм естественным порождением интеллигенции, однако это неверно.» (Однако это уже некрасиво, это как в 1937 отречься от осуждённого брата. Все ревдемы все революционные годы никогда не оклеветывали так большевиков: верно чувствовали их частью себя, из-за того и бороться с ними не умели.) А — кто ж они, большевики? — да «всё равно что черносотенцы». — А всё это раскулачивание, 15 миллионов жизней, против чего интеллигенция никогда не протестовала, а кто и тёк в деревню в городских бригадах-отрядах, и можно бы теперь хоть покраснеть? — нет! — это «крестьяне сами увлеклись собственным раскулачиванием». (Ахнешь! И это нашлёпал уважаемый диссидент.) — «Колхозы — чисто русская форма.» (Смотри её во всех веках: план посева из города, бригады, палочки трудодней, ночная стрижка колосков.) — «Лишь русские и китайцы могут находить этот социальный порядок естественным.»

То есть «природное» вечное «русское рабство», о котором уже столько нагужено.

А плюралисты — не рабы, нет! Но и не подпольщики, и не повстанцы, они согласны были и на эту власть и на эту конституцию — только чтоб она «честно выполнялась». Это не один только приём диссидентов был — «соблюдайте ваши законы!» (впрочем, это добавляло им и мужества стояния). Те писали так в СССР и пишут в эмиграции: «У правозащитников не было цели установить в Советском Союзе другой политический строй или хотя бы определённо изменить тот строй, который существует.» Они никак не схожи ни с бойцами белого движения (из того «рабского народа»), ни с крестьянами-пар-

тизанами 1918-22, ни с донскими и уральскими казаками (всё из тех же «рабов»), ни с Союзом защиты родины и свободы в московском подпольи, ни с ярославскими и ижевскими повстанцами, ни с «кубанскими саботажниками», — а это всё наша сторона. В моём «Иване Денисовиче» XX съезд и не ночевал, повесть досягала не «нарушений советской законности», а самого коммунистического режима. На нашей стороне не знали мудрости Померанца, что не надо бороться с окрепшим злом: мол, через 200 лет оно само изведётся; что коммунистическому перевороту в Индонезии не следовало противостоять, ибо это «вызвало резню». Так и нашей Гражданской не следовало затевать? — а сразу сдаться переворотчикам? «Пусть Провидение позаботится, как спасти то, что ещё можно спасти.» Против безжалостной силы, которая сегодня обливает жёлтым дождём лаосцев и афганцев, накопила атомные ракеты на Европу, — не надо бороться? Конечно, живя в Советском Союзе, очень предусмотрительно так выражаться. Но ведь это и искреннее убеждение многих плюралистов, что коммунизм — не зло.

А мы, воюй не воюй, — всё равно «рабы». И — «революция в России осталась национальным делом».

Так — заканчивается «тоска по истории». Так — меркнут волшебные переливы плюрализма. Увы, увы, где-то на свете он есть, да что-то нашим не достижим.

Так — не надолго и не далеко разветвлялись течения плюрализма, вот они снова все плотно текут проверенным руслом. — «Это растление человеческих душ не содержит в себе ничего специфически коммунистического.» — «Русский социализм вылился в формы, специфичные для данного народа.» — «Сталин возможен был только потому, что русскому человеку нужен был новый царь-Бог.» — «Из-под коммунистической маски — традиционная российская государственность», советское общество «приобрело структурные очертания Московского цар-

ства». — «Хитрый татарский механизм.» — Большевицкое «обоготворение техники — это трансформированное суеверие крестьянского православия». (Меерсон-Аксёнов. И с таким сумбуром автор идёт в священство.) — «Россия строила своё народное государство» — и получила, что́ хотела: партия и народ едины, власть общенародна, держится народом, — это мы и в «Правде» читаем, это и общий главный пункт плюралистов, об этом и все рефрены постоянно раздражённого Зиновьева.

В какую же плоскость сплющил сам себя этот плюрализм: ненависть к России — и только.

Таким единым руслом потекли, что в десятке их главных книг даже не встретишь названия «СССР», только пишут «Россия, Россия», можно подумать, что от душевного чувства. И даже чем явнее речь идёт об СССР — тем с большей сладостью выписывают: нынешняя *«Россия* делает достаточно гадостей, а в будущем может их наделать и ещё больше». А всё ж иногда и помучит научная добросовестность: ну Россия ладно, Россия или там «Советский Союз — это терминологический трюк», — а как же остальные 30 стран под коммунизмом? — они тоже «в структурных очертаниях Московского царства»? И тут, кто пофилософичней, находит мудрый ответ: «К русскому варианту вообще склонны отсталые страны, не имеющие опыта демократического развития.» Вот это называется утешил, подбодрил! Так таких стран на земле и есть 85 %, так что «хитрый татаро-мессианский механизм» обеспечен. А в оставшихся 15 % был бы социализм самый замечательный! — да только их раньше проглотят.

Худ же прогноз.

Прогнозы? В будущем «тоталитаризм может даже отбросить атеизм». (М. Михайлов. Жди-пожди, кто ж от своего фундамента откажется? Да никого озверённее не ненавидели хоть Маркс, хоть Ленин — как Бога.) — В освобождении от тоталитаризма «национальное возрождение совершенно ни при чём».-

«В качестве общественного человека русский человек останется навсегда рабом» (Синявский). — Программы будущего? «Есть все основания надеяться, что повторится Февраль и повторятся свободные выборы в Учредительное Собрание — (будто то́ были выборы) — и никакие враги плюралистического строя не смогут его разогнать.» — Одни предполагают, что обойдётся без революции (неясно, откуда тогда Февраль), другие (Плющ) откровенно жаждут революции, которая изменит «и политическую сферу, и экономику». Кто видит лучшим выходом — «как предложил Ленин»! — избрать в нынешний ЦК «сто простых рабочих» — (непонятно, почему Ленин при власти сам же их и не избрал) — можно и нужно инженеров и учёных, но не ото всего населения, а от крупнейших предприятий, институтов, и, разумеется, чтобы все они были членами партии, — и так СССР, простите, Россия, будет спасён. Дело в том, что «для великого и образованного народа все дороги ведут к демократии, притом основанной на социалистических идеалах». У народа нет навыков демократии? — неважно, но «есть потребность в ней». Один (Янов) заносится и на более решительный проект: предлагает внутри переходной России между спорящими группировками или классами установить западный, видимо военный (?), арбитраж. Есть и так: «Обязательно должно сохраняться государственное планирование, *пока мы не перейдём к коммунизму»* (курсив мой). Спасибо!

А вот — закружившийся планетарист. Он вообще отказывается решать будущее в пределах одной страны: «не будет даже полутора лет и ни для одного народа спокойной жизни, посвящённой только внутренним задачам». (Упаси нас Бог от такого будущего! и жить не надо.) Идёт «подготовление человечества к общемировому объединению», «путь планетаризации человечества необратим», «так называемое „национальное самосознание"», «никаких национальных государств вообще в мире

не будет», — а будет общемировое правительство?

Страшная картина. Грандиозный нынешний кабак ООН, безответственный, на пристрастных голосованиях, не способный ни на какой конструктивный шаг и за 40 лет не решивший ни одной серьёзной задачи, — да наделить его кроме парламентарных прав ещё и исполнительными? Если даже в малых странах, где всё обозримо, то и дело открываются коррупции, скандалы, — то кто ж докричится мировому зевлу о нуждах своего отдалённого края? Всё будет — в чужих, равнодушных, а то и нечестных руках. Это уже — конец жизни на Земле. Если серьёзно уважать «швейцарский» принцип, что местное управление должно быть сильнее центрального, то в этой иерархии что остаётся всемирному правительству? Ноль. Тогда — и зачем оно?

Но — снова же об интеллигенции. Дело в том, что интеллигенция «самим фактом своего существования утверждает права личности» — и «именно поэтому всегда была и остаётся чужда народу»... Да и вообще: «протест их индивидуален, они никого не хотят вести за собой». И даже: «Вести за собою массы могут лишь демагоги, выбрасывающие „народу" вовсе не те лозунги, которые намерены осуществить.» Вот те раз. А как же тогда с ценностью демократии, и из чего состоят демократические выборы? Да не волнуйтесь, успокаивает нас запредельный демократ: даже «самые обманчивые, демагогические, подкупные выборы в каком-нибудь американском штате — в моральном, этическом, духовном и христианском смысле несравнимо выше *всей* (курсив автора) многовековой истории русского самодержавия». Потому что «идеология демократического общества определяема стремлением к Богу»... (И *тот же самый* автор убеждал нас, что марксистско-ленинская идеология ни в чём не виновата, ибо «идеология ничего не определяла».) А например, «вполне законно сомневаться, что монополия католической церкви в Польше была бы намного лучше, чем монополия коммунистической партии.» И вот:

«Террористы появляются только там, где в самом деле под видом демократии скрывается какая-либо форма неравенства перед законом, а значит и скрытый авторитаризм.» А так как террористы кишат более всего в Западной Европе — то и...? Разбирайтесь сами.

Всё говоримое тут о плюралистах отнюдь не относится к основной массе третьей, еврейской, эмиграции в Штаты. В их газетах на русском языке круг авторов, а значит и читателей, далеко обогнал наших плюралистов в понимании Запада. Они — всё яснее видят язвы Америки и всё отчётливей о них говорят. Приехав в эту страну, эти люди хотели бы прежде всего не теоретизировать о демократии, а видеть тут элементарный государственный порядок. Но тем вопиюще обнажается тыл плюралистов, в котором они были уверены! И теперь они публично жалуются на еврейскую эмиграцию, что та находит американские свободы избыточными до опасности. Нельзя без улыбки читать жалобы Шрагина, его возмущение трезвыми пожеланиями новой эмиграции: ограничить вмешательство общественного мнения в дела правительства; усилить административную власть за счёт парламентаризма; укрепить секретность государственных военных тайн; наказывать за пропаганду коммунизма; освободить полицию от чрезмерных законнических пут; облегчить судопроизводство, при явной виновности преступника, от гомерического адвокатского формализма; перестать твердить про права человека, а сделать упор на его обязанностях; воспитывать патриотическое сознание у молодёжи (караул! что это делается? куда мы попали??); запретить порнографию; усилить сексуальный контроль; искоренить наркотики из молодёжного употребления; и ещё о многом подобном — о гибели школы, о моральной гибели детей. Но это идёт в полный развал идей высочайшего и широчайшего демократизма, с которыми наши плюралисты приехали из Москвы! Они-то привезли, что «Америка через Вотергейт очи-

щалась от грязи вьетнамской войны», а тут — отчаяние: «большинство эмигрантов настроены антидемократически», «антидемократическое настроение как единственно возможное...», «почему среди выходцев из Советского Союза антидемократы берут верх?». Увы, и ещё я должен отличить: иные авторы эмигрантских еврейских газет и журналов не скрывают, что навек пронзены русской культурой, литературой, и нападки на Россию в целом у них заметно реже, они открыли в себе глубину сродства с Россией, какой раньше не предполагали. Не то плюралисты. «Выбрав свободу», они спешат выплеснуть в океан самовыражения, что русские — со всей их культурой — рабы, и навсегда рабами останутся.

Комично печальное впечатление от того, как плюралисты несут и слагают свои жалобы и надежды к стопам Запада, ослеплённо не видя, что Запад сам себя уже не способен защитить.

Кто активнее, кто менее, они спешат преподнести Западу свои советы, как держаться относительно коммунизма. Но вместо ожидаемого плюралистического спектра мы и тут встречаем довольно унылое однообразие. Мы уже видели, что по их оценкам либо не коммунизм виноват в том, что делается в СССР, либо даже это вообще не коммунизм. — «Борются против коммунизма и тем расходуют силы впустую.» Чёрную и опасную работу — снова, и впредь, и вечно выстаивать против живого коммунизма — они оставляют другим. Себе они видят более актуальные задачи. — «Логически невозможно доказать, что русский вариант коммунизма единственно возможен.» — «Кто знает, возможен и бархатный коммунизм?» «Чего нам бояться? Зачем рисовать грандиозный образ мирового зла? ... Они тоже начинали с борьбы за добро.» (Померанц. И даже я бы добавил: во скольких странах прямо сегодня на наших глазах начинают с борьбы за добро при помощи автоматов и ракет.) А вот европейские марксистские компартии — это «грозная

опасность Советскому Союзу». — «Мне не хочется встречать анафемой первые шаги еврокоммунизма.» «Такое важное явление, как еврокоммунизм.» (А меж тем — он уже и испарился.)

Еврокоммунизм — надежда, а угроза — это русская «националистическая банда», которая всё уже приготовила, чтобы сменить Брежнева в СССР. И когда касается этого — ещё острее сужается весь ожидаемый спектр плюрализма. «Проблема национализма» — любимейшая для их изданий, и даже когда вот сейчас собрались в Бостоне на литературную вроде бы конференцию — то сразу же и сбились на проблему «национализма». И — одиноко, и — осуждаемо прозвучали отдельные голоса (да и совсем не тех философов, кем наполнена эта глава), что, может быть, этот пресловутый «национализм» — попытаться бы понять? и даже войти с ним в союз? Нет! нет! — отрезали вершители, выступая и по дважды. И — восстановили то единомыслие, какое беспомешно течёт все эти годы по их плюралистическим каналам и в западные уши. Не дать, не дать русским очнуться к национальному сознанию!

Где Западу разобраться? Почему ему не верить — если *сами русские* предупреждают: будет «православный фашизм»! «Крест над тюрьмой вместо красного флага»! — Синявский, по «Штерну» — «кроткий христианин из СССР», «через него в Россию возвращается Бог», по «Вельтвохе» — славянофил, а сам себя публично не раз называл православным, — так зря на своих не скажет? До него осторожно указывали плюралисты: «У нашей интеллигенции есть все основания быть предубеждённой против православия», православная Церковь прежде должна «вернуть себе доверие интеллигенции», — то есть православию ещё надо заслужить себе место в плюрализме. А тут — «Сны на православную Пасху», название вызывает особое доверие, православие так и выпирает из груди автора. А он — эссеист не простодушный, не однослойный, вот умеет

вовремя увидеть и нужный сон, умеет и пропользовать слово, так вывернуть абзац и фразу, что как бы совсем не от него, неизвестно от кого, вдруг выползают эти нужные каракатицы: «Крест над тюрьмой вместо красного флага.» Кто это? где это? А — лови. Умеет как-нибудь так состроить, пугануть: *«Альтернатива: либо миру быть живу, либо России»* (и в языке раскоряка: древняя форма рядом с «альтернативой»). И каждый здравомыслящий откинется в ужасе: ах, в о т к а к? И нас о том предупреждает *русский?* Какой же выход, какой же выбор подсказывается прочему миру, если он хочет жить?..

И — никто из плюралистов не возразит, не остановит. Да ведь — истины же нет, и никто не знает «как надо» и «как не надо».

Нераздумчивым американцам как угодно выворачивают нашу старую историю, чтобы состроить эстакаду Грозный-Пётр-Сталин, а все века русской жизни потопить в болотной невыразимости. А чего стоит нечестное, неосмысленное употребление термина «неославянофилы» (как и в XIX веке «славянофилы» изобретено оппонентами, кличкой-дразнилкой), — вот уж ни одного живого «славянофила» сейчас в России не знаю (пардон, кроме Синявского). Есть патриоты умирающей родины — так так надо и говорить, не юля. А если «профессиональному историку» потребуется срочно под перо славянофил XX века, так не глядит на ведущих — Дмитрия Шипова, Александра Самарина — а хватает ничтожного Шарапова и сдувает с него пыль в глаза. Вот так и мотают нам «историю» на шарапа. А произошла кровавая революция в Иране — наши честные и образованные плюралисты задули во все трубы, что православие — это и есть исламский фундаментализм, и даже ещё кровавей. Лепят басенки о «голубях» и «ястребах» в Кремле, об обещательной смене старого поколения вождей на молодых, и как СССР можно обуздать и направить торговлей с советскими «динамичными менеджера-

ми», лавочный анализ, и на этом строят прогнозы на тараканьих ножках, — а в их компетентности вольная американская демократия не смеет усумниться. Так и читаем мы в видных американских изданиях: то «Брежнев — миротворец» (Янов, перед вторжением в Афганистан), то «советская агрессия — старая сказка», «от коммунизма остались одни слова». Наш плюрализм до того не имеет объемного взгляда, что, вместе с Западом, не видит, как коммунизм шагает через горные хребты и океаны, с каждым ступом раздавливает новые народы, скоро придушит и всё человечество вместе с плюрализмом, — нет! При таких мировых событиях у наших плюралистов: то злокозненный мессианизм, которым якобы пылала масса русского народа от XV века до XX; то тёмное православие; то гнилость русской истории (обновлённой лишь идеалистическими ленинскими годами); мракобесие всех национальных течений и учений, извечная скотскость народа; и новая опасность для всего человечества — русского выздоровления, которое непременно станет ещё страшнейшим тоталитаризмом.

А забегливые спешат забежать перед Западом и многобрызно: у русских националистов — «братское соединение с режимом»! «Сближение „правых диссидентов" и официальной Новой Правой»!

Сближение — через кандалы. «Брата» Огурцова догноили 15 лет до конца и послали умирать в лесоповальную глушь. И второй восьмёркой, до тех же 15 лет, догнаивают «брата» Осипова. И посадили на второй срок «брата» Бородина. Не как врагов-плюралистов, не как тех свободомыслящих журналистов отпускали на Запад, не как враждебного Синявского, «единственно опасного из писателей эмигрантов» (как понял из интервью с ним «Штерн»), — освободили из лагеря досрочно. (Предлагаемые им аспекты двоятся: «Монд», 7 июля 79 — «находился в плохих отношениях с лагерной администрацией»; «Штерн», октябрь 81 — «благодаря хорошему поведению».)

Победа «Новой Правой» будет — «конец детанта и усиление гонки вооружений» (да куда ж ещё усиление?), их цель — «реставрация сталинизма», «сочетать ленинизм с православием». И громко срывается метучая журналистическая чета (Соловьёв и Клепикова): «Секретная Русская Партия — очень мощная и всё захватывает», «у неё есть свой ЦК, теневой кабинет, железная связь между Москвой и провинцией», даже «защита памятников старины связана с Госбезопасностью», «в этом обществе особенно видна зловещая роль Русской Партии». И даже добавим: только эта националистическая банда и могла задумать уничтожить русский Север — повернуть реки, затопить пространства, а сам русский народ так отечески привести к вымиранию. — «КГБ и Русская Партия имеют тенденцию перекрываться», хотя «большинство основателей Русской Партии — журналисты и литераторы». (Что-то соскользнули, тут уже не так страшно.) Да жми железку до конца: «Русские националисты — попросту фашисты и используют немецкие приёмы», «Русская Партия переходит в национал-фашизм». (Всё та же чета.) — «Они нагло следуют аргументам и *процедурам* (очевидно, газовым камерам?), которыми пользовались их германские *братья по оружию.*»

Тут уже — сердце Запада не откажет, в реакции можно быть уверенным: русских надо уничтожать! А коммунизм меж тем — вовсе затмен и исчез.

Эти настойчивые призывы — уже не по-русски печатаются, не для эмигрантов, а — для американских простаков, и формируют же мнения, и обещают действия. Афганистан? Польша? — на Западе шлются проклятия не советскому имени, но русскому, и плюралисты не поправят, но сами тó и создают. «Русский империализм», «за жёсткую внешнюю политику СССР ответственна „Русская Партия“», этот гибрид лагерников с маршалами... Так — неразумно, безумно толкают Запад повторить гитлеровскую дорожку: воевать не против коммунизма, а против русского народа.

Никак не обещали нам в спектре плюрализма — лжи и обманных приёмов. Уж их-то можно было оставить советской пропаганде? Нет, прихвачены по наследству.

Отчасти по московско-ленинградской нечувствительности к страданиям деревни и провинции (эти два города полвека были усыплены и подкуплены за счёт ограбления остальной страны), наша образованщина слепа и глуха к национальному бытию, не научилась видеть и не тянется видеть процессы истинные, грандиозные: вода, воздух, земля, еда, отравленные продукты, семья, вымирание, новое брежневское наступление на деревню, уничтожение последних остатков крестьянского уклада; что 270-миллионный народ мучается на уровне африканской страны, с неоплаченной работой, в болезнях, при кошмарном уровне здравоохранения, при уродливом образовании, сиротстве детей и юношества, оголтелой распродаже недр за границу, — но читайте журналы и сборники плюралистов: об этом ли они пекутся? Если бы действительно заботились о России — то почему ни о чём об этом? Для многих народов нашей страны дума сегодня упёрлась в простое: они вымирают, ещё останутся ли на земле? Но ни у кого из плюралистов мы такой кручины не встречаем. Как их предшественники и отцы спокойно пропустили тотальное уничтожение ещё ленинских лет, тотальное вымирание Поволжья, потом геноцидную коллективизацию, голод на Украине, на Кубани, послевоенные потоки ГУЛАГа (только заметили вовремя партийные чистки 37-го года, «космополитов» и «дело врачей»), так и сегодня наши плюралисты не замечают, что Россия — при смерти, что она уже — обмерший полутруп, — а кружится на павшем теле хоровод оживлённых гномов, всё нащебечивая своё. Для доверчивого Запада переписывают нашу новейшую историю по вехам диссидентских выступлений. Преувеличением столичного диссидентства и эмиграционного движения отвратили внимание

мира от коренных условий народного бытия в нашей стране, а лишь: соблюдает ли этот режим-убийца свои собственные лживые законы? После своевременной эмиграции их забота теперь: возликует ли неограниченная свобода слова на другой день после того, как кто-то (кто??) сбросит нынешний режим. Их забота — над какими просторами будет завтра порхать их свободная мысль. Даже не одумаются предусмотрительно: а как же устроить дом для этой мысли? А будет ли крыша над головой? (И: будет ли в магазинах не подделанное сливочное масло?)

Сколько среди них специалистов-гуманитаристов — но почему ж нам не выдвигают конкретных социальных предложений? — да разумными давно бы нас убедили! Чем восславлять себя безграничными демократами (а всех инакомыслящих авторитаристами), да расшифруйте же конкретно: *какую* демократию вы рекомендуете для будущей России? Сказать «вообще как на Западе» — ничего не сказать: в Америке ли, Швейцарии или Франции — всё приноровлено к *данной* стране, а не «вообще». Какую вы предлагаете систему выборов: пропорциональную? мажоритарную? или абсолютного большинства? (От выбора системы резко меняется состав парламента, и большие меньшинства могут «проглатываться» бесследно, либо, напротив, никогда не составится стабильное правительство.) Должно быть правительство ответственно перед палатами или (как в Штатах) — нет? — ведь это совсем разно действующие схемы, и если, например, парламентское большинство обязано поддерживать «своё» правительство из одних партийных соображений — то это опять власть партии над народным мнением? А степень децентрализации? Какие вопросы относятся к областному вéдению, какие к центральному? Да множество этих подробностей демократии — и ни об одной из них мы ещё не слышали. *Ни одного* реального предложения, кроме «всеобщих прав человека».

Они — демократы «вообще». Но должны ли мы поверить, что они жаждут власти реального народного большинства, а не своего «культурного круга», чьё управление и будет «демократия»?

А — переходный период? Любую из западных систем — как именно перенять? через какую процедуру? — так, чтоб страна не перевернулась, не утонула? А если начнутся (как с марта 1917, а теперь-то ещё скорей начнутся) разбои и убийства — то надо ли будет разбойников останавливать? (или — оберегать права бандитов? может, они невменяемы?) и — кто это будет делать? с чьей санкции? и какими силами? А шире того — будут вспыхивать стихийные волнения, массовые столкновения? как и кто успокоит их и спасёт людей от резни?

Ни о чём об этом наши плюралисты не выражают забот.

Ну, скажут, и пусть их? Там, в России, их здешний гулок не воспринимается как имеющий значение, а тем более как угроза нашему реальному будущему.

Если бы опыт Семнадцатого года не пылал у меня под пальцами — вероятно, и я не придал бы значения. Но что-то становится — весьма похоже. Уже основательно мы испытали один раз, как нас заболтали и проторили «стране рабов» дорогу в светлое будущее.

Вот рыскают по свету, бьют баклуши,
Воротятся — от них порядка жди.

Они наворачивают, наворачивают — а как бы опять не вокруг нашей головы, как бы опять не затмить нам глаза. Прежде чем Россия придёт в сознание — уже направить это сознание. И уже сейчас, где могут, наталкивают по русскоязычному радио, чтобы правильно повести оставшееся там население.

Скажут: ну, не такие ж это крупные фигуры, как те прежние. Да а те, разобраться, нешто было крупные? Каких история выпускает на арену — те и действуют. Да не верстаются нынешние и к либе-

рально-демократической эмиграции 20-х годов, ни по масштабу, ни по уровню мысли, ни по общественному опыту, — а ведь насколько превосходят тех по возможностям. Те — перебивались с корки на корку, убивались заработать сотню франков, не знали где голову приклонить, а напечатать статью в крупном французском или американском издании им было много лет недоступно. Эти — основывают собственные издательства, журнал за журналом (уже сейчас их выходит в эмиграции столько, что хватило бы на всю Россию), ездят по конференциям, открыты им и западные газеты, открыты и университетские кафедры без подробного спроса о научном багаже, их слушает Запад, молодой и не молодой. Их влияние на Западе несравнимо с влиянием всех предыдущих эмиграций из России.

А если оглядеть круг личностей шире, чем цитированные здесь: ведь десятилетиями жили в столицах, и многие служили на деликатном идеологическом фронте — марксистскими философами, журналистами, очеркистами, лекторами, режиссёрами кино и радио, даже пропагандистами ЦК, референтами ЦК, даже прокурорами! — и нам, с лагерного и провинциального дна, справедливо казались неотличимы от цекистов и чекистов, от коммунистической власти. Они жили с нею в ладу, ею не наказывались и с нею не боролись. И когда я в окружающей советской немоте 50-х годов готовил свой первый прорыв через стену Лжи — то именно через *них* прорыв, через *их* ложь, — и ни от кого из них нельзя было ждать поддержки. И вдруг — открылась возможность некоторым двинуться на Запад, и они двинулись, где-то по пути тихо роняя свои партийные билеты. И по другую сторону Атлантического океана вдруг стали исключительно смелы в суждениях о советской жизни, вчера успевали там, сегодня здесь, и громко рассказывают, как они, чистые и неподкупные, тяжело страдали в грязных гнёздах пропаганды ЦК, или прокуратуры, или союза писателей и журналистов, опубликовавши

в СССР кто по три, а кто и по десятку книг и множество статей, и записывают себе в послужной список поставленные в СССР пьесы, фильмы, — а что это все было, если не ложь, ложь и ложь? И никто из них — *н и о д и н*! — не раскаялся, не заявил публично, что это он и заплёвывал наши глаза ложью, не рассказал ни о каком *с в о ё м* соучастии, как он, хотя бы часть своих лет, укреплял и прославлял коммунистический режим и получал от него награды. Их философия: это — скотская народная масса виновата в режиме, а не я. Им и в голову не приходит, что настоящее творчество начинается не с безопасного (или даже опасного) сатирического разоблачения других, а с поисков своей собственной вины и с раскаяния.

Сегодня от Февраля то различие, что перед тем нельзя было «проговориться», тогдашние плюралисты вещали совершенно открыто в 50 газетах и с 50 трибун, и можно было заранее видеть, что́ они готовят (но, по неопытности, не понимал почти никто, и даже многие сами они). А теперь, в СССР, все истинные взгляды, процессы, мысли, настроения, желания скрыты под казённой вменяемой однообразностью режима, под его чугунной коркой. И обнажиться могут только в эмиграции — но и как же откровенно! История вот произвела и показала нам предупреждающую пробу.

Чем крупней народ, тем свободней он сам над собой смеётся. И русские всегда, русская литература и все мы, — свою страну высмеивали, бранили беспощадно, почитали у нас всё на свете худшим, но, как и классики наши, — Россией болея, любя. А вот — открывают нам, как это делается ненавидя. И по открывшимся антипатиям и напряжениям, по этим, вот здесь осмотренным, мы можем судить и о многих, копящихся там. В Союзе все пока вынуждены лишь в кармане показывать фигу начальственной политучёбе, но вдруг отвались завтра партийная бюрократия — эти культурные силы тоже выйдут на поверхность — и не о народных нуждах,

не о земле, не о вымиранье мы услышим их тысячекратный рёв, не об ответственности и обязанностях каждого, а о правах, правах, правах, — и разгрохают наши останки в ещё одном Феврале, в ещё одном развале.

И в последней надежде я это всё написал и взываю, и к этим и к тем, и к открывшимся и к скрытым: господа, товарищи, очнитесь же! Россия — не просто же географическое пространство, колоритный фон для вашего «самовыражения». Если вы продолжаете изъясняться на русском языке, то народу, создавшему этот язык, несите же и что-нибудь доброе, сочувственное, хоть сколько-нибудь любви и попытки понять, а не только возвышайте образ, как (Амальрик, «Синтаксис», № 3, стр. 73) «у пивной, размазывая сопли по небритым щекам, мычит»... — а мат оставляю докончить вашим авангардным бестрепетным перьям.

* * *

Теперь вот читаю, что понаписали за эти годы лично против меня, — редко встретишь честную полемику, то и дело выверт, натяжка, ложь. Вот видный культуртрегер («культура — это религия нашего времени») дважды или трижды приписывает мне в западной прессе: то желание «восстановить византизм Третьего Рима» (с какого брёху?), то иметь в России теократию, то «православного аятоллу». И это — не ошибка одного ума или натяжка одного полемиста, но от одного к другому так и потекло, и все указуют: «Солженицын предлагает теократию.» Да — г д е ж е, когда? — да перетрясите мои десять вышедших томов и найдите подобную цитату! Ни один не приводит. Значит, заведомо знают, что лгут? Да, вкруговую знают, что лгут, — и лгут!

На «аятоллу» мне пришлось всё-таки ответить, исключение, уже заврались за пределы. Ответил — абзацем в 80 слов (считая предлоги и союзы). Эткинд мне в ответ — 1300 (пропорция неуверенности), и при том ни тени извинения, что я публично оболган,

а взамен — новая ложь; будто я «учу», что «критерий нации — предки, то есть кровь». Да где же это я так «учил», что «критерий нации — кровь»? Откуда это «то есть»? Цитаты — не ждите, и не дождётесь, ибо её не существует. Очередная подтасовка, а литературовед мог бы прочесть «Ленина в Цюрихе» потоньше. Наши предки — да, это прежде всего наше духовное наследство, *ими* определяется оно, и из того вырастает нация, и из душевной связи с родной землёй, а не с любой случайной, где досталось расти. И у Ленина — душевной связи с Россией мы не видим нигде, ни в чём, никогда. И если в Соединенных Штатах в польской, теперь и вьетнамской, семье растёт ребёнок — то каким бы образцовым гражданином Штатов он ни вырос, и даже если он никогда своей родины не видел, — всё же к сердцу его с наибольшим отзывом прикладывается боль его дальней родины. Отчего же иначе все поляки, вот уже и в четырёх поколениях живущие в Штатах, так бурно и больно отозвались на события именно в Польше, а не в Камбодже или в Эритрее? И кто же настаивает, что это — «кровь»? Это — предки, духовное воспитание, национальная традиция. И вот отчего Соединённые Штаты и за 200 лет ещё не спаялись в единую нацию, но раздираемы сильными национальными лобби.

Или вот распространённый приём плюралистов: выхватить удобную цитату, но не из меня, а из кого-нибудь — В. Осипова, Н. Осипова, Удодова, Скуратова, Шиманова, Антонова — я может быть тех авторов и в глаза не видел, не переписывался, тем более в одни сборники не входил — неважно, дери цитату и лепи её Солженицыну, он ведь на лай не отгавкивается, значит — прилепится. Раз тот так написал — *значит*, и Солженицын так думает!

И этим нехитрым приёмом не брезгуют многие плюралисты — начиная от «примкнувшего» М. Михайлова. И «Синтаксис», претендующий, кажется, стать эталоном нашего эстетического вкуса и утончённого мышления, — в первом же номере своём

громит некоего Шиманова, преградившего дорогу всей свободной русской мысли, — разоблачитель-предупредитель мечется, мечется по шимановской конструкции, и выясняется зачем: вот он собрал и выкладывает, что́ нашел «общего» у Шиманова с Солженицыным: всякий нехристианский народ — варварский, а Китай — особенно; задача русского народа — охранить христианство от «жёлтой опасности»; говоря об «образованщине», конечно имеют в виду «сионских мудрецов», и именно они должны быть устранены как главное препятствие на пути русской нации.

Какие сотрясательные выводы о Солженицыне! И насколько же бы они прогремели, если бы взять цитаты да прямо из Солженицына! Да — нету таких цитат. Да — неоткуда их взять. Только вот — соскрести с Шиманова, местами, и то плохонько.

И первым вкладом в бриллиантную диадему будущего законодательства вкуса принимает главный Эстет от суетливого коммивояжёра — дешёвую дутую подделку. И как же не побрезговать — в тени-то, позади-то: ведь этакая мусорная стекляшка, пожалуй, и в диссонанс со взятыми напрокат гравюрами Фаворского?

Да ведь вот мой десяток томов, да ведь вот дюжина исторических глав — критикуйте! разносите! раздолье! Тут и целая желанная *программа* есть для разноса — Шипова (пока поглубже, чем всё предложенное нашими плюралистами), петит ли мелок, глаза не берут? Нет! Подобно коммунистам, спорят со мной как с партийным публицистом, и только. Накидываются со всеми трубами на какой-нибудь один абзац какого-нибудь интервью.

Но когда я пишу: «Винить нам некого, кроме самих себя», — такой фразы и подобных умудряется не заметить н и к т о из двух дюжин критиков, а дружно голосят, что в «русской революции Солженицын винит исключительно инородцев». Затем есть ещё ручный приём: цитату взять истинную, но вырвать ее из текста, но истолковать ложно, но из-

вратить. Такой отмычкой воспользовались сразу несколько плюралистических авторов, в том числе, увы, и разборчивый Померанц, выхватя фразу из моего «Раскаяния». Фраза — самого общего характера: что в раскаянии трудно вовсе освободиться от памяти, односторонен твой грех или обоесторонен, всё же температура разная, не на церковной исповеди, но в человеческом быту, — и кто же от этого свободен? Да, это не высота христианского исповедального покаяния, но статья не ему и посвящена, а повседневному человеческому раскаянию, у него и пределы. Вот она: «Если обиженный нами когда-то обидел и нас — наша вина не так надрывна, та встречная вина всегда бросает ослабляющую тень. Татарское иго над Россией навсегда ослабляет наши возможные вины перед осколками Орды.» То есть простая мысль: не мы к ним первые пришли. И это относится к событиям шестисот лет, протекших от сокрушения Орды, — тут и подчинение Казани, и Астрахани. Но, выхватив фразу из контекста, изо всего строя статьи, бессовестно истолковали её — один! другой! третий! четвёртый! — именно в том смысле, что этим я одобряю советское выселение татар из Крыма!

Не прослеживал, кто из них первый придумал (другие — перенимали). Изо всех обращусь лишь к тому, от кого нельзя было ожидать. Григорий Соломонович! Ведь Вы призываете, чтобы даже в разоблачении ГУЛАГа, миллионных коммунистических уничтожений, не было бы «пены на губах». Отчего ж — не к государственному деятелю, но к писателю, никому не рубившему головы, — Вы допускаете ей пениться на Ваших собственных? и не пристыдите единомышленников и Ваших учеников? Судя по Вашей статье, Вы «Архипелаг» прочли, и Вы помните, что́ я пишу там о страданиях выселенных крымских татар и сочувствую я им или тем, кто их выслал. А ещё, может быть, Вы читали и «Раковый корпус» — и запомнили, с какой нежностью описан умирающий татарин Сибгатов, лишённый вернуться

в Крым? (Одно из самых «непроходных» для цензуры мест «Ракового корпуса».)

И после этого — вот так выворачивать? А ученики зовут Вас «кротчайший мудрец»...

И весь расчёт — только на то, что я всё равно смолчу, занят Узлами — и не отвлекусь?

Не у меня, это у ваших плюралистов — «татарский», «татаро-мессианский» — первая брань.

Какие же цели ставит себе эта бесчестная дискуссия? Что доброе надеются ею построить в русском будущем? Почему нашему гордому интеллектуальному плюрализму с первых же шагов понадобилась ложь? Неужели без неё не выстраивается аргументация? Самые дотошные книгоеды из них беззастенчиво сочиняют, не приводя ни единой цитаты, — потеряли всякую осмотрительность.

И насколько можно верить последовательности плюралистов? «Права человека» относятся ко всем людям или только к ним самим? Вот я воспользовался самым скромным из прав человека — не поехать по приглашению на завтрак, и свой отказ объяснил в письме к Президенту. И какой же это вызвало гнев плюралистов: я *должен* был поехать! чтобы придать весу всему их коллективу приглашённых! И некто Любарский пишет задыхательную статью (и снова пропорция неуверенности: в три раза длиннее, чем моё письмо Президенту). И снова: чтó в моём письме главное, существенно, — то обмолчать или вывернуть, «не понять», зато нравоучительно втолковывать, кем из диссидентов (кроме почему-то Синявского) я пренебрег — хотя в моем письме ясно сказано, что состав участников от меня тщательно скрывали, и Любарский знает, что он был объявлен лишь вослед. С привычным советским вывертом втискивает меня в компанию Брежнева, «Литгазеты», обвиняет в безответственном повторении «бредовых мнений» «какого-то генерала» из «какой-то американской газеты», — извольте: «Вашингтон пост», ведущая столичная, генерал Тейлор, командовавший объединённой группой начальников

штабов, а стратегическую идею избирательно уничтожать русских ядерными ударами ему подали из университетских кругов, профессор Гёртнер.

С таким гневом свободные плюралисты никогда не осуждали коммунизм, а меня эти годы дружно обливали помоями — в таком множестве и с такой яростью, как вся советская дворняжная печать не сумела наворотить на меня за двадцать лет. Очень помогло им, что западная пресса, особенно в Штатах, в руках левых — и легко, и охотно эту травлю переняла и усвоила.

Сколько лет в бессильном кипении советская образованщина шептала друг другу на ухо свои язвительности против режима. Кто бы тогда предсказал, что писателя, который первый и прямо под пастью всё это громко вызвездит режиму в лоб, — эта образованщина возненавидит лютее, чем сам режим?

«Фальсификатор... Реакционный утопист... Перестал быть писателем, стал политиком... Любит защищать Николая I (?)... «Ленин в Цюрихе» — памфлет на историю... «Ленин в Цюрихе» — карикатура... Оказался банкротом... Сублимирует недостаток знаний в пророческое всеведение... Гомерические интеллектуальные претензии... Шаманские заклинания духов... Ни в грош не ставит русскую совесть... Морализм, выросший на базе нигилизма... Освящает своим престижем самые порочные идеи, затаённые в русском мозгу... Неутолимая страсть к политическому пророчеству с инфантилизмом... Потеря художественного вкуса... Несложный писатель... Устройство сознания очень простое и близкое подавляющему большинству, отсюда общедоступность. (Вот это их и бесит. А я в этом и задачу вижу.) Фанатик, мышление скорей ассоциативное, чем логическое... Пена на губах, пароксизм ненависти... Политический экстремист... Волк-одиночка... Маленький человечек, мстительный и озлобленный... Взращённый на лести... Ходульное высокомерие... Одинокий волк, убежавший из стаи... Полностью

утратил контакт с реальностью... Лунатик, живущий в мире мумий... Легко лжёт... Пытается содействовать распространению своих монархических взглядов, играя на религиозных и патриотических чувствах народа (ну, буквально из «Правды»)... Пришёл к неосталинизму... Его сталинизм полностью сознательный... У Ленина и Солженицына абсолютно одинаковое понимание свободы... По его мнению, коммунистическая система не подходит России только из-за того, что она нерусская (не из-за того же, что атеистична и кровава?)... Капитулировал перед тоталитаризмом... Яростный сторонник клерикального тоталитаризма... Аятолла России... Великий Инквизитор... Солженицын, пришедший к власти, был бы более опасным вариантом теперешнего советского режима... Его поведение запрограммировано политическими мумиями, которые однажды уже поддержали Гитлера (отчего не самим Гитлером?)... Опасность нового фашизма... В его проповедях и публицистике — аморальность, бесчестность и антисемитизм нацистской пробы»... И наконец: «Идейный основатель нового ГУЛАГа»...

И это всё написано не замороченными иностранцами, но моими, так сказать, так сказать... соотечественниками. И так нарастал от года к году раздражённый, оскорблённый тон плюралистов, что даже этих, кажется уж высших, обвинений им казалось мало — и стали лепить больше по личной части: «...Ослепление рассудка... Помрачение рассудка ослабило моральные тормоза... Наведенное безумие... Удар славы тем сильней раскалывает голову, чем менее плотно её нравственное наполнение...»

И требовали, чтоб я наконец замолчал, не выступал перед Западом! (Уж я ли не молчу? Не управляемся отказывать всем западным приглашениям.) И прямо так и вопрошали: *зачем* я выжил? — и на войне, и в тюрьме, и сквозь рак. И объявляли меня — уже вполне конченным, хоронили (мыши кота).

И — как не перемывали в сплетнях мои собственные признания! — как будто они первые дознались, открыли. Ни одна моя покаянная страница не осталась без оживлённого обтанцовывания, на каждую находились низкие оппоненты, кто выплясывал, скакал, указывал, торжествовал, как будто я скрывал, а он разоблачил. (А ведь среди этой публики — и писатели есть. И — как же они себе мыслят литературу без признаний?)

Так постепенно сводили клеветы под единый купол и ещё такой приём придумали, наглядное пособие: напечатать серию фотофантазий на «род Солженицыных» — морда за мордой, тупица за тупицей — презренный род, каким только и может быть всякое русское крестьянское порождение. Или, как выразился левый «Мидстрим» (остроумный Макс Гельтман): «в его родословной все крестьяне до того, что коровьим навозом почти замараны писательские страницы».

А в левом американском «Диссенте» шустрая чета (всё те же Соловьёв и Клепикова) приоткрыла опасную связь: «Отрицательные черты Солженицына являются чертами России, и расхождения с ним его либеральных оппонентов относятся не к нему, а к самой России... Читатели могут любить или не любить Солженицына, но это равносильно любви или нелюбви к его стране... Связь с отечеством его не прервана, а скорей усилилась изгнанием, подобно тому как — (оцените сравнение) — части раздавленного червя извиваются, пытаясь соединиться.»

И усвоили, и печатно употребляют как самоясное выражение — «люди Солженицына», — то есть как будто мною мобилизованы, обучены, и где-то существуют, и тайно действуют страшные когорты. Да очнитесь, господа! Если бы я непрерывно ездил на конференции, как вы все это делаете, всё организовывал бы комитеты, или мостился бы к госдепартаментским, как вы этим заняты! — но я заперся, уже 6 лет тому, для работы и даже трубку телефонную в руки не беру никогда. Да у вас переполох

от ненависти и страха. Ваша дружная сосредоточенная ненависть немало и убеждает меня в правильности и полезности для России моей тропы.

Естественное возрождение русских умов и русских сил там и сям, признак не до конца умершей нации, — вы принимаете за заговор?

Так с удивлением замечаем мы, что наш выстраданный плюрализм — в одном, в другом, в третьем признаке, взгляде, оценке, приёме — как сливается со старыми ревдемами, с «неиспорченным» большевизмом. И в охамлении русской истории. И в ненависти к православию. И к самой России. И в пренебрежении к крестьянству. И — «коммунизм ни в чём не виноват». И — «не надо вспоминать прошлое». А вот — и в применении лжи как конструктивного элемента.

Мы думали — вы свежи, а вы — всё те же.

1982

СЛОВО ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТЕМПЛТОНОВСКОЙ ПРЕМИИ

Бэкингемский дворец, 10 мая 1983

Впервые эта премия присуждена православному. В благодарности, что и наша доля замечена в мировом объёме, я ясно сознаю свою личную недостойность принять эту награду, оглядываясь на светлый ряд выдающихся иерархов нашей Церкви и православных мыслителей от Алексея Хомякова до Сергия Булгакова. И хорошо сознаю, что в восточно-славянском православии, перенесшем за коммунистические 65 лет гонения, по своей лютости и по своей массовости превосходящие гонения первых веков христианства, — было много рук, более достойных, чем мои, и сегодня есть. От киевского митрополита Владимира Богоявленского, расстрелянного коммунистами у стен Киево-Печерской Лавры в первые ленинские дни, — до отважного священника о. Глеба Якунина, домучиваемого сегодня, в дни андроповские, насильственно лишённого всех внешних знаков священства и даже права иметь Евангелие, по много месяцев содержимого без одежды, без постели и без еды в промороженной каменной коробке.

В этот век гонений выпало так, что и самое первое воспоминание моей жизни: как в храм Св. Пантелеймона в Кисловодске вошли чекисты в остроконечных шапках, остановили службу и с грохотом прошли в алтарь — грабить. А когда в Ростове-на-Дону я стал ходить в школу — мимо километрового каре ГПУ и сверкающей вывески Союза Воинствующих Безбожников, то школьники, науськанные комсомольцами, травили меня за то, что посещал с матерью последнюю в городе церковь, и срывали с моей шеи нательный крест.

Ещё в 1922 году по замыслу Ленина и Троцкого были ограблены православные храмы, и затем, включая и сталинское и хрущёвское время, десятки тысяч их снесены или отданы на поругание, так что Россия превратилась в обезображенную пустыню, не похожую сама на себя, какой стояла перед тем столетия. В целых областях и в полумиллионных городах не оставалось и по одному храму. И в этой тёмной безгласной пустыне десятилетиями осуждён жить наш народ, как бы ощупью находя и сохраняя путь к Богу. В таких тисках мы жили и живём, что исповедание проступало не в свободном щедром развитии, но в отстаивании веры на рубеже гибели или на ломких рубежах соблазнительного марксистского красноговорения, — и много там сломано душ.

Сегодня в формулировке темплтоновского комитета мы слышим понимание того, как на нашей земле сквозь втолоченное безбожие сохранила жизненную силу православная духовная традиция. Какие обрывки звуков из этого просочатся через мясорубку глушения на мою родину — они поддержат наших верующих, что их не забыли и что в их стоянии черпают мужество и тут.

Централизованное безбожие, устрашающее весь мир своим оружием, так же ненавидит эту безоружную веру и так же боится её, как и 60 лет назад. Да! Все яростные преследования, какие обрушил на наш народ государственный палаческий атеизм, и точенье его лжи, и лавина оглупляющей пропаганды, — все они вместе оказались слабее тысячелетней народной веры — она не уничтожена, она есть высшее, что мы храним в вершинах нашего дыхания и сознания.

ТЕМПЛТОНОВСКАЯ ЛЕКЦИЯ

Гилдхолл, Лондон, 10 мая 1983

Больше полувека назад, ещё ребёнком, я слышал от разных пожилых людей в объяснение великих сотрясений, постигших Россию: «Люди забыли Бога, оттого и всё.»

С тех пор, потрудясь над историей нашей революции немногим менее полувека, прочтя сотни книг, собрав сотни личных свидетельств и сам уже написав в расчистку того обвала 8 томов, — я сегодня на просьбу как можно короче назвать главную причину той истребительной революции, сглодавшей у нас до 60 миллионов людей, не смогу выразить точнее, чем повторить: «Люди забыли Бога, оттого и всё.»

Но и более, события русской революции только и могут быть поняты лишь сейчас, в конце века, — на фоне того, что произошло с тех пор в остальном мире. Тут проясняется процесс всеобщий. Если бы от меня потребовали назвать кратко главную черту всего XX века, то и тут я не найду ничего точнее и содержательнее, чем: «Люди — забыли — Бога.» Пороками человеческого сознания, лишённого божественной вершины, определились и все главные преступления этого века. И первое из них — Первая мировая война, многое наше сегодняшнее — из неё. Ту, уже как будто забываемую, войну, когда изобильная, полнокровная, цветущая Европа как безумная кинулась грызть сама себя, и подорвала себя может быть больше чем на одно столетие, а может быть навсегда, — ту войну нельзя объяснить иначе как всеобщим помрачением разума правящих, от потери сознания Высшей Силы над собой. И только в этой безбожественно озлобленности христианские

по видимости государства могли тогда решиться применять химические газы — то, что так уже явно за пределами человечества.

Таким же пороком сознания, лишённого божественной вершины, уже после Второй мировой войны было — поддаться сатанинскому соблазну «ядерного зонтика». То есть: снимем заботы с себя, снимем долг и обязанности с молодёжи, не будем делать усилий защищать себя или тем более кого других, — заткнём наши уши от стонов с Востока, и будем жить в погоне за счастьем, а если грянет и над нами опасность — то нас защитит ядерная бомба, а нет — ну тогда пусть сожжётся к черту весь мир! Плачевное беспомощное состояние, в которое сегодня скатился Запад, во многом истекло от той роковой ошибки: что защита мира — не крепость сердец, не стойкость людей, — а сама только ядерная бомба.

Лишь при потере нашего божественного надсознания мог Запад после Первой войны спокойно отнестись к многолетней гибели России, раздираемой людоедской бандой, а после Второй — к такой же гибели Восточной Европы. А ведь то начинался вековой процесс гибели всего мира — а Запад не разглядел, и даже много помогал ему. За всё столетие единственный раз собрал Запад силы на бой против Гитлера. Но плоды того давно растеряны. Против людоедов в этом безбожном веке найдено анестезирующее средство: с людоедами — надо торговать. Таков сегодняшний бугорок нашей мудрости.

Сегодня мир дошёл до грани, которую если бы нарисовать перед предыдущими веками — все бы выдохнули в один голос: «Апокалипсис!»

Но мы к нему привыкли, даже обжились в нём.

Достоевский предупреждал: «Могут наступить великие факты и застать наши интеллигентные силы врасплох.» Так и произошло. И предсказывал: «Мир спасётся уже после посещения его злым духом.» Спасётся ли? — это ещё нам предстоит увидеть, это будет зависеть от нашей совести, от нашего просветления, от наших личных и соединённых уси-

лий в катастрофической обстановке. Но уже свершилось, что злой дух победно кружит смерчем над всеми пятью континентами.

Мы свидетели где подневольного разрушения, а где добровольного саморазрушения мира. Весь XX век втягивается в крутящую воронку атеизма и самоуничтожения. И в этом падении мира в бездну есть черты несомненно глобальные, не зависящие ни от государственных политических систем, ни от уровня экономики и культуры, ни от национальных особенностей. И сегодняшняя Европа, казалось бы так мало похожая на Россию 1913 года, — стоит перед тем же падением, хотя и притекшим иными путями. Разные части света шли разными путями — а сегодня все подходят к порогу единой гибели.

Знала же когда-то и Россия такие века в своей истории, когда общественным идеалом была не знатность, не богатство, не материальное преуспеяние, а — святость образа жизни. Россия тогда была напоена православием, сберегшим верность первоначальной Церкви первых веков. То древнее православие умело сохранять свой народ под двумя-тремя веками чужеземного ига, ещё одновременно отражая и неправедные удары крестоносных мечей с Запада. В те века православная вера у нас вошла в строй мысли и людских характеров, в образ поведения, в строение семьи, в повседневный быт, в трудовой календарь, в очерёдность дел, недели, года. Вера была объединяющей и крепящей силой нации.

Но в XVII веке наше православие было подорвано злополучным внутренним расколом. В XVIII Россия сотрясена насильственными преобразованиями Петра, подавившими религиозный дух и национальную жизнь в угоду экономике, государству и войне. А вместе с однобоким петровским просвещением донёсся и до нас тонко-ядовитый ветерок секуляризма, за XIX век пропитавший образованные слои и открывший широкий проход марксизму. Перед революцией вера в России испарилась из кругов образованных. И повреждена была в необразованных.

Всё тот же Достоевский, судя по французской революции, кипевшей от ненависти к Церкви, вывел: «Революция непременно должна начинать с атеизма.» Так и есть. Но такого организованного, военизированного и злоупорного безбожия, как в марксизме, — мир ещё не знал прежде. В философской системе и в психологическом стержне Маркса и Ленина ненависть к Богу — главный движущий импульс, первее всех политических и экономических притязаний. Воинствующий атеизм — это не деталь, не периферия, не побочное следствие коммунистической политики, но главный винт её. Для её дьявольских целей надо владеть населением безрелигиозным и безнациональным, уничтожить и веру и нацию — и то и другое коммунисты повсюду совершенно открыто провозглашают и открыто осуществляют. Насколько атеистический мир нуждается взорвать религию, насколько она ему поперёк горла — можно видеть и по недавней паутине покушений на Папу Римского.

20-е годы в СССР — это длинная вереница поголовного мученичества православных священнослужителей. Два расстрелянных митрополита, из них петроградский Вениамин, избранный всенародным голосованием. Сам патриарх Тихон, прошедший ЧК-ГПУ, а затем умерший при загадочных обстоятельствах. Десятки архиепископов и епископов. Десятки тысяч священников, монахов и монахинь, которых чекисты, заставляя отказаться от слова Божьего, пытали, расстреливали в подвалах, слали в лагеря, ссылали в безлюдную тундру на крайний Север, выбрасывали стариков голодными и бездомными на бедствия. И все эти христианские мученики стойко шли на смерть за веру, лишь редкие единицы дрогнули и отказались. И десяткам миллионов мирян загородили путь во храм, запретили воспитывать в вере детей, отрывали от них в тюрьму, а самих детей угрозами и ложью отбивали от веры. Можно утверждать, что и бессмысленное разрушение российской сельской экономики в 30-х го-

дах, так называемые раскулачивание и коллективизация, погубившие 15 миллионов крестьян и не имевшие никакого хозяйственного смысла, были жестоко проведены с главной целью: разрушить национальный быт и вырвать религию из деревни. И тот же замысел душевного разврата распростирался над зверским Архипелагом ГУЛАГом, где людям указывалось выжить за счёт смерти других. Только ополоумевшие безбожники могли решиться и на задуманное сегодня в СССР последнее убийство и самой русской природы: затопить русский Север, повернуть течение северных рек, нарушить жизнь Ледовитого океана, и гнать воду на Юг, уже раньше погубленный предыдущими, такими же вздорными «великими стройками коммунизма».

Лишь на короткое время, нуждаясь собрать силы против Гитлера, Сталин затеял циничную игру с Церковью — и эту обманную игру, продолженную потом брежневскими декорациями и рекламными публикациями, — увы, более всего и усвоили на Западе, приняв за чистую монету. Но насколько ненависть к религии укоренена в коммунизме — можно судить по самому либеральному их лидеру Хрущёву: решась на некоторые существенно освободительные шаги, Хрущёв, рядом с этими реформами, снова воздул остервенелый ленинский запал уничтожения религии.

Вот чего не ждали они: в стране, прокатанной от храмов, где атеизм торжествует и разнузданно свирепствует уже две трети века, где до предела унижены и лишены воли иерархи и остатки внешней Церкви терпятся лишь для пропаганды на западный мир, где и сегодня не только сажают за веру в лагерь, но и в самом лагере бросают в карцер собравшихся помолиться на Пасху, — под этим коммунистическим катком христианская традиция выжила в России! Да, миллионы у нас опустошены и развращены безбожием, внедрённым властью, однако сохранились и миллионы верующих, они лишь внешне вынуждены и сегодня молчать, — но, как это

бывает в преследованиях и страданиях, сознание Бога достигло на моей родине острой глубины.

И тут мы видим зарю надежды: как бы ни был коммунизм ощетинен ракетами и танками, и как бы успешно он ни захватывал планету, — он обречён никогда не победить христианства.

Запад еще пока не испытал коммунистического нашествия, религия свободна. Но и свой исторический путь привёл его сегодня к иссушению религиозного сознания. Тут были и свои раздирающие расколы, и кровопролитные межрелигиозные войны, и вражда. И само собой, еще с позднего Средневековья, Запад все более затопляла волна секуляризма, а эта угроза вере — не от внешнего выжигания её, а от внутреннего червоточенья силы — как бы не ещё опасней.

На Западе незаметно, подтачиванием десятилетий, утеривалось понятие смысла жизни более высокого, чем добиться «счастья», — а это последнее ревниво закреплялось даже конституциями. Уже не первый век высмеиваются понятия Добра и Зла, и удачно изгнали их из общего употребления, заменив политическими и классовыми расстановками, которых срок жизни быстротечен. Стало стыдно аргументировать к извечным понятиям, стыдно промолвить, что зло гнездится в сердце каждого человека прежде, чем в политической системе, — а не стыдно: уступать интегральному Злу каждодневно — и по оползням уступок на глазах одного нашего поколения Запад необратимо сползает в пропасть. Западные общества всё более теряют религиозную суть и беззаботно отдают атеизму молодёжь. Какие ещё нужны свидетельства безбожия, если по Соединённым Штатам, имеющим престиж одной из самых религиозных стран в мире, шёл глумливый фильм об Иисусе Христе? Если американская столичная газета бесстыдно помещает карикатуру на Божью Матерь? Когда распахнуты внешние права — зачем же удерживаться внутренне самим от недостойности?..

Или зачем тогда удерживаться от раскала ненависти? — расовой, классовой, исступлённо идеологической? Она и изъедает сегодня многие души. Атеисты-преподаватели воспитывают молодёжь в ненависти к своему обществу. В этом бичевании упускается, что пороки капитализма есть коренные пороки человеческой природы, рассвобождённые без границ вместе с остальными правами человека; что при коммунизме (а коммунизм дышит в затылок всем умеренным формам социализма, они не стойки) — при коммунизме эти же пороки бесконтрольно распущены у всех, имеющих хоть малую власть; а все остальные там действительно достигли «равенства» — равенства нищих рабов. Эта разжигаемая ненависть становится атмосферой сегодняшнего свободного мира, и чем шире наличные свободы, чем выше достигнутая в обществе социальная обеспеченность и даже комфорт — тем, парадоксально, напряжённей и эта слепая ненависть. Так нынешний развитой Запад ясно показал на себе, что не в материальном изобилии и не в удачливом бизнесе лежит человеческое спасение.

Эта разжигаемая ненависть распространяется далее на всё живое, на саму жизнь, на мир, на его краски, звуки, формы, на человеческое тело — и ожесточённое искусство XX века гибнет от этой уродливой ненависти, — ибо искусство бесплодно без любви. На Востоке оно упало потому, что его сшибли и растоптали; на Западе оно упало добровольно, в издуманные претенциозные поиски, где человек пытается не выявить Божий замысел, но заменить собою Бога.

Снова, и тут, единый исход мирового процесса, совпадение результатов западных и восточных, и снова по единой причине: забыли — люди — Бога.

Перед натиском мирового атеизма верующие раздроблены и многие растеряны. А между тем и христианскому — бывшему христианскому — миру хорошо бы не упустить из зрения например вот Дальний Восток. Недавно мне пришлось наблюдать,

как в Японии и в Свободном Китае — при, кажется, меньшей отчётливости их религиозных представлений, а при той же невозбранной «свободе выбора», как у Запада, — и общество, и молодёжь ещё сохраняются более нравственными, чем на Западе, менее тронуты опустошительным секулярным духом.

Что говорить о разъединении разных религий, если и христианство так раздробилось само в себе? В последние годы между главными христианскими Церквями сделаны примирительные шаги. Но они слишком медленны, мир погибает стократно быстрей. Ведь не слияние же Церквей ожидается, не смена догматов, но только дружное стояние против атеизма, — и для этого медленны те шаги.

Есть и организационное движение к объединению Церквей — но странное. Всемирный Совет Церквей, едва ли менее занятый успехами революционного движения в странах Третьего мира, однако слеп и глух к преследованиям религии, где они самые последовательные, — в СССР. Не видеть этого невозможно — значит, политично предпочтено: не видеть и не вмешиваться? Но что ж тогда остаётся от христианства?

С глубокой горечью я должен здесь сказать, не смею умолчать, что мой предшественник по этой премии в прошлом году, и даже в самые месяцы её получения, публично поддержал коммунистическую ложь, вопиюще заявив, что не заметил преследований религии в СССР. За это надругательство над всеми погибшими и подавленными — пусть его рассудят Небеса.

Сегодня всё шире нам видится так, что при самых изощрённых политических лавировках — петля на человечестве с каждым десятилетием затягивается всё туже и безнадёжней, и выхода нет никому никуда — ни ядерного, ни политического, ни экономического, ни экологического. Да, очень на то похоже.

И перед горами, перед хребтами таких мировых событий кажется несоответственным, неуместным

напоминать, что главный ключ нашего бытия или небытия — в каждом отдельном человеческом сердце, в его предпочтении реального Добра или Зла. Но это и сегодня остаётся так: это самый верный ключ. Обещательные социальные теории — обанкротились, покинув нас в тупике. Свободные западные люди могли бы естественно понимать, что вокруг них немало и свободно вскормленной лжи, и не дать так легко себе её навязать. Бесплодны попытки искать выход из сегодняшнего мирового положения, не возвратя наше сознание раскаянно к Создателю всего: нам не осветится никакой выход, мы его не найдём: слишком бедны те средства, которые мы себе оставили. Надо прежде увидеть весь ужас, сотворённый не кем-то извне, не классовыми или национальными врагами, а внутри каждого из нас, и внутри каждого общества, и даже в свободном и высокоразвитом — особенно, ибо тут-то особенно мы всё это сделали сами, свободною волей. Сами же мы повседневным легкомысленным эгоизмом эту петлю затягиваем.

Спросим себя: не ложны ли идеалы нашего века? И наша уверенная модная терминология? И от неё — поверхностные рецепты, как исправить положение? На каждом поприще их надо, пока не поздно, пересмотреть незамутнённым взглядом. Решение кризиса не лежит на пути усвоенных ежедневных представлений.

Наша жизнь — не в поиске материального успеха, а в поиске достойного духовного роста. Вся наша земная жизнь есть лишь промежуточная ступень развития к высшей — и с этой ступени не надо сорваться, не надо и протоптаться бесплодно. Одни материальные законы — не объясняют нашу жизнь и не открывают ей пути. Из законов физики и физиологии нам никогда не откроется то несомненное, как Творец постоянно и ежедневно участвует в жизни каждого из нас, неизменно добавляя нам энергии бытия, а когда эта помощь оставляет нас — мы умираем. И с не меньшим же участием Он содейст-

вует жизни всей планеты — это надо почувствовать в наш тёмный, страшный момент.

Опрометчивым упованием двух последних веков, приведшим нас в ничтожество и на край ядерной и неядерной смерти, мы можем противопоставить только упорные поиски тёплой Божьей руки, которую мы так беспечно и самонадеянно оттолкнули. Тогда могут открыться наши глаза на ошибки этого несчастного XX века и наши руки — направиться на их исправление. А больше — нам нечем удержаться на оползне, ото всех мыслителей Просвещения — не набралось.

Наши пять континентов — в смерче. Но в таких испытаниях и проявляются высшие способности человеческих душ. Если мы погибнем и потеряем этот мир — то́ будет наша собственная вина.

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ

I. ПРИРОДА БЕСКРОВНОЙ

(23—27 февраля 1917)

Три монархиста, порешившие Распутина для спасения короны и династии, вступили уверенными ногами на ту зыбь, которою так часто обманывает нас историческая видимость: последствия наших самых несомненных действий вдруг проявляются противоположны нашим ожиданиям. Казалось, худшие ненавистники российской монархии не могли бы в казнь ей придумать язвы такой броской, как фигура Распутина. Такого изобретательного сочетания, чтоб именно русский мужик позорил именно православную монархию и именно в форме святости. Читающая публика и нечитающий народ по-своему были разбережены клеветой о троне и даже об *измене* трона.

Но стерев эту язву — только дали неуклонный ход дальнейшему разрушению. Убийство, как действие предметное, было замечено куда шире того круга, который считался общественным мнением, — среди рабочих, солдат и даже крестьян. А участие в убийстве двух членов династии толкало на вывод, что слухи о Распутине и царице верны, что вот даже великие князья вынуждены мстить за честь Государя. А безнаказанность убийц была очень замечена и обернулась тёмным истолкованием: либо о полной правоте убийц, либо что наверху правды не сыщешь, и вот государевы родственники убили единственного мужика, какому удалось туда пробраться. Так убийство Распутина оказалось не жестом, охраняющим монархию, но первым выстрелом революции, первым реальным шагом революции — наряду с земгоровскими съездами в тех же днях декабря. Распутина не стало, а недовольство брыз-

жело — и значит на кого теперь, если не на царя?

А ещё было то, как будто не крупное, последствие убийства, что Верховный Главнокомандующий российскими имперскими силами покинул Действующую Армию на девять недель. (Так сбылось и расчётливое предсказание тобольского чудотворца, что без него династия погибнет: от смерти его и до этой гибели только и протянулись десять недель.)

Все рядовые жизненные случайности, попав под усиленное историческое внимание, начинают потом казаться роковыми. Не было никакой связи между семейным решением об этой поездке в Ставку и хлебными беспорядками в Петрограде, начавшимися точно на следующий день. (Разве только малая та, что, не слишком бы погрузясь в скорбь императрицы и больше внимания уделя государственным занятиям, например работе с Риттихом, монарх мог бы за два месяца предупредить эти хлебные перебои.) Не было и связи с микробами кори, уже нашедшими горла царских детей, — однако, уехавши в Ставку с отцом, Алексей заболел бы в Могилёве, а не в Царском, и ото всего того сильно бы переменилось расположение привязанностей и беспокойств, открывая возможности иного хода российских событий.

Рассмотрение исторических вариантов иногда позволяло бы нам лучше охватить смысл происшедшего. Художники могли бы пытаться в развилках истории, с мерой доступной им убедительности, продвигаться также и по тропам, не выбранным историей, углубляя наше понимание событий повествованием с вариантным сюжетом. Но учёные запретили нам conditionalis в рассказах о прошлом, и мы не будем задаваться вопросом, что́ было бы, если бы Государь задержался в Царском Селе на 23 и 24 февраля. Единственно: что тогда Протопопов не мог бы так долго и с такой лёгкостью морочить Государя о событиях, и какие бы решения ни были бы приняты — они лежали бы прямо на царских плечах.

Но нет, почти в те часы, когда начинали бить хлебные лавки на Петербургской стороне, царь уехал из-под твёрдого крыла царицы — беззащитным перед самым ответственным решением своей и российской жизни.

И к тем же дням, так же роково, возвратился в Ставку больной расслабленный генерал Алексеев, сменив огневого генерала Гурко.

И наконец, почему не дошли до Государя три отчаянных телеграммы императрицы 27 февраля, кем перехвачены? Те перехватчики, лишившие Государя знания в самый опасный день, может быть больше склонили судьбу России, чем целый красный корпус в Гражданскую войну.

А сколько-нибудь внимательно вдумываясь бы в состояние столицы, никак нельзя бы остаться в январские и февральские недели беспечным. Никак бы не отговориться, что Февральская революция грянула неожиданно. О созревании революционной обстановки недремлющее Охранное отделение доносило и своевременно, и в полноте, — доносило больше, чем правительство способно было усвоить и принять к решению. Правительственным кругам отлично было известно бедоносное состояние петроградского гарнизона, неразумно обременённого полутора сотнями тысяч солдат, призванных без надобности раньше времени, всё ещё не вооружённых, не обученных и даже не обучаемых, немыслимо густо скопленных в неподходящей для того столице, подверженных томлению, бездеятельности, разложению и прислушиванию к революционной агитации. Про дивизию, в 1915 году целиком набранную из петроградских жителей, на фронте была шутка: «санкт-петербургское беговое общество». А гвардия, в японскую войну вся целиком простоявшая в Петрограде и удержавшая его в 1905 г. от революции, теперь была на две трети уже перемолота на самых гиблых направлениях фронта. Не новостью было для правительства и забастовочное движение на заводах, уже второй год подкрепляемое неопознанны-

ми деньгами для анонимных забастовочных комитетов и не перехваченными агитаторами. На революционную агитацию десятилетиями смотрело правительство Николая II как на неизбежно текущее, необоримое, да уже и привычное, зло. Никогда в эти десятилетия правительство не задалось создать свою противоположную агитацию в народе, разъяснение и внедрение сильных мыслей в защиту строя. Да не только рабочим, да не только скученным тёмным солдатам-крестьянам правительство, через никогда не созданный пропагандный аппарат, никогда не пыталось ничего разъяснить, — но даже весь офицерский корпус зачем-то оберегало девственно-невежественным в государственном мышлении. Вопреки шумным обвинениям либеральной общественности, правительство крайне вяло поддерживало и правые организации, и правые газеты, — и такие рыцари монархии, как Лев Тихомиров, захиревали в безвестности и бессилии. И не вырастали другие.

Правда: и революционеры были готовы к этой удивительной революции не намного больше правительства. Десятилетиями наши революционные партии готовили только революцию и революцию. Но, сильно раздробленные после неудач 1906 года, затем сбитые восстановлением российской жизни при Столыпине, затем взлётом патриотизма в 1914 году, — они к 1917 оказались ни в чём не готовы и почти не сыграли роли даже в подготовке революционного настроения (только будоражили забастовки) — это всё сделали не социалистические лозунги, а Государственная Дума, это её речи перевозбудили общество и подготовили к революции. А явилась революция как стихийное движение запасных батальонов, где и не было регулярных тайных солдатских организаций. В совершении революции ни одна из революционных партий не проявила себя, и ни единый революционер не был ранен или оцарапан в уличных боях — но с тем большей энергией они кинулись захватывать добычу, власть в первые же сутки и вгонять совершившееся в свою идеологию.

Чхеидзе, Скобелев и Керенский возглавили Совет не как лидеры своих партий (они были даже случайны в них), но как левые депутаты Думы. Так революция началась без революционеров.

Всё было подготовлено без сокрытий, по наружности, а правительство бездеятельно мирилось с открытыми поношениями себя в прессе — это в военное время! — и с открытыми злобными атаками радикалов в Думе и вне её. Ни одна газета не была ни на день закрыта. Милюков с думской трибуны клеветнически обвинил императрицу и премьер-министра в государственной измене, — его даже не исключили с одного думского заседания, не то чтоб там как-то преследовать. Декабрьские съезды Земгора провозглашали резолюции о той же измене правительства и свержении его, — и ни один участник не был задержан даже на полчаса. И вся эта ложь, как хлопья сажи, медленно кружилась и опускалась, и опускалась на народное сознание, наслаивалась на нём — вместе с тёмными «распутинскими» слухами — из тех же сфер великосветья и образованности.

Чего нельзя было даже пропискнуть в России до Семнадцатого года — теперь мы можем прохрипеть устало: что российское правительство почти не боролось за своё существование против подрывных действий.

В февральские дни агитаторы камнями и угрозами насильственно гнали в забастовку рабочих оборонных заводов — это во время войны! — и задержано было их десятка два, но ни один не только не расстрелян — даже не предан суду — да даже через несколько часов все отпущены на волю, агитировать и дальше. (Доклад начальника департамента полиции Васильева, что в ночь на 26-е он успешно арестовал 140 зачинщиков, — чиновная ложь, только революция потом раздувала это донесение. Арестовали — 5 большевиков, петербургский комитет, среди них сестру Ленина Анну Елизарову и вскоре знаменитого Подвойского.)

Хлеб? Но теперь-то мы понимаем, что сама по себе хлебная петля не была так туга, чтоб задушить Петроград, ни тем более Россию. Не только голод, а даже подлинный недостаток хлеба в Петрограде в те дни ещё не начинался. По нынешним представлениям — какой же это был голод, если достоялся в очереди — и бери этого хлеба, сколько в руки возьмёшь? А на многих заводах администрация вела снабжение продуктами сама — там и очередей хлебных не знали. А уж гарнизон-то вовсе не испытывал недостатка в хлебе. А решил всё дело он.

Такие ли перебои в хлебе ещё узнает вся Россия и тот же Петроград — и стерпят? Теперь-то мы знаем, что этот же самый город в войне против этой же самой Германии безропотно согласился жить — не одну неделю, но год — не на два фунта хлеба в день, а на треть фунта — и без всех остальных продуктов, широко доступных в феврале Семнадцатого, и никакая революция не шевельнулась. А в 1931 и городá хлебородного Юга жили и жили на полфунта, без всякой войны! — и тоже сошло. Теперь-то мы знаем, что никакой голод не вызывает революции, если поддерживается национальный подъём или чекистский террор, или то и другое вместе. Но в феврале 1917 не было ни того, ни другого — и хлеб подай! Тогда были другие представления о сытости и голоде.

Для зарождения паники нужен только критический минимум слухов — а их сошлось больше. Одним только слухом, что будут продавать по фунту в день на человека, рабочие окраины были сотрясены больше, чем всей предыдущей революционной пропагандой партий. (Установлено, что часть петроградских пекарей продавала муку в уезд, где она дороже, — а немало петроградских пекарей вскоре станет большевиками.) И снимались на стачку даже такие заводы, где своя выпечка хлеба была поставлена безукоризненно.

Разрушительный толчок от слухов может произойти при всяком правительстве, во всяком месте страны. Но только слабое правительство от него падает.

(Много слухов возникало и в советско-германскую войну, но при неуклонности власти ничто не сотряслось.) Российское правительство ни силою властных действий, ни психологически не управляло столичным населением.

Да в последние месяцы оно уже не верило и само себе и не верило ни в одно из своих действий, тем более в дни самих событий не соображало ни срочности, ни важности, ни возможности своих мер. Телефонная станция под правительственной защитой все часы революции обслуживала город, Думу и революционеров! — и не только не умели узнать их намерения, но даже не догадывались отключить их и разобщить. Наступала ночь — революционные силы расходились по домам, а власти и не пытались действовать энергично — но передыхали ночь в робкой надежде, что с утра этот кошмар не повторится. От прежней костенеющей самоуверенности они впали в лихорадочную неуверенность. Сперва волнения всё казались несерьёзными, улягутся сами — и вдруг бесконтрольно перескользнули в революцию.

Революция — это хаос с невидимым стержнем. Она может победить и никем не управляемая.

По донесениям Хабалова, Протопопова и Беляева в Ставке долго нельзя было угадать, что власти лишились средств подавления, а казаки изменили правительству. В Волынском батальоне, где всё и началось, офицеры даже не были переведены на казарменное положение, ночевали дома, патроны солдатам выдавались без них. А начался бунт — волынским офицерам даже не велели остановить свой батальон. Вечером 27 февраля, когда Таврический остался обнажён, беззащитен, — Хабалов, имея силы, не пытался овладеть им, а обсуждал, не пробиваться ли в Царское Село, куда он вообще мог выйти свободно. (За все дни он проявил находчивость один только раз: когда, уже арестованного, его привезли в Таврический, он сказался чужим именем, казачьим генералом в отпуску, и был поначалу

отпущен. Единственная такая изобретательность, кроме ещё митрополита Питирима.)

Охранный расчёт требовал для Петрограда 60 тысяч верных правительственных сил. В февральские дни полицейские силы вместе с учебными командами запасных батальонов и изменившими казаками составляли всего 12 тысяч — а по сути боеспособными только и оказались полиция (всего 3500) и жандармерия, они и защищали режим, не желавший себя защищать. Но полиция была не только малочисленна, а и плохо вооружена: только револьверы и шашки, ни даже винтовок, ни скорострельного оружия, ни взрывчатых или дымовых средств. (Сперва напуганная молва, затем безответственная февральская пресса сколотили легенду, будто полиция была переодета в солдат и вооружена пулемётами, и расстреливала ими толпу с чердаков. Но такая стрельба, в военном отношении и бессмысленная, нигде никем в Петрограде не велась, и ни один такой пост и ни один пулемёт не были обнаружены за все дни, а полиция и вовсе пулемётов не имела и не обучена была из них стрелять — это всё помнилось толпе от беспорядочной собственной стрельбы и рикошетов — и так слепилась неразборчивая сплетня.)

Но не было у власти и притока добровольцев, добровольных защитников, это очень характерно. Кроме полковника Кутепова, нескольких офицеров-московцев, самокатного батальона и кроме невольных жертв мятежа — никто в Петрограде не отличился защитой трона, а тем более не имел успеха. (А в Москве ещё хуже.) Молодёжь из военных училищ? — её не позвали на помощь (и дальше штаб округа спешил растелефонировать приказы на сдачу всем офицерам и юнкерам, кто и хотел бы сопротивляться). Не позвали на помощь — но, заметим, училища и не ринулись сами, как бессмертный толедский Альказар 1936 года. В феврале 1917 никто у нас не пытался устроить русский Альказар — ни в Петропавловке, ни в Адмиралтействе и ни в каком

училище. В Николаевском — было движение, но не развилось (в Павловском — ещё слабей).

А монархические организации? — да не было их серьёзных, а тем более способных к оружию: они и перьями-то не справлялись, куда оружие. А Союз русского народа? Да всё дуто, ничего не существовало. Но — обласканцы трона, но столпы его, но та чиновная пирамида, какая сверкала в государственном Петербурге, — что ж они? почему не повалили защитной когортой? стары сами, так твёрдо воспитанные дети их? Э-ге, лови воздух, они все умели только брать. Ни один человек из свиты, из Двора, из правительства, из Сената, из столбовых князей и жалованных графов, и никто из их золотых сынков, — не появился оказать личное сопротивление, не рискнул своею жизнью. Вся царская администрация и весь высший слой аристократии в февральские дни сдавались как кролики — и этим-то и была вздута ложная картина единого революционного восторга России. (Не единственный ли из чинов генерал Баранов оказал сопротивление при *своём* аресте? — так это особо и было отмечено «Известиями Совета рабочих депутатов».)

Монархисты в эмиграции потом десятилетиями твердили, что все предали несчастного Государя и он остался один как перст. Но прежде-то всего и предали монархисты: все сподряд великие князья, истерический Пуришкевич, фонтанирующий Шульгин, сбежавшие в подполье Марков и Замысловский, да и газета-оборотень «Новое время». Даже осуждения перевороту — из них не высказал открыто никто.

Но чего ж тогда, правда, стоила эта власть, если никто не пытался её защищать?

До нынешних лет в русской эмиграции сохранена и даже развита легитимистская аргументация, что наш благочестивый император в те дни был обставлен ничтожными людьми и изменниками. Да, так. Но: и не его ли это главная вина? Кто ж эти все ничтожества избрал и назначил, если не он сам? На что ж употребил он 22 года своей безраздельной

власти? Как же можно было с такой поразительно последовательной слепотой — на все государственные и военные посты изыскивать только худших и только ненадёжных? Именно этих всех изменников — избрать и возвысить? Совместная серия таких назначений не может быть случайностью. За крушение корабля — кто отвечает больше капитана?

Откуда эта невообразимая растерянность и непригодность всех министров и всех высших военачальников? Почему в эти испытательные недели России назначен премьер-министром — силком, против разума и воли — отрекающийся от власти неумелый вялый князь Голицын? А военным министром — канцелярский грызун Беляев? (Потому что оба очаровали императрицу помощью по дамским комитетам.) Почему главная площадка власти — министерство внутренних дел — отдана психопатическому болтуну, лгуну, истерику и трусу Протопопову, обезумевшему от этой власти? На петроградский гарнизон, и без того уродливый, бессмысленный, — откуда и зачем вытащили генерала Хабалова, полудремлющее бревно, бездарного, безвольного, глупого? Почему при остром напряжении с хлебом в столице — его распределение поручено безликому безответственному Вейсу? А столичная полиция — новичку из Варшавы? Сказать, что только с петроградским военачальником ошиблись, — так и в Москву был назначен такой же ничтожный Мрозовский. И по другим местам империи были не лучше того командующие округами (Сандецкий, Куропаткин) и губернаторы. Но и штабом Верховного и всеми фронтами командовали и не самые талантливые и даже не самые преданные своему монарху. (Только на флоты незадолго стали блистательные Колчак и Непенин, два самых молодых адмирала Европы, — но и то оказался второй упоён освобожденческими идеями.) И надо же иметь особый противодар выбора людей, чтобы генералом для решающих действий в решающие дни послать Иудовича Иванова, за десятки императорских обедов не разглядев его

негодности. Противодар — притягивать к себе ничтожества и держаться за них. (Как и к началу страшной Мировой войны царь застигнут был со своими избранцами — легковесным Сазоновым, пустоголовым Сухомлиновым, которые и вогнали Россию в войну.)

Люди всевозможных качеств никогда не переводятся в огромной стране. Но в иные смутные периоды — лучшим закрываются пути к выдвижению.

Всякий народ вправе ожидать от своего правительства *силы* — а иначе зачем и правительство?

К началу 1917 года российская монархия сохранялась ещё в огромной материальной силе, при неисчислимых достояниях страны. И к ведению войны: уже развившаяся военная промышленность, ещё небывалая концентрация на фронте отличного вооружения, всё ж ещё не домолоченный кадровый офицерский состав и — ещё никогда не отказавшиеся воевать миллионы солдат. И — для сохранения внутреннего порядка: образ царя твёрдо стоял в понятии крестьянской России, а для подавления городских волнений не составляло труда найти войска.

Трон подался не материально, материального боя он даже не начинал. Физическая мощь, какая была в руках царя, не была испробована против революции. В 1905 на Пресне подавили восстание более явное — а в Петрограде теперь просто не защищались. Мельгунов правильно пишет: «Успех революции, как показал весь исторический опыт, всегда зависит не столько от силы взрыва, сколько от слабости сопротивления». Ещё в XIX веке все авторитеты признали, что всякие уличные революции после 1848 года — кончились, эпоха городских восстаний миновала, современное вооружение государств не даёт возможностей толпе выигрывать уличные бои. У власти — телеграф, телефон, железные дороги, пулемёты, артиллерия, броневые автомобили — их можно обслуживать небольшими отрядами верных правительству людей, не вводя в бой крупные войсковые части. Время уличных баррикад как будто

навсегда миновало. Но власти в февральском Петрограде действовали вопреки всякому здравому смыслу и законам тактики: не использовали своего контроля над телефоном и телеграфом, не использовали преимуществ ни в каком виде оружия, а свои малые силы не держали в кулаке, но разбросали беззащитно по городу.

Не материально подался трон — гораздо раньше подался дух, и его и правительства. Российское правительство в феврале Семнадцатого не проявило силы ни на тонкий детский мускул, оно вело себя слабее мыши. Февральская революция была проиграна со стороны власти ещё до начала самой революции. Тут была и ушибленность Пятым годом, несчастным 9-м января. Государь никогда не мог себе простить того злосчастного кровопролития. Больше всего теперь он опасался применить военную силу против своего народа прежде и больше нужды. Да ещё во время войны! — и пролить кровь на улицах! Ещё в майский противонемецкий погром в 1915 в Москве приказано было полиции: ни в коем случае не применять оружия против народа. И хотя эта тактика тогда же показала полную беспомощность власти и всесилие стихии — запрещение действовать против толпы оружием сохранилось и до февральских петроградских дней. И в той же беспомощности снова оказались силы власти.

Все предварительные распоряжения столичным начальникам и все решения самих этих дней выводились Государем из отменного чувства миролюбия, очень славного для христианина, но пагубного для правителя великой державы. Оттого с такой лёгкостью и *бескровностью* (впрочем, в Петрограде несколько сот, а по Союзу городов — и до 1500 убитых, раненых и сошедших с ума, и 4000 арестованных новою властью) удалась Февральская революция — и, о, как ещё отдастся нам эта лёгкость и это миролюбие! (И посегодня отдалось ещё не всё.)

Династия покончила с собой. чтобы не вызвать

кровопролития или, упаси Бог, гражданской войны.

И вызвала — худшую, дóльшую, но уже без собирающего тронного знамени.

II. КРУШЕНЬЕ В ТРИ ДНЯ
(28 февраля — 2 марта 1917)

Кто же мог ожидать, кто же бы взялся предсказать, что самая мощная империя міра рухнет с такой непостижимой быстротой? Что трёхсотлетняя династия, пятисотлетняя монархия даже не сделает малейшей попытки к сопротивлению? Такого прорицателя не было ни одного. Ни один революционер, никто из врагов, взрывавших бомбы или только извергавших сатиры, никогда не осмеливались такого предположить. Столетиями стоять скалой — и рухнуть в три дня? Даже в два: днём 1 марта ещё никто и не предлагал Государю отрекаться — днём 3 марта отрёкся уже не только Николай II, но и вся династия. Кадеты (Милюков на первых дипломатических приёмах) признавались иностранцам, что сами ошеломлены внезапностью и лёгкостью успеха. (Да Прогрессивный блок и не мечтал и не хотел отводить династию Романовых от власти, они добивались лишь ограничить монархическую власть в пользу высшей городской общественности. Они и самого Николая II довольно охотно оставили бы на месте, пойди он им на серьёзные уступки, да чуть пораньше.)

Но с той же хилой нерешительностью, как уже 5 лет, — ни поставить своё сильное умное правительство, ни уступить существенно кадетам, — Государь продолжал колебаться и после ноябрьских думских атак, и после декабрьских яростных съездов Земгора и дворянства, и после убийства Распутина, и целую неделю петроградских февральских волнений, — всё надеялся, всё ждал, что уладится само, всё колебался, всё колебался — и вдруг почти

без внешнего нажима сам извихнулся из трёхсотлетнего гнезда, извихнулся больше, чем от него требовали и ждали.

Монархия — сильная система, но с монархом не слишком слабым.

Быть христианином на троне — да, — но не до забвения деловых обязанностей, не до слепоты к идущему развалу.

В русском языке есть такое слово *зацáриться.* Значит: забыться, царствуя.

Парады, ученья, парады любимого войска и цветочные киоски для императрицы на гвардейских смотрах — заслоняли Государю взгляд на страну.

Всё царствование Николая II состоит как бы из двух повторенных кругов, каждый по 11 лет. И в пределах каждого круга он имел несчастный дар свести страну из твёрдого процветающего положения — на край пропасти: в октябре 1905 и в феврале 1917. Все споры российские теперь кипят о втором круге — а ведь в первом всё это уже случилось. В своём дремотном царствовании, когда бездействие избирается удобнейшей формой действия, наш роковой монарх дважды поспешествовал гибели России. И это — при лучших душевных качествах и с самыми добрыми намерениями!

После первого гибельного круга послан был ему Богом Столыпин. Единожды в жизни Николай остановил свой выбор не на ничтожестве, как обычно, а на великом человеке. Этот великий человек вытянул из хаоса и Россию, и династию, и царя. И этого великого человека Государь не вынес рядом с собою, предал.

Сам более всех несчастный своею несилой, он никогда не осмеливался ни смело шагнуть, ни даже смело выразиться. Не то чтобы гнуть по-петровски, но не мог и, как прадед его Николай, входить самому в холерный бунт — и давить, и после холерного госпиталя в поле сжигать свою одежду до белья. В начале германской войны только и мог он бледно повторить Александра I: «не положу оружия, пока

последний вражеский солдат...», а не тряхнуть, как тот: «Скорее бороду отпущу и уйду в Сибирь!» Или как Александр III: «за единственного друга России князя Николая Черногорского!» — вот каковы мы крепки душой! Может быть все предшествующие цари романовской династии были нравственно ниже Николая II, — и конечно Пётр, топтавший народную душу, и себялюбивая Екатерина, — но им отпустилось за то, что они умели собою представить необъятную силу России. А кроткий, чистый, почти безупречный Николай II, пожалуй, более всего напоминая Фёдора Иоанновича, — не прощён тем более, чем, не по месту, не по времени, был он кротче и миролюбивей.

Его обнажённую переписку с женой кинули под ноги миллионам (с кем поступила судьба безжалостней?), и мы лишены возможности не прочесть: «Не надо говорить — у меня крошечная воля. Ты просто чуть-чуть слаб и не доверяешь себе... и немножко склонен верить чужим советам.»

В его нецарской нерешительности — главный его порок для русского трона. В таком же непримиримом конфликте с образованным обществом можно было стоять скалою, а он дал согнуть себя и запугать. Не признаваясь, он был внутренне напуган и земством, и Думой, Прогрессивным блоком, либеральной прессой, и уступал им — то само́ своё самодержавие (осенью 1905), то любимых своих министров одного за другим (лето 1915), всё надеясь задобрить ненасытную пасть, — и сам загнал себя в положение, когда не стало кого назначить. Он жил в сознании своей слабости против образованного класса — а это уже была половина победы будущей революции. В августе 1915 он раз единственный стянул свою волю против всех — и отстоял Верховное Главнокомандование, — но и то весьма сомнительное достижение, отодвинувшее его от государственного руля. И на том — задремал опять, тем более не выказывал уменья и интереса управлять энергично самою страной.

Отстоял себя, против всех, Верховное Главнокомандование, — так хотя бы им-то воспользовался в судьбоносные дни! К этим-то дням как раз оно прилегло — лучше не придумать! Его отъезд из Царского Села случайно как раз накануне волнений — не верней ли и понять как Божье дозволение: добраться до Ставки, до силы, до власти? до узла связи, до узла всех приказаний? Нельзя было занять более выгодной позиции против начавшейся петроградской революции!

К вечеру 27 февраля она была выиграна в Петрограде — но только в нём одном. Вся огромная Россия оставалась неукоснительно подчинена своим начальникам и никакой революции ниоткуда не ждала. Вся армия стояла при оружии, готовая выполнить любой ясный замысел своего вождя.

И такой замысел в ту ночь как будто начал осуществляться: посылка фронтовых полков на мятежный запасной небоеспособный гарнизон. Военный успех операции не вызывал сомнений, и было много полков, совсем не доступных агитации разложения, — как не тронулся ж ею Тарутинский полк, уже достигший цели. (Да он в одиночку, пожалуй, если б им руководили, мог осуществить и весь план.)

Но даже и в таком масштабе операция подавления не была необходима. Чтобы петроградские уличные волнения приобрели бы значение общероссийской революции, всего-то надо было: чтобы Россия не перестала эти волнения кормить хлебом, а они Россию — агитацией. Едва сбродился первый случайный состав Совета рабочих депутатов — его первой заботой было: восстановить железнодорожное движение между Москвой и Петроградом. Здесь было их слабое место! — сюда и надо было бить! (Как и предлагал генералу Мрозовскому полковник Мартынов.) Вообразим зоркую и решительную власть: как просто и коротко она бы блокировала этот дальний, уже сам собой невыгодно отрезанный болотный пункт, — совсем не надо и посылать в петроградское кипение никаких войск: отсоединить телеграфные линии, на четырёх

железных дорогах вынуть по несколько рельсов и на эти места поставить 4 отряда из верных войск — да 444 было таких у Ставки, — и никогда бы жалкие запасники, ещё достаточно и оторвавшись от города, не посмели бы атаковать стреляных, атаковав же — проиграли бы. А чуть-чуть затем изменись положение, стань в Петрограде вместо фунта хлеба — полфунта, затем и четвертушка, — и все эти расхлябанные, необученные да и невооружённые запасные батальоны с такой же лёгкостью отъединились бы от революции, как они к ней присоединились. Верховный Главнокомандующий был вправе объявить *вне закона* мятежный город в военное время — и быстро бы пересохли глотки у ораторов, они бы кинулись через финскую границу, а не толкали бы в Действующую армию «приказ № 1».

Правда, и армия жила без продовольственных запасов и зависела целиком от подвоза, — но ей-то никто не мог перерезать.

1 марта «Известия» Совета писали: предстоят ещё жестокие схватки между народом и старой властью. Так уверены были все.

А уже — ничего не предстояло: что промелькнуло, не начавшись, — оно и было в с ё.

Сказать, что Государь, находясь и в Ставке, не был подлинным распорядителем своей армии? Что и в Могилёве (как и в Царском) он поставил себя так, что не мог принять великих смелых решений? Был связан и косностью своих штабных и немым сопротивлением главнокомандующих фронтами?

Да, на всех этих местах — не состояли лучшие генералы, самые верные. Николай II не имел таланта угадывать верных, держать их и сам быть им последовательно верным. Потому и пришлось ему написать — «кругом измена, и трусость, и обман», что он органически не видел верных и храбрых, не умел их позвать. Так и вся его дюжина свиты была как подобрана по безликости и бездарности. Для чего содержится свита? — неужели для заполнения пустого пространства, а не для совета и помощи в трудную

минуту? (А Конвой? Что ж за верность оказалась у Конвоя? Тот десяток терских казаков, в своих страшных туземных папахах, побредший на всякий случай отмечаться у Караулова в Думе — зачем они пошли? Просто испугались... Да и все четыре сотни Конвоя после вековой парадной и почётной охраны императоров — как быстро скисли: царскосельские — надели белые повязки, выбрали комитет...)

Однако пока Государь оставался в Ставке — Алексеев покорно выполнил распоряжение о посылке войск и не смел сам искать государственного выхода. Останься Государь и далее в Ставке — посланные войска неуклонно шли бы на Петроград, и никто не запрашивал бы у главнокомандующих мнения их о необходимости царского отречения.

Ото всего того произошло бы вооружённое столкновение в Петрограде? Если бы восставшие не разбежались — да. Но отдалённейше не было бы оно похоже на трёхлетнюю кровавую гражданскую войну по всем русским просторам, чекистский бандитский разгул, тифозную эпидемию, волны раздавленных крестьянских восстаний, задушенное голодом Поволжье — и полувековой адовый скрежет ГУЛАГа потом.

Измени, отклонись, пошатнись все высшие военачальники? — Государь мог уехать в иное верное место: в армию Гурко, в гущу расположения своей гвардии, на передовую линию, — из этого твёрдого верного окружения сохраняя возможность проявить свою волю стране.

Наконец, если рок характера — колебаться, — проколебался бы Государь ещё двое-трое суток. Выиграй он ещё три дня — и до Северного фронта дошёл бы советский «приказ № 1» — и те же самые генералы вздрогнули бы перед бездной — и сами удержали бы царя от отречения. Но нет, в *этом* колебании Государь был быстротечнее, чем когда-либо. Едва услышал об опасности своей семье — и бросил армию, бросил Ставку, бросил пост Верховного — и помчался к семье.

Снова признак чистого любящего сердца. Но какому историческому деятелю его слабость к своей семье зачтена в извинение? Когда речь идёт о России — могли б и смолкнуть семейные чувства.

Наконец, семью и при больных детях можно было вывезти из Царского Села энергично: автомобили быстрые, вагоны тёплые и удобные, и конвоя достаточно.

Оправдать, что Государь просто н е з н а л, не понимал, что происходит в Петрограде, не охватывал масштабов? Да, настолько не знал, насколько бездарных и нечестных министров сам поставил. Но и настолько знал уже, что послал на усмирение восемь полков.

Нет, император завороженно покинул свою лучшую, единственно верную позицию — и безвольно поехал всё в ту же удавку, из которой так вовремя ускользнул, — под самую лапу революционного Петрограда.

Вяло поплыл, не напрягая ни воли, ни власти, — а как плывётся, путь непротивления. Даже грозной телеграммы по всем железным дорогам, как Бубликов, он не нашёлся послать с пути.

Окунулся в поездку — и потерял последнее знание о событиях — уже и вовсе не знал ничего.

Через незнание, через немоту, через ночь, через глушь, меняя маршруты, — к семье! к семье! к семье! Такое бы упорство — да на лучших направлениях его царствования!

Кстати, Любань никакими революционными войсками не была занята, никто не перегораживал царю дорогу, — а просто местная запасная часть, пользуясь наступившей свободой, разгромила станционный буфет, вот и всё. Естественный эпизод для такой обстановки, в какую царственным особам не следует много путешествовать.

Жалкий рыск заплутавшихся царских поездов на другой день объявляли толпе под смех — и в Таврическом, и у московской городской думы. Ещё будут и врать свободные газеты, не стеснённые уже ничем, что царский поезд был задержан искусственным

крушением, паровозы испорчены пролетариями-смазчиками. Еще будет декламировать Керенский, что героические железнодорожники помогли изловить царя.

Но как ни объясняй — красиво не объяснишь.

И вот — император дослал и загнал сам себя в полувраждебную псковскую коробочку. И что ж он обдумывает эти сутки? — как бороться за трон? Нет, лишь: отдавать ли в чужие руки больного сына? Трон — он сразу готов отдать без боя, он не подготовлен бороться за него.

Та же вдруг чрезмерная податливость, как и 17 октября 1905: внезапно уступить больше, чем требует обстановка.

Он даже не вспомнил в эти сутки, что в его империи существуют свои основные законы, которые *вовсе* не допускали никакого *отречения* царствующего Государя (но, по павловскому закону: лишь престолонаследник мог отречься заранее — и то «если засим не предстоит затруднения в наследовании»). И сугубо не мог он отрекаться ещё и за наследника. Где, кто, по какому вообще закону может отречься от каких-либо прав за несовершеннолетнего? Николай II не понимал закона, он знал только своё отцовское чувство. Было бы грубо, а заметить можно и так: кто же выше — сын или русская судьба? сын или престол? Для чего держали Распутина: сохранить наследника для престола или сына для мамы? Раздражили всё общество, пренебрегли честью трона — для устойчивости династии? или только по родительским чувствам? Если только берегли сына для родителей, то всей семье надо было уходить на отдых десятью годами раньше. А если — наследника для престола, так вот и достигнута вершина того хранения? И вдруг обратился цесаревич просто в сына? (Но низко было со стороны Милюкова упрекнуть, что через сына хотели прицепиться и вернуться к трону: вот уж — бесхитростно.)

А сам Алексей, несовершеннолетний, и права бы не имел в том году отречься, как легко сделал Миха-

ил. И Родзянке и думскому Комитету не оставалось наотрез ничего другого, как поддерживать наследника. А так как Совет депутатов не был готов к революционной атаке, то монархия бы и сохранилась, в пределах конституционной реформы. Но береженьем столь многобережёного сына Николай толкнул монархию упасть.

И права не имел он передавать престол Михаилу, не удостоверясь в его согласии.

А выше государственных законов: он тем более не имел права на отречение в час великой национальной опасности.

А ещё выше: он всю жизнь понимал своё царствование как помазанье Божье — так и не сам же мог он сложить его с себя, а только смерть.

Именно потому, что волю монарха подданные должны выполнять беспрекословно, — ответственность монарха миллионно увеличена по сравнению со всяким обычным человеком. Ему была вверена эта страна — наследием, традицией и Богом — и уже поэтому он отвечает за происшедшую революцию больше всех.

В эти первомартовские дни его главным порывом было — семья! — жена! — сын! Доброму семьянину, пришло ли в голову ему подумать ещё о миллионах людей, тоже семейных, связанных с ним своей присягою, и миллионах, некрикливо утверженных на монархической идее?

Он предпочёл — сам устраниться от бремени.

Слабый царь, он предал нас.

Всех нас — на всё последующее.

Побегом Верховного Главнокомандующего из Ставки генерал Алексеев был возвышен как бы в верховные судьи тому. Он от болезни ещё полусидел за столом, он был только начальник штаба, — но все военные силы России на главные дни петроградской революции — а значит вся историческая судьба российского государства — были покинуты на него

одного бесконтрольно, безответно, безусловно. Оставим ли этому генералу одну военную объективность? Или признаем, что на его суждения и решения в неподготовленной роли влияли и общественные симпатии и личные заблуждения?

Мы видели, как Алексеев через Родзянку втянулся в прямые переговоры с мятежной столицей и дал убедить себя и сделать себя орудием свержения с трона (вероятно, в ложной надежде, что так государственная перетряска пройдёт всего быстрей и безболезненней для Действующей Армии) — хотя для военного человека во главе семимиллионной перволинейной армии не мог быть закрыт другой путь: не склонять главнокомандующих к государеву отречению, а вызвать Родзянку к себе, а то и по телеграфу продиктовать Петрограду ультиматум — и даже не возникло бы малой междоусобицы, цензовые круги присмирели бы тотчас, разве похорохорился бы недолго Совет депутатов, перед тем как разбежаться. Однако невозместимые двое суток, с полуночи 1 марта, Алексеев пробыл под обаянием столичного вещуна, искренне веря, что тот — личность и в Петрограде реально у власти, едва ли не президент.

Но какова б ни была доля личной ошибки — одна она не могла бы заслонить военного долга, да ещё и у всех остальных ведущих генералов. Поздние монархисты (сами, однако, не поднявшие защитного меча) более всего обвиняют главнокомандующих, что они обманули и предали доверчивого Государя, пока тот спал на псковском вокзале. Действительно, кому ж, как не первым генералам, должна была быть ясна и обязательна служебная верность — уж им ли не понимать, что без верности и в собственных их руках рассыпется армия (что и случилось)! Но в той же Ставке монархист Лукомский вполне был согласен с Алексеевым. А Рузский охотно взял на себя главную долю убеждения и ломки Государя.

Всегда такой оглядчивый, сдержанный, терпеливый Алексеев — не в ночном бреду, но в утренней

ясности, не проверив никак: а что на самом деле происходит в столице? не задумавшись: что будет с армией, если неподчинение разжечь на самой её верхушке? — подписал фантастическую телеграмму, призывающую генералов переступить свою генеральскую компетенцию и судить о судьбах императорского трона. В помрачении утянулся, не видя, что совершает прямую измену своему воинскому долгу. Обгонял даже желания Родзянки, который и не выразил к нему такой просьбы.

И Брусилов спешит к перевороту с опережающей угодливостью (много ра́з потом проявленной). Эверт — как будто не с охотой — но и не с сопротивлением же — подчиняется. Сахаров — почти упёрся, почти отказал, — но, душу отведя в негодовании, тут же сдался и присоединился. Николай Николаевич действует в давнем династическом комплексе и с обычной недальновидностью (показав себя таким же дутым глупцом, как и Родзянко). Непенин — даже рвётся навстречу желаемой революции. Колчак — презрительно промолчал на запрос Алексеева, но и не встал же на защиту трона ничем. Генералов пониже (не то чтобы полковника Врангеля) не спрашивали. Когда прорвалось от Хана Нахичеванского случайным свидетельством: «Прошу не отказать повергнуть к стопам Его Величества безграничную преданность гвардейской кавалерии» — телеграмму эту Рузский положил в карман.

И что пишут Главнокомандующие? О «предъявленных требованиях» — не заметив: кто же их предъявлял? «Спасти железные дороги» — позавчера самим Алексеевым добровольно отданные Бубликову. О «петроградском Временном Правительстве» — которое ещё в те часы не существовало (и никогда не будет властью). «Спасти Армию» — спасти 13 армий, 40 корпусов — от десятка необученных запасных батальонов! В северо-западном уголке страны вздыбилось сумрачное творение Петра — и чтобы «спасти» 7-миллионную боевую армию от искушения изменить присяге, — им, Главно-

командующим, теперь следовало первым поспешить изменить собственной присяге!

Такое единое согласие всех главных генералов нельзя объяснить единой глупостью или единым низменным движением, природной склонностью к измене, задуманным предательством. Это могло быть только чертою общей моральной расшатанности власти. Только элементом всеобщей образованной захваченности мощным либерально-радикальным (и даже социалистическим) Полем в стране. Много лет (десятилетий) это Поле беспрепятственно струилось, его силовые линии густились — и пронизывали, и подчиняли все мозги в стране, хоть сколько-нибудь тронутые просвещением, хоть начатками его. Оно почти полностью владело интеллигенцией. Более редкими, но пронизывались его силовыми линиями и государственно-чиновные круги, и военные, и даже священство, епископат (вся Церковь в целом уже стояла бессильна против этого Поля), — и даже те, кто наиболее боролся против Поля: самые правые круги и сам трон. Под ударами террора, под давлением насмешки и презрения — эти тоже размягчались к сдаче. В столетнем противостоянии радикализма и государственности — вторая всё больше побеждалась если не противником своим, то уверенностью в его победе. При таком пронизывающем влиянии — всюду в аппарате государства возникали невольно-добровольные агенты и ячейки радикализма, они-то и сказались в марте Семнадцатого. Столетняя дуэль общества и трона не прошла вничью: в мартовские дни идеология интеллигенции победила — вот, захватив и генералов, а те помогли обессилить и трон. Поле струилось сто лет — настолько сильно, что в нём померкало национальное сознание («примитивный патриотизм») и образованный слой переставал усматривать интересы национального бытия. Национальное сознание было отброшено интеллигенцией — но и обронено верхами. Так мы шли к своей национальной катастрофе.

Это было — как всеобщее (образованное) состоя-

ние под гипнозом, а в годы войны оно ещё усилилось ложными внушениями: что государственная власть не выполняет национальной задачи, что довести войну до победного конца невозможно при этой власти, что при этом «режиме» стране вообще невозможно далее жить. Этот гипноз вполне захватил и Родзянку — и он легкомысленно дал революции имя своё и Государственной Думы, — и так возникло подобие законности и многих военных и государственных чинов склонило не бороться, а подчиниться. Называлось бы с первых минут «Гучков-Милюков-Керенский» или даже «Совдеп» — так гладко бы не пошло.

Их всех — победило Поле. Оно и настигло Алексеева в Ставке, Николая Николаевича в Тифлисе, Эверта в Минске, штаб Рузского и самого Государя — во Пскове. И Государь, вместе со своим ничтожным окружением, тоже потерял духовную уверенность, был обескуражен мнимым перевесом городской общественности, покорился, что сильнее кошки зверя нет. Оттого так покато и отреклось ему, что он отрекался, кажется, — «для блага народа» (по́нятого и им по-интеллигентски, а не по-государственному). Не в том была неумолимость, что Государь вынужден был дать подпись во псковской коробочке — он мог бы ещё и через день схватиться в Ставке, заодно с Алексеевым, — но в том, что ни он и никто на его стороне не имел уверенности для борьбы. Этим внушённым сознанием мнимой неправоты и бессилия правящих и решён был мгновенный успех революции.

Мартовское отречение произошло почти мгновенно, но проигрывалось оно 50 лет, начиная от выстрела Каракозова.

А в ближайшие следующие дни силовые линии Поля затрепетали ещё побе́дней, воздух стал ещё угарней. И когда поворотливая петроградская газета с банковским фундаментом и интеллектуальным покрытием спросит генерала Рузского:

— Мы имеем сведения, что Свободная Россия

обязана вам предотвращением ужасного кровопролития, которое готовил низложенный царь. Говорят, он приехал к вам убедить вас, чтобы вы послали на столицу несколько корпусов? —

общественный воздух уже окажется настолько раскалён, все громкости поднимутся в цене, а скромности упадут, — генерал Рузский, чтобы не вовсе затереться в уничижении, *улыбнулся и заметил:*

— Если уж говорить об услуге, оказанной мною революции, то она *даже больше той.* Я — убедил его отречься от престола.

Генерал Рузский торопил, торопил на себя подножье пятигорского Машука с чекистами — свой шашечный переруб на краю вырытой ямы...

Если надо выбрать в русской истории роковую ночь, если была такая одна, сгустившая в несколько ночных часов всю судьбу страны, сразу несколько революций, — то это была ночь с 1 на 2 марта 1917 года.

Как при мощных геологических катастрофах новые взрывы, взломы и скольжения материковых пластов происходят прежде, чем окончились предыдущие, даже перестигают их, — так в эту русскую революционную ночь совместились несколько выпереживающих скольжений, из которых единственного было достаточно — изменить облик страны и всю жизнь в ней, — а они текли каменными массами все одновременно, да так, что каждое следующее отменяло предшествующее, лишало его отдельного смысла, и оно могло хоть бы и вовсе не происходить. Скольжения эти были: переход к монархии конституционной («ответственное министерство») — решимость думского Комитета к отречению *этого* Государя — уступка всей монархии и всякой династии вообще (в переговорах с Исполнительным Комитетом СРД — согласие на Учредительное Собрание) — подчинение ещё не созданного правительства Совету рабочих депутатов — и подрыв этого правительства

(да и Совета депутатов) отменой всякого государственного порядка (реально уже начатой «приказом № 1»).

Пласты обгоняли друг друга катастрофически: царь ещё не отрёкся, а Совет депутатов уже сшибал ещё не созданное Временное правительство.

Пока император, уступив ответственное министерство, спал, а главнокомандующие генералы телеграфно столковывались, как стеснить его к отречению, и всем им это казалось полным исчерпанием русских проблем, — думские лидеры, прокатясь на смелости запасных волынцев, осмелевшие от трёх суток полного несопротивления властей, уже решились на создание своего правительства — без всякого парламента, без народного одобрения и без монаршего согласия. Деятели Февраля были упоены пробившим часом победы. И хотя они спешили вырвать отречение царя, не надеясь на то после войны, но ещё более спешили углубить отречение бесповоротным разрывом со старым порядком, отказом принять своё назначение от старой власти, реставрации которой только и боялись одной. (Во всякой революции повторяется эта ошибка: не продолжения боятся, а реставрации.) Временное правительство возникало вполне независимо от царского отречения или неотречения: если бы Николай II в тот день и не отрёкся — Временное правительство всё равно возгласило бы себя в 3 часа дня 2 марта. (По игре судьбы Милюков поднялся на возвышение в Екатерининском зале на 5 минут раньше, чем Государь во Пскове взял ручку для подписи своего первого дневного отречения.) И членам нового правительства такое действие казалось исчерпанием революции.

Февральские вожди и думать не могли, они не успели заметить, они не хотели поверить, что вызвали другую, настигающую революцию, отменяющую их самих со всем их столетним радикализмом. На Западе от их победы до их поражения проходили эпохи — здесь они ещё судорожно сдирали корону

передними лапами — а уже задние и все туловище их были отрублены.

Вся историческая роль февралистов только и свелась к тому, что они не дали монархии защититься, не допустили её прямого боя с революцией. Идеология интеллигенции слизнула своего государственного врага — но в самые же часы победы была подрезана идеологией советской, — и так оба вековых дуэлянта рухнули почти одновременно.

Ещё накануне ночью цензовые вожди согласились на зависимое положение: согласились быть правительством призрачным ещё прежде, чем сформировались. Монархия окончила существование всё же 3 марта, а Временное правительство не правило и ни часа, оно правило *минус* два дня: оно было свергнуто ещё в ночь на 2 марта непереносимыми «восемью условиями» Исполкома Совета — и даже ещё вечером 1-го, когда в прокуренной 13-й комнате несколько третьесортных интеллигентов и второсортных революционеров не сопротивились печатанью «Приказа № 1», выбивающего всякую опору не только из-под лакированных ботинок новых министров.

И этим подвижным успешливым суетунам из Совета тоже мнилось — основательное решение проблем страны.

В пользу кого ж отрекалась династия? Кто же стал новой Верховной Властью? Комитет (самозванный) Государственной Думы? — но жадное к власти Временное правительство уже оттеснило его. Само Временное правительство? — но оно могло стать всего лишь исполнительной властью, да и ни часу не стояло на своих ногах.

И получается, что Николай II, для блага России, отрёкся в пользу Исполнительного Комитета Совета рабочих и солдатских депутатов — то есть шайки никем не избранного полуинтеллигентского полуреволюционного отребья.

Но в «приказе № 1» и в бесшабашности петроградских запасных, не желающих на фронт, — уже

таилось и отречение Совета в пользу большевизма.

В ночь с 1 на 2 марта Петроград проиграл саму Россию — и больше чем на семьдесят пять лет.

III. ГДЕ РЕВОЛЮЦИЯ

(3—9 марта 1917)

В отречении Михаила мы наблюдаем ту же душевную слабость и то же стремление *освободиться* самому. Даже внешне похожи действия братьев: почти в тех же часах, как сорвался Николай в путешествие к супруге, — пустился и Михаил в Петроград по навязчивой воле Родзянки. (А и в Гатчине вместо фронта тоже оказался императорский брат по любви к передышке, побыть с женой между двумя служебными должностями.) И так же, как Николай во Пскове, Михаил на петроградской квартире лишился свободы движения. И так же в западне был вынужден к отречению — да отчасти чтоб и скорей повидать любимую умницу-жену.

Временное правительство позаботилось о глухоте западни: если бы в ночь на 3 марта не задержали первого манифеста и уже вся страна и армия знали бы, что Михаил — император, — потекло бы что-то с проводов, донёсся бы голос каких-то молчаливых генералов, Михаила уже везде бы возгласили, в иных местах и ждали б, — и он иначе мог бы разговаривать на Миллионной.

А сторонник монархии военный министр Гучков не догадался, как Алексеев накануне, запросить *совета* всех главнокомандующих. Да ведь ещё не опомнился от своей престижной поездки во Псков и от своего опасного хвастовства в железнодорожных мастерских.

Михаил не более думал о борьбе за трон, не более порывался возглавить сопротивление армии, чем его старший брат. А между тем уже 3 марта с утра Алексееву стало тошно проясняться, что́ он наделал.

А днём он искал этих петроградских политиков к телеграфу, да представить не мог, что в эти часы они уже отрекают и Михаила. Прибудь Михаил в Могилёв, — конечно, Алексеев подчинился бы ему.

Да в самом Петрограде никто не догадался кликнуть военные училища, — их было несколько тысяч готовной молодёжи, и они могли бы решить дело. Но на это смелость нужна была — гражданская, не та, что в картинной кавалерийской общей атаке, где Михаил был безупречен.

Сколько могло быть добровольцев из молодёжи — показала Гражданская война. А в марте Семнадцатого — ещё и вся Действующая Армия стояла — наготове и управляемая. Но династия покинула престол, даже не попытавшись бороться за Россию.

И Михаилом, и всеми собравшимися на Миллионной, и монархистами среди них — всеми владел обманный параллакс, сдвиг зрения: из-за бушующей петроградской толпишки они не видели (кто и не хотел видеть) нетронутого массива России.

Николай в дневнике удивлялся: «Мишин манифест кончается четырёххвосткой для выборов Учредительного Собрания. Бог знает, кто надоумил его подписать такую гадость.»

Как будто в собственном его отречении есть меньше, чему удивиться.

Правда, и свободолюбивое Временное правительство в эти дни перехватывало телеграммы между братьями, не давая им снестись, прикоснуться друг ко другу. Но даже зря хлопотали: телеграммы не несли ни понимания, ни поддержки. Михаил, «забыв всё прошлое», то есть судьбу своей женитьбы, просил брата «пойти по пути, указанному народом». (Где он увидел народ?) Николай, ещё содержательней, просил прощения, что *огорчил* брата (своим отречением), что не успел предупредить, зато навсегда останется преданным братом и скоро приедет в Царское Село. Ни в телеграммах, ни в разъединении не соединило братьев монархическое правосознание.

В отречении Михаила ещё меньше понимания сути дела: насколько он владел престолом, чтоб отрекаться от него? Образованные юридические советники, звёзды кадетской партии, Набоков и Нольде, выводили ему красивым почерком: «впредь до того, как Учредительное Собрание своим решением об образе правления...» — а он доверчиво, послушно подписал. (И какое такое Учредительное Собрание он мыслил во время войны?)

Василий Маклаков, чья отточенная юридическая проницательность ещё обострилась тем, что он с первого дня был отведен прочь от Временного правительства, увидел так: «Странный и преступный манифест, которого Михаил не имел права подписывать, даже если бы был монархом... Акт безумия и предательства.»

Совершенно игнорируя и действующую конституцию, и Государственный Совет, и Государственную Думу, без их согласия и даже ведома — Михаил объявил трон вакантным и своею призрачной властью самочинно объявил выборы в Учредительное Собрание, и даже предопределил форму выборов туда! — а до того передал Временному правительству такую абсолютную власть, какою не обладал и сам. Тем самым он походя уничтожил и парламент и основные законы государства, всё отложив якобы на «волю великого народа», который к тому мигу ещё и не продремнулся, и не ведал ничего.

Ведóмый своими думскими советчиками, Михаил не проявил понимания: где же граница личного отречения? Оно не может отменять форму правления в государстве. Отречение же Михаила оказалось: и за себя лично, и за всю династию, и за самый принцип монархии в России, за государственный строй её. Отречение Николая формально ещё не было концом династии, оно удерживало парламентарную монархию. Концом монархии стало отречение Михаила. Он — хуже чем отрёкся: он загородил и всем другим возможным престолонаследникам, он передал власть аморфной олигархии. Его отречение и пре-

вратило смену монарха в революцию. (То-то так хвалил его Керенский.)

Именно этот Манифест, подписанный Михаилом (не бывшим никогда никем), и стал единственным актом, определившим формально степень власти Временного правительства, — не могли ж они серьёзно долго держаться за фразу Милюкова, что их избрала революция, то есть революционная толпа. Также и назначение Львова Николаем Вторым они не хотели признать. Безответственный манифест Михаила и стал как бы полной конституцией Временного правительства. Да ещё какой удобной конституцией: трон, то есть Верховная власть — упразднялась и не устанавливалось никакой другой, значит: Временное правительство помимо власти исполнительной становилось также и Верховной властью. Как будто оставалась ещё законодательная власть, то есть Государственная Дума (и Государственный Совет)? Но хотя именно в эти дни слова «Государственная Дума» порхали над Петроградом и были несравненно популярны — на самом деле Дума уже потеряла всю власть, да и перестала существовать. С первого же своего шага Временное правительство отшвырнуло и убило Думу (и тем более — Государственный Совет) — тем самым захватило себе и законодательную власть. (Короткие часы ему казалось, что оно прочно удержится на соединённом энтузиазме общества и народа.)

Бóльшего беззакония никогда не было совершено ни в какое царское время: любая «реакция» всегда опиралась на сформулированный и открыто объявленный закон. Здесь же похищались все виды власти сразу — и необъявленно. При царе сколько было негодований, что открытыми указами производились перерывы в занятиях законодательных палат! — но блеснула *эта* свобода, и законодательные палаты распустили одним ударом, беспрепятственно и навсегда.

О, как ждали годами и прорицали *ответственное* министерство — ответственное не перед каким-то

там монархом, но перед народом! Наступила эра свободы — и те самые излюбленные «лучшие люди народа» создали министерство, вкруговую безответственное, не ответственное вообще ни перед кем: они захватили в одни свои руки и Верховную власть, и законодательную, и исполнительную. (Да и судебную.) Тут — больше, чем прежнее Самодержавие.

И можно было бы сказать, что они стали новыми диктаторами или самодержцами, если бы из слабых своих рук они тут же не разронили всю эту власть — на мостовую, Совету рабочих депутатов или кто вообще захочет. Перед совдепом правительство сразу же связало свои руки восемью условиями, — а взамен за них не получило никакой поддержки Исполнительного Комитета — только ту, что он пока правительство не свергал, но даже и свергал, на каждом шагу действуя помимо него, против него и нанося удары по его авторитету. Совдеп стремительно разваливал армию — но вопрос о сохранении её даже не всплыл в протоколах правительства. Зато серьёзно обсуждалось, как сохранить верность союзникам, зато угодливо приглашали делегатов совдепа проверять расходование правительственных финансовых средств.

Так и с судьбой Государя. Достаточно было совдепу цыкнуть — и всевластное правительство проявило решительную твёрдость в аресте царя, — а почему, собственно? Царь добровольно отрёкся и именно этому правительству пытался преемственно передать власть — уже это, казалось бы, морально обязывало правительство по отношению к бывшему монарху. Можно было ограничить его местожительство — в тот момент ни газеты, ни петиции не требовали бóльшего, — но зачем арест? Защитить царя решётками от гнева и расправы масс? Но такого народного движения — к расправе — нигде и никем проявлено не было.

Так только — угодить совдепу? Пожалуй не только. Временное правительство после трёх дней своего горевого царствования уже стало опасаться

морального сравнения себя с царём? Свергнутый, но вольный в жизни царь становился мозолью именно правительству. Это сознание проявилось у министров быстро. Уже 6 марта Некрасов дал знать Чхеидзе, что Временное правительство не возражает против ареста царя и даже поможет в нём. На частных переговорах министров, где стержнем был Керенский, арест был, очевидно, решён уже 5 марта, поскольку 6-го Керенский уже посылал искать место заключения для царской семьи. (Предполагалась Осиновая Роща, имение Левашовой, в сторону Карельского перешейка.) 7-го он поехал в Москву и произносил красивые слова о милосердии, а в самом червилось спиралью огненно-революционное нетерпение: доказать на следствии измену царя и затем судить его — какая будет крылатая аналогия с Великой Французской!

В своё время царь не арестовал ни Керенского, ни Гучкова, ни кого из них, считая невозможным арестовывать политических деятелей. Но, обратно, арестовать царя, добровольно отдавшего корону, чтоб только избежать междоусобицы, — никому из них не показалось возмутительно, а всех радостно насытило. В своё время царь не накладывал запрета на самые поносные речи радикалов — теперь, в эпоху свободы, правительство из либералов-радикалов запретило даже прощальное слово Верховного Главнокомандующего, где он призывал армию служить этому же правительству и эту же войну против Германии продолжать.

Боялись напомнить и вспомнить, что этот царь, напротив, был слишком верен этой войне, на погибель России и себе?..

А кроме ареста беззащитного царя мы более не обнаружим нигде никаких признаков твёрдости Временного правительства. По нескольку лет они знали себя в списках подготавливаемого кабинета — а никто не готовил себя делово к этой роли, и, например, никто не подумал: а какова же будет структура власти? Только захватив теперь центральную

власть, вспомнили, что ещё должны существовать власти местные, — и как теперь быть с ними? Анекдотический премьер и анекдотический министр внутренних дел князь Львов нашёл выход в том, чтобы единым ударом разрушить всё местное самоуправление и не оставить местных властей (а они уже и от самого отречения падали, их только чуть дотолкнуть):

«...а назначать никого не будем. На местах выберут. Такие вопросы должны разрешаться не из центра, а самим населением. Будущее принадлежит народу, выявившему в эти исторические дни свой гений. Какое великое счастье жить в эти великие дни!»

Святой Народ сам разберётся.

В осточертелом головокружении Временное правительство поспешно уничтожало по всей России всякую администрацию. Одномоментно была разогнана вся наружная полиция, вся секретная полиция, перестала существовать вся система министерства внутренних дел — и уже по-настоящему никогда не восстановилась. (До большевиков.) И это всё сделали не большевики и не инспирировали немцы — это всё учинили светлоумые российские либералы.

Сердитый на них Бубликов (за то, что не дали ему министерства) справедливо писал о них: это не министерский кабинет, а семинарий государственного управления: все — новички в деле, все — учатся, все умеют только речи говорить.

Для всей *думающей* российской интеллигенции общепризнанным местом было — поражаться ничтожеству нашего последнего императора. Но не паче ли тогда изумиться ничтожеству первого измечтанного этой интеллигенцией *правительства народного доверия*? Столько лет надсаживались об этих людях, «облечённых доверием всего народа», — и кого же сумели набрать? Вот наконец «перепрягли лошадей во время переправы» — и что же? кого же?..

Открытки с дюжиной овальчиков «Вожди России» спешили рекламировать их по всей стране.

Размазню князя Львова «Сатирикон» тогда же изобразил в виде прижизненного памятника самому себе «за благонравие и безвредность». Милюков — окаменелый догматик, засушенная вобла, не способный поворачиваться в струе политики. Гучков — прославленный бретёр и разоблачитель, вдруг теперь, на первых практических шагах, потерявший весь свой задор, усталый и запутлявший. Керенский — арлекин, не к нашим кафтанам. Некрасов — зауряд-демагог, и даже как интриган — мелкий. Терещенко — фиглявистый великосветский ухажор. (Все трое последних вместе с Коноваловым — тёмные лошадки тёмных кругов, но даже нет надобности в это вникать.) Владимир Львов — безумец и эпилептик (через Синод — к Союзу воинствующих безбожников). Годнев — тень человека. Мануйлов — шляпа, не годная к употреблению. Родичев — элоквент, ритор, но не человек дела (да не задержался в правительстве и недели). И достоин уважения, безупречен серьёзностью и трудолюбием один только Шингарёв (не случайно именно его и поразит удар ленинского убийцы), — но и он: земский врач, который готовился по финансам, вёл комиссию по обороне, а получил министерство земледелия!.. — круглый дилетант.

Вот — бледный, жалкий итог столетнего, от декабристов, «Освободительного движения», унесшего столько жертв и извратившего всю Россию!

Так Прогрессивный блок — только и рвался, что к власти, не больше?..

Они растерялись в первую же минуту, и не надо было полной недели, чтоб сами это поняли, как Гучков и признался Алексееву. Когда они прежде воображали себя правительством — то за каменной оградой монархии. А теперь, когда Россия осталась без всякого порядка и, естественно, начинала разминаться всеми членами, — теперь они должны были поворачиваться как на пожаре, — но такими скоро-

стями и такой сообразительностью не владели они. (Да эти бешеные ускорения немыслимы были для мозгов старого времени — ни для царских министров, ни для *временных*, ни даже для половины совдепского исполкома.)

Все протоколы этого правительства, если смерить их с порой, — почти на уровне анекдота. И только накатывается через них уже угадываемая Шингарёвым продовольственная реформа — куда круче, чем критикованная им же у Риттиха за крутость, — и через которую мы начинаем уже с мурашками угадывать большевицкие продотряды.

Была ли она стихийная? Почему она такая лёгкая и мгновенная? И кто вообще о н а?

Сомневаются: да называть ли её революцией? Если даже к 9 марта, как мы уже видим, на своих просторах, в своих массах Россия еще не пережила Февраля, не осуществляла его сама, но повсюду узнала о нём с опозданием, а где и с бо́льшим, — узнала как о постороннем свершившемся факте. Ни в необъятной российской провинции, ни в Действующей Армии никакого Февраля в феврале не произошло, ни народ, ни цвет армии не участвовали в том — а значит, нигде, кроме Петрограда, не было предрасположения к восстанию? Февральская революция произошла как бы *не в России*, но в Петрограде, потом и в Москве *за* Россию, вместо неё, а всей России объявили готовый результат. Если б революция была стихийной и всенародной — она происходила бы повсюду.

Разве Государю было неизбежно отрекаться? Разве потому он отрёкся, что революция быстро и сильно раскатилась по стране? Наоборот: только потому она так легко и покатилась, что царь отрёкся совсем внезапно для всей страны. Если сам царь подал пример мгновенной капитуляции, — то как могли сопротивиться, не подчиниться все другие меньшие чины, особенно в провинции?

К Февралю народ ещё никак не утерял монархических представлений, не был подготовлен к утере царского строя. Немое большинство его — девять десятых — даже и не было пронизано либерально-радикальным Полем (как во всякой среде большой собственной густоты, как магнитные в металле — силовые линии либерального Поля быстро терялись в народе).

Но и защищать монархию — ни народ, ни армия так же не оказались подготовлены.

Так — назвать ли революцией то, что произошло в Феврале? — если считать революцией внезапное, насильственное и с участием масс изменение политического строя государства? Всё это — насильственные действия миллионных масс, и разлив кровопролития, и крутейшие перемены государственного и общественного строя, самой народной жизни, — произойдёт в России — только не сразу.

У нас называют три революции: 1905 года, Февраля 1917 и Октября. Но в 1905-06 не произошло существенных перемен государственной и народной жизни, и не было движения миллионных масс: была *симуляция революции*, было много разрозненного террора (и уголовного), когда революционеры (и уголовники) и интеллигенты — толкали, толкали, раскачивали, раскачивали — а о н о никак не раскачивалось и не раскачалось. А Февраль — даже неправдоподобен: дремота страны, ничтожное участие масс — и никакого сопротивления власти. А Октябрь — короткий грубый местный военный переворот по плану, какая уж там революция?

Ни одна как будто — не подходит под революцию. Две последних — весьма точно назвать переворотами.

Но несомненно, что в XX веке в России произошла величайшая кровавая необратимая революция всемирового значения. Необратимостью и радикальностью перемен только и определяется революция.

Если в Феврале было мало крови и насилия и массы ещё не раскатились, — то всё это ждало впе-

реди: и вся кровь, и всё насилие, и захват народных масс, и сотрясение народной жизни. Революции бывают и медленные — но, начавшись, уже неуклонны, и насилие в них потом всё разыгрывается. Наша революция разгуливалась от месяца к месяцу Семнадцатого года — вполне уже стихийно, и потом Гражданской войной, и миллионным же чекистским террором, и вполне стихийными крестьянскими восстаниями, и искусственными большевицкими голодами по 30, по 40 губерний — и может быть закончилась лишь искоренением крестьянства в 1930—1932 и перетряхом всего уклада в первой пятилетке. Та́к вот и катилась революция — 15 лет.

Российская революция закончилась в начале 30-х годов. И тотчас была почтительно признана китом западной демократии — Соединёнными Штатами.

IV. ПРИЧИНЫ И СУТЬ ЭТОЙ РЕВОЛЮЦИИ

(после 10 марта 1917)

Человеческий ум всегда требует причин для всех событий. И не честно уклоняться назвать их, кто как умеет.

В истории Февральской революции редко кем оспаривается полная неожиданность её для всех: и для властей, и для разжигавших её думских и земгоровских кругов, и для всех революционных партий — эсеров, меньшевиков и большевиков, и для западных дипломатов в Петрограде, и уж тем более для остальной России — для Действующей Армии, для провинции, для крестьянства.

Отсутствие партийных усилий, неподготовленность партийными заданиями (агитация партий лишь потом нагоняла события), особенно поражает умы, привыкшие к революционному объяснению. В таких случаях всегда выдвигается слово «стихийный». Но по неучастию всей России мы ясно видим, что стихии — не было.

Одни преимущественно объясняют хлебными перебоями в Петрограде — даже не перебоями, а только *слухом*, что хлеб скоро ограничат. Мы уже разобрали, что это — не объяснение.

Другие указывают неоспоримо на многолюдность, уродливость и бездеятельную развращённость петроградского гарнизона. Реально в дни Февраля он был главной действующей силой. И всё же городской гарнизон — не поднимается до уровня исторической причины, хотя бы как частное проявление более обширной причины — войны.

При явности неучастия всех партий Георгий Катков настойчиво разрабатывает мысль, что главной движущей силой петроградских волнений были немецкие агенты и немецкие деньги: хотя притекания последних нельзя доказать документально, но есть признаки. Несомненно, зная приёмы германской дипломатии и тотальной войны, текущего разложения противника, можно не сомневаться, что германские усилия и деньги настойчиво прилагались к общественному взрыву в воюющей России, кому-то же они платили, не без влияния они остались и на огромный размах забастовочного движения в Петрограде, конечно они поддували и хлебные слухи (хотя лозунг «долой войну» не только немецкого происхождения, он вполне внушался и обрыдлостью войны). Несомненна немецкая заинтересованность и немецкая подталкивающая рука — но ведь почти только в одном Петрограде (из провинции — разве что в Николаеве) и не в масштабах столь удавшегося всероссийского взрыва, превзошедшего все немецкие расчёты. Позже, с весны, немцы перенесут свою поддержку на единственную пораженческую партию большевиков и с этого времени действительно станут постоянной силой хода нашей революции. Но в Феврале хоть и могли быть немецкие дрожжи — однако российская опара взялась! — и это заставляет нас искать российские причины внутренние. «Немецкую» причину полезнее недооценить, чем переоценить.

Говоря о причинах, мы, очевидно, должны иметь в виду залегающие обстоятельства — глубокие по природе, длительные во времени, которые сделали переворот принципиально осуществимым, а не толчки, непосредственно поведшие к перевороту. Толчки могут разрушить только нестабильную систему. А — отчего она стала нестабильной?

К таким причинам мы имеем право отнести всю войну в целом.

Весной 1917 любимое кадетское объяснение и было: что революция вызвана неудачным ведением войны и целью имела — вести её лучше и выиграть; что не было в России уважения к личности гражданина (образованного горожанина), от этого в стране не было порядка и от этого всё никак не было победы над немцами. Объяснение это не выдерживает и прикосновения критики. Наиболее уставшая от войны Действующая Армия была застигнута петроградской революцией врасплох, ещё и через две недели стояла почти безучастная и почти неповреждённая. Военно-материальное снабжение достигло к этому времени наивысшей точки. Снаряды, в том числе и тяжёлые, накоплялись весь 1916 год и начало 1917, — теперь русская армия могла вести верденский огонь по всему фронту. Напротив, революция не добавила никакого патриотического подъёма, а с отпадением понуждающей силы появилась у всех, начиная с движущего петроградского гарнизона, надежда уклониться от войны — и крепкая армия распалась в короткие месяцы, сделав войну полностью невозможной.

Но и большевицкое объяснение, что революция произошла как протест против войны, не подтверждается фактами и придумано партийными деятелями позже: никакого обозначенного, определённого движения против войны не было ни в армии, ни где-либо по России, и настойчивой громкой такой пропаганды тоже не было.

Однако война, безусловно, сыграла губительную роль. Вся эта война была ошибкой трагической для

всей тогдашней Европы, а для России и трудно исправимой. Россия была брошена в ту войну без всякого понимания международного хода событий, при сторонности её главному европейскому конфликту, при несогласии её авторитарного строя с внешним демократическим союзом. Она брошена была без сознания новизны этого века и тяготеющего состояния самой себя. Все избывающие здоровьем крупные силы крепкой нации были брошены не в ту сторону, создалось неестественное распределение человеческих масс и энергий, заметно перегрузилась и смешалась администрация и организация, ослаб государственный организм. И даже всё это было бы ещё ничего, если б не традиционная накалённая враждебность между обществом и властью. В поле этой враждебности образованный класс то и дело сбивался на истерию, правящая прослойка — на трусость.

Не преувеличим при этом ни размаха отступления 1915 года, ни народного утомления, ни местами перерывов снабжения, ни ничтожности состава царских министров. Советское отступление 1941-42 года было тридцатикратным, утеряна была не Польша, но вся Белоруссия, Украина и Россия до Москвы и Волги, и потери убитыми и пленными — двадцатикратны, и несравнен голод повсюду и вместе с тем заводское и сельское напряжение, народная усталость, и ещё более ничтожны министры, и уж конечно несравненно подавление свобод, — но *именно потому*, что власть не продрогла в безжалостности, что и в голову никому бы не пришло заикнуться о недоверии к правительству, — это катастрофическое отступление и вымирание не привело ни к какой революции. (И ещё одна частная параллель: в обе войны мы были материально зависимы от западных союзников. Но от этого царское правительство и затем временное заискивали перед союзниками, а Сталин при этом же — диктовал им условия сам.) Теперь-то мы знаем истинные выносимые масштабы и лишений, и насилий. Да самые-то позорные наши отступленья-бегства были совершены уже не импе-

раторскими войсками, а революционными — летом 1917.

И всё же не сама по себе война определила революцию. Её определял издавний страстный конфликт общества и власти, на который война наложилась. Всё назревание революции было не в военных, не в экономических затруднениях как таковых, но — в интеллигентском ожесточении многих десятилетий, никогда не пересиленном властью.

Очевидно, у власти было два пути, совершенно исключавших революцию. Или — подавление, сколько-нибудь последовательное и жестокое (как мы его теперь узнали), — на это царская власть была не способна прежде всего морально, она не могла поставить себе такой задачи. Или — деятельное, неутомимое реформирование всего устаревшего и не соответственного. На это власть тоже была не способна — по дремоте, по неосознанию, по боязни. И она потекла средним, самым губительным путём: при крайнем ненавистном ожесточении общества — и не давить, и не разрешать, но лежать поперёк косным препятствием.

Монархия — как бы заснула. После Столыпина она не имела ясной активной программы действий, закисала в сомнениях. Слабость строя подходила к опасной черте. Нужны были энергичные реформы, продолжающие Столыпина, — их не предприняли. Власть продремала и перестаревшие сословные пережитки, и безмерно затянувшееся неравноправие крестьянства, и затянувшуюся неразрешённость рабочего положения. Даже только эти явления имея в виду, невозможно было ответственно вступать ни в японскую войну, ни в Мировую. А затем власть продремала и объём потерь и народную усталость от затянувшейся этой войны.

Накал ненависти между образованным классом и властью делал невозможным никакие конструктивные совместные меры, компромиссы, государственные выходы, а создавал лишь истребительный потенциал уничтожения. Образованное общество в свою очередь играло крестьянством как картой, то разза-

ряло его на несуществующие земли, то препятствовало его равноправию и волостному земскому самоуправлению. Если бы крестьянство к этой войне уже было бы общественно-равноправно, экономически устроено и не таило бы сословных унижений и обид — петроградский бунт мог бы ограничиться столичными эпизодами, но не дал бы губительного раската революции с марта по осень.

Даже и этот смертельный внутригосударственный разрыв и при всей затянувшейся войне не произвёл бы революции — при администрации живой, деятельной, ответственной, не огруженной тысячами паразитов. Но в дремоте монархии стали традиционны отменно плохие назначения на гражданские и военные посты людей самоублажённых, ленивых, робких, не способных к решительным действиям в решительный час.

Стояла Россия веками — и дремалось, что её существование не требует настойчивого изобретательного приложения сил. Вот так стоит — и будет стоять.

Эта дремота была — шире чем только администрации, это была дремота всего наследственного привилегированного класса — дворянства, особенно в его титулованных, высоко-бюрократических, великокняжеских и гвардейских кругах. Этот класс, столько получивший от России за столетия, и всё авансом, — теперь в переходную напряжённую пору страны в лучшем случае выделял немногочисленных честных служак, а то — вождей взволнованного общества, а то даже — и революционеров, в главной же и высшей своей части так же дремал, беззаботно доживая, без деятельного поиска, без жертвенного беспокойства, как отдать животы на благо царя и России. Правящий класс потерял чувство долга, не тяготился своими незаслуженными наследственными привилегиями, перебором прав, сохранённых при раскрепощении крестьян, своим всё ещё, и в разорении, возвышенным состоянием. Как ни странно, но государственное сознание наиболее покинуло его. И в грозный декабрь 1916 дворянство, погубившее эту власть, ещё

от неё же и отшатнулось с громкими обличениями.

Но и при всём том на краю пропасти ещё могла бы удержать страну сильная авторитетная Церковь. Церковь-то и должна была создать противоположное духовное Поле, укрепить в народе и обществе сопротивление разложению. Но (до сих пор сотрясённая безумным расколом XVII века) не создала такого. В дни величайшей национальной катастрофы России Церковь — и не попыталась спасти, образумить страну. Духовенство синодальной церкви, уже два столетия как поддавшееся властной императорской длани, — утеряло высшую ответственность и упустило духовное руководство народом. Масса священства затеряла духовную энергию, одряхла. Церковь была слаба, высмеяна обществом, священники принижены среди сельской паствы. Не случайно именно семинарии становились рассадниками атеизма и безбожия, там читали гектографическую запрещённую литературу, собирали подпольные собрания, оттуда выходили эсерами.

Как не заметить, что в страдные отречные дни императора — *ни один* иерарх (и ни один священник) православной Церкви, каждодневно возносивший непременные за Государя молитвы, — не поспешил к нему поддержать и наставить?

Но ещё и при этом всём — не сотряслась бы, не зинула бы пропастью страна, сохранись крестьянство её прежним патриархальным и богобоязненным. Однако за последние десятилетия обидной послекрепостной неустроенности, экономических метаний через дебри несправедливостей — одна часть крестьянства спивалась, другая разжигалась неправедной жаждой к дележу чужого имущества — уже во взростьи были среди крестьян те убийцы и поджигатели, которые скоро кинутся на помещичьи имения, те грабители, которые скоро будут на части делить ковры, разбирать сервизы по чашкам, стены по кирпичикам, бельё и кресла — по избам. Долгая пропаганда образованных тоже воспитывала этих делёжников. Это уже не была Святая Русь. Делёж

чужого готов был взреветь в крестьянстве без памяти о прежних устоях, без опоминанья, что всё худое выпрет боком и вскоре так же точно могут ограбить и делить их самих. (И разделят...)

Падение крестьянства было прямым следствием падения священства. Среди крестьян множились отступники от веры, одни пока ещё молчаливые, другие — уже разверзающие глотку: именно в начале XX века в деревенской России заслышалась небывалая хула в Бога и в Матерь Божью. По сёлам разыгрывалось злобное бесцельное озорство молодёжи, небывалое прежде. (Тем более оно прорывалось в городах, где безверие воспитывалось ещё с гимназической реформы 60-х годов. Знаю по южным. Например, в Таганроге ещё в 1910 году в Чистый Четверг после 12 Евангелий хулиганы нападали на богомольцев с палками, выбивали фонарики из рук.)

Я ещё сам хорошо помню, как в 20-е годы многие старые деревенские люди уверенно объясняли:

— Смута послана нам за то, что народ Бога забыл.

И я думаю, что это привременное народное объяснение уже глубже всего того, что мы можем достичь и к концу XX века самыми научными изысканиями.

И даже — ещё шире. При *таком* объяснении не приходится удивляться, что российская революция (с её последствиями) оказалась событием не российского масштаба, но открыла собою всю историю міра XX века — как французская открыла XIX век Европы, — смоделировала и подтолкнула всё существенное, что потом везде произойдёт. В нашей незрелой и даже несостоявшейся февральской демократии пророчески проказалась вся близкая слабость демократий процветающих — их ослеплённая безумная попятность перед крайними видами социализма, их неумелая беззащитность против террора.

Теперь мы видим, что весь XX век есть растянутая на мір та же революция.

Это должно было грянуть над всем обезбожевшим человечеством. *Это* имело всепланетный смысл, если не космический.

Могло бы, воля Божья, начаться и не с России. Но и у нас хватало грехов и безбожия.

В Константинополе, под первое своё эмигрантское Рождество, взмолился отец Сергий (Булгаков):

«За что и почему Россия отвержена Богом, обречена на гниение и умирание? Грехи наши тяжелы, но не так, чтобы объяснить судьбы, единственные в Истории. Такой судьбы и Россия не заслужила, она как агнец, несущий бремя грехов европейского міра. Здесь тайна, верою надо склониться.»

Февральские деятели, без боя, поспешно сдав страну, почти все уцелели, хлынули в эмиграцию и все были значительного словесного развития — и это дало им возможность потом десятилетиями изображать свой распад как торжество свободного духа. Очень помогло им и то, что грязный цвет Февраля всё же оказался светлей чёрного злодейства коммунистов. Однако если оценивать февральскую атмосферу саму по себе, а не в сравнении с октябрьской, то надо сказать — и, я думаю, в «Красном Колесе» будет достаточно показано: она была духовно омерзительна, она с первых часов ввела и озлобление нравов и коллективную диктатуру над независимым мнением (стадо), идеи её были плоски, а руководители ничтожны.

Февральской революцией не только не была достигнута ни одна национальная задача русского народа, но произошёл как бы национальный обморок, полная потеря национального сознания. Через наших высших представителей мы как нация потерпели духовный крах. У русского духа не хватило стойкости к испытаниям.

Тут, быстротечно, сказалась модель опять-таки мірового развития. Процесс померкания национального сознания перед лицом всеобщего «прогресса» происходил и на Западе, но — плавно, но — столетиями, и развязка ещё впереди.

1980—1983

ЧЕРТЫ ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ

Держа в уме картины двух грозных революций — Французской и Российской, невольно поддаёшься искушению сопоставлять их и сравнивать сходности. Нужно ли это вообще? Во всяком случае, это потребность нашей любознательности. Это — не бесполезное занятие, хотя надо всё время помнить:

— что основные сходства могут и вовсе не лежать на поверхности, истинно одноприродные феномены могут сильно различаться внешне;

— что перед деятелями российской революции настойчиво носились образы французской, звали к подражанию, копированию, — и от этого сходные феномены могут быть не проявлением одинаковой закономерности обеих революций, а лишь результатом этого сознательного копирования. (В свою очередь и французская революция то и дело оглядывалась, сравнивала себя и подражала античности, древним республикам. Да и американское восстание не миновало той участи, Вашингтона и Франклина звали Брутом и Катоном.)

Разумеется, никто не может ждать такого разительного сходства, как цельное повторение сюжета в последовательности событий. Но, всматриваясь, нельзя и не удивиться множеству совпадений частных, отдельных элементов, черт (инвариантов революции?), хотя бы был переставлен их порядок и изменено отстояние во времени между ними. Сюжет другой, а элементы повторяются.

1

А ещё прежде сходства частных элементов — сходство общего ощущения. Пожалуй, главное — ощущение затягивающей стихии: разожжённый вихрь постепенно, но неуклонно захватывает в уничтожение всех, кто этот вихрь готовил и содействовал ему. Ощущение это — широко известно, и у меня ещё на ранней стадии работы сформировалось как определение: «Красное Колесо».

В этом вихревом затягивании деятелей в жерло общая черта — неуклонное перемещение центра революции влево. И к этому перемещению, продолжению («углублению») революции не только стремятся в тот момент более левые — но ему содействуют и более правые и промежуточные слои, хотя оно вослед тут же обращается и прямо против них. Когда у них возникает возможность преследовать и подавлять более левые круги (как у нас в июле 1917, у французов — в июле 1791 или дважды во флореале IV и VI годов, 1796 и 1798) — они нерешительны, расслаблены. (Потому ли, что роково ощущают левых своими неизбежными наследниками в революции?) Напротив, более всего они чуждаются призвать на помощь тех, кто правее их. Так в июне 1793 департаменты не могли объединиться в свою защиту из-за того, что республиканцы стыдились союза с роялистами. В 1917 кадеты, затем и правые социалисты, были обречены на бессилие, более всего опасаясь опорочить себя союзом вправо, даже с армейским командованием. (И эта ситуация повторяется потом все годы нашей гражданской войны.)

Затем: в противоречие с этим неумолимым затягиванием — мыслящие современники и многие участники событий на разных ступенях разрушительного развития то и дело считают и даже провозглашают (успокаивая себя?), что на этой стадии «революция окончена». У нас возглашали так даже 4 марта 1917, у французов — даже 27 июня 1789. И никакие уроки прошлых революций при этом не учат никого.

Всякая революция неизбежно далеко-далеко превосходит границы, мыслимые начинателями. У неё — своя инерция разгонного качения, и она никогда не ограничивается первоначальными задачами.

2

Если следовать за Алексисом Токвилем в осмотре обстоятельств, подготовивших французскую революцию, то мы отличим многие такие, которые сложились во Франции, но не в России. Многочисленные остатки феодальных отношений. Жёсткие границы сословий. Невыносимость привилегий дворян, полностью освобождённых от обязанностей, вопиющее несправедливое неравенство перед налогами (вся тяжесть на низших классах и привилегия для богачей). Бесчестность королевского правительства во взимании повторных сборов (плата за одно и то же несколько раз). Продажа должностей. Королевская барщина крестьян. Несправедливая форма дорожных повинностей. Тяжёлый набор крестьян в ополчение. Крестьянские подати в пользу помещиков. Ужасающая неразбериха в администрации, множество нелепых несогласованных учреждений. Вмешательство королевской администрации в область суда, судебные изъятия в пользу даже самых незначительных правительственных чиновников. Несамостоятельность магистратов.

В России от реформ 60-х годов Александра II многое такое или уже не существовало или успешно устранялось. Российское дворянство уже не пользовалось обилием привилегий, ни произволом, но ещё несло небольшую долю обязанностей по уездным учреждениям. Границы между сословиями успешно стирались, переход из сословия в сословие был доступен, наиболее устойчивым ещё оставалось крестьянское, и сильно отгорожены дворцовые круги. Хотя ещё сохранялся внутрисословный крестьянский суд, большинство преступлений подлежало на разных услови-

ях общегражданскому суду, уже вполне независимому от правительственной власти, и в её пользу не было судебных изъятий. Правосудие происходило без раболепства перед властями. Земство и местные думы имели заметную свободу и широту в своей местной деятельности. Правительственная администрация была построена чётко, с ясным разграничением ве́дения. Единая воинская обязанность ложилась на все классы. (Но сохранялось психологическое неравенство в самой армии: исторически приниженное положение крестьянского сословия. Это очень губительно сказалось в ходе революции.) Налоги вообще были незначительны, для всех. Крестьяне не платили помещикам ничего, кроме аренды, и не знали отработок для правительства или царя, кроме земской дорожной повинности.

Во Франции за сто с лишним лет до революции заглохла всякая свободная общественная деятельность, в России, напротив, именно за последние 50 лет началось земство, за последние 11 — конституционная жизнь. Франция всем запущенным состоянием государства и общества как бы вгонялась в революцию (но и это не значит, что неизбежно исключалось спокойное развитие). Россия же своим развитием уже отводилась от неё. Российская революция не только не облегчила развития страны, но катастрофически задержала и извратила его. (При том интересно, что само предчувствие грозной революции совершенно отсутствовало во Франции во всех слоях, да в массах и в России тоже, и даже революционеры перед самой революцией никак не ждали её, но образованное общество настроено было именно к революции, жаждало её и призывало.)

Однако и область сходств велика. Перевес костенеющей централизации над местной самодеятельностью. Отсутствие у министров «той великой науки управления», которая учит не подробностям служебного аппарата, но «понимать движение общества в целом, судить о том, что происходит в умах масс, и предвидеть результаты этого процесса». (Таким мини-

стром в России был Столыпин, убитый в 1911 году.) Однако административная практика в обеих странах велась мягче существующих законов. Дворянство — в разрозненности, апатии и политической неспособности. Отсутствие энергии у него и у трона. Активный торгово-промышленный класс, в России особенно на подъёме. Крестьянство не имело понятия о политических свободах и не жаждало их, его устремление — земля. Впрочем, во Франции уже 50 % обрабатываемой земли принадлежало крестьянству, в России же — 76 %, однако это не уменьшало порыва к остальной (объём которой представлялся русским крестьянам, особенно через пропаганду образованных, весьма преувеличенно). В обеих странах как раз в последние десятилетия перед революцией происходили очень серьёзные реформы — но именно быстрота этого движения без компенсации стабильности и способствовала неустойчивости. В обеих странах именно перед революцией было достигнуто общественное благосостояние наибольшее — как сравнительно с предшествующими десятилетиями, так и с послереволюционными. Царствования Людовика XVI, как и Николая II, были экономически самыми благополучными эпохами. Но чем быстрее положение улучшалось, тем более, психологически, его находили невыносимым, желая быстрейшего, тем более обострялась ненависть ко всему, что ещё не преобразовано.

Не следует упустить и такие важные сходства, как подавляющее превосходство Парижа и Петрограда там и тут в смысле их административной инициативы и монополии: достаточно событию совершиться в столице — и оно автоматически отзывается по всей стране, и, напротив, почти безнадёжно иметь успех движению, зародившемуся вне столицы. Притом в Париже — весьма большие, по тому времени, скопления рабочего населения (Сент-Антуанское, Тампльское предместья). Еще больший переизбыток и диспропорция населения в Петрограде: не только сильная концентрация военной промышленности с защищённым от воинской повинности рабочим составом,

но и полтораста тысяч ещё не обученного и недисциплинированного гарнизона, и несколько сот тысяч неустроенных беженцев от войны.

В обеих странах за десятилетия до революции просвещённые классы из великодушных симпатий к положению народа нестеснённо и настойчиво говорили о его неудовлетворённых нуждах, о творимых над ним несправедливостях. (Причём в России это внушала массам либерально-революционная интеллигенция, а во Франции — и привилегированные классы, и король, и чиновники.) Общею же чертой была всеобщая манера во всем винить правительство. Эта пропаганда (и в том неверном, что необъятны запасы ещё не конфискованной земли) успешно разжигала народные массы. В обеих революциях ясно видно рождение сверху, никак не сравнишь, например, с пугачёвским мятежом.

3

Тут мы касаемся некоего решающего и проницающего свойства именно этих двух революций: что обе они проявились как революции *идеологические*. Обе они взорвались вследствие реальных обстоятельств, но обе они имели столетнюю подготовку в просвещении, философии, публицистике. В обоих случаях у трона не было никакой развитой политической доктрины и ещё меньше — способности активно распространять в народе свои убеждения. Зато именно правящий класс более всего воспринимал новую философию, подрывающую традицию — и монархическую и религиозную. Революция произошла в духе раньше, чем в реальности, власть была обессилена философами, публицистами, литераторами. Идеология задолго, и беспрепятственно, опережала революцию и распространялась в образованных умах.

Эта идеология (в России по отношению к Франции наследственная) исходила из принципиальной добродетельности человеческой природы, помехами кото-

рой только и являются неудачные социальные устройства. Эти мыслители, не имеющие никакой практической основы и никакого государственного опыта, легко выносили категорические суждения о государстве, о природе права и общественной жизни — суждения отвлечённые, произвольные, но с большим темпераментом. Не имея ни малейшего представления об опасности общественных сотрясений, они с легкостью отметали традиции и обычаи как помешные подробности. И эти суждения, подхваченные образованным классом, дальше расширялись, спускались в нижние слои (особенно действенно во Франции) и грозно готовили революцию. В России — в виде оформленных революционных партий и террора.

Хотя обе перенятые Россией идеологии — и либеральный демократизм и социализм — на Западе уже с тех пор сильно поизносились — в России (и потом по всем материкам во всём XX веке) они ещё сработали со всею свежей силой.

В составе этих убеждений особенно настойчивой была струя антиклерикальная, затем и антихристианская, очень яростная во французских просвещённых кругах, а в России — в их большевицкой оконечности. В обеих странах самым неверующим классом было дворянство, от него и расплывалось распространение неверия, уже как мода, к которой стыдно становилось не присоединиться. Эта коренная антирелигиозность идеологии (коренная, потому что вместо религии она предлагала саму себя) сказалась на особо разрушительном и жестоком характере обеих революций: вместе с государственным строем сотрясались и религиозные и нравственные законы, ничто не оставалось опорой.

По взрывчатости идей, по широте взятых задач — обе революции с самого начала являются феноменом международным: «освободить человечество», преобразовать не только свою страну, но весь мир.

Идеология сильно владела обеими революциями, особенно в периоды якобинский и ранне-большевицкий. Точное копирование провинциальными якобин-

скими клубами исходного парижского нельзя считать просто подчинением, тут захват идеей. В СССР энтузиастическая вера молодёжи была опорой режима в 20-е и 30-е годы, после чего иссякла. (И это — слабейшее место сегодняшнего СССР.) В российской революции эта наследованная якобинская идеология приобрела формулировки интернационального социализма, которые со стадии октябрьского переворота расширились в задачу установить коммунистическую власть во всём мире.

4

Общественное ощущение (во Франции — и шире, как общенародное чувство), что страна сползает в пропасть, в России стало развиваться в последние месяцы до революции, с осени на зиму 1916, во Франции — уже после первых шагов революции, в летне-осенние месяцы 1789. Это соответствует и разному темпу революционного начала, перехода страны из кристаллического состояния в расплавленное: очень бурному у нас — и замедленному (на нашу мерку) во Франции. Соответственно тому и речь Милюкова в Государственной Думе (1 ноября 1916) нашла себе место за 4 месяца до революции (но уже как венец умеренно-конституционного развития, из-за первого приступа 1905 года конституция с революцией у нас переставлена), аналогичная же ей — речь Мирабо в Учредительном Собрании (5 октября 1789) — через 5 месяцев после начала её. (Кстати, оба чувства сопровождаются устойчивой общественной ненавистью к королеве — значительно сильнее, чем к королю.)

При выборах как Генеральных Штатов, так и Государственной Думы власть не вела правительственной агитации (в России — не имела и правительственного органа печати для того), тогда как противники её вели самую активную, власть не умела и не пыталась повлиять на исход выборов. Так, в обоих случаях власть не мешала создаться законному пуб-

личному центру, настроенному против правительства. А при первых революционных событиях — вела себя самым неопределённым и неуверенным образом. (Порыв Генеральных Штатов, — если распустят, то призвать население не платить налогов, — был в России точно скопирован, а потому и с запасом времени, в 11 лет, Выборгским воззванием 1-й Государственной Думы.)

Интересно сравнить и степень парламентского сознания. Даже после трёх лет французской революции назначал и сменял министров всё еще король, ни Учредительное, ни Законодательное Собрания уже в значительном разгаре революции всё ещё не дошли до требования «ответственного министерства». В России, уже на опыте предшествующего западного парламентаризма, это требование возникает прежде революции и звучит как основное требование либерального общества. Но в обоих случаях размахом революционной волны это требование тут же и погребено, и прежде заинтересованные круги уже не смеют и вспомнить о нём.

Более того, Государственная Дума, так много сделавшая для свержения трона, сама после этого свержения, вместо того чтобы расцвесть, впадает в мгновенный паралич и перестаёт существовать буквально в тех же днях, безвольно передав всю сумму исполнительной, законодательной и верховной власти — никак не конституированному, ни на какую законность не опёртому Временному правительству. Да и Генеральные Штаты, начавшие революцию, затем принимая облик то Национального, то Учредительного Собрания, — хотя держатся крепче и растянутей во времени, но испытывают процесс угасания.

5

Индивидуальные характеры королей и их поведение в критических обстоятельствах — вот что могло бы наиболее разниться, не совпадать ни

даже в каких мелочах. Однако мы находим у Людовика XVI и Николая II немало совпадений. В обоих случаях — искренний христианин на троне. (И к обоим до самой революции сохранялось благоговейное отношение в народных низах.) Добр, великодушен, — и это обоим мешало быть строгим в политике. Оба лишены настойчивой воли, и это даже главная черта их характера. Обоим не под силу выпавшая им задача. Оба легко поддавались влиянию, хотя у обоих проявлялись и бунты против этого. (Николай II помнил обиды от большого давления на свою волю.) Для обоих типично — вежливо выслушивать, даже улыбаться, но редко на что-нибудь решаться: они терялись в разнонаправленных влияниях, а все, кто имел с ними дело, — не уверены были в окончательности никакого их решения. Обоим докучало их царское ремесло, и оба гораздо более склонны к частной семейной жизни. И даже такие, уже совсем не обязательные совпадения: у обоих — бережливость в личных тратах, у обоих — пристрастие к охоте.

В главном их действии (бездействии) против хода революции — одна и та же причина: оба опасались пролить кровь своих соотечественников. У обоих монархов совпадает общая линия долгой нерешительности: у Николая она главной частью — в приступ 1905 и в предреволюционный период, у Людовика — уже в самые революционные годы, растянутые для него в три. И (в разных масштабах и в разные периоды революции) есть сходство, как Николай не подумал, что своим отречением 2 марта 1917 предаёт всю военную иерархию и Действующую армию, а Людовик безвольной капитуляцией (10 августа 1792) предал кучку верных ему до конца швейцарцев. И как Людовик имел счастливый вид, сдавшись перед Учредительным Собранием, так короткое время после отречения испытывал и Николай — облегчение от сдачи, и тем более мог отдаться высвобождению души от политических бремён в долгом и сравнительно мирном заключении. Николай II был пощажён судьбою от длительных революционных унижений, которые

достались Людовику XVI: то шествовать на поклон в бунтарский Париж (17 июля 1789); то сообщать всем европейским дворам, что он якобы «свободен»; то причащаться у изменного («присягнувшего») священника; то (4 февраля 1790) заявлять, что он — за дальнейшее развитие революции. От Николая никто не требовал ничего подобного (и неизвестно, могли бы или не могли вынудить такое). Затем Людовик делал попытку к побегу, и для того оказалось же всё-таки у него малое число приверженцев, — у Николая не было такой попытки, и приверженцы не проявились.

А бежал Людовик, имея намерение призвать на помощь против революции силы Европы. У Николая никогда подобного движения не было, ни в 1905, ни в 1917, и, уже отречённый, он издал последний приказ войскам (8 марта 1917, задержанный Временным правительством): под водительством Временного правительства победить врага. (Так же и Мария-Антуанетта желала своей армии поражения, Александра Фёдоровна — никогда. Но тут мы неожиданно приходим и к значительному сходству общего очерка обеих королев: гордая красота, оклеветанность; перед нападками династии, двора, высшего света — презрительная поза и неспособность забывать обиды. Русская императрица сама остро чувствовала своё сходство с Марией-Антуанеттой, холила её портрет, может быть, предчувствовала и совпадение конечной судьбы).

6

Хотя французская Церковь состояла уже под значительным материальным контролем предреволюционного государства (например, монастыри под опекой интендантов, церковная организация уже была сильно развалена) — само французское духовенство сохраняло ещё дух независимости относительно светской власти, значительные вольности, право на периодические собрания (единственное

из сословий), было просвещённым и сохраняло национальное чувство. И низшее духовенство обладало гарантиями против тирании иерархов. Наказы французского духовенства к Генеральным Штатам — чрезвычайно свободолюбивы и компетентно политичны. Но Церковь продолжает использовать свои оставшиеся разнообразные феодальные права над населением и как собственник, отъёмщик неуклонной десятины, и как реликт административной власти вызывает озлобление массы, напряжённое антиклерикальное настроение, которого в русской массе не было.

В России мы видим картину иную: нет государственного контроля над церковными и монастырскими имуществами, но духовенство исключено изо всякой общественно-политической деятельности, просвещённость его слаба, никакого независимого духа, инициативы, а рядовые священники подавлены иерархами, и ещё более — своей невылазной материальной нуждой. Русское священство полностью зависит от подаяний прихожан, это вызывает и раздражение, и насмешки, авторитет его низок.

Соответственно этому, французское духовенство вступает в революцию активной силой, особенно на первых порах Генеральных Штатов, и не склонно сдерживать наросшего крестьянского взрыва к земле. Русское — беззвучно, бездеятельно, беспомощно (только выделяются малочисленные левые группы, требующие церковных реформ). Но уже вскоре звучит с трибуны Учредительного Собрания: «надеть намордник на духовенство» (Мирабо), — и то же самое заявляет громогласно (и начинает осуществлять) прокурор Святейшего Синода Владимир Львов.

В обоих случаях реальные удары настигают Церковь с конца первого года революции. По медленному течению французской это ещё только начало её: март 1790 — национализация церковных имуществ, июнь — закон о гражданском устройстве духовенства, ноябрь — священство обязано присягать гражданскому устройству.

В России в конце первого года уже у власти боль-

шевики, и все эти (и более жестокие) удары постигают Церковь мгновенно — и конфискация имуществ, и установление над священством гражданско-политической диктатуры. Исключая смелые шаги патриарха Тихона (предание советской власти анафеме), ещё нескольких иерархов, и малого числа священников, — русское духовенство и тут остаётся незащищённо-беспомощным, и первый предел большевицкой разнузданности кладёт не его сопротивление, а стихийные восстания крестьян и мещан в защиту веры (лето 1918). Тотального подавления Церкви большевики достигают лишь четырьмя годами позже (1922), освободясь от гражданской войны.

Во Франции «гражданское устройство духовенства» формально заключало в себе и идею вернуть Церкви евангелический дух, и в частности сделать священство выборным. Это было — из главных требований и русских дореволюционных (с начала XX века) церковных реформаторов. В обоих случаях какая-то часть духовенства затронута сочувствием к происходящим преобразованиям — и во Франции это раскалывает духовенство в 1791 на вопросе о присяге гражданскому устройству («конституционная церковь 1791»), в СССР проявляется с 1922 года как движение «живоцерковцев», с годами, однако, провалившееся, несмотря на всю коммунистическую поддержку. И там и здесь есть случаи и полного отречения священников и епископов от веры.

Резко антиклерикальное настроение (во Франции раздутое озлоблением к земным благам церкви) в обеих революциях уверенно переходит в антихристианские преследования, в СССР значительно шире, — не только духовенства, а самой массы верующих. И в течение всех советских лет марксистские идеологические антирелигиозные мотивы остаются настойчивы и неослабны.

В обеих революциях, хотя на разном этапе (во Франции — через 3 года, 1792, в СССР через 12 лет, 1930), — установление нового революционного календаря, составленного так, чтоб уничтожить память

о воскресеньях и церковных праздниках. В обеих революциях запрет колокольного звона, снятие колоколов (даже при Директории!), снос колоколен, ограбление церковных сосудов и ценностей. В Конвенте, 1793—1794, вскрывались ящики конфискованных в провинции чаш и распятий, в СССР — повсеместный грабёж предметов церковного обихода в 1922. Во Франции то сжигают чудотворную статую Богоматери, то поят осла из священной чаши, в СССР — систематическое разорение и уничтожение икон и мощей святых, кощунства антирелигиозных спектаклей и лекций, более же всего — физическое уничтожение тысяч священников, чего Франция в таких масштабах не знала. Но антирелигиозные крайности во Франции всё же встречали сопротивление в теле самой революции (даже у Робеспьера), в СССР — нет, лишь сопротивление верующих.

Во Франции производились настойчивые попытки заменить христианскую веру каким-либо другим культом — «культ Разума», культ Верховного Существа при Робеспьере, теофилантропизм при Директории, для этого использовались или даже переоборудовались католические храмы (и Нотр-Дам) — и чиновников обязывали водить туда семьи. В СССР не было таких попыток, коммунисты вели борьбу на полное уничтожение православия, уничтожение или запустение самих храмов, допуская относительно Церкви лишь тактические приёмы (раскол Церкви «живоцерковством», или призыв Церкви на помощь в защите родины от Гитлера, или в пропагандистском пацифизме). Культ Верховного Существа всё же признавал бессмертие души, большевики отначала злобно отвергли и высмеяли его, они в разрушении религии шли сразу до конца.

Однако через 6 лет подавления католицизма к годам Директории во Франции мы наблюдаем сильный стихийный обратный взрыв веры, преследования воскресили религию, и религиозный дух охватывает даже тех, кто до революции был к ней равнодушен и даже безбожен, как высшие классы. Однако силён

и последователен и антихристианский заряд революции. Хотя в 1797, как следствие Термидора, и проводится несколько смягчительных к Церкви законов (восстановление колокольного звона, свободный выбор кладбища, освобождение священников от политической присяги), они тут же опрокидываются воем якобинской печати, что это возврат инквизиции, и переворотом Фруктидора, 1797 (и снова высылка священников, кто откажется принести клятву в ненависти к королю, казнённому и всякому вообще). В эти годы Директории, как будто уже так потерявшие якобинский накал, власти препятствуют крестовым похоронам, запрещают продавать рыбу по пятницам и декадным счётом пытаются стереть воскресенья. В ходе последующих лет католицизм всё же восстанавливается и укрепляется.

Тотальное подавление религии в СССР не сравнимо ни по масштабам, ни по жестокости, ни по долготе (все семьдесят лет, и даже, при Хрущёве, новая яростная антихристианская вспышка, уже кажется из пепла), — но, несмотря на всю свою свирепость, оно духовно истощилось и обанкротилось. А к стойкости погибших мучеников первых двух десятилетий с годами наращивалась в населении и массовая обратная тяга к вере. Процесс — сходен и тут.

7

Очевидно, всякая революция всегда сопровождается вихрем клевет (на старый строй) и небылиц (о ходе событий). А благодаря необратимости победы революции — эти клеветы и небылицы так и присыхают в истории как быль, даже и на сотни лет. Во Франции можно вспомнить клеветы, будто в Бастилии найдены скелеты замученных, орудия пыток и ужаснейшие тайны в архивах (никогда никем, однако, не опубликованные); или будто Фуллон сказал: «Если у них нет хлеба, пусть едят сено»; небылицу, будто в ночь на 13 июля 1789 на башне городской

думы дали набат против правительства, да и вся возвеличенная легенда о взятии почти пустой и несопротивлявшейся Бастилии — такая же изрядная небылица. (Делонэ послушно снял нестреляющие пушки из амбразур, забил амбразуры досками, показал депутатам весь свой жалкий гарнизон, — всё равно победно атакован с добычей в несколько уголовников). В России можно было бы составить очень длинный список — ещё от небылиц 1905 года, потом многократно оклеветанного Столыпина, легенду о сепаратных переговорах Николая II с немцами. Назовём здесь несколько из кипения февральских дней: знаменитая (и вполне присохшая) ложь о полицейских пулемётах на крышах и на колокольнях (не было ни одного), о переодевании полиции в солдат, о намерении Николая II открыть фронт немцам для подавления революции, или о его миллиардных вкладах в заграничные банки.

Есть сходства и в первых началах: полная слабость обоих правительств; классические черты психологии толп в обеих столицах; отказы столичной гвардии сопротивляться начавшемуся восстанию (в Петрограде — и решающее примыкание запасных к мятежу); угрюмая подавленность правительственных войск (июльские дни 1789 и февральские 1917); отступление их командующих перед призраком гражданской войны; самые бестолковые распоряжения столичному гарнизону (от полковника Шатэле или генерала Хабалова). И уступчивость Национального Собрания и симпатия Государственной Думы к начавшемуся восстанию: в надежде, что так достигнется революционная цель, а затем всё скоро уляжется, военная дисциплина восстановится, национальный разум исцелит всё. На самых ранних шагах и там и здесь торжествует бескровная победа революции. Очень подавленные Людовик XVI и Николай II надеются положить скорый предел революции через уступки ей. Привилегированные, столь обласканные и гордые слои вчерашнего дня не проявляют никакой способности к защите трона и даже самих себя, мгно-

венно превращаются в стада жертв, покорных любому преследованию и унижению.

В обеих столицах оказывает влияние настроение голода (в Париже — более реального, в Петрограде — совсем условного, и для обоих — никак не сравнимое с тем, что предстоит им пережить в революцию). По растянутости темпа французской революции марш парижских женщин о хлебе происходит почти тремя месяцами позже (5 октября 1789), в Петрограде же он открывает все события.

В обеих революциях от первых шагов — заметнейшая роль уголовников. Во Франции это банды бродячих разбойников (иногда преувеличенные молвою и страхом, а вскоре за тем объявленные героями), с весны по осень 1789 Франция содрогается от пожаров, убийств и грабежей, в России — уголовники, распущенные в первый же день (Петроград) или в последующие дни (провинция) по амнистии и сразу усилившие в действиях толпы грабёж, жестокости и убийства. Да в последующие годы одни и те же банды, вроде французских «сентябрьских (1792) убийц» (тут были уже и городские низы, как и в России, они всё захватнее примыкали к грабежам), снова и снова выпускаются из тюрем и совершают новые уголовные действия. В обеих революциях всплывают в активный слой самые разрушительные элементы, оттесняя формообразующие.

И ещё разительное сходство: обе страны совершенно не были подготовлены к своим столичным республиканским революциям, к отмене монархии. В России это было совсем неожиданно — по прочности вековой крестьянской веры в царя и скоротечности дней свержения. А провинциальная Франция даже и в сентябре 1792 — через 3 года! — очень холодно воспринимала отмену монархии.

Но в обеих революциях: провинция покорно копирует все действия столиц, на всех этапах, и всегда с опозданием.

8

Разность сроков свержения монархии сильно меняет параллелизм этапов двух революций — растягивает французскую, сжимает российскую. Но и при этом различии темпов можно видеть крупное сходство в том, как идёт саморазвал государства: в России 8 месяцев (ещё даже и быстрей), во Франции более трёх лет, в обоих случаях до решающего переворота террористов (якобинцев или большевиков). Что во Франции при этом присутствует безвластный король — не меняет картины. Очень сходна беспомощность Учредительного (затем и Законодательного) Собрания, вносящая развал во всю жизнь страны, — и такая же перемесь слепой разрушительности и бездеятельности российского Временного правительства. И Собрания, временами и Конвент, затем и Советы Пятисот и Старших, постояннее всего находятся в состоянии растерянности.

В обеих революциях все они теснимы незаконным и дерзким вмешательством столичных низов. Сходно даже до чрезмерности, как 9 августа 1792 парижский генеральный совет (городская дума) уступает ворвавшимся вожакам парижских секций право заседать в своём здании — и вслед за тем, в тот же вечер, сам перестаёт существовать. В Петрограде 27 февраля 1917 так же устраивается в здании Государственной Думы Совет рабочих депутатов, и Дума вслед за тем, да с того же дня, перестаёт реально существовать. И это сходство «генерального совета Коммуны» и Совета рабочих депутатов систематически продолжается дальше: самозванный орган самозванно вмешивается в действия правительственных учреждений и успешно посягает вести всю страну.

При большом смещении параллельных этапов нельзя не отметить убедительного родства жирондистов и кадетов: беспомощная негосударственность, преобладание слов над действием, любовь к фразе, равнение на исторические примеры (те — на античность, эти — на Францию). С поправкой на то, что у

некоторых жирондистов бывали достаточно кровожадные высказывания, у кадетов — нет. Но одобрение кадетами предреволюционного террора не намного нравственней, чем одобрение жирондистами сентябрьских убийств.

По крайности революционной фразы, а затем и неумению провести её методически в действие, Дантон и его группа напоминают эсеровских вождей. Любопытно сходство и такой подробности: в «исполнительном совете» (правительстве) 1792 года Дантон — не только министр юстиции и, сходно с Керенским, дорожит тем, что арестованный монарх в его руках, — но, при своём второстепенном посту, становится фактически ведущим лицом правительства, и тоже всего два месяца, а следующий шаг — к открытому руководству правительством.

9

Крайне существенно, что французская революция началась в период мира, а российская в период войны. (Тут лежит и главная причина скоротечности российской — темп убыстрился от многомиллионной вооружённой армии.)

Вследствие этого исходного различия революция застала французскую армию на невысоком боевом уровне, российскую — на высоком, в строгой дисциплине и подчинении — кроме переизбыточно, бессмысленно призванных, ещё не обученных и бездельно содержимых запасных частей. С них-то и начался мятеж.

Доселе существует ложное мнение, будто революции вдохновляют армии. Как раз наоборот: они разлагают их. Отначала малоспособная французская армия сквозь первые три года революции — разлагается. Мы видим неподчинения приказам о передислокации (например, возглавленное будущим маршалом, а тогда лейтенантом Даву, Шампанский полк, весна 1790), затем во многих полках — издевательства над

офицерами, грабёж их и бунты до полного разложения, крупное восстание гарнизона Нанси (август 1790).

Сходный процесс, только бурно-быстрый, охватывает и российскую армию. За начальным мятежом петербургского гарнизона его наглое требование о невыводе на фронт (ему покорно уступает Временное правительство, как и Шампанскому полку Учредительное Собрание). Тут же — мятежи в соседних тыловых гарнизонах, и вестники мятежей под защитной сенью революционной свободы отправляются беспрепятственно разлагать фронтовые части. В первые же недели это уже сказывается на фронтах, ближайших к Петрограду, и подражательно разливается по всем тыловым гарнизонам России. Процесс так быстр, что Верховное Главнокомандование вынуждено сразу далеко отложить подготовленное большое весеннее наступление. Уже на второй месяц революции армия небоеспособна, а на четвертом месяце (июль 1917), отправленная всё же в наступление, терпит невиданно-позорное поражение-бегство.

Сходна и такая черта: в этом разложении официально обвиняется не революция, а невидимые, неуказанные «офицеры-контрреволюционеры» (Робеспьер в Собрании в июне 1790, Стеклов и другие социалисты — с марта 1917).

Пресловутое «воодушевление революционной армии» в России вообще не наблюдается. Во Франции процесс сложней, он волнообразен. Первые месяцы внешней войны (апрель — сентябрь 1792) — сплошные поражения старой армии, вдобавок разложенной революцией. Но растущая внешняя угроза воспринимается не столько как контрреволюционная, а как национальная (прокламация 11 июля «Отечество в опасности»), и в армию приток энтузиастических добровольцев. (Признáем, что у французов того времени чувство отечества несравнимо сильней, чем у русских в 1917). Правда, победа при Вальми (сентябрь 1792) достигнута более за счёт разногласий между союзниками, нежели благодаря достоинствам рево-

люционной армии. Ещё несколько крупных успехов — но тем временем иссякает приток революционных добровольцев, а битва под Неервинденом (март 1793) проиграна именно из-за их нестойкости. И тут следует полоса французских неудач в Бельгии. На укрепление французской обороны существенно повлиял неуклюжий манифест герцога Брауншвейгского, сплотившего французскую армию общенациональной угрозой. С марта 1793 французская армия перестраивается на регулярной основе, при обязательном рекрутском наборе, — и после ещё нескольких месяцев поражений наконец становится победоносной. С февраля 1918 не на добровольчестве, а на принудительном наборе держится и Красная армия (но усиленно напичкиваемая политруками и агитацией). В обеих странах рекрутский набор проводится грозными методами (август 1793, лето 1918) — и только так революция создаёт себе боевую силу взамен той, что она разрушила. В истории французской революции именно этот период (1793-94) зачтён как период революционного энтузиазма армии. Заметим, что и большевицкая историография так же окрестила кампании 1919-20. Напротив, враги революции (Белая армия в России) — в основном добровольцы.

В обеих революциях мы наблюдаем органическую одновременность террора в стране и энтузиазма (разумеется, у разных групп). Так и решающие победы революционной французской армии (с осени 1793) случайно ли совпадают с разгулом террора во Франции? Тем же цементом спаяна и Красная армия для своих побед. При Директории начинается снова массовое дезертирство, с 1795 наборы в армию наталкиваются в стране на сопротивление. Наполеоновские победы в Италии в 1796, видимо, воздвигнуты не столько на революционном духе, сколько на чисто военном (включая и роль военной добычи).

10

В России революция началась, когда мы были сыты войною по горло, — и именно это отвращение к войне придало такой уверенный ход революции. Из первых шагов российской революции (март 1917) — декларации об отказе от завоеваний. Подобный декрет был и у Учредительного Собрания (май 1790), но он не продержался. К 1792 году разнообразные французские круги *хотели* внешней войны, в том числе и для дальнейшего разжигания революции.

Соответственно у нас успех лозунга «долой войну» и, как ближайший результат революции, менее чем через год — позорная капитуляция Брестского мира, отдача вовне огромных областей России. В наступившей затем гражданской войне усилия не превосходили задачи вернуть под свою власть бóльшую часть бывшей территории России. Французская же революция годами сопровождалась успешными военными усилиями за пределами страны.

Гражданская война в России — никак не аналог революционным войнам Франции, ибо она не состояла во внешней борьбе. Она есть аналог борьбе Вандеи и нормандских шуанов, это внутреннее сопротивление террору переворотчиков — и у нас более серьёзное и длительное, чем возникло во Франции. (Но время начала обеих войн — тотчас за красным террором, и утверждение красной стороны на нём, — совпадает в обеих странах.) Внешнее расширение как следствие большой идеологической революции, очевидно неизбежное извержение революционного взрыва, у нас проявилось сперва лишь попыткой поддержки германской революции, венгерского и баварского переворотов, а польская война начата не с нашей стороны, лишь затем была попытка революционного раската («Даёшь Варшаву! Дай Берлин!»). Внешние завоевания СССР начались только с конца Второй мировой войны, то есть с задержкою в четверть века, — зато и продолжаются вот уже 40 лет, и неизмеримо превосходят успехи Наполеона.

Но со стороны Европы картина в обоих случаях сходная: полное непонимание глубокой опасности себе от этой революции. Примитивный расчёт: одним соперником меньше в Европе, пусть страна ослабнет от революционной анархии — можно будет поживиться, отхватить куски. Однако даже и этой страсти не хватает у разногласных европейских держав. Действия Европы против Франции поражают вялостью, особенно до лета 1793 (во многом объясняются расчётами на делёж Польши), медлительность австрийцев и пруссаков разрешила сформировать якобинскую диктатуру, а затем и армию. Но такая же нерешительность и позже, когда опасность прямо переходит к ним через Рейн, грозит десантом в Ирландии или гремит победами Бонапарта в Италии. Тем более революция 1917 застаёт Европу разделённой на враждующие лагери, объединённые действия и вовсе невозможны. Оккупация Германией российской территории в 1918 направлена лишь к продуктовому грабежу, а разумеется не к противодействию выгодной для неё революции. Действия союзников ничтожны для того, чтобы повлиять на ход российской гражданской войны, зато (у Англии в Баку, у Японии на Дальнем Востоке, у Польши на Украине и в Белоруссии) — прямое желание поживиться за счёт раздираемой страны. Такая беспринципность не может дать успеха против идеологической революции.

Во французской революции ещё наблюдаем внешнюю группировку роялистов. Но они не сумели выставить заметной реальной силы, такою не была «армия Кондэ», ни высадка в Кибероне, да ещё при помощи англичан. Такими действиями, ещё более веронской декларацией будущего Людовика XVIII, в ненависти не различая умеренных от якобинцев, они только укрепляли последних. Вмешательство эмигрантов было крайне неумело. В России же подобной группировки монархистов не создалось ни на территории страны, ни вне её, по полной хилости и неверности трону правых, по несостоятельности монархических сил в высшем классе, как это и обнаружила

революция. А отступившая с гражданской войны Белая армия после того лишена была, по воле Запада, сыграть какую-либо роль.

Из-за того, что французская революция затем имела порой и попятный ход, во Франции было такое явление, как массовый возврат эмигрантов. При неуклонности хода российской революции, как и гражданской войны, этого произойти не могло.

11

В обеих революциях ясно выделяется первый этап (1789 — до августа 1792, до свержения короля и начала террора; март — октябрь 1917, до большевицкого переворота). За ним второй этап: якобинский во Франции (до Термидора, т. е. кончая июлем 1794) и большевицкий в России — увы, до нынешнего времени. Для сравнения привлечём его, однако, лишь в ранней части — до 1921 года.

Если возразить, что во Франции граница между этапами — по духу, по тону и организационно — ярче проявляется летом 1793 (разгром жирондистов и вхождение Робеспьера в Комитет Общественного Спасения), — то и в России есть такая под-граница ужесточения: январь — июнь 1918. Разгон нашего Учредительного Собрания (январь 1918) с арестами кадетов сходен с нашествием коммунаров в Конвент 31 мая 1793 с требованием выдачи 22-х жирондистских депутатов. За полгода лишён смысла и Совет рабочих депутатов, устранены все социалисты, последние из них — левые эсеры, как бы разновидность уже якобинцев, — разгромлены в июле 1918, и громко анонсирован красный террор. Скрупулёзного соответствия быть не может, но лето 1793 и лето 1918 — следующий скачок, нагнетание революционной температуры.

В целом же правильно назвать и сравнивать периоды якобинский и ранне-большевицкий. Они прежде всего и в самом существенном сходятся в том, что до

них ход революции скорее расслабленный, шаткий, в океане цветистых фраз, — от них приобретает беспощадный энергичный характер. (При такой же энергичной самоотдаче руководства.)

И в том, что для обоих развиваемый террор — фундамент для ведомой войны.

Впрочем, при этом сравнении не надо забывать, что шло активное копирование. Оно началось и в февральский период 1917, но там носило окраску романтического прихорашивания («взятие» крепости, марсельеза, комиссары во все места). А большевики практически, «хозяйственно» копировали якобинскую диктатуру во многих ее приёмах. Для начала можно вспомнить знаменитую фразу Иснара (конец 1791): «не надо доказательств», т. е. достаточно односторонней жалобы, и даже тайного доноса, чтобы привлечь к ответственности. Многие проявления якобинской диктатуры мы прочитываем как доточные цитаты из большевиков. Инструкция Робеспьера Сен-Жюсту (начало 1794): «Сущность республики — уничтожение всего, что ей противодействует. Виновны те, кто не хочет добродетели. Виновны те, кто не хочет террора.» Или принцип Кутона (Конвент, 22 прериаля, лето 1794): «Всякая формальность — общественная опасность. Время, необходимое для наказания врагов отечества (у нас еще тогда — «революции»), не должно быть больше времени, необходимого для их опознания.» (И этот принцип более доведен до конца у большевиков, нежели у якобинцев.) И обвиняемые сперва лишаются права иметь защитников, затем даже и права самим возражать на обвинения: «Возражения обвиняемых мешают правильному течению заседания», от частичных запретов защищаться переходят и к полному. Всё это мы видим и в раннем развитии большевицкого ГУЛАГа. Сама форма трибунала взята большевиками у якобинцев, но значительно развита (количество местных трибуналов, специализированные военные, железнодорожные, речные трибуналы и т. д.). У якобинцев перенято ещё прежде того — обвинение целых сословных групп. Из

первых мер августа 1792: аристократы и священники все вкупе, без разбору, объявляются заговорщиками, семьи эмигрантов — *заложниками,* какое знакомое слово! Например, в случае беспорядков в коммуне священник того прихода, если он не присягал новому порядку, автоматически отправляется в тюрьму. Всё так же и в России: врагами объявляются чохом за одну лишь принадлежность к «враждебным классам» — дворянству, священству или «буржуазии», или просто как «вызывающие подозрение», — и за всё то могут быть арестованы на неопределённое время, содержимы заложниками, а то и расстреляны. Само это выражение — «наблюдать за подозрительными», так знакомое нам при большевиках, содержится, например, в инструкции комиссарам на места (9 нивоза II года, 29 декабря 1793). А от кого об этих подозрительных узнавать? от местных «народных обществ» (предшественники коммунистических комбедов; и те и другие, отслужив кровавую службу, затем распущены).

И в трибунальских обвинениях та же непомерность, фантастичность, смешение несмешаемого. Во Франции, например, обвинения Эро де Сешеля: соучастник герцога Орлеанского, Бриссо, Эбера, Дюмурье и Мирабо — и это одновременно! у нас — соучастники эсеровского, кадетского заговоров, белых вождей, англо-французской буржуазии, германской, все в одну кучу. Цецилия Рено, ещё девочка, но обвиняемая в повторе замысла Шарлотты Корде, отправлена под гильотину с 53 «соучастниками», которых она никогда и в глаза не видела. Сколько придуманных «заговоров» там и здесь! Размах террора и бездушье его (чтобы не сказать «дух») — определяющее сходство обеих диктатур. Даже в технических деталях: Карье на Луаре уже использовал самозатанывающие барки — правда с трупами, у большевиков — с сотнями живых, на Волге, на Каспии, на Белом море. Правда, у якобинцев ещё только гильотина, а у большевиков — сразу и массовые концентрационные лагеря *сверх* смертных приговоров, размах

которых у большевиков несравненно больше — в месяц не 65, а многие тысячи. И тут и там — возникновение массы добровольных доносчиков и немалого числа палачей, буквальных и опосредствованных. И тут и там — доносы как доказательство гражданственности. (Даже члены Конвента не ночевали дома из осторожности, но ВЦИК, после чистки от левых эсеров, сам не испытывал ужаса перед террором: большевицкий террор ещё многие годы, ещё 20 лет, был направлен вне своей банды, не внутрь.) Разумеется, не обошлось и без того сходства, что трибунальские комиссии 1793-94, как и ЧК 1918-21, охотно берут взятки, за деньги и драгоценности освобождают обречённых — естественный ход для корыстных низких убийц. Практически — грабят и те и другие.

И такое сходство существенно: именно при якобинцах и большевиках (гениально замыслено или стихийно найдено) строится кровавая круговая порука всех замаранных в революции: соучастники доносов, расправ, совместных убийств и грабежей, во Франции ещё и — владельцы ассигнаций на конфискованное церковное имущество. Ещё отчётливей это проведено там при казни Людовика XVI: казнь пропущена через отъявленную публичность, громогласное поимённое голосование членов Конвента, так отрезаются дороги и всей революции и каждому проголосовавшему политику. Тут большевики по внешней обрядности отступили от образца: убийство Николая II и его семьи проведено как тайный бандитский расстрел, без поиска общественного резонанса, просто отрезать возможность реставрации трона. Да коммунистическая партия и не нуждалась в этом частном усилении круговой поруки, множеством убийств она была уже закреплена. (И если казнь Людовика прозвучала как сигнал нападению Европы на Францию, впрочем вялому, то казнь Николая прошла как глухой эпизод гражданской войны, не имевший последствий.)

Сходны приёмы и мнимых «выборов» на якобинский или большевицкий лад: без самого *выбора*, без права избирателей свободно сноситься между собой,

вступать в соглашение, а то даже с обязательной предварительной присягой о ненависти к «врагам» и удостоверением, что не имеет родственников-эмигрантов.

Бывают и личные сходства. Полубесплотная неполнокровность Робеспьера напоминает такую же нежить Ленина. (Но очень живо оба прячутся от опасности — Робеспьер в июле 1791, после расстрела на Марсовом поле, Ленин — в июле 1917, после своего неудавшегося мятежа.) Впрочем, Робеспьер действовал как бы под гипнозом уверенности в своей правоте, у Ленина всего лишь — верная сметка политических обстоятельств и одержимость захватным действием.

А вот существенное различие. Якобинцы не выполняли задачи последовательного разрушения своей нации и национального чувства, у них слово «патриот» не только не было запрещено, но стало гордым синонимом якобинца и революционера. Ленин же говорил: «мы — антипатриоты», и большевики последовательно проводили уничтожение русского самосознания (в миллионах жертв — и русского тела), — и так было до тех пор, пока не нависла угроза Гитлера, и нечем больше было спасти государство, как русским патриотизмом. Это различие во многом объясняется и тем, что Франция (при 30 миллионах) была страной скорее однонациональной, с более отчётливым пониманием единого Отечества, а российская революция (при населении в 170 миллионов) осложнялась пёстрой многонациональностью страны.

12

Параллели и сходства решительно прекращаются от Термидора. У французской революции был этот попятный пункт, у российской не было никогда никакого. Слабой и неудачной попыткой задержать ход революции были корниловские дни (август 1917). Что НЭП (не содержавший никакого политического отступления) есть Термидор — это

взрыдное преувеличение «старых большевиков», фанатиков и убийц гражданской войны. И истеричен изворот Троцкого — «сталинский Термидор». Мы в России остались в руках коммунистической власти, и она однолинейно развивалась на нашем массовом уничтожении и вымаривании вот уже 70 лет. Во Франции, напротив, от Термидора было сложное зигзагообразное развитие, были периоды выразить и антиреволюционные чувства.

А весь-то слом произошёл всего лишь от того, что Робеспьер не запасся достаточной военной силой в чётком подчинении, его Комитет Общественной Безопасности, полиция далеко не дотягивали до организации ЧК, и террор Робеспьера оказался на коротких ножках. В решающий момент Робеспьер всего лишь беспомощно шагал по скамьям Конвента, взывая о последней поддержке — от центра, от правых... Зверино-предусмотрительные Ленин и Сталин никогда бы не сорвались подобным образом. Конечно, Ленин и не потерял эмигрантского времени, оглядываясь на предыдущие революции, учитывая их опыт. Такого планомерного и прочного захвата власти (сентябрь 1917 — сентябрь 1918) французская революция не знала на всём своем протяжении, ни в одной из перипетий.

Эта «обязательность» Термидора в схеме подражания французской революции сыграла дурную шутку с российскими социалистами (и со всей Россией...). Им «понятно» было, что крайне-левые (большевики) не могут закрепиться у власти, а такой попыткой только «откроют путь контрреволюции», — и все февралисты всё ополчались против «контрреволюции справа», не мешая большевикам за их спиной захватывать власть. Большевики отлично в этом успели, взяли в железную хватку, и бесповоротно, безо всякого «Термидора».

Как следствие Термидора во Франции наступило скорое возмездие ближайшим отличившимся палачам (далеко не всем), единодушное народное движение требовало такого возмездия. В СССР никогда за

70 лет никакая форма явного возмездия явным палачам не наступала, — лишь по размашистому провороту революционного колеса часть палачей статистически попала под расправу, когда прореживались ряды большевицкой верхушки.

Однако Термидор и показывает нам, что такой мощный революционный размах не может быть ликвидирован одним удачным переворотом. На Термидоре революция задержалась, но далеко не остановилась, якобинцы оказались ещё долго живучи. Последовал протяжный период шатаний и разнонаправленных переворотов или подавлений: бунты «пустых желудков» — 13 вандемьера (1795) — заговор бабувистов (1796) — фруктидорский переворот (1797) — директо́рский переворот 22 флореаля (1798) — переворот 30 прериаля (1799, и даже тут ещё требовали восстановить Комитет Общественного Спасения, гильотину, заложников и все террористические законы) — наконец бонапартистский 18 брюмера (8 ноября 1799). (Характерно, что во всей цепи этих переворотов непрерывно существовал в той или иной форме законодательный корпус, но ничему не помешал. Доходили до такого извращения, закон 12 плювиоза 1798, что правильность полномочий новоизбранных депутатов будет утверждаться... сменяемыми депутатами!)

Приход Наполеона был достаточным отступом от надоевшей всем революции и вместе с тем не возвратом к старому порядку, уже невозможному. Поскольку в России не было Термидора — не было и Наполеона (ложная идея искать черты сходства со Сталиным, их можно сравнить только в политической ловкости и бесстыдстве). Не получила у нас сильного развития и самостоятельная роль генералов в армии (как с 1794-95), но Белое движение инстинктивно верно уклонилось от того, чтобы ставить непременным условием реставрацию старого порядка.

Во Франции не остановилось и на том: и после Наполеона ещё две немалых революции и крупный переворот, ещё раз пришлось ей пройти через этот

цикл: королевская монархия — республика — императорский переворот, — и ещё несколько типов республик. Это показывает, что крупная революция есть процесс *вековой*: и в тех случаях, когда она развивается безостановно. Беспощадное, неуклонное продолжение революции вырождает и уничтожает народ, как мы видим в СССР. Попытки же пресечь революцию — тяжело болезненны и с повторными кризисами. Но если во Франции в конце концов установилась свобода, то именно благодаря попятным шагам революции. (Как — вот недавно — в Испании, Португалии.) У нас не было попятных шагов от пропасти — и нет свободы.

Хорошо видна болезненность революционного процесса при всех вариантах: сотрясённые нравы не возвращаются так просто к нормальной жизни, но проявляются в безумных, вызывающих и мрачных крайностях. Так после Термидора мы видим годами: вихри веселья, разгул до садизма, «балы жертв», танцы на Гревской площади, танцы на кладбищах, безумные траты, игрища, наглость роскоши. (Слабое подобие того мы видим в СССР у нэпманов, что лишний раз указывает на коренные свойства и ограниченность человеческой натуры.) И рядом с этим — обнищание масс, голод, отчаяние. В СССР это протянулось сплошным вековым геноцидом собственного населения.

13

Среди различий ещё следовало бы указать, что в ходе французской революции самый принцип частной собственности весьма соблюдался, а Робеспьер объявлял его даже священным. И когда собственность отнималась у одних (у Церкви, у эмигрантов), то обогащались другие. Тут большевики гораздо последовательней якобинцев: частная собственность была проклята и попрана, ограблены многие, в том числе крестьянство: у них отобрали и весь уро-

жай, и весь инвентарь, и всю землю. Формально эта собственность перешла к государству, но по расточительности и неумелости ведения не обогатила нации. (С годами большевики, однако, привыкли к приятной собственности для самих себя, оформленной как государственная.) Опустошительно это сказалось и на судьбе лесов: во Франции вследствие революции их распродали в частную собственность и так быстро, хищно уничтожили. В СССР эту великую задачу уничтожения национального богатства ещё последовательней выполнило само безумное государство. (Хотя именно государственная собственность в нормальном государстве спасительна для лесов).

Не было в российской революции и полосы прописной добродетели, как при Робеспьере, и среди ходких политических обвинений не звучало обвинение в развращении нравов или недостаточной их чистоте.

Отпечатались и различия национального характера. В России не было того чувства аристократической игры и насмешки, с какими французские дворяне прожигали первую революционную зиму. Французская революция далеко превосходит нашу и в красноречии и броскости публичных фраз, не звучали у нас так эффектно кровавые словесные обвинения. Не было у нас и таких театральных сцен, как красный колпак, насаженный на голову Людовика (20 июня 1792), и король пьёт вино вместе с чернью; или развязных парижских проституток и торговок в Учредительном Собрании (4 октября 1789); или голов, или сердец, в торжестве носимых на пиках по улицам, в Конвент; медленной резки жертв саблями (продлить страдания), как во Франции в сентябре 1792; или поцелуев между депутатами, перед тем обменявшимися пощечинами; и заметного числа самоубийств у тех, кому грозила смерть по трибуналу; или сцен, как (Термидор) молодые люди целуют края одежд террористов (Тальен, Фрерон, Баррас), освободивших от террористов горших; и такого значительного участия театра в политических переживаниях столицы; и таких политических ярких женских фигур, как мадам Рол-

лан, баронесса де Сталь, Терезия Кабарюс, ещё несколько. (Если не считать российских революционерок давнего предреволюционного периода.) Пожалуй, невозможен был у нас поварской помощник Дено, который 10 лет гласно добивался себе медали за то, что отрубил голову уже растерзанного коменданта Бастилии. (Но негласно у нас получали равноценные награды и раньше.)

С другой стороны, небезынтересно было бы проследить все случаи прямых копирований: от навязчивой (с 1904 и раньше) идеи Учредительного Собрания при царствующем монархе, от марсельезы первых же дней революции, от назойливых подражательных сравнений на языках и в газетах — до комиссаров при армейских начальниках, до реквизиции одежды и обуви населения в пользу армии или метода однообразных (и грозных) резолюций армейских частей (испробованных, когда Бонапарт готовился выступить во фруктидорском перевороте, 1797). Может быть, и большевицкая конституция июля 1918 тоже повторяла прием Конвента 1793: в шаткое время издать ложную, недейственную конституцию, чтобы дезорганизовать противников. (О потоплении казнимых уже сказано выше.)

14

Немалочисленные сходства, упомянутые здесь, тем более поучительны, что две сопоставляемые революции принадлежат к разным, не вовсе аналогичным стадиям человеческой истории.

Однако саморазумейная одноприродность революций в том, что при всей конкретной непредсказуемости их ходов общее положение страны и народа длительно идёт к худшему и худшему. Революция всегда есть пылающая болезнь и катастрофа. Это размáх (крушение) от больших высоких надежд и ограниченности первичных задач — до полного разорения страны, всеобщего голода, обесценения денег,

упадка производства, народной усталости, тошнотворного равнодушия, и хуже — к озверению нравов, к атмосфере всеобщей ненависти, разнузданию зависти, жадности к захвату чужих имуществ (у большевиков открыто сформулировано: «грабь награбленное!»), прорыву самых первобытных инстинктов, к разложению национального характера и порче языка. К распаду семьи (лёгкости одностороннего развода), неуважению к старшим, неуважению и к смерти и к похоронам. Это размах от лозунгов самой неограниченной свободы — уж не скажем к гильотине и подвалам ЧК, но к парламентским депутатам, высылаемым в железных клетках (Фруктидор), а затем к государству куда более централизованному, чем предреволюционное, — и даже в короткий срок. И ещё непременно: всякая революция насыщена сгущённым числом отвратительных фигур, она как бы взмучивает их с морального дна, притягивает из разрозненности и небытия, а некоторых таких даже и обожествляет — после смерти (как Марат, Ленин), а то и при жизни (Робеспьер, Сталин). Открывает революция чёрные пропасти и в таких людях, которые без неё прожили бы вполне благопристойно.

Приоткрывает нам большая революция и такие глубины бытия, которые сомнительно назвать просто физическими. И которые доныне услеживаются лишь немногими.

1984

КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ РОССИЮ?

Посильные соображения

БЛИЖАЙШЕЕ

Часы коммунизма — своё отбили.

Но бетонная постройка его ещё не рухнула.

И как бы нам, вместо освобождения, не расплющиться под его развалинами.

МЫ — НА ПОСЛЕДНЕМ ДОКАТЕ

Кто из нас теперь не знает наших бед, хотя и покрытых лживой статистикой? Семьдесят лет влачась за слепородной и злокачественной марксо-ленинской утопией, мы положили на плахи или спустили под откос бездарно проведенной, даже само-истребительной, «Отечественной» войны — треть своего населения. Мы лишились своего былого изобилия, уничтожили класс крестьянства и его селения, мы отшибли самый смысл выращивать хлеб, а землю отучили давать урожаи, да ещё заливали её морями-болотами. Отходами первобытной промышленности мы испакостили окружности городов, отравили реки, озёра, рыбу, сегодня уже доконечно губим последнюю воду, воздух и землю, ещё и с добавкой атомной смерти, ещё и прикупая на хранение радиоактивные отходы с Запада. Разоряя себя для будущих великих захватов под обезумелым руководством, мы вырубили свои богатые леса, выграбили свои несравненные недра, невосполнимое достояние наших правнуков, безжалостно распродали их за границу. Изнурили наших женщин на ломовых неподымных работах, оторвали их от детей, самих детей пустили в болезни, в дикость и в подделку образования. В полной запущи у нас здоровье, и нет лекарств, да даже еду здоровую мы уже забыли, и миллионы без жилья, и беспомощ-

ное личное бесправие разлито по всем глубинам страны, — а мы за одно только держимся: чтоб не лишили нас безуёмного пьянства.

Но так устроен человек, что всю эту бессмыслицу и губление нам посильно сносить хоть и всю нашу жизнь насквозь — а только бы кто не посягнул обидеть, затронуть нашу н а ц и ю! Тут — уже нас ничто не удержит в извечном смирении, тут мы с гневной смелостью хватаем камни, палки, пики, ружья и кидаемся на соседей поджигать их дома и убивать. Таков человек: ничто нас не убедит, что наш голод, нищета, ранние смерти, вырождение детей — что какая-то из этих бед первей нашей национальной гордости!

И вот почему, берясь предположить какие-то шаги по нашему выздоровлению и устройству, мы вынуждены начинать не со сверлящих язв, не с изводящих страданий — но с ответа: а как будет с нациями? в каких географических границах мы будем лечиться или умирать? А уже потом — о лечении.

А ЧТÓ ЕСТЬ РОССИЯ?

Эту «Россию» уже затрепали-затрепали, всякий её прикликает ни к ляду, ни к месту. И когда чудовище СССР лез захватывать куски Азии или Африки — тоже во всём мире твердили: «Россия, русские...»

А ч т о же именно есть Россия? Сегодня. И — завтра (ещё важней). К т о сегодня относит себя к будущей России? И г д е видят границы России сами русские?

За три четверти века — при вдолбляемой нам и прогрохоченной «социалистической дружбе народов» — коммунистическая власть столько запустила, запутала и намерзила в отношениях между этими народами, что уже и путей не видно, как нам бы вернуться к тому, с прискорбным исключением, спокойному сожитию наций, тому даже дремотному не-

различению наций, какое было почти достигнуто в последние десятилетия предреволюционной России. Ещё б, может, и не упущено разобраться и уладить — да не в той лихой беде, как буре, завертевшей нас теперь. Сегодня видится так, что мирней и открытей для будущего: кому надо бы разойтись на отдельную жизнь, так и разойтись. И именно при этом всеместном национальном изводе, заслоняющем нам остальную жизнь, хоть пропади она, при этой страсти, от которой сегодня мало кто в нашей стране свободен.

Увы, многие мы знаем, что в коммунальной квартире порой и жить не хочется. Вот — так сейчас у нас накалено и с нациями.

Да уже во многих окраинных республиках центробежные силы так разогнаны, что не остановить их без насилия и крови — да и не надо удерживать такой ценой! Как у нас всё теперь поколесилось — так всё равно «Советский Социалистический» развалится, всё равно! — и выбора настоящего у нас нет, и размышлять-то не над чем, а только — поворачиваться проворней, чтоб упредить беды, чтобы раскол прошёл без лишних страданий людских, и только тот, который уже действительно неизбежен.

И так я вижу: надо безотложно, громко, чётко объявить: три прибалтийских республики, три закавказских республики, четыре среднеазиатских, да и Молдавия, если её к Румынии больше тянет, эти одиннадцать — да! — *непременно и бесповоротно будут отделены*. (А о процессе отделения — страницами ниже.)

О Казахстане. Сегодняшняя огромная его территория нарезана была коммунистами без разума, как попадя: если где кочевые стада раз в год проходят — то и Казахстан. Да ведь в те годы считалось: это совсем неважно, где границы проводить, — ещё немножко, вот-вот, и все нации сольются в одну. Проницательный Ильич-первый называл вопрос границ «даже десятистепенным». (Так — и Карабах отрезали к Азербайджану, какая разница — куда, в тот момент надо было угодить сердечному другу Советов — Турции.) Да до 1936 года Казахстан ещё считался

автономной республикой в РСФСР, потом возвели его в союзную. А составлен-то он — из южной Сибири, южного Приуралья да пустынных центральных просторов, с тех пор преображённых и восстроенных — русскими, зэками да ссыльными народами. И сегодня во всём раздутом Казахстане казахов — заметно меньше половины. Их сплотка, их устойчивая отечественная часть — это большая южная дуга областей, охватывающая с крайнего востока на запад почти до Каспия, действительно населённая преимущественно казахами. И коли в этом охвате они захотят отделиться — то и с Богом.

И вот за вычетом этих двенадцати — только и останется то, что можно назвать Русь, как называли издавна (слово «русский» веками обнимало малороссов, великороссов и белорусов), или — Россия (название с XVIII века), или, по верному смыслу теперь: Российский Союз.

И всё равно — ещё останется в нем сто народов и народностей, от вовсе немалых до вовсе малых. И вот тут-то, с этого порога — можно и надо проявить нам всем великую мудрость и доброту, только от этого момента можно и надо приложить все силы разумности и сердечности, чтоб утвердить плодотворную содружность наций, и цельность каждой в ней культуры, и сохранность каждого в ней языка.

СЛОВО К ВЕЛИКОРОССАМ

Ещё в начале века наш крупный государственный ум С. Е. Крыжановский предвидел: «Коренная Россия не располагает запасом культурных и нравственных сил для ассимиляции всех окраин. Это истощает русское национальное ядро.»

А ведь то сказано было — в богатой, цветущей стране, и прежде всех миллионных истреблений нашего народа, да не слепо подряд, а уцеленно выбивавших самый русский *отбор*.

А уж сегодня это звучит с тысячекратным смыслом: нет у нас сил на окраины, ни хозяйствен-

ных сил, ни духовных. Нет у нас сил на Империю! — и не надо, и свались она с наших плеч: она размозжает нас, и высасывает, и ускоряет нашу гибель.

Я с тревогой вижу, что пробуждающееся русское национальное самосознание во многой доле своей никак не может освободиться от пространнодержавного мышления, от имперского дурмана, переняло от коммунистов никогда не существовавший дутый «советский патриотизм» и гордится той «великой советской державой», которая в эпоху чушки Ильича-второго только изглодала последнюю производительность наших десятилетий на бескрайние и никому не нужные (и теперь вхолостую уничтожаемые) вооружения, опозорила нас, представила всей планете как лютого жадного безмерного захватчика — когда наши колени уже дрожат, вот-вот мы свалимся от бессилия. Это вреднейшее искривление нашего сознания: «зато большая страна, с нами везде считаются», — это и есть, уже при нашем умирании, беззаветная поддержка коммунизма. Могла же Япония примириться, отказаться и от международной миссии и от заманчивых политических авантюр — и сразу расцвела.

Надо теперь жёстко выбрать: между Империей, губящей прежде всего нас самих, — и духовным и телесным спасением нашего же народа. Все знают: растёт наша смертность, и превышает рождения, — мы так исчезнем с Земли! Держать великую Империю — значит вымертвлять свой собственный народ. Зачем этот разнопёстрый сплав? — чтобы русским потерять свое неповторимое лицо? Не к широте Державы мы должны стремиться, а к ясности нашего духа в остатке её. Отделением двенадцати республик, этой кажущейся жертвой, — Россия, напротив, освободит сама себя для драгоценного *внутреннего* развития, наконец обратит внимание и прилежание на саму себя. Да в нынешнем смешении — какая надежда и на сохранение, развитие русской культуры? всё меньшая, всё идёт — в перемес и в перемол.

К сожалению, этот мираж «единонеделимства» 70 лет несла через свою нищету и беды и наша стойкая, достойная русская эмиграция. Да ведь для «единонеделимца» 1914 года — и Польша «наша» (взбалмошная фантазия Александра I «осчастливить» её своим попечительством), и никак «отдать» её нельзя. Но кто возьмётся настаивать на этом сегодня? Неужели Россия обеднилась от отделения Польши и Финляндии? Да только распрямилась. И так — ещё больше распрямимся от давящего груза «среднеазиатского подбрюшья», столь же необдуманного завоевания Александра II, — лучше б эти силы он потратил на недостроенное здание своих реформ, на рождение подлинно народного земства.

Наш философ этого века Ив. А. Ильин писал, что духовная жизнь народа важней охвата его территории или даже хозяйственного богатства; выздоровление и благоденствие народа несравненно дороже всяких внешних престижных целей.

Да окраины уже реально отпадают. Не ждать же нам, когда наши беженцы беспорядочно хлынут оттуда уже миллионами.

Надо перестать попугайски повторять: «мы гордимся, что мы русские», «мы гордимся своей необъятной родиной», «мы гордимся...». Надо понять, что после всего того, чем мы заслуженно гордились, наш народ отдался духовной катастрофе Семнадцатого года (шире: 1915—1932), и с тех пор мы — до жалкости не прежние, и уже нельзя в наших планах на будущее заноситься: как бы восстановить государственную мощь и внешнее величие прежней России. Наши деды и отцы, «втыкая штык в землю» во время смертной войны, дезертируя, чтобы пограбить соседей у себя дома, — уже тогда *сделали выбор* за нас — пока на одно столетие, а то, смотри, и на два. Не гордиться нам и советско-германской войной, на которой мы уложили за 30 миллионов, вдесятеро гуще, чем враг, и только утвердили над собой деспотию. Не «гордиться» нам, не протягивать лапы к чужим жизням — а осознать свой народ в провале изможда-

щей болезни, и молиться, чтобы послал нам Бог выздороветь, и разум действий для того.

А если верно, что Россия эти десятилетия отдавала свои жизненные соки республикам, — так и хозяйственных потерь мы от этого не понесём, только экономия физических сил.

СЛОВО К УКРАИНЦАМ И БЕЛОРУСАМ

Сам я — едва не на половину украинец, и в ранние годы рос при звуках украинской речи. А в скорбной Белоруссии я провёл большую часть своих фронтовых лет, и до пронзительности полюбил её печальную скудость и её кроткий народ.

К тем и другим я обращаюсь не извне, а как *свой*.

Да народ наш и разделялся на три ветви лишь по грозной беде монгольского нашествия да польской колонизации. Это всё — придуманная невдавне фальшь, что чуть не с IX века существовал особый украинский народ с особым не-русским языком. Мы все вместе истекли из драгоценного Киева, «откуду русская земля стала есть», по летописи Нестора, откуда и засветило нам христианство. Одни и те же князья правили нами: Ярослав Мудрый разделял между сыновьями Киев, Новгород и всё протяжение от Чернигова до Рязани, Мурома и Белоозера; Владимир Мономах был одновременно и киевский князь и ростово-суздальский; и такое же единство в служении митрополитов. Народ Киевской Руси и создал Московское государство. В Литве и Польше белорусы и малороссы сознавали себя русскими и боролись против ополяченья и окатоличенья. Возврат этих земель в Россию был всеми тогда осознаваем как *Воссоединение*.

Да, больно и позорно вспомнить указы времен Александра II (1863, 1876) о запрете украинского языка в публицистике, а затем и в литературе, — но это не продержалось долго, и это было из тех умопомрачных окостенений и в управительной, и в церковной политике, которые подготовляли падение рос-

сийского государственного строя.

Однако и суетно-социалистическая Рада 1917 года составилась соглашением политиков, а не была народно избрана. И когда, переступив от федерации, объявила выход Украины из России — она не опрашивала всенародного мнения.

Мне уже пришлось отвечать эмигрантским украинским националистам, которые втерживают Америке, что «коммунизм — это миф, весь мир хотят захватить не коммунисты, а русские» (и вот — «русские» уже захватили Китай и Тибет, так и стоит уже 30 лет в законе американского Сената). Коммунизм — это такой *миф*, который и русские, и украинцы испытали на своей шее в застенках ЧК с 1918 года. Такой *миф*, что выгреб в Поволжьи даже семенное зерно, и отдал 29 русских губерний засухе и вымирательному голоду 1921-22 года. И тот же самый *миф* предательски затолкал Украину в такой же беспощадный голод 1932-33. И вместе перенеся от коммунистов общую кнуто-расстрельную коллективизацию, — неужели мы этими кровными страданиями не соединены?

В Австрии и в 1848 галичане ещё называли свой национальный совет — «Головна Русска Рада». Но затем в отторгнутой Галиции, при австрийской подтравке, были выращены искажённый украинский ненародный язык, нашпигованный немецкими и польскими словами, и соблазн отучить карпатороссов от русской речи, и соблазн полного всеукраинского сепаратизма, который у вождей нынешней эмиграции прорывается то лубочным невежеством, что Владимир Святой «был украинец», то уже невменяемым накалом: нехай живе коммунизм, абы сгубились москали!

Ещё бы нам не разделить боль за смертные муки Украины в советское время. Но откуда этот замах: по живому отрубить Украину (и ту, где сроду старой Украины не было, как «Дикое Поле» кочевников — Новороссия, или Крым, Донбасс и чуть не до Каспийского моря). И если «самоопределение нации» —

так нация и должна свою судьбу определять с а м а. Без всенародного голосования — этого не решить.

Сегодня отделять Украину — значит резать через миллионы семей и людей: какая перемесь населения; целые области с русским перевесом; сколько людей, затрудняющихся выбрать себе национальность из двух; сколькие — смешанного происхождения; сколько смешанных браков — да их никто «смешанными» до сих пор не считал. В толще основного населения нет и тени нетерпимости между украинцами и русскими.

Братья! Не надо этого жестокого раздела! — это помрачение коммунистических лет. Мы вместе перестрадали советское время, вместе попали в этот котлован — вместе и выберемся.

И за два века — какое множество выдающихся имён на пересечении наших двух культур. Как формулировал М. П. Драгоманов: «Неразделимо, но и не смесимо.» С дружелюбием и радостью должен быть распахнут путь украинской и белорусской культуре не только на территории Украины и Белоруссии, но и Великороссии. Никакой насильственной русификации (но и никакой насильственной украинизации, как с конца 20-х годов), ничем не стеснённое развитие параллельных культур, и школьные классы на обоих языках, по выбору родителей.

Конечно, если б украинский народ *действительно пожелал* отделиться — никто не посмеет удерживать его силой. Но — разнообразна эта обширность, и только *местное* население может решать судьбу своей местности, своей области, — а каждое новообразуемое при том национальное меньшинство в этой местности — должно встретить такое же ненасилие к себе.

Всё сказанное полностью относится и к Белоруссии, кроме того, что там не распаляли безоглядного сепаратизма.

И ещё: поклониться Белоруссии и Украине мы должны за чернобыльское бедовище, учинённое карьеристами и дураками советской системы, — и исправлять его, чем сможем.

СЛОВО К МАЛЫМ НАРОДАМ И НАРОДНОСТЯМ

И после всех отделений наше государство всё равно, неизбежно, останется многонародным, хотя мы не гонимся за тем.

Для некоторых, даже и крупных, наций, как татары, башкиры, удмурты, коми, чуваши, мордва, марийцы, якуты, — почти что и выбора нет: непрактично существовать государству, вкруговую охваченному другим. У иных национальных областей — будет внешняя граница, и если они захотят отделяться — запрета не может быть и здесь. (Да ещё и не во всех автономных республиках коренная народность составляет большинство.) Но при сохранении всей их национальной самобытности в культуре, религии, экономике — есть им смысл и остаться в Союзе.

Как показало в XX веке создание многих малых государственных образований — это непосильно обременяет их избытком учреждений, представительства, армией, отсекает от пространных территорий разворота торговли и общественной деятельности. Так и горские кавказские народы, пред революцией столь отличавшиеся в верности российскому трону, вероятно ещё поразмыслят, есть ли расчёт им отделяться. Не крупный Российский Союз нуждается в примыкании малых окраинных народов, но они нуждаются в том больше. И — исполать им, если хотят с нами.

В советской показной и лживой государственной системе присутствуют, однако, и верные, если честно их исполнять, элементы. Таков — Совет Национальностей, палата, где должен быть услышан, не потерян голос и самой наималейшей народности. И вместе с тем справедлива нынешняя иерархия: «союзных республик» — автономных республик — автономных областей — и национальных округов. Численный вес народа не должен быть в пренебрежении, отказываться от этой пропорциональности — путь к хаосу; так может прозябать ООН, но не жизнеспособное государство.

Крымским татарам, разумеется, надо открыть пол-

ный возврат в Крым. Но при плотности населения XXI века Крым вместителен для 8—10 миллионов населения — и стотысячный татарский народ не может себе требовать *владения* им.

И наконец — наималейшие народности: ненцы, пермяки, эвенки, манси, хакасцы, чукчи, коряки... и не перечислить всю дробность. Все они благополучно жили в царской «тюрьме народов», а к вымиранию поволокли их мы, коммунистический Советский Союз. Сколько зла причинила им окаянщина нашей администрации и наша хищная и безмозглая индустрия, неся гибель и отраву их краям, выбивая из-под этих народностей последнюю жизненную основу, особенно тех, чей объём так угрожающе мал, что не даёт им бороться за выживание. Надо успеть — подкрепить, оживить и спасти их! Ещё не вовсе поздно.

Каждый, и самый малый, народ — есть неповторимая грань Божьего замысла. Перелагая христианский завет, Владимир Соловьев написал: «Люби все другие народы, как свой собственный.»

XX век содрогается, развращается от политики, освободившей себя от всякой нравственности. Что требуется от любого порядочного человека, от того освобождены государства и государственные мужи. Пришёл крайний час искать более высокие формы государственности, основанные не только на эгоизме, но и на сочувствии.

ПРОЦЕСС РАЗДЕЛЕНИЯ

Итак, о б ъ я в и т ь о несомненном праве на полное отделение тех двенадцати республик — надо безотлагательно и твёрдо. А если какие-то из них заколеблются, отделяться ли им? С той же несомненностью вынуждены объявить о *нашем* отделении от них — мы, оставшиеся. Это — уже слишком назрело, это необратимо, будет взрываться то там, то сям; все уже видят, что вместе нам не жить. Так не длить взаимное обременение.

Ещё этот мучительный и затратный процесс разде-

ления отяжелит первый переходный период для всех нас, первую пору нового развития: сколько ещё нужно средств, средств, когда их и так нет. Однако лишь это разделение прояснит нам прозор будущего.

Но самого́ реального отделения нельзя произвести никакой одноминутной декларацией. Всякое одностороннее резкое действие — это повреждение множества человеческих судеб и взаимный развал хозяйства. И это не должно быть похоже, как бежали португальцы из Анголы, отдав её беспорядку и многолетней гражданской войне. С этого момента должны засесть за работу комиссии экспертов всех сторон. Не забудем и: как безответственно-небрежна была советская прометка границ. В каких-то местах может понадобиться уточнённая, по истинному расселению, в каких-то — и местные плебисциты под беспристрастным контролем.

Конечно, вся эта разборка может занять несколько лет.

Перед миллионами людей встанет тяжелый вопрос: оставаться, где они живут, или уезжать? — а это связано с разорением всей их жизни, быта и нуждою в значительной помощи. (И не только для русских с окраин, но и окраинных уроженцев, живущих ныне в России.) Куда ехать? где новый кров? как дожить до новой работы? Это должно стать не личной бедой, а заботой вот этих комиссий экспертов и государственных компенсаций. И каждое новосозданное государство должно дать чёткие гарантии прав меньшинств.

И ещё сложней: как наладится безболезненная разъёмка народных хозяйств или установление торгового обмена и промышленного сотрудничества на независимой основе.

И вот только в ходе этой работы и даже лишь по окончании её перед каждым государственным образованием подымутся его подлинные Проблемы, а не тот заядлый «национальный вопрос», который так натёр

шею нам теперь, что перекосил все чувства и всю действительность.

Из того будущего разительные неожиданности проступают нам и сейчас. Так нетерпеливо жаждет национальной независимости Грузия! (Впрочем, Россия не завоёвывала её насильственно, а только Ленин в 1921.) А вот уже сегодня: притеснение абхазцев, притеснение осетин и недопуск на исконную родину высланных Сталиным месхов, — неужели это и есть желанная национальная свобода?

За что б мы ни взялись, над чем бы ни задумались в современной политической жизни — никому из нас не ждать добра, пока наша жестокая воля гонится лишь за нашими *интересами*, упуская не то что Божью справедливость, но самую умеренную нравственность.

НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРЫ РОССИЙСКОГО СОЮЗА

За три четверти века так выбедняли мы, засквернели, так устали, так отчаялись, что у многих опускаются руки, и уже кажется: только вмешательство Неба может нас спасти.

Но не посылается Чудо тем, кто не силится ему навстречу.

И судьба наших детей, и наша воля к жизни, и наше тысячелетнее прошлое, и дух наших предков, перелившийся же как-то в нас, — помогут найти силы преодолеть и это, и это всё.

И хоть не отпущено нам времени размышлять о лучших путях развития и составлять размеренную программу, и обречены мы колотиться, метаться, затыкать пробоины, обтесняют нас первосущные нужды, вопиющие каждая о своём, о своём, — не должны мы терять хладнокровия и предусмотрительной мудрости в выборе первых мер.

Я не берусь в одиночку перечислять их: должны сойтись на совет здравые практические умы, на сотрудничество — лучшие энергии. Рыдает всё в нашем сегодняшнем хозяйстве, и надо искать ему путь, без

этого жить нельзя. И надо же скорей открыть людям трудовой смысл, ведь уже полвека никому нет никакого расчёта работать! и некому хлеб выращивать, и некому за скотом ходить. И миллионы обитают так, что и жилищами назвать нельзя, или по двадцать лет в гнойных общежитиях. И нищенствуют все старики и инвалиды. И загажены наши дивные когда-то просторы промышленными свалками, изрыты чудовищным бездорожьем. И мстит природа, неблагодарно презренная нами, и расползаются радиоактивные пятна Чернобыля, да не только его.

И ко всему теперь вот — готовить переселение соотечественникам, теряющим жительство? Да, неизбежно.

И — откуда же набрать средств?

А: до каких же пор мы будем снабжать и крепить — неспособные держаться тиранические режимы, насаженные нами в разных концах Земли, — этих бездонных расхитчиков нашего достояния? — Кубу, Вьетнам, Эфиопию, Анголу, Северную Корею, нам же — до всего дело! и это ещё не все названы, ещё тысячами околачиваются наши «советники», где ни попало. И столько крови пролито в Афганистане — жалко и его упустить? гони деньги и туда?.. Это всё — десятки миллиардов в год.

Вот кто н а э т о даст отрубный единомгновенный отказ — вот это будет государственный муж и патриот.

А до каких пор и зачем нам выдувать всё новые, новые виды наступательного оружия? да всеокеанский военный флот? Планету захватывать? А это всё — уже сотни миллиардов в год. И это тоже надо отрубить — в одночас. Может подождать — и Космос.

А ещё — льготное снабжение Восточной Европы нашим на всё страдательным сырьём. Пожили «социалистическим лагерем» — и хватит. За страны Восточной Европы — радуемся, и пусть живут и цветут свободно, — а платят за всё по мировым ценам.

И этого мало? Так пресечь безоглядные капитальные вложения в промышленность, не успевающие ожить.

Наконец — необозримое имущество КПСС, об этом уже все говорят. Награбили народного добра за 70 лет, попользовались. Конечно, уже не вернут ничего растраченного, разбросанного, расхищенного, — но отдайте хоть что осталось: здания, и санатории, и специальные фермы, и издательства, — и живите на свои членские взносы. (И за чисто партийный стаж — платите и пенсии сами, не от государства.)

И всю номенклатурную бюрократию, многомиллионный тунеядный управительный аппарат, костенящий всю народную жизнь, — с их высокими зарплатами, поблажками да специальными магазинами, — кончаем кормить! Пусть идут на полезный труд, и сколько выручат. При новом порядке жизни четыре пятых министерств и комитетов тоже не станут нужны.

Вот отовсюду от этого — и деньги.

А на что ушло пять, скоро шесть лет многошумной «перестройки»? На жалкие внутрицекашные перестановки. На склёпку уродливой искусственной избирательной системы, чтобы только компартии не упустить власть. На оплошные, путаные и нерешительные законы.

Нет, не откроется народного пути даже к самому неотложному, и ничего дельного мы не достигнем, пока коммунистическая ленинская партия не просто уступит пункт конституции — но полностью устранится от всякого влияния на экономическую и государственную жизнь, полностью уйдёт от управления нами, даже какой-то отраслью нашей жизни или местностью. Хотелось бы, чтоб это произошло не силовым выжиманием и вышибанием её — но её собственным публичным раскаянием: что цепью преступлений, жестокостей и бессмыслия она завела страну в пропасть и не знает путей выхода. Вот чему пора, а не состраивать теперь для позорной преемственности новую РКП, принимать всю кровь и грязь

на русское имя и волочиться против хода истории. Такое публичное признание партией своей вины, преступности и беспомощности стало бы хоть первым разрежением нашей густо-гнетущей моральной атмосферы.

А ещё высится над нами — гранитная громада КГБ, и тоже не пускает нас в будущее. Прозрачны их уловки, что именно сейчас они особенно нужны — для международной разведки. Все видят, что как раз наоборот. Вся цель их — существовать для себя, и подавлять всякое движение в народе. Этому ЧКГБ с его кровавой 70-летней злодейской историей — нет уже ни оправдания, ни права на существование.

ЗЕМЛЯ

Для чего-то же дано земле — чудесное, благословенное свойство плодоносить. И — потеряны те скопления людей, кто не способен взять от неё это свойство.

Земля для человека содержит в себе не только хозяйственное значение, но и нравственное. Об этом убедительно писали у нас Глеб Успенский, Достоевский, да не только они.

Ослабление тяги к земле — большая опасность для народного характера. А ныне крестьянское чувство так забито и вытравлено в нашем народе, что, может быть, его уже и не воскресить, опоздано-перепоздано.

Как вводится сегодняшняя аренда — больше обман и издевательство, ни толку ни ряду, только хуже погубят охоту у людей, потянувшихся к земле. Арендаторы остаются в гнущей зависимости от колхозно-совхозных властей, и те могут вволю беззаконствовать. Под аренду выделяются часто худшие, заброшенные земли, и подороже берут за них, и инвентарь по завышенной цене, а продукцию вынуждают сдавать подешевле; то не дают обещанных кормов, то отбирают взятых на откорм животных, пропали и труд, и деньги; и «сельхозтехника» может внезапно

нарушить договор. Да участок земли — это ещё не свобода крестьянина, нужен же и свободный рынок, и доступный транспорт, и кредит, и ремонт техники, и строительный материал.

За все реформы мы берёмся как похуже — так и тут. Только губят дело и отбивают у людей последнюю веру в обещания власти.

Вообще по сравнению с колхозами — личная аренда (и не от колхозов, а от местного самоуправления) несомненный шаг к улучшению нашего сельского хозяйства. В норме, установленной для данной местности (в соответствии с кадастром), — аренда пожизненная и с неограниченной передачей по наследству; с отобранием участка лишь в случае небрежного землеуходства, но не от болезни семьи арендатора; с правом добровольного отказа от участка — и в этом случае оплатой арендатору того, что он вложил в землю и возвёл на ней. (И для всего этого совсем не нужен специальный административный аппарат над арендаторами: подобные случаи не будут многочисленны, и с ними управится местное земство.)

Однако при нынешней нашей отвычке от земли (и оправданном недоверии к властям, уже столько раз обманывавшим) — арендой, может быть, уже людей и не привлечь. К тому ж земельная аренда и не выдерживает экономической конкуренции с частной собственностью на землю, при которой и гарантировано длительное улучшение земли, а не истощение, и только при ней мы можем рассчитывать, что наше сельское хозяйство не будет уступать западному. И предвидя и требуя самодеятельности во *всех* областях жизни — как же не допустить её с землёй? Отказать деревне в частной собственности — значит закрыть её уже навсегда.

Но введение её должно идти с осторожностью. Уже при Столыпине были строгие ограничения, чтобы земля попадала именно в руки крестьян-земледельцев, а не крупных спекулянтов или на подставные имена, через «акционерные общества». А сегодня искоренено наше крестьянское сословие, вымерло; и

больше развязанной ловкости у анонимных спекулянтов из теневой экономики, уже накопивших первичные капиталы; и нынешняя подкупная администрация не способна на чёткий контроль, — сегодня, под маркой же «акционерных обществ», «организаций», «кооперативов», могли бы скупать едва ли не латифундии и затем сажать арендаторов уже от себя. (Не говоря уже о покупке земли иностранцами.) Такие покупки во всяком случае не должны быть допущены. Если земля окажется расхватана крупными владельцами — это сильно стеснит жизнь остальных. (Да и не можем мы такое допустить в предвидении близкого перенаселения всей планеты, тогда и нашей страны.)

Покупка земли должна производиться со льготами многолетней рассрочки, и в налогах тоже. Ограничение земельного участка предельными (для данной местности) размерами — само по себе никак не стесняет трудового смысла и трудовой свободы. Напротив: усилия каждого хозяина будут направлены не на широту владения, а на улучшение обработки, интенсивность методов. Что наши люди могут при этом — и в самых изнудительно-враждебных стеснениях от власти — творить чудеса, уже показано на крохотных приусадебных клочках, кормивших страну при дутой колхозной системе.

Ограничение размеров оставляет земельные резервы для раздачи малых участков земли — и рабочим, желающим иметь свой огородный урожай, и горожанам, ищущим отдушину от закупоренной жизни. И эта раздача — должна быть бесплатной (только бы обрабатывали!); этот же размер входил бы бесплатной частью и земледельцам, покупающим землю.

И для всех них — земля должна найтись.

ХОЗЯЙСТВО

Столыпин говорил: нельзя создать правового государства, не имея прежде независимого гражданина: социальный порядок первичней и раньше всяких политических программ.

А — независимого гражданина не может быть без частной собственности.

За 70 лет в наши мозги втравили бояться собственности и чураться наёмного труда как нечистой силы — это большая победа Идеологии над нашей человеческой сущностью. (Как и весь облик западной экономики внедряли в наши мозги карикатурно.)

Но обладание умеренной собственностью, не подавляющей других, — входит в понятие личности, даёт ей устояние. А добросовестно выполненный и справедливо оплаченный наёмный труд — есть форма взаимопомощи людей и ведёт к доброжелательности между ними.

И зачем нам ещё цепляться за централизованную холостую, идеологически «регулируемую» экономику, приведшую всю страну к нищете? — только чтобы содержать паразитический аппарат, иначе ему не останется и последнего оправдания?

Конечно, тот удар, который испытают миллионы неготовых непривычных людей от перехода к рыночной экономике, должен быть предельно смягчён. К счастью (к несчастью!), у нас есть для этого тот много-многомиллиардный валютный отток бюджета, только что перечислено, на что мы его распропащаем.

Скоро шесть лет — а шумливая «перестройка» ещё ведь и не коснулась целебным движением ни сельского хозяйства, ни промышленности. А ведь эта растяжка — это годы страданья людей, вычёркиваемые из жизни.

Но и перенимать бездумным перехватом чужой тип экономики, складывавшийся там веками и по стадиям, — тоже разрушительно. Я не имею экономических знаний и менее всего отваживаюсь тут на точные предложения. Какой именно процедурой возможен переход от сплошь государственных предприятий к частным и кооперативным; какие тут финансовые условия должны быть предусмотрены; что именно из нынешнего государственного имущества останется в

руках государства, в том числе из транспорта, флота, лесов, вод, земель, недр, а в какой доле они должны быть уступлены ве́дению областному и местному; на чьём бюджете будет социальное обеспечение, образование, жилищное строительство; какие потребуются новые трудовые законы, — о том есть уже много конкретных разработок у экономистов, хотя друг с другом и сильно несогласных.

Но в общем виде мне кажется ясным, что надо дать простор здоровой частной инициативе и поддерживать и защищать все виды мелких предприятий, на них-то скорей всего и расцветут местности, — однако твёрдо ограничить законами возможность безудержной концентрации капитала, ни в какой отрасли не дать создаваться монополиям, контролю одних предприятий над другими. Монополизация грозит ухудшением товаров: фирма может позволить себе, чтобы спрос не угасал, выпускать изделия недолговечные. Веками гордость фирм и владельцев вещей была неизносность товаров, ныне (на Западе) — оглушающая вереница всё новых, новых кричащих моделей, а здоровое понятие *ремонта* — исчезает: едва подпорченная вещь вынужденно выбрасывается и покупается новая, — прямо напротив человеческому чувству самоограничения, прямой разврат.

К этому надо добавить ещё и психологическую чуму роста цен — это в развитых-то странах: при росте производительности труда — цены не падают, а растут! пожирающее экономическое пламя, а не прогресс. (Старая Россия по веку жила с неизменными ценами.)

Нельзя допустить напор собственности и корысти — до социального зла, разрушающего здоровье общества. Противомонопольным законодательством необходимо в пределах любого вида производства регулировать непомерный рост сильно укрупнёнными налогами. Банки — нужны как оперативные центры финансовой жизни, но — не дать им превратиться в ростовщические наросты и стать негласными хозяевами всей жизни.

Так же в общем виде кажется ясным, что ценою нашего выхода из коммунизма не должна быть кабальная раздача иностранным капиталистам ни наших недр, ни поверхности нашей земли, ни, особенно, — лесов. Это опаснейшая идея: что́ загублено нашим внутренним беспорядьем — теперь пытаться спасать через иностранный капитал. Он будет литься к нам тогда, когда обнаружит у нас для себя высокую прибыльность. Но не заманивать к нам западный капитал на условиях, льготных для него и унизительных для нас, только придите и володейте нами, — этой расторговли потом не исправить, обратимся в колонию. (Хотя: за советские три четверти века мы и скатились на уровень колонии, а какой же иной?..) Допускать его — в твёрдом русле: чтобы вносимое им экономическое оживление не превышалось ни уносимой прибылью, ни разорением нашей природной среды. Тогда и мы ускорим наше качественное выравнивание с развитыми странами.

Но — не окончательно же забиты и забыты трудовые свойства нашего народа. Видим мы, как японцы вышли из падения и даже вознеслись не иностранными вливаниями, а своей высокой трудовой моралью. Как только снимется государственный гнёт над каждым нашим действием и оплата станет справедливой — сразу поднимется качество труда и повсюду засверкают наши умельцы. Если и нескоро мы достигнем такого уровня, чтоб наши товары имели международный спрос, — то для страны нашего размера и богатства возможно немалое время обходиться и внутренним рынком.

Однако никакая нормальная хозяйственная жизнь, разумеется, несовместима с нынешней рабской милицейской «пропиской».

Надо нам научиться уважать (и отличать от хищничества, на взятках, в обокрад управленческой рухляди) — здоровую, честную, умную частную торговлю: она — живит и скрепляет общество, она нужна нам из первых.

Я вовсе не берусь высказывать предположений по

вопросам финансовым, бюджетным и налоговым. Но ясно, что наряду со строгим природоохранным надзором и ощутимыми штрафами за порчу окружающей среды — должны финансово поощряться все природоустроительные усилия и восстановление традиционных производственных ремёсел.

ПРОВИНЦИЯ

Станет или не станет когда-нибудь наша страна цветущей — решительно зависит не от Москвы, Петрограда, Киева, Минска, — а от провинции. Ключ к жизнеспособности страны и к живости её культуры — в том, чтоб освободить провинцию от давления столиц, и сами столицы, эти болезненные гиганты, освободились бы от искусственного переотягощения своим объёмом и необозримостью своих функций, что лишает и их нормальной жизни. Да они не сохранили и нравственных оснований подменять собой возрожденье страны, после того как провинция на 60 лет была отдана голоду, унижениям и ничтожности.

Вся провинция, *все* просторы Российского Союза вдобавок к сильному (и всё растущему по весу) самоуправлению должны получить полную свободу хозяйственного и культурного дыхания. Наша родина не может жить самоценно иначе, как если укрепятся, скажем, сорок таких рассеянных по её раскинутости жизненных и световых центров для своих краёв, каждый из них — средоточие экономической деятельности и культуры, образования, самодостаточных библиотек, издательств, — так чтобы всё окружное население могло бы получать полноценное культурное питание, и окружная молодёжь для своего обучения и роста — всё не ниже качеством, чем в столицах. Только так может соразмерно развиваться большая страна.

Вокруг каждого из таких сорока городов — выникнет из обморока и самобытность окружного края.

Только при таком рассредоточении жизни начнут повсюду восстанавливаться загубленные и строиться новые местные дороги, и городки, и сёла вокруг.

И это особенно важно — для необъятной Великой Сибири, которую мы с первых же пятилеток ослеплённо безумно калечили вместо благоденственного развития.

И здесь, как и во многом, наш путь выздоровления — с низов.

СЕМЬЯ И ШКОЛА

Хотя неотложно всё, откуда гибель сегодня, — а ещё неотложней закладка долгорастущего: за эти годы нашего кругового навёрстывания — что будет тем временем созревать в наших детях? от детской медицины, раннего выращивания детей — и до образования? Ведь если этого не поправить сейчас же, то и никакого будущего у нас не будет.

О многобедственном положении женщины у нас — знают все, и все уже говорят, тут нет разнотолковщины, и нечего доказывать. И о падении рождаемости, о детской смертности, и о болезненности рождённых, об ужасающем состоянии родильных домов, ясель и детских садов.

Нормальная семья — у нас почти перестаёт существовать. А болезнь семьи — это становая болезнь и для государства. Сегодня семья — основное звено спасения нашего будущего. Женщина — должна иметь возможность вернуться в семью для воспитания детей, таков должен быть мужской заработок. (Хотя при ожидаемой безработице первого времени это не удастся так прямо: иная семья и рада будет, что хоть женщина сохранила пока работу.)

И такая ж неотсрочная наша забота — школа. Сколько мы выдуривались над ней за 70 лет! — но редко в какие годы она выпускала у нас знающих, и то лишь по доле предметов, да и таких-то — толь-

ко в отобранных школах крупных городов, а Ломоносову провинциальному, а тем более деревенскому — сегодня никак бы не появиться, не пробиться, такому — нет путей (да прежде всего — «прописка»). Подъятие школ должно произойти не только в лучших столичных, но — упорным движением от нижайшего уровня и на всех просторах родины. Эта задача — никак не отложнее всех наших экономических. Школа наша давно плохо учит и дурно воспитывает. И недопустимо, чтобы должность классного воспитателя была почти не оплаченным добавочным бременем: она должна быть возмещена уменьшением требуемой с него учебной нагрузки. Нынешние программы и учебники по гуманитарным наукам все обречены если не на выброс, то на полнейшую переработку. И атеистическое вдалбливание должно быть прекращено немедленно.

А начинать-то надо ещё и не с детей — а с учителей, ведь мы *их-то* всех забросили за край прозябания, в нищету; из мужчин, кто мог, ушли с учительства на лучшие заработки. А ведь школьные учителя должны быть отборной частью нации, *призванные* к тому: им вручается всё наше будущее. (А — в каких институтах мы учили нынешних, и какой идеологической дребедени? Начинать менять, спасать истинные знания — надо с программ институтских.)

В скором будущем надо ждать, очевидно, и частных платных школ, обгоняющих общий подъём всей школы, — для усиления отдельных предметов и сторон образования. Но в тех школах не должно быть безответственного самовольства программ, они должны находиться под наблюдением и контролем земских органов образования.

Упущенная и семьёй и школой, наша молодёжь растёт если не в сторону преступности, то в сторону неосмысленного варварского подражания чему-то заманчивому исчужа. Исторический Железный Занавес отлично защищал нашу страну ото всего хорошего, что есть на Западе: от гражданской не-

стеснённости, уважения к личности, разнообразия личной деятельности, от всеобщего благосостояния, от благотворительных движений, — но тот Занавес не доходил до самого-самого низу, и туда подтекала навозная жижа распущенной опустившейся «поп-масс-культуры», вульгарнейших мод и издержек публичности, — и вот эти отбросы жадно впитывала наша обделённая молодежь: западная — дурит от сытости, а наша в нищете бездумно перехватывает их забавы. И наше нынешнее телевидение услужливо разносит те нечистые потоки по всей стране. (Возражения против всего этого считаются у нас дремучим консерватизмом. Но поучительно заметить, как о сходном явлении звучат тревожные голоса в Израиле: «Ивритская культурная революция была совершена не для того, чтобы наша страна капитулировала перед американским культурным империализмом и его побочными продуктами», «западным интеллектуальным мусором».)

Уже всё известно, писалось не раз: что гибнут книжные богатства наших библиотек, полупустуют читальни, в забросе музеи. *Они*-то все нуждаются в государственной помощи, они не могут жить за счёт кассовых сборов, как театры, кино и художественные выставки. (А вот спорт, да в расчёте на всемирную славу, никак не должен финансироваться государством, но — сколько сами соберут; а рядовое гимнастико-атлетическое развитие даётся в школе.)

ВСЁ ЛИ ДЕЛО В ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОЕ

Приходится признать: весь XX век жестоко проигран нашей страной; достижения, о которых трубили, все — мнимые. Из цветущего состояния мы отброшены в полудикарство. Мы сидим на разорище.

Сегодня у нас горячо обсуждается: какое государственное устройство нам отныне подходит, а какое нет, — а этим, мол, всё и решится. И ещё: ка-

кая б новая хлесткая партия или «фронт» нас бы теперь повели к успехам.

Но сегодня воспрять — это не просто найти удобнейшую форму государственного строя и скороспешно сочинить к нему замечательную конституцию, параграф 1-й, параграф 45-й. Надо оказаться предусмотрительней наших незадачливых дедов-отцов Семнадцатого года, не повторить хаос исторического Февраля, не оказаться снова игрушкой заманных лозунгов и захлёбчивых ораторов, не отдаться ещё раз добровольно на посрамление.

Решительная смена властей требует ответственности и обдуманья. Не всякая новозатейщина обязательно ведёт прямо к добру. Наши несравненные в 1916 году критики государственной системы — через несколько месяцев, в 1917, получив власть, оказались совсем не готовы к ней и всё загубили. Ни из чего не следует, что новоприходящие теперь руководители окажутся сразу трезвы и прозорливы. Вот, победительный критик гнусной *Системы* (как он назвал её из обходливой осторожности), едва избравшись к практическому делу, тут же и проявил нечувствие по отношению к родине, питающей столицу. Москва уже 60 лет кормится за счёт голодной страны, с начала 30-х годов она молчаливо пошла на подкуп от властей, разделить преимущества, и оттого стала как бы льготным островом, с другими материальными и культурными условими, нежели остальная коренная Россия. Оттого переменилась и психология московской имеющей голос публики, она десятилетиями не выражала истинных болей страны.

Вот, в кипении митингов и нарождающихся партиек, мы не замечаем, как натянули на себя балаганные одежды Февраля — тех злоключных восьми месяцев Семнадцатого года. А иные как раз заметили и с незрячим упоением восклицают: «Новая Февральская революция!» (Для точности совпадения высунулись уже и чёрные знамена анархистов.)

После людожорской полосы в три четверти века, если мы уже так дорого заплатили, если уж так

сложилось, что мы оказались на том краю государственного спектра, где столь сильна центральная власть, — не следует нам спешить опрометчиво сдвигаться в хаос: анархия — это *первая* гибель, как нас научил 1917 год.

Государству, если мы не жаждем революции, неизбежно быть плавно-преемственным и устойчивым. И вот уже созданный статут потенциально сильной президентской власти нам ещё на немалые годы окажется полезным. При нынешнем скоплении наших бед, ещё так осложнённом и неизбежным разделением с окраинными республиками, — невозможно нам сразу браться решать вместе с землёй, питанием, жильём, собственностью, финансами, армией — ещё и государственное устройство тут же. Что-то в нынешнем государственном строе приходится пока принять просто потому, что оно уже существует.

Конечно, постепенно мы будем пересоставлять государственный организм. Это надо начинать не всё сразу, а с какого-то краю. И ясно, что: снизу, с мест. При сильной центральной власти терпеливо и настойчиво расширять права *местной* жизни.

Конечно, какая-то определённая политическая форма постепенно будет нами принята, — по нашей полной политической неопытности скорей всего не сразу удачная, не сразу наиболее приспособленная к потребностям именно нашей страны. Надо искать *свой* путь. Сейчас у нас самовнушение, что нам никакого собственного пути искать не надо, ни над чем задумываться, — а только поскорей перенять, «как делается на Западе».

Но на Западе делается — ещё ой как по-разному! у каждой страны своя традиция. Только нам одним — не нужно ни оглядываться, ни прислушиваться, что́ говорили у нас умные люди ещё до нашего рождения.

А скажем и так: государственное устройство — второстепеннее самого воздуха человеческих отношений. При людском благородстве — допусти́м лю-

бой добропорядочный строй, при людском озлоблении и шкурничестве — невыносима и самая разливистая демократия. Если в самих людях нет справедливости и честности — то это проявится при любом строе.

Политическая жизнь — совсем не главный вид жизни человека, политика — совсем не желанное занятие для большинства. Чем размашистей идёт в стране политическая жизнь — тем более утрачивается душевная. Политика не должна поглощать духовные силы и творческий досуг народа. Кроме *прав* человек нуждается отстоять и душу, освободить её для жизни ума и чувств.

А САМИ-ТО МЫ — КАКОВЫ?

Источник силы или бессилия общества — духовный уровень жизни, а уже потом — уровень промышленности. Одна рыночная экономика и даже всеобщее изобилие — не могут быть венцом человечества. Чистота общественных отношений — основней, чем уровень изобилия. Если в нации иссякли духовные силы — никакое наилучшее государственное устройство и никакое промышленное развитие не спасёт её от смерти, с гнилым дуплом дерево не стоит. Среди всех возможных свобод — на первое место всё равно выйдет свобода бессовестности: её-то не запретишь, не предусмотришь никакими законами. *Чистая* атмосфера общества, увы, не может быть создана юридическими законами.

Разрушение наших *душ* за три четверти столетия — вот что самое страшное.

Страшно то, что развращённый правящий класс — многомиллионная партийно-государственная номенклатура ведь не способна добровольно отказаться ни от какой из захваченных привилегий. Десятилетиями она бессовестно жила за счёт народа — и хотела б и дальше так.

А из бывших палачей и гонителей — кто хоть потеснён с должностей? с незаслуженного пенсионного достатка? До смерти кохали мы Молотова, ещё и теперь Кагановича, и сколько неназванных. В Германии — всех таких, и куда мельче, судили, — у нас, напротив, *они же* сегодня грозят судами, а иным — сегодня! — ставят памятники, как злодею-чекисту Берзину. Да где уж нам наказывать государственных преступников? да не дождаться от них и самого малого раскаяния. Да хоть бы они прошли через публичный моральный суд. Нет, видно поползём и так...

А — славные движущие силы гласности и перестройки? В ряду этих модных слоев — нет слова о ч и щ е н и е. И вот в новую гласность кинулись и все грязные уста, которые десятилетиями обслуживали тоталитаризм. Из каждых четырёх трубадуров сегодняшней гласности — трое недавних угодников брежневщины, — и кто из них произнес слово *собственного* раскаяния вместо проклятий безликому «застою»? И с вузовских гуманитарных кафедр поныне самоуверенно вещают всё те же, кто десятилетиями оморачивал студентам сознание. Десятки тысяч образованцев у нас огрязнены лицемерием, переметчивостью, — и мы ни от кого не ждём раскаяния, и весь этот душевный гной пусть так и тянется с нами в будущее?

А — душетлительная казарменная «дедовщина» для наших сыновей? Разве это изгладится когда-нибудь с них?

А всеобщая озлобленность наших людей друг ко другу? — просто так, ни за что. На тех, кто ни в чём не виноват.

Да удивляться ли и взрыву уголовной преступности — среди тех, кому всю их молодую жизнь были закрыты честные пути?

У прежних русских купцов было *купеческое слово* (сделки заключались без письменных контрактов), христианские представления, исторически известная размашная благотворительность, — дождём-

ся ли мы такого от акул, взращённых в мутном советском подводьи?

Западную Германию наполнило облако раскаяния — прежде, чем там наступил экономический расцвет. У нас — и не начали раскаиваться. У нас надо всею гласностью нависают гирляндами — прежние тяжёлые жирные гроздья лжи. А мы их — как будто не замечаем.

Криво ж будет наше развитие.

Хотелось бы подбодриться благодетельными возможностями Церкви. Увы, даже сегодня, когда уже всё в стране пришло в движение — оживление смелости мало коснулось православной иерархии. (И во дни всеобщей нищеты надо же отказаться от признаков богатства, которыми соблазняет власть.) Только тогда Церковь поможет нам в общественном оздоровлении, когда найдёт в себе силы полностью освободиться от ига государства и восстановить ту живую связь с общенародным чувством, какая так ярко светилась даже и в разгаре Семнадцатого года при выборах митрополитов Тихона и Вениамина, при созыве Церковного Собора. Явить бы и теперь, по завету Христа, пример бесстрашия — и не только к государству, но и к обществу, и к жгучим бедам дня, и к себе самой. Воскресительные движения и тут, как во всей остальной жизни, ожидаются — и уже начались — *снизу,* от рядового священства, от сплоченных приходов, от самоотверженных прихожан.

САМООГРАНИЧЕНИЕ

Самый модный лозунг теперь, и мы все охотно повторяем: «права человека». (Хотя очень разное все имеем в виду. Столичная интеллигенция понимает: свобода слова, печати, собраний и эмиграции, но многие возмущены были бы и требовали бы запретить «права», как их понимает чернонародье: право иметь жилище и работать в том месте,

где кормят, — отчего хлынули бы миллионы в столичные города.)

«Права человека» — это очень хорошо, но как бы нам *самим* следить, чтобы наши права не поширялись за счёт прав других? Общество необузданных прав не может устоять в испытаниях. Если мы не хотим над собой насильственной власти — каждый должен обуздывать и сам себя. Никакие конституции, законы и голосования сами по себе не сбалансируют общества, ибо людям свойственно настойчиво преследовать свои интересы. Большинство, если имеет власть расширяться и хватать, — то именно так и делает. (Это и губило все правящие классы и группы истории.) Устойчивое общество может быть достигнуто не на равенстве сопротивлений — но на сознательном самоограничении: на том, что мы всегда обязаны уступать нравственной справедливости.

Только при самоограничении сможет дальше существовать всё умножающееся и уплотняющееся человечество. И ни к чему было всё долгое развитие его, если не проникнуться духом самоограничения: свобода хватать и насыщаться есть и у животных. Человеческая же свобода включает добровольное самоограничение в пользу других. Наши обязательства всегда должны превышать предоставленную нам свободу.

Только бы удалось — освоить нам дух самоограничения и, главное, уметь передать его своим детям. Больше-то всего самоограничение и нужно для самого человека, для равновесия и невзмутности его души.

И тут — много внутренних возможностей. Например, после нашего долгого глухого неведения — естественен голод: узнавать и узнавать правду, что́ же именно было с нами. Но иные уже сейчас замечают, другие заметят вскоре, что сверх того непосильный современный поток уже избыточной и мелочной информации расхищает нашу душу в ничтожность и на каком-то рубеже надо самоограничиться от него. В сегодняшнем мире — всё больше

разных газет, и каждая из них всё пухлей, и все наперебой лезут перегрузить нас. Всё больше каналов телепередач, да ещё и днем (а вот в Исландии — отказались от всякого телевидения хоть раз в неделю); всё больше пропагандистского, коммерческого и развлекательного звука (нашу страну ещё и поселе изможДают долбящие радиодинамики над просторами), — да как же защитить *право* наших ушей на тишину, право наших глаз — на внутреннее видение?

Размеренный выход из полосы наших несчастий, который Россия сумеет или не сумеет теперь осуществить, — трудней, чем было встряхнуться от татарского ига: тогда не был сокрушён самый хребет народа и не была подорвана в нём христианская вера.

В 1754 году, при Елизавете, Петр Иванович Шувалов предложил такой удивительный — *Проект сбережения народа.*

Вот чудак?

А ведь — вот где государственная мудрость.

ПОДАЛЬШЕ ВПЕРЕД

Нельзя надеяться, что после нынешнего смутного времени наступит некое «спокойное», когда мы «сядем и подумаем», как устраивать будущее. Исторический процесс — непрерывен, и таких льготных передышек нам никто «потом» не даст, как не дали «сесть и подумать» Учредительному Собранию. И как ни жжёт сегодняшнее — о нашем будущем устройстве всё же надо думать загодя. (Мне же — и возраст мой не даёт уверенности, что я ещё буду участвовать в обсуждении этих вопросов.)

До революции народ наш в массе не имел политических представлений — а то, что за тем пропагандно вбивали в нас 70 лет, вело лишь к одурению.

Сейчас, когда мы двинулись к развитию у нас политической жизни, уже обсуждаются и формы будущей власти, — полезно, чтоб избежать возможных ошибок, уточнить содержание некоторых терминов.

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ

Освальд Шпенглер верно указывал, что в разных культурах даже сам *смысл* государства разный и нет определившихся «лучших» государственных форм, которые следовало бы заимствовать из одной великой культуры в другую. А Монтескье: что каждому пространственному размеру государства соответствует определённая форма правления и нельзя безнаказанно переносить форму, не сообразуясь с размерами страны.

Для *данного* народа, с его географией, с его прожитой историей, традициями, психологическим обликом, — установить такой строй, который вёл бы его не к вырождению, а к расцвету. Государственная структура должна непременно учитывать традиции народа. «Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему» (Иерем. 6, 16).

Народ имеет несомненное право на власть, но хочет народ — не власти (жажда её свойственна лишь процентам двум), а хочет прежде всего устойчивого порядка. Даже христианский социалист Г. П. Федотов после опыта 1917 года настаивал, что власть должна быть сильной и даже, писал он: не зависеть от совета законодателей и отчитываться перед ним лишь после достаточного срока. (Это, пожалуй, уже и слишком.)

Если избрать предлагаемый далее порядок построения институтов свободы *снизу,* при временном сохранении центральной власти в тех формальных чертах, как она уже существует, — то это займёт у нас ряд лет, и ещё будет время основательно обсу-

дить здоровые правила государственного построения.

О будущем сегодня можно высказываться лишь предположительно, оставляя простор для нашего предстоящего опыта и новых размышлений. Окончательная государственная форма (если она вообще может быть *окончательной*) — дело последовательных приближений и проб.

Платон, за ним Аристотель выделили и назвали три возможных вида государственного устройства. Это, в нормальном ряду: монархия, власть одного; аристократия, власть лучших или для лучших целей; и политейя, власть народа в малом государстве-полисе, осуществляемая в общем интересе (мы теперь говорим — демократия). Они же предупредили о формах деградации каждого из этих видов, соответственно: в тиранию; в олигархию; в демократию, власть толпы (мы теперь говорим — в охлократию). Все три формы могут быть хороши, если они правят для общественного блага, — и все три искажаются, когда преследуют частные интересы.

С тех пор, кажется, никто и не создал практически ничего, что не вошло бы в эту схему, лишь дополняли её формами конституций. И если обминуть ещё полное безвластие (анархию, власть каждого сильного над каждым слабым); и не попасться снова в капкан тоталитаризма, изобретенного в XX веке, то нельзя сказать, чтоб у нас был широкий выбор: по всему потоку современности мы изберём несомненно демократию.

Но выбирая демократию — надо отчётливо понимать, что именно мы выбираем и за какую цену. И выбираем как средство, а не как цель. Современный философ Карл Поппер сказал: демократию мы выбираем не потому, что она изобилует добродетелями, а только чтоб избежать тирании. Выбираем — с сознанием её недостатков и поиском, как их преодолевать.

Хотя в наше время многие молодые страны, едва вводя демократию, тут же испытывали и крах — именно в наше время демократия из формы государственного устройста возвысилась как бы в универсальный принцип человеческого существования, почти в культ.

Постараемся всё же уследить точный смысл термина.

ЧТÓ ЕСТЬ ДЕМОКРАТИЯ И ЧТÓ НЕ ЕСТЬ

Алексис Токвиль считал понятия демократии и свободы — противоположными. Он был пламенный сторонник свободы, но отнюдь не демократии. Дж. С. Милль видел в неограниченной демократии опасность «тирании большинства», а для личности нет разницы, подчинилась ли она одиночному тирану или множественному.

Г. Федотов писал, что демократию исказил атеистический материализм XIX века, обезглавивший человечество. И австрийский государственный деятель нашего века Иозеф Шумпетер называл демократию — суррогатом веры для интеллектуала, лишённого религии. И предупреждал, что нельзя рассматривать демократию вне страны и времени применения.

Русский философ С. А. Левицкий предлагал различать:

дух демократии: 1) свобода личности; 2) правовое государство;

и вторичные, необязательные признаки её: 1) парламентский строй; 2) всеобщее избирательное право. Эти два последних принципа совсем не очевидны.

Уважение к человеческой личности — более широкий принцип, чем демократия, и вот *оно* должно быть выдержано непременно. Но уважать человеческую личность не обязательно в форме только парламентаризма.

Однако и права личности не должны быть вознесе-

ны так высоко, чтобы заслонить права общества. Папа Иоанн-Павел II высказал (1981, речь на Филиппинах), что в случае конфликта национальной безопасности и прав человека приоритет должен быть отдан национальной безопасности, то есть целости более общей структуры, без которой развалится и жизнь личностей.

А президент Рональд Рейган (1988, речь в Московском университете) выразил так: демократия — не столько способ правления, сколько способ ограничить правительство, чтоб оно *не мешало* развитию в человеке *главных ценностей,* которые дают семья и вера.

У нас сегодня слово «демократия» — самое модное. Как его не склоняют, как им не звенят, гремят (и спекулируют).

Но не ощутимо, чтобы мы хорошо задумались над точным смыслом его.

После горького опыта Семнадцатого года, когда мы с размаху хлюпнулись в то, что считали демократией, — наш видный кадетский лидер В. А. Маклаков признал, и всем нам напомнил: «Для демократии нужна известная политическая дисциплина народа.»

А у нас её и в Семнадцатом не было — и нынче как бы того не меньше.

ВСЕОБЩЕЕ — РАВНОЕ — ПРЯМОЕ — ТАЙНОЕ

Когда в 1937 Сталин вводил наши мартышечьи «выборы» — вынужден был и он придать им вид всеобщего-равного-прямого-тайного голосования («четырёххвостки»), — порядок, который в сегодняшнем мире кажется несомненным как всеобщий закон природы. Между тем и после первой Французской революции (конституция 1791 г.) голосование ещё не было таковым: оставались ограничения и неравенства в разных цензах. Идея всеобщего избирательного права победила во Франции только

в революцию 1848. В Англии весь XIX век находились видные борцы за «конституционный порядок» — такой, который бы обеспечивал, чтобы никакое большинство не было тираном над меньшинством, чтобы в парламенте было представлено всё разнообразие слоёв общества, кто пользуется уважением и сознаёт ответственность перед страной, — это была задача сохранить устои страны, на которых она выросла. С 1918 сползла ко всеобщему избирательному и Англия.

Достоевский считал всеобщее-равное голосование «самым нелепым изобретением XIX века». Во всяком случае, оно — не закон Ньютона, и в свойствах его разрешительно и усумниться. «Всеобщее и равное» — при крайнем неравенстве личностей, их способностей, их вклада в общественную жизнь, разном возрасте, разном жизненном опыте, разной степени укоренённости в этой местности и в этой стране? То есть — торжество бессодержательного количества над содержательным качеством. И ещё, такие выборы («общегражданские») предполагают *неструктурность* нации: что она есть не живой организм, а механическая совокупность рассыпанных единиц.

«Тайное» — тоже не украшение, оно облегчает душевную непрямоту или отвечает, увы, нуждам боязни. Но на Земле и сегодня есть места, где голосуют открыто.

«Прямое» (то есть депутаты любой высоты избираются прямо от нижних избирательных урн) особенно спорно в такой огромной стране, как наша. Оно обрекает избирателей *не знать* своих депутатов — и преимущество получают более ловкие на язык или имеющие сильную закулисную поддержку.

Все особенности избирательной системы и способов подсчёта голосов подробнейше обсуждались в России комиссиями, партийными комитетами весной и летом 1917, из-за чего Учредительное Собрание и упустило время. И все демократические партии вы-

сказались против выборов четырех-, трех- или даже двухстепенных: потому что при таких выборах тянется цепочка личного знания кандидатов, избираемые представители теснее связаны со своей исходной местностью, «с местной колокольней», — а это лишало все партии возможности вставлять своих кандидатов из центра. Лидер кадетов П. Н. Милюков настаивал, что только *прямые* выборы от *больших* округов «обеспечат выбор интеллигентного и политически подготовленного представителя».

Кому что нужно.

СПОСОБЫ ГОЛОСОВАНИЯ

Цель всеобщего голосования — выявить Волю Народа: ту истинную Волю, которая будет всё направлять лучшим образом для народа. Существует ли такая единая Воля и какова она? — никто не знает. Но замечательно, что при разной системе подсчёта голосов мы узнаём эту волю по-разному и даже противоположно.

Большинству у нас сейчас не кажется важным, как именно устроена система голосования, а между тем она влияет существенно.

Состязуются в мире по крайней мере три системы подсчета: пропорциональная, мажоритарная и абсолютного большинства.

Пропорциональная система почти не проводится иначе как *по спискам* (разумеется, партийным): в каждом округе (на несколько депутатских мест сразу, так партиям удобнее агитировать и контролировать) от каждой партии предлагается список кандидатов. И отдельный кандидат уже тем лишён личной ответственности перед избирателями, а только — перед партией; избиратели же лишены выбрать сами определённого представителя, кому доверяют, а выбирают только партию. (Различают две под-системы: «связанных списков», когда избиратель не может переставлять порядок желательности в списке, партия сама отберёт, такой способ особенно применяется при малой грамотности населения; и под-система «свободных списков», где избиратель может отдать предпочтение кандидатам внутри списка или даже предложить свой список, что, и правда, очень за-

трудняет технику подсчёта. Есть третий вариант, когда округа делятся на под-округа, лишь с одним именем в каждом, но всё равно затем окружная комиссия производит подсчёт по партиям и, по пропорции, предоставляет места именно партиям, а не лицам. Во всех случаях выбор *лиц* достаётся в основном партиям.)

В 1917 все партии от кадетов до большевиков предпочитали именно этот способ, и при многокандидатных округах. Это усиленно одобрял влиятельный кадет И. В. Гессен: партиям так наиболее удобно организоваться и действовать, а «при системе единоличных выборов руководящая роль нередко ускользает из рук партий»; одобрял и всем нам известный В. И. Ульянов-Ленин: он назвал «одним из самых передовых способов выбирать», когда выбираются «не отдельные лица, а партийные представители». Видно, не зря этот способ ему нравился. Пропорциональные выборы по спискам чрезмерно усиливают власть партийных инстанций, составляющих списки кандидатов, и дают перевес большим организованным партиям. И это особенно потому выгодно партиям, что они могут рассовать своих центральных активистов по дальним округам, где те не живут, и так обеспечить их избрание. На этом — чтобы не требовалось от кандидата жить в своём округе — особенно настаивал кадетский съезд летом 1917: это «даёт возможность для ЦК централизовать производство выборов». Да и все другие партии — на том же. Так сказать, *централизованная демократия*.

При пропорциональной системе малые меньшинства обычно могут получить какой-то голос в представительном собрании, но создаётся множество парламентских фракций, и силы распыляются в раздор. Или это толкает партии поправлять свое положение через беспринципные коалиции с изъянами для своей программы — но лишь бы набрать голосов и захватить правительство. В сегодняшнем мире есть разительные примеры такой государственной слабости и долгих правительственных кризисов.

При мажоритарной системе тоже бывают такие противоестественные компромиссы между партиями, но в виде ещё предвыборных блоков. При этой системе партия (или блок), едва опередившая других, получает подавляющее число мест, а едва позади — полный проигрыш: даже получив 49 % голосов — бывает можно совсем не получить парламентских мест. А при неточном распределении избирательных округов может случиться и так, что мажоритарная система даёт победу меньшинству. Так было, например, во Франции в 1893, 1898, 1902: некоторые победившие депутаты получили меньше голосов, чем побеждённые; в двух последних случаях совсем не были представлены в палате депутатов — 53 % избирателей.

Зато при этой системе создается устойчивое правительство.

Вводимая теперь у нас система выборов по абсолютному большинству (для чего возможен 2-й тур) также выталкивает

мелкие партии, но даёт возможность торговать голосами между 1-м и 2-м турами.

При системе двух партий, как в Соединённых Штатах, независимые кандидаты ничего не решают, избиратель несёт свой голос одной из двух партий (обе — с сильным партийным аппаратом и богатейшей поддержкой). Не сразу, не всегда в одну избирательную кампанию, но при этой системе общественное недовольство находит выход, однако негативный: только бы сменить вот эту, правящую, партию — без гарантии, что́ сделают сменщики.

Итак, всего лишь от способа подсчёта голосов может ошеломительно измениться и состав правительства и его программа, выражающая, разумеется, Волю Народа.

Но вообще и всякое голосование, при любом способе подсчёта, — не есть поиск истины. Здесь всё сводится к численности, к упрощённой арифметической идее, к поглощению меньшинства большинством, а это опасный инструмент: меньшинство никак не менее важно для общества, чем большинство, а большинство — может впасть и в обман. «Не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды» (Исход, 23, 2).

К тому ж избирательные кампании при большой численности голосующих, среди незнакомых избирателей, бывают столь суетливы, визгливы, да при частом пристрастии массовых средств информации, что даже отвращают от себя значительную часть населения. Телевидение хотя и выявляет внешность кандидата, манеру держаться, но не государственные способности. Во всякой такой избирательной кампании происходит вульгаризация государственной мысли. Для благоуспешной власти нужны талант и творчество — легко ли избрать их всеобщим голосованием на широких пространствах? Сама по себе — такая система не понуждает политических деятелей действовать выше своих политических интересов, и даже наоборот: кто будет исходить из нравственных принципов — легко может проиграть.

А. Токвиль, изучая США в XIX веке, пришёл к выводу, что демократия — это господство посредственности. (Хотя чрезвычайные обстоятельства страны выдвигают и в ней сильные личности.)

НАРОДНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

А уж пройдя избрание — кандидат становится *народным представителем.*

Афинская демократия отвергала всякое «представительство», как вид олигархии. Но она могла себе это позволить при своей малообъёмности.

Напротив, французские Генеральные Штаты в 1789, едва собравшись, провели закон, что отныне каждый депутат есть лишь часть этого коллективного собрания, *которое и есть воля народа.* Тем самым каждый депутат отсекался от своих избирателей и от личной ответственности перед ними.

Наши четыре последовательных Государственных Думы мало выражали собой глубины и пространства России, только узкие слои нескольких городов, большинство населения на самом деле не вникло в смысл тех выборов и тех партий. И наш блистательный думец В. Маклаков признал, что «воля народа» и при демократии фикция: за неё всего лишь принимается решение большинства парламента.

Да и невозможны точные народные наказы своим депутатам на все будущие непредвидимые случаи. И — нет такого импульса, который заставлял бы нынешних избранцев стать выше своих *будущих* выборных интересов, выше партийных комбинаций и служить только основательно понятым интересам родины, пусть (и даже неизбежно) в ущерб себе и своей партии. Делается то, что поверхностно нравится избирателям, хотя бы по глубокому или дальнему смыслу это было для них зло. А в таком обширном государстве, как наше, тем меньше возможность проверять избранцев и тем большая возможность

их злоупотреблений. Контрольного механизма над ними нет, есть только возможность попытки отказать в следующем переизбрании; иного влияния на ход государственного управления у народного большинства не остаётся. (А ведь ни при каком другом представительстве — гражданском, коммерческом — поверенные не могут иметь больше прав, чем доверители, и теряют мандат, если выполняют его нечестно.)

Но и так, парадоксально: при той, частой, системе, когда правительство формируется на основе большинства в парламенте, члены этого большинства уже перестают быть независимыми народными представителями, противостоящими правительству, — но всеми силами услужают ему и подпирают его, чтобы только оно держалось любой ценой. То есть: законодатели подчинены исполнительной власти.

(Впрочем, принцип *полного* разделения законодательной, исполнительной и судебной власти — не без спорности: не есть ли это распад живого государственного организма? Все три распавшиеся власти нуждаются в каком-то объединяющем контроле над собой — если не формальном, то этическом.)

И ещё: все приёмы предвыборной борьбы требуют от человека одних качеств, а для государственного водительства — совершенно других, ничего общего с первыми. Редок случай, когда у человека есть и те и другие, вторые мешали бы ему в предвыборном состязании.

А между тем «представительство» становится как бы профессией человека, чуть не пожизненной. Образуется сословие «профессиональных политиков», для кого политика отныне — ремесло и средство дохода. Они лавируют в системе парламентских комбинаций — и где уж там «воля народа»...

В большинстве парламентов поражает — перевес юристов, адвокатов. «Юрократия». (Тем более что законов такое изобилие, их система и юридическая

процедура так сложны, что рядовой человек становится не способен защитить себя перед законом и на каждом шагу нуждается в дорогостоящем покровительстве адвоката.)

И ЧЕМ МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ

Конечно, демократическая система дает возможность острого наблюдения за действиями чиновников. Хотя, как ни удивительно, и современные демократии обросли грузной бюрократией.

Однако: и во всеобщих выборах большинство далеко не всегда выражает себя. Голосование часто проявляется вяло. В ряде западных стран больше половины избирателей, и даже до двух третей, — порой вообще не являются голосовать, что делает всю процедуру как бы и бессмысленной. И числа голосующих иногда раскалываются так, что ничтожный перевес достигается довеском от крохотной малозначительной партии — она-то как бы и решает судьбу страны или курс её.

Как принцип это давно предвидел и С. Л. Франк: и при демократии властвует меньшинство. И В. В. Розанов: «Демократия — это способ, с помощью которого хорошо организованное меньшинство управляет неорганизованным большинством.»

В самом деле, гибкая, хорошо приработанная демократия умеет лишить силы протесты простых людей, не дать им звучного выхода. Несправедливости творятся и при демократии, и мошенники умеют ускользать от ответственности. Эти приёмы — распыляются по учреждениям демократической бюрократии и становятся неуловимы. Сегодня и из самой старинной в мире демократии, швейцарской, раздаётся тревожное предупреждение (Ганс Штауб): что важные решения принимаются в анонимных и неконтролируемых местах, где-то за кулисами, под влиянием «групп давления», «лоббистов».

И при всеобщем юридическом равенстве остаётся

фактическое неравенство богатых и бедных, а значит более сильных и более слабых. (Хотя уровень «бедности», как его сегодня понимают на Западе, много, много выше наших представлений.) Наш государствовед Б. Н. Чичерин отмечал ещё в XIX веке, что из аристократий всех видов одна всплывает и при демократии: денежная. Что ж отрицать, что при демократии деньги обеспечивают реальную власть, неизбежна концентрация власти у людей с большими деньгами. За годы гнилого социализма накопились такие и у нас в «теневой экономике», и срослись с чиновными тузами, и даже в годы «перестройки» обогатились в путанице неясных законов и теперь на старте ринуться в открытую, — и тем важней отначала строгое сдерживание любого вида монополий, чтоб не допустить их верховластья.

А ещё удручает, что рождаемая современной состязательной публичностью интеллектуальная псевдо-элита подвергает осмеянию абсолютность понятий Добра и Зла, прикрывает равнодушие к ним «плюрализмом идей» и поступков.

Изначальная европейская демократия была напоена чувством христианской ответственности, самодисциплины. Однако постепенно эти духовные основы выветриваются. Духовная независимость притесняется, пригибается диктатурой пошлости, моды и групповых интересов.

Мы входим в демократию не в самую её здоровую пору.

ПАРТИИ

Ныне пришло к тому, что мы так же не мыслим себе политическую жизнь без партий, как личную без семьи.

Троцкий за месяц до октябрьского переворота возгласил: «Что такое партия? Это группа людей, которая добивается власти, чтобы иметь возможность выполнить свою программу. Партия, которая не хочет власти, недостойна называться партией.»

Конечно, большевицкая партия — это образчик уникальный. Однако само явление партий — древнее, и уже настолько давно было пóнято, что ещё Тит Ливий написал: «Борьба между партиями есть и всегда будет гораздо худшая беда для народа, чем война, голод, мор или любой другой гнев богов.»

«Партия» — значит *часть*. Разделиться нам на партии — значит разделиться на части. Партия как часть народа — кому же противостоит? Очевидно — остальному народу, не пошедшему за ней. Каждая партия старается прежде всего не для всей нации, а для себя и своих. Национальный интерес затмевается партийными целями: прежде всего — что нужно своей партии для следующего переизбрания; если нечто полезное для государста и народа проистекло от враждебной нам партии — то допустимо и не поддерживать его. Интересы партий да и само существование их — вовсе не тождественны с интересами избирателей. С. Крыжановский считал, что пороки и даже крушение парламентского строя происходят именно из-за партий, отрицающих единство нации и само понятие отечества. Партийная борьба заменяет где уж там поиск истины — она идёт за партийный престиж и отвоевание кусков исполнительной власти. Верхушки политических партий неизбежно превращаются в олигархию. А перед кем отчитываются партии, кроме своих же комитетов? — такая инстанция не предусмотрена ни в какой конституции.

Соперничество партий искажает народную волю. Принцип партийности уже подавляет личность и роль её, всякая партия есть упрощение и огрубление личности. У человека — взгляды, а у партии — идеология.

Что можно тут пожелать для будущего Российского Союза?

Никакое коренное решение государственных судеб не лежит на партийных путях и не может быть отдано партиям. При буйстве партий — кончена будет наша провинция и вконец заморочена наша

деревня. Не дать возможности «профессиональным политикам» подменять собою голоса страны. Для всех профессиональных знаний есть аппарат государственных служащих.

Любые партии, как и всякие ассоциации и союзы, не более того, существуют свободно, выражают и отстаивают любые мнения, на свои средства могут иметь печать, — но должны быть открыты, зарегистрированы со своими программами. (Всякие тайные союзы, напротив, преследуются уголовно как заговор против общества.) Но недопустимо вмешательство партий в производственный, служебный, учебный процесс: это всё — вне политики.

Во всяких государственных выборах партии, наряду с любыми независимыми группами, имеют право выдвигать кандидатов, агитировать за них, но — без составления партийных *списков:* баллотируются не партии, а отдельные лица. Однако выбранный кандидат должен на весь срок своего избрания выбыть из своей партии, если он в таковой состоит, и действовать под личную ответственность передо всей массой избирателей. Власть — это заповеданное служение и не может быть предметом конкуренции партий.

Как следствие: во всех ступенях государственного представительства, снизу доверху, воспрещается образование партийных групп. И, само собой, перестаёт существовать понятие «правящей партии».

ДЕМОКРАТИЯ МАЛЫХ ПРОСТРАНСТВ

Из высказанных выше критических замечаний о современной демократии вовсе не следует, что будущему Российскому Союзу демократия не нужна. Очень нужна. Но при полной неготовности нашего народа к сложной демократической жизни — она должна постепенно, терпеливо и прочно строиться *снизу,* а не просто возглашаться громковещательно и стремительно сверху, сразу во всем объёме и шири.

Все указанные недостатки почти никак не относятся к демократии малых пространств: небольшого города, посёлка, станицы, волости (группа деревень) и в пределе уезда (района). Только в таком объёме люди безошибочно смогут определить избранцев, хорошо известных им и по деловым способностям и по душевным качествам. Здесь — не удержатся ложные репутации, здесь не поможет обманное красноречие или партийные рекомендации.

Это — именно такой объём, в каком может начать расти, укрепляться и сама себя осознавать новая российская демократия. И это — самое наше жизненное и самое наше верное, ибо отстоит в нашей местности: неотравленные воздух и воду, наши дома, квартиры, наши больницы, ясли, школы, магазины, местное снабжение — и будет живо содействовать росту местной нестеснённой экономической инициативы.

Без правильно поставленного местного самоуправления не может быть добропрочной жизни, да само понятие «гражданской свободы» теряет смысл.

Демократия малых пространств тем сильна, что она *непосредственная*. Демократия по-настоящему эффективна там, где применимы *народные собрания,* а не представительные. Такие повелись — ещё с Афин и даже раньше. Такие — уверенно действуют сегодня в Соединённых Штатах и направляют местную жизнь. Такое посчастливилось мне наблюдать и в Швейцарии, в кантоне Аппенцель. Я писал уже об этом в другом месте, не удержусь тут повторить кратко. На городской площади собраны, плотно друг ко другу стоят все имеющие право голоса («способные носить оружие», как предлагал и Аристотель). Голосование — открытое, поднятием рук. Главу своего кантонального правительства, ландамана, переизбрали очень охотно, с явной любовью, — но из предложенных им законопроектов тут же вслед проголосовали против трёх: доверяем тебе! правь нами — но без э т о г о!

А ландаман Раймонд Брогер в программной речи сказал: Вот уже больше полутысячелетия наша община не меняет существенно форм, в которых она правит сама собою. Нас ведёт убеждение, что *свобода* связана с нашими обязательствами и нашим самосдерживанием. Не может быть свободы ни у личности, ни у государства без дисциплины и честности. Народ — решающий судья во всех важных вопросах, но он не может ежедневно присутствовать, чтоб управлять государством. И поэтому в управлении неизбежна примесь аристократического или даже монархического элемента. (То же говорил и Аристотель.) Правительство, продолжал Брогер, не должно спешить за колеблющимся переменчивым народным голосованием, только бы переизбрали вновь, не должно произносить зазывных речей избирателям, но двигаться против течения. Задача правительства: действовать так, как действовало бы разумное народное большинство, если бы знало всё во всех деталях, — а это становится всё невозможнее при растущих государственных перегрузках. Именно демократическая система как раз и требует сильной руки, которая могла бы государственный руль направлять по ясному курсу.

Демократия малых пространств веками существовала и в России. Это был сквозь все века русский деревенский мір, а в иные поры — городские веча, казачье самоуправление. С конца прошлого века росла и проделала немалый путь ещё одна форма его — *земство,* к сожалению только уездное и губернское, без корня волостного земства и без обвершения всероссийским. Октябрьский переворот насильственно сломал всякое земство, заменив его *советами,* от самого начала подмятыми компартией. Всей историей с 1918 эти советы опорочены: они никогда не были реальным самоуправлением на каком-либо уровне. Вносимые сейчас робкие избирательные изменения тоже не могут эту форму спасти: она не обеспечивает *местных* интересов с их влиянием черезо всю структуру снизу вверх. Я полагаю,

что «советы депутатов» надо, шаг за шагом, снизу вверх, заменить земской системой.

Много лет занимавшись государственной историей предреволюционной России, я использую тут опыт наших лучших практических деятелей и умов, соединенный с моей посильной разработкой. Разумеется, тот опыт не может быть просто перенесен в сегодняшнюю растерзанную страну, где искажены самые основы жизни, но и без него вряд ли наш подъем произойдет здоровыми путями.

Я использую тут и предреволюционные русские понятия и выражения, чтобы не строить ещё третий ряд. Какие-то из них жизнь заменит, другие — приживутся.

ЗЕМСТВО

Будем различать четыре ступени его:

— местное земство (некрупный город, район крупного, посёлок, волость);
— уездное земство (нынешний район, крупный город);
— областное земство (область, автономная республика);
— всероссийское (всесоюзное) земство.

Нам, совершенно отученным от действительного самоуправления, надо постепенно осваивать этот ход, с низших ступеней его. От залётных политиканов храни нас Бог — но иметь политические навыки полезно многим и многим в населении.

Голосование может производиться только за отдельных лиц. В объёме местного земства они, обычно, избирателям хорошо знакомы. Избирательные кампании желательны самые скромные и краткие: лишь деловое оповещение о личных программах, биографиях и убеждениях; на эту процедуру не должны тратиться никакие государственные сред-

ства, а местные — по усмотрению местных сил. Также и многие подробности процедуры должны решаться на местах, и они могут весьма разниться от местности к местности.

Но всеобязательны должны быть:

1) **Ценз возрастной.** Какого возраста должен достичь избиратель, чтобы быть допущенным к решению народной судьбы? В наше время незрелая юность не получает устойчивого воспитания ни в семье, ни в школе, поверхностно нахватана в образовании и порой шатка к самым безответственным влияниям. Не следует ли повысить порог до 20 лет? (По суждению местностей или национальных областей этот возраст может быть установлен и выше.) А быть избранным — лишь с 30 лет? с 28?

2) **Ценз оседлости.** И избиратели, и тем более избираемые должны быть укоренены в данной местности, тесно связаны с её интересами, основательно их понимать; недавние приезжие или вовсе случайные — не могут тут иметь ответственности суждения. Для избирателей оседлость не должна бы быть меньше трёх последних полных, без существенного перерыва, лет. (Каждая местность может устанавливать у себя и выше.) Для избираемых — не меньше пяти последних лет (или, допустим: три последних года непрерывно плюс пять лет в прежнее время).

В местное земство избирается какое-то число законодателей («гласных»). Они утверждают административных лиц, постоянно ответственных перед ними в своей деятельности. В волости, малом посёлке это может быть всего один человек. На уровне уезда это: уездная земская управа, которую выделяет из себя или набирает из специалистов уездное земское собрание.

Новоизбранные — перенимают власть от существующих местных и районных советов депутатов, а те упраздняются.

Выборы в местное земство — только прямые, выборы в уездное — зависят от размеров уезда и надёжной всеизвестности кандидатов. При значитель-

ной территории и густоте населения — надёжнее применить двухстепенные выборы: местные земства тотчас же заменяют собой местные советы, работают половину своего срока, а затем, сознакомясь в себе, выделяют из себя пропорциональную долю в уездное земское собрание до конца срока, до следующих выборов. (На эти полсрока продляется существование прежнего райсовета и райисполкома.)

На первый избирательный срок (2 года?) ничто выше уездного земства не избирается. При нашей политической неумелости — местное и уездное земство в ходе практического управления своею местностью станут и школой управления, и в них начнут проявляться и формироваться деятели, способные к более широкому охвату. Убеждает и пример недавних шахтёрских забастовочных комитетов и «союзов трудящихся», проявивших такое сознание и такую организованность.

СТУПЕНИ ПЕРЕДАЧИ ВЛАСТИ

При географической обширности и бытовых условиях нашей страны прямые всегосударственные выборы законодателей в центральный парламент не могут быть плодотворны. Только выборы трёх-четырёхстепенные могут провести кандидатов и уже оправдавших себя и укоренённых в своих местностях. Это будут выборы не отдалённых малознакомых людей, только и пофигурявших в избирательной кампании, но выборы по взаимному многолетнему узнаванию и доверию.

В конце первого (или даже второго) избирательного срока проводятся выборы третьей ступени: областного земского собрания. Их производят уездные земские собрания (и земское собрание областного города): из своей изученной среды выделяют отведенную им для области пропорциональную долю на весь следующий срок; сами же после этого подвергаются очередному переизбранию.

Составленное так областное земское собрание тут же заменяет собой облсовет, вместо облисполкома формирует для исполнительных действий областную земскую управу, само же, в долготу принятого избирательного срока, собирается только на очередные сессии, а в промежутках члены собрания живут в своих уездах. (После того как вся система станет работать устойчиво, сам избирательный срок может быть повсюду удлинён.)

Тут следовало бы не опустить совета нашего выдающегося земца Д. Н. Шипова: дабы исправить возможные упущения от выборных случайностей, каждое собрание имеет право не голосованием, а при полном согласии приобщать в свой состав, не более пятой части от своего объёма, всем известных полезных и необходимых местных деятелей. В предстоящих условиях это даст и путь некоторым успешным деятелям райсоветов, облсоветов, затем и Верховного Совета — быть плавно принятыми в состав новой власти.

Чем авторитетнее будет областное земство — тем, соответственно, сильней самостоятельность и самопопечение автономных национальных республик и областей.

Не берясь тут предугадывать роль и место нынешних Верховных Советов Российской Федерации, Украины и Белоруссии — естественно предложить, чтобы в конце следующего срока областные земские собрания выделили бы из себя делегатов в Палату Союза (заменяющую Совет Союза) Всеземского Собрания (заменяющего Верховный Совет депутатов), а сами были бы по тому же принципу переизбраны уездными собраниями.

Нынешняя система равномочных палат Совета Союза и Совета Национальностей совсем не плоха, если бы выполнялась без показности и без мошенничества. Палата Национальностей могла бы остаться во Всеземском Собрании вообще без изменений — только с тем простором для каждой нации, что отведенные ей места она сама решает, каким порядком

замещать: общими выборами или полномочиями по достоинству, и на какие сроки.

Существующий сегодня Совет Союза составлен по смутному смешанному принципу: частью территориальным голосованием, частью делегированием от КПСС и от организаций. Это — неприемлемо даже и на переходный (4-х? 6-летний?) период и должно быть как-то исправлено. Кроме того, он неуклюж и огружен ещё и Съездом депутатов, от чего законодательная работа только двоится и осложняется.

Успешное построение земской системы, увершаемой Всеземским Собранием, требует, чтобы поработали и набрались опыта уездные и областные собрания и областяне, хорошо узнав друг друга, могли бы выделять во Всеземское Собрание делегации (либо постоянные на долготу срока, либо посменные на часть его), в которых областной опыт сливался бы со всероссийским и всегда надёжно был бы представлен в нём. Парламент не может быть отвлечённо «центральным»: он должен состоять из реальных и авторитетных представителей областей, да ещё с непременным условием, чтобы они определённую заметную часть года жили в своей местности, не то теряют право представлять её. (Это — и в Соединённых Штатах так.)

СОЧЕТАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Имеется в виду разумное сочетание деятельности централизованной бюрократии и общественных сил.

Такое сочетание бывало периодами и в Московской Руси: местное самоуправление вело не только местные дела, но и часть общегосударственных, однако под надзором центральной власти.

В 1899 С. Ю. Витте ложно-доказательным рассуждением, что самодержавие якобы несовместимо с широким местным самоуправлением, удержал Ни-

колая II от расширения прав земств. (Вскоре вослед Л. Тихомиров, народоволец, ставший монархистом, опроверг это рассуждение, но не был услышан.)

Централизованная бюрократия инерционно старается ограничить области общественного самоуправления. Но это нужно лишь самой бюрократии, а никак не народу, да и не правительству. В здоровое время у местных сил — большая жажда деятельности, и ей должен быть открыт самый широкий простор. Как формулировал Тихомиров: во всём, где общественные силы и сами способны поддерживать общеобязательные нормы, действие правительственных учреждений излишне и даже вредно, так как без нужды расслабляет способность нации к самостоятельности. Повсюду, где допустимо прямое действие народных сил — в форме ли местного самоуправления или деятельности ещё каких-то отдельных общественных ассоциаций, союзов, — это прямое действие должно быть им открыто.

Кроме того, этот общественный подпор незаменим для контроля над государственно-бюрократической системой и заставляет любого там чиновника служить честно и поворотливо.

Такую сочетанную систему, деловое взаимодействие администрации правительственной и администрации местных самоуправлений, Д. Шипов называл *государственно-земским строем.*

Но особое соотношение сложится в нынешний переходный и, может быть не столь краткий, период. Пока общественные силы будут медленно нарастать снизу, набираться государственного опыта, растить свои кадры — существующая бюрократия, привыкшая к бесконтрольному всевластию, будет упираться и всячески не уступать своих прав. Однако неизбежно резкое сужение их от возникновения хозяйственной самостоятельности в стране. Кроме того, в нынешних свежеизбранных, переходных советах уже показывают себя конструктивные силы, которые помогут этому расширению общественной самостоятельности.

Сегодня президентская власть — никак не лишняя при обширности нашей страны и обилии её проблем. Но и все права Главы Государства, и все возможные конфликтные ситуации должны быть строго предусмотрены законом, а тем более — порядок выбора президента. Подлинный авторитет он будет иметь только после всенародного избрания (на 5 лет? 7 лет?). Однако для этого избрания не следует растрачивать народные силы жгучей и пристрастной избирательной кампанией в несколько недель или даже месяцев, когда главная цель — опорочить конкурента. Достаточно, если Всеземское Собрание выдвигает и тщательно обсуждает несколько кандидатур из числа урождённых граждан государства и постоянно живших в нём последние 7—10 лет. В результате обсуждений Всеземское Собрание даёт по поводу всех кандидатов единожды и в равных объёмах публичное обоснование и сводку выдвинутых возражений. Затем всенародное голосование (в один-два тура, по способу абсолютного большинства) могло бы производиться без напряжённой изнурительной избирательной кампании. (Очевидно разумно, по американскому образцу, предусмотреть и должность вице-президента: его кандидатуру называет для себя кандидат в президенты, и они выбираются вместе.)

Если в течение срока избрания Всеземское Собрание тремя четвертями в каждой палате признáет, что президент исполняет свои обязанности неудовлетворительно, оно должно опубликовать доказательные соображения о том — и они выносятся на народное голосование, как и возможные новые кандидаты. Напротив, если по истечении срока президентства Всеземское Собрание двутретным большинством в каждой палате продолжает поддерживать этого президента — нет видимых причин не оставить его на следующий срок без нового народного голосования. Если президент умрёт во второй половине

своего срока — вице-президент заступает его пост до конца срока; если в первой половине — всенародные выборы проводятся заново.

Президент назначает совет министров по своему усмотрению, предпочтительней — из специалистов, принятых на основании конкурса и в качестве государственных служащих; не желательно — из членов законодательных палат. Министры отчитываются как перед президентом, так и перед обеими палатами, но ими не могут быть сменены. (Можно не упустить из предсмертной программы П. А. Столыпина: двух-трехлетняя Академия для занятия высших государственных должностей из наиболее способных, отлично окончивших институты, с открытыми мотивированными общественными или персональными рекомендациями; в Академии — факультеты по профилю министерств. Среди министерств Столыпин выделял министерство местных самоуправлений — в помощь им.)

По определению нашего правоведа В. В. Леонтовича: правительство отличается от администрации (бюрократии) тем, что решает *новые* задачи, а администрация — старые, установившиеся. Соответственно — и требуемый высокий ранг квалификации министров; если же правительство само отдастся бюрократизации, то оно потеряет способность вести страну.

Но и вся работа в административной системе должна никак не быть ни наградой, ни привилегией, не приносить никаких личных преимуществ. «Плодотворно только то правительство, которое видит в себе не что иное, как обязанность», — писал М. Н. Катков. А после всего, пережитого нами, всякая *власть* как понятие — уже в неизбывном долгу перед народом. Чтобы теперь исправлять и нагонять всё разваленное — правительственные учреждения должны отдавать все силы, возможно иметь удлинённый рабочий день.

Мы — почти ни в чём не можем копировать Швейцарию: и по размеру её, и оттого что она

создалась как союз независимых кантонов. Но несомненно можем перенять у неё: при определённом числе тысяч подписей — вносится законопроект, который палаты обязаны рассмотреть; при другом, большем числе (у нас — миллионов) — становится обязательным плебисцит по выдвигаемому вопросу. Эта законодательная инициатива масс добавляет гибкости в государственную жизнь.

Кроме таких плебисцитов и редких выборов президента — никакие более всенародные голосования не стали бы нужными.

СОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА

Добавляю эту главу никак не к сегодняшнему моменту, — но, мне кажется, весьма важную для нашего отдалённого государственного будущего.

Вспоминая свой богатый думский опыт, В. Маклаков выделял: самые прочные успехи демократии достигаются не перевесом большинства над меньшинством, а — соглашением между ними. Для страны с политической неопытностью он даже предлагал создавать *третью палату* парламента «из опытного и культурного меньшинства»: создание такой преграды будет мешать свободному разливу демократии, но для неё самой менее опасно, чем неограниченная власть большинства.

Делая и ещё шаг в этой мысли: очевидно, надо искать форму государственных решений более высокую, чем простое механическое голосование. Всё отдавать на голосование по большинству — значит устанавливать его диктатуру над меньшинством и над *особыми мнениями*, которые как раз наиболее ценны для поиска путей развития.

Высокий уровень деятельности всех государственных властей недостижим без установления над ними

этического контроля. Его могла бы осуществлять верховная моральная инстанция с совещательным голосом — такая структура, в которой голосование почти вообще не производится, но все мнения и контрмнения солидно аргументируются, и это — наиболее авторитетные голоса, какие могут прозвучать в государственной работе.

В нашей истории для того есть прочное подобие: Земский Собор в Московской Руси. Как писал Д. Шипов: когда у нас собирались Земские Соборы, то не происходило борьбы между Государем и Соборами, и неизвестны случаи, когда бы Государь поступил в противность соборному мнению: разойдясь с Собором, он только ослабил бы свой авторитет. Соборность — это система доверия; она предполагает, что нравственное единство — возможно и достижимо.

Такому плану идеально могла бы соответствовать Дума (Соборная Дума? Государственная Дума?), собранная как бы от народной совести — из авторитетных людей, проявивших и высокую нравственность, и мудрость, и обильный жизненный опыт. Но — никак не видно несомненного метода отбора таких людей.

Известным заменителем могла бы быть Дума, составленная от социальных слоев и профессий, можно сказать — от *сословий*. (По Далю, первое значение этого слова: люди общего им занятия, одних прав; второе: состояние, разряд, каста.)

Это два самых естественных принципа взаимодействия и сотрудничества людей: по общей территории, на которой они живут; и по роду их занятий, направлению их деятельности. Мы каждый имеем свою работу, специальность, и тем получаем полезное место в структуре общества. Обезличенное полное равенство людских выражений — есть энтропия, направление к смерти. Общество живо именно своею дифференциацией. Несут на себе государство — те люди, которые думают, работают и создают всё, чем живёт страна. Чем лучше нация организована в со-

циальных группах, тем явственней проступают её творческие силы (Л. Тихомиров).

В рассвобождённом нашем обществе с годами несомненно разработаются и сплотятся жизнедеятельные сословия — сословия не в кастовом смысле, а — по профессиям и отраслям приложения труда. Слишком долго у нас всяким делом ведали и руководили те, кто ничего в нём не понимают. Наконец, каждое дело должны вести знающие. А совета по каждому делу никто не даст лучше, чем представители данной специальности. (Сословия, основанные на духовном и деловом сотворчестве людей одной профессии, никак не следует путать с *профсоюзами*. В сословии — ты естественный член уже по одному роду своей работы. Профсоюз — это организация для борьбы за зарплату и материальные выгоды, куда не каждый вступает и не каждого принимают.)

В дополнение к земскому, территориальному представительству могло бы нарасти и действовать представительство сословное. (И часть энергии, непроизводительно растрачиваемой в партиях, направится в конструктивную сословную деятельность.)

Процедуру выборов (или назначения) своих депутатов в Соборную Думу каждое сословие определяло бы само. Они посылают туда (ведущие сословия — и по два) не политических депутатов и не для отстаивания своих политических интересов, а — самых опытных и достойных, кому доверяют общие суждения по роду деятельности своего сословия.

Для удобства сосредоточения работы число членов Думы не должно бы превосходить 200—250 человек. (Сословий может оказаться и больше, но может посылаться один представитель от группы родственных некрупных сословий.)

Мнение без голосования — вовсе не новинка. Например, у горцев Кавказа долго держался порядок не общего голосования, а — «опрос мудрых».

Всякое мнение, суждение или запрос, основательно мотивированное и обращённое более чем половиной Думы к президенту, совету министров, любой из

двух палат или к верховной судебной власти, — публикуется. И запрошенная инстанция либо должна принять это суждение в руководство, либо опубликовать в двухнедельный срок мотивировку, по которой запрос отвергается. (В исключительных случаях военной тайны обмен происходит не публично; но члены Думы и в этом случае вправе получить любую нужную информацию о президентской, правительственной, законодательной или судебной деятельности.)

Так же, более чем от половины Думы, может быть выдвинут кандидат в президенты.

Если же суждение Соборной Думы принято **без голосов против** — оно накладывает запрет на любой закон, на любое действие любого учреждения, — и тот закон, то действие должны быть изменены. Таким же путём может быть наложено вето и на любую кандидатуру в президенты.

Добавление совещательной и весьма сведущей Соборной Думы — накладывает на все виды властей умственный и нравственный отпечаток. А возможности улучшить общество одними лишь политическими средствами — невелики.

«Цель общежития — установить между людьми нравственный порядок» (М. М. Сперанский). — «Свобода и законность, чтобы быть прочными, должны опираться на внутреннее сознание народа» (А. К. Толстой). — «Политическая крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравственной» (В. О. Ключевский).

Право — это минимум нравственных требований к человеку, ниже которых он уже опасен для общества. «Во многих случаях то, что является правом, запрещается моралью, которая обращается к человеку с заповедями высшими и более строгими» (П. И. Новгородцев).

Нравственное начало должно стоять выше, чем юридическое. Справедливость — это соответствие с нравственным правом прежде, чем с юридическим.

ДАВАЙТЕ ИСКАТЬ

В этой сжатой работе я не имел возможности говорить об армии, милиции, судебной системе, большинстве вопросов законодательства, экономики и о профсоюзах. Моя задача была лишь — предложить некоторые отдельные соображения, не претендующие ни на какую окончательность, а только предпослать почву для обсуждений.

Разумное и справедливое построение государственной жизни — задача высокой трудности, и может быть достигнуто только очень постепенно, рядом последовательных приближений и нащупываний. Эта задача не угасла и перед сегодняшними благополучными западными странами, надо и на них смотреть глазами не восторженными, а ясно открытыми, — но насколько ж она больней и острей у нас, когда мы начинаем с катастрофического провала страны и разученности людей.

Непосильно трудно составлять какую-либо стройную разработку вперёд: она скорее всего будет содержать больше ошибок, чем достоинств, и с трудом поспевать за реальным ходом вещей. Но и: нельзя вовсе не пытаться.

В основу предлагаемой работы положены мысли многих русских деятелей разной поры — и, я надеюсь, их соединение может послужить плодоносной порослью.

Июль 1990

РЕЧЬ В МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ ФИЛОСОФИИ
(княжество Лихтенштейн)

14 сентября 1993

Ваши Высочества!
Господин ректор!
Дамы и господа!

Всякий раз, когда я въезжаю в княжество Лихтенштейн, я с волнением вспоминаю тот выдающийся урок мужества, который это крохотное государство, его покойный почтенный князь Франц-Иосиф II преподали всему міру в 1945 году: под угрозой нависшей беспощадной советской военной машины — не дрогнули дать приют отряду русских антикоммунистов, искавших укрытия от сталинской тирании.

Этот пример тем более поучителен, что в те самые месяцы могучие демократические державы, авторы громкой Атлантической Хартии, обещавшей свободу всем угнетённым на Земле, заискивая перед победителем Сталиным, беспрекословно отдали ему в рабство и всю Восточную Европу, и — со своей собственной территории! — сотни и сотни тысяч советских граждан, против их открытой воли, пренебрегая даже самоубийствами некоторых тут же, — низким насилием, прямо штыками толкали их к тому же Сталину на расправу, на лагерные муки и на смерть. И вышло так, что советские люди уместно легли миллионами для общей с Западом победы, а сами не имеют права на свободу. (И поразительно, что свободная западная пресса 25 лет помогала скрывать это злодеяние. И тех английских и американских генералов и администраторов никто ни тогда, ни потом не назвал по заслугам *военными преступниками,* тем более никто не судил.)

Это сравнение подвига в маленьком Лихтенштейне и предательства на высотах великих держав — невольно ведёт нас дальше: к вопросу о роли, о допустимой и ответственно необходимой доле нравственности — в политике.

Ещё Эразм Роттердамский относил политику к сфере этики, требовал, чтобы политика была проявлением этических движений. Но то был — только XVI век.

А потом ведь начиналось наше Просвещение, и от XVII к XVIII мы усвоили от Джона Локка, что немыслимо говорить о нравственных понятиях применительно к государству и его действиям. И политики, сквозь всю историю так часто свободные от тягостной связи с нравственными требованиями, этим получили как бы дополнительное теоретическое оправдание. Нравственные мотивы государственных деятелей были и прежде слабей политических, но в наше время последствия принятых решений растут в размерах.

Разумеется, перенос нравственных критериев с поведения отдельных людей, семей, небольших кружков — на политиков и государства не может быть произведен 1 : 1, тут нет полной адекватности: масштабы, инерция и задачи государстенных устройств вносят некую деформацию. Однако и государства ведутся политиками, а политики — обыкновенные люди, и их действия отзываются тоже на обыкновенных людях; к тому же ещё флюктуации политического поведения часто бывают далеки от безусловной государственной необходимости. И, значит, многие нравственные требования, предъявляемые нами к отдельному человеку: чтó есть честность, а что — низость и обман, чтó есть великодушие и добро, а что — алчность и злодейство, — в значительной мере должны прилагаться и к политике государств, правительств, парламентов и партий.

Да если государственную, партийную, социальную политику не основывать на нравственности, то у человечества и вообще нет будущего. Напротив: государственная ли политика, людское ли поведение, определённые по нравственному компасу, оказываются не только самыми человечными, но, в конечном счёте, и самыми предусмотрительными для своего же будущего.

В русском народе такое понимание, как идеальная цель, выражаемое особым словом *правда, жить по правде,* — не угасало и во все века. И даже в конце уже мутноватого XIX века русский философ Владимир Соловьёв настаивал, что с христианской точки зрения нравственная и политическая деятельность тесно связаны, что политическая деятельность и не может быть не чем иным, как только *нравственным служением;* а политика, преследующая лишь *интересы,* — не содержит в себе ничего христианского.

Увы, сегодня на моей родине эти ориентиры утеряны ещё более, чем на Западе, — и я сознаю уязвимость сейчас моей позиции к произнесению таких суждений. Там, где прежде был СССР, после 70-летнего чудовищного прессования людей — распахнувшаяся теперь свобода плохо контролируемых действий, да при круговой нищете, кинула многих по бессовестному пути, с необузданностью наихудших жизненных правил. В нашей стране 70 лет уничтожали не просто подряд, кого придётся, но именно тех, кто отличался умственными и нравственными качествами. Поэтому сегодняшняя картина у нас там — безотрадней и дичей, чем если б зависела только от средних недостатков человеческой нашей природы.

Но не будем развешивать беду между странами и нациями: она — всеобщая наша беда, в конце Второго Тысячелетия христианства. Да и вообще: можно ли так легко метать это слово — нравственность?

ЗАВЕТ БЕНТАМА

Из XVIII века мы получили завет Иеремии Бентама: нравственно то, что нравится большинству людей; человек никогда и не может желать ничего кроме того, что благоприятствует сохранению его собственного существования. И этот драгоценный и столь удобный совет — с какой же готовностью подхватило цивилизующееся человечество! В деловых отношениях в обществе господствует жестокий расчёт, и он даже вошёл во всепринятую норму поведения. Считается непростительным промахом — в чём-то уступить конкуренту, оппоненту, если имеешь превосходство в позиции, в силе, в богатстве. На каждое событие, поступок, намерение наложена определяющей меркой — юридическая. Она задумана как преграда от безнравственного поведения, и часто действует так, но и она же порой облегчает ему пути, в форме «юридического реализма».

Надо ещё радоваться, как этому юридическому гипнозу сопротивляется добротная человеческая природа, не даёт усыпить себя до духовной лени и равнодушия к чужим бедам. И множество благополучных людей Запада с живостью отзываются на дальние боли и страдания, жертвуют вещи, деньги и иногда немалые собственные усилия.

БЕСКОНЕЧНЫЙ ПРОГРЕСС

Знания человека и его умения не могут не совершенствоваться, не могут остановиться — и не должны останавливаться. К XVIII веку этот процесс стал ускоряться, всё более заметен. Анн Тюрго присвоил ему звучное название — Прогресса, и с тем смыслом, что Прогресс, основанный на экономическом развитии, несомненно и неуклонно приведёт к общему смягчению нравов.

И это звучное наименование стало широко при-

меняться, расширилось до размеров едва ли не всеобщей и гордой философии жизни: мы — *прогрессируем!* Образованное человечество сразу готовно поверило в этот Прогресс. И как-то никто не допытался: прогресс — *именно в чём?* прогресс — *именно чего?* а не грозит ли нам при Прогрессе что-нибудь и потерять? Так было понято воодушевлённо, перспективно, что Прогресс потечёт во всём что ни на есть, и во всём целокупном человечестве. Из этого напряжённого оптимизма Прогресса вывел и Маркс, что история приведёт нас к справедливости и без Бога.

Потекло время — и оказалось, что Прогресс — да, идёт! и даже ошеломительно превосходя ожидания, — да только идёт-то он в одной технологической цивилизации (с особыми успехами в устройстве быта и военных изобретений).

Прогресс-то пошёл замечательно! — но привёл к последствиям, которых никак не ожидали предшествующие поколения.

КРИЗИС ПРОГРЕССА

Первая мелочь, которую мы упустили и только недавно обнаружили: что не может происходить безграничный Прогресс в ограниченной земной среде. Что природа ждёт от нас не покорения, а нашей поддержки; что, вот, отпущенную нам природу мы успешно *съедаем.* (Слава Богу, тревога о том возникла, особенно в странах развитых, и начались спасательные действия — хотя в размерах ещё слишком недостаточных. А одно из благодетельных последствий крушения коммунизма — крушение соблазнительной для стольких стран модели са́мого бредового хозяйства, са́мой безоглядно-затратной экономики.)

Второй просчёт оказался: что нравы наши не смягчились с Прогрессом, как было обещано. Не приняли в расчёт только-то и всего — человеческую душу.

Мы разрешили потребностям нашим расти безмерно, и уже теряемся, куда их направить. Да с услужливой помощью торговых фирм выдуваются, изобретаются всё новые потребности, иногда и вовсе искусственные, — и мы массово гонимся за ними, а насыщения всё нет. И не будет никогда.

Накоплять и накоплять собственность? Но и это никогда не насытит. (А проницательными людьми давно понято: собственность должна быть подчинена другим, высшим началам, иметь духовное оправдание, свою миссию, — иначе она производит опустошение в человеческой жизни, становится орудием корысти и угнетения, — формулировка Николая Бердяева.)

Обширно открылся людям из западной цивилизации нынешний динамичный транспорт. Впрочем, и без него — современный человек уже едва ли не выскакивает за пределы своего существа, он и без того сразу присутствует на всей планете телевизионными глазами. Но оказывается, что и от этого всего судорожного темпа техноцентрического Прогресса и от океана поверхностной информации и низкопробных зрелищ — душа человеческая не растёт, а только мельчает, духовная жизнь снижается; соответственно — беднеет и блекнет наша культура, как ни старается перекричать своё падение опустошёнными новинками. Всё больше комфорта — и всё ниже духовное развитие на среднем уровне. И наступает пресыщенность, и охватывает щемящая тоска, что в водовороте удовольствий нет успокоения, что надолго — такого дыхания не хватит.

Нет, не вся надежда на науку, технологию, экономический рост. Победная технологическая цивилизация одновременно вселила в нас и духовную неуверенность. Своими подарками она не только благодетельствует нас, но и порабощает. Всё — *интересы,* не упустить *интересы,* всё борьба за материальные вещи, а чувство глухо подсказывает нам, что потеряно — нечто чистое, высокое — и хрупкое. Мы — перестали видеть ц е л ь.

Давайте же признаемся, хоть шёпотом и сами себе: в этой суетливой и бешеной по темпу жизни — ради чего мы живём?

А ОТ ВЕЧНЫХ ПРОБЛЕМ НЕ УШЛИ

Сам Прогресс не остановим никем и ничем, но от нас зависит: перестать понимать его как поток неограниченных благ, а понимать — как дар, посланный в очень-очень сложное испытание нашей воли.

Вот, дар телефона и дар телевизора в неумеренном пользовании — разрушили цельность нашего времени, естественное течение нашей жизни, выдёргивают нас из него. Дар удлинённой человеческой жизни, в одном из последствий, сделал тягостным старшее поколение для среднего и обрёк стариков на долгое одиночество, оставленность близкими в старости, и непоправимо оторвал его от счастья передачи душевного опыта самым младшеньким.

Но разрываются между людьми — и горизонтальные душевные связи. При всём как будто кипении политической и социальной жизни — растёт асоциальная разгороженность, разъединённость и несочувствие между людьми, занятыми своими материальными интересами, потом — и свистящее одиночество. (Откуда и взялся, и взвопил экзистенциализм.)

Нам надо не просто отдаться механическому потоку Прогресса, — но стараться духовно переосвоить его — для нас. Искать (или углублять уже найденные) пути такого переосвоения, чтобы не стать всего лишь игрушками Прогресса, а чтобы направить мощь Прогресса — действительно на совершение добра.

Понимался Прогресс — как сияющий и прямолинейный вектор, а оказался он сложной гнутой кривой — и вот опять вернул нас всё к тем же вечным проблемам, какие стояли и раньше, и раньше, да

только, чтобы освоиться с ними, люди тогда были не так рассеяны, не так разбросаны, как мы сейчас.

Мы потеряли в себе гармонию, с которою созданы, гармонию между духовной и физической нашей природой. И ту душевную ясность, когда понятия Добра и Зла ещё не были высмеяны и ещё не были, по принципу fifty-fifty, затолканы вздором.

И ничто так не выявляет нашей нынешней духовной беспомощности и интеллектуального смятения, как утеря ясного, спокойного отношения к *смерти*. Чем выше растёт людское благополучие — тем жёстче врезается в душу современного человека холодящий страх смерти. От этой-то ненасытной, громкой, суетной жизни и развился такой массовый страх перед смертью, какого не знали в старину. Человек потерял ощущенье себя как ограниченной, хотя и одарённой волею, точки Вселенной. Он всё больше стал мнить себя центром окружающего, не себя приноравливая к міру, а мір к себе. И тогда, конечно, мысль о смерти становится невыносимой: ведь это погасание всей Вселенной разом.

Отказавшись помнить неизменную Высшую Силу над нами — мы насытили пространство императивами личными, и вдруг стало жутко жить.

ПОСЛЕ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

Середина XX века прошла у всех нас под нависшей ядерной угрозой, свирепой за пределами всякого воображения. Она как будто заслонила все пороки жизни: всё остальное показалось ничтожно, всё равно пропадать, живи как хочешь. И эта великая Угроза ещё тоже остановила и развитие человеческого духа и опоминание о смысле нашей жизни.

Однако, парадоксально, эта же опасность на время придала западному обществу и некий объединяющий смысл существования: укрепиться и устоять против смертельной угрозы от коммунизма.

Никак не сказать, чтобы все её до конца понимали, никак не сказать, чтоб эта твёрдость пронизала на Западе всех едино, — проявилось и немало капитулянтов, легкомысленно разрушавших западное стояние. Но перевес ответственных людей в правительствах сохранил Запад и дал выиграть бои за Берлин, Корею, удержать от гибели Грецию и Португалию. (А были годы, когда вожди коммунизма могли нанести молниеносный удар, скорей всего и не получив в ответ ядерного. Только, пожалуй, гедонизм тех дряхлеющих вождей всё откладывал их замысел, пока президент Рейган не сбил их с дистанции новой, уже невыносимой для них спиралью вооружений.)

И вот, в конце XX века разразился многими моими соотечественниками ожидавшийся, а на Западе для многих неожиданный феномен: коммунизм — саморазвалился от своей исконной безжизненности и от долго накоплявшегося в нём гниения. Развалился — со стремительной быстротой и сразу в дюжине стран. Так и ядерная угроза — отпала сразу вдруг.

И — что же? Пронеслись над миром короткие месяцы радостного облегчения (а у кого — и рыданий о гибели земной Утопии, социалистическом рае на Земле). Пронеслись — а что-то не стало на планете спокойнее, чуть ли не чаще стало, то там, то сям, — вспыхивать, взрываться, стрелять, уже и не наскрести войск ООН для умиротворения.

Да на территории бывшего СССР коммунизм далеко ещё и не кончился. В некоторых республиках сохранились реально и полные формы его, а во всех — и миллионные кадры коммунистов и неумершие корни в сознании и в бытии. Вместе с тем обнажились в народной истерзанности новые жгучие язвы, например — при начинающем диком и не-производственном капитализме — столь отвратительные образцы поведения, разграба национального достояния, каких не знал и Запад, а от этого в неподготов-

ленном, незащищённом населении даже возникла тоска по прежнему «равенству в нищете».

Хотя и рухнул земной идеал социализма-коммунизма, но остались висеть вопросы, на которые он якобы отвечал: бессовестность в использовании социальных преимуществ и непомерная сила денег, часто и направляющих весь ход событий. И если всемирный урок XX века не послужит исцеляющей прививкой — то всё пространное красное завихрение может повториться и вновь.

Холодная война окончилась — но проблемы современной жизни обнажились гораздо более сложными, чем они до сих пор укладывались в двух измерениях политической плоскости. Тем ясней обнажился и прежний кризис смысла жизни, прежний духовный вакуум, ещё и углублённый, запущенный за ядерные десятилетия. В эпоху равновесия ядерного страха этот вакуум как-то прикрывался иллюзией кратковременно удавшейся стабильности существования. А теперь ещё требовательней распахнулся прежний неумолимый вопрос: куда же мы движемся?

НА РУБЕЖЕ XXI ВЕКА

И как раз — мы символически подходим к рубежу веков, и даже Тысячелетий: уже неполных 8 лет отделяют нас от этого всеисторического рубежа. (А по нынешней суетливости Новый век объявят нам ещё и на год раньше, не дождясь 2001-го.)

Кому из нас не хочется встретить торжественный рубеж в ликовании и в кипении надежд? Многие так и встречали XX-й — как век возвышенного разума, и близко не представляя, какие людоедские ужасы ждут нас в нём. Кажется, один только Достоевский, и ещё прежде, прозрел грядущий тоталитаризм.

За XX век не произошло в человечестве наращения нравственности. А вот — уничтожения сверша-

лись много массовей, и культура резко упала, и духовность обеднилась. (Хотя, разумеется, и XIX век к тому поработал.) И с чего же нам ждать, что XXI-й, да ещё по всем углам начинённый всеми видами первоклассного оружия, окажется для нас благоприятнее?

А ещё же гибель природы. И взрыв земного населения. И грандиозная проблема Третьего Мира, всё ещё называемого так, весьма обобщённо и неадекватно. Он составляет 4/5 современного человечества, а скоро составит и 5/6 — и так станет важнейшим субъектом XXI столетия. Утопающий в бедах и нищете, он, можно не сомневаться, скоро выступит со всё нарастающими требованиями к передовым странам. (Да эти мысли носились ещё и на заре советского коммунизма. Например, в 1921, мало кто знает, татарский националист и коммунист Султан Галиев предлагал создать Интернационал колониальных и полуколониальных стран — и установить его диктатуру над передовыми промышленными.) А сегодня, хотя бы по растущему напору беженцев, который ломится через все европейские границы, — Западу трудно не ощутить себя крепостью: пока весьма благополучной, но и осаждённой. А впереди — от нарастающего экологического кризиса могут измениться климатические зоны, возникнет недостаток пресной воды и удобной земли там, где они имелись раньше, — и это может вызвать новые грозные конфликты на планете, войны за выживание.

Тут для Запада вырастает задача сложного равновесия: сохраняя полное уважение ко всему драгоценному плюрализму мировых культур и их поискам собственных социальных решений, — не уронить самоценности и своей, так трудно и долго достигавшейся, исторически-уникальной устойчивости ограждённой законами жизни, дающей независимость и простор каждому гражданину.

САМООГРАНИЧЕНИЕ

Неуклонно подходит крайняя пора наложить на наши потребности — самоограничение. Трудно решиться на самостеснение и на жертвы? Трудно потому, что в личной жизни, и в общественной, и в государственной мы давно обронили на морское дно золотой ключ Самоограничения. А самоограничение — это самое первое и самое разумное действие человека, получившего свободу. Оно есть самый верный путь осуществления свободы. Не надо ждать, когда внешние события жёстко стиснут нас и даже опрокинут, — надо уметь предусмотрительным самоограничением открывать неизбежному ходу событий примирительный путь.

Примеры, как мы уклоняемся от этого пути в нашей личной жизни, — известны только нашей совести и нашим близким. Примеры, как от него уклоняются крупные субъекты — партии или государства, — на виду у всех.

Когда собирается конференция встревоженных земных народов перед несомненной и близкой опасностью всей нашей природе и атмосфере — могучая держава, забирающая не многим менее половины используемых ныне земных ресурсов и выпускающая половину мирового загрязнения, — из своих сиюминутных внутренних интересов добивается снизить требования благоразумного международного соглашения, как будто ей самой на этой Земле не жить. А другие передовые страны уклоняются выполнять даже и эти сниженные требования. Вот так, в экономической гонке, мы отравляем сами себя.

Так и при распаде СССР по фальшивым ленинским границам между республиками есть разящие примеры, как, в погоне за дутой державностью, — новорожденные образования поспешили захватить обширные, исторически и этнически чуждые себе области, и где десятки тысяч, а где и миллионы чужого населения, недальновидно не вдумываясь в

будущее: что никакой захват не приводит к добру самого стяжателя.

Конечно, при переносе принципа самоограничения на сообщества людей, на профессии, партии и целые государства — возникает больше трудных вопросов, чем найденных кем-либо ответов. Всякие решения о жертвах, о самостеснении отзовутся на множестве людей, к ним, может быть, не готовых и не согласных. (Да даже простое личное самоограничение каких-то потребителей товаров — неуследимо отзовётся где-то на производителях.)

А и если мы не воспитаемся сами класть твёрдые границы своим желаниям и требованиям, подчинять интересы критериям нравственности, — нас, человечество, просто разорвёт. Оскалятся худшие стороны человеческой природы.

Указывалось разными мыслителями уже не раз, да вот буквально словами русского философа XX века Николая Лосского: если личность не направлена к сверхличным ценностям, то в неё неизбежно вносится порча и разложение. — Или, разрешите поделиться личным наблюдением: истинное духовное удовлетворение мы только и испытываем — не от захвата, а от отказа захватить. От самоограничения.

Сегодня оно видится нам — никак не приемлемым, стеснительным, даже отвратительным, оттого что мы за века отвыкли от него, к чему были привычны по нужде наши предки: на них лежало куда больше внешних ограничений и им открывалось куда меньше возможностей. Вся первостепенная важность *само*ограничения, во всю весомость, только и встала перед человечеством XX века. Но даже при тех многообразных взаимосвязях, которые пронизывают нашу сегодняшнюю жизнь, мы только через самоограничение можем, хоть и с большим сопротивлением, постепенно, излечить и нашу экономическую жизнь, и политическую.

Сегодня — не многие охотно примут этот принцип для себя. Однако: в сложнеющей обстановке нашей современности ограничивать себя самих —

это единственно верный, спасительный путь, для всех нас.

И он помогает нам вернуть себе сознание Целого и Высшего над нами. И совсем утерянное чувство — смирения перед Ним.

Прогресс? истинно может быть только один: сумма духовных прогрессов отдельных людей. Степень самоусовершенствования их на жизненном пути.

Недавно позабавили нас наивной басней о наступившем счастливом «конце истории», разливистом торжестве вседемократического блаженства, якобы, вот, достигнутой окончательной формы мирового устройства.

Но мы все видим и ощущаем, что наступает нечто совсем другое — и, вероятно, по-новому суровое. Нет, покой на нашей планете не обещает наступить и не будет нам легко подарен.

Однако же и для всех нас не впустую прошли испытания XX века. Надо надеяться: мы тоже закаляемся к стойкости, и этот закал как-то передаётся с поколениями.

СЛОВО О ВАНДЕЙСКОМ ВОССТАНИИ

Вандея, 25 сентября 1993

Господин президент Генерального Совета Вандеи!
Дорогие вандейцы!

Две трети века назад, ещё мальчиком, с восхищением читал я в книгах о мужественном и отчаянном Вандейском восстании, но никогда бы не могло мне и пригрезиться, что в старости доведётся мне честь самому открывать памятник героям и жертвам того восстания.

От него прошло уже двадцать десятилетий — и с разными десятилетиями в разных странах, совсем не только во Франции, Вандейское восстание и его кровавое подавление виделись по-новому и по-новому. Да все события истории никогда полностью не понимаются в раскале современных им страстей — а только на большом отстоянии охладительного времени. Долго не хотели услышать и признать того, что *кричало* голосами погибающих и даже сжигаемых заживо: что крестьяне трудового края, ради которых будто бы и делалась революция, — доведенные именно ею до крайности притеснения и унижения — восстали против неё!

Что всякая революция выпускает из людей наружу инстинкты первобытного варварства, тёмную стихию зависти, жадности и ненависти — было слишком видно и современникам. Достаточно страшно достался им тот повальный психоз, когда проявить себя, да даже только показаться *умеренным* — уже выглядело преступлением. Но особенно XX век сильно и сильно снизил в глазах человечества тот романтический ореол революций, который ещё господствовал в XVIII-м. Отдаляясь на полувека и века, люди стали всё более убеждаться на своих же бедах, что революции разваливают органичность

общества; разоряют естественность жизни; уничтожают лучшие элементы населения и открывают простор худшим; что никакая революция не может обогатить страну, лишь немногих бессовестных ловкачей, своей же стране в целом несёт она многие смерти, широкое обнищание — а в самых тяжёлых случаях и долговременное вырождение народа.

Да само слово «революция» от латинского *revolvo* — означает «катить назад», «возвращаться», «снова испытывать», «вновь разжигать», в лучшем случае — «переворачивать». Незавидный перечень смыслов. Сегодня в мире если к какой революции и прилагают атрибут «великая» — то с большой осторожностью, а нередко — и с большой горечью.

Теперь мы всё более понимаем, что страстно желаемый нами социальный эффект, но с неизмеримо меньшими потерями и без всеобщего одичания, — достигается нормальным эволюционным развитием. Надо уметь терпеливо улучшать то, что у нас есть в каждое «сегодня».

И тщетно было бы надеяться, что революция может изменить к лучшему человеческую природу, — а ваша революция и особенно наша, российская, — сильно надеялись на это. Французская революция текла во имя внутренне противоречивого и неисполнимого лозунга — «свобода, равенство, братство». Но в общественной жизни свобода и равенство — исключают друг друга, враждебны друг другу: ибо свобода разрушает социальное равенство, в этом и свобода, а равенство — подавляет свободу, иначе его не достичь. Братство же — вообще не из их семьи, это лишь крылатый добавок к лозунгу: подлинное братство достигается не социальными средствами, а лишь духовными. А ещё ж к этому тройному лозунгу угрожающе добавлялось «или смерть!», уничтожая уже и весь смысл его.

Никакой стране никогда не пожелаю «великой революции». Революция XVIII века лишь потому не погубила Францию, что в ней состоялся Термидор. А вот в российской революции не было останавливающе-

го Термидора — и она, без излома, докатила наш народ — до конца, до пропасти, до пучины гибели.

Мне жаль, что здесь сегодня нет ораторов, которые бы добавили ещё и от пережитого в глубинах Китая, Камбоджи, Вьетнама, — какой ценой далась революция *им*.

Опыта Французской революции, кажется, было достаточно, чтобы наши российские рационалисты-устроители «народного счастья» научились на нём. Но нет! — в России всё совершилось в ещё худшем виде и несравнимых масштабах. Многие жестокие ухватки Французской революции были ученически повторены на теле России коммунистами-ленинцами, интернационал-социалистами — только их организованность и систематичность были много выше якобинских.

Термидора у нас не было, но Вандея — к нашей духовной гордости — была и у нас, и даже не одна. Это большие крестьянские восстания — Тамбовское 1920-21, Западно-Сибирское 1921, Известен такой эпизод: толпы крестьян в лаптях, с дубинами и вилами, пошли на Тамбов под колокольный звон окрестных сёл — и посечены пулемётами. Тамбовское восстание продержалось 11 месяцев, хотя коммунисты давили его броневиками, бронепоездами, самолётами, брали в заложники семьи повстанцев и уже готовили к применению отравляющие газы. И ещё было у нас — непримиримое сопротивление большевизму казаков уральских, донских, кубанских, терских, залитое огромной кровью, геноцидом.

И вот, открывая сегодня памятник Вашей героической Вандее, — я испытываю двоение взгляда: я мысленно вижу и те памятники, которые когда-нибудь поднимутся в России — как знаки нашего русского сопротивления накату зверского коммунизма.

Мы все с вами пережили XX-й — насквозь террористический — век, содрогающее увенчание того Прогресса, о котором столько мечталось в XVIII-м. И, я думаю, теперь — всё больше французов, со всё большим пониманием и гордостью будут вспоминать и оценят самоотверженное вандейское сопротивление.

«РУССКИЙ ВОПРОС» К КОНЦУ XX ВЕКА

Сегодня — хочется если что читать, то коротко, как можно короче, и — о сегодняшнем. Но каждый момент нашей истории, и сегодняшний тоже, — есть лишь точка на её оси. И если мы хотим нащупать возможные и верные направления выхода из нынешней грозной беды — надо не упускать из виду те многие промахи прежней нашей истории, которые тоже толкали нас к теперешнему.

Я сознаю, что в этой статье не разработаны ближайшие конкретные практические шаги, но я и не считаю себя вправе предлагать их прежде моего скорого возврата на родину.

Март 1994

Нельзя обойтись без исторического огляда, и даже начать его издалека. Однако при этом выделим только две линии: как соотносились в нашей истории внутреннее состояние страны и её внешние усилия.

Существующий миф о расцвете **новгородской демократии** в XV—XVI веках опровергается акад. С. Ф. Платоновым.[1] Он пишет, что это была олигархия небольшого круга богатейших семей, что господство новгородской знати выросло до степени политической диктатуры; а в междоусобиях враждующих партий, так и не выработавших приёмов компромисса, использовалась народная толпа — и до степени анархии; что в быстротечном развитии социальный и политический порядок Новгорода успел обветшать ранее, чем его сломила Москва.

Однако заповедный край демократической среды, обильного свободного крестьянства, образовался,

[1] *С. Ф. Платонов.* Смутное время. Прага: Пламя, 1924.

именно освободясь от Новгорода, — в **Поморьи.** (Москва не насаждала там своих помещиков, ибо с севера не видела врагов.) В Поморьи русский характер развивался свободно, не в сжатии московских порядков и без наклонов к разбою, заметно усвоенному казачеством южных рек. (Не случайно и свет Ломоносова пришёл к нам из Поморья.)

В Смуту XVII века, после всех разорений Руси и разврата душ, — именно русский Север, с опорой на Поморье, сперва был надёжным тылом для отрядов Скопина-Шуйского, потом — ополчения Пожарского, принесшего Руси окончательное освобождение и замирение.

И Платонов отмечает, что мучительный и душераспадный период Смуты принёс и благодетельный переворот в политические понятия русских людей: в обстановке безцарствия, когда Русь перестала быть «вотчиной» Государя, а люди — его «слугами» и «холопами», — государство не должно пропасть и без Государя, надо спасать и строить его самим. Повсюду усилилась местная власть, выносились постановления местных «миров», происходила «обсылка» послов и вестей из города в город, в городах создались всесословные советы, они соединялись в «совет всея земли». (Подобной же самодеятельностью было и 16-месячное стояние Троицкой Лавры и 20-месячное Смоленска.) Всё это — примеры поучительной русской народной организованности для нас, потомков.

Так рядом с привычным «государевым делом» стало «великое земское дело». И **Михаил** с первых же шагов искал помощи Земского Собора — а Собор охотно помогал Государю. Не было никакого формального ограничения власти Государя, но — тесная связь царя и «всея земли». И первые 10 лет царствования Михаила Собор заседал непрерывно, позже периодически. (И вся эта русская государственность создалась никак не под западным влиянием и никого не копируя.)

Не касаясь здесь последних царствований рюри-

ковской династии, напомним, что и там, наряду со всесильной царской властью, действовали местные жизнеспособные управительные учреждения (хотя ещё при самом невежественном состоянии правосознания), выборные власти: губной староста (по уголовным делам), земский головной староста, «земская изба» (раскладка податей, развёрстка земли, нужды посадских). Правда, владельческие крестьяне почти не имели влияния там (хотя были у них общинные старосты и сотские).[2] Так что местные управления, столь спасительно повлиявшие в Смуту, выросли не на пустом месте. Однако военные нужды государства всё более закрепляли крестьян на землях служилых людей, а крестьяне, в поисках воли, бежали на незаселённые окраины, отчего одновременно оскудевал людьми и трудом центр государства, а на окраинах усилялась мятежная вольница — и то и другое разорительно сказалось в Смуту, и не только тогда: четырёх-трёхвековый процесс крепостничества гибельно просквозил Новую русскую историю.

«Соборный» после-смутный период, однако, быстро кончался при **Алексее Михайловиче**, по историческому недоразумению увековеченном «Тишайшим». При нём всё больше брало верх в государственном управлении «приказное» начало над «земским», вместо здоровых земских сил — плохо организованная бюрократия,— и это тоже на 300 лет вперёд. Царствование Алексея Михайловича всё наполнено бунтами — народным протестом против управления воевод и приказных. Уложение 1649 года не только оставило в прежнем закабалении холопов и крепостных, но даже усилило его.[3] (Ответом была — серия бунтов, кончая разинским.) Война, которую вёл Алексей, была необходимой и справедливой, ибо он

---

[2] *Л. А. Тихомиров.* Монархическая государственность. Буэнос-Айрес: Русское Слово, 1968.

[3] *С. Ф. Платонов.* Москва и Запад. Берлин: Обелиск, 1926, с. 111—114.

отвоёвывал исконно русские земли, захваченные поляками. Наряду с тем военное столкновение открывало Алексею и меру нашей отсталости от Запада, и острую необходимость перенимать оттуда знания и технику, но вселяло и «моду» не отстать ни в чём от западных влияний, поспешно угодить даже и в исправлении богослужебных книг. И это привело его к жесточайшему преступлению анафемы собственному народу и войны против него за «никонианскую реформу» (когда уже и сам Никон отошёл от «греческого проекта»).[4] Через 40 лет после едва пережитой народом Смуты — всю страну, ещё не оправившуюся, до самой основы, духовной и жизненной, потряс церковный Раскол. И никогда уже — опять-таки на 300 лет вперёд — Православие на Руси не восстановилось в своей высокой жизненной силе, державшей дух русского народа больше полутысячи лет. Раскол отозвался нашей слабостью и в XX веке.

И на этот сотрясённый народ и не выздоровевшую страну — налетел буйный смерч Петра.

Как «служитель прогресса» **Пётр** заурядный, если не дикарский, ум. Он не возвысился до понимания, что нельзя переносить (с Запада) отдельные результаты цивилизации и культуры, упустя ту психическую атмосферу, в которой они (там) созрели. Да, Россия нуждалась и в техническом догоне Запада, и в открытии выхода к морям, особенно к Чёрному (где Пётр действовал бездарнее всего, а чтобы выкупить свою окружённую на Пруте армию, уже велел Шафирову подарить Псков: через турок шведам. О полководческих действиях Петра меткие критические замечания находим у И. Солоневича[5]). Нуждалась — но не ценой того, чтобы ради ускоренного промышленного развития и военной мощи — растоптать (вполне по-большевицки и с излишеством

---

[4] *С. Зеньковский.* Русское старообрядчество. Munchen: Wilhelm Fink Verlag, 1970, с. 290—339.

[5] *Иван Солоневич.* Народная монархия. Буэнос-Айрес: Наша страна, 1973.

крайностей) исторический дух, народную веру, душу, обычаи. (По нынешнему опыту человечества мы можем видеть, что никакие материальные и экономические «прыжки» не вознаграждают потерь, понесенных в духе.) Пётр уничтожил и Земские Соборы, даже «отбил память о них» (Ключевский). Взнуздал Православную церковь, ломал ей хребет. Налоги и повинности росли без соотнесения к платёжным средствам населения. От мобилизаций оголились целые области от лучших мастеров и хлеборобов, поля зарастали лесом, не прокладывались дороги, замерли малые города, запустеневали северные земли — надолго замерло развитие нашего земледелия. Крестьянских нужд этот правитель вообще не ощущал. Если по Уложению 1649 года крестьянин хотя и не мог сходить с земли, но имел права собственности, наследования, личной свободы, имущественных договоров, то указом 1714 о единонаследии дворянства — крестьяне перешли в прямую собственность дворян. Пётр создал — на 200 лет вперёд — и слой управляющих, чуждый народу если не всегда по крови, то всегда по мирочувствию. А ещё эта безумная идея раздвоения столицы — перенести (чего *нельзя* вырвать и перенести) её в призрачные болота и воздвигать там «парадиз» — на удивление всей Европы — но палками, но на той фантастической постройке дворцов, каналов и верфей загоняя вусмерть народные массы, уже так нуждающиеся в передышке. Только с 1719 по 1727 население России убыло умершими и беглыми почти на 1 миллион человек[6], т. е. едва ли не каждый десятый! (Не случайно в народе создалась устойчивая легенда, что Пётр — самозванец и антихрист. Его правление сотрясалось бунтами.) Все великие и невеликие дела Петра велись с безоглядной растратой народной энергии и народной плоти. Трудно сохранить за Петром звание *реформатора:* рефор-

[6] *С. М. Соловьёв.* История России с древнейших времен: В 15 кн. Кн. XI. М.: Соцэкгиз, 1963, с. 153.

матор — это тот, кто считается с прошлым и в подготовлении будущего смягчает переходы. Как пишет Ключевский: в реформах управления «Пётр потерпел больше всего неудач». Наследованные от него неудачи и ошибки «будут потом признаны священными заветами великого преобразователя», указы его последних лет — «многословные расплывчатые поучения».[7] Ключевский выносит уничтожительный приговор гражданским действиям Петра. Пётр был не реформатор, а — *революционер* (и большей частью — без надобности в том).

А за Петром — катил и остальной XVIII век, не менее Петра расточительный на народную силу (и с капризным дёрганьем ломаной линии наследования, опять же по вине Петра). После лихорадочной деятельности Петра открылась, по словам Ключевского, «бездна», «крайнее истощение сил страны непосильными тяготами, наложенными на народный труд».[8] Никак не согласиться с распространённым мнением, что «кондиции», предъявленные аристократами из Верховного Тайного Совета Анне Иоанновне, были бы шагом к либерализации России: слишком мелка была эта княжеская вспашка, и ввек не дойти бы и ей до народной толщи. А уж при Анне — резко усилилось немецкое влияние и даже властвование, попрание национального русского духа во всём, крепло дворянское землевладение, крепостное право, в том числе и фабричное (создаваемые фабрики могли покупать крестьян без земли), народ отдавался тяжким поборам и расходу живых сил на неуклюже ведомые войны.

Неразумными и неудачными войнами и внешней политикой царство **Анны Иоанновны** весьма отметно. Правда, уже и Пётр в своём необдуманном размахе мог заботиться, чтобы Пруссия приобрела Померанию и Штеттин, теперь его наследники хлопо-

---

[7] *В. О. Ключевский.* Сочинения: В 8 т. Т. 4. Курс русской истории. М.: Госполитиздат, 1958, с. 190, 198.

[8] Там же, с. 304.

тали о Шлезвиге для Дании, а Миних предлагал в услугу Франции держать для её интересов наготове 50-тысячный русский корпус, только бы получить субсидию. Не проявляя заботы о потерянном под Польшей обширном русском, белорусском и малороссийском населении, правительство Анны, однако, было сильнейше заинтересовано, как бы посадить на польский престол саксонского курфюрста. В то время (1731) как крымский хан угрожал, «что может Россию плетьми заметать»[9] (а татарские набеги с юга уже изведаны были и Русью и Малороссией, и всегда могли повториться); в то время (1732) как Россия едва вытягивала ноги из дальней персидской войны, отдавала не только Баку и Дербент со всем краем, куда без опоры и без расчёта сил закатился Пётр, но даже и Святой Крест; когда в России разразился (1733-34) голод, и началось (1735) восстание башкирцев, — в это самое время (1733-34) Анна начала войну с Польшей за посадку саксонского курфюрста на польский трон. (И чем это лучше, чем польское вторжение в Россию в Смуту и планы Сигизмунда захватить трон московский?) «Смысл польской войны был русским совсем непонятен» (С. Соловьёв). А вмешательством этим Россия создавала против себя фронт из Франции, Швеции, Турции и татар, — и при одном неверном союзнике, Австрии. Тут же (1734) татары и стали нападать на русские границы — между тем Россия (по договору ещё Екатерины I) вынуждена послать 20-тысячный русский корпус в Силезию на помощь Австрии. С 1735 неизбежно разразилась и тяжёлая война с Турцией. Стратегически только она одна и была на линии русских интересов, так как Россия задыхалась без выхода к Чёрному и Азовскому морям. Но как она велась! Водительство русского войска Минихом было худым, изнурительным для солдат и бездарным по тактике. Ещё не столкнувшись с турками, он уже против татар потерял половину

---

[9] *С. М. Соловьёв.* Указ. соч. Кн. X, с. 282.

наличного состава, с каким вышел. Позорно-неумело штурмовал (1737) Очаков — с самой тяжёлой и невыгодной стороны (упустя легкопроходимую), взял его с огромными потерями, а дальше и бросил, сменил направление на юго-западное, в помощь австрийцам. Тут он действовал наконец успешно — но Австрия предала Россию внезапным сепаратным миром с турками, и Россия была вынуждена закончить войну срытием всех добытых крепостей: Очакова, Перекопа, Таганрога и Азова. Но самая тяжкая наша потеря была в людях: война обошлась нам в 100 тысяч убитых. Население же всей России в то время было — 11 миллионов (меньше, чем за столетие раньше, при Алексее Михайловиче, так проредил его Пётр!). И вообразим судьбу тогдашних рекрутов: срока службы для солдат не было, брали, по сути, на всю жизнь; выход был — или смерть, или дезертирство.

Что же касается духовного состояния русского народа в ту пору, то ко времени Анны высказан и вывод С. Соловьёва: «Низшее, белое духовенство, удручённое бедностью, а в сёлах и тяжёлыми полевыми работами, не дававшими возможности священнику выделиться из паствы своими учительскими способностями» — такое положение духовенства «было причиною страшного нравственного вреда для массы народонаселения».[10]

Время Анны он называет и самым мрачным — по безраздельному властвованию в России иностранцев, от гнёта которых русский национальный дух стал освобождаться только в царствование Елизаветы. (Впрочем, презрение к русскому чувству, к своему родному и к вере своих мужиков — пропитало правящий класс в XVIII веке.) Но здесь нас интересуют другие события и линии её царствования.

Перед возвышением на трон Елизавета вела весьма рискованную и морально сомнительную игру с

---

[10] *С. М. Соловьёв.* Указ. соч. Кн. X, с. 547.

французскими и шведскими дипломатами в Петербурге. Франция рассчитывала, что при Елизавете будет *русское* царствование, что она вернёт столицу в Москву, перестанет заботиться о морских силах, о западных задачах — и так уведёт Россию с европейского театра. Со Швецией Елизавета опасно переговаривалась, чтоб та объявила бы войну России (это и произошло в июле 1741) и требовала бы восстановления петровской династической линии. (Шведы же требовали, наоборот, возврата им всех петровских завоеваний, на что Елизавета и не думала идти.) Но елизаветинский переворот в Петербурге произошёл без помощи Франции и Швеции — и новая царица взошла на трон со свободными руками.

В ней, правда, было живо русское национальное чувство, и православие её было совсем не показным (как затем у Екатерины II). Перед воцарением она, в молитве, дала обет никого не казнить — и, действительно, при ней ни один смертный приговор не был приведен в исполнение — явление ещё совсем необычное для всей Европы тогда. Она смягчила и другие наказания по многим видам преступлений. Простила (1752) все недоимки — от кончины Петра, за четверть столетия. Она «успокоила оскорблённое народное чувство после долголетней власти иностранцев», «Россия пришла в себя». Она не раз порывалась (1744, 1749, 1753) перевести столицу назад в Москву, и перевозила весь двор даже на годовые периоды, вела восстановление Кремля — русское чувство её требовало так, а дочернее — не подрывать замысел отца. Но в облегчении народной участи она не шла последовательно и далеко. Продолжались и при ней безмыслые и жестокие преследования старообрядцев (а те — самосжигались) — истребление самого́ русского корня. Но крестьяне изнемогали от новых податей, вятские — бежали в лес жить тайными посёлками, а из центральных губерний — бежали, хотя и на горемычную, униженную жизнь, — через польскую границу; также и

старообрядцы, ещё и за Днестр, спасать свою веру, — и всех таких беглецов уже накопилось *до миллиона*! Повсюду образовался недостаток рабочих рук — и власти применяли усиленные попытки возвращать беглецов с Дона. В Тамбовском, Козловском, Шацком уездах вспыхивали крестьянские восстания — и целыми деревнями убегали на Нижнюю Волгу в поисках воли. И отмечено много восстаний монастырских крестьян (и как же неприлично монастырям эксплуатировать крестьянский труд). — Не случайно же в 1754 П. И. Шувалов предложил «проект сбережения народа» (избавить от рекрутских наборов тех, кто платит подушный оклад; в случае недорода давать поселянам вспоможение из хлебных складов, а при большом урожае, напротив, возвышать цены на хлеб, чтоб они не падали к убытку поселян; особым комиссарам разбирать споры между помещиками и крестьянами; пресечь чиновничьи взятки, но и увеличить чиновникам содержание; охранять поселян от грабительств и притеснений, в том числе и от своей армии; содержать и обучать малолетних солдатских детей; и даже вести «полезное государству свободное познавание мнения общества»). — Однако Елизавета взошла на трон силой дворянской гвардии и незримо оставалась зависимой от дворянства, укрепляя, по выражению Ключевского, «дворяновластие». (Так, в 1758 помещик уполномачивался наблюдать за поведением своих крепостных; в 1760 — ссылать крепостных в Сибирь. С другой стороны, дворяне, как уже и при Анне, получали ряд облегчений в своих служебных повинностях.)

И при таком-то тяжком состоянии государства и уже вековой народной усталости — неустойчивая духом Елизавета, вместо «сбережения народа», озабочена была «опасностями для европейского равновесия» — и непростительно кидала русскую народную силу в чужие для нас европейские раздоры и даже в авантюры. — Быстро и сокрушительно выиграв шведскую войну, дальше увлеклась нелепым династическим замыслом утвердить шведским на-

следником одного из голштинских принцев (впрочем, кто из королей того времени не строил большой политики на династических браках и расчётах?) — и в тех целях, в 1743, уступила Швеции освобождённую от неё Финляндию (упустя возможность выгодного для России свободного развития Финляндии, уже в XVII веке имевшей свои сеймы); и втягивалась дальше: чтобы защитить Швецию от Дании — слали туда русский флот, и в Стокгольм русскую пехоту, не жалко... (И ещё потом два десятилетия российское правительство было напряжённо занято внутришведскими делами, платило субсидии за сохранность нашего с ней пустопорожнего «союза», подкупало депутатов шведского сейма, и русские дипломаты там страстно занимались задачей «не допустить восстановления самодержавия» в Швеции — чтоб она была слабей.) — Ещё жаждали иметь верного союзника в Дании — но такому союзу противоречила голштинская гордость Петра Фёдоровича, наследника русского престола. — Также безрассудно брала Елизавета отягощающие нас, вовсе нам не выгодные обязательства перед Англией, от которой Россия никогда не видывала ни добра, ни помощи, — это в 1741, а в 1743 и прямой союз, обязательство России действовать на европейском континенте в интересах Англии. (По глубочайшему расчёту, что тот голштинско-шведский принц да женится на английской королеве, то-то создадим коалицию! В 1745 проницательный австрийский канцлер Кауниц докладывал Марии-Терезии: «Политика России истекает не из действительных её интересов, но зависит от индивидуального расположения отдельных лиц.») А в 1751 Россия дала секретное обязательство защищать личные владения английского короля в княжестве Ганновер — на западе Германии, близок свет! чудовищно!

Рядом с нами располагалась всё слабеющая от внутренних шляхетских раздоров Польша; в предыдущие века она захватила и притесняла обильное православное население — но не о выручке его хло-

потала Елизавета, а: как защитить целостность ослабевшей Польши (ведь там королём — наш излюбленный саксонский курфюрст...), а заодно, конечно, постоянно защищать и Саксонию. (Почему это всё — наши заботы?) — В начале царствования Елизавета хорошо понимала, что союз с Австрией нам совершенно не выгоден. Но вот Пруссия, воинственный и предприимчивый Фридрих II захватил у Австрии Силезию — и Елизавета простила Австрию (за интриги против себя самой) и возобновила (1746) — ещё на 25 лет! — уже устаревший союзный с ней договор. И защищая Австрию и Саксонию от Фридриха — направила русские войска через независимую Польшу! — Да, Фридрих действовал грубо агрессивно — но как ещё далеко-далеко до опасности для России. Да разве осмелился бы Фридрих, хоть и захватя Польшу, вторгаться на великанскую территорию России? — Российские финансы к этому времени начисто подорваны, рекрутов не хватает, набор скуден — но мы шлём войска на Фридриха (а без гарнизонов на наших дорогах и реках прямой разбой, опасно ездить и плыть), а между тем Фридрих получил от Австрии, что́ хотел, и заключил мир. И мы идём, значит, впустую? Нет, мы в 1747 посылаем-таки 30-тысячный корпус за Рейн, на участок Нидерландов, в помощь Австрии, без надобности ссорясь на том с Францией. (И не слышим ропота солдат и своего населения: кто может понять этот поход?..)

Зато в Европе наступает всеобщее замирение (только на конгресс в Аахене Россию не позвали, и Россия вообще ничего не получила). Зато, спасибо, историки записали: вмешательством России остановлена война за польское наследство, война за австрийское наследство и дерзкий Фридрих.

Но остановлен он не надолго: всё шныряет по Европе да захватывает. И в 1756 Россия настойчиво побуждает Австрию: вместе скорей нападать на Пруссию (пока Англия столкнулась с Францией в Америке). Между тем мы «не имеем ни одного поря-

дочного генерала» (С. Соловьёв), ибо при Анне Иоанновне не воспитывали русских генералов, всё было отдано в руки наёмных из немцев. Австрия мнётся, Фридрих молниеносно захватывает Саксонию — и русская армия уходит за границу на Семилетнюю войну (с обязательствами: чтó вернуть Австрии, чтó — Польше, а России — ничего). Елизавета жаждала «признательности союзников и всей Европы за доставленную им безопасность» и понукала своих четырёх сменяемых бездарных фельдмаршалов (надо признать: из Петербурга лучше их смекая обстановку, да ведь пока гонцы домчатся!). Воевали так: лето (не всякое) — боевые действия, а с ранней осени загодя уходили от противника далеко назад на покойные зимние квартиры. (В Пруссии наши войска платили жителям за каждый урон.) Война вскрыла много недостатков в обучении и в состоянии русских армий. Умели наши генералы (битва при Цорндорфе) и так поставить своё войско в бою, чтоб ему било в лицо солнце и ветер с песком. Во всех главных битвах нападал первый Фридрих — но русские войска либо устаивали, либо побеждали, а с 1757 уже вторгались в Пруссию. После битвы под Куннерсдорфом (август 1759) Фридрих бежал, считая проигранной не только кампанию, но всю свою жизнь. В 1760 русские войска вошли в Берлин, но через 2 дня ушли, не закрепляя его за собой. Теперь-то Елизавета захотела получить кусок Пруссии, но не сам по себе, а чтобы выменять у Польши на Курляндию (однако и Австрия, и Франция сильно противились этому, и помешали). А ведь крымский хан все эти годы подбивал Турцию (натравливала её и Англия) начать войну с Россией (и как бы Россия выдержала?); Турция колебалась, но после Куннерсдорфского сражения отказалась. — Промялись в Семилетней войне больше в бездеятельности (а уж Австрия особенно) еще и 1761 год. И всё меньше было сил и средств содержать русскую армию в дальнем походе; уже просили Англию посредничать в мире с Фридрихом, а он, и сам уже без

сил, но понимая положение, не шёл ни на какие уступки. И тут — Елизавета умерла.

Взошёл на русский трон её племянник — ничтожный человек, скудно-мелкий ум, остановившийся в развитии на ребячьем уровне, и голштинской выучки душа — сумасброд **Пётр III.** «Дворяновластие» он закрепил (1762) указом «о вольности дворянской», после которого — и на столетие вперёд — огрузло на России отныне государственно бессмысленное крепостное право. (От этого указа, в частности, армия теряла многих офицеров, и предстояло снова заменять их иностранцами.) «Вознамерился переменить религию нашу, к которой оказывал особое презрение», распорядился выносить иконы из храмов, а священникам сбривать бороды и носить платье, как иностранные пасторы. (Обратной положительной стороной был и указ о нестеснении в вере старообрядцев, магометан и идолопоклонников.) — Но самый чувствительный крутой поворот Пётр III успел, за свои полгода, совершить во внешней политике: Фридриху II, проигравшему войну и уже готовому уступить Восточную Пруссию, он предложил *самому* составить договор в пользу Пруссии, вернуть все земли, занятые русскими, и даже заключить прусско-русский немедленный союз, помочь Пруссии против Австрии (для чего передал Фридриху 16-тысячный корпус ген. Чернышёва), а русские силы в Померании уже отправлял против Дании — отвоёвывать Шлезвиг для своей родной Голштинии. (Нежелание гвардии выступить теперь ещё и против датчан — и послужило к ускорению екатерининского переворота.) «Сделанное Петром III глубоко оскорбило русских людей... отзывалось насмешкою над кровью, пролитою в борьбе»[11], не только Пётр окружил себя голштинцами и немцами, но всей русской внешней политикой стал руководить прусский посланник Гольц. Русские люди «с отчаянием смотрели на будущее отечества, находившееся в руках

[11] *С. М. Соловьёв.* Указ. соч. Кн. XIII, с. 58.

иностранцев бездарных и министров чужого государя».[12]

Екатерининский переворот в отличие от елизаветинского всё же не был всплеском русского национального чувства. По порыву Екатерины к не доведенному до конца Уложению (её «Наказ», 1767, столько и так смело говорил о *правах*, что был *запрещён* в дореволюционной Франции, с такой дерзостью она «сеяла европейские семена» того века) можно было бы ожидать, что она много сделает для подъёма народного состояния, для какого-то ограждения прав униженных миллионов. Но лишь небольшие движения к этому были: ослабление давления на старообрядцев, указание не применять излишних жестокостей при усмирении крестьянских восстаний. (Щедрей она отнеслась к позванным ею немецким колонистам: наделение обширной землёй, постройка домов для них и освобождение от податей и служб на 30 лет, и с беспроцентными ссудами.) Екатерина ещё и ещё расширяла, «чтоб не скудали бедные помещики», права дворянства, недостаточно довольного и «указом о вольностях». Подтвердилось право каждого помещика ссылать своего крестьянина в Сибирь (затем — и на каторжные работы) без объяснения судье, за что ссылается (но с выгодным для помещика зачётом в счёт рекрута). «Помещик торговал им [крепостным] как живым товаром, не только продавая его без земли... но и отрывая от семьи.»[13] Ещё не хуже ли в беззащитности было положение крестьян, посланных работать на заводы: нередко вдали от места их жительства, и оставлено им мало дней в году для собственного прокормления. Сверх всего того Екатерина «пожаловала» своим любимцам или награждаемым ещё до миллиона живых душ из числа крестьян, дотоле свободных; и устрожила крепостное право в Малороссии, где ещё оставалось дотоле право свободного перехода

---

[12] *С. М. Соловьёв.* Указ. соч. Кн. XIII, с. 66.
[13] *В. О. Ключевский.* Указ. соч. Т. 4, с. 319.

крестьян. В Комиссии, вырабатывавшей Уложение, предполагалось дать дворянам беспредельную власть над крестьянами (да она, по сути, уже такой и была, ещё и в соображениях административных) — и от крепостных и холопей не принимать жалоб на господ. В 1767 во время волжского путешествия Екатерины её всё же достигло сколько-то крестьянских жалоб, она распорядилась «впредь таких не подавать», и, по её указаниям, Сенат приговорил: «чтобы крестьяне и дворовые люди отнюдь не отваживались на помещиков своих бить челом», а дерзнувших — наказывать кнутом. Заводским же крестьянам: «войти в безмолвственное повиновение под страхом жестокого наказания».[14] А за польскую границу императрица посылала воинские отряды — силой возвращать убежавших туда крестьян. — Со страниц подробной соловьёвской «Истории» — встаёт перед нами множество картин лихоимства на местах. Депутаты, собранные Екатериной, заявляли: «Кто кого сможет, тот того и разоряет.» — Но вникала ли во всё то Екатерина? Её окружала неумеренная лесть и ложь, приятно загораживая от неё суровое бытие народа. — Наш славный поэт Державин, служивший на крупных государственных постах при трёх императорах и близко наблюдавший придворную жизнь, пишет: «Душа Екатерины более занята была военною славою и замыслами политическими... Управляла государством или правосудием более по политике и своим видам, нежели по святой правде... Царствовала политически, наблюдая свои выгоды или поблажая вельможам.»[15]

Тем более ожесточилась она от бунта Пугачёва (1773-74). В ответ на пушкинскую формулу (мимоходом сказанную, но с тех пор безудержно затрёпанную повторителями и особенно образованщиной

---

[14] *С. М. Соловьёв.* Указ. соч. Кн. XIV, с. 54—56.

[15] Сочинения *Г. Р. Державина,* с объяснительными примечаниями *Я. Грота.* 2-е Академическое изд. Спб., 1878. Т. VII, с. 627—632.

наших дней) «русский бунт, бессмысленный и беспощадный», И. Солоневич[16] справедливо спрашивает встречно: а почему уж такой «бессмысленный»? через 11 лет после указа о дворянских вольностях (воистину бессмысленного государственно) и при крепнущем екатерининском гнёте — неужели не было причины к восстанию? А вот из манифеста Пугачёва: «ловить [дворян], казнить и вешать, и поступать равным образом так, как они, не имея в себе христианства, чинили со своими крестьянами... по истреблении которых противников и злодеев дворян всякий может восчувствовать тишину, спокойную жизнь, кои и до века продолжаться будут». Верил ли сам так Пугачёв? — «волю» он представлял как коллективное своеволие большинства, понятия не имея об организованной, устроенной свободе (С. Левицкий). А «не имея в себе христианства» — ведь верно! Притом характерно, что и в пугачёвском бунте, как и во всех бунтах Смуты, народные массы никогда не стремились к безвластию, а увлекались обманом (как и от декабристов потом), что действуют в пользу законного государя. Не оттого ли Пугачёв свободно брал города, даже Саратов, Самару (встречавшую его с колоколами), примыкали к нему иргизские старообрядцы. (Кстати, Державин же, служивший в районе бунта, в ходе его отмечает надменность, глупость и коварство вельмож, давивших восстание Пугачёва.)

Зато, чувствуя себя передовой европейкой, Екатерина тем более остро была заинтересована в проблемах европейских. Ещё не укреплённой на троне, ей пришлось принять позорный мир Петра III с Пруссией, но тут же вослед (1764) она вошла с нею и в союз, совсем невыгодный для России, и подчинила себя политике Фридриха. Вместе с ним стали сажать на польский трон Понятовского (бесцельные усилия; как находит Ключевский, по свойствам польской конституции дружественный нам польский король

[16] *И. Солоневич.* Народная монархия. Буэнос-Айрес, 1973.

был бесполезен, враждебный безвреден; а Понятовский, едва избравшись, стал изменять покровителям и дружить с французским королём). — Никита Панин многие годы увлекал Екатерину в бесплодный проект «Северного союза», выгодного только для Англии (он и не состоялся, да от Англии, Швеции, Дании нам никакая помощь и прийти не могла. Англия же не стеснялась, 1775, потребовать от России 20-тысячного корпуса в Канаду; Екатерина, всё-таки, отказала.)

В отношении Польши разумна была забота Екатерины, чтобы православные люди там «пришли бы в законное положение по правам и справедливости», чего были вовсе лишены, их принудительно ополячивали (полное упущение Петра I, он этим не занимался, да и Елизавета), хотя в ослабленной своими беспорядками Польше XVIII века Россия имела большое влияние. И Екатерина добилась некоторого заступничества за православных, хотя и опасалась: добиться бо́льших прав — усилятся побеги русских людей туда. (В виде реакции на уступки, данные в Польше, польские чиновники и униатское духовенство стали разнузданно преследовать православных на Украине, что привело к ужасному восстанию «гайдамаков», 1768, со многими жестокими жертвами. Клич его был — «за веру!», а прикрывалось и оно тенью монарха — поддельным приказом Екатерины.) — Наличие русских войсковых отрядов в Польше, местами столкновения с отрядами «конфедератов» вели к напряжению в Турции, тогда соседствовавшей с Польшей. А нападение одного гайдамацкого отряда на татарский посёлок под Балтой послужило и прямым поводом: в сентябре 1768 Турция (ещё и всячески подталкиваемая Англией и Францией) объявила России войну (и застала её неготовой). — И вскоре хан Крым-Гирей с 70-тысячным войском грабил и жёг Елизаветградскую губернию (последнее татарское нашествие в русской истории, 1769). В Польше же нападение Турции на Россию было воспринято с огромным подъёмом, а

последствие его — уступка в пользу Турции Киевской области с крестьянами православной веры.

И тут Екатерина совершила важные дипломатические ошибки: она рассчитывала, что Пруссия — союзник, что Австрия перед лицом мусульманской Турции окажет благоприятствование христианской России, и взяла целью не просто пробиваться к Чёрному морю, что только и было для России жизненно необходимо, но схватилась «поджигать Турцию с четырёх сторон», замыслила неисполнимый «греческий проект»: восстановить византийскую империю на развалинах турецкой (кстати, и Вольтер давал ей такой совет; на византийский трон уже намечала посадить внука, Константина Павловича), посылала в Грецию эскадры в обгиб всей Европы и посылала агентов-возмутителей к балканским христианам. Химерический этот план и близко не мог быть выполнен, и греков на то собрать и поднять было невозможно — но, вот, впервые Европе замаячила грозная тень вмешательства России в дела Балкан.

Увы, эта ложная, дутая и заклятая идея погоняла и русских правителей, и потом русское общество весь XIX век и, естественно, настраивала против нас всю Европу, а более всего — соседнюю с Балканами Австрию, и так — в упор до 1-й Мировой войны.

Ход военных действий был весьма успешен для России: был взят Азов, Таганрог, к осени 1769 и Бухарест, в 1770 Измаил, одержаны крупные победы под Фокшанами, на реке Кагул, в Чесменском морском бою, даже взят с моря Бейрут; летом 1771 русские войска и в Крыму, взята Керчь. Но при непрерывных русских успехах никак не достигался результат. Русские победы были подорваны дипломатически — в который раз европейская дипломатия оказывалась для российской дипломатии непредсказуемой или неразгаданной. «Союзник» России Фридрих, не забывший жестокого урока Семилетней войны, теперь искал, как сорвать выгод-

ный для России мир. Русско-турецкая война сильно сблизила Пруссию с Австрией. Австрия не хотела мириться с независимостью Молдавии и Валахии (чего хотела Россия ради ослабления Турции: отделить её по суше от татар), но охотно намечала их для себя; в случае успешного русского продвижения к Константинополю готовилась нанести удар в спину (ситуация, которая повторится и в XIX веке). — Тем временем Россия испытывала истощение средств. Кроме того, в турецких областях русские войска заражались чумою, чума перекинулась и в Москву, где принесла большие опустошения, из-за того что жители не понимали и пренебрегали карантинными требованиями. — Начались с Турцией мирные переговоры в 1772, а мира всё не было (Турция колебалась), он был заключён (Кучук-Кайнарджийский) лишь в 1774, когда заступил новый султан, а выдвигавшийся Суворов одержал новые победы. По миру крымские татары сохраняли независимость, но оставались под признанным духовным подчинением Турции. Россия получала степь — сперва до Днестра, потом лишь до Буга, берега Азовского моря, Тамань и Керчь; Молдавия, Валахия и Забужье оставались Турции. А ещё Россия получала право покровительствовать православной вере по всей Оттоманской империи. (Это понималось тогда искренне в религиозном смысле — но уже отбрасывало на будущее грозную политическую тень. Европейские державы, из которых когда-то ходили в Малую Азию крестовые походы, отныне взялись дружно охранять Турцию от христианской России.) — Но ещё и этим война, по сути, не кончилась, Турция, чувствуя поддержку Европы, колебалась выполнять договор — и к 1779 Россия уступила ещё: ушла из Тамани и из Крыма.

Тем временем сметливый Фридрих сообразил, что на фоне кровеобильной русско-турецкой войны очень удобно разделить Польшу. (Этот замысел был у него и раньше. К чести Марии Терезии надо отметить, что она находила раздел противоречащим

христианской совести и долго спорила со своим наследным сыном Иосифом. Потом «венский двор для уменьшения несправедливости раздела счёл своей обязанностью принять в нём участие».) Впрочем, Австрия же получила и наибольший кусок Польши, а ещё и кусок северной Буковины от Турции (которая тоже была бы не прочь принять участие в разделе). «Червонная Русь» (Галиция и Закарпатье), наследие Киевской Руси, перешла тоже к Австрии. Россия по тому 1-му разделу (1772) вернула себе родную Белоруссию, а Фридрих — взял собственно польскую землю. Однако укороченное польское государство еще сохранилось тогда.

В 1787-90 годах произошла ещё одна война с Турцией; Россия состояла снова в неверном союзе с Австрией, та снова заключила перемирие неожиданно для России. Тут русские войска снова одержали крупные победы — всё под тем же недающимся Очаковом, Бендерами, Аккерманом, и особенно — решающее взятие Измаила Суворовым. И по мере развития этих побед Россия снова ощутила, что европейские державы не допустят её воспользоваться их плодами. Англия заявила, что не допустит изменения турецких границ (это когда турки стояли на Буге и нижнем Днепре!). Пруссия заключила с Турцией тайный договор в подготовке к войне. Державы собрали конгресс (Райхенбах, 1790), который только один и брался выработать русско-турецкий мир. (В том деле брались помогать и Голландия, Испания, Сицилия.) Но тут, парадоксально, вмешалась Французская революция: она перепугала всю Европу и, между тем, дала возможность России в 1791 заключить победоносный мир в Яссах. (Ключевский пишет, что этим и должна была кончиться ещё предыдущая турецкая война, если бы не вмешательство Европы.)

Тем самым Россия получила выход на свои естественные южные рубежи: к Чёрному морю, включая Крым, и на Днестр. (Как и достигнуты уже были и Ледовитый океан, и Тихий.) И надо было понять,

что на этом отныне и остановиться — после четырёх русско-турецких войн XVIII века. Увы, Россия и в следующем веке вела ещё четыре войны с Турцией, уже не оправданных национальным смыслом и государственными интересами.

За протуберанцами той же Французской революции произошли ещё два раздела ослабевшей Польши (1792 и 1795). Россия получила Волынь, Подолию, западную часть Белоруссии (чем, кроме Галиции, оканчивалось объединение восточных славян, или, как тогда понимали, *русского племени*, наследия Киевской Руси). «Россия не присвоила ничего исконно польского, отобрала свои старинные земли, да часть Литвы».[17] Пруссия же взяла чисто польские области, включая Варшаву.

Кауниц и тут отметил, что Екатерина была увлечена иметь влияние на Западе и манией заниматься чужими делами. (Сюда может быть отнесен и «сумбурнейший», по оценке Ключевского, договор с Австрией в 1782: из Молдавии, Валахии и Бессарабии создавать несуществующую «Дакию», Сербию и Боснию отдать Австрии, а Морею, Крит и Кипр — Венеции.) Державин пишет, что она «под конец жизни ни о чём другом не думала, как о завоевании новых царств». Вмешательство её во франко-австрийский конфликт было идеей не только бесплодной, но вредной. Екатерина провела шесть войн (одно из самых кровопролитных наших царствований) и перед смертью готовилась к седьмой — против революционной Франции.

Эту войну несчастным образом перенял **Павел.** И героические походы Суворова по Италии и по Швейцарии, так восхищающие нас (и швейцарцев тоже, по сей день), — были ведь *абсолютно не нужны* России, только потеря русской крови, сил и средств. Как — и обратный затем рывок: в союзе с Наполеоном воевать против Англии, бредовая посылка донских казаков в Индию (на что истратили,

---

[17] *В. О. Ключевский.* Указ. соч. Т. 5, с. 60.

свидетельствует Державин, 6 миллионов рублей[18]; и есть более чем основательное подозрение, что заговор по устранению Павла питался из Англии).

О коротком царствовании Павла и о самой личности его существуют оценки противоречивые. Ключевский называет его «антидворянским царём», проф. Трефилов пишет, что Павел «близко принимал к сердцу нужды крепостного крестьянства». И правда, как не оценить, что в день своей коронации (1797) он ограничил барщину тремя днями в неделю и распорядился о «непринуждении к работе в воскресенье», а в 1798 запретил продажу крепостных без земли, — это был важный перелом в крепостном праве, с роста на убыль. Он отменил и указ Екатерины, запрещающий крестьянам подавать челобитные на своих господ, и ввёл ящики для жалоб. — А близкий свидетель Державин (не без личной обиды на Павла) пишет о его взбалмошности, часто невникании в дело (на спорных проектах с двумя мнениями — резолюция «быть по сему»); что при Павле прежние учреждения Петра и Екатерины коверкались без нужды, и «по наветам многие подверглись несчастьям»; что при восшествии на престол и коронации Павел раздавал «скоровременно и безрассудно, кому ни попало, дворцовых казённых крестьян» и отнимал у них лучшие казённые земли, «даже из-под пашен и огородов». В окружении Павла, пишет он, «никто ни о чём касательно общего блага отечества, кроме своих собственных польз и роскоши, не пёкся». (Но в этом мы можем укорить вельмож разных стран и времён, и не только монархических, а и раздемократических, до самых новейших.)

Кончая XVIII век, как не поразиться цепи ошибок наших правителей, их направленностью не на то, что существенно для народной жизни. А ведь и Ломоносов предупреждал: «Против Западной Европы у нас может быть только одна война — оборони-

[18] *Г. Р. Державин.* Указ. соч. Т. VII, с. 718.

тельная.» Уже к концу XVII народ нуждался в длительном отдыхе — но и весь XVIII мотали его. Теперь уж, кажется, все внешние национальные задачи были выполнены? — так остановиться и целиком обратиться бы ко внутреннему устройству? Нет! и на этом далеко не кончились внешние простягания российских правителей. — Кажется бы, словами С. Соловьёва, обширность российского государства «не только не давала развития в русском народе... желанию чужого» — в народе-то да, а в правителях? — но «нежелание чужого могло перейти в невнимание к своему»[19] — и переходило же... — Близкое к тому наблюдение сделал Д. С. Пасманик: благодаря своим просторам русский народ легко развивался в горизонтальном направлении, но по той же причине не рос в вертикальном; «буйные головы» и «критические личности» уходили в казачество (тогда как в Западной Европе плотнились в городах и строили культуру); русские правители испытывали зуд колонизации, а не упорство концентрации.

К горю нашему, и в XIX веке это ещё долго шло так же. И наши XVIII, XIX века и по смыслу слились в единый *петербургский период*.

Современники и историки сходятся в оценке характера **Александра I**: романтически мечтателен, любил «красивые идеи», затем уставал от них, «преждевременно утомлённая воля», непоследователен, нерешителен, неуверен, многолик. Под влиянием своего воспитателя Лагарпа, швейцарского революционера, придавал «преувеличенное значение формам правления» (Ключевский), охотно обдумывал и соучаствовал в разработке либеральной конституции для России — для общества, половина которого состояла в рабстве, затем и подарил конституцию Царству Польскому, на столетие опережая Россию. Освободил священников от телесных наказаний (ещё чудовищно сохранявшихся!), разрешил крестьянам вступать в брак вне воли помещика, и

---

[19] *С. М. Соловьёв*. Указ. соч. Кн. XIII, с. 438.

неопределённо склонился их освобождать, но вовсе без земли (как, впрочем, и декабристы), однако и не сделал ничего, кроме (1803) «закона о вольных хлебопашцах» — освобождении при добровольном согласии помещика — да запрета новой раздачи казённых крестьян помещикам. Безволие проявил Александр и к деятельности тайных обществ, смолоду и сам соучастник рокового заговора. «Охуждая без разбора правление императора Павла, зачали без разбора всё коверкать, что́ им сделано», — пишет Державин, — окружающие царя «были набиты конституционным французским и польским духом», между тем «попущением молодого дворянства в праздность, негу и своевольство подкапывались враги отечества под главную защиту государства». К 1812, свидетельствует он, высшие сановники «привели государство в бедственное состояние».[20] При Александре I бюрократия развивалась всё дальше.

Да, Западная Европа в эти годы шаталась и ломалась, Наполеон крушил и создавал государства, — но это не относилось к России с её сторонним расположением, с её пространствами, пугающими всякого завоевателя, и населением, так нуждающимся в покое и разумной заботливой администрации. Зачем надо было нам вмешиваться в европейские дела? Но Александр I ушёл именно в них, забыв о русских (в захваченности западными идеями он сильно походил на Екатерину). — Французские историки пишут так: Александр I был окружён проанглийскими советниками и начал ненужную войну против Наполеона, навязанную Англией: коалиция с Австрией (1805) и с Пруссией (1806). Сколько потерь мы отдали этим ненужным битвам, ту «отчаянную храбрость русских солдат, о которой французы не имели представления». Теперь Александр I не мог простить Наполеону Аустерлица и набирал новые войска против Франции. Грозила

---

[20] *Г. Р. Державин.* Указ. соч. Т. VII, с. 723—753.

война с Турцией и Персией, — нет, Александр готовился к долгой кампании: отбрасывать Наполеона за Рейн. Тут агент Наполеона склонил султана объявить войну царю.[21]

Тогда, обидясь на Англию за её безучастность, Александр кинулся в дружбу с Наполеоном — Тильзитский мир (1807). Нельзя не признать этот шаг наивыгоднейшим в то время для России — и держаться бы этой линии нейтрально-благоприятственных отношений, презрев ворчание петербургских высших салонов (впрочем, способных и на новый про-английский заговор) и помещиков, лишавшихся вывоза хлеба из-за континентальной блокады (больше бы оставалось для России). — Но и тут Александр совсем не хотел оставаться бездейственным. Нет, Тильзитского мира и начавшейся турецкой войны Александру было мало: в том же 1807 он объявил войну Англии; Наполеон «предлагал Финляндию» взять от Швеции — и Александр вступил (1808) в Финляндию, и отобрал её у Швеции — а зачем? еще один нестерпимый груз на русские плечи. И перемирия с Турцией он не хотел ценой вывода войск из Молдавии и Валахии, снова русские войска в Бухаресте. (Наполеон «предлагал» России и Молдавию-Валахию, да впрочем и Турцию, разделить совместно с Францией, открыть путь Наполеону на Индию), а после переворота в Константинополе ещё ярее рвался наступать на Турцию. — Но без этих всех разгарных захватов — отчего было не держаться столь выгодного России Тильзитского мира, остаться в покое от европейской свалки и укрепляться и здороветь внутренне? Как бы ни расширялся Наполеон в Европе (впрочем, завяз в Испании), он не замахивался на Россию (только что втягивал в досадные активные союзы), до самого 1811 он пытался избежать столкновения с Россией. *Отечественной войны могло и не быть*! — всей её

[21] История XIX века, под ред. Лависса и Рамбо. М.: Гос. соц. экон. изд-во, 1938. Т. 1, с. 125—140.

славы, но и всех её жертв — если бы не ошибки Александра. (Из турецкой войны, не погашённой в 1809 из-за того, что Александр требовал независимости Сербии — уже зажглась панславистская идея! — мы почти чудом, усилиями Кутузова, вытащились уже в 1812, за месяц до нашествия Наполеона, а персидская — так и ещё тянулась год...)

Но вот, с величайшим напряжением и с сожжённой Москвой (мало известно, что в московских госпиталях сгорело 15 тыс. русских, раненных под Бородином[22]), мы выиграли Отечественную войну. Так — остаться бы на своих границах (такие голоса и раздавались среди генералов)? Нет, Россия должна помочь навести порядок в Европе (и создать на будущее против себя две мощных империи — Австрийскую и Германскую). После люценского сражения «Александру отдельным договором можно было всего добиться от Наполеона», но «в идее этой самому себе навязанной миссии всесветного умиротворения потонула мысль о русских интересах», и «мы уложили на полях Люцена и Бауцена, Дрездена, Лейпцига и пр. целую армию, задолжали сотни миллионов, уронили рубль... даже до 25 коп. серебром, затруднили своё развитие на десятки лет».[23] (И ещё в «Сто дней» великодушно послали своих 225 тыс. солдат, теперь Александр, во гневе, готов был вести войну «до последнего солдата и до последнего рубля».) — Гнал ли Александр русские войска в Париж по соображениям монархическим, ради восстановления Бурбонов? — нет, он до последнего момента в этом колебался (это устроил Талейран) и вынуждал Бурбонов присягать конституции[24], сообщил либеральные настроения и Людовику XVIII. Искал ли он территориального вознаграждения для России после столь кровопролитной и победоносной войны? Нет, он не поставил в 1813 Австрии и Пруссии ника-

---

[22] *Лависс, Рамбо.* Указ. соч. Т. 2, с. 269.

[23] *В. О. Ключевский.* Указ. соч. Т. 5, с. 454—455.

[24] *Лависс, Рамбо.* Т. 2, с. 351—352.

ких предварительных условий своей помощи. Единственно разумное, что он мог сделать, — это вернуть к русским владениям Галицию, закончив бы объединение восточных славян (и от каких бы разрушительных проблем он избавил бы нашу историю на будущее!). Австрия не держалась тогда особо за Галицию, она больше нуждалась вернуть Силезию, присоединить Белград, Молдавию-Валахию, простершись от Адриатического до Чёрного моря. Но Александр не использовал возможность, столь реальную для России в той ситуации. Нет, неискоренимо заражённый «красивыми идеями» и на примере той же Австрии не видя, какой вред для ведущей в государстве нации создавать многонациональную империю, — он потребовал присоединить к России центральную часть разделяемой Польши — герцогство Варшавское, с тем чтоб осчастливить его добавкою русских губерний в «Царство Польское», своей личной милостивой опекой и передовой конституцией; и получил для России на столетие ещё один отравленный дар, ещё одно гнездо восстаний, ещё одно бремя на русские плечи и ещё одну причину польской неприязни к России.

А войны с Персией имели уже долгую историю, и главный смысл их был — оборона Грузии, это началось ещё с Бориса Годунова, которому просился под руку грузинский царь Александр. По религиозным понятиям, мнилось необходимым и естественным — помогать христианскому народу, защемлённому по ту сторону Кавказского хребта, — интересы русского народа и русского государства и тут отодвигались на второй план. В 1783 с той же мольбой обратился грузинский царь Ираклий. В последний свой год Екатерина отправляла 43-тысячную армию в Азербайджан, Павел отозвал её обратно. При Александре военные действия возобновились, был завоёван Дагестан — *для какой русской надобности*? для плаванья по Каспийскому запертому морю? До Тильзита и Наполеон подталкивал персидского шаха на вторжение в Грузию, после Тильзита уже не он, но

Англия. По миру 1813 за Россией были признаны и вся Грузия и Дагестан — опасное влезание во всё новые и ненужные для России капканы.

Во 2-й половине своего царствования Александр I впал в консерватизм. Душа Священного Союза, он доходил до того, что в 1817 настаивал удовлетворить просьбу испанского короля — слать войска на подавление восставших южно-американских колоний, — вот куда ещё не поспели русские войска! (Отговорил Меттерних.) В 1822 Александр горячо предлагал давить революцию в самой Испании. Но восстание христиан (греков) против турок готов был поддерживать и русскими силами, вёл переговоры с Англией о совместных действиях — и тут пришло то, что называется его кончиной.

Николай I считал, что он прежде всего *русский* государь, и русские интересы ставил выше общих интересов европейских монархов, поэтому от Священного Союза он отдалялся. Но, непреклонный враг революций, он не выдержал: в 1830 был готов — и уже сговаривал германских монархов — совместно давить июльскую революцию во Франции, затем и в Бельгии (тут помешало польское восстание); также и в 1848 предлагал прусскому королю русские войска для подавления берлинской революции; в 1848-49 послал-таки обильные русские войска для чуждой нам и вредной задачи: спасать Габсбургов от венгерской революции. И ещё раз поддержал Габсбургов, против Прусии (1850), — с какой пользой для России? объяснить невозможно; если писать и ещё о многих подробностях, то наше постоянное вызволение Австрии выглядит ещё нелепее. (И в благодарность Николай получил от Австрии удар в спину в Крымскую войну.) И в 1848 же Николай послал войска в Молдавию-Валахию давить и тамошние волнения — да совместно с Турцией — это против христианского населения... До всего чужого было нам дело. Русская дипломатия и в долгий век Нессельроде оставалась бездарной, недальновидной и не в интересах собственно России.

Сквозное настойчивое зложелательство к Николаю I всего российского либерального общества через весь XIX век (увы, не миновав и Толстого) и ещё многократно раскачанное при большевиках — истекает главным образом из того, что Николай подавил восстание декабристов (без затруднения довесили на него и смерть Пушкина). Теперь уже никого не тревожит, что некоторые черты декабристских программ обещали России революционную тиранию, иные декабристы на следствии настаивали, что свобода может быть основана только на трупах. (Не пропустим и такие детали: Николай выходил из Зимнего к возбуждённой толпе, в него стреляли, и в брата Михаила, убили ген. Милорадовича — Николай всё ещё не отдавал приказа к разгонным выстрелам. Казалось бы, нам, с советским опытом, следовало бы оценить: все нижние чины были прощены через 4 дня; при допросах 121 арестованного офицера не было никакого давления и искажения; из приговорённых судом к смерти 36 Николай помиловал 31. А в день казни пятерых был оглашён манифест о родственниках всех осуждённых: «Союз родства передаёт потомству славу деяний, предками стяжённую, но не омрачает бесчестием за личные пороки или преступления. Да не дерзнёт никто вменять их по родству кому-либо в укоризну.» (В наш бы советский век — так.) Когда же польский сейм на основании *своего* закона помиловал декабристов-поляков, то разгневанный Николай, уважая *закон*, утвердил.)

Со стороны, французские историки XIX века, пишут о Николае: «Прилежен, точен, трудолюбив... бережлив»[25] (последнего качества очень не хватало нашим императорам после Петра и включая Екатерину). От многих своих предшественников он как раз отличался настойчивым поиском государственного смысла и сознанием русских интересов. Но многолетняя безкрайняя власть над необозримой

[25] *Лависс, Рамбо.* Т. 3, с. 163.

империей укрепляла в нём повышенную оценку возможностей своей *воли* — и это ещё было огрублено его негибкой прямолинейностью. Они и привели к бедам конца его царствования.

Тем временем крепостное право, от Петра III уже 7-й десяток лет как потерявшее всякий государственный смысл, развилось, отмечает Ключевский, до жестоких и неумных пределов, затормозило и развитие сельского хозяйства как такового и производительность всей страны, затормозило и общественное и умственное развитие. «Новый император с начала царствования имел смелость приступить и к крестьянскому вопросу», «мысль об освобождении крестьян занимала императора в первые годы его царствования», но «обдумыва[лись] перемены осторожно и молчаливо», «тайно от общества» (собственно — в опасении сильного дворянского сопротивления). Да «трудные сами по себе, поодиночке, эти реформы своей совокупностью образовывали переворот, едва ли посильный для какого-либо поколения». Император замялся от предупреждений окружающих. Но и «реформа слишком замедленная теряет много условий своего успеха». Николай «внимательно высматривал людей, которые могли бы совершить это важное дело», — и остановился на графе П. Д. Киселёве — «лучшем администраторе того времени».[26] Киселёв (а он собрал самых просвещённых сотрудников) получил заведывание государственными крестьянами, которых насчитывалось 17—18 млн. (при 25 млн. частных крепостных и общем населении страны 52 млн.); он получил право выкупать крестьян у помещиков, а также отбирать за жестокое обращение — и энергично занялся делом. Тому следовали: запрещение продавать крестьян в розницу (1841), запрещение приобретать крестьян дворянам безземельным (1843) и ещё другие законы в облегчение крестьянской участи — в выкупе и в приобретении недвижимой собствен-

---

[26] *В. О. Ключевский.* Указ. соч. Т. 5, с. 272, 275, 460—461.

ности (1842, 1847). «Совокупность этих законов... должна была коренным образом изменить взгляд» на крепостных: «что крепостной человек не простая собственность частного лица, а прежде всего подданный государства» и что «личная свобода приобрета[ется] крестьянином даром, без выкупа».[27]

Нет, заклятое наше крепостное право, с которым так уютно смирилось дворянство в своих поэтичных поместьях, да в которое уже душевно вросли и миллионы крестьян, — тяготело над Россией и ещё полтора десятка лет.

Продолжая попытки Александра I поддержать восставших против Турции греков, Николай I, вскоре после своего воцарения, в 1826, послал ультимативную ноту Турции и держал этот тон, несмотря и на начавшуюся (в тот же 1826) войну с Персией, добился (по Аккерманскому договору, 1826) дальнейшего закрепления русских прав, и русской торговли в турецких портах, и обещаний для Сербии (наша «балканская идея» укреплялась... Ко многим промахам вела Николая I его неоглядчивость). После того что Англия и Франция содействовали России в 1827 (бой в Наваринской бухте) — и они, и вся Европа прислушались к воззыву султана, что «Россия — вечный, неукротимый враг мусульманства, замышляющий разрушить Оттоманскую империю» (весьма и ослабленную в 1826 уничтожением корпуса янычар). И русскому императору трезво было бы — остановиться. Но, под маловажными предлогами и всё более настраивая против себя Европу заявлением «русских интересов» в Молдавии, Валахии и Сербии, Николай начал в 1828 войну с Турцией. Она имела большой успех на кавказском побережьи (от Анапы до Поти), в Закавказьи (Ахалцых, Карс, Эрзерум и почти до Трапезунда, уже на коренной турецкой территории), однако на Балканах неудачная (смотровые качества наших войск перевешивали боевые, по бедности России не было нарезных

[27] *В. О. Ключевский.* Указ. соч. Т. 5, с. 273, 278—279.

ружей, слабая разведка, хотя Мольтке-старший в анализе этой войны весьма хвалит всё выносящего русского солдата). Правда, в 1829 уже прошли Болгарию (где, к славянскому нашему удивлению, встретили вовсе не дружественное отношение болгар), взяли Адрианополь (Турция была сотрясена), — но на том выдохлись. Добились — независимости Греции и вассального (от Турции) статуса Сербии, опять чужие интересы, для России — свободный проход судов через Босфор. В этой турецкой войне (6-й по счёту!) Россия достигла наибольшего внешнего успеха, но для самой себя ей и нечего было больше реализовать.

Более того: через 4 года Николай уже взялся спасать Турцию от успешно восставшего египетского паши́: русский флот поспешил в Константинополь на выручку султану. Тоже русские интересы...

А персидской войной между тем освободили Армению.

А ответственность за Грузию и Армению вынуждала Россию на новую долгую — 60-летнюю! со многими потерями — войну: покорение Кавказа. Если бы Россия вовсе не касалась чуждого нам Закавказья — покорение Кавказа тоже не было бы необходимостью: лишь держать в северных предгорьях перед Кавказским Хребтом сильную оборонительную казачью линию от постоянных разбойных набегов горцев, вот и всё: Кавказ не был единым государством, но многочислием разноречивых племён, и сам по себе не представлял для России государственной опасности, а особенно после ослабления Турции. (Да был момент — Николай уже готов был признать государство Шамиля — так Шамиль, кавказский характер, заявил, что дойдёт до Москвы и Петербурга.) Однако и в XIX веке мы продолжали и продолжали платить и платить по чужим счетам... И расходы на содержание Кавказа и Закавказья — и до самой революции превышали доходы от него: Российская империя *платила* за счастье иметь эти тер-

ритории. И, отметим, нигде «не ломала чужих обычаев» (Ключевский).

Сходная проблема была и с Хивой и Бухарой, регулярно нападавшими ещё в 30—40-е годы на южные границы России: далеко в глуби пустынь два сильных государства, содержавшие рабами многих пленников, в том числе и русских, доставляемых им набегами туркменов и «киргизов» (казахов), доходивших и до Нижней Волги. Этих уведенных продавали в Хиве и Бухаре на невольничьих рынках.[28] Надо было либо учреждать от тех набегов крепкую оборонительную линию, либо — начинать завоевание. (Да ведь маячил и путь в Индию? но и столкновение с Англией?) В 1839-40 и был совершён завоевательный поход Перовского — через пустыни, на тысячу вёрст, — но неудачный.

В 1831, а затем в 1863 Россия дважды заплатила за мечтательно-вздорную затею Александра I держать под своим «попечительством» — Польшу. Насколько надо было не чувствовать времени, вéка, чтобы столь развитой, культурный и интенсивный народ, как польский, держать при Империи в подчинённой роли! (Оба эти польские восстания вызвали большое сочувствие в Западной Европе и отдались России новой враждебностью и изоляцией.)

Десятилетиями бестолково металась нессельродовская дипломатия Николая: то (1833) соглашение с Австрией и Пруссией о борьбе против революционного движения; то (1833) оборонительный союз с Турцией, защищать её от всякой внутренней и внешней опасности (раздражение западных держав, первый толчок к будущей Крымской войне); то (1840) тайное соглашение с Англией: Россия относительно Турции будет действовать лишь по полномочию Европы (зачем эти путы обязательств?); то (1841) Россия отказывается гарантировать перед западными державами целость и независимость Оттоманской империи; то (с 1851) Россия горячо вмешалась

---

[28] *Лависс, Рамбо.* Т. 4, с. 373—376.

в поверхностный спор между католиками и православными о приоритете в святых местах в Палестине (отягчённый и личной ссорой Николая I с Наполеоном III), быстро переходивший во всеевропейское политическое столкновение. — Английскому послу Николай открылся: «Турция — больной человек», может внезапно умереть; в случае раздела Турции пусть Англия возьмёт Египет и Крит, а Молдавия, Валахия, Сербия и Болгария найдут себе независимость под покровительством России — не в составе её, ибо и без того обширную Российскую империю было бы опасно ещё расширять. (Это — он понимал, но пан-православная и пан-славистская идеи гибельно толкали его на расширение в другой форме.) А русский посол в Константинополе требовал: решить вопрос о святых местах и предоставить России протекторат над всем православным населением Оттоманской империи. Когда же английский посол в Константинополе стал искусно улаживать вопрос о святых местах, к общему удовлетворению, — российский посол потребовал «в 5-дневный срок нерушимых гарантий» о защите православных, а вослед покинул Константинополь с угрозами.

Русское правительство явно не понимало, что от возвышения России над Европой после победы 1814 г. — Англия стала врагом России на столетие. Теперь — Россия восстанавливала против себя всю Европу. Между тем свободный проход через проливы Турция гарантировала нам ещё с 1829 — чего ещё? (А в случае европейской войны — кто угодно закупорит Дарданеллы снаружи.) Но, уже полвека как выйдя к Чёрному морю, Россия так и не построила там сильного современного (хотя бы частично винтового) флота, только парусные суда. (Не говоря уже, что мы не умели освоить черноморское побережье сельскохозяйственно, не хватало культуры. Да по всей российской обширности звали, стонали нерешённые запутанные или неначатые внутренние дела.) Николай I и не осознавал степени технической и тактической отсталости нашей армии: ни

рассыпного строя, ни окопной подготовки, кавалерия приучена к манежной езде, а не к атакам. И пренебрег уже тогдашней обозлённостью российского общества против его администрации (так что впервые зазияло *желание поражения* своему правительству). Но он — не сомневался в поддержке от Австрии и Пруссии... (Между тем: Австрии грозил русский охват уже с третьей стороны; Англия была дополнительно встревожена утверждением России на Сыр-Дарье; Наполеон III искал проявить себя как новоявленный император; Виктор-Эммануил II — возвысить Сардинию среди европейских держав; в Турции — патриотический подъём, Египет и Тунис поддерживают его; и Пруссия фактически присоединилась к требованиям коалиции.) А Николай I рвался шеей в петлю, какова ж была эта надменная самоуверенность! Он отклонил несколько предложений переговоров. (А ведь уже по 1790 году должен был усвоить эту опаснейшую конфигурацию всех европейских держав против России.)

Ход войны известен. После крупной русской морской победы под Синопом над турками англо-французский флот вошёл в Чёрное море. Мы и не пытались помешать высадке союзников у Евпатории (хотя её уже предсказывала английская пресса) и, ещё до осады Севастополя (не укреплённого с суши), не использовали своего огромного превосходства в кавалерии и значительного в числе штыков, маршировали батальонными колоннами под сильным стрелковым огнём французов. (Впрочем, вот французская оценка русского «противника, одарённого редчайшими военными качествами, бесстрашного, упорного, не впадавшего в уныние, напротив, после каждого поражения бросавшегося в бой с новой энергией»[29].) Австрийская угроза заставила русское командование очистить все свои завоевания на Балканах, и Валахию-Молдавию. Севастополь самоукрепился (Тотлебен) и выдержал 11 месяцев осады, до августа 1855.

---

[29] *Лависс, Рамбо.* Т. 5, с. 212.

Но на полгода раньше того, в феврале 1855, умер (не без загадочности) Николай I. Смена царствования — всегда поворот политики, крутая смена советников, и Александр II после бестолкового боя у Чёрной речки (где наши потери были вчетверо больше) стал поддаваться расслабляющим советам о капитуляции.

Из нашей исторической дали ясно: самоуверенным безумием было — Крымскую войну начинать. Но после двух лет войны, и такой стойкости Севастополя, и стольких уложенных жертв, — следовало ли так расслабиться? Гарнизон Севастополя в полном порядке занял сильно укреплённую Северную сторону; он численно уступал союзникам, но был грозно закалён стоянием в долгой осаде. Крымская армия не имела недостатка ни в боеприпасах, ни в провианте (ежедневно солдату — фунт мяса), и не была отрезана от массива русской территории, и могла перенести вторую зимнюю кампанию. Не было из России хороших дорог, — но это ещё более отяжелило бы союзникам задачу наступать по бездорожью (при том, что их морские коммуникации уже растянулись на 4000 км). К тому же «по соображениям национального самолюбия за всё время войны у союзных войск не было общего командования, три армии имели три отдельных генеральных штаба», которые согласовывали, как дипломаты, каждую операцию. К тому же «англичане, привыкшие к большому комфорту, оказались совершенно неподготовленными к суровому климату и потеряли предприимчивость и бодрость... смертность царила среди них ужасающая: из 53 000, прибывших из Англии, боеспособных оставалось только 12 000»[30] — к весне 1855. Австрия, после ухода русских с Балкан, уже не грозила выступить, — да запасные крупные русские армии стояли и на австрийской границе, и в Польше, и на Кавказе, и у Финского залива (а балтийский флот успешно отра-

[30] *Лависс, Рамбо.* Т. 5, с. 212, 220.

зил атаки союзного флота). К весне 1856 вооружённые силы России были до 1 млн. 900 тыс., крупней, чем к началу войны. По мнению С. Соловьёва (которому, кстати, в 1851 запретили чтение публичных лекций по русской истории): «Страшный мир, какого не заключали русские государи после Прута» (унизительный мир Петра). Соловьёв считает: «тут-то и надо было объявить, что война не оканчивается, а только начинается, — чтобы заставить союзников кончить её.»[31] Борьба за русскую землю (если бы союзники ещё оказались способны продвигаться вглубь) могла бы возобновить в русских дух 1812 года, а дух союзников бы падал.

Этот поспешный мир (1856, по которому Россия теряла и право содержать военный флот в Чёрном море и дунайскую дельту) был худым началом правления Александра II, но и первой победой общественного мнения. (Российские либералы боялись успехов русского оружия: ведь это придаст правительству ещё больше силы и самоуверенности; и облегчены были падением Севастополя.) Всё вместе явилось точным и роковым предвозвестьем 1904 года. (Впоследствии Александр сказал: «Я сделал подлость, пойдя тогда на мир.»[32])

Зато крестьянскую реформу Александр II провёл с необычной для себя (при его «опасливой мнительности») энергией, опираясь против дворянского сопротивления на неограниченность своего самодержавия. С 1857 заработал секретный комитет по крестьянским делам, по началу не имевший ни сведений о положении дела, ни плана: освобождать ли с землёй или без земли. Летом 1858 был снят оброк с казённых и удельных крестьян — тем самым они и получили хозяйственную свободу, а личная у них была. В редакционных комиссиях по реформе шли долгие споры, кому земля и сохранять ли крестьянскую общину, работали в большой неопределённо-

---

[31] Журнал «Русский вестник» (Москва), май 1896.

[32] *Лависс, Рамбо.* Т. 5, с. 227, примеч. Е. Тарле.

сти, — наконец Александр потребовал, чтобы манифест был готов к 6-й годовщине его восшествия на трон. И решающий шаг — был сделан (1861), но и с несомненными ошибками; как и тридцать лет спустя определил Ключевский, «выступ[или] иные начала жизни. Начала эти мы знаем... но не знаем их последствий.»[33] И, действительно, все последствия отдались нам только в XX веке.

В личной собственности крестьян остались лишь подворные усадьбы (проступает призрак сталинской коллективизации?..). Земля же — частью оставлена у помещиков, по их противлению, частью — передана общинам (по славянофильской вере в них...). Наделение крестьян землёй (разное в разных местностях) было и недостаточным, и дорогостоющим: крестьяне должны были заплатить за «дворянскую» (этого как раз — они и не могли принять в сознание) землю — выкупные платежи. Взять этих денег им было неоткуда, до сих пор они за всё платили либо своим трудом, либо его продуктами; к тому же эти назначенные платежи местами значительно превышали доходность земли и были непосильны. Теперь для уплаты выкупов государство давало крестьянам *ссуду* ($^4/_5$ от нужной суммы), с рассрочкой на 49 лет, однако под 6 %, — и эти проценты с годами накоплялись и добавлялись к податям. (И лишь события начала XX века оборвали накопление тех долгов и счёт этих 49 лет.) Местами сохранялись ещё временные обязательства за крестьянами по отработке трудом. Во многих местах крестьяне от *освобождения* потеряли права на лес и на выгон. Манифест 19 февраля одарял личной свободой — но для русского крестьянина владение землёй и её дарами было важнее личной свободы. От Манифеста разлилось в крестьянстве и недоумение, кое-где возникали волнения, ждали следом *другого* манифеста, более щедрого. (Однако западные историки дают, по сравнении, такой комментарий: «Несмотря на все ограни-

[33] *В. О. Ключевский.* Указ. соч. Т. 5, с. 283—290, 390.

чения, русская реформа оказалась бесконечно более щедрой, чем подобная же реформа в соседних странах, Пруссии и Австрии, где крепостным была предоставлена «совершенно голая» свобода, без малейшего клочка земли.»[34])

Из-за общинного строя реформа оставляла крестьян, по сути, и без полной личной свободы, всё крестьянское сословие — в отчуждении от прочих сословий (*не* общий суд, *не* общая законность). Был временно введён институт *мировых посредников* из среды местных дворян, для практического способствования проведению реформы, — но этого было мало: реформа не создала ещё одного важного административно-попечительного звена, которое бы в ходе немалых лет помогало бы крестьянам совершить трудный психологический поворот от полного изменения жизни и приноровиться к новому образу её. Мало того, что ошеломлённый крестьянин был брошен в *рынок* — у него ещё и руки были связаны общиной. На крестьянстве же осталась и главная тяжесть государственных податей, а денег — взять неоткуда, и так попадал крестьянин в руки бессовестного скупщика и ростовщика. — Недаром Достоевский тревожно писал о пореформенной поре: «Мы переживаем самую переходную и самую роковую минуту, может быть, изо всей истории русского народа.» (Сегодня мы с ещё большим основанием добавим пору нынешнюю.) Он писал: «Реформа 1861 года требовала величайшей осторожности. А встретил народ — отчуждённость высших слоёв и кабатчика.» К тому же: «мрачные нравственные стороны прежнего порядка — рабство, разъединение, цинизм, продажничество — усилились. А из хороших нравственных сторон прежнего быта ничего не осталось.»

Сильно недооцененный, глубоко искренний Глеб Успенский, пристальный наблюдатель пореформенного крестьянского быта, — представляет нам ту же

---

[34] *Лависс, Рамбо.* Т. 6, с. 73.

картину («Власть земли», «Крестьянин и крестьянский труд», 1880-е годы). Мысль его: что после 1861 года «нет внимания к массам», «нет организации крестьянской жизни», а хищничество уже так внедрилось в деревню, что, может быть, и поздно исправлять. А неправда административно-бюрократическая — тоже никуда не ушла и само собою давит на крестьянина (вопиющая глава «Узы неправды»). Успенский приводит длинную цитату из Герцена о таинственной силе, сохранившейся в русском народе, которую, однако, Герцен не берётся выразить словами. А Успенский берётся: это *власть земли*, это она давала нашему народу терпение, кротость, мощь и молодость; отнимите её у народа — и нет этого народа, нет народного миросозерцания, наступает душевная пустота. 200 лет татарщины, 300 лет крепостничества народ перенёс только потому, что сохранял свой земледельческий тип. Это власть земли держала крестьянина в повиновении, развила в нём строгую семейную и общественную дисциплину, сохранила его от тлетворных лжеучений, — деспотическая власть «любящей» мужика матери-земли, она же и облегчала этот труд, делая его интересом всей жизни. «Но эта таинственная и чудесная сила не сохранила народ под ударом рубля.» (И даже, по честности своего взгляда и вопреки своему революционно-демократическому сознанию и даже партийной принадлежности, Глеб Успенский не удержался высказать: при крепостном праве наше крестьянство было поставлено к *земле* в более правильное отношение, чем в настоящее время. Земли у помещичьих крестьян было вдвое больше против теперешнего; помещик должен был поддерживать в своих крестьянах всё, что делает их земледельцами. Даже и воинская повинность при крепостном праве была верней: в первую очередь шли многосемейные, ещё раньше — весь негодный и спившийся народ, так что пролетариата в деревне не было, и он не мешал мужику быть земледельцем. Старая хозяйственная система была правдивей и по налогам: богатый

всегда платил больше бедного. «Наши прародители знали свой народ, хотели ему добра — и дали ему христианство, самое лучшее, до чего дожило человечество веками страданий. А теперь — мы роемся в каком-то старом национальном и европейском хламе, в мусорных ямах.» Так и — «в основу церковной народной школы было положено: превратить эгоистическое сердце в сердце всескорбящее. Воспитание сердца было настойчивое: учёба тиранская, но касалась не выгоды, не ненужного знания, а проповедывала строгость к себе и ближним.»)

А тут грянула эпоха: *удар рубля*! — и соображения *выгоды*, и только выгоды! И патриархальное крестьянство наше — ещё и при всех несправедливостях реформы — не выдержало этой резкой перемены. Многие писатели пореформенной поры оставили нам описания этого душевного стеснения, потерянности, пьянства, лихого озорства, непочтения к старшим. (16 марта 1908 пятьдесят членов Государственной Думы, крестьян, единодушно заявили: «Пусть водку уберут в города, если им нужно, а в деревнях она окончательно губит нашу молодёжь.») Ко всему этому добавлялась униженность православного духовенства, падение православной веры. (А у старообрядцев она сохранялась! вот какими мы могли бы быть, если б не реформа Никона; в «Соборянах» Лескова прочтём и о диких способах борьбы со старообрядцами даже в XIX веке.) К 1905 и 1917 все эти качества органически перелились в мятеж и революционность.

К концу XIX века крестьянское население опустилось в труде. Редели доступные леса — и на топливо пошёл навоз с соломой в ущерб сельскому хозяйству. (Отмечают историки: и на сельскохозяйственное образование в нашей стране в это время тратилось куда меньше средств, чем на латынь и древнегреческий.) В 1883 подушную подать отменили, но возросли земские сборы. К началу XX века проступил упадок земледельческой деятельности в центральной России (всё — соха, и борона часто де-

ревянная, и веянье от лопаты, и плохие семена, и трехполье, принудительно сжатое общинной чересполосицей, и продукты труда задёшево отдаются скупщикам и посредникам, учащались безлошадные хозяйства, накоплялись недоимки). В эти годы и появилось тревожное выражение: «оскудение Центра». (Именно этот термин с большой верностью, хотя и с иным содержанием, применяет С. Ф. Платонов и к периоду перед Смутой XVII века...) Недоделанная александровская земельная реформа потребовала реформы столыпинской, встретившей сплочённое сопротивление правых, кадетов, социалистов и худо работающей части деревни; а затем и накрытой всё тою же Революцией...

Оставшаяся и после реформ опасная сословная разорванность России сказалась и на неполноте реформы судебной. Для крестьян (когда обе стороны крестьяне) остался нижний волостной суд по деревенским обычаям; выше — мировые судьи для гражданских исков и мелких уголовных дел; затем — известный по реформе, целиком взятый из западного опыта, состязательный процесс при несменяемости судей, присяжных заседателях и самостоятельной организации адвокатов. Суд присяжных — вообще сомнительное благоприобретение, ибо умаляет профессионализм суда (в противоречие с современной ценностью всякого профессионализма), порой ведёт к парадоксальной некомпетентности (можно приводить примеры и из нынешнего английского суда, достаточно одряхлевшего). В пореформенной России, в обстановке общественного упоения адвокатскими речами (которые бесцензурно шли в печать), он сопровождался аргументами и оканчивался решениями порой трагикомическими (это ярко высвечено Достоевским: «блестящее установление адвокатура, но почему-то и грустное», — если уж не помянуть зловещего оправдания террористки Веры Засулич — полоска розовой зари для жадно желаемой революции). Из этих-то адвокатских речей выросла удобная традиция перелагать ответственность с

личности преступника на «проклятую российскую действительность».

Земская реформа Александра II была наиболее плодотворной: постоянная земская управа с широкими исполнительными функциями по своим возможностям превосходила, например, даже французское местное самоуправление.[35] Однако она не дошла до нижнего уровня народного самоуправления — до волостного земства (что больно сказалось в XX веке и в Первую Мировую войну). Выборы же крестьянских депутатов в земство уездное происходили под влиянием местных чиновников. (Достоевский об этом: «Народ оставлен у нас на свои силы, никто его не поддерживает. Есть земство, но оно — «начальство». Выборных своих народ выбирает в присутствии какого-то «члена», опять-таки начальства, и из выборов выходит анекдот.») К тому же земствам не хватало государственных дотаций, они усиливали земские сборы с населения, чем возбуждали крестьян против себя как против ещё одного паразита.

Александр III, пытаясь угадать пропущенное реформами своего отца административное звено, ввёл институт земских начальников (1889), «сильную власть, близкую к народу», — как бы тех самых (но сильно опозданных) попечителей крестьянского быта, которые бы облегчили крестьянам столь трудный для них переход от прежней традиции к новой, способствовали бы упорядочению деятельности и начинаний. Но набранные из резерва незанятых дворян (а из кого было и набирать?), часто вовсе не преданные своей задаче, да через три десятка лет после недоделанной реформы, — эти земские начальники часто оказывались только ещё одним отяготительным слоем власти над крестьянином (так, распущены были выборные крестьянские суды, суд вершил единолично земский начальник). — Серьёзной ошибкой Александра III была (1883) отмена статьи Манифеста 1861 года, дававшей право выхода из общины тем

[35] *Лависс, Рамбо.* Т. 6, с. 81.

крестьянам, которые уплатили полностью выкупные платежи: ради идола общины, сковывавшей русское сознание от императора до народовольцев, ищущих, как этого императора укокошить, преграждался путь свободного развития для самой энергичной, здоровой, трудоспособной части крестьянства.

В 1856 Горчаков, заменивший Нессельроде, 40 лет мутившего нашу иностранную политику, заявил поначалу очень трезво, что Россия должна сосредоточиться на себе для «собирания сил». Давно бы нам это понять и проводить. Но этого лозунга не хватило и на год: Россия снова окунулась в европейские дипломатические игры. Ещё не просохшую от крови военную вражду с Наполеоном III **Александр II** внезапно (1857) поменял на тёплую дружбу. Демаршем Горчакова (1859) Россия не позволила Германскому союзу вступиться за Австрию в итальянской войне, а Франция помогла России вытеснить Австрию с захваченных позиций в Молдавии-Валахии (те вскоре соединились в Румынию) и подкрепить русское влияние на Балканах — сколь важное для нас? — Однако из-за польского восстания (1863) Франция обернулась, напротив, врагом России и вместе с Англией и Австрией (повторение коалиции Крымской войны?) выступила в пользу восставших, и снова казалась вероятной угроза войны. Но тут заявила себя нашим другом Пруссия, и, получив за то благожелательный нейтралитет России, — Бисмарк последовательно отнял Шлезвиг-Голштинию у Дании (1864), ошеломительно разгромил Австрию (1866), — и, ещё этого усиления Пруссии не испугавшись, в 1870-71 Россия своим дружественным нейтралитетом обеспечила Бисмарку и разгром Франции. (За что вскоре, в 1878, на Берлинском конгрессе получили от Бисмарка лукавую отплату: он примкнул к европейской сплотке отнять у России плоды побед в турецкой войне.) Внешнеполитические шаги России при Александре II продолжали оставаться недальновидны и проигрышны. В 1874 находим у Достоевского («Подросток», гл. 3) восклицание: «Вот уже почти столетие, как Россия

живёт решительно не для себя, а для одной лишь Европы.» (Точней бы сказать: к тому времени — уже полтора столетия.) Да что — Европу? в 1863 Россия не упустила поддержать флотом и американский Север против Юга — а туда зачем нам простягаться (только что — отомстить Англии)?

Две несчастные идеи неотступно мучили и тянули всех наших правителей кряду: помогать-спасать христиан Закавказья и помогать-спасать православных на Балканах. Можно признать высоту этих нравственных принципов, но не до полной же потери государственного смысла и не до забвения же нужд собственного, тоже христианского, народа. Всё мы хотели вызволять болгар, сербов и черногорцев — подумали бы раньше о белорусах и украинцах: под дланью Державы лишали мы их культурно-духовного развития в их традиции, хотели «отменить» вряд ли уже отменяемое наше различие, возникшее между XIII и XVII веками. — Есть-таки правда, когда упрекают российские государственные и мыслящие верхи в мессианизме и в вере в русскую исключительность. И покоряющего этого влияния не избежал и Достоевский, при его столь несравненной проницательности: тут — и мечта о Константинополе, и «мир с Востока победит Запад», даже и до презрения к Европе, что давно уже стыдно читать. Что ж говорить о несчастной «всеславянской» и «царьградской» разработке Н. Я. Данилевского — в его книге «Россия и Европа» (самой по себе во многом интересной), при появлении её (1869) почти и не замеченной, но имевшей большой резонанс в русском обществе с 1888.

При нарастающей третий век народной усталости, при наших внутренних экономических и социальных неурядицах, при «оскудении Центра», при угрожающем росте бюрократического своеволия, не способного к высокой эффективности, но подавляющего народную самодеятельность (писали: «Ссохлась и русская личность, натуры смелые и широких способностей стали встречаться всё реже», — и правда, много ли их в русской литературе XIX века?), — при этом

всём неустанные войны за балканских христиан были преступлением против русского народа. Защита балканских славян от пангерманизма — была не наша задача; а всякое насильственное включение в Австрию всё новых и новых славян — только ослабляло эту лоскутную империю и её позицию против России.

Такой очередной войной за Балканы была тяжёлая война с Турцией в 1877-78 — Россия ринулась в неё, не позаботясь иметь союзников или верных благожелателей, нетерпеливо опережая вялые протесты европейских держав против турецких жестокостей (так сыграл Дизраэли, и так втравливал Бисмарк). С боевой стороны война была проведена сенсационно, со впечатляющими всю Европу успехами, зимним переходом балканского хребта (и со множеством жертв и солдатских страданий). Уникально было и то, что российское общество, уже сильно враждовавшее с властью, теперь соединилось с ним в патриотическом подъёме (угар панславизма охватил и общество). Но русское наступление и в этот раз не было доведено до Константинополя, добровольно оставлено. По Сан-Стефанскому миру, кажется, добились для Балкан всего, чего хотели: независимости Сербии и Черногории (на расширенной территории), Румынии, расширения Болгарии, самоуправления в Боснии и Герцеговине и полегчаний для всех прочих христиан, оставшихся под турецким владычеством. Торжество столетней мечты и триумф? Теперь Англия прямо грозила войной (флот у Принцевых островов), Австрия — мобилизацией, все европейские державы требовали конференции, чтобы отнять у России достигнутое и поживиться самим. Так и произошло. На Берлинском конгрессе Англия ни за что ни про что получила Кипр, Австрия — право занять Боснию и Герцеговину, Болгарию опять раздробили, Сербию и Черногорию подрезали, а Россия только вернула себе Бессарабию, потерянную после Крымской войны. (Весь конгресс Горчаков провёл с ничтожным слабоволием, Дизраэли же был встречен в Англии с триумфом.)

Такая «выигранная» война стоит проигранной, а

дешевле бы — и вовсе её не начинать. Подорваны были военные силы России и финансовые, угнетено общественное настроение — и как раз отсюда началась, раскатилась эра революционности и террора, вскоре приведшая и к убийству Александра II.

В долгой веренице наших императоров **Александр III**, без недуга нерешительности своего отца, может быть первым, за полтора столетия, хорошо понимал гибельность российского служения чужим интересам и новых захватов, понимал, что главное внимание должно быть обращено на внутреннее здоровье нации («Долг России — заботиться прежде всего о себе самой», из манифеста 4 марта 1881). Сам командующий армией в турецкую войну, он, однако, от воцарения не вёл ни одной войны (лишь закончил — мирным взятием Мерва — завоевания отца в Средней Азии, у границы Афганистана, что, впрочем, едва и не вызвало столкновения с Англией). Но именно в это безвоенное царствование сильно укрепился внешнеполитический вес России. Александр III проглотил горечь от болгарской «неблагодарности»: образованные болгары вовсе не ценили огромных русских жертв в только что минувшую войну и поспешили освободиться от русского влияния и вмешательства. Проглотил горечь и от измены Бисмарка — и пошёл (1881) на весьма равновесное и разумное «соглашение о взаимных гарантиях» с Германией: не расторгни его Вильгельм несколькими годами позже, оно исключило бы войну между Россией и Германией в начале XX века. После же отмены соглашения Александру III и не оставалось ничего, как продолжать сближение с Францией, и то после осторожного выжидания.

Во внутренней политике удавшийся террор народовольцев уже сам по себе закрывал Александру III путь каких-либо уступок, ибо они теперь выглядели бы капитуляцией. При неуклонном характере Александра III убийство его отца 1 марта уже и обрекало Россию на твёрдые консервативные меры в ближайшие годы и даже «положение об усиленной охране»

(1882). Вскоре составленный совет министров почти и не менялся в годы его царствования, но, в целях государственной бережливости, сокращались излишние придворные должности, и отменено всё «кавказское наместничество». Были уменьшены крестьянские подати, даны отсрочки по выкупным платежам; от начавшегося вывоза русского хлеба за границу хлебные цены повысились, к выгоде и крестьян. Как уже сказано, Александр III ввёл земских начальников (с результатом двойственным), однако ослабил роль крестьян в земстве (большая ошибка) и усилил над земством государственный контроль. Годы шли, состояние страны стабилизовалось — и вот, очевидно, следовало вместо мер исключительно задерживающих — предложить свой многосторонний вариант активного развития — например, давно назревшая мера, расширить правовой строй на крестьянство. Но ни сам царь, ни его ближайшие советники не предложили такого проекта и, значит, не чувствовали неудержимого ритма века. — Так и в состоянии православной церкви, слабевшей сквозь весь петербургский период, Александр III не усмотрел тревожного омертвления, не дал импульса к оживлению церковного организма, не протянул помощи униженным сельским священникам в их бедственном положении, оставил церковь — а с ней и народное православие — в тяжёлом кризисе, хотя ещё не всем ясном тогда. — Что же касается мусульман, то они в России «продолжали пользоваться той же терпимостью... Россия была уверена в своих мусульманских подданных на Кавказе».[36] (И в Первой Мировой войне отборные полки кавказских добровольцев, «туземная дивизия», это отменно подтвердили.)

Однако царствование Александра III было много короче всех остальных, трагически прервано в вершине его возраста и в полноте душевных сил, и нельзя гадать, как он вёл бы себя в наступающие острокритические годы России или даже не допустил бы их.

---

[36] *Лависс, Рамбо.* Т. 8, с. 297.

(По словам Л. Тихомирова, Николай II «просто с первого дня начал, не имея даже и подозрения об этом, полный развал всего, всех основ дела отца своего».[37])

К концу XIX века Российская империя достигла своего замысленного, или, как тогда говорили, «естественного» (для незащищённой огромной равнины), территориального объёма: во многих местах до географических рубежей, поставленных самою природой. Но странная это была империя. Во всех других известных тогда империях метрополии жирно наживались за счёт колоний, и нигде не было такого порядка, чтобы жители какой колонии имели больше прав и преимуществ, чем жители метрополии. А в России было — как раз всё наоборот. Не говоря о Польше, имевшей значительно более либеральную конституцию и строй жизни (которой всё равно это не услаждало подчинения), нельзя не отметить широчайших льгот для Финляндии. Ещё от Александра I финны имели права шире, чем пользовались под шведским управлением; до конца XIX в. народный доход возрос в 6—7 раз, Финляндия достигла процветания, во многом потому, что не выплачивала своей пропорциональной доли общегосударственных расходов. Так же и рекрутский набор из Финляндии брался втрое меньше среднероссийского, так что «в вооружённой до зубов Европе Финляндия делала для своей защиты меньше, чем Швейцария» (а при Николае II и вовсе освобождена от воинского набора, Мировая война её не отяготила). Затем: «высшие русские правительственные учреждения были переполнены финляндцами, они занимали важнейшие военные должности в русской армии и в русском флоте, а русские могли занимать в Финляндии какие-либо должности и приобретать там недвижимость только при условии перехода в финляндское подданство», «в нескольких километрах от своей столицы русские должны были подвергаться осмотру на финляндских таможнях... объясняться по-фински с чиновниками,

---

[37] Журнал «Красный архив» (Москва). 1936. Т. 74, с. 175.

упорно не желавшими говорить по-русски»[38] — и зачем же было Финляндию держать в Империи? (Благодаря такой изумительной экстерриториальности, да по соседству с Петербургом, Финляндия стала бесценным прибежищем и отстойником всех российских революционеров — до эсеровских боевиков и ленинских большевиков; это много послужило не только терроризму и подпольщине в России, но развязыванию самих революций 1905 и 1917.) — Не в такой разительной форме, но и азиатские национальные окраины России получали огромную финансовую помощь из центра, все они стоили затрат бо́льших, чем приносили государству доходов. И от рекрутской повинности многие из них («киргизы», т. е. казахи, и среднеазиаты) были освобождены — притом без замены её военным налогом. (Революционная пропаганда ликующе обыгрывала Тургай-Семиреченское восстание в 1916, между тем оно — во время Мировой войны! — возникло в ответ на попытку всего лишь *трудовой* мобилизации туземных жителей.) Но искусственный отлив средств от центра к окраинам — усугублял «оскудение Центра». Население, создавшее и державшее Россию, всё ослаблялось. Подобного явления мы не наблюдаем ни в одной из европейских стран. Д. И. Менделеев («К познанию России») указывал, как много сделано в России для туземных национальностей — и что пришла пора пристальней позаботиться о русском племени. Но если б этот призыв и был усвоен правящими верхами — у нас уже для того не оставалось исторического времени.

Эта картина своеобразно дополнялась и сильным присутствием иностранных промышленников в России (англичане на ленских золотых приисках, бельгийцы в железоделательной промышленности Юга, иностранный синдикат по платине, Нобель на бакинской нефти, французы в соляном деле в Крыму, норвежцы — в рыбном промысле мурманского побе-

---

[38] *Лависс, Рамбо.* Т. 7, с. 417—418.

режья, японцы — на Камчатке и устьи Амура, и многое, многое ещё, а в самом Петербурге — две трети заводчиков иностранцы, и фамилии их, названия заводов переполняют революционную хронику 1917 года). А в «Географическом описании нашего отечества» Семёнова-Тян-Шанского поуездные перечни цензовых землевладельцев избывают множеством иностранных фамилий.

Густой приток иностранных промышленников и капиталистов может быть объяснён особенно тем, что в России — этому нельзя не изумиться! — и к началу XX века так-таки и не было строго проведенного подоходного налога: с огромных прибылей платилась непропорциональная для Европы доля, этим пользовались и богатый класс в России и иностранцы, вывозившие свои доходы в мало ущерблённом виде. Для России же это оборачивалось грубейшим провалом в её финансах: несравненно богатая Россия то и дело выпрашивала иностранные займы (нередко получая и демонстративные отказы); с 1888 Россия систематически впадала в долги по французским займам, и это делало её зависимой от Франции во внешней политике, что повлияло и на роковые события лета 1914.

Именно в царствование кроткого **Николая II**, столь неуверенно осваивавшегося в первые годы на троне, Россия — недопустимо морально и недопустимо даже из практического расчёта — превзошла в своём расширении те необъятные границы, которыми она владела. Начав с 1895 на Дальнем Востоке действовать заодно с европейскими странами, российское правительство не удержалось (1900) от постыдной посылки русского корпуса в Пекин для соучастия в подавлении китайского восстания: уже которое десятилетие Китай был крайне слаб, в разломе, — и все хищные державы наперебой пользовались этим. В 1898 Россия принудила Китай сдать ей в аренду Порт-Артур и Далянь, а концессия (1896) на железную дорогу через Маньчжурию во многом отдавала эту область под русское влияние.

По русско-японскому протоколу 1898 г. Корея признавалась независимой, однако, по мере того как Япония проникала в Корею с юга, небескорыстные советчики Николая II убедили его, что Россия должна проникать в Корею с севера. Тут-то смертно и столкнулись русско-японские интересы; ещё был путь принять компромисс: японское предложение, чтобы Россия ограничилась влиянием в северной Маньчжурии; но противник казался так несерьёзен, от прежних лёгких российских завоеваний наросла такая надменность, а Николай II не ощущал всех уязвимых мест ещё неустоенной, ещё недоразвившейся России, из которых вражда правительства с обществом и революционное движение были далеко не единственными слабостями государства — и внутри себя, и во внешних отношениях. Так началась война с Японией, уже потому губительная, что мы ещё только кончали Великую Сибирскую магистраль; а продолжая соперничать с Австрией из-за Балкан, Россия не могла снять с западной границы своих наилучших войск, а посылала на Дальний Восток корпуса второго разряда и резервные войска. В 1904 в Японии не только студенты, но даже подростки стремились попасть в армию, а наши столичные студенты слали микадо телеграммы с пожеланием победы... Российское общество охватила *жажда поражения* в этой дальней, непопулярной и даже необъяснимой войне — в верном расчёте на политический успех от русского поражения, и он вспыхнул ещё сильней, чем от войны Крымской. Осенью 1905, в дни наибольшего накала революции, кончалась точно половина царствования Николая II — и за эти 11 лет он уже почти выпустил всю власть из рук — однако в этот раз её вернул Столыпин. (Через следующие 11 лет уже некому было вернуть.)

Внешнеполитические промахи следовали и дальше. Вильгельм II, подчёркнуто, даже театрально игравший роль сердечного друга Николая II («благословивший» его и воевать на Дальнем Востоке, впрочем и помогший дружественным нейтралите-

том), на свидании в Бьёрке в конце 1905 не без лукавства предложил Николаю *вдвоём* подписать тройственный дружественный договор с Францией, а та — «потом присоединится». И Николай подписал (без ведома совета министров, а позже взял подпись обратно). Конечно, тут была немалая игра оттеснить Францию на второй план; конечно, Германия в 1904 уже навязала России угнетающий торговый договор, и трудно было счесть её другом России. Однако система прочного союза *и* с Пруссией, *и* с Францией — это была проверенная система Петра I; и всё же, остриё-то договора в Бьёрке было направлено против Англии — страны, которая уже 90 лет кряду была настойчивым недоброжелателем России и всегда и повсюду искала, как причинить России вред, и часто это ей великолепно удавалось, и вот только что, в японскую войну, Англия была союзницей Японии. Вильгельм, предвидя жестокую войну с Англией, всё же искал пути не воевать с Россией, и при нашем сухопутном соседстве и крупной численности обеих армий — от какой кровавой бойни мы были бы избавлены в 1914 (а значит, и от революции 1917)! Кажется невозможным, необъяснимым, чтобы Николай II всё-таки предпочёл союз с ненавистницей России, с которой столько раз и во стольких местах сталкивались интересы. Но Николай сделал именно этот шаг; англо-русский союз 1907, отсюда доформировалась Антанта, — и расстановка сил в Первой Мировой войне была роково определена.

Вскоре (1909) в ответ Австрия присоединила Боснию и Герцеговину, а Вильгельм в ультимативной форме заставил Россию ещё и унизительно *признать* законность захвата. Правда, этот захват уже предопределялся и Берлинским конгрессом (1878) — но в 1909 в России он был болезненно воспринят и правительством, и обществом: роковое наше панславистское увлечение взывало едва ли не к немедленной войне (невозможной при Столыпине, но крайне бы выгодной для Англии).

И конечно, при нашем панславистском накале мы не могли снести грубого австрийского ультиматума Сербии в 1914 (а на это и был германо-австрийский расчёт). И потому так смело на нас напали в 1914, что перестали уважать российскую военную силу с 1904. И наши войска в Восточной Пруссии были брошены поспешною, неподготовленной жертвою ради спасения Парижа.

До сего места мы односторонне проследили трёхсотлетний период русской истории: по линии упущенных возможностей внутреннего развития и безжалостной растраты народных сил на ненужные России внешние цели: заботились о европейских «интересах» больше, чем о своём народе.

Однако, несмотря на всё это, поразишься же и богатству народной энергии, уж не говоря о Поморьи или Доне — и на примере Сибири же. («Завоевание Сибири» неверно расширяется от западно-сибирского эпизода борьбы Ермака с чингисидом Кучумом, завоевавшим тобольских татар, а в 1573, ещё до Ермака, совершившим набег и на район Соликамска. XVII век в Сибири не отмечен большим числом серьёзных военных столкновений — сравнительно с предыдущей историей континента, волной завоеваний монгольских и тюркских, или сравнительно со зверонравным уничтожением майя, североамериканских индейцев, патагонцев, тасманийцев; напротив, с приходом русских прекратились многочисленные междоусобия у якутов, бурят, чукчей с юкагирами и др.; у якутов время до прихода русских так и названо «время кровавых битв»[39], более того: русские не нарушали внутренней организации аборигенных народов; крупные столкновения были только с маньчжурами и монголами, остановившими на верхнем Амуре русское продвижение.) За

---

[39] История Сибири с древнейших времён до наших дней: В 5 т. Т. 2. Л.: Наука, 1968, с. 99.

XVII век малочисленные предприимчивые русские люди освоили огромный Сибирский континент — до Охотского моря, устьев Яны, Индигирки и Берингова (Дежнёва) пролива — и основывали пашенное хозяйство на просторах, никогда его (кроме малых местностей) не знавших; уже к концу XVII вся Сибирь питалась своею рожью. Пашни доходили на север до Пелыма, Нарыма, Якутска, а в начале XVIII были уже и на Камчатке; и повсюду коренные народы обменивались с русскими хозяйственным и охотничьим опытом. В 1701 на *всю* Сибирь было 25 тыс. русских семей, одна семья на 400 км^2, в Восточной Сибири были деревни по 1—2 двора. (По ревизии 1719 в Сибири аборигенов 72 тыс. человек, русских 169 тыс.[40], к 80-м годам — более миллиона.) И при такой слабой населённости (вольнонародным переселением; беглыми, но не возвращаемыми за Урал крестьянами; ссыльно-поселенцами) — XVIII век в Сибири поражает нас, чтó могут дать мирные народные усилия, направленные на внутренние, а не на внешние задачи: гигантский размах русского труда, ремёсел, уже и значительного заводского и металлургического производства и русской торговли — от Урала черезо всю Сибирь до Кяхты, Чукотки, Алеутских островов и Аляски (в 1787 основана мещанином Шелиховым «Американская торгово-промысловая компания»).[41] Уже в XVIII в Сибири действовали школы геодезические, навигационные, горно-заводские, медицинские, возникали библиотеки и типографии; произведена тщательная картография Ледовитого и Тихоокеанского побережий.[42]

Таково было богатство народной энергии, что через полвека после падения крепостного права — Россия вступила в полосу бурного промышленного развития (5-е место в мире по промышленной про-

---

[40] История Сибири с древнейших времен до наших дней. Т. 2, с. 55.

[41] Там же, с. 181—282.

[42] Там же, с. 323—331, 343—353.

дукции), железнодорожного строительства, стала крупнейшим экспортёром зерна и сливочного (сибирского) масла. В России была полная свобода частной экономической деятельности («рынок», который мы сегодня всё собираемся достичь или у кого-то перенять), свобода выбора занятий и места жительства (кроме еврейской черты оседлости, но и она шла к отмене). Крупный бюрократический аппарат, однако, не был замкнут ни национально (встречаем в нём на видных постах представителей множества национальностей), ни социально (становились министрами помощник машиниста Хилков, крестьянин Рухлов, начальник станции Витте, помощник присяжного поверенного Кривошеин, и на военные верхи взошли из самых низов генералы Алексеев, Корнилов). По свидетельству последнего Государственного секретаря России С. Е. Крыжановского, в смысле восхождения отдельных лиц Россия была страна весьма демократическая: высшее чиновничество складывалось не из лиц высокого происхождения; по свидетельству министра путей сообщения Кригера-Войновского: кроме особого положения крестьянства, сословных перегородок к XX веку уже не оставалось, «права определялись образованием, служебным положением и видом занятий».[43] Независимость и открытость суда, строгая законность следствия утвердились с 60-х годов XIX века, также и печать без предварительной цензуры, а с 1906 — истинный парламент и многопартийная система (которая сегодня жаждется как новейшее достижение). Отметим и то, что для народа действовала бесплатная земская медицина высокого качества. Было введено рабочее страхование. В России был самый высокий в Европе прирост населения. И высшее женское образование в России стояло на одном из первых мест в Европе.

И всё это обрушилось с 1917 года, а в мире представлено и поныне крайне искажённо.

---

[43] Из фонда Всероссийской Мемуарной Библиотеки.

Но и в этот краткий благополучный период 1906—1913 прозорливые люди видели запущенность государственной болезни, опасную разорванность общества и власти и упадок русского национального сознания. Лев Тихомиров, в прошлом виднейший народоволец, позже государственник-теоретик, перешедший в патриотизм, писал в своём дневнике в 1909-10 годах: «Нельзя ничего сделать в современной России, не́чего делать. Мы, по-видимому, идём к новой революции, и кажется — неизбежно... все, все даже частные меры власти — как на подбор ведут к революции»; «с Россией я совсем недоумеваю. Стою на своих бастионах, знамени не опускаю, палю из орудий... но родная армия уходит от тебя всё дальше, и — по разуму человеческому — немыслимо и ждать от неё ничего...». О молодёжи: «Они уже не потомки наши, а что-то новое»; «Народ русский!.. Да и он уже потерял прежнюю душу, прежние чувства»[44], — тут Тихомиров имел в виду утерю православного и национального сознания, «умственное и нравственное принижение вообще нации».[45]

Духовную суть кризиса Тихомиров отмечал верно. В 1909 вопрос о русском национальном сознании неожиданно попал в центр обсуждения либеральной прессы. «Когда недержавные национальности стали самоопределяться, явилась необходимость самоопределения и для русского человека». Происходит «в прогрессивной русской печати невозможное ещё так недавно: дебатируется вопрос о великорусском национализме», «первое выступление того сознания, которое просыпается, наподобие инстинкта самосохранения, у народов в минуту угрожающей им опасности». — «Не шутка и опозорение самого слова „русский“, превращённого в „истинно русский“.» — «Как не следует заниматься „обрусением“ тех, кто не желает „русеть“, так же точно нам самим не

[44] Красный архив. 1936. Т. 74, с. 165—177.
[45] Красный архив. 1930. Т. 38.

следует себя „обруссивать“, тонуть и обезличиваться в российской многонациональности» (П. Б. Струве). — «Попытка обвеликорусить всю Россию... оказалась гибельной для живых национальных черт не только всех недержавных имперских народностей, но и прежде всего для народности великорусской... Для великорусской национальности — только полезно интенсивное развитие вглубь, нормальное кровообращение.» Русское общество в прежние годы «устыдилось не только ложной антинациональной политики, но и истинного национализма, без которого немыслимо национальное творчество. Народ должен иметь своё лицо.» — «Как 300 лет назад, история требует нас к ответу, чтобы в грозные дни испытаний» ответить, «имеем ли мы как самобытный народ право на самостоятельное существование».[46]

Однако эта поучительная и для нашего времени дискуссия, читаемая сегодня как самая современная, в оставшемся простенке до Мировой войны уже не имела плодотворного развития. Динамичная эпоха перестигала неторопливую Россию. Возрождения русского национального сознания — в русском обществе не произошло. И В. В. Розанов (в 1911) выразил это так: «Душа плачет, куда же все русские девались?.. Я ужасно плачу о русских, ибо думаю, что погибает само племя, что вообще попирается всё русское.»[47]

Так и попытки православной общественности около 1905 года через Предсоборное совещание выйти к Поместному Собору и выборам Патриарха были остановлены тормозящей резолюцией царя. Русская Православная Церковь в неизменности достаивала уже отмеренный оставшийся исторический срок. И справедливый упрёк Бердяева, обращённый к интеллигенции, демократам и социалистам, — «Вы ненавидели церковь и травили её. Вы думали, что народ может существовать без духовных основ, без свя-

---

[46] Слово. 1909. 9—25 марта.
[47] Новый мир. 1991. № 3, с. 227.

тынь, достаточно материальных интересов и просвещения»[48], — другим тяжёлым концом ложится на дремавшие правительственные верхи. Православная церковь встретила революцию 1917 неготовой и в полной растерянности. Лишь через несколько лет, под свирепыми преследованиями большевиков поднялись и народные бунты в защиту храмов (1918), и с решимостью античных первохристиан потекли в ГУЛАГ и на смерть десятки тысяч священнослужителей. (Но большевицкий расчёт был безошибочен: ведь они материально *вычитались* из живого сопротивления.)

В Первой Мировой войне как-то сказалась — накопленная, неизбытая народная усталость от всех прежних, прежних, прежних русских войн, от которых народ всегда оставался невознаграждён, — и к той усталости добавилось такое же накопленное в поколениях и поколениях недоверие к правящему классу. И всё это — отозвалось в солдатах двухтысячевёрстного фронта, когда дошли вести о перевороте в Петрограде, скоропостижном податливом отречении царя, вскоре и заманчивых лозунгах большевиков.

С 1917 года — мы стали ещё заново и крупно платить за все ошибки нашей предыдущей истории.

Всю предысторию Февраля, саму Февральскую революцию и неумолимые последствия её — я уже изложил предостаточно в «Красном Колесе» и здесь полностью миную. Большевицкий переворот — был логическое и неуклонное завершение Февраля.

Но так как в предыдущем обзоре мы много касались то бескорыстных, то бессмысленных вмешательств России в европейские дела, — уместно здесь кратко отозваться о роли западных союзников в гражданской войне в России. Пока Германия ещё сопротивлялась, союзники, естественно, предпринимали усилия — то вызволять чехословацкий корпус

---

[48] *Н. А. Бердяев.* Философия неравенства. Париж: ИМКА-пресс, 1923, с. 20.

через Сибирь, чтоб успеть использовать его против Германии; то высадку в Архангельске и Мурманске, чтобы помешать сделать это немцам. Но кончилась Мировая война — и союзники потеряли интерес к белым, — к русским генералам, своим прямым и персональным союзникам по минувшей войне. На Севере — англичане топили в море амуницию и армейские запасы, только бы не оставить белым. Белых правительств — не признавали (Врангеля — только де-факто и коротко, пока он мог облегчить положение Польши), но тотчас признавали всякую нацию, отколовшуюся от России (и Ллойд-Джордж того же требовал от Колчака). За военное снабжение требовали русского сырья, зерна, золота, подтверждений о выплате русских долгов. Французы (вспомним спасение Парижа в 1914 жертвами русских армий в Пруссии) от ген. Краснова требовали возместить все убытки французских предприятий в России, «происшедшие вследствие отсутствия порядка в стране», и с процентами компенсировать их утерянную с 1914 доходность; в апреле 1920 союзники слали ультиматум Деникину-Врангелю: прекратить борьбу, «Ленин обещал амнистию»; за помощь в эвакуации Крыма французы забрали себе русские военные и торговые суда, а с эвакуированных в Галлиполи врангелевцев в оплату за питание брали военное имущество, вплоть до армейского белья. — Поражение России от большевиков было весьма выгодно союзникам: не надо было делиться долей победы. Таков *реалистический* язык международных сношений.

По исконной неразвитости правосознания, национального сознания и поблеклости религиозных устоев за последние перед тем десятилетия — наш народ достался верховым большевицким выжигам — экспериментальным лепным материалом, удобным для перелепливания в их формы.

Эти идейные интернационалисты начали с безоглядного разбазаривания российских земель и богатств. На Брестских переговорах они проявили

готовность отдать любой охват русских земель, лишь бы самим уцелеть у власти. — В дневнике американского дипломата Уильяма Буллита можно прочесть и о бóльшей цене, которую в 1919 Ленин предлагал американской делегации: советское правительство готово отказаться от западной Белоруссии, половины Украины, от всего Кавказа, Крыма, от всего Урала, Сибири и от Мурманска: «Ленин предлагал ограничить коммунистическое правительство Москвой и небольшой прилегавшей к ней территорией, плюс город, известный теперь как Ленинград.»[49] (Этот крик Ленина важно бы усвоить всем тем, кто сегодня всё ещё восхищается, как большевики «воссоздали Державу».) — Так панически Ленин предлагал тогда, когда опасался вполне бы естественного «похода Антанты» на его мятежную кучку, в защиту союзницы России. Но скоро он убедился, что такое не грозит, и уступал русскую землю уже в меньших размерах. В феврале 1920 Эстонии, взамен за первое международное признание советского правительства, прорыв изоляции, — уступил русское население у Ивангорода-Нарвы и какие-то там «святыни» Печор и Изборска; вскоре за тем — и Латвии отдал обильное русское население. — По интернациональным замыслам ища дружбы Турции (в декабре 1920 оккупировавшей почти всю Армению), советское правительство с зимы 1920 на начало 1921, кажется само едва встающее от гражданской войны в своей разорённой стране, начинает широкую помощь Турции всеми видами оружия, а также «безвозмездную финансовую помощь» в 13 миллионов рублей золотом (в 1922 ещё добавили 3,5 миллиона)[50].

Примеры эти можно множить и множить. А прямое раскрадывание большевицкой бандой сокровищ российского алмазного фонда и всего награбленного ими из государственного, царского и частных иму-

---

[49] Журнал «Время и мы» (Нью-Йорк), 1975, № 116, с. 216.

[50] Документы внешней политики СССР. М.: Госполитиздат, 1959. Т. III, с. 675.

ществ вряд ли вообще кем учтено, только в редких мемуарах встретишь, как в кремлёвской кладовой просто пригоршнями, без счёту, злодеи и проходимцы набирали драгоценностей для очередной коминтерновской операции за границей. (Для тех же целей тайно распродавались и сокровища государственных музеев.) — Наверно и целую книгу можно написать о хищническом расхвате *концессий* на территории России: с Вандерлипом вели переговоры о сдаче на 50 лет (!) нефтеносных участков, угольных копей и рыбной ловли Приморской и Камчатской областей[51]; пресловутому «антисоветчику» Лесли Уркарту — долгосрочной концессии на его прежние предприятия по добыче цветных металлов и угля (Кыштым, Риддер, Экибастуз)[52]; англичанам — на 25 лет (до 1945 года!..) нефтяную концессию в Баку и Грозном; начинающему сопляку делового мира Арманду Хаммеру — алапаевские асбестовые рудники (а дальше сердечная взаимопомощь и дружба с ним длились и до его смерти, уже в горбачёвское время). — Не все планируемые тогда концессии состоялись из-за того, что утверждённость ленинской кучки у власти ещё казалась западному взгляду хлипкой.

История 70-летнего коммунистического господства в СССР, воспетого столькими бардами, добровольными и покупными, господства, сломавшего органическое течение народной жизни, — уже сегодня наконец видна многим во всей своей и неприглядности и мерзости. По мере раскрытия архивов (если они откроются, а многие уже проворно уничтожены) об этом 70-летии будут написаны тома и тома, и такому обзору не место в этой статье. Здесь приведём только самые общие оценки и соображения.

Все потери, которые наш народ перенёс за огляженные 300 лет от Смуты XVII века, — не идут и в

[51] Документы внешней политики СССР. Т. III, с. 664—665, 676—681.

[52] Там же. Т. IV, с. 774.

дальнее сравнение с потерями и падением за коммунистическое 70-летие.

На первом месте здесь стоит физическое уничтожение людей. По косвенным подсчётам разных статистиков — от постоянной внутренней войны, которую вело советское правительство против своего народа, — население СССР потеряло не менее 45—50 миллионов человек. (Проф. И. А. Курганов пришёл к цифре 66 миллионов.) Причём особенность этого уничтожения была та, что не просто косили подряд, кого придётся, или по отдельным территориям, но всегда — *выборочно*: тех, кто выдавался либо протестом, сопротивлением, либо критическим мышлением, либо талантом, авторитетом среди окружающих. Через этот *противоотбор* из населения срезáлись самые ценные нравственно или умственно люди. От этого непоправимо падал общий средний уровень остающихся, народ в целом — принижался. К концу сталинской эпохи уже невозможно было признать в народе — тот, который был застигнут революцией: другие лица, другие нравы, другие обычаи и понятия.

И чем же, как не физическим уничтожением своего народа, назвать безоглядную, безжалостную, безрасчётную укладку красноармейских трупов на путях побед Сталина в советско-германской войне? («Разминирование» минных полей ногами гонимой пехоты — ещё не самый яркий пример.) После сталинских «7 миллионов потерь», после хрущёвских «20 миллионов», теперь наконец в российской прессе напечатана и фактическая цифра: 31 миллион. Онемляющая цифра — пятая часть населения! Когда и какой народ укладывал столько на войне? Наша «Победа» 1945 года овеществилась в укреплении сталинской диктатуры — и в полном обезлюживании деревень. Страна лежала как мёртвая, и миллионы одиноких женщин не могли продолжить жизнь народа.

Но ещё и физическое массовое уничтожение — не высшее достижение коммунистической власти.

Всех, кто избегал уничтожения, — десятилетиями облучали оглупляющей и душу развращающей пропагандой и от каждого требовали постоянно возобновляемых знаков покорности. (А от послушной интеллигенции — и ткать эту пропаганду в подробностях.) От этой гремящей, торжествующей идеологической обработки — ещё и ещё снижался нравственный и умственный уровень народа. (Только так и могли воспитаться те нынешние старики и пожилые, кто вспоминает как эру счастья и благоденствия, когда они отдавали свой труд за грошовую зарплату, но под 7-е ноября получали полкило печенья, перевязанное цветной ленточкой.)

Зато во внешней политике — о! вот тут коммунисты не повторили ни единого промаха и ляпа царской дипломатии, каких много мы уже отметили в этой статье. Коммунистические вожди всегда знали верно, что́ им нужно, и каждое действие направлялось всегда и только к этой полезной цели — никогда ни одного шага великодушного или бескорыстного; и каждый шаг верно смечен, со всем цинизмом, жестокостью и проницательностью в оценке противников. Впервые за долгий ход истории российской дипломатия советская была находчива, неотступчива, цепка, бессовестна — и всегда превосходила и побивала западную. (Те же и Балканы коммунисты полностью забрали, без большого усилия; отхватили пол-Европы; без сопротивления проникали в Центральную Америку, Южную Африку, Южную Азию.) И таким привлекательным идеологическим оперением была советская дипломатия снабжена, что вызывала восторженное сочувствие у западного же *передового общества*, отчего потуплялись и западные дипломаты, с трудом натягивая аргументы. (Но заметим: и советская дипломатия служила не интересам своего народа, а — чужим, «мировой революции».)

И эти блистательные успехи ещё одуривали и одуривали ослабевшие головы советских людей — новоизобретенным, безнациональным *советским*

патриотизмом. (Так и воспитались нынешние, постаревшие, радетели и болельщики Великого Советского Союза.)

Не повторяем здесь теперь уже общеизвестной оценки «промышленных успехов» СССР: безжизненной экономики, уродливого производства неспрашиваемых и некачественных товаров, изгаживания огромных природных пространств и грабительского исчерпания природных ресурсов.

Но и во всём высасывании жизненных соков из населения — советская система не была равномерна. По твёрдому наследству ленинской мысли надо было (и так и делалось): главный гнёт налагать на республики крупные, сильные, т. е. славянские, и особенно на «великорусскую шваль» (Ленин), главные поборы — брать с неё, притом первоначально опираться на национальные меньшинства, союзные и автономные республики. Сегодня тоже уже не новость, опубликовано многократно, что главную тяжесть советской экономической системы несла на себе РСФСР, с её бюджета брались непропорционально крупные отчисления, она меньше всего получала вложений, а её крестьяне продавали продукт своего труда двадцатикратно дешевле, чем, скажем, грузинские (картофель — апельсины). Подрубить именно русский народ и истощать именно его силы — была из нескрываемых задач Ленина. И Сталин продолжал следовать этой политике, даже когда произнёс свой известный сентиментальный тост о «русском народе».

А в брежневское время (всё державшееся на паразитстве от продажи за границу сырой нефти — до полного износа нефтяного оборудования) — совершены были новые жуткие и непоправимые шаги по «оскудению Центра», по разгрому Средней России: «закрытие» тысяч и тысяч «неперспективных деревень» (с покиданием многих удóбий, пашен и лугов), последний крушащий удар по недобитой русской деревне, искажение всего лика русской земли. И уже был взнесен страшный удар, добивающий

Россию, — «поворот русских рек», последний одурелый бред маразматического ЦК КПСС, — на последнем краю и в последний момент, слава Богу, отведенный малой мужественной группой русских писателей и учёных.

«Противоотбор», который методически и зорко коммунисты вели во всех слоях народа от первых же недель своей власти, от первых же дней ЧК, — предусмотрительно заранее обессиливал возможное народное сопротивление. Оно ещё могло прорываться в первые годы — кронштадтское восстание с одновременными забастовками петроградского пролетариата, тамбовское, западно-сибирское и ещё другие крестьянские восстания, — но все они были потоплены в смертях с такой запасливой избыточностью, что больше не вздымались. А когда и поднимались малые бугорки (как стачка ивановских ткачей в 1930), то о них не узнавал не только мир, но даже и само советское пространство, всё было надёжно заглушено. Прорыв реальных чувств народа к власти мог проявиться — и как же зримо проявился! — лишь в годы советско-германской войны: только летом 1941 больше чем тремя миллионами сдавшихся пленных, в 1943-44 целыми караванами жителей, добровольно отступающих за немецкими войсками, — так, как если б это были их отечественные... В первые месяцы войны советская власть легко могла бы и крахнуть, освободить нас от себя, — если бы не расовая тупость и надмение гитлеровцев, показавшие нашим исстрадавшимся людям, что от германского вторжения нашему народу нéчего хорошего ждать, — и только на этом Сталин удержался. О попытках формирования русских добровольческих отрядов на германской стороне, затем и о начатке создания власовской армии — я уже писал в «Архипелаге». Характерно, что даже *в самые последние месяцы* (зима 1944-45), когда всем уже было видно, что Гитлер проиграл войну, — в эти самые месяцы русские люди, оказавшиеся за рубежом, — многими десятками тысяч подавали заявления о вступлении

в Русскую Освободительную армию! — вот это был голос русского народа. И хотя историю РОА заплевали как большевицкие идеологи (да и робкая советская образованщина), так и с Запада (где представить не умели, чтоб у русских могла быть и своя цель освобождения), — однако она войдёт примечательной и мужественной страницей в русскую историю — в долготу которой и будущность мы верим даже и сегодня. (Генерала Власова обвиняют, что для русских целей он не побрезговал войти в показной союз с внешним врагом государства. Но, кстати, как мы видели, такой же показной союз заключала и Елизавета со Швецией и Францией, когда шла к свержению бироновщины: враг был слишком опасен и укоренён.) — В послесталинское время были и ещё короткие вспышки русского сопротивления — в Муроме, Александрове, Краснодаре и особенно в Новочеркасске, но и они, благодаря непревзойденной большевицкой заглушке, десятилетиями оставались неизвестны миру.

После всех кровавых потерь советско-германской войны, нового взлёта сталинской диктатуры, сплошного вала тюремных посадок всех, кто хоть как-то соприкоснулся за время войны с европейским населением, затем лютейшего послевоенного колхозного законодательства (за невыработку трудодней — ссылка!), — кажется, и наступил конец русского народа и тех народов, которые делили с ним советскую историю?

Нет. И ещё то́ был — не конец.

К концу мы придвинулись — как ни парадоксально — от лицемерной и безответственной горбачёвской «перестройки».

Немало было разумных путей постепенного осторожного выхода из-под большевицких глыб. Горбачёв избрал путь — самый неискренний и самый хаотический. Неискренний, потому что искал, как сохранить и коммунизм в слегка изменённом виде и все блага партийной номенклатуры. А хаотический — потому что, с обычной большевицкой ту-

постью, выдвинул лозунг «ускорения», невозможный и гибельный при изношенности загнанного оборудования; когда же «ускорение» не потянуло, то сочинил немыслимый «социалистический рынок», следствием которого стал распад производственных связей и начало разворовки производства. — И этакую свою «перестройку» Горбачёв сопроводил «гласностью», в близоруком расчёте на единственное следствие: получить интеллигенцию в союзники против уж крайних зубров коммунизма, не хотящих понять и собственной пользы от перестройки (другой системы кормушек). Он и во сне представить не мог, что этой гласностью одновременно же распахивает ворота всем яростным национализмам. (В 1974, в сборнике «Из-под глыб», мы предсказывали, что национальной ненавистью СССР поджечь очень легко. Тогда же, в Стокгольме, я предупреждал: в СССР «если объявить демократию внезапно, то у нас начнётся истребительная межнациональная война, которая смоет эту демократию вообще в один миг». Но вождям КПСС это было недоступно понять.) — В 1990 я с уверенностью писал (в «Обустройстве»): «Как у нас всё теперь поколесилось — так всё равно «Советский Социалистический» развалится, всё равно!» (Горбачёв пришёл во гнев и метко обозвал меня за то... «монархистом». Не удивлюсь: ведущая американская газета прокомментировала мою фразу так: «Солженицын всё ещё не может расстаться с имперскими иллюзиями», — это когда сами они ещё больше всего боялись развала СССР.) Тогда же и там же я предостерегал: «Как бы нам, вместо освобождения, не расплющиться под его [коммунизма] развалинами.» И — именно так получилось: в августе 1991 бетонные блоки стали падать и падать на неподготовленные головы, а поворотливые фюреры некоторых национальных республик, десятилетиями, до последнего дня усердно и благоуспешно тянувшие коммунистическую выслужбу, тут — разом, в 48 часов, а кто и в 24, объявили себя исконными ярыми националистами, патриотами сво-

ей, отныне суверенной республики, и уже безо всякого коммунистического родимого пятна! (Их имена — и сегодня сверкают на мировом небосклоне, их с уважением встречают в западных столицах как первейших демократов.)

Блоки и глыбы, в разных областях народной жизни, хлопались и в следующие месяцы с большой густотой, придавливая массы застигнутых людей. Но введём в рассуждение — черёд.

Первое следствие. Коммунистический Советский Союз был исторически обречён, ибо основан был на ложных идеях (более всего опирались на «экономический базис», а он-то и погубил). СССР держался 70 лет обручами небывалой диктатуры — но когда издряхлело изнутри, то уже не помогут и обручи.

Сегодня далеко не только бонзы, закоснелые в коммунистических идеях, но и немало простых рядовых людей, омороченных нагремевшим «советским патриотизмом», искренно жалеют о распаде СССР: ведь «СССР был — наследник величия и славы России», «советская история была не тупик, а закономерное развитие»...

Что касается «величия и славы», то в историческом обзоре мы видели, какой ценой и для каких посторонних целей мы часто напрягались иссильно в минувшие 300 лет. А советская история была именно тупик. И хоть в эти 20—30-е...60—70-е правили *не мы с вами* — а отвечать за все содеянные злодейства и перед всем миром достаётся — кому же? да только нам, и, заметим: только русским! — вот *тут* все охотно уступают нам исключительное и первое место. Да если безликая корыстная свора вершила, что хотела, чаще всего от нашего имени, — так нам и не отмыться, как быстро отмылись другие.

Что советская империя для нас не только не нужна, она губительна — к этому выводу я пришёл в первые послевоенные годы, в лагерях. Я давно так думаю, уже полвека, не из сегодня. И в «Письме вождям Советского Союза» (1973) я писал: «Цели

великой империи и нравственное здоровье народа несовместимы. И мы не смеем изобретать интернациональные задачи и платить по ним, пока наш народ в таком нравственном разорении.» И в «Обустройстве»: «Держать великую Империю — значит вымертвлять свой собственный народ. Зачем этот разнопёстрый сплав? — чтобы русским потерять своё неповторимое лицо? Не к широте Державы мы должны стремиться, а к ясности нашего духа в остатке её.» Не надо нам быть мировым арбитром, ни соперничать в международном лидерстве (там охотники найдутся, у кого сил больше), — наши все усилия должны быть направлены *внутрь*, на трудолюбивое *внутреннее* развитие. Восстанавливать СССР — это верный путь уже навсегда забить и заглушить русский народ.

Надо же, наконец, ясно понять: у Закавказья — свой путь, не наш, у Молдавии — свой, у Прибалтики — свой, а уж у Средней Азии — тем более. Почти все среднеазиатские лидеры уже заявили об ориентации своих государств на Турцию. (Не все заметили в декабре 1991 многообещающую конференцию в Алма-Ате о создании «Великого Турана» — от Анатолийского полуострова до Джунгарского Алтая. В XXI веке мусульманский мир, быстро растущий численно, несомненно возьмётся за амбициозные задачи — и неужели нам в то мешаться?)

Беда не в том, что СССР распался, — это было неизбежно. Огромная беда — и перепутаница на долгое будущее, — в том, что распад автоматически произошел по фальшивым ленинским границам, отхватывая от России целые русские области. В несколько дней мы потеряли 25 миллионов этнических русских, 18 % от общего числа русских, — и российское правительство не нашло мужества хотя бы отметить это ужасное событие, колоссальное историческое поражение России, и заявить своё политическое несогласие с ним — хотя бы, чтоб оставить право каких-то же переговоров в будущем. Нет...

В горячке августовской (1991) «победы» всё это было упущено. (И даже — национальным праздником России избран день, когда РСФСР возгласила свою «независимость» — и, значит, отделённость от тех 25 миллионов тоже...)

Тут надо сказать о нынешней Украине. Не говоря о быстро перелицевавшихся украинских коммунистических вождях, — украинские националисты, в прошлом так стойко боровшиеся против коммунизма, во всём как будто проклинавшие Ленина, — отначала же соблазнились на его отравленный подарок: радостно приняли фальшивые ленинские границы Украины (и даже с крымским прида́ным от самодура Хрущёва). Украина (как и Казахстан) сразу стала на ложный имперский путь.

Груза великодержавности — я не желаю России, не пожелаю и Украине. Я выражаю самые лучшие пожелания развитию украинской культуры и самобытности, и сердечно люблю их, — но почему начинать не с оздоровления и духовного упрочения национального ядра, не с культурной работы в объёме собственно украинского населения и украинской земли, — а с порыва к «великой Державе»? Я предлагал (1990) решать все национальные, хозяйственные и культурные проблемы в едином Союзе восточно-славянских народов — и до сих пор считаю это решение наилучшим, ибо не вижу оправдания разрубу государственными границами миллионов семейных и дружественных связей. Но, в той же статье, я и оговаривал, что конечно никто не посмеет удерживать силой украинский народ от отделения, — однако же с полным обеспечением прав меньшинств. Вполне ли представляют нынешние руководители Украины и её общественного мнения — какой огромности культурная задача простирается перед ними? Даже этнически украинское население во многом не владеет или не пользуется украинским языком. (Для 63 % населения основной язык — русский, тогда как русских только 22 %, то есть: на Украине на каждого русского приходится

двое «нерусских», считающих, однако, русский язык своим родным!) Значит, предстоит найти меры перевести на украинский язык *всех* номинальных украинцев. Затем, очевидно, станет задача переводить на украинский язык и русских (а это уже — не без насилия)? Затем: украинский язык поныне ещё не пророс по вертикали в высшие слои науки, техники, культуры — надо выполнить и эту задачу. Но и более: надо сделать украинский язык и необходимым в международном общении. Пожалуй, все эти культурные задачи потребуют более чем одного столетия? (А пока что мы читаем сообщения — то о притеснении русских школ и даже детских садов в Галиции, даже хулиганских нападениях на русские школы, о пресечении трансляции русского телевидения местами, и вплоть до запрета библиотекарям разговаривать с читателями по-русски, — неужто же это путь развития украинской культуры? А звучат и лозунги «Русские — вон с Украины!», «Украина для украинцев!» — хотя на Украине множество народностей; и с практическими мерами: кто не принял украинского гражданства, тот испытывает стеснения в работе, пенсии, владении недвижимостью, тем более лишается участия в приватизации — а ведь люди не из-за границы приехали, они тут и жили... Но ещё хуже, что по непонятному накалу ведётся антирусская пропаганда; офицерам, принимающим присягу, задаётся отдельный вопрос: «а вы готовы воевать против России?»; армейское Социально-Психологическое Управление создаёт из России образ врага, нагнетается тема «военной угрозы» со стороны России. А по каждому прозвучавшему из России политическому несогласию с отходом русских территорий к Украине официальные украинские лица реагируют истерически звонко: «Это — война!», «это — выстрел в Сараеве!» Почему пожелания переговоров — это уже война? зачем накликать войну, где её нет и никогда не будет?)

Ещё более уязвимый державный промах допустил Назарбаев, намерясь с помощью казахского

меньшинства переработать *большинство* — других, совершенно инородных наций. (И вот: русских устраняют с ответственных должностей, подавляется самодеятельность уральских и сибирских казаков, нападают на православные храмы, русские поселения — а вот уже и большие города — переименовывают по-казахски, отпускают 5 лет на изучение казахского языка даже в местностях, где 90 % — русские. Местное телевидение почти полностью переводят на казахский язык, хотя казахи составляют только 43 % населения. Что ждёт остальных — выпукло показали извращённые «выборы» 1994 г. Ко мне приходят жалобы и от немцев — на насилия со стороны казахов, непроницаемо покрываемые местными властями.) Примыкание к идее «Великого Турана», весьма лёгкое для Средней Азии, окажется для Казахстана совсем-совсем нелёгким.

Как я писал в «Обустройстве»: наилучшее решение вопроса — это государственный Союз трёх славянских республик и Казахстана. И в Беловежском соглашении, судя по прессе, Кравчук и обещал коллегам реальный неразрывный союз, «прозрачные» границы, единую армию и валюту. Но всё это оказалось лишь кратковременным обманом. Ничего этого не образовалось, а спустя время Кравчук и прямо заявил: «Кончать надо с мифом о „прозрачных“ границах.» Однако с существеннейшей поправкой: переход на мировые цены по нефти — это «со стороны России неприкрытый шантаж» (премьер Кучма), даже «приближение к мировым ценам по нефти есть *экономическая война*» (украинский посол в Москве; и тут опять «война». А как же все в мире и торгуют по мировым ценам — и никто не зовёт это «войной»?).

Однако же Россия-то попала — в разорванное состояние: 25 миллионов оказались «за границей», никуда не переезжая, оставаясь на отеческих и дедовских местах. 25 миллионов — самая крупная диаспора в мире; ни у кого такой нет, и — как мы смеем от неё отвернуться?? Тем более что местные

национализмы (как мы привыкли — весьма понятные, простительные и «прогрессивные») — всюду идут на притеснение и угнетение наших отколотых соотечественников. (А желающим уехать — из Средней Азии не дают вывозить личного имущества: не признают такого понятия.)

Принципиально отказываясь от методов силы и войны, мы можем усмотреть только такие три пути:

1) из стран азиатских (закавказских и среднеазиатских), где вряд ли что доброе наших ждёт, — надо методично, пусть в немалые сроки, увозить желающих русских и добротно поселять их в России; а для остающихся — искать защиты либо в двойном гражданстве, либо, либо... через ООН? худая надежда;

2) от стран Прибалтики требовать неукоснительного и полного выполнения всеевропейских норм о правах нацменьшинств;

3) с Белоруссией, Украиной и Казахстаном надо искать возможных степеней объединения в разных областях и добиваться-таки по меньшей мере — «прозрачных» границ, а для областей со значительным перевесом русского населения добиваться реального местного самоуправления, гарантирующего их национальное развитие.

А мы? За эти годы мы гостеприимно нашли в России место и для 40 тысяч месхов, выжженных из Средней Азии и отвергнутых грузинами, где месхи исконно жили; и для армян из Азербайджана; и, разумеется, повсюду для чеченов, хотя и объявивших своё отделение; и даже для таджиков, у которых есть своя страна, — но никак не для русских из Таджикистана — а их там хоть и более 120 тысяч, но, спохватясь вовремя, уже бы многих мы приняли в Россию — и не надо было бы посылать русские войска на защиту Таджикистана от Афганистана, чужое это дело, не русским там кровь проливать. (Вопрос защищённых *границ,* которые у России разом перестали существовать, — отдельный, сложный. И всё же направление его решения: не

русское военное присутствие в тех республиках, а — ужиматься нам надо в территорию собственно российскую.) А разве не обязаны были мы управиться забрать всех русских из Чечни, где над ними издеваются, где ежеминутно грозит им грабёж, насилия и смерть? И многих ли мы взяли из Тувы, когда оттуда начали выживать русских?

Нет, у нас в России для русских нет места, нет средств, отказ.

Это — и предательство своих и унижение передо всем миром: кто ещё в мире поступает так? Посмотрите, как тревожатся и хлопочут западные страны о двух-трёх своих подданных, застрявших где-либо в опасности. А мы — 25 миллионов отбросили и забыли.

Меру нашего унижения и слабости мы можем ощутить и по непреклонным приговорам, которые нам выносят с Запада. Хельсинкское соглашение, толковавшее (по вынуждению СССР, защитить свои захваты в Европе) о нерушимости *государственных* границ, западные государственные деятели бездумно и безответственно перенесли на границы *внутренние, административные* — да с такой неоглядчивой поспешностью, что подожгли в Югославии многолетнюю истребительную войну (где фальшивые границы нагородил Тито), да и в распадающемся СССР — в Сумгаите, в Душанбе, Бишкеке, Оше, Фергане, Мангышлаке, Карабахе, Осетии, Грузии (однако заметим: не в России и не русскими вызваны те резни). А на самом-то деле: не границы должны быть незыблемы, а воля наций, населяющих территории. — Президент Буш мог бестактно вмешаться *перед* украинским референдумом: выразить сочувствие отделению Украины, при ленинских границах. (Стал бы он что-нибудь этакое высказывать, например, о Северной Ирландии?..) — Американский посол в Киеве Попадюк имел авантаж заявить, что Севастополь есть подлинно украинская территория. По какой исторической эрудиции или на каких юридических основаниях он вынес это своё учёное суж-

дение? — не пояснил. Да и не надо: тотчас же и Госдепартамент подтвердил мнение г-на Попадюка. Это — о Севастополе, которого и сумасбродный Хрущёв не догадался «подарить» Украине, ибо он исключён был из Крыма как город центрального подчинения. (А спрашивается: какое дело Госдепартамента вообще высказываться о Севастополе?)

Несомненна живая заинтересованность многих западных политиков в слабости России и желательном дальнейшем дроблении её (такое настойчивое подталкивание уже который год несёт нашим слушателям американское радио «Свобода»). Но скажу уверенно: эти политики плохо просматривают дальнюю перспективу XXI века. Ещё будут в нём ситуации, когда всей Европе и США ой как понадобится Россия в союзники.

Вторым следствием краха коммунизма в СССР должно было стать, как вгоряче объявлено в те августовские дни, — немедленное установление демократии. Но на 70-летней тоталитарной почве какая демократия может вырасти мгновенно? По окраинным республикам — мы слишком в полноте наблюдаем, что́ там выросло. А в России? Только в виде язвительной насмешки можно назвать нашу власть с 1991 — демократической, то есть властью народа. Демократии у нас нет уже потому, что не создано живое нескованное местное самоуправление: оно осталось под давлением тех же местных боссов из местных коммунистов, а до Москвы — и тем более не докричишься. Народ у нас — никак не хозяин своей судьбы, а — игрушка её. На местах — настроение отчаяния: «о нас никто не думает», «мы никому не нужны», — и ведь верно. На народ легли только новые, невиданной формы тяготы — а коммунистическая номенклатура, ещё с горбачёвской подготовки, извернулась, отлично приспособилась и в «демократы», и не пострадала так, как жизненный фундамент страны. (А «золотые сынки» номенклатуры, выкормыши привилегированных коммунистических институтов, либо прямо пошли в управление стра-

ной, либо, по охотке, утекли в Америку, которую их отцы проклинали, даже и стуча ботинком; да и другие подготавливают себе на Западе посадочные площадки.) Исполнительная и так называемая законодательная власть — полтора года изнурительно, до взаимного бессилия, сражались друг с другом — на позор всей страны. (И тут не упустим отметить парадоксальную ситуацию: Верховный Совет, сторонники тоталитарной власти по тактическим расчётам изо всех сил вынуждены были отстаивать «принципы демократии»; а «демократы», из таких же тактических соображений, стояли грудью за авторитарность власти. Столь тверды были принципы тех и других.) Обе борющиеся стороны безответственно, наперебой, заигрывали с сепаратизмом автономных республик, толкнули негодующие области и края объявлять и себя республиками, какой оставался им выход? И если бы этот балаган двоевластия не окончился — Россия бы уже распалась на куски. («Федеративным договором» Ленин ещё раз кусает нас из мавзолея. Но Россия никогда не была федерацией и не создавалась так.)

А когда этот кризис разрешился — кровью, избиением посторонних, и опять на позор страны, — демократия потекла не снизу, а *сверху,* от центрального парламента, и по худшему руслу — через «партийные списки», там партия решит, кто именно будет радетель вашего избирательного округа; и это — при роскошных привилегиях парламентских депутатов и опять-таки нищете страны. Наше закоренелое несчастное русское свойство: *снизу* мы всё никак не научимся организовываться — а склонны ждать указаний от монарха, или вождя, или духовного или политического авторитета, — а их вот нет как нет, — мелюзговая суетня наверху.

Третьим следствием падения коммунизма должен был стать возврат к вожделенному (утерянному со старой России) *рынку* (по нашему коммунистическому обычаю так и звали — к будущему светлому рынку!). Но ещё Горбачёв потерял, протоптался

7 лет, в какие можно было этот переход начать с разумной постепенностью — оживлением экономического организма с самого низу, с мельчайшего бытового предпринимательства, чтобы народ сперва подкормился и обчинился, и лишь потом забирать выше и выше. Нет, с января 1992 поспешно обрушили на страну кабинетный (Международного Валютного Фонда и гайдаровский) проект («решали на ходу», «некогда было выбирать лучший вариант» — вспоминал потом Президент), — проект не «сбережения народа», а жестокого «шока» по нему; проект — невежественный, даже для простого дилетантского глаза: объявить «свободные цены» без наличия в стране конкурентной среды производителей, то есть свободу монопольных производителей как угодно высоко и сколь угодно долго повышать цены. (Автор реформы сперва выражал необдуманную надежду, что цены стабилизируются «вот через два месяца», «вот через полгода» — но не было причин, зачем бы им останавливаться. И никто не нашёл мужества объявить о своём близоруком промахе.) Вот когда нам до конца отрыгнулись все последствия коммунизма. Производство ничем не стимулировалось, резко падало, цены резко росли, народ повергался в глубочайшую нищету — и за два протекших года это пока и есть главное действие реформы.

Нет, и ещё не главное. Самое-то страшное следствие этой безумной «реформы» — даже не экономическое, а психологическое. Беззащитный ужас, потерянность, которые охватили нашу народную массу от гайдаровской реформы и зримого торжества резвых акул беспроизводственной коммерции (в безумии самодовольства они не стесняются выставлять своё ликование и по телевизору), — можно сравнить только с тем, по Глебу Успенскому, «ударом рубля», которого не выдержал пореформенный мужик — и с тех-то пор поползла Россия в Катастрофу.

Самое отчётливое отображение и оценка нынешних реформ — в нашей демографии. Вот данные, уже известные теперь и мировой статистике. В 1993

смерти в России превзошли рождаемость на 800 тыс. В 1993 на 1000 чел. пришлось 14,6 смертей — на 20 % выше, чем в 1992 («реформа»!), рождений 9,2 — на 15 % ниже, чем в 1992. Именно за последние два года («реформа»!) резко возросло число самоубийств — до трети от всех неестественных смертей. Отчаявшиеся люди не видят: зачем жить? и зачем рожать? Если в 1875 в России приходилось в среднем на одну женщину 7 детей, перед второй мировой войной в СССР — 3, ещё 5 лет назад — 2,17 ребёнка, то сегодня — чуть больше 1,4. Мы вымираем. Вероятная долгота жизни взрослого мужчины опустилась до 60 лет, т. е. как в Бангладеш, Индонезии и частично в Африке.[53] От демографов слышим: «трудно в это поверить, даже видя реальные цифры»; «такое явление впервые наблюдается в индустриальной стране вне войны и эпидемий», «такое драматическое снижение длительности жизни никогда не происходило в послевоенном мире. Это воистину потрясает»; «Россия стоит перед лицом небывалого демографического кризиса».[54]

Нынешний «удар долларом» — это ещё одна, ещё одна (и последняя ли?) расплата за наше остервенение и крах Семнадцатого года. Мы сейчас создаём жестокое, зверское, преступное общество — много хуже тех образцов, которые пытаемся копировать с Запада. Да можно ли вообще копировать уклад жизни? — он должен органически слиться с традициями страны; вот Япония — не копировала, вошла в мировую цивилизацию, не потеряв своеобразия. Как определял Густав Ле-Бон: национальную душу составляет сочетание традиций, мыслей, чувств и предрассудков; этого всего — не отбросить, и не надо. Мы третий год ни о чём другом не слышим, как об экономике. Но кризис в нашей стране сейчас — намного глубже, чем только экономический, — это кризис сознания и нравственности, настолько

---

[53] Нью-Йорк Таймс. 1994. 6 марта.
[54] Там же.

глубокий, что не посчитать, сколько десятилетий — или век — нам нужны, чтобы подняться.

Однако сузимся на нашей теме — на «русском вопросе» (потому беру в кавычки, что их часто так употребляют).

Русском — или российском?

В нашем многонациональном государстве оба термина имеют свой смысл и должны соблюдаться. Александр III говорил: «Россия должна принадлежать русским». Но с тех пор историческая эпоха стала взрослее на столетие — и неправомерно бы уже сказать так (или, копируя бы украинских шовинистов, — «Россия для русских»). Вопреки предсказаниям многих мудрецов гуманизма и интернационализма — XX век прошёл при резком усилении национальных чувств повсюду в мире, и этот процесс ещё усиляется, нации — сопротивляются попыткам всемирной нивелировки их культур. И национальное сознание надо уважать всегда и везде, без исключений. (Я и писал в «Обустройстве»: в России «утвердить плодотворную содружность наций, и цельность каждой в ней культуры, и сохранность каждого в ней языка».) — И «российский» и «русский» — имеет каждое свой объём понимания. (Лишь слово «россиянин», может быть и неизбежное в официальном употреблении, звучит худосочно. Не назовёт себя так ни мордвин, ни чуваш, а скажут: «я — мордвин», «я — чуваш».)

Справедливо напоминают, что на просторах российской равнины, веками открытой всем передвижениям, множество племён перемешивалось с русским этносом. Но, когда мы говорим «национальность», мы и не имеем в виду *кровь,* а всегда — *дух, сознание,* направление предпочтений у человека. Смешанность крови — ничего не определяет. Уже века существует русский дух и русская культура, и все, кто к этому наследству привержены душой, сознанием, сердечной болью, — вот они и суть *русские.*

Ныне патриотизм во всякой бывшей окраинной республике считается «прогрессивным», а ожесточённый воинственный национализм там — никто не посмеет назвать ни «шовинизмом», ни, упаси Бог, «фашизмом». Однако к русскому патриотизму — ещё от революционных демократов начала XX века — прилипло и сохраняется определение «реакционный». А ныне всякое проявление русского национального сознания — резко осуждается и даже поспешно примежуется к «фашизму» (которого в России и не было никогда, и который вообще не возможен без расовой основы, однорасового государства.)

Мне приходилось давать определение патриотизма в статье «Раскаяние и самоограничение» (1973). Спустя и два десятилетия я не берусь его поправить: «Патриотизм — это цельное и настойчивое чувство любви к своей родине и к своей нации со служением ей не угодливым, не поддержкою несправедливых её притязаний, а откровенным в оценке пороков и грехов». На *такой* патриотизм — имеет право любая нация, и русские — никак не меньше других. Иное дело, что после пережитых русскими кровопусканий, потерь от «противоотбора», подавления и обморочения сознания — сегодня патриотизм в России раздроблен в разрозненных единицах, не существует как единое, осознавшее себя движение, а многие из тех, кто зовут себя «патриотами», — прислонились за подкреплением к коммунизму и измазались в нём. (А то ещё и — поднимают, слабыми ручёнками, снова призрак панславизма, уже столько раз губившего Россию, и уже вовсе непосильный нам ныне.)

С. Н. Булгаков однажды написал так: «Те, сердце которых истекало кровью от боли за родину, были в то же время её нелицемерными обличителями. Но только страждущая любовь даёт право на это национальное самозаушение; там же, где её нет... поношение родины, издевательство над матерью... вызывает чувство отвращения...»[55]

[55] *С. Булгаков.* Из философии культуры: Размышления о национальности. В его кн.: Два града. М., 1911. Т. 2, с. 289.

В таком сознании и в таком праве я и пишу сейчас здесь.

Краткий и частный обзор русской истории четырёх последних веков, сделанный выше в этой статье, мог бы показаться чудовищно пессимистическим, а «петербургский период» несправедливо развенчанным, если бы не нынешнее глухое падение и падшее состояние русского народа. (Под обаянием этого блеска «петербургского периода», — да уж по сравнению с периодом большевицким, — три года назад жители города на Неве с большим энтузиазмом восстановили — совсем не в лад и к XX веку, и к нашей растерзанной стране в лохмотьях, — как белое крахмальное жабо, название «С а н к т-Петербург»...) К а к ж е некогда могучая и избывающая здоровьем Россия — могла вот так пасть? Т р и таких великих болезненных Смуты — Семнадцатого века, Семнадцатого года и нынешняя — ведь они не могут быть случайностью. Какие-то коренные государственные и духовные пороки привели к ним. Если мы четыре века растрачивали народную силу на ненужное внешнее, а в Девятьсот Семнадцатом могли так слепо клюнуть на дешёвые призывы к грабежу и дезертирству, — то когда-то же пришло время и платить? Наше сегодняшнее жалкое положение — оно как-то накоплялось в нашей истории?

И вот мы докатились до Великой Русской Катастрофы 90-х годов XX века. За столетие многое вплеталось сюда, — Девятьсот Семнадцатый год, и 70 лет большевицкого развращения, и миллионы, взятые на Архипелаг ГУЛАГ, и миллионы, уложенные без бережи на войне, так что в редкую русскую деревню вернулись мужчины, — и нынешний по народу «удар Долларом», в ореоле ликующих, хохочущих нуворишей и воров.

В Катастрофу входит — прежде всего наше вымирание. И эти потери будут расти: в нынешней непроглядной нищете сколькие женщины решатся рожать? Не менее вчислятся в Катастрофу и неполноценные и больные дети, а они множатся от усло-

вий жизни и от безмерного пьянства отцов. И полный провал нашей школы, не способной сегодня взращивать поколение нравственное и знающее. И жилищная скудость такая, какую давно миновал цивилизованный мир. И кишение взяточников в государственном аппарате — вплоть до тех, кто по дешёвке отпускает в иностранную концессию наши нефтяные поля или редкие металлы. (Да что терять, если предки в восьми изнурительных войнах лили кровь, пробиваясь к Чёрному морю, — и всё это как корова слизнула в один день?) Катастрофа и в расслоении русских как бы на две разных нации: огромный провинциально-деревенский массив — и совсем на него не похожая, иначе мыслящая столичная малочисленность с западной культурой. Катастрофа — в сегодняшней аморфности русского национального сознания, в сером равнодушии к своей национальной принадлежности и ещё большем равнодушии к соотечественникам, попавшим в беду. Катастрофа и в изувеченности нашего интеллекта советской эпохой: обман и ложь коммунизма так наслоились на сознание, что многие даже не различают на своих глазах эту пелену. Катастрофа и в том, что для государственного руководства слишком мало у нас людей, кто б одновременно был: мудр, мужественен и бескорыстен, — всё никак эти три качества не соединятся в новом Столыпине.

Сам русский характер народный, так известный нашим предкам, столько изображённый нашими писателями и наблюдённый вдумчивыми иностранцами, — сам этот характер угнетался, омрачался и изламывался во весь советский период. Уходили, утекали из нашей души — наша открытость, прямодушие, повышенная простоватость, естественная непринуждённость, уживчивость, доверчивое смирение с судьбой, долготерпение, долговыносливость, непогоня за внешним успехом, готовность к самоосуждению, к раскаянию, скромность в совершении подвига, сострадательность и великодушие. Большевики издёргали, искрутили и изожгли наш харак-

тер — более всего выжигали сострадательность, готовность помогать другим, чувство братства, а в чём динамизировали — то в плохом и жестоком, однако не восполнив наш национальный жизненный порок: малую способность к самодеятельности и самоорганизации, вместо нас всё это направляли комиссары.

А рублёво-долларовый удар 90-х годов ещё по-новому сотряс наш характер: кто сохранял ещё прежние добрые черты — оказались самыми неподготовленными к новому виду жизни, беспомощными негодными неудачниками, не способными заработать на прокормление (страшно — когда родители перед своими же детьми!) — и только, с растаращенными глазами и задыхаясь, обкатывались новой породой и новым кликом: «нажива! нажива любой ценой! хоть обманом, хоть развратом, хоть растлением, хоть продажей материнского (родины) добра!» «Нажива» — стала новой (и какой же ничтожной) Идеологией. Разгромная, разрушительная переделка, ещё пока никакого добра и успеха не принесшая нашему народному хозяйству, и не видно такого, — густо дохнула распадом в народный характер.

И не дай Бог нынешнему распаду стать невозвратным.

(Отразилось всё и в языке, зеркале народного характера. Наши соотечественники весь советский период неизменно теряли, а сейчас — обрушно потеряли собственно *русский язык*. Не буду говорить о биржевых дельцах, ни о затасканных журналистах, ни о столичных комнатных писательницах — но даже литераторы из крестьянских детей с отвращением отталкиваются: ка́к это я смею использовать коренные сочные русские слова, отвеку существовавшие в русском языке? Даже им теперь понятнее, не вызывают *ничьего* нарекания такие дивные новизны русского языка, как брифинг, прессинг, маркетинг, рейтинг, холдинг, ваучер, истеблишмент, консенсус — и многие десятки их. Уже полная глухота...)

«Русский вопрос» к концу XX века стоит очень

недвусмысленно: *быть* нашему народу или *не быть*? Да, по всему земному шару катится волна плоской, пошлой нивелировки культур, традиций, национальностей, характеров. Однако сколькие выстаивают против неё без пошата и даже гордо! Но — не мы... И если дело пойдёт так и дальше — то ещё через век слово «русский» как бы не пришлось вычёркивать из словарей.

Из нынешнего униженного потерянного состояния мы обязаны выйти — если уж не для себя, то в память предков, и ради наших детей и внуков.

Сегодня мы слышим толки об одной лишь экономике — и наша загнанная экономика, вправду, душит нас. Однако экономика сгодится и для безличного этнического материала, — а нам надо спасти и наш характер, наши народные традиции, нашу национальную культуру, наш исторический путь.

Русский эмигрант проф. Н. С. Тимашев как-то отметил, верно: «Во всяком общественном состоянии есть, как правило, несколько возможностей, которые, становясь вероятными, превращаются в тенденции общественного развития. Какие из этих тенденций осуществятся, а какие нет, — предсказать с абсолютной уверенностью нельзя: это зависит от встречи тенденций друг с другом. И поэтому человеческой воле принадлежит гораздо бо́льшая роль, чем это допускается старой эволюционной теорией». Материалистической.

И это — христианский взгляд.

Наша история сегодня видится как потерянная — но при верных усилиях нашей воли она, может быть, теперь-то и начнётся — вполне здравая, устремлённая на своё внутреннее здоровье, и в своих границах, без заносов в чужие интересы, как мы навидались в начальном обзоре. Ещё раз напомним Успенского, как он написал о задачах школы: «Превратить эгоистическое сердце в сердце всескорбящее.» Нам и предстоит построить такую школу: в первый класс её сядут дети уже развращённого

народа — а из последнего чтобы вышли с нравственным духом.

Мы должны строить Россию *нравственную* — или уж никакую, тогда и всё равно. Все добрые семена, какие на Руси ещё чудом не дотоптаны, — мы должны выберечь и вырастить. (Поможет ли нам православная церковь? За годы коммунизма она более всех разгромлена. А ещё же — внутренне подорвана своей трёхвековой покорностью государственной власти, потеряла импульс сильных общественных действий. А сейчас, при активной экспансии в Россию иностранных конфессий и сект, богатых денежными средствами, при «принципе равных возможностей» их с нищетой русской церкви, идёт вообще вытеснение православия из русской жизни. Впрочем, новый взрыв материализма, на этот раз «капиталистического», угрожает и всем религиям вообще.)

Но из многочисленных писем из русской провинции, с просторов России, я эти годы узнаю рассеянных по этим просторам духовно здоровых людей, и часто молодых, только разрозненных, без духовной подпитки. С возвратом на родину я надеюсь многих из них повидать. Надежда — именно и только на это здоровое ядро живых людей. Может быть они, возрастая, взаимовлияя, соединяя усилия, — постепенно оздоровят нашу нацию.

Минуло два с половиной столетия — а всё так же высится перед нами, по наследству от П. И. Шувалова, неисполненное **Сбережение Народа.**

Ничего для нас нет сегодня важней. И именно — в этом «русский вопрос» в конце XX века.

Март 1994
Вермонт

КРАТКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

Все тексты настоящего тома вплоть до статьи «Иметь мужество видеть» (по 1980 год включительно) печатаются по 9-му тому «вермонтского» 20-томного Собрания сочинений: Александр *Солженицын*. Собрание сочинений. Вермонт — Париж: YMCA-press, 1978—1991. Остальные тексты заново просмотрены автором для этого издания.

Нобелевская лекция. — По статуту нобелевских премий выражается пожелание, чтобы лауреат в один из дней, ближайших к церемонии, прочёл лекцию по своему предмету. Жанр и состав лекций — не определён. Нобелевская премия была присуждена А. И. Солженицыну в октябре 1970, но автор не поехал в Стокгольм получать её, опасаясь, что ему перережут обратный путь на родину (см. главу «Нобелиана» в книге «Бодался телёнок с дубом», Париж: YMCA-press, 1975). Лекция была написана в конце 1971 — начале 1972 в Ильинском (под Москвой) к ожидаемому вручению премии в Москве, на частной квартире, учёным секретарём Шведской академии Карлом Рагнаром Гировым. Однако советские власти отказали ему в визе, и церемония не состоялась. Тогда текст лекции был тайно переслан в Швецию и там напечатан в 1972 году на русском, шведском и английском языках в официальном сборнике Нобелевского комитета «Les prix Nobel en 1971». Одновременно лекция разошлась в Самиздате в СССР. На Западе многократно издана на европейских языках и по-русски. На родине лекция впервые напечатана, через 18 лет после её написания, — в журнале «Новый мир», 1989, № 7.

* * *

На возврате дыхания и сознания. — История написания и выхода в гласность изложена автором перед самою статьёй. Четыре года, с 1969, статья лежала без движения; место статьи определилось только после того, как возникла идея публицистического самиздатского сборника группы авторов «Из-под глыб». (Сведения о публикации см. ниже.)

Раскаяние и самоограничение. — Статья вышла из обдумывания автором русского и советского опыта и питалась спором с возникшими тогда течениями в Самиздате и в эмигрантских публикациях авторов из СССР (журнал «Вестник РСХД», Париж, 1970, № 97). Статья писалась для сборника «Из-под глыб» в течение 1972 и 1973, закончена в январе 1974, незадолго до высылки А. И. Солженицына из СССР.

Образованщина. — Статья основана на опыте общения с интеллигенцией разных советских десятилетий — от старой технической в 20-х годах до разных слоёв провинциальной и столичной в 60 — 70-х. Закончена в феврале 1974, перед самым арестом и высылкой автора из Советского Союза, — последнее, что написано им на родине.

Все три статьи впервые увидели свет в сборнике «Из-под глыб». Инициатором и собирателем группы авторов сборника был А. И. Солженицын. Высылка Солженицына в феврале 1974 задержала окончание работ над сборником, затруднила общение авторов-участников, и вместо намеченной прежде весны 1974 сборник вышел лишь поздней осенью: он был объявлен по обе стороны границы одновременно, на пресс-конференциях в Москве и в Цюрихе в ноябре 1974, одновременно начал свою жизнь в Самиздате и опубликован по-русски в Париже в издательстве YMCA-press. В 1975 сборник был переведен на европейские языки и издан во Франции, США, Англии и Западной Германии. В России впервые вышел спустя 16 лет, в 1990 году, в издательстве «Из глубин», затем в 1992 в издательстве «Русская книга». Три статьи Солженицына были напечатаны также в журнале «Новый мир», 1991, № 5.

Письмо Патриарху. — Толчком к «Письму» послужило услышанное по западному радио рождественское послание пастве Патриарха Пимена, где он призывал русские эмигрантские семьи сохранять веру детей в Бога, но к семьям в метрополии такого призыва не было. Окончено на 4-й неделе Великого Поста, в марте 1972, послано Патриарху почтой. Вскоре пущено в Самиздат. С конца марта стало широко публиковаться русской эмигрантской и западной печатью. В России впервые напечатано в журнале «Слово», 1989, № 12.

Мир и насилие. — Эти мысли родились у автора под многолетним давлением советской ложной трактовки понятия «мира», которая в начале 70-х годов наивно, беспечно и широко принималась Западом. Статья написана летом 1973 в Фирсановке (под Москвой). В сентябре 1973 предложена парижской газете «Monde» через её московского корреспондента. Отвергнута. Тогда передана в Норвегию, где и напечатана в газете «Aftenposten», 11.9.1973. Сразу вслед опубликована по-английски: «New York Times», 15.9.1973; по-немецки: «Neue Zürcher Zeitung», 16.9.1973; и по-русски в ряде эмигрантских изданий. Практическая цель статьи была — выдвинуть кандидатуру академика Сахарова на награждение Нобелевской премией мира. Первое книжное издание по-русски (с сокращениями) — в сборнике публицистических статей и выступлений А. И. Солженицына под общим названием «Мир и насилие» (Франкфурт: Посев, 1974). В России впервые — в журнале «Горизонт», 1989, № 8.

Письмо вождям Советского Союза. — Написано в августе 1973 в Рождестве-на-Истье (под Наро-Фоминском). Форма письма не была жанровым приёмом, но реальной попыткой автора обратить внимание властей на неизбежность народной катастрофы при существующих методах управления. Послано в ЦК КПСС 5 сентября. Никакой реакции властей не последовало. В январе 1974 отправлено для публикации за границу. Напечатано на многих языках, в газетах, журналах и отдельными изданиями. Первое издание по-русски — Париж: YMCA-press, 1974. Первая иностранная публикация — Лондон, «Sunday Times», 3.3.1974. В России впервые напечатано в журнале «Диалог», 1990, № 4.

Жить не по лжи! — Это воззвание готовилось в ходе 1972 и 1973 годов и первоначально было задумано как призыв к кампании идеологического неповиновения (вместо гражданского неповиновения). Затем эта задача была снята как преждевременная, воззвание приобрело форму более личного и нравственного обращения. Текст был готов к сентябрю 1973, и автор предполагал публиковать его одновременно с «Письмом вождям». При обострении обстановки с января 1974, после публикации «Архипелага ГУЛага», текст воззвания был заложен в несколько тайных мест с уговором — в случае ареста автора пускать через сутки, не ожидая более никакого подтверждения. Так и произошло. 13 февраля 1974 текст был передан в Самиздат и на Запад. Включён в самиздатский сборник «Жить не по лжи» (впоследствии изданный в Париже: YMCA-press, 1975). Воззвание впервые опубликовано в Лондоне, «Daily Express», 18.2.1974. Вслед за тем — неоднократно по-русски в эмигрантской печати и на многих европейских языках. На родине впервые напечатано в киевской многотиражке «Рабочее слово», 18.10.1988. Затем — в журнале «Век XX и мир», 1989, № 2. Позже в «Нашем современнике», 1989, № 9 и в «Комсомольской правде», 1.9.1990. Впоследствии — во многих других изданиях.

Слово при получении премии «Золотое клише». — «Золотое клише» — премия союза итальянских журналистов, присуждённая автору за его деятельность в СССР. Вручение премии состоялось 31 мая в Цюрихе, где А. И. Солженицын и произнёс это короткое Слово. Оно было написано в мае 1974 в Штерненберге (нагорье Цюриха). В нём автор хотел выйти за пределы ожидаемого от него политического заявления и взглянуть на Восток и Запад совокупно, как на единую арену развития цивилизации. В 1974 Слово вышло в переводах на итальянский, немецкий и французский. Первое русское книжное издание — в сборнике автора «Мир и насилие» (Франкфурт: Посев, 1974). В СССР впервые напечатано в рижском русскоязычном журнале «Родник», 1989, № 3.

Третьему Собору Зарубежной Русской Церкви. — Написано в июле-августе 1974 в ответ на приглашение Синода Зарубежной Русской Церкви приехать на Собор в Соединённые Штаты, — взамен приезда. После атмосферы гонений Церкви и стойкости верующих на родине — у писателя вызывал тяжёлое недоумение юрисдикционный раскол церквей в русской эмиграции. Это и стало главным тоном письма. Прочтено на одном из заседаний Собора (Джорданвилл, штат Нью-Йорк, сентябрь 1974). Первая журнальная публикация по-русски — в старейшем эмигрантском парижском журнале «Вестник Русского Христианского Движения», 1974, № 112—113.

Сахаров и критика «Письма вождям». — Ответ на критическую статью А. Д. Сахарова по поводу «Письма вождям», опубликованную на Западе в апреле 1974. Ответ был отложен автором до появления осенью 1974 сборника «Из-под глыб», где выяснялись те же кардинальные вопросы. Но и после того А. И. Солженицын мог дать ответ лишь краткий и неполный, из-за угрожаемого положения оппонента в условиях советского режима. Сахаров этой дискуссии не продолжал. По-русски опубликован в эмигрантском журнале «Континент» (Париж), 1975, № 2. Вышел также в переводах, вместе со статьёй Сахарова, в иноязычных изданиях «Континента».

Слово на Нобелевской церемонии. — Обязательное ответное слово каждого нобелевского лауреата на банкете после вручения премии. По сути — уже второе для такой церемонии, первое — посылалось в 1970 в Стокгольм и было прочтено в отсутствие автора (текст — см.: *А. Солженицын.* Бодался телёнок с дубом. Париж: YMCA-press, 1975, с. 548). Произнесено А. И. Солженицыным 10 декабря 1974 в Стокгольме. Опубликовано в официальном сборнике Нобелевского комитета «Les prix Nobel en 1974», Стокгольм, 1975, — на русском (не вполне точно) и английском языках.

Третья Мировая?.. — Статья написана 28 апреля 1975 (во время перелёта из Европы в Северную Америку). Изложенные мысли зрели у автора давно, но подтолкнула их окончательная развязка войны во Вьетнаме. Первая

публикация — по-французски в газете «Monde», 31.5.1975; затем по-английски в «New York Times», 22.6.1975. Первая журнальная публикация по-русски — «Вестник РХД» (Париж), 1975, № 115.

* * *

Речь в Вашингтоне. — Американские профсоюзы АФТ — КПП приглашали А. И. Солженицына выступить в Соединённых Штатах тотчас по изгнании его из СССР в 1974, но он не был готов тогда ехать в Америку. Поездка состоялась в 1975, в ходе её последовало вторичное приглашение. В поездке по штатам и обдумана эта речь и следующая за ней речь в Нью-Йорке, однако письменного текста автор не готовил, лишь составил тезисы. (Тексты приводятся по магнитофонной записи.)

Речь в Вашингтоне была произнесена 30 июня 1975 в отеле «Хилтон» перед двумя тысячами участников съезда АФТ — КПП. (Сведения о публикации см. ниже.) Перед выступлением на подиум поднялись долголетний узник ГУЛАГа американец Александр Долгун и недавно освобождённый (перед тем выданный советским властям американской береговой охраной и заточенный в СССР) литовец Симас Кудирка.

Речи Солженицына предшествовало вступительное слово многолетнего председателя американских профсоюзов Джорджа Мини:

...сегодня, в этот грозный час человеческой истории, когда силы, выступающие против свободы человеческого духа, стали более мощными, более жестокими, более смертоносными, чем когда-либо раньше, тот человек, который выше всех поднял светоч свободы, — не возглавляет государства, не командует армией и не руководит движением, доступным нашему взору.

Но движение есть, — сокрытое движение людей, у которых нет кабинетов и нет штаб-квартир, которые не представлены в просторных залах, где встречаются нации, которые ежедневно страдают за право свободы слова, за право думать, за право быть самим собой, и рискуют больше, чем любой из нас за всю свою жизнь.

Где же члены этого сокрытого движения? В то время как мы сегодня вечером готовимся почтить среди нас одного из них, давайте подумаем об остальных: о

миллионах, томящихся в советских лагерях рабского труда; о тысячах, сидящих в смирительных рубашках в так называемых «психических лечебницах»; о массах бессловесных рабочих, которые заняты рабским трудом на фабриках, управляемых комиссарами; о всех тех, кто пытается услышать частицы и обрывки правды на глушимых радиоволнах запрещённых передач и кто, в тени тирании, записывает и передаёт из рук в руки запретные мысли.

Но даже если они остаются для нас невидимыми, теперь мы можем их услышать: из-под гнёта притеснений вырвался голос, который должен быть услышан, и ему в этом отказано не будет.

Мы прислушиваемся к этому голосу не потому, что он говорит за левых или за правых, или за какую-либо фракцию, а потому, что он бесстрашно бросает правду в зубы тоталитарной власти. Насколько легче и удобнее было бы подчиниться и принять ложь, которой эта власть живёт!

В чем сила этого голоса? Как он проник к нам, в то время как другие голоса были заглушены? Его сила — в искусстве.

Александр Солженицын — не крестоносец, не политический деятель, не генерал. Он — художник.

Искусство Солженицына — озаряет правду. В известном смысле оно — подрывное: оно подрывает лицемерие, подрывает обман, подрывает Великую Ложь.

... Его искусство — исключительный дар. Его не передать другому. Но давайте помолимся, чтобы отвага его была заразительна...

Речь в Нью-Йорке. — Произнесена, по тезисам, 9 июля 1975 в отеле «Американа» перед представителями профсоюзов АФТ — КПП. (Сведения о публикации см. ниже.)

Речь на приёме в Сенате США. — Прочтена 15 июля 1975 в зале приёмов Конгресса США по приглашению группы сенаторов.

Все три речи многократно издавались по-английски, в США и Англии, вышли отдельными изданиями во Франции и Западной Германии, опубликованы (первые

две) на одиннадцати языках в специальных выпусках журнала АФТ — КПП «Новости свободных профсоюзов». По-русски печатались в эмигрантской периодике в США и Европе и вышли отдельной книжкой (Американские речи. Париж: YMCA-press, 1975). В России, спустя 19 лет, опубликована «Речь в Вашингтоне» (журнал «Звезда», 1994, № 6).

Выступление по английскому радио. — Написано по предложению BBC как получасовая лекция по радио, во время поездки А. И. Солженицына в Англию в 1976. Передавалась по внутреннему британскому радиовещанию (BBC — Radio 3) 24 марта 1976. Полный английский текст впервые опубликован в газете «Times» (Лондон), 2.4.1976, затем в публицистических сборниках автора в Англии и США. Русский текст в том же году появился в «Вестнике РХД», 1976, № 117. В России впервые опубликован в еженедельнике «Новое время», 1992, № 29.

Слово на приёме в Гуверовском институте. — Написано в мае 1976 в Пало Альто, где в тот момент находился автор в связи с работой в архиве Гуверовского Института Войны, Революции и Мира (Стэнфорд, Калифорния). Вызвано всё более проявляемым в американской научной и общественной среде непониманием проблемы «Россия — СССР», искажённым представлением о русской истории. По-английски опубликовано Гуверовским институтом в книге «Solzhenitsyn speaks at the Hoover Institution...» (May — June 1976) и в «Russian Review», vol. 36, № 2, 1977. По-русски впервые — в «Вестнике РХД», 1976, № 118. В России, спустя 16 лет, — в журнале «Нева», 1992, № 9.

Слово при получении премии «Фонда Свободы». — «Фонд Свободы» (Freedoms Foundation at Valley Forge) — американская общественная патриотическая организация. Представители Фонда приехали для вручения награды (American Friendship Medal) в Гуверовский институт, где работал в то время автор. Эта короткая ответная речь бы-

ла произнесена А. И. Солженицыным на церемонии вручения 1 июня 1976. Английский текст напечатан Гуверовским институтом в книге «Solzhenitsyn speaks at the Hoover Institution...» (May — June 1976), русский — в «Вестнике РХД», 1976, № 118.

Речь в Гарварде. — Ежегодно на выпускной акт Гарвардского университета собираются его устроители — выпускники предыдущих десятилетий. Их ассоциация приглашает одного оратора произнести в этот день в Гарварде речь. 8 июня 1978 года таким оратором был А. И. Солженицын, получивший в том году от Гарварда почётную докторскую степень.

Речь написана в мае 1978 года в Вермонте. Хотя она посвящена более Западу, но исходит из общего взгляда на Запад и Восток, взятые не в политической плоскости, но в свете общего мирового духовного кризиса. На Гарвардском дворе присутствовало 20 тысяч человек. Одновременно речь транслировалась американским телевидением. Широко цитировалась множеством американских газет и журналов, вызвала бурную дискуссию. Полный английский текст напечатан в «Harvard Magazine», July — August 1978, и в лондонском «Times», 26.7.1978, в том же году вышел отдельной книгой (A World Split Apart. New York: Harper & Row, 1978); в переводах речь опубликована во многих странах мира; по-русски напечатана в четырёх эмигрантских журналах (см., например, «Вестник РХД», 1978, № 125). В России впервые — в журнале «Слово», 1990, № 4.

Коммунизм: у всех на виду — и не понят. — Статья написана в январе 1980 по просьбе американского журнала «Time» на тему, которой автор касался и раньше: о проблеме «Россия — СССР» и о природе коммунизма. Статья была попыткой обращения к самой широкой аудитории. Писалась одновременно со следующей пространной статьёй для специального круга («Чем грозит Америке плохое понимание России») и является сжатым вариантом некоторых её положений. По-английски в журнале «Time» (18.2.1980) ещё немного сокращена по издательским условиям; опубликована в нескольких странах Европы. По-русски — первая журнальная публикация в «Вестнике РХД», 1980,

№ 130. В России впервые — в новосибирском бюллетене «Граду и міру (Urbi et Orbi)», 1990, № 4.

Чем грозит Америке плохое понимание России. — Статья написана для американского журнала «Foreign Affairs». Начата в ноябре 1979, закончена в январе 1980. Английский текст напечатан в журнале «Foreign Affairs» (vol. 58, № 4, Spring 1980) и затем отдельной книжкой (The Mortal Danger. New York: Harper & Row, 1980). Вышла отдельными изданиями во Франции и Западной Германии. По-русски первая журнальная публикация — «Вестник РХД», 1980, № 131. В России напечатан отрывок из статьи в саратовском журнале «Волжские новости», 1990, № 9.

Иметь мужество видеть. — Предыдущая статья вызвала на страницах «Foreign Affairs» оживлённую дискуссию (в летнем и осеннем выпусках журнала), что вынудило автора продолжить изложение своих взглядов. Статья напечатана по-английски в «Foreign Affairs» (vol. 59, № 1, Fall 1980). По-русски — «Вестник РХД», 1980, № 132.

Наши плюралисты. — Впервые по-русски статья напечатана в «Вестнике РХД», 1983, № 139. Вызвала оживлённую полемику в эмигрантской печати. Издана по-французски отдельной книжкой (Paris: Fayard, 1983). По-английски опубликована лондонским журналом «Survey» (A Journal of East and West Studies. Vol. 29, № 2/125/, Summer 1985). В России впервые напечатана в журнале «Новый мир», 1992, № 4.

Темплтоновская премия. Ответное слово и лекция. — А. И. Солженицын был награждён Темплтоновской премией в 1983 году. Эта премия — «За прогресс в развитии религии» — была основана в 1973 Фондом Темплтона (США). Присуждается «лицам, имеющим особые заслуги в укреплении духа перед лицом нравственного кризиса в мире». Среди лауреатов — мать Тереза, брат Роже Шутц — инициатор монашеского возрождения в протестантском мире. В 1982 премия присуждена протестантскому проповеднику Биллу Грэму (в тексте речи — «предшест-

венник по этой премии»). В 1983 премия впервые присуждена православному.

Имя лауреата объявляется в Вашингтоне в первых числах марта, вручение происходит в Лондоне, в Букингемском дворце, всегда 10 мая; вручает премию принц-консорт Филипп, при этом лауреат произносит ответное слово. Затем в торжественном собрании в лондонском Гилдхолле новый лауреат читает лекцию.

2 марта 1983 в Вашингтоне при объявлении о присуждении Темплтоновской премии Солженицыну Слово произнес митрополит Феодосий, глава Православной Церкви в Америке:

А. Солженицын не нуждается ни в том, чтобы быть представленным, ни в похвалах. Хорошо нам, а не ему, что изредка нам даётся возможность вновь обрести его, вернуться, хоть на время, к нему, к его видению, к его слову.

К нему. В наше время, отмеченное нравственной дряблостью, постоянной готовностью идти на сделку со злом, самостью, и, часто, сведением жизни к сомнительным поискам счастья, — он открыл нам подлинную красоту и глубину человеческой жизни, целиком посвящённой этическим и духовным ценностям. В одиночестве, в заключении, когда его травили или когда он болел раком — он никогда не отказывался от борьбы за свою родину, за свой народ, более — за всё человечество.

К его видению. Ему было дано не только бороться и говорить, но, выше всего, воплотить в художественном слове своё видение жизни. Его «Архипелаг ГУЛаг» останется, я уверен, книгой века, вехой для всех тех, кто хочет строить жизнь согласно высокому нравственному идеалу, исполнить самих себя в вере и жертве.

И, наконец, к его слову, к его призыву, обращённому ко всем нам: жить не по лжи.

Многие сегодня, почти десять лет спустя после его чудесного появления на Западе, ставят под сомнение и его как человека, и его видение, и его слово. Значительное движение, не только в его стране, но и здесь, среди нас на Западе, старается опорочить его, представить анахроничным защитником прошлого и пустого

мировоззрения. Но мы знаем, что мир никогда не прислушивался к пророкам, посланным ему, ненавидел и преследовал их. Для нас, христиан, конечная победа завершилась на Кресте.

Для меня это большая честь — быть тут и делить с вами уверенность в том, что Солженицыну нечего тревожиться. Его видение, его слово, он сам — целы, и ничто не может их уничтожить. Мы благодарим Бога, что он послал нам пророка. Мы благодарим Солженицына за его слово и виденье. С тех пор, что он появился, и наша жизнь, и даже весь мир в чём-то изменились.

Текст Темплтоновской лекции многократно перепечатывался в американских и европейских журналах. Первая публикация по-русски — «Вестник РХД», 1983, № 139. Впервые в России — «Новый мир», 1992, № 2.

Размышления над Февральской революцией. — Это четыре обзорных главы, написанные в 1980—1983 годах при работе над «Красным Колесом». Первоначально предназначались каждая в конец, соответственно, четырёх томов «Марта Семнадцатого»; однако затем автор решил не включать их в текст. Впервые опубликованы в журнале «Москва», 1995, № 2.

Черты двух революций. — Статья вобрала мысли и наблюдения, параллельные работе автора над историей Февральской революции. Первая публикация по-русски — в «Вестнике РХД», 1988, № 153. В России — в «Новом мире», 1993, № 12.

Как нам обустроить Россию? — Напечатана впервые в «Комсомольской правде» и «Литературной газете» (18.9.1990, общий тираж 27 млн. экз.). Статья вызвала резкий отклик М. С. Горбачёва и украинских делегатов в Верховном Совете СССР, после чего дискуссии в печати практически не было. Статью издали и в виде брошюры — YMCA-press в Париже и несколько советских

издательств. Вышла отдельными изданиями во Франции (Fayard, 1990); в Германии (Piper, 1990); в Италии (Rizzali, 1990); в США (Farrar, Straus and Giroux, 1991); в Англии (Harper-Collins, 1991); в Дании (Spectrum, 1991); в Польше (Arka, 1991); в Голландии (Dubio Boeken, 1992).

Речь в Международной Академии Философии. — Произнесена 14 сентября 1993 в Вадуце (Лихтенштейн) при вручении автору почётной докторской степени. Сразу вослед по-русски напечатана в «Комсомольской правде», 17.9.1993. Издана по-французски (Fayard, 1993); по-немецки (Piper, 1994), частично в «Die Zeit»; по-английски (Farrar, Straus and Giroux, 1995). В 1994 напечатана в специальном издании лихтенштейнской Академии, текст на нескольких языках.

Слово о Вандейском восстании. — Произнесено 25 сентября 1993 в Люк-сюр-Булонь, в Вандее, на собрании в честь 200-летия Вандейского восстания и открытия памятника его героям и жертвам. Напечатано тогда же во французских газетах и в парижской «Русской мысли», в «Вестнике РХД», 1993, № 168. В России — в «Известиях», 28.9.1993.

«Русский вопрос» к концу XX века. — Опубликован впервые в «Новом мире», 1994, № 7, затем в «Вестнике РХД», 1994, № 169. Отдельные книжные издания — во Франции (Fayard, 1994); в Германии (Piper, 1994); в США (Farrar, Straus and Giroux, 1995); в России (Голос, 1995).

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Предлагаемое издание — самое полное (а в России и первое) собрание публицистических работ А. И. Солженицына. В трёх томах, охватывающих период 1965—1994, вплоть до возвращения писателя в Россию, представлены около 200 названий и едва не все мыслимые публицистические жанры. Отточенная публицистическая проза («Нобелевская лекция», статьи для сборника «Из-под глыб», «Размышления о Февральской революции») и устные импровизации под перекрестным огнём пресс-конференций; выношенные обращения («Жить не по лжи!», «К референдуму на Украине») и внезапные схватки круглых столов в прямом эфире; тихие беседы о литературе (со студентами-славистами в Цюрихе, с Н. А. Струве в Париже); громкие призывы в защиту конкретных притесняемых; литературно-критические эссе («По донскому разбору», «Колеблет твой треножник»); предисловия к книгам; острая полемика («Наши плюралисты») и приветственные, благодарственные «Слова»; письма одиночным адресатам и речи перед многотысячными аудиториями — в Гарварде, Лондоне, Нью-Йорке, Вандее; сообщения, заявления, открытые письма, множество интервью (с примечательно широкой географией интервьюеров) — газетам, журналам, телеграфным агентствам, радио- и телевизионным компаниям,— читатель сам продолжит этот перечень жанров, читая тома «Публицистики».

Весь корпус текстов размещён по томам следующим образом.

Первый том объединил крупные публицистические произведения А. И. Солженицына, его статьи, лекции, речи, исследовательские разработки за 1969 — 1993 годы, в хронологическом порядке.

В двух других томах представлено, в хронологическом же порядке, всё остальное многообразие публицистических выступлений писателя. Во второй том вошли работы за годы 1965 — 1981; в третий — за 1982 — 1994. В конце третьего тома отдельным разделом помещены предисло-

вия А. И. Солженицына к различным книгам. Том завершается «Грамматическими соображениями», плодом размышлений автора над современным состоянием русского правописания. Согласно этим «Соображениям» в изданиях А. И. Солженицына, в частности в предлагаемом трёхтомнике, несколько корректируются общеупотребительные орфографические требования.

Все тексты, по 1981 год включительно, печатаются по 9-му и 10-му томам 20-томного «вермонтского» Собрания сочинений А. И. Солженицына (Вермонт — Париж: YMCA-press, 1978 — 1991), которое готовилось к печати при постоянном участии автора, вплоть до чтения корректуры. Остальные тексты вновь проверены автором для этого издания.

Тексты всех устных выступлений, а также газетных и журнальных интервью получены расшифровкой звукозаписей и авторизованы.

Издание снабжено «Краткими пояснениями». В них мы стремились каждую работу сопроводить сведениями по истории её написания или обстоятельствам устного выступления; из огромного массива библиографических данных (существует несколько обширных солженицынских «Библиографий», изданных в разных странах) мы решили указать лишь первые публикации по-русски и на основных европейских языках. Мы постарались также дать ссылки на первые отечественные публикации. Это последнее требует оговорки: после десятилетий запрета осенью 1988 началось бурное печатание во множестве периодических изданий СССР отдельных публицистических работ А. И. Солженицына. Оттого нельзя быть вполне уверенным, что всякая работа, для которой в наших пояснениях не приведены данные о первой отечественной публикации, — печатается в России в настоящем издании впервые. Полная библиография современных публикаций — дело будущего.

СОДЕРЖАНИЕ

В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ (1969—1974)

Нобелевская лекция (1972) 7
На возврате дыхания и сознания (1973) 26
Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни (1973) 49
Образованщина (1974) 87
Всероссийскому Патриарху Пимену (1972) 133
Мир и насилие (1973) 138
Письмо вождям Советского Союза (1973) 148
Жить не по лжи! (1974) 187

НА ЗАПАДЕ (1974—1993)

Слово при получении премии «Золотое клише» (1974) . . . 195
Третьему Собору Зарубежной Русской Церкви (1974) 199
Сахаров и критика «Письма вождям» (1974) 215
Слово на Нобелевской церемонии (1974) 223
Третья Мировая?.. (1975) 225
Речь в Вашингтоне перед представителями профсоюзов АФТ—КПП (1975) 229
Речь в Нью-Йорке перед представителями профсоюзов АФТ—КПП (1975) 256
Речь на приёме в Сенате США (1975) 280
Выступление по английскому радио (1976) 284
Слово на приёме в Гуверовском институте (1976) 298
Слово при получении премии «Фонда Свободы» (1976) . . . 305
Речь в Гарварде (1978) 309
Коммунизм: у всех на виду — и не понят (1980) 329
Чем грозит Америке плохое понимание России (1980) . . . 336
Иметь мужество видеть (1980) 382
Наши плюралисты (1982) 406
Слово при получении Темплтоновской премии (1983) 445
Темплтоновская лекция (1983) 447

Размышления над Февральской революцией (1980—1983) 457
Черты двух революций (1984) 504
Как нам обустроить Россию? (1990) 538
Речь в Международной Академии Философии (1993) 599
Слово о Вандейском восстании (1993) 613
«Русский вопрос» к концу XX века (1994) 616

Краткие пояснения 703
От составителя 716

Художественно-публицистическое издание

Александр Исаевич Солженицын

ПУБЛИЦИСТИКА

В трех томах

Том 1

СТАТЬИ И РЕЧИ

Составление и пояснения
Натальи Дмитриевны Солженицыной

Редактор Т. Н. Спирина
Художник В. Х. Янаев
Художественный редактор Т. А. Ключарева
Технический редактор В. М. Панфилова
Корректор Т. Л. Козлова

ЛР № 010008 от 17.09.91

Сдано в набор 18.05.95. Подписано в печать 29.08.95.
Формат $84\times108^{1}/_{32}$. Бумага кн.-журн. Гарнитура школьная.
Печать высокая. Усл. п. л. 37,8. Уч.-изд. л. 33,7.
Тираж 10 000 экз. 1-й завод 5000. Заказ 343.
Цена «С» № 61.

Верхне-Волжское книжное издательство
Комитета Российской Федерации по печати.
150000, г. Ярославль, ул. Трефолева, 12.

АООТ «Ярославский полиграфкомбинат».
150049, г. Ярославль, ул. Свободы, 97.